

*Константин Коницев*

# **ДЕРЕВЕНСКАЯ ПОВЕСТЬ**



*КОНСТАНТИН КОНИЧЕВ*

# ДЕРЕВЕНСКАЯ ПОВЕСТЬ



1224506

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ВОЛОГДА 1950



ЧАСТЬ  
ПЕРВАЯ

---





## I

Богато село Устье-Кубинское. Во всей Вологодчине одно такое село. Пять церквей, казёнка, много шинков. Торгашей-лабазников, купцов и перекупщиков—не один десяток. Дома у них построены долговечные, в два этажа, с мезонинами, с террасами, с магазинами-подвалами, а ворота в магазины кованые железом и на два широких раствора. В переулках собачьи будки, а около торговых рядов и около казёнки и казематки—три будки полицейских.

Базарные дни в селе зимой по пятницам, летом—по воскресеньям. Раз в году, на Иванов день, — ярмарка. Тысячи гуляющих, глазеющих, сотни торговых людей заполняют тогда улицы и переулки в Устье-Кубиноком.

Наряд полиции в ярмарку усилен. Ещё накануне съезжаются урядники и стражники из Заднего села, из Старого, из Нового, из Закушья и Уфтюги. Из Заболотья приезжает становой. Из Кадникова — сам уездный исправник.

Волостной старшина за три дня перед ярмаркой собирает сотских, десятских, толкует им, как надо следить за порядками в ярмарочные дни, как ловить воров и помогать полиции таскать пьяных в надёжное место. А если кто из ссыльных и зимогоров будет заподозрен в непотребных словах и делах против государя, то таких

доставлять, в целости или в избитом виде, прямо в волостное правление, — там разберутся.

... По всем просёлочным и трактовым дорогам на ярмарку тянутся конные и пешие, бесконечными вереницами. Одна из прямых дорог, через Лебзовское болото, — в летнюю пору не пропускает ездовых. По хворосту и валежнику, по зыбкому торфу и мшистым кочкам, поросшим голубикой и морошкой, прыгают на босу ногу пешеходы. Идут они на ярмарку из далёких деревень, сёл и хуторов. Идут нарядные, в цветных платьях и вышитых узорчатых рубахах, разодетые, как на великий праздник; идут себя показать, на людей посмотреть, чтобы потом до следующей ярмарки было о чём посудачить.

Пожилые пешеходы обуты в сапоги, парни — в штиблеты, девки — в полусапожки с резиновыми растяжками; на мнотих, несмотря на июньскую жару, блестят галоши.

Подходя к Лебзовскому болоту, пешеходы начинают сгущиваться. Садятся в густую траву на кочки, разуваяются. Обтирают травой пыль с обуви и, босые, приступом берут болото. Редко кому удаётся благополучно пройти по валежнику, по кореньям, затянутым трясинной, — пройти и в кровь не разбить ноги. Да что ноги?! Лишь бы обутка осталась целёхонька. Ноги не купленные, заживут, а вот обутка — её каждый год не купишь...

Ремесленный народ — кустари-сапожники, роговых дел мастера, бондари, горшечники-гончары, рыболовы, кожевники, охотники и люди других промыслов — заселяют усть-кубинские, уфтюжские и окрестных волостей деревни.

От ремесла, перепродажи и скупости богатеют наиболее ловкие из кустарей. Две больших трактовых дороги тянутся из глубины северной к Устью-Кубинскому: одна — мощёная, прямая — проходит от Томаши через Заднее село, другая — извилистая, с буераками — дорога из Уфтюги через владения помещика Межакова. Дороги разные, и люди по ним пробираются на ярмарку одни на других не похожие. По Заднесельскому тракту в тарантасах на упитанных, в наборной сбруе, лошадях, торговцы, перекупщики-прасолы едут с возами всякой снеди. А с Уфтюги — люди так себе, непривлекательные, на скрипучих двуколках, на клячах в драной упряжи. И товарец уфтюжане везут на ярмарку дешёвенький: грабли, топорыща, доски ольховые для приезжих владимирских

богомазов, пестери, шайки, вёдра, дёготь, смолу, рыжики прошлогодние; грош цена этому товару.

Не таким добром красна и богата усть-кубинская ярмарка. Далеко гремит она торговлею местного и приезжего купечества. Баржи, гружённые белой мукой и пшеном, приводят пароходы из Рыбинска — изворотливому богачу-миллионеру Никуличеву.

Немец Цуккерман, братья Круглихины, компания Красавиных и других торгашей от самого Саввы Морозова возами доставляют мануфактуру. Вологодские торговцы из «светлых рядов» — Свечников, Тихомиров, Семёнков — привозят в изобилии на ярмарку тонкие, дешёвые лодзинские ткани. Груды всяких лакомств, игрушек и разных безделушек мелкие торгаши привозят отовсюду.

На площади вокруг двух каруселей и по главным улицам — сплошь крытые парусиной ларьки и балаганы. Разукрашенные карусели блестят, сверкают в центре села. Около пожарного депо перед открытием ярмарки благочинный с дьячком и певчими служат молебен с водосвятием. Молящихся немного.

— Не время молиться, когда на уме двоится, — говорят приезжие купцы, но в жертве богу не отказывают, когда подходят к ним церковники и монахи за подаянием.

И сразу после молебна на вершину высоченного шеста взвивается красный с белым полотнищем ярмарочный флаг, и тогда прорывается ярмарочная плотина.

Пароходы на Кубине — «Коммерсант», «Отважный», «Герцог», «Братья Варакины» — долгими пронзительными гудками извещают об открытии ярмарки.

За рекой гудят свистки трёх лесопильных заводов: Рыбкина, Ганичева и Никуличева (лесопилка барона Граппа давно перестала гудеть, навсегда замолкла; её закрыл незадачливый хозяин, не выдержав конкуренции усть-кубинских заводчиков).

Как только взвился над селом флаг, сразу всё вдруг ожило, зашумело, загудело и закрутилось в ярмарочном водовороте. Настежь раскрылись магазины, ларьки и балаганы. Обе карусели под звуки бубнов, тальянок и шарманок словно пустились в пляс.

В шуме и гомоне то и дело раздаются заманивающие выкрики торгашей и приказчиков:

— Любая вещь пять и десять копеек!

— Дёшево мотаем, домой поедем!

— Смоленские хитрости! Продаю смоленские хитрости,—кричит длинный верзила в полосатом, нарочито приметном балахоне. У верзилы в руках корзина с детскую зыбку переполнена таинственными разноцветными пакетиками. — Пять копеек, только пять! Смоленские хитрости — счастье для всех!.. А ну, сами подходите и других подводите!

Падкие до «счастья» покупатели сначала недоверчиво переглядываются и пережидают, кто бы первый начал. Ведь пятак — не малые деньги. Наконец кто-либо решается разориться на пятак и, отвернувшись, чтобы не посмеялись над ним, с утайкой вскрывает пакет, а в нём... две щепочки, склеенные смолой,—вот и вся «смоленская хитрость».

А жулик в балахоне, проталкиваясь сквозь толпу, шагает дальше и кричит, как попугай, одно и то же:

— Смоленские хитрости! Пять копеек счастье для всех! Смоленские хитрости!..

На дрогах пузатый крашеный бочонок. Рядом дородная, краснолицая хозяйка в нарядной кофте, бусы в шесть рядов, белый передник вышит петушками и козулями. Отмахиваясь платком от назойливых мух, она выкрикивает заученные слова:

— А вот кому сбить? Не тёплый, не горячий, в аккурат подходящий! Кому сбить? С моего сбитня голова не болит, ума-разума не вредит. Пил его дядя Назар и хвалил на весь базар. А вот кому сбить?!..

В ярмарочной сумятице почти незаметен узкоглазый, будто больной желтухой, невинно улыбающийся японец. В его крохотном дощатом балагане поставлен только один плохонький стул, да на затаканном кожаном чемодане разложены светлые, металлические предметы: чашки, иголки, трубочки, стаканчики. Подражая опытным, жуликоватым торговцам, он время от времени робко зазывает посетителей к себе в балаган:

— Зуба лицьть, зуба лицьть!.. — гнусава, с трудом выговаривает японец и, к удивлению столпившихся зевак, показывает ровные, чистые, как свежий горох в стручке, зубы.

Публика долго не понимает, на что горазд этот низкорослый и хитроглазый человек, одетый невесть во что, не то в юбку, не то в широкие шаровары тонкого зелёного шёлка и в голубую кофту.

Первым из его посетителей оказался сапожник Николай Осокин. Он уже слегка подвыпил и потому, не задумываясь, перешагнул через перегородку в балаган.

— Ну, что у тебя за фокусы, шут гороховый? Ну, показывай! А то я тебе остатки носа со щеками сравню...

Японец робко отступает под напором неприветливого словоизвержения, но быстро спохватывается и, глупо улыбаясь, снова лопочет:

— Зуба лицыть, — и показывает на свои зубы,

— Ага, понятно! Он, ребята, доктор, зубной рвач.

— Пять копейка зуба лицыть.

Осокин вразумительно поясняет публике:

— Добро пожаловать, у кого зубы гнилые! Дерёт с корнем пятак со штуки... А я своих не дам. Я кому угодно сам бесплатно вышибаю.

— Дай-кося я попробую, — говорит мужик с подвязанной щекой, — может, польза будет, — и лезет через барьер.

— Ну, дери ты чорт... Пятачок — так и пяточок!..

— Лицыть будем, лицыть, — радостно бормочет японец.

Сняв с головы повязку, мужик широко раскрывает рот.

— Да ты поуже раскрывай, — замечают ему любопытные, — а то всех мух переловишь.

Мужик сердито огрызается и — снова рот нараспашку. Японец берёт металлическую трубочку и вязальный крючок. С минуту он ковыряет у мужика большие зубы, затем извлекает на бумажку мелких жёлтеньких червей... Отложив инструмент на чемодан, он показывает червей публике:

— Глите, глите, черви, зуба лицыть..

Взяв с мужика пятак, говорит ему более ясно:

— Иди. Здорова зуба...

Тогда и те, у кого от роду не болели зубы, из любопытства повалили в балаган. Так бы и сыпались лекарю пятаки, да скоро люди вывели его на чистую воду.

Кто-то из усть-кубинских ловкачей нашёлся и вперемежку с другими посетителями три раза подсаживался к японцу. И каждый раз неразборчивый «дантист» доставал у него изо рта червей по пяти штук.

Догадливый посетитель кричит на весь базар:

— Братцы! Нехристь нас надует, поганит...

— Как? Что?

— Да черви-то не в зубах, а у него в дудочке...

«Лекарь» поспешно складывает в чемодан свои пожитки. Но не тут-то было! Толпа нажала. Треснули у балагана доски, рухнул барьер, опустилась крыша.

— Кажи, дьявол, дудочку!

— Откуда набрал червей?

— Дайте ему по башке, чтоб из него самого черви крошились..

И тут подоспел Осокин.

— Русских, брат, долго не обманешь, — торжествует он, — на-ко вот тебе, чтобы помнил... — Осокин слегка ударил японца кулаком в подбородок, так, что у того чавкнули зубы, и, брезгливо вытерев руку о полу пиджака, посоветовал без злобы:

— Собирай свои хунды-мунды да ступай во-свояси. Жулья тут и без тебя много.

Японец начал поспешно собираться. Кто-то любознательный схватил с чемодана его злополучную «дудочку» и разломил её на части. Действительно, из трубочки посыпались мелкие живые черви.

— В полицию его, в полицию!

Появился стражник и предложил «лекарю» следовать за ним в каталажку на законную расправу.

А по ярмарке слух, как чума:

— Слышали, японского шпиёна поймали?

— Какого, где?

— Да того, что червей продавал, зубодёра...

В полиции он не задержался, за приличную взятку его вытолкнули на улицу и намекнули, чтобы впредь не попадался...

... Бородатое купечество, приезжее и местное, чинно, степенно расположилось за прилавками переполненных товарами лавок и магазинов. Не блещут купцы нарядами; одеваются они просто, практично, в сюртуки из долговечного сукна; штаны с «выпуском» на лакированные голенища; золотые массивные цепочки поперёк живота. Следят богачи за ярмарочным ловом, следят за работой своих приказчиков. А те готовы лезть из кожи вон: мечутся, стараются показать хозяевам своё умение — привлечь покупателя заманчивым словом, ловко обмерить, обвесить, обсчитать.

Особенно оживлён на ярмарке сапожный базар. Около тысячи кустарей-сапожников из Заднеселья, от Николы-Ксрня, от Ивана Богослова, из усть-кубинских деревень ведут розничный торг обувью, с рук, с те-

лег и подмостков. Многие из сапожников, сделав почин в продаже, успели выпить магарыч и чувствуют себя весело, как подобает на своём долгожданном празднике. Сотские и десятские разнимают уже кое-где пьяных драчунов.

На траве за забором, около Смолкинского трактира, именуемого «Париж», пятеро закадычных приятелей распивают гербованную сивуху.

Среди них известный Осокин — холостяк лет под сорок, бездомовный, дерзкий на руку забияка. Рядом с ним Иван Чеботарёв — сапожник из деревни Попихи, умом неглупый и выпить не дурак; тут же Алексей Турка — его сосед, тоже сапожник, резкий на слово, однако не драчун. К ним присоединились плотник Звездаков и конопатчик Калабин. Выручка за сапоги у Чеботарёва и Турки была неплохая. Но, на беду им, их расторопные жёнки Марья Петровна и Анюта Глуханка ласковым словом расположили к себе своих мужиков, взяли кошельки с выручкой и скрылись. Искать хитрых баб в многотысячной ярмарочной толпе — дело напрасное. Как ни вытягивался Иван Чеботарёв на заборе, не мог заметить ни той, ни другой. Потом Иван бросился было к своей телеге, — нет ли там бабы с кошельком, — но около телеги стоял выпряженный бурый мерин и лениво жевал свежее, пахучее сено, а в телеге на подстилке в уголке одиноко сидел трёхлетний Терёшка, сынишка Ивана, и, перемазавшись патокой, с аппетитом ел дешёвые пряники-сусленники.

Иван что-то проворчал и снова ушёл к своим приятелям на луговину.

Пить водку им было не на что, — в этом откровенно признались все, за исключением Осокина, а на того нечего было и рассчитывать. Правда, Осокин неплохой сапожный мастер, но к ярмарке он остался без работы и без денег. Накануне хозяин-кожевник прогнал его не то за мелкую кражу, не то за крупную драку. Сейчас в кругу своих друзей Осокин рассчитывает погулять и повеселиться за их счёт.

Снова поднимается на забор Иван Чеботарёв и, держась за жерди, высматривает, нет ли кого знакомых, чтобы у них попросить взаймы. Вдруг он обрадованно кричит:

— Скородумов! Подь сюда, дело есть. Поддержи компанию...

К ним подходит высланный шорник Скородумов. Он одет в дешёвый, но чистый костюм, на ногах новые галоши; запахнутый ворот белой холщёвой рубахи вышит звёздочками.

Лицо у Скородумова бритое, трезвое, и весь он подтянутый, строгий.

— Вы, ребята, с ним поаккуратней,—предупреждает Иван своих приятелей, — это политический, он не любит зря брехать. У него каждое слово с весу.

— Скоморох попу не товарищ, дал бы нам трёшницу займы — и пусть себе идёт с богом, — соглашается плотник Звездаков.

Скородумов, высланный под наблюдение усть-кубинской полиции, много работает в деревнях, шорничает; деньги, конечно, у него есть, но дать займы на вино он считает зазорным.

— Идите-ка по домам, выпили — и хватит, — советует он мужикам.—Знаете, стаканчики да рюмочки доведут до сумочки.

— Ну, ну, ступай, коли так. Просим не указывать.

— Ворчанья-то мы и от своих баб вдоволь наслушались.

Когда Скородумов удаляется, Иван подсаживается ещё ближе к приятелям и тихо говорит:

— Он степенный, я на него мало и рассчитывал. Знаете, это какой груздь? Год в рестанских ротах за решёткой сидел да сюда под надзор попал. Каждую неделю к уряднику на отметку ходит. Живёт будто на привязи. За одно слово человек страдает..

— Какое же такое слово? Может, он врёт? — усомнившись, спрашивает Осокин. — Наврать — дело нехитрое, и мы можем.

— А ты по себе не суди, других на один аршин с собой не меряй. Не такой человек Скородумов, чтобы соврать. Да и какая ему корысть? А слово было сказано к месту. В каком-то польском городе забастовали рабочие. Губернатор послал солдат на усмирение. А Скородумов был старшим унтером, под командой у него взвод. Ротный скомандовал солдатам: «Пли» — по рабочим! А он — наоборот: «Отставить». И вот за это «отставить» — тюрьма ему и высылка.

— Да, — вздыхает Калабин, — стоящий мужик! Но ещё легко отделался.

— А я бы на его месте ротному штык в брюхо, а сам на виселицу. Нашему брату терять нечего,—бойко замечает Звездаков.

Посидели, помолчали. Снова взгрустнули:

— Ярмарка-то в разгаре, а мы сидим, как бабы-ке-лейницы, да языки чешем. Уж если пить, так пить,—злится Осокин.

— Рубахи или штаны пропивать с себя не станем. Пожалуй, стыдно будет,—уклончиво высказывается Турка.

— А подождите-ка тут, я сейчас, может, соображу,—Осокин поднимается с луговины, одёргивает на себе красную рубаху; она втугую натянута на его широкое туловище и еле-еле смыкается с гашником штанов.

«Рубашонка-то, должно быть, чужая, краденая»,—думает, глядя на него, Чеботарёв.

— Сидите, я сию минуту,—предупреждает их Осокин и не спеша, покачиваясь, идёт к трактиру.

Подойдя к окну, он тихонько стучит в раму.

Показывается бритая голова трактирщика Петра Смолкина.

— Тебе чего, Николаха?

— Водочки, — жалобно просит Осокин.

— Чем богат? — спрашивает трактирщик.

— А сколько дашь за узду вон с той лошади? — показывает Осокин на подводу, стоящую в стороне, неподалёку от трактира.

— Две бутылки, — не задумываясь, оценивает Смолкин.

— Маловато, Пётр Степанович. Нас пятеро. Четыре дай — и спасибо...

Тут Осокин старательно хвалит узду, что она и прочная, и выездная, а не будничная, и что ширкунцы на ней под серебро и кисть бархатная.

— Три бутылки! Вся цена, — окончательно говорит трактирщик. — Узда, кажись, неплохая.

— Смотри-ка, Пётр Степанович, — баба в тарантасе сидит, хозяйское добро стережёт не хуже собаки, один риск чего стоит.

— Ну, ладно, мне торговаться некогда, тащи.

Осокин, невинно оглядываясь по сторонам, подходит сбоку к лошади, вроде бы за естественной надобностью.

— Тьфу, дурак бесстыжий, — баба отвёртывается и продолжает беззаботно шелушить семечки...

Опорожнив все бутылки, приятели повеселели: двое вразброд запели что-то несуразное и скоро умолкли. Конопатчик хватает порожнюю бутылку и замахивается, намереваясь швырнуть её в окно трактирной кухни и угодить в голову повара. Звездаков, вырывая из его рук бутылку, увещевает Калабина:

— Дурак! Зачем! Человек в поте лица старается, ему, бедному, и выпить некогда, а ты обижать...

Калабин, ухмыляясь, растягивается на траве. Турка собирает все порожняки, и так как он уже плохо сообщает, то считает на пальцах и, к общей радости, торжествуя, заявляет:

— Братцы мои, за порожняки-то ещё, пожалуй, бутылку дадут!

Потом они идут, обнявшись, и нескладно поют:

Шёл я лесом,  
Палкой подпирался,  
Каждый кустик  
Надо мной смеялся,  
Что горе-горькая  
Пьяница идёт...

Осокин, подхваченный под руки, идя с товарищами по улице, расчувствовался, пускает слезу:

— Эх вы, мои дорогие! Дайте я вас поцелую! Вы не брезгуете мной, не сторонитесь меня, а я кто? Вор, прощальныга, а вот иду с вами!

— Ладно, Колька, не надо, — унимает его Иван, — шагай, шагай с нами.. Мы-то тебя знаем...

Турка тоже утешает его:

— И надеемся!

— Да уж надейтесь, — весело и бойко заверяет Осокин, потрясая в воздухе кулаком, — надейтесь! Случись кому против нас не своротить, дам по башке,—до поясницы щель будет!

Притопнув ногами, зычно голосит:

Я гуляю, как собака,  
Только без ошейника.

Ещё раз притопнул и, выдержав паузу, орёт:

Протокол за протоколом  
На меня, мошенника.

А публика, глядя на подгулявших:

— Во как окосели мастеровые..

Осокин поворачивается, смотрит в сторону лошади, с которой он стащил узду: в тарантасе, уткнувшись лицом в подстилку, рыдает баба, а юркий корявенький хозяин безжалостно лупит её кулаками по спине, приговаривая:

— Да где у тебя глаза были? Да на кого ты свои бельмы пялила? Где узда?..

Кончался первый день ярмарки. Солнце, нагулявшись, красное, распухшее, медленно спускалось где-то за церковной оградой, за шелестящими берёзами и то полями, уходило на короткий ночной покой, а завтра снова весь длинный северный июньский день глазеть ему со своей высоты на бурную усть-кубинскую ярмарку...

Улицы села сплошь засорены шелухой семечек, орехов, обрывками бумаг, притоптанными в пыли, досками от разбитых ящиков и всяким мусором.

В закрытых ларьках и магазинах торговцы подсчитывают барыши. В казёнке за день не осталось ни одной бутылки. В трактире тоже. Шинки втридорога сбывают водку.

Наступил светлый летний вечер. Казалось бы, добрым людям на покой, домой пора. Но вечером гулянье молодёжи, а разве не хочется посмотреть взрослым, как гуляет молодёжь, и как при этом не вспомнить своё недавнее или давнее прошлое?

Обе карусели продолжают неустанно крутиться в разные стороны. Лошадки, собачки, лебеди, санки, каретки перегружены «пассажирами». Надрываются шарманщики, до обалдения стараются гармонисты и барабанщики; охрип голос у балаганщика «петрушки».

Нарядная, весёлая деревенская и сельская молодёжь, пёстрая, как луговина в канун сенокоса, колыхается по улицам села то туда, то сюда. А когда стало чуть потемней, улицы начали пустеть. Молодёжь потянулась в сад «имени купца Никуличева». И было чего там посмотреть.

На дощатой, разукрашенной эстраде представление «знаменитого индейского факира Али Демьяновича Петухова-Северодвинского».

В заманчиво размалёванной программе объявлено:

Выступает из индийского цирка  
со своими жонглерскими и престижитаторскими  
методами искусства,  
кои после представления будут разоблачены самим

**АЛИ ДЕМЬЯНОВИЧЕМ  
ПЕТУХОВЫМ СЕВЕРОВИНСКИМ**

**ПРОГРАММА:**

1. Танцы-балеты голыми ногами по битому стеклу.
2. Прокалывание губы булавками-иглами в голое тело и подвешивание гири в полпуд.
3. Атский кузнец над головой.
4. Волшебный мешок и магический ящик, или вылезание Али Демьяновича через зашивание и завязывание.
5. Заклеивание глаз, ноздрей и губ. А так же запутывание веревкой остальных конечностей.
6. Исчезновение бутылки со стола и продчих съестных предметов.
7. Глотание огня и вытягивание ленты изо рту.
8. Глотание хрустальной рюмки и появление ее снова.
9. Явление и исчезновение монеты из рук.
10. Отрезание носа.
11. Чугунная голова одним мгновением переломит кирпич и другие номера.

*Ответственный артист индийского цирка факир  
и фокусник черной магии*

**АЛИ ДЕМЬЯНОВИЧ ПЕТУХОВ-СЕВЕРОВИНСКИЙ**

За всё время существования древнего села Устья Кубинского, со времён новгородских ушкуйников и до сего, 1907 года, такого публичного развлечения «щё» не бывало.

«Индийский факир» Али Демьянович Петухов вполне угодил запросам невзыскательной публики.

Балаганщик с «чугунной головой» был приглашён из Вологды не кем-нибудь, а председателем «общества трезвости» — прославленным пьяницей местным купцом Железковым.

... Пятеро мужиков с Николахой Осокиным во главе продолжали шататься по селу до солнечного заката. Они выкрикивали частушки, толкали прохожих, падали, снова поднимались и снова орали в пять глоток на всё село. Полицейские, видя среди них Осокина, благодарно сворачивали в переулки.

И гулять бы им, гулять, ничего бы особенного не произошло, если бы не подвёл их и себя Иван Чеботарёв. Он забылся и при народе спел невпопад частушку:

Бога нет, царя не надо,  
Губернатора уьём,  
Платить подати не станем,  
Во солдаты не пойдём.

И тогда раздались с разных сторон свистки. Коршуньём налетела стая сотских и десятских. Откуда-то взялся становой с револьвером в руке:

— Ни с места! Кто пел?! Который?..

Тут откуда-то со стороны появляется сельский староста Прянишников и услужливо показывает:

— Вот эти два, я их знаю — Ванька Чеботарёв да вот этот беспоясный, с рубанком — Звездаков подхватил последние слова...

— Прочь с дороги! — рычит Осокин.

Он сшибает с ног двух десятских и зигзагами бежит вдоль улицы. Кто-то свистит, трое бросаются за ним вдогонку, но догнать Осокина так и не удаётся.

Ивану скручивают и вяжут руки. Звездаков, размахивая направо и налево рубанком, никого не подпускает к себе близко. Чеботарёва двое полицейских тащат в кутузку, Турка и Калабин решают беспрекословно сдать; десятские берут их под руки. Немного упорствует и Звездаков; он швыряет рубанок в чей-то огород, рвёт на себе крепкую кумачовую рубаху и с досады и злости орёт на весь базар:

— Берите, сволочи! Да не попадайтесь на узкой дорожке...

Его намереваются связать, как и Чеботарёва, но чувство собственного достоинства пробуждается в сознании пьяного плотника.

— Не смей вязать! — кричит он, отпинываясь от подскочившего к нему сзади стражника. — Свяжете — на руках понесёте, либо, как бревно, по земле потащите; не свяжете — сам дойду. Я вам не Ванька Чеботарёв, он мне не указ...

Кроме Осокина, всех четверых привели в вонючую и тёмную кутузку. Там при закрытых дверях наделили их подзатыльниками и забили в угол, на клоповые нары, впредь до вытрезвления. Утром Турку и Калабина допросили как свидетелей и вытолкнули на улицу. Звездакова, избитого, с кровоподтёками и ломотой во всех суставах, вывезли на дрогах за околицу села и бросили на межу в поле высокой ржи.

Через день нашли его мёртвым. Где нашли — тут и зарыли, в стороне от кладбища, как, по обычаю, зарывают самоубийц, без молитвы и даже без гроба. Было так сделано по распоряжению пристава. На могилу Звездакова кто-то взвалил тяжёлый серый камень, не как памятник, а как приметину...

Ивана Чеботарёва урядник Доброштанов в ту ночь не тревожил. Утром он приказал стражнику разбудить арестованного и представить в правление для обстоятельного допроса...

... Взлохмаченный, с синяками на лбу, с наполовину выдранной бородёнкой, стоит Иван перед урядником. Он часто моргает мутными глазами и едва ворочает избитой головой.

Холёный, гладкий урядник барабанит пальцами по столу. Над урядником внаклон висит портрет царя. Ивану кажется, что царь тарашит на него остекляневшие глаза, и будто видят эти глаза насквозь его, Ивана, незамысловатую душу.

— Так, так, — кряхтя, произносит Доброштанов, — хорош гусь! Ну-с, мерзавец, рассказывай, кто научил тебя петь против бога и государя? Кто?

— Ничего не помню, ваше благородие, ровно ничего, пьянёшенек был, — оправдывается Иван. — Помню, меня крепко вязали, помню, как били изрядно, а за что — убей меня бог, не знаю.

— Прикидывайся, прикидывайся, умён! Ты понимаешь, чем это пахнет? Понима-а-ешь?!

Урядник держит в левой руке серую папку с двуглавым орлом и вычурной надписью: «Законы и распоряжения», в правой — ручка с пером. Папку поворачи-

вает лицевой стороной к столешнице: дескать, не всё ты должен видеть и знать.

— Не помнишь?.. Так ничего и не помнишь?

— Ничегошеньки, ваше благородие.

— Гм... А вот такую песенку слышал? — Урядник заглядывает в протокол свидетельских показаний конопатчика Калабина и напоминает Ивану пропетую им частушку.

— Слышать — слышал, многие поют.

— Кто это «многие»?

— Да разве упомнишь, — смиренно отвечает Чеботарёв, крестя зевающий рот.

— Нет, ты припомни: откуда это исходит?

— Ваше благородие, отступитесь от меня. У меня сын Терёшка трёх годов, баба молодая, да стану ли я со злого умысла петь про царя такое.. Господи!..

Видя, что дело не обещает большой выгоды, урядник вызывает стражника, приказывает ему отвести Ивана обратно в кутузку и всыпать ему ещё «горячих» — двадцать пять розог.

— Да пусть повалывается с недельку на казённых харчах, а потом выпустим, — напутствует урядник.

Иван, слыша это, говорит умоляюще:

— За мной Марья или брат Михайла могут сегодня приехать. Отпустите, господин урядник, христом богом прошу, ваше благородие...

— Больше петь не будешь?

— Какой я певец, ваше благородие! Нет уж, благодарю покорно...

— То-то! Вот как учить вас, дураков надо! А недельку для пользы дела клопов покорми!..

Так и не видел Иван ярмарки...

... Сбежав от облавы сотских и десятских, Осокин скоро протрезвился и до рассвета «промышлял» по ларькам. До открытия торговли он успел украсть мешок орехов, ящик мыла и укатил в укромное место боченок ворзани. Весь товар по сходной цене сбыв тому же трактирщику Смолкину. Затем, при деньгах и с двумя бутылками водки, он решил уединиться за село, на берег реки.

... Полноводная, гладкая Кубина серебрится от солнечных лучей. Осокин присаживается на кряж выброшенный приплёском, и любитесь на широкое плёсо устья, слившегося с Кубенским озером.

Напротив, на высоком левом берегу, раскинулось село Чирково с церковью на Лысой горе. Справа, на островах, дымят лесопильные заводы; оттуда доносятся едва уловимые шум и визг лесопильных рам.

С верховья реки, с Высоковской запани, буксирный пароходик, надсаживаясь, еле-еле тащит огромный плот леса. Сплоченные рядами сосновые брёвна отражаются на солнце золотистой желтизной. Около никуличевских лабазов, наполовину нависших над водой, стоят баржи с мукой, сахаром и кипами разного товара. Грузчики, загорелые, в соломенных шляпах, в пропотевших рубашках, бегают по сходням.

— Люди-то работают, а я дурака валяю, — осуждая себя, глядя на грузчиков и сплавщиков, вслух думает Осокин. — Не на дело я ударился... — Он, тяжело вздохнув, напоминает вчерашний день, затем достаёт из карманов штанов обе бутылки и с неистовой силой швыряет в реку.

— Хватит. Пора за ум браться...

В устье реки с озера тянутся парусники, гружённые свежей рыбой. Буксирный пароход с плотами барахтается в солнечных волнах, — он почти не движется с места.

От противоположного берега медленно плывёт паром с четырьмя подводами. Из-за барж, причаленных к берегу, скрипя уключинами, показывается раскрашенная лодка. В ней сидят приехавшие из столицы две красавицы-студентки, одетые в лёгкие розовые платья, — дочери местных купцов, и три студента в белых кителях со светлыми пуговицами. Один из них лениво помахивает вёслами, другой сидит и держит на коленях какой-то альбом, третий, звеня струнами, настраивает гитару.

— Барчуки проветриться поехали, — задумчиво говорит Осокин и, завистливо поглядывая на молодёжь, добавляет: — Вот кому житьё-то! И воровать не надо. Родители награбят...

Думая о своих делах, Осокин поглядывает на старательных грузчиков, на тюки и кипы товаров, сложенные на берегу, и бубнит себе под нос:

— Товаров-то, товаров-то — на тыщи! У мироеда Никуличева разве грешно спереть сотенки на две-три? Конечно, не грешно — и на совести ни пятнышка...

Узнала Марья Петровна, что Иван угодил в кутузку, сильно расстроилась, взгрустнула. Не помнит она, как приехала домой с ярмарки, — всю дорогу от Устья-Кубинского до Попихи плакала, проклинала свою горькую судьбину. Терёша, не понимая материна горя, поднимался в телеге, хватал мать ручонками за шею и лепетал:

— Мама, не плачь, мама, не плачь...

Потом неделю изо дня в день с корзиной пирогов ходила Марья в село, упрашивала урядника, в ноги кланялась — не помогало. Не дал он ей с мужем увидеться. А когда урядник неожиданно известил её, чтобы приехала и увезла из казематки своё «несчастное сокровище», Марья обрадовалась, прибежала домой и попросила у Иванюва брата Михайлы лошадь.

Скуп и бережлив Михайла, долго он молча тужился, не хотел давать мерина, но растрогали его чёрствое сердце Марьины слёзы. Раздобывшись, сказал:

— Ладно уж, идите с Енюшкой, запрягайте. — А потом наказ дал Марье: — Поедешь, смотри, колёса не поломай, чеку не потеряй, супонь не оборви. Да не хлещи лошадь-то. Торопиться некуда, не ездят прямо-то, а валяй по тракту, — вернее будет, хоть и дольше поедешь.

Не послушала Марья Петровна своего деверя, поехала не трактом через Елюино, а напрямик через пустошь Боблово, по неезженным просекам, по рытвинам и кочкам. Ивовый кустарник, колючий шиповник хлестали её с обочин по лицу, по голням ног, свисавших с телеги. Но Марья не чувствовала боли, то и дело махала кнутом, дёргала вожжи, а старый Бурко, чуя, что вожжи и кнут в неумелых бабьих руках, трусил нерасторопно. Напрасно беспокоился Михайла — выдержала телега на деревянном ходу, не лопнула сыромятная супонь, и мерин не надсадился.

Вот выехала Марья на тракт. До Устья-Кубинского — рукой подать.

«До дождя успею доехать», — думает она, глядя на тёмные, густые облака, и, ослабив вожжи, говорит сама с собой:

— Господи, и на небе тучи и на сердце тучи. Эх, Ваня, Ваня! Как-то ты там? Да хоть бы без суда дело

обошлось. Если избил бедного — в больницу и со-  
ваться нечего: путное лекарство фершал только богачам  
за большие подарки даёт, а нашему брату — одна кас-  
торка. Может, придётся к ворожее Пиманихе за сна-  
добьем наведаться...

В селе, поравнявшись с церковью Петра и Павла,  
Марья набожно крестится и шепчет:

— Святые апостолы Петро и Павло, помолитесь за  
грешную Марьюшку! Какая я несчастная уродилась!  
Пять годков прошло, как у вас тут венчалась. А пока-  
зались мне годки эти дольше и тяжелее всей моей де-  
вичьей молодости... Господи, никакой-то у меня в жизни  
радости — пьяный муженёк, побои, обиды от деверя, от  
золовок... И выгас же меня леший в такую семью!  
Вдовцу обрадовалась, будто бы лучше не нашлось.

Встрепенулась Марья, отогнала прочь мрачные думы  
и снова говорит:

— Ну, ладно, чему быть, того не обйдёшь, не объ-  
едешь. Назад не на что оглянуться, да и впереди не  
ахти какая сладость... Эх, кабы зажить с мужиком по-  
хорошему!.. Святые Петро и Павло, бессребренники  
Козьма и Демьян, научите его остепениться...

Марья далекомько уже отъехала от церкви, оберну-  
лась и ещё раз перекрестилась. Махнула кнутом на ло-  
шадь, и снова думки одна за другой:

«Нет, не бывать мне хозяйкой-большухой с моим  
забулдыгой. Не быть и ему степенным хозяином, —  
сроду он такой, хоть и мастер не худой. Вся жизнь моя  
и радость в Терёшке, а из него, ох, долго ждать ра-  
ботничка...».

И не заметила Марья, как въехала в село к торго-  
вым рядам, на затоптанную ярмарочную площадь.

После шумного торга село выглядело сиротливо, не-  
приветливо: всюду торчали сваи от подмостков и бала-  
ганов, валялись пустые бочки, ломаные ящики, доски,  
мочало и разный хлам. Около важни разбирали по ча-  
стям карусельный остов. Приезжие торговцы упаковы-  
вали непроданный товар и отправляли на пристань гру-  
зить на пароходы, чтобы отвезти на другую ярмарку, в  
Заозерье. Ребятишки не оставались без дела — ходили  
по опустевшей базарной площади и ковырялись в му-  
соре, искали случайно оброненную копейку..

<sup>1</sup> Строение, в котором помещают крупные весы.

Ехать Марье к кутузке мимо казёнки. Золочёный двуглавый орёл распростёр крылья над входом.

«Спалить бы все казёнки, — думает Марья, — авось лучше бы люди жили».

— Стой! Тпррру!.. Куда ты леший понёс?! — ворчит она на мерина и тянет левую вожжу.

Но Бурко, насупясь, по привычке сворачивает к воротам казёнки.

— Вот ведь чорт какой! — Марья, прыгнув с телеги, берёт лошадь под уздцы.

Вдруг, распахнув широкие стеклянные дверницы, появляется на пороге казёнки конопатчик Калабин. Завидев Марью, он, подвыпивший, балагурит:

Ох ты, Марьюшка Петровна,  
Да поехала по брёвна.  
Не помазала колёс, —  
Чорт сюда зачем принёс?..

— Ха-ха-ха! Почему такая невесёлая? А? Знаю, знаю: за Ванюхой приехала. Увези его, увези! А про Звездакова-то слышала? Царство ему небесное! Умер. И похоронили как пса, без молитвы и креста.

— Слышала, слышала, — нехотя отвечает Марья и умоляюще говорит Калабину: — Будь добрым, ради бога, не ходи к нам в деревню, не смущай Ивана на пьянство.

— Он не ребёнок, сам понимает.

— Дай ты ему остепениться, — спрашивает Марья.

— Ладно, не покажусь...

До вонючего клоповника (его называют ещё кутузкой, казематкой, чижовкой) Марья под уздцы ведёт Бурка.

Дежурный стражник, узнав, за кем приехали, брякнув ключами, отпирает дверь.

Прежде чем вызвать Ивана, он, закрыв своей широкой спиной дверь в кутузку, пускается с Марьей в переговоры.

— Хм, так, так! Соскучилась?

— Ясно, заботушка покою не давала.

— Н-да... Долго ещё твой Ванька в дело не погодится.

— Да уж, кто к вам в ручищи попадёт, не возрадуется.

— Жив — и то слава богу. Скажи спасибо мне да при случае отблагодари, — тихо говорит полицейский, — а то, если бы не я, твоему Ваньке как-то, в Сибирь бы упекли. Еле урядника и пристава упротил.

«Врёт, благодетелем прикидывается, а, наверно, сам первый бил его», — соображает Марья и лукавит:

— Спасибо, родной, а отблагодарить-то мне тебя нечем.

Полицейский, крикнув, распахивает дверь:

— Иван Чеботарёв! Вон отседава!

Бледный, измученный, невымытый и непричёсанный, в измятом, затасканном пиджаке, в запачканных брюках и в опорках вместо сапог, опираясь на косяки, показывается в дверях Иван. Свет режет ему глаза. С минуту он ничего не видит перед собой, часто моргает и что-то глухо ворчит себе под нос.

— От свету божьего отвык, — замечает стражник. — Ну, ну, дружок, не ворчи, с сумой да с тюрьмой не бранись. Кто знает, бывать ещё тебе у нас в гостях.

Но Иван его не слушает. Он видит плачущую Марью, Бурка с телегой, и ему хочется скорее домой. Спускаясь с низенькой лестницы, он осторожно щупает поясницу и, протонав, идёт к телеге, с трудом в неё влезает и сразу же ложится на бок.

— И телега пустая, хотя бы сенца положила.

— Круто собиралась, забыла, — со скорбью в голосе тихо отвечает Марья.

— И ни шанег, ни опекишей ты мне не привезла, — живи тут, мужик, как знаешь. Дохни с голоду!

— Да не ворчи, и так тошнѣхонько, — оправдывается Марья. — Спроси вот у него, — кивает она в сторону полицейского, — кажинный день к тебе ходила, пирогов приносила, да не было к тебе допуску.

Марья, подтянув чересседельник, снимает с себя ватный казачок и кладёт его в задок телеги.

— Это тебе, Иван, под голову.

— Спасибо.

— Не за что. Как тебя расчехвостили-то! Ну, лежи. Но, но, Бурушко, поехали!

Взяв в одну руку вожжи, в другую кнут, Марья идёт рядом с лошадыю.

— А ты садись. Места хватит, я отодвину ноги. Садись, — добреет Иван, — только на меня не облакачивайся — больно, нет на мне живого места...

Марья садится на облучок телеги рядом с Иваном и, не глядя на его худое лицо, спрашивает:

— Как ехать-то, Бобловами или трактом?

— Давай трактом, подальше будет, зато меньше тряски.

Долго едут молча.

По сторонам дороги на узких полосках от легкого ветерка волнами перекачивается колосистая рожь. Между полосками ржи кое-где зеленеет жидкий овёс, цветёт горох и щетинится усатый северный низкорослый ячмень.

В прогалинах, на межах, там и тут звенят косы. Густая созревшая трава ложится на прокосах и, высыхая, распространяет приятный запах.

Иван осторожно приподнимается в телеге, глядит на косарей и, чтобы его не заметили, снова, согнувшись, ложится на бок.

— Косят ведь люди-то.

— Да, косят.

— А наши деревенские?

— И наши собираются.

— Собираются? — переспрашивает Иван. — А я вот недельки две-три не работник.

— Здорово отлупили?

— Очень. Хуже, чем Звездакова.

— А ты слышал, Звездаков, говорят, умер от побоев?

— Ну-у-у!

— Вот тебе и «ну»! И с тобой это может стать, помянешь меня, да поздно будет. Смотри, до чего докатился. Чует моё сердце: быть нашему Терёшке сиротой... — Слезы катятся по исхудалым загоревшим щекам Марьи. — Много я передумала, как за тобой поехала, чего только в голову не лезло.

— А ты меньше думай, чтоб голова не распухла.

Иван снова приподнимается в телеге, глядит на жену, измученную и печальную, и, не решаясь сказать грубого слова, прислушивается — пусть говорит баба.

— И думала я, Иван, о себе и семействе нашем, о тягости всей: укоры, упрёки, ругань, побои — вот что я вижу от тебя и от деверя Михайлы. Ни ласки, ни доброго слова, хоть бы в шутку, и то не вижу... Пять годов прожила замужем, а что ты мне хорошего в жизни дал? Ничего! Припоминаю, за все пять лет ты только три ра-

за меня поцеловал. Хошь, скажу, когда это было: на свадьбе раз, когда нам сваты и сватья крикнули «горько», да раз в первую ночь, и ещё раз в пасху, в первый год замужества. Скажи, был ли ещё четвёртый случай? Не было, Иван, нет, не было. А припомни-ка: часто ли зовёшь меня по имени—Марьей? Эх, Иван, ведь три года ты меня кликал, как скотину какую: «Эй, ты, Машка!». Уши мне резало, а я и слова не скажи, а то оплеуха. Помнишь, когда ты пьяный упал с повети и разбился, я делала тебе примочки, отводилась с тобой, и тогда ты меня впервые назвал Марьей. Так я не поверила своим ушам. Подумала: уж не богородицу ли кличешь? И я в тот день ходила, как на празднике. Поумнел, казалось, муженёк, ласковый стал... Господи, дура я, дура, как мне мало надо...

Иван слушает жену и, болезненно вздыхая, дивится: откуда берётся в ней столько горечи, столько душевной накипи? Ведь за пять лет совместной жизни она до сего дня была терпелива, молчалива, а тут откуда у неё такая уйма слов взялась? И как это она всё припомнила?

— И вот придумала я, — продолжает Марья, — уйдём-ка давай от Михайлы, отделимся от него и от золовок. Встанем на свои ноги; в большой семье вся большая на Михайле, ни тебе, ни мне жизнь не впрок и работа не лежит близко к сердцу. Михайла большак, всё у него в руках, норовит дочерям в приданое; Енька, сынишка его, под носом ещё не высохлю, а во все дела суётся. От укоров тётки Клавди кусок в горло нейдёт. Вот она и жизнь. Уйдём от них, Иван, лучше заживём.

— Подумать следует. Нельзя с бухты-барахты, — отвечает Иван на жалобы жены, — подумать надо, избанная ещё не отстроена.

Но Марья не понимает:

— Наплевать, лето проживём, а к зиме и тепла в новую избу наживём. От вина тебе отвыкнуть надо.

— Это верно, — соглашается Иван, — пока не вижу проклятушей бутылки, вино на ум не идёт, а как увидел — затрясёт, ну, не жить, не быть, а смочить горло надо.

— И какой вкус в вине, не понимаю, — удивляется и негодует Марья, — горесть одна, а горести у нас и в жизни много, до смерти не прихлебать! А ты ещё как напьёшься, так и выкинешь несуряцицу. Уж не обидься, прямо

скажу: трезвый не умён, а напьёшься — так всем людям на смех. Вон елюнинские мужики тебя по всей волости просмеяли..

— Кто? — резко спрашивает Иван и сердито двигается в телеге.

— Николаха Караганов—вот кто, да не он, по правде-то сказать, а ты сам себя посмешищем делаешь. Весной дело было,—помнишь, в Николин день ты пьяный и мокрый весь приехал?

— Ну и что?

— Мужики-то и рассказывают елюнинские: спишь ты спяна в телеге, а Бурко свернул к пруду напиться. Ты очнулся и заорал: «Перевозчик, людай паром!»; тут на другой стороне пруда Николаха Караганов стоял, он и крикнул тебе: «Езжай, Иван, вброд, река не глубока». Ты натянул вожжи и затесался в пруд. Хорошо ещё из телеги не вывалился, а то бы утонул, оставил бы меня вдовой.

— Вдовой, говоришь? Будет сказки-то рассказывать, гляди, куда мерин воротит, не опрокинь телегу в канаву.

Марья выправляет Бурка на середину дороги и снова, задумчивая, помахивая кнутом, идёт рядом с телегой по обочине. Иван долго молчит, потом, не поднимая головы, спрашивает:

— Слышь, а ты бы хотела быть вдовой?

— Не сладче и без тебя-то будет.

Она заглядывает ему в лицо, в мутные, полуживые глаза. И ей кажется, что за эту неделю в казематке Ивану заметно укоротили век.

— Боюсь и думать об этом, — продолжает она начатый разговор, — с мужем нужа, а без мужа и того хуже. Остаться вдовой — хоть волком вой..

— О разделе помышляешь, спишь и видишь себя полной хозяйкой в доме? Может, и надо мной хочешь хозяйкой быть?

— Ну и что? Разве я урод какой? Али дура? Почему я не имею права быть хозяйкой? — отвечает Марья, окончательно осмелев.

— Не бывать этому! Никогда ещё мужик под бабой не ходил. Если я встану на праведный путь, так не по твоему хотенью, а сам по себе. Твоего ума-разума не хочу, побереги для себя. Дело ваше бабье нехитрое: избу подмести, обед припасти, скот обрядить да детей народить.. А в остальном мужик вывезет.

— Вот ведь ты какой, терзатель мой!

Так, то сердясь, то мирно разговаривая, супруги незаметно подъезжали к своей деревеньке Попихе.

Солнце поднялось на полдень и выглянуло из-за лохматых туч. Иван зажмурил глаза и, отвернувшись от солнца, пытался вздремнуть. Теперь только Марья заметила, что на ногах у него вместо сапог остались одни опорки.

— Господи! И голенища пропил?

— Нет, не открывая глаз, отвечает дремлющий Иван, — подменили. Кто-то надел мои сапоги, а опорки мне оставил.

— Несчастливая ты головушка!

— Каюсь, жёнка, каюсь.

— Скажи спасибо, что деньги в ярмарку я у тебя отобрала.

Иван повернулся в телеге, привстал:

— Брату отдала кошелёк?

— Не такая уж я дура.

— Где же тогда деньги?

Марья молчит, потом решается сказать правду:

— В пустоши за деревней под кочку спрятала. Станем делиться — пригодятся, там около полусотни рублей.

— Ишь ты! А что же я брату скажу? Обокрали, мол, — и делу конец? Да? Нет, это нехорошо. Придётся поделить.

— Ну, как хочешь, а только деньги под кочкой.

— Ладно, там будет видно.

До Попихи осталось проехать одно поле. Впереди лениво помахивает крыльями ветрянка-мельница, за ней, покосившись, стоит дряхлая толчая. Пастух, рослый парень Колька Копыто, босой, в кропанных портчонках, в выцветшей, без пояса, рубашонке, тонит прочь от толчен стадо: он боится, как бы толчая не рухнула и не придавила телят. Поле пересекает речка Лебзовка. Змейкой извивается она по опушке еловой рощи, меж кустов, лугами выползает она на поле, к Попихе, и уходит дальше, в пучкаса. Днём Лебзовки совсем не слышно, а ночью она журчит по камушкам, как будто только и пробуждается, когда люди спят.

Большой бревенчатый завод-маслодельня на Лебзовке. Завод принадлежит богачу — сельскому старосте Прянишникову. Сорок окрестных деревень сдают ему

молоко «под товар», и все сорок деревень всегда у него в долгу. У маслодельни на речке шалют ребятишки: одни купаются и ловят портками пескарей, другие строят плотины из камней и дерна.

— Глянь-ко, нет ли там нашего Терёшки? — интересуется Иван, с трудом приподнимаясь в телеге.

— Да вон тётка Клавдя нам его навстречу тащит.

— Иван да Марья, подвезите своего парня! Тяжелющий стал, от ребятишек отстаёт, а носить его — руки устали, — идя навстречу, верещит писклявым голосом Клавдя.

Терёша юркнул в телегу. Встретив неприветливый взгляд отца, надулся, и никак не поймёт он, почему отец стал такой хмурый, не похожий на себя, будто чужой.

### III

В избе за верстаком сидит злой Михайла. Подмётывая к сапогу стельку, он сгоряча рвёт щетину и сквозь зубы ругается. Марья сама распрягает Бурка, а Иван, опираясь на поручень, медленно по взъезду поднимается в избу. Чувствует он себя тревожно, болезненно, стыд одолевает его. Он не знает, как взглянет в глаза брату, о чём и с чего начнёт с ним разговор. Зайдя в избу, он истово крестится на образа и нарочито бойким голосом говорит:

— Здорово ночевали, здравствуйте!

Михайла не отзывается на приветствие брата, молчит, сделав вид, что не заметил его. Енька тоже молчит.

— Вот как! — ещё громче говорит Иван, стараясь держаться непринуждённо. — Вот как! Хотите со мной в молчанку играть? Ну и чорт с вами!

После продолжительного молчания Михайла ехидничает:

— Здравствуй, герой с дырой, здравствуй...

— И на этом спасибо, — отвечает Иван.

Енька несдержанно смеётся.

— Чего ты гогочешь, сосунец?! — ворчит Иван на племянника.

— А ты не хорохорься, братец, — с напускным спокойствием говорит Михайла. — Не важничай. Подумаешь, какой князь!

Енька опять прыснул со смеху.

Иван ему на это резко:

— Молоденек подхихикивать! Знай своё дело, тачай сапоги, а не то ступай на улицу собак гонять.

Енька замолк. Он всегда злится, если ему шутя или всерьёз кто-либо предлагает заняться детскими забавами. Ему четырнадцать лет, а он считает себя взрослым, старается во всём подражать отцу: отец смеётся — и Енька улыбается, хотя бы и неизвестно над чем; отец сердит — и Енька дуется; отец ворчит — и Енька ему помогает; отец обворовывает соседа — и Енька учится прихватывать чужое; отец ненавидит брата — и Енька относится к дяде Ивану так же. Он видит, что рано или поздно Иван может вырвать из дому такой же пай, какой достанется и ему с отцом.

— Ну, что спину-то щупаешь? Садись да шей, — предлагает Михайла и с ненавистью смотрит на Ивана, — пора за дело братья, хватит, нагостился. Сегодня шей, а завтра косить пойдём, сначала в овины, потом на пустошь.

— Нет, брат, я пока не косец,

— Прикидываешься?

— Зачем прикидываться! Не могу.

— Крепко тебя измолотили?

— Дай бог тебя бы так, — отвечает Иван и, грустно усмехаясь, ходит взад-вперёд по избе. Уловив запах тёплых пирогов, он обращается к сестре: — Клавдя, накорми-ка меня, может, в последний раз...

Михайла настораживается и, как будто не расслышав, спрашивает брата:

— Чего, чего ты сказал, чего?

— Делиться с тобой хочу, вот чего.

Эти слова заставили вздрогнуть Михайлу. Он снимает очки, запутанные дратвой вокруг головы, молча кладёт их на верстак и долго и часто моргает бесцветными глазами.

— Так, так, братенёк! Хозяйство рушить? С кем же ты это надумал?

— Де-ли-тьсяя?! — протяжно, чуть не со стоном спрашивает Клавдя, подойдя от печки к Ивану. — Да ты что, с ума сошёл?

— Может быть, и сошёл, но жить с вами вместе больше не желаю.

— Братец, слышишь? — говорит Клавдя, обращаясь к Михайле. — Это его Машка взбаламутила.

— Ну что ж, — стараясь казаться спокойным, решает Михайла, — делиться, так делиться. Только сначала отчитайся, сколько за сапоги на ярмарке выручено да сколько пропито — вычти из своего пая.

— Всё пропито, до копейки! — буйный огонёк сверкает в мутных глазах Ивана.

— Как так — до копейки?

— А так, как бывает: приятели помогли, — поясняет Иван, про себя подумав: «Ладно, позлись, скряга, деньги в сохранности и поделить их успеем, ежели заговоришь по-хорошему».

Михайла затрясся. Тяжело дыша, он встаёт со скрипучей табуретки, обитой старым голенищем. Глаза налиты кровью, в правой руке крепко зажата деревянная колодка.

— Всё, говоришь, пропилил, цыган черномордый, всё?! — и налаживается бросить колодку в брата.

Иван поднимает с полу увесистую осиновою доску-крюльницу и спокойным голосом предостерегает:

— Тише, братец, иначе тебе башку расколю.

Драки не произошли. Решимости у братьев на это хватило бы, но Иван, выпуская доску из рук, сознался, что он пошутил, что деньги Марьей сбережены от пропоя, никуда они не девались. Михайла сплюнул себе под ноги, положил колодку в угол, на кожаные лоскутья.

Между тем Алексей Турка, узнав, что Марья привезла из казематки Ивана, оделся и побежал к Чеботарёвым. Довольный возвращением Ивана, он живо интересуется:

— Здорово выдрали, а? Да зачем так долго тебя держали?

Иван, повернувшись к Турке спиной, загибает на себе рубаху:

— На-ко, вот, полюбуйся, дружок.

Синеватые полосы и кровавые язвы длинными рубцами вкривь и вкось скрещивались на пояснице и ниже. Клавдя, будто ненароком заглянув, морщится. Михайла посмотрел и, усмехаясь, говорит:

— Заслужил, значит... Ишь чем расхвастался, какой великомученик! Ни за что, ни про что не исхлестали бы.

Турка, покачав головой, возражает:

— А всяко бывает, из-за пустяка могут истерзать. Сильно, сволочи, исполосовали, сильно. Мы вот в серости выросли, а ведь скотину так не бьём.

— Так то скотину, а то нас, — со вздохом говорит Иван, опуская рубаху. — Как знать, может, придёт время, мы не с нагайками, а с топорами пойдём на жи-водёров. В городах-то, говорят, вон рабочие снова по-пугивают купечество и начальство. Шорник Скородумов откуда-то об этом знает. Может, ещё народ президента заместо царя выберет, тогда этому своеволию конец..

— Тебя тут не спросят. До бога высоко, до царя далеко, не тебе судить, — глухо отзывается Михайла. — Что бродишь по полу? Садись да за дело принимайся.

— Сел бы, да не сидится. Могу только или стоять, или лежать на животе.

— Так тебе и надо, впредь к начальству почтительнее будешь, — поучающе говорит Михайла и берётся за работу.

— Кто? Я? Почтительнее? — выкрикивает Иван и, вскочив на лавку, срывает со стены лубочную картину с изображением царя, царицы, четырёх дочерей и наследника; затем берёт с верстака шило и поочерёдно выкалывает глаза всему царскому семейству.

Турка испуганно голосит:

— Что ты делаешь?.. Иван, да ведь ты на каторгу просишься! Сейчас же сожги эту картинку, да чтобы и пеплу от неё не осталось.

Иван понял, что сделал неладно, однако ещё храбрится:

— Да разве это царь? Япошка — и тот ему спуску не дал.

Михайла, не то из трусости, не то из преданности царю-батюшке, угрожает брату:

— Не смей такое при мне байты! Ведь не про пастуха Николку Копыта так рассуждать. Пастуха мы поряжаем, а царя бог помазывает, не нам его судить. Не смей язык высовывать!..

Заметив, что братья вот-вот поссорятся, Турка застёгивает на себе пропитанный дёгтем пиджачонко и, уходя, говорит:

— Поправляйся, Иван, да заглядывай ко мне, поговорим.

О предстоящем дележе братья Чеботарёвы Турке не поведали. Им казалось, что удобнее делиться без шума, без разговоров, чтобы никто лишний не знал и без надобности не совался в их дело.

Пока у Чеботарёвых сидел Турка, Клавдя успела сбежать в чулан и двумя замками заперла там свой большой кованый сундук. Михайловы дочери Польшка и Манька, прибежав с огорода, тоже заперли два одинаковых новых сунух, с морозом по жести, сундука. Енька на повети предусмотрительно зарядил шомпольный дробовик, спрятал его в потайное местечко над наёмные ворота.

Когда все собрались в избу, Михайла зажигает лампадку перед «нерукотворным спасом», трижды крестится и, обернувшись к домочадцам, елейным голосом говорит, как проповедник:

— Большое дело, храни господи, собираемся делать. Сто лет покойные отец с дедом добро наживали, а тут раз-раз — и всё на части. Ну что же, давайте, благословясь, приступим...

У Михайлы на глазах слёзы, совестно мужику плакать, а тут прорвало.

Молятся молча, при закрытых дверях. В скобу наискось поставлен ухват — на случай, чтобы кто-либо из соседей не открыл раньше времени великую тайну.

— Как, с понятыми или без понятых? — спрашивает Иван брата, истово крестясь и не глядя на засиженного мухами спасителя.

— Давай без греха, без понятых, да не будем народ смешить, это, брат, не шуточку ты затеял со своей Машей, — невесело отвечает Михайла и, подумав немного, тихо говорит: — Известное дело, делить станем на три пая: на меня пай, на тебя пай и на Клавдю тоже пай.

Клавдя при упоминании её имени всхлипывает и грязным передником трёт единственный зрячий глаз, постоянно красный, заплаканный.

— Брату Михайле пусть два пая, — говорит она сквозь слёзы, — я ему свой уступаю, я от Мишеньки до смерти никуда ни на шаг не уйду. Мне не замуж итти.

— Живи с богом, не гоню, — утешает её Михайла. Клавдя падает Михайле в ноги.

— Ну, это уж ты зря, я не бог, чего мне кланяться. Уступаешь пай — живи с богом, не гоню, — повторяет Михайла и помогает Клавде подняться...

Жили Чеботарёвы среди других попихинских обитателей сравнительно исправно. Четыре коровы, овец полдюжины, кур три десятка. Хлеба своего на весь год

хватало с излишком. В большие праздники появлялась белая мука-крупчатка, пекли аршинные пироги со свежей рыбой, пиво варили целые кадушки.

В доме Михайлы всё было слажено и пущено на верный ход. Клавдя ведала сбытом молска в маслодельню Прянишникова, Полька — старшая дочь Михайлы — ухаживала за овцами, шерсть копила на валенки, овчины хранила, Манька за курицами присматривала и разводила цыплят. Марья — Иванова жена — обряжала коров, поила, кормила, доила, солому им постилала, Енька жеребца выращивал, Иван Бурка холил и больше за верстаком сидел. За Михайлой оставалась забота по всему дому — его хозяйский глаз. Сапогами торговать он доверял Ивану. Однажды, вроде бы на помощь ему, как-то послал своего сынишку Еньку. Но понял Иван, что Енька ему не помощник, а помеха, наделил он его пинком на базаре и не подпускал к себе близко. Сам Михайла на людях казался робким, косноязычным и неумелым продавцом. А Иван, — тот знал, как надо обойтись с покупателем. Слово скажет — будто приворожит:

— Налетай, покупай, сам бы носил, да деньги надо. Крепкий товар, такими сапогами три года о зауголок хлещи — ни чорта им не станется. Подошва краковская, стелька гамбургская. В городе такие сапоги только офицеры да енералы носят!

Одно худо — к водке Иван был равнодушен. Любил он и в картишки с зимогорами поиграть и подраться непрочь, если случалась в этом надобность. Но так вообще он не хуже других, и самостоятельное житьё в разделе от брата его не пугало, тем более, что у Ивана никакое дело из рук не валится. Сапоги он шил замечательно, мог и по столярному делу: двери сколотить резные, киоты к иконам, телегу или сани починить — всё у него получалось хорошо, просто, красиво.

И вот в семье Чеботарёвых начался делёж.

— Разваливается наш дом — полна чаша, — просто-нав, говорит Клавдя.

Она выходит в закутье и выбирает там на полке самый круглый, большой и румяный каравай ржаного хлеба, торжественно выносит и кладёт посреди стола.

— Еня, бери лист бумаги да карандаш, пиши делёжную, — распоряжается Михайла и, тяжело вздохнув, упрекает брата: — Эх, Иван, Иван! Ты нарушитель и

всему этому затейщик. Хозяйство-то вести нелёгкое дело, поживёшь — спокаешься.

— А там видно будет, не страшай, управимся.

— Хоть и золотые у тебя руки, — продолжает Михайла, — а винцо тебя сгубит, вот помяни меня.

— И ты, брат, не ахти какой мудрец по хозяйству. Больше не рассудком, а нахрапом да скупостью наживал добро-то. Уж лучше быть мне самостоятельным. Я не в тебя, брат, уродился, — и нечего мне указы давать. Буду пить, буду и зарабатывать.

— Не противьтесь, братцы, — уговаривает их Клавдя, — подобру-то поздорову ужели нельзя? Иван, ты помоложе, будь уступчивее.

Братья молчат. Клавдя берёт нож и умело, ровными частями разрезает каравай на три доли:

— Вот так и дом наш благодатный со всей живностью, с пристройками, с наделами покосов и пахоты делите поровну мирно. А где мир да лад, там не надо и клад.

— Это верно. Худой мир лучше доброй драки, — как бы про себя соглашается Иван и торопливо смотрит украдкой на Марью.

Та не может скрыть своей радости, глядит весело, живо бегают по избе и без надобности перебивает и переставляет с места на место глиняную посуду. Ивану что-то не нравится Марына преждевременная радость.

Стали делиться. Ивану досталась новая, недостроенная изба на краю деревни, лошадь Бурко, пёстрая корова, старый самовар, десять куриц, овец две штуки...

Делились тихо до тех пор, пока не зашёл разговор о сбруе. Тут Михайла стал упираться, он никак не хотел уступать сбрую Ивану; свой жеребёнок скоро подрастёт, сбруя понадобится.

Иван стукнул кулаком по столешнице.

— Делить надо по чести, — говорит он, — или я возьму понятых и старосту. Раз мне Бурко, мне и сбруя.

Михайла ему на это отвечает, не тревожась:

— Ну и что, зови старосту, можно ещё урядника позвать да рассказать ему, как ты царский патрет изувечил шилом. Давай зови старосту.

Иван поперхнулся, молчит.

Михайла продолжает диктовать Еньке:

— Сани, телега, сбруя вся — мне и Клавде. А Ивану пиши: двои наземные вилы, два молотила, две косы, двои грабли, соха старая, десять крынок, две кадки...

— Ладно, ладно, хапай. У тебя, скряга, три свадьбы на носу, они тебя вытряхнут, — говорит как бы себе в утешение Иван...

На другой день попихинские мужики и бабы стали косить. Они рассыпались пёстрыми рядами и шли друг за другом, сверкая на солнце остро отточенными косами-горбушами. А Михайла с Иваном, взяв по топору, незаметно от соседей задворками пробрались в ржаное поле и начали делить полосы. День выдался хороший, без единого облачка. Над цветущей, приятно пахнущей рожью, там и тут усеянной голубыми глазастыми васильками, бесшумно кружились ястребы, высматривая себе добычу. На межах и прогалинах звучно кряхтели коростели-невидимки. Ржаное поле сливалось с овсяным, изворотами уходило между соседних деревень и упиралось вдаль в редкий перелесок.

— Рожь нынче будет на славу, если ветром цвет не сдует, — говорит Михайла, чтобы не молчать.

— И ячмень ничего, а овёс в низинах и того лучше, — с той же целью пристаёт Иван к словам Михайлы.

Оба опять молчат, не зная, о чём говорить. Наконец приступают к дележу полос. Михайла отводит Ивану полоски, которые похуже, — глинистые, с вымочкой и жидкой мелкоколосной рожью, — и говорит:

— Вот тебе эти, вырубай на заполоске букву «иже», а я против своих и Клавдиных полос «мыслете» высеку.

Иван чувствует, как у него от обиды сжимается сердце.

— Знаешь что, брат, давай по-хорошему: у тебя скота больше остаётся — и навозу будет больше. Тебе сподручней малюдобренные полосы...

— А я тебе зимой навозу хоть сорок возов могу уступить, — отвечает Михайла, — только знай вози, не сам, так Марья...

— Нет уж, спасибо. А полюсы дели без обиды, давай под жеребий.

У Михайлы ширятся глаза и топор ходит из одной руки в другую.

— Не могу уступить, не могу, — бормочет он дрожащим голосом. — Я старше, я больше твоего трудился.

Нам с Клавдей, а не тебе выбор. Мы с ней горбом сколько годов трудились, не с твоё...

Не стоворились братья. Половину полос юни кое-как поделили, а для дележа остальных полос понадобились понятия.

Хмурые, порознь возвращаются братья с поля. Михайла идёт впереди; Иван, играя топориком, бредёт саженьях в пятидесяти позади.

У одной полосы Михайла замешкался. Иван проходит мимо, предупреждает его:

— В понятия давай возьмём таких мужиков, чтобы ни за тебя, ни за меня не гнули, а по справедливости.

— Ладно.

И, снова ускорив шаг, Михайла оставляет Ивана позади себя. Потом он сворачивает в сторону и на полоске поднимает борону, прячет её в густую рожь на полосе, против которой по луговине значится чёрное вырубленное клеймо «М».

Иван замечает это, отстаёт ещё чуть-чуть от брата, вытаскивает борону и рубит её топором надвое. Одну половину бороны оставляет на старом месте, а другую тащит туда, где поблизости вырублено «И».

Два дня бродили братья по полям, прислушивались к суждению понятых и, наконец, без большого скандала раздел кое-как завершили.

Привезли старосту Прянишникова, угостили водкой, петуха поджарили и узаконили раздел приложением к описи казённой печати.

В деревне дивились миролюбию братьев Чеботарёвых:

— Диво-дивное! Оба неуступчивые, а обошлись без драки!..

#### IV

Попиха выстроена на один посад. Пятнадцать сереньких, бревенчатых изб окнами к югу, задворьем на север расплзлись вдоль дороги.

Стара Попиха. Слепому Пимену за девяносто перевалило; четырёх царей пережил, при пятом живёт, а помнит Пимен с малых лет, как девять раз Попиха горела, снова отстраивалась не лучше, не хуже, не больше и не меньше—всегда пятнадцать изб. В тот год, когда ослеп Пимен, из его окна было видно десять окрестных деревень: Боровиково, Копылово, Кокоурево, Беркаево, Ва-

ганово, Беленицыно, Телицыно, Шилово, Зародово и Никола-Корень.

В давние времена вокруг Попихи стоял лес, а за лесом невидимо прятались названные деревни. Там, где теперь поля и подсеки, раньше, в детские годы Пимена, водились медведи.

Время изменило местность. Леса теперь поблизости вырублены, а медведи кое-где водятся вёрст за двадцать отсюда.

Глубоко корнями в прошлое уходит Попиха, а в ширь не подаётся. Родятся люди, женятся, замуж выходят, умирают, а прибыли в Попихе нет и нет.

Народ живёт не шибко богато. До раздела позажиточней других жили братья Чеботарёвы, а остальные — так себе, через пень колоду, кто чем может: Чеботарёвы братья — хозяйством и сапожным промыслом; Мехуховы братья тем же занимаются, да ещё по конным ярмаркам промышляют. Николаха Бёрдов уходит на всю зиму сапожничать в Вологду к богатым хозяйчикам. Вася Сухарь бродит по окрестным деревням и псалтырь над покойниками читает, да ещё умеет чинить валенки и переплетать старые книги. Алёха Турка — сапожник, на хорошем счету у заказчиков, но вино никак ему не даёт встать на ноги. Про Пимена говорить нечего, стар стал, ослеп, никуда из дому не ходит, внучки старика кусочками поддерживают. Афоня Пронин с зятем-приёмышем краденое скупают и живут с оглядкой. Николаха Копыто — бобыль безземельный: летом скот пасёт, зимой гнездится кое-где у вдовушек. Миша Петух часто бывает на отхожих заработках. Косарёвы — Фёдор с сыном Пашкой — тоже в деревне почти не живут, весной уходят на баржах с тёсом от кубинских лесопромышленников, а зимой на заводе у Никуличева доски в стопы укладывают.

Об Осокине можно одно лишь сказать, что после усть-кубинской ярмарки он исчез. Были слухи, что он дал обещание попу поступить в монахи и уехал в зырянскую землю, в Усть-Куломский монастырь. Слухи скоро подтвердились. Осокин написал в письме кривой Клавде, что его теперь зовут уже не Николай, а Никодим. Много по этому поводу было разговоров, всех крайне удивляло, как могло случиться, что такой буйный человек мог оказаться в монастыре. Значит, был на душе грешок не маленький...

Бедна Попиха: домики неказистые, лесу своего нет, строить крупные избы не из чего. В верховьях Кубины лесу сколько угодно. Но тот лес мужикам не по карману. В дачах промышленников Никуличева, Рыбкина и Ганичева. в верховьях Кубины без умолку раздаётся стук топоров, звон пил. Лес валят и сплавляют к заводам, там пилят и на баржах отправляют в Питер и даже за границу. Деревенскому люду по воле государевой издавна достались пустоши с мелким кустарником да чахлые болота и неудобные поля на старых подсеках.

Бедна Попиха. Стоит она вблизи ют извилистой речонки Лебзовки. Водятся в речонке мелкие щурята и пескари. Зато по соседству, в сторону к Кубенскому озеру, где необъятные пожни монастырские, там богаты всякой крупной рыбой пучкаса.<sup>1</sup> Если и случается здесь попихинским мужикам бреднями ловить в тех пучкасах рыбу, то украдкой, как бы на сторожей не нарваться да под суд не попасть.

Бедна Попиха, однако справляет она в году два престольных праздника. Один—на тихвинскую богоматерь, другой—на день Фрола и Лавра. Праздники с водосвятием, с крестным ходом, с пивом, вином и драками. Много вырывают из крестьянских пожитков эти два праздника: попу—от богомолья доход, кабатчику-шинкарю—от вина доход, кулаку-барышнику—от торговли тоже доход, а мужику в праздники немного веселья, а после праздников снова нужда и тяжёлый труд.

В тихвинскую в этом году после обхода полей с водосвятием собрались мужики на лужайке около пруда. Пономарь, беззубый, но голосистый, в выцветшем подрыснике, седой и лысый, похожий на Николу-чудотворца, беседовал с мужиками. Он им рассказывал о войне с Японией и почему эта война кончилась не в пользу России.

— Политиканты виноваты: народ мutilи, солдат мutilи. Опять же вера в бога пошатнулась, и вот нам такое наказание—побил япошка...

Пономарь этот из всего причта не был завистлив, любил поговорить с прихожанами и слыл за большого грамотея. Даже начётчик Вася Сухарь уступал ему в познаниях и никогда не вступал с ним в споры. Слепой

---

<sup>1</sup> Продолговатые озёрные заливы.

Пимен, когда речь шла о чём-нибудь давно минувшем, всегда напрягал свою память и поддакивал пономарю.

— Ваша Попиха в нашем приходе самая родовитая, самая старая среди других деревень, — шамкая, говорит пономарь после того, как обо всём переговорено.

— Наша родовитость небогатая, в старину жили — небо коптили, и теперь то же. А вот вы, батенька, научили бы нас, как из бедности-то вылезти, — спрашивает совета Алексей Турка. — А то ходите, ездите, бога славите, а нам от этого ни тепло, ни холодно. Нищий придёт — подай, поп придёт — подай, старосте — оброк подай. А нашему-то брату, нам-то кто подаст?..

— Вам бог подаст, — скупое отвечает пономарь. — Раньше-то, когда была ваша Попиха монастырская, дородно и сыто жили старики.

— Я что-то не помню такого чуда, чтобы дородно жилось, — возражает Пимен. — Век голытьба. А то, что мы монастырю были принадлежны, это на моей памяти ещё было. Корневские да богословские деревни барину Головину принадлежали, уфтюжские — Межакову, а наши были монастырские.

— Есть об этом бумаги, сам я читывал, — говорит пономарь убеждённо. — В одной грамоте сам царь Алексей Михайлович предписывал на Спасову обитель игумену со братией на ладан, на свечи, на пропитание людей монастырских и на вино — претворять оное в кровь христову — брать с Попихи ежегод хлебом пять четвертей, жита разного по десять четвертей, скота двенадцать телушек. Оную толику расходовать по игуменью усмотрению. Грамота та подлинная царём подписана, дьяком Андрюшкой Немировым скреплена..

— Нынче бы нам от такой напасти не выдюжить, — замечает Сухарь, — сыто, видать, жили монахи от трудов наших попихинских старичков, царство им небесное.

Турка не вытерпел, толкает в бок сидящего рядом с ним Ивана Чеботарёва и говорит, покачивая головой:

— У мужика всегда на шее петля: ждём манную, а и пшена не видим. С масленицы, кроме Чеботарёвых, у нас в деревне всё мякину жрут. А от этой пищи брюху одна сплошная худоба.

Мужики, помолчав, снова галдят:

— Земля истощала, худо родит.

— Вон у меня тёща тринадцать раз родила, а больше не в силах, — так и земля.

Третий голос из-за спины пономаря:

— Скот морёный, навозу нехватает, семена худы.

Иван Чеботарёв, бросив окурок под ноги, тоже вмешивается в разговор:

— Ремесло да отхожие заработки не дают нашему брату за землю крепко ухватиться.

— Да как ты за землю-то ухватишься, — как бы себе в оправдание ворчит отходник Федя Косарёв, — коли земля-то нас не может прокормить; она хоть, магушка, и толста, да пуста. Хошь — не хошь, а на отхожие идёшь...

Долго и о многом беседуют мужики с пономарем. Николай Бёрдов рассказывает вологодские новости — о том, как там по весне чёрная сотня избивала студентов и как полиция разгоняла за городом политических ссыльных. Косарёв тихонько повествует о беглых кагоржниках, которых будто бы видели на рыбкинском и никуличевском заводах, где они исподтишка появляются и даже рассовывают грамоты против царя.

— Рано ли поздно, а всё должно лопнуть, — делает вывод Турка.

— И лопнет, — поддерживает его Иван Чеботарёв.

Пономарю такой разговор не по характеру. Он сопит и, тыча в песок деревянной клюшкой, молча взирает на небо. А оно, чистое, голубое, без единого пятнышка, прикрывает Попиху и весь мир.

Тихо. Слышно, как в затянутом тиной пруде квакают лягушки.

— Смотри, парень! Моё дело — сторона, а распускать язык я тебе не советую, — говорит пономарь Чеботарёву и не сводит глаз с ясного неба.

Наступает неловкое молчание, которое погода решается по старшинству нарушить Вася Сухарь.

— Нашему брату пикнуть нельзя. Нет, ты вспомни-ка, что библия говорит, — обращается он к пономарю: — «И увидел я всякие угнетения, какие делаются под солнцем; и вот слёзы угнетённых, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их — сила». И ещё сказано в библии: «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своём бедным».

— Мудрые слова, их понимать надобно, — добавляет от себя Сухарь и многозначительно обводит всех стар-

ческими глазами. — Смутное время наступает, и всё это давным-давно предсказано, и вот погодите...

Снова тишина. Лишь льётся певучая речь старика, познавшего древнюю книжную премудрость.

Вечереет. Звеня колокольчиками, вереницей возвращаются сытые и усталые коровы. Позади стада, с длинным хлыстом в руке, вяло шагает утомлённый пастух Копыто. С другого конца деревни в широко раскрытый отвод ватагой идут с Лебзовки ребята и девки.

Три гармониста от плеча и до плеча растягивают золочёные мехи тальянок, играя незамысловатый, захватский турундаевский «марш под драку»; другие, приплясывая поют:

Мне не в старосты садиться,  
Не оброки собирать,  
С горя пьяному напиться,  
Да до зорьки погулять.

За ребятами в нескольких шагах, ухватившись за руки, цепочкой поперёк всей улицы плавно выступают девахи, плечистые, круглолицые. Одеты они в простые длинные платья: ситцевые, ластиковые, кашемировые, канифасные — всех цветов и красок. На разные голоса они вытягивают, не уступая ребятам:

По селу девчонка шла,  
Прокламацию нашла.  
Не пилося, не елося,  
Почитать хотелось...

— Вишь, какие песни-то нынче; пожалуй, мне пора домой собираться, — озабоченно говорит пономарь.

И, озираясь в сторону подгулявших ребят, он опирается на клюшку. Простившись с попихинским народом, уходит.

— Чего доброго, эти псы подшутить над стариком могут, — говорит он опасливо, глядя на молодёжь.

Вслед за пономарем поднимается из толпы Иван Чеботарёв и обращается к соседям:

— Если кто, мужики, даст мне телегу напрокат, так я пономаря-то, пожалуй, отвезу в приход на своём Бурке.

— Это можно, — сразу же одобрительно отзывается один из братьев Менуховых, — возьми мои дроги и вези на здоровье.

Пономарь снимает старую, выцветшую шапку и, кланяясь, благодарит:

— Спасибо, мужички, спасибо. Только ты, Иванушка, в Елюнинский пруд меня не завези, — шутит он, искоса поглядывая на Ивана.

Чеботарёв разводит руками и, будучи трезв, смущённо говорит:

— Удивительно: вся волюсть знает; людская молва — что морская волна...

... Утомилась Попиха, притихла после праздничного дня. Белая летняя ночь окутала деревню сизым туманом. Где-то вдаль, за полями, в болотах и лесах, дымят пожары. Лёгкий ветерок приносит запах торфяной гари. Из перелесков слышатся вечерние переключки кукушек, коростелей и зычный крик филина.

Спит Попиха. Лишь в крайней, ещё недостроенной избе настежь раскрыто боковое окно. На лавке у окна в белой кофте сидит, ожидая мужа из села, Марья. Зажмурясь, она гадает: сводит и разводит руки, стараясь свести указательные пальцы: «Пьяный ли? Трезвый ли? Эх, Иван, будто без него некому пономаря отвезти?».

Спит Попиха. Одна Марья не спит — ждёт мужа.

«Пьяный ли? Трезвый ли?» — снова гадает она и снова прислушивается, высовывая голову в раскрытое окно.

Тишина. Тяжело вздыхая, Марья отходит от окна прочь, к соломенной постели, раскинутой на полу, где, в одной рубашонке, полуголый, спит Терёшка, любимый сыночек. Она осторожно и бережно прикрывает его от мух домотканым пологом, целует нежно в лоб — и снова к окну. Слышно, как журчит речка Лебзовка. Ещё глуше стало издали доноситься уханье филина, даже коростель-невидимка — и тот умолк. А Ивана всё нет и нет. Разные нехорошие думки лезут в голову Марье: уж не угодил ли опять в кутузку? Не пригревает ли его, пьяного, вдова-шинкарка?

Марья отходит в избяную полутьму, роется в стареньком сундуке и с бумажным свёртком в руках идёт к окну, к свету. Она развёртывает бумагу, приближает к глазам затасканную фотографическую карточку. На ней Иван, молодой ещё, с подкрученными усиками, стоит, облокотясь на плечо своей первой жены Ольги, в девичестве Бобылёвой из деревни Полустрова. Вот

уже десять лет, как хранит Иван этот снимок подальше от посторонних глаз: как бы соседи не высмеяли его за то, что у фотографа тогда он допустил ошибку, себя унизил, — надо было жене стоять, а ему сидеть.

Марье взгрустнулось:

«Кто знает, не я у него первая, может не я и последняя. Эта вот, говорят, родов не вынесла, умерла, а меня, кажись, горюшко заест...».

Она торопливо прячет снимок на дно сундука и ложится рядом с Терёшей, обнимает его, силясь заснуть. Несколько минут она лежит, ворочаясь с боку на бок. И вдруг настораживается, услышав раскаты тележных колёс.

«Он. Никто другой в такую пору...».

С пригорка от ветряной мельницы к Лебзовке по ухабистой дороге во весь дух несётся Бурко. Прыгая по буеракам, гремят дроги. Не мог Иван угодить в отвод, сплеховал вожжой, задел трубицей заднего колеса и разворютил изгородь.

Марья притаилась за косяком, следит исподтишка. Иван неловко спрыгивает с дрог, шатаясь, идёт к крыльечку и стучит в незапертые ворота:

— Эй, ты! Отпирай!..

Видит Марья — пьянёшенек муж. Выглянув в боковое окно, предупреждает Ивана:

— Потихе ори, чортова глотка, паренька разбудишь.

— Отпирай! Я тебе говорю! — и снова неистовый стук в ворота.

— Да не заперто, чего зря ломишь?

— Ах, не заперто! Какое имела право? Кто был? Кто?! — не унимаясь, кричит Иван, не уходя от ворот.

— Чорт ночевал и до свету убежал, — злится в ответ Марья.

— Я те покажу чорта! Я те научу, как надо хозяина встречать. Ты у меня запоёшь «Иже херувимы»...

— Не пугай, привыкла.

— Иди, распрягай лошадь.

— Распрягай сам да отвези сначала дроги-то к Менуховым под окна, чтоб потом самому не тащить.

— Ах, да! — спохватывается Иван и, садясь на дроги, грозит Марье кулаком. Трогается в другой конец деревни. Там он долго и неловко распрягает Бурка. А когда распряг и попытался сесть на него верхом, чтобы с криком вскачь проехать по деревне, то ничего из

этого не вышло. Бурко оказался непокладист, вырвался из Ивановых рук и с хомутом на шее ускакал за деревню, в овсяное поле.

— А ну ты к дьяволу! Беги, никуда не денешься. — И, взяв дугу и вожжи, Иван, пошатываясь, с песней возвращается домой.

Ранним утром просыпается Попиха. В избах потрескивая сухими дровами, топятся печи. Над крышами дымят трубы. На поветях гремят ручные жернова. Кто-то запоздало отбивает косу, кто-то, ругаясь, чинит развороченную околю отвода изгородь. Петухи выводят стаи кур на кормёжку в открытое поле. Марье спать некогда: встретила она Ивана руганью, а он ей ответил побоями.

Днём Клавдя пришла навестить Ивана и одному, без Марьи, начала выговаривать:

— Слышала, братец, слышала. Видишь, как дело-то выходит: счастлив тот, кто вина не пьёт. И счастлив тот, кто своим умом живёт, а не бабьим. Одно скажу: бьёшь ты Машуху, да и не зря. Лупи, чтоб шёлковой стала, а то не миновать греха, коль баба лиха.

— Ладно, помалкивай, — сердито отвечал Иван, — это наше дело, семейное.

— А я тебе кто? Сестра или не сестра?

— Сестра. Ну и что?

— И приду, и укажу, не взыщи, тебе же на пользу.

— Указывай Михайле, а у меня не горшок на плечах. Ступай-ка восвояси. Ходишь тут зря, грязь натаптываешь...

## V

Не ладилось семейное счастье у Ивана с Марьей. Водка губила домохозяина на горе Марье, на радость Михайле. Соседи успели в ведряную погоду наметать стога пахучего сена, успели выжать рожь, а Иван после большого похмелья выточил косу и только ещё начинал косить. Упрямая, застаревшая трава «белоус» неохотно ложилась перед косарём. Понадобилось скошенную траву возить на обмётку в стога — лошадь есть, а телеги нет. Попросит Иван, а соседи от него отмахиваются:

— Нельзя дать, своё добро в чужих руках пуще ломается.

Справить какую-нибудь повозку у Ивана времени нехватает. За лето печь сложил, рамы вставил, с мельником за помол рассчитался, а кожевнику ещё остался должен.

Подошла хмурая, грязная осень. На базаре в Устье-Кубинском спрос на обувь. Иван сидит за верстаком, рано встаёт и до поздней ночи шьёт сапоги. Пахнет в новой избе дёгтем и ворванью. Радуется Марья и втайне молится: обещает Касьяну-угоднику свечу за гривенник поставить, если он навсегда отворотит Ивана от пьянства.

В воскресный день рано утром Иван снимает с полки сапоги, покрывает каблуки лаком, набивает голенища соломой, чтобы не помялись в дороге, и, связав сапог к сапогу за разноцветные ушки парами, несёт на базар через плечо на палке, бережно, как бабы носят на коромыслах вёдра с водой.

Сапоги чистой работы, и перекупщики охотно за них хватаются. Надоумился теперь Иван, как надо с деньгами обращаться: отвернётся в сторону, посчитает: на вино — рубль, Терёшке на гостинцы — гривенник, остальные деньги — в кисет и за гашник. «Авось спяна на дороге усну, не вытащат», — смекает Иван, не доверяя сам себе. И так каждый раз.

Когда буйство проходило, Иван засыпал за столом на голой лавке. У Марьи прорывались слёзы.

«Ужели не того святого молила?..».

Пришла однажды Марья и к ворожее Пиманихе за советом, три аршина холста снесла, сметаны горшок. Ворожея посоветовала:

— Перво-наперво, будет Иван ругаться, а ты набери в рот воды и не глотай. Дратся ползет, а ты возьми икону в руки. Замахнётся муженёк, а ты икону то и подставь.

— Заранее знаю, не поможет, — грустно возражала тогда Марья ворожее, — лучше бы отворотного снадобья в вино насыпать.

— Можно и снадобья, — охотно согласилась Пиманиха и тут же в своей курной лачуге истолкла в ступе в мелкий порошок горсть сухого птичьего помёта и наговорила над порошком такие слова:

— Ты, небо, слышишь, ты, небо, видишь, что хочу я делать над телом раба Ивана. Звёзды ясные, сойдите в чашу бражную, а в чаше той ни дна, ни покрывки.

Солнышко привольное, уйми раба Ивана от вина, месяц красный, отвори его от вина, слово моё крепко, аминь... Подсыпай мужику в вино, понемножку да почаще, должна быть польза, — напутствовала ворожея.

Обычно Иван ссорился с женой, пока был пьян, а чуть протрезвеет и возьмётся за работу, Марья околю него на цыпочках ходит, хлопочет обо всё: всё, что надо, приготовит, лишнее приберёт, порядок в избе наведёт и, довольная, приговаривает:

— Работай, Ваня, так-то — не житьё будет, а масленица...

Сама, как только освободится от домашних обрядов, садится за пяльцы, брякает коклюшками, плетёт из белоснежных ниток красивое кружево. И не подозревает плетёя, что это кружево через перекупщиков пойдёт в Питер и за границу. Самой Марье кружев не нашивать, зато двугривенный в день заработан — хозяйству подмога.

В начале зимы случилось неожиданное несчастье: Марья ходила на Лебзовку мыть бельё и, поскользнувшись, упала в прорубь, промокла до костей. Простыла. Дома бросило в жар. Выпила ковш студёного хлебного квасу и слегла.

Два дня и две ночи, не поднимаясь, бредила Марья в постели. На третий день Иван поехал за попом, и пока ездил — Марья умерла. Старенький поп совершил над покойницей «глухую» исповедь, взяв за это с Ивана последнюю трёшницу.

Содрав с крыши несколько досок, Иван с помощью Турки сколотил гроб.

Приходила кривая Клавдя. Она омыла покойницу и поголюсила над осиротевшим Терёшей:

Не взяла с собой тебя, дитяtko.  
Сиротинушка безматеринская,  
Да на кого тебя мать оставила,  
Во сыру ушла во земелюшку,

По деревне бабы пускали всякие слухи:

— От воспаленья печени скончалась.

— От побоев.

— Безменом пришиб, Копыто видел, этот не соврёт.

Клавдя, выгораживая брата, ходила по деревне и старательно рассеивала эти слухи:

— Скончалась, бабоньки, по своей воле, от простуды да от расстройства. Все в Марьином роду такие неживучие, все примерли.

Стояли крепкие заморозки. По мёрзлой дороге на дровнях везли на кладбище Марью. Нерадостен был Иван, перебирал он в памяти всё, что мог припомнить, и ничего утешительного не приходило ему в голову. Одна дума не слаще другой: первую жену, Оленьку, вот так же несколько лет назад он отвёз на погост. Красавица, рукодельница была и характером покладиста, но замучилась во время родов. Успей бы тогда Иван сбегать за бабкой-повитухой, Оленька, возможно, была бы жива.

Не сумел уберечь вот и эту.

Сутулясь, Иван идёт за гробом, изредка оглядывается на скудную похоронную процессию. Впереди всех, с древней в кожаном переплете книгой, степенно шагает Вася Сухарь. Ветер развеивает пряди его седых волос. Не своим голосом Сухарь протяжно читает:

— «Подаждь, господи, оставление грехов и сотвори вечную память Марии...»

Провожавшие на ходу крестятся.

Сухарь листает книгу и, запинаясь за мерзляки, тянет нараспев:

— «Живый в помощи вышнего, в крове бога небесного водворится. Речет господев: заступник мой еси и прибежище мое бог мой, и уповаю на него...».

Церковный сторож встречает покойницу колокольным звоном.

Прижавшись к гробу матери, сидя на охапке сена, скорчась, спит Терёша. Он пробуждается от первого удара колокола, с удивлением глядит вокруг, на соседей, на осунувшегося, пожелтевшего отца и горько всхлипывает.

Отец наклоняется над сыном, успокаивает:

— Терёша, не плачь, вот когда тебя детинку малого, разобрало, не плачь...

Когда понесли гроб по ступенькам паперти, Терёша, прижимаясь к отцу, спрашивает:

— Тятя, маму закопают?

— Закопают, сынок.

— А кого ты бить будешь?..

— Молчи, дуралей, господи. Вот ведь у тебя умка-то сколько!..

Отпезал поп покойницу на паперти и у могилы, густо кадил ладаном, отгоняя невидимых бесов от Марьиной души.

Но попу по его должности полагалось служить не только богу, но и полиции. О внезапной и потому подозрительной кончине Марьи Чеботарёвой вскоре стало известно уряднику.

На той же неделе верхом на карей кобылице прискакал в Попиху урядник Доброштанов. Подъехал к Ивановой избе. Привязав лошадь за скобу к воротам, он быстро взбегаёт по лестнице и, звеня шпорами, вваливается в избу.

— Здесь живёт Чеботарёв?

— Здесь, — робко отвечает Иван, — присаживайтесь, ваше благородье, господин урядник.

Урядник крутит чёрные усы и говорит:

— Так-с. — Потом он, сняв шинель, садится за стол на лавку, роется в сумочке, достаёт какие-то бумаги, чернильницу и, разложив всё это на столе, приступает к допросу.

— Не везёт тебе, Чеботарёв, не везёт. Помнишь, в ярмарку одно дело я завёл и, жалеючи тебя, прекратил. А сейчас вот опять возникает дельце. Что же это такое?

— Никакой вины я за собой не чувствую, — говорит Иван, — живу я тише воды, ниже травы. — Говорит и замечает, что в горле что-то встало комом.

— Разберёмся. — Урядник, лукаво ухмыляясь, показывает на дверь: — Закрой-ка покрепче — на крючок.

Иван запирает дверь.

— Итак, есть данные, что твоя жена скончалась от насильственной смерти. Прекрасно, так и запишем.

— Да что вы, господин урядник, ваше благородие! Она простыла, все скажут.

Урядник, не слушая Ивана, строчит протокол, задаёт вопросы:

— Часто бил жену?

— По воскресеньям только — и то легонько. Все скажут.

— Так и запишем.

Перо быстро-быстро бегаёт по бумаге, мелкие чернильные брызги сыплются вокруг написанного.

— Чем ты ударил её в последний раз? И в какое место?

— А разве упомнишь! Только зря вы всё это затеваете, господин урядник. Говорю— от простуды, от простуды и есть..

— А вот есть слушок, что ты её этой штукой бил.

Урядник достаёт из-под полатей безмен и, помахав им, говорит:

— Таким орудием быка убить можно. Прекрасно, так и запишем.

Ещё что-то он приписывает в протокол, и, наконец, подсовывает Ивану подписку о невыезде из волости.

— Дальше придётся оформить по всем правилам, и скажу прямо— острога не миновать,— страшает урядник.

Иван держит на коленях перепуганного Терёшу и не сводит глаз с прилизанного, упитанного Доброштанова. Не читая протокола, он дважды выводит свою фамилию в бумагах урядника и уныло говорит:

— Что ж, острог, так и острог. Терёшку вот жаль только,—и, опустив на грудь голову, прячет наворачнувшиеся на глаза слёзы.

Урядник завинчивает крышку на никелированной чернильнице и прячет её в карман шинели. Закинув ногу на ногу, он закуривает пахучую папиросу.

Развёрнутый протокол лежит на столе, как грозное напоминание. Ивану мерещатся тюремные решётки, суд и дорога на каторгу. Кто знает, как дело повернётся, как и что соседи на него покажут. Есть отчего приуныть, и есть над чем призадуматься. Урядник курит, искоса поглядывая на убитого горем мужика, и чего-то выжидает. А ждёт он, что вот-вот сам догадается Иван, упадёт ему в ноги и станет упрашивать не судить, не рядить и посулит за это... по меньшей мере последнюю и единственную корову. Конечно, если бы Иван знал, о чём сейчас думает урядник, он без лишних слов и корову и Бурка согласился бы отдать, лишь бы услышать: «Квиты, живи спокойно, никто тебя больше не побеспокоит». Но думы Ивановы путаются и вязнут, как в трясине. Где ему знать, о чём думает сидящий перед ним вооружённый, благополучный блюститель порядка.

Урядник отмахивает кисею папиросного дыма и, в упор глядя на Ивана, вкрадчиво говорит:

— Твоя судьба, Чеботарёв, меня тоже не радует. Не велика корысть — загнать тебя в тюрьму. Ведь я-то тоже человек и крест на шее имею. У тебя вот один сынок, у меня их пятеро. Тут как?..

Иван чувствует какое-то облегчение. А быть может, урядник заигрывает с ним? Не дожидаясь дальнейших рассуждений, поняв урядника с полуслова, он начинает его упрашивать:

— Ваше благородие, господин урядник, не заводите канитель. Всех ваших деток в новую обутку задарма обуя, давайте только мерки с ихних ног. Корову не пожалею. Без обряжухи-то к чему мне она. Берите с богом...

Дальше разговор у них быстро налаживается. Урядник рвёт протокол и обрывки сжигает на шестке.

На том и договорились, что сам урядник и дети его будут все в новых сапогах и что Терёшка теперь уже не такой маленький, может обойтись без молока.

Предупредив Ивана не болтать об этой сделке, урядник сел верхом на кобылицу и ускакал.

## VI

По пятам запоздавшей осени пришла и закрепилась студёная зима. Иван налаживает розвальни и каждое утро по мягкому снегу ездит в лес, рубит сухостойные осины, привозит и складывает вокруг избы, запасая «тепло» на целый год. Длинные зимние вечера он сидит за верстаком на липке, усердно работая на перекупщиков.

Соседи даже стали забывать, когда они в последний раз видели Ивана пьяным. Бывая в селе, Иван продавал сапоги, покупал кожу, иногда две и, не глядя в сторону казёнки спешил домой.

Алексей Турка не раз находил его задумчивым и, случалось, говорил:

— Выпьем, Иван, горе забудется.

— Нет, не забудется. Хватит, попито. Целый пруд водки вылакал я на своём веку, а толк какой?

Стал иногда думать Иван о женитьбе. Нужна была хозяйка в доме. Хлеб печь Иван не умел, да и не хотел, считая это делом бабым. Питались они с Терёшей милостынями. Иван покупал у нищих куски по тридцати копеек пуд. Любил Терёша порыться в бесчисленных кусочках—милостынях, разложенных на столешнице. Выбирал он себе по вкусу—то с пшеном, запечённым в ржаное тесто, то с вяленой репой.

— Привыкай, Терёша, ешь на здоровье. Из ста квашней у нас хлебец. Своего не будем кушать, пока не жёньюсь.

Нищие-зимогоры часто приходят на ночлег к Ивану. Безымённые, беспаспортные, тёмные люди. Называют они друг друга не по имени, не по фамилии, а кличками: Додон, Рваная губа, Обабок, Бухало, Полиско.. Не пугают их ни лютые морозы, ни летняя жара, и никакие болезни не задевают их. Кажется, сама смерть боится зимогоров. В большинстве они выносливые, крепкие, средних лет холостяки. Острые на язык, резкие на руки. Про себя они говорят:

— Что ж, лето под кустом лежим, зимой по миру бежим.

— Мороз? А что нам мороз? Он железо рвёт, птицу на лету бьёт, а зимогора не трогает.

Иногда зимогоры подогревали себя водкой. Воровство считалось обычным делом, но зимогоры воровали только у скупых и богатых.

Хотели к Ивану Чеботарёву переключиться на пристанище известное по всей округе воры—братья Кулаковы; они пытались подарками раздобыть его, предлагали за дарма ношу кожи, подошв, подклеек. Однако побоялся Иван связываться с ними, посмотрел на краденое добро, сказал:

— Знаю, у Никуличева из лавки спёрто. Это его товар. Отнесите к Афоньке и Приёмышу, а я не привык в такие дела соваться.

Картёжная игра—любимое развлечение у зимогоров. Тут им Иван не препятствовал. Это развлекало его и Терёшу. По вечерам зимогоры снимали с кону за керосиновый свет копейки-двушки и дарили Терёше на конфетки. Терёша долго не смыкал глаз, подбегал к столу за подачками и складывал медяки отцу на верстак стопочкой. Когда их накапливалось много, Иван укладывал Терёшу на полати спать, а сам брал мелочь, садился за стол и требовал себе карту. Играли на деньги, спускали в игре и рубахи, проигрывали один другому даже «дервни».

Если бы слышать их разговор со стороны и не видеть, кто играет, можно было подумать, что это не зимогоры, а помещики.

— Ставлю на кон Зародово! — кричит кто-либо из прогоревших игроков.

— Иду втёмную, ставлю Кокоурево и Попиху.

— Играю под Телицыно! — перебивает третий голос.

— Ходи с козырей... Нет ваших!

Так зимогоры играли под милостыни. Проигравший «деревню» должен был на другой день обойти, собрать милостыни и передать до крошки тому, кто эту «деревню» выиграл. Каждому так хотелось отыграться, а потом лежать у Ивана на печи за счёт другого зимогора. Если же картёжная игра всем надоедала, зимогоры искали других развлечений, и тогда начинались «представления».

Пастух Колька Копыто за пятак, не поморщившись, хомутной иглой прокалывал себе щёку и протаскивал насквозь аршинную суровую нитку. Это некоторых забавляло, а кто привык к фокусу—не удивлялся.

Обабок за три копейки подставлял свой лоб кому угодно на сто стречков и терпеливо, с усмешкой на толстых, обветренных губах, переносил это страдание. Если же три копейки давал ему Алексей Турка, то Обабок после пятнадцатого стречка отказывался и платил от себя пятак неустойки, после чего, зажимая на лбу красную шишку, сопровождаемый хохотом зимогоров, убирался на печь.

Бухало—тот со связанными позади руками изгибался и ловко прыгал до потолка, ловя зубами привязанный на мочале крендель. Додон замечательно пел, да такие песни, каких никто не знал...

Когда развлечения надоедали, зимогоры начинали рассказывать сказки, стараясь перевернуть один другого.

Ивану с Терёшей в зимние вечера было не так скучно. С зимогорами время шло быстро и незаметно. Однажды Чеботарёву посчастливилось в «очко». Он выиграл гармонь-черепанку. Правда, голоса у черепанки были расстроены. Басы хрипели, как Туркино горло после перепоя, клапаны наполовину обломаны, а отверстия замазаны тестом. Но и такая «гармонь» для Терёши составляла большую радость. Соседние ребяташки спозаранку приходили к нему гулять и попеременно потешались игрой, издавая хриплые и визгливые звуки.

Ивану надоедало слушать и смотреть на возню ребятшек. Дети были послушны. Они уходили и уводили к себе Терёшу на весь день. В людях, пригретый лаской и подачками, Терёша забывал об одиноком и хмуром отце и неохотно в поздние сумерки возвращался в свою избу.

Изредка пристанище зимогоров навещала шинкарка Саватеиха, дородная, лет под сорок, вдова с необычно-

венно румяным лицом и рыжими волосами. Она продавала водку, наживая по гривеннику с сороковки. Иван, на удивление всем, был теперь всегда трезв.

Перед весной Саватеиха стала заглядывать чаще. Как-то вечером приходит она к Ивану, когда у того не было ни одного ночлежника, подсаживается к нему поближе и ласково говорит:

— Всё шьёшь и шьёшь, Иванушко?..

— Да, всё шью и шью.

— Так, так. А я пришла тебя поздравить с днём ангела,—поди-ко, и сам забыл, что ты сегодня именинник?

— До того ли,—отвечает безразличным голосом Иван,—покойная Марья из головы не выходит. До именин ли тут?!

— Царство ей небесное,—с напускной скорбью говорит Саватеиха и достает из-под передника бутылку водки.

— На-ко, Ваня, давай справь именины да скуку разгони. Ты вдовец, я вдова. Пей-ко на здоровье, угощаю и денег с тебя не возьму. Попил ты раньше у меня много-гонышко.

Иван сначала не соглашается, потом, ради именин и тронутый вниманием шинкарки, достаёт с полки две чайных чашки, кусок хлеба.

— Ну, шельма, будь здорова!

— Во здравие именинника,—говорит гостя и выпивает чашку за единый дух.

Потом, жалуясь на потёмки и шум в голове, Саватеиха остаётся ночевать. В ту ночь спала она с Иваном на полу, за печкой. Ночь была лунная. Терёша валялся на полатах; он не мог заснуть, вытягивая голову и глядел, как на полу колебалась тень рябины, скрипевшей от ветра под окном. И никак не мог понять несмыслённый Терёша, зачем отец бросил в него старый валенок и велел спать. Пришлось малышу зарыться под шубу.

Иван спал дольше обычного. Трезвый, испуганно вскочил он с постели и, торопливо выпроваживая шинкарку, заворчал:

— Иди-ка, голубушка, к чорту, пока люди не увидели. Из-за водки вся моя жизнь прахом пошла, а ты ещё меня смущать прикатилась. Хватит...

Прошло лето. Терёша заметно подрос без матери. На отцовский присмотр нельзя было жаловаться.

Истёк год со дня Марьиной смерти.

Кривая Клавдя принесла Терёше засохшую просфору, велела ему съесть и помянуть добрым словом мать. Терёша послушно повторил за тёткой:

— Помяни, господи, маму, дай, господи, здоровья тяте...

У Ивана с утра сегодня очень мрачное настроение. Без надобности сходил он к Турке, посидел, поговорил и скоро вернулся. Клавдя разговаривала с Терёшей, ожидая Ивана. Он шёл тихо, спокойно с другого конца улицы. Не заходя в избу, Иван примостился на мокрую от растаявшего снега завалинку, свернул толстую цыгарку, закурил. Но и махорка, едкая, ярославская, не могла благотворно повлиять на его мрачное настроение.

— Страдаешь, братец? — спрашивает Клавдя вошедшего Ивана.

— Душа болит, — отвечает он, сбрасывая с себя сапожный фартук. — Сегодня у меня день такой: год без Марьи...

— Знаю, мы с Терёшей помянули её. Сходили бы вы с ним на могилку да поплакали...

— А что, и в самом деле, сходить разве?

И они пошли в село.

Впережку со снегом моросил холодный дождь. Иван прятал лицо в воротник и быстро шагал. Сапоги чавкали, из-под подошв вместе с грязью летели по сторонам тонкие, как стеклянные осколки, льдинки. Терёша в затасканном—заплата на заплате—ватном пиджачишке, укрываясь за отцом от дождя и ветра, не отставая, скакал за ним.

Когда они добрались до погоста, дождь перестал. Серые, грузно нависшие тучи разнесло по сторонам. Сиротливо выглянуло холодное, бледное солнце и снова быстро накрылось рваными лохмотьями облаков.

Звякнула железная щеколда в калитке церковной ограды. Старый сторож молча пропустил их на кладбище.

Было тихо. Стаи крикливых галок гнездились под церковной кровлей. С обветшалых, оголённых берёз свисали ледяные сосульки и падали на вековые могилы и старые, подгнившие кресты. На глинистой поверхности Марьиной могилы торчали почерневшие обломки досок, какие-то ржавые гвозди. И почувствовал Иван — холодный озноб пробежал по нему от головы до пят. Помол-

чал и закурил вторую цыгарку. Дым и табачный угар постепенно застлали перед его глазами всё видимое. Скоро он накурился так, что немигающими глазами смотрел только в одну точку и совершенно перестал понимать, где находится, зачем и как сюда попал.

А Терёша, взглянув на жалкое, растерянное лицо отца, осторожно потрогал его за плечо, спросил:

— Тятя, я побегаю маленечко?

Иван не обернулся, не посмотрел на сына, лишь промычал что-то нечленораздельное. Терёша подался немного в сторону. Выбрал железный крест, огляделся по сторонам и начал сдирать с креста медное распятие. Но покрытый зелёной плесенью Христос цепко держался за железную крестовину и никак не поддавался. Зато с другого, деревянного креста Терёша сорвал образок какого-то старца и перетащил на могилу своей матери. Иван, понурый, угрюмо сидел на корточках и, тяжело дыша, попрежнему смотрел в одну точку.

— Тятя, очухайся, чего ты?—стал тормошить Терёша отца.—Пойдём отсюда...

И тогда расширились у Ивана глаза. Закрыв лицо руками, он затрясся, рыдая:

— Терёша, где мы?

— Тятя, не плачь, мы у мамы.

Иван упал на Марьину могилу и заревел истощным голосом.

## VII

И вот снова студёная, северная зима, снова зимогоры на подворье у Ивана Чеботарёва. Они приглядываются к нему, втихомолку и открыто судачат:

— Тридцать пять годов мужику. Невесту подыскать бы ему с приданым и для нас обходительную, с добрым характером.

Задумывались зимогоры, перебирали в памяти невест, вдов и постаревших, обойдённых женихами девиц. Однажды Копыто посоветовал Ивану самолично сходить сватом к Дашке Найдёнковой.

— Вот это будет баба!—говорит, восхищаясь, Копыто.—Верно, она ростом коротка, красоты не особенной, иначе бы и в девках не сидела так долго, зато сила в ней большая. Эта, пожалуй, вдарь кулаком—не пошатнётся.

— Алексашки Найдёнкова дочь, что ли?

— Не знаю, как отца звать, — он такой коренастый, борода зелёная, табак нюхает.

— Значит, он и есть, — догадывается Иван, — бойкий мужик, шибко вино любит. А я от вина теперь прочь да дальше.

— Отдаст ли он за него Дашку? — осторожно высказывает сомнение Алексей Турка. — Жених-то у нас не сильно задорен.

Копыто, как заправский сват, зная невесту, продолжает уверять Ивана и Турку:

— Да как ей не итти замуж? Зачем её Найдёнков будет в девках держать? Двадцать семь годов девке, и никто ещё к ней не сватался. Смешно довольно: что она, до ста лет девкой будет? — И признался Копыто откровенно: — Я, грешный, сам ждал: авось скоро у Дашки отец умрёт, глядишь бы, я к ней в дом в приёмышы вошёл. Да разве Найдёнкова переживёшь!..

Турка, смеясь, качает головой:

— За тебя-то вот уж никакая дура не пойдёт.

— Это ещё посмотрим! Что, пастух, по-твоему не человек? Да в летнюю пору мне вся деревня в долгу, как Прянишникову.

— Не спорь, как бог ума не дал, — перечит Турка Копыту, — ничего ты не понимаешь в бабьем деле. Да разве так невесту хвалят? Что нам негоже, то тебе боже. Никто не берёт, так, думаешь, Чеботарёву как раз?

Копыто, поняв оплошность, пошёл на попятную:

— Может я не так сказал, может, у меня вырвалось. Но Дашка — деваха жаркая. Рожка у неё — что калёная сковорода. Видал я, как дрова Дашка колет — ну, что те орехи щёлкает, а чурки толщиной по самовару. Рас-топырит этак лапищи, да как со всего плеча хлесть — и вдребезги!

Иван слушал-слушал и говорит:

— А что, разве попробовать, вдруг да выйдет дело. Съезжу как-нибудь, посмотрю сначала, полюбится — разговор с отцом заведу.

— А съезди, браток, посмотри.

— Смотри, будь осторожней, не купи кота в мешке, — предупреждает Алексей Турка, стремящийся как можно лучше устроить семейную жизнь своего приятеля.

На той же неделе в субботу Иван целый час поло-скал над лоханью свою лохматую голову. Мыла души-

стого извёл на пяточок, расчесал на пробор чёрные, давно не стриженные волосы и пошёл к Турке бриться. Бритвы у Алексея не было, но он умел неплохо брить сапожным ножом (а Копыта как-то, поспорив, обрил даже осколком стекла). Побрился Иван и ещё раз помылся.

— Ну, теперь ты, как огурчик, — похвалил его Турка, скрывая усмешку.

— Но-о! — обрадовался Иван.

— Как молодой огурчик, — повторил Турка и ехидно добавил: — Зелёный и весь в прыщах.

— Ну, ты не шути.

— Эх, форсун! С бородой-то мужичок мужичком, а тут ни то, ни сё, зря побрил я тебя.

Иван собрался ехать. По такому случаю брат Михайла не пожалел ему дать напрокат выездные сани с бархатным задком. Ехать от Попихи до Баланьина, где живёт Найдёнков с дочерью, вёрст шесть-семь. Дорога тянется между деревень перелесками. Ивовый кустарник чуть-чуть выглядывает из-под сугробов глубокого, скрипучего снега. Иван держит вожжи, понукает Бурка. Когда приходится сворачивать с дороги — пропускать встречных с возами, Бурко по брюхо барахтается в снегу.

— Ну и снегу навалило! Быть хорошему урожаю, — заговаривает Иван со встречными.

Те отвечают:

— Неизвестно, что весна скажет.

Другие спрашивают:

— Куда едешь, Иван?

— Коровёнку думаю купить, так еду.

— Хорошее дело. Выбирай породистую, не навозницу...

— Кормов мало породистую-то выбирать.

— Ничего, скоро апрель, а там на подножный.

Убогая деревенька Баланьино, снег ровень с крышами. То спускаясь, то поднимаясь с сугроба на сугроб, Иван еле-еле пробирается до крайней, Найдёнковой избы. Бросив лошади охапку сена, он, прихватив с собой ременный кнут, чтобы не украли ребятишки, направляется в избу. После дневного света и примелькавшейся снежной белизны Ивану кажется в избе у Найдёнкова темно, как в подземелье. Он наугад крестится не в тот угол, где висят юбразы (их не видно), а в тот угол, где

в кадушке калёными камнями хозяин согрезает для овец воду. Ощупью Иван идёт и осторожно садится на широкую лавку, не дожидаясь приглашения. Найдёнков растерянно начинает разговор:

— С улицы-то сразу у нас в фатере шибко темень стоит. Окошки-то сделаны по-старинному, тулошные, свету-то и нехватает. Мне-то с дочкой привычно, а постороннему не того... Дашка! Где ты, зажги лучину...

— Не надо, я и без лучины как-нибудь разгляжу, — отвечает Иван, постепенно присматриваясь и доставая из кармана кiset с табаком; холодными пальцами юн крутит цыгарку.

— Не порти спичку, уголёк достану, — Найдёнков берёт кочергу и тянется за угольком.

— Не от этого наши домики покривились, — шутит Иван и, не дожидаясь уголька, с форсом чиркает спичку и быстро схватывает глазами незавидную обстановку Найдёнковой хаты.

Матерая, неуклюжая печь вся в саже; в чёрной, прокопчённой стене — деревянный дымоход. Около печи распахнута западня в подполье — туда спускается грязная лестница. Гремя деревянными вёдрами, не спеша вылезает из подполья Дарья. Она одета в две ватных кацавейки, подпоясана чересседельником, а голова укутана в тёплый, грубой шерсти платок.

«Что те копна», — думает Иван и в полутьме пытается разглядеть невесту.

Она расправляет на голове платок, трёт рукавом под носом и тогда лишь отвешивает Ивану поклон.

— Погреться свернул? — спрашивает Найдёнков.

— А то как же, погреться, — отвечает Иван, — погреться.

— Куда путь держишь?

— На мельницу ездил, — не задумываясь, врёт Иван.

— Погрейся, погрейся. Дашка, подкинь-ка дровишек, пусть полыхает.

Ноша сухого хвороста вспыхивает на горячих углях. Огонь озаряет избу. Иван видит под шестком кучу хвороста, на лавках и на полу какое-то тряпье; шайки, вёдра, кринки, ухваты, мешки с зерном, пучки соломы разбросаны по всей избе.

«Обряжуха, видать, неважнецкая», — думает Иван, посматривая на Дарью и на поразивший его беспорядок.

У печки Дарью разругянило. Выглядит она действительно полнокровной, широколицей, как и рисовал её Копыто.

«Так-то, кажись, и ничего, всё на месте, здоровья у девки хоть отбавляй», — думает Чеботарёв.

Найдёнков тем временем достаёт из загниёты накалившийся камень и железным совком опускает в кадку с водой. Пар из кадки облаком разошёлся под потолком. Прикрыв кадку постилкой, Найдёнков достаёт из кармана овчинных штанов табакерку и, щёлкнув медной крышкой, угощает Чеботарёва:

— Не нюхаешь?

— Ой, нет, избави бог! Мало-мало курю, а ноздри не набиваю.

Иван ещё раз осматривает Дарью с ног до головы и решает заговорить напрямик:

— Как, хозяин, думаешь, девке-то твоей и замуж пора?

— Расхватили, не берут, — шуткой отзывается Найдёнков.

— А то знаешь, как в лесу сухостоина, одна-одиёшенька останется. — И, желая вызвать на разговор Дарью, Иван обращается к ней: — Даша, женишки-то есть?..

Дарья стоит лицом к печке и, не глядя на Ивана, отвечает скороговоркой:

— Где уж нам уж итти замуж! Какие к чорту женишки, дело наше небогатое, наряжаться не во что, а за красивое перье и петух любит курочку.

Ивану кажется, что Дарья неглупа, за словом в карман не лезет. Пусть неопрятна, но ведь из такой кокоры, если умело к ней руки приложить, человека можно сделать!

Найдёнков всё ещё не догадывается, зачем приехал Иван.

— Моя греховодница не богата, не модница, — усмехаясь, говорит он. — Бедная Дашка — что ни год, то рубашка, а платью и смены нет!

— На всякую рыбку бывает едок, — замечает ему на это Иван, — здоровье всему голова, а не одежа. Девка у тебя — что медный колокол.

— Что верно, то верно, — соглашается Найдёнков. — Да ведь не всякий это понимает. Другому хоть пень, да баску одень. А у меня ей одеться не во что. Да и я не

норовлю, семья-то у нас: я да она. Умру — найдёт себе приёмыша, как никак избёнка, коровёнка, пятеро овец — всё ей достанется.

Иван начинает льстить Найдёнкову:

— Ты, старина, крепок, что те жёрнов, много ещё работы на своём веку перемелешь. О смерти забудь думать, а вот о дочкиной свадьбе соображать надо.

— Сама как хочет, — отмахивается Найдёнков и снова берётся за табакерку. — А ты уж не сватом ли, дай бог, подкатил?

— Хотя бы.

— За кого?

— За вдовца тут одного, — хитрит Иван и, обращаясь к Дарье, спрашивает обиняком: — Пойдёшь, девка, за вдовца, за хорошего сапожника?

— Не знаю, смотря за какого вдовца. В девках-то я больно привыкла. — И тут же, чтобы не сплеховать, добавляет торопливо и покладисто: — Вдовец тоже человек, если в небольших годах да не урод.

— Вот, к примеру, я, — бойко и прямо заявляет Иван, — ну, чем я не жених: руки, ноги — всё на месте. — Он как бы в шутку встаёт с лавки, подбоченясь, поворачивается кругом и снова садится.

Найдёнков раскатисто смеётся:

— Плутяга! Да ты хоть бы не сам, а сваху подослал, а потом бы своё добро показал. Ох, и плутяга, самолично за себя сватает!

— А я весь тут, — лихо отвечает Иван, — к чему мне сваха? Ты меня всяко знаешь.

— Я не про то говорю, — поясняет Найдёнков, — с лица-то ты и бритый, и мытый, и шуба на тебе исправна. Но от людей я слышал, говорят, как ты овдовел, так последнюю корову пропил.

— Врут! — резко отвечает ему Иван. — Корова — штука нелёгкая, в день её не сработашь. Будет время, будет и корова. И вовсе я её не пропил, а на дело употребил.

Дарья обиженно смотрит на отца, вытаскивает из печки дымящую головню и сердито суёт её в лохань. Головня шипит и дымит.

Иван растёгивает чертокожную шубу, достаёт из кармана пиджака ломаные серебряные часы, вертит их в руках, подставляет к уху, затем, спрятав обратно, говорит спокойно и веско:

— Скажи, пожалуйста, за кого же ты метишь отдать свою дочь? За человека бывалого, с умом и рассудком, или за такого, у кого голова не в порядке?..

Найдёнков мнётся на лавке, затем отвечает таким тоном, как будто просит у Ивана прощения:

— Ну, ладно, не зли ты меня и сам не обижайся; верно, девка в годах, — кивает он в сторону дочери, разливающей в деревянные ведра овечье пойло, — говори с самой; если ты по душе, то можно честным пирком да и за свадебку. Решай, Дарьюшка, сама, а я вожжи опускаю, как хочешь...

Не долго думала-гадала Дарья. Иван ей показался вполне подходящим женихом. Она отвесила поклон отцу, поклон Ивану и, перекрестившись на тёмный угол, на невидимые чёрные лики никому не известных святых, ответила отцу покорно:

— Так и быть, тятенька, на роду мне, видно, писано, и под такую звезду я уродилась, что быть за вдовцом.

Найдёнков и Иван встают с мест и тоже молятся.

— С богом! — говорит Найдёнков весело и решительно.

— Пускай к добру да к счастью. Теперь бы сороковочку! — восклицает Иван. — Поверьте, совсем не пью, но распить по такому случаю — обязательно!

При этих словах жених трясёт кошельком, нарочито наполненным медяками.

Найдёнков отстраняет его, достаёт с полки жестяную банку и среди множества разных пуговиц находит три гривенника, подаёт Дарье.

— Ну, девка, сбегай знаешь к кому, принеси мерзавчика.

Выпили, закусили солёными рыжиками с горячей картошкой и разговорились о предстоящей свадьбе.

— Дело-то наше, верно сказать, небогатое, — признаётся Иван. — Нельзя ли, богоданный тестюшко, нам свадьбу-то без родни, подешевле сделать? Сам знаешь, лучше погореть, чем овдоветь, а я вдовел два раза, похороны да свадьбы, всё как-то начётисто, дорого.

— Не-ет, — не соглашается Найдёнков, — давай по настоящему, с гостями, с колокольцами, с вином и пивом... Дашенька-то у меня одна-единственная...

Договорились они перевернуть всё вверх дном, а свадьбу сыграть и не раньше, не позже, как через две недели.

С этого дня каждый вечер ездит Иван в Баланыно— до свадьбы «привыкать» к Даше. Попутно у купчика Прянишникова он, когда за деньги, когда в долг, берёт фунтами подсолнухи, пряники-суслинки, леденцы для угощения невесты. Привозит толику гостинцев Терёше, себя и его обманывает:

— Ешь, паренёк, это тебе новая мама послала, потом ты ей спасибо скажешь.

Уезжая гостить к невесте, Иван каждый раз оставляет Терёшу на попечении Кольки Копыта и зимогора Додона; Додон начал учиться сапожному ремеслу, думая стать подмастерьем, а потом и мастером. Дело у него шло неплохо. Довольный успехами, Додон на разные голоса то и дело песни поёт. Копыто Терёше сказки говорит, Живётся им весело...

— Хочешь, про царя расскажу? — спрашивает Копыто.

— Хочу, — радостно отвечает Терёша.

— Ладно, хорошо, — степенно начинает Копыто. — Живёт себе, значит, царь в золотом дворце, под стекольной крышей; небо и звёзды и как вороны летают — всё сквозь крышу видать. Ничего не делает царь, только жрёт белые пироги с изюмом да пиры справляет. А вина у него, — чмокает губами Копыто, — полный колодец вровень с землёй. Ездит царь на лесопетах с колокольчиком. В нужник — и то пешком не ходит. Боится, как бы ногу не намозолить, а у самого каждый день портянки новенькие, мякотьные. Сапоги утром и вечером дёгтем мажет. Постеля у его с царицей во весь чулан, широченная. Катайся, мнись, сколько хочешь, соломы набито втугую. А ему не спится. Слуги спрашивают: «Ваше государево величество, почему ты не дрыхнешь?» А он им говорит: «Сон не идёт на ум, брюхо спучило от белых пирогов, спать мешает». — «Может, увеселить ваше государево величество к ночи?» — «Увеселите, — отвечает царь, — соберите мне сорок зимогоров, наденьте им петли на шеи и повесьте. Пусть болтаются у меня под окном...».

— А ты видел живого царя? — нстерпеливо перебивает Терёша.

— Видел, на именинах у его бывал. А когда умер тот царь, что был до этого, мне царица-вдовушка за помин его души царские портки подарила, без единой дырки. И досель ношу, не снимаю...

— Вот эти самые? — доверчиво спрашивает Терёша.

— Эти самые.

Додон смеётся, потом ругает Кольку отборными словами:

— Чего ты, Копыто, городишь!

— Я горожу? Я никогда не вру! Посмотри, у порток и сейчас пуговица с двоеголовым орлом. Сам царь носил. У кого ещё такие пуговицы?

— Мели, Емеля, твоя неделя, — говорит Додон и крупными стежками торопливо строчит задник, наматывая дратву на толстые, просмолённые кулаки.

— Ещё расскажи, — просит Терёша, глядя на морщинистое, некрасивое лицо Копыта.

— Сказка вся, больше врать нельзя. Скоро твой отец приедет от невесты, надо самовар ставить.

Копыто вытряхивает самовар, наливает дю краёв речной воды. Через минуту самовар поёт на разные голоса.

Иван возвращается навеселе.

Подошло время свадьбы.

Иван просыпается раньше обычного, убирает сапожный верстак из переднего угла на чердак. Копыто топит чужую баню. Турка бегаёт по деревне, собирает колю-кольцы, бубенцы, ширкунцы и ситцевые обрезки для украшения сбруи. Клавдя и обе Михайловы дочери заняты стряпнёй на свадебных гостей.

В Баланьине в эту пору у невесты собираются девахи. Они вплотную сидят на широких лавках и при свете лучины слушают слёзный причет Дарьи. Закрыв лицо цветистым платком, она рыдает и напевает всё то, что ей положено пропевать на «девишнике»:

Вы подруженьки, голубушки любезные,  
Задушевные да расхорошие.  
Вы послушайте, что скажу-то вам,  
Мои славные да ненаглядные:  
Как пойдёте вы на гуляньицо,  
На гуляньицо на весёлое,  
Уж вы вспомните-ка, голубушки,  
Меня, Дарьюшку, дочь Александровну...

Дарья прокашливается под платком и, передохнув, продолжает голосить немного на другой лад:

Вы пойдёте в леса тёмные,  
Во болотца во моховые,

Собирать грибки да ягодки,  
Меня вспомните, сердечные.  
Вы пойдёте во чисты поля,  
В зелены луга весенние,  
Работать работы страдные,  
Вспомяните меня, милые...  
Когда я-то растоскуюся  
За Иваном во замужестве,  
За вдовцом-то, за сапожником,  
Я приду к вам, вас проведу  
Да про свою вам жизнь поведаю...

Лишь только Дарья кончила свой причёт, из толпы девушек выходит девица всех наряднее, с венком из бумажных цветов на белокурой голове и затягивает протяжную ответную песню. К ней примыкают остальные девушки. Никогда ещё изба Алексаши Найдёноква не слыхала такого складного предсвадебного распева:

Возле реченьки, на берёжке,  
Тут стояла нова светлица,  
А во этой новой светлице  
Сидит девица покрытая,  
Печальная да сговорённая.  
Собирались к ней подруженьки  
На девичник на девический.  
«Ты, подруженька-голубушка,  
Свет ты, Дарья Александровна,  
Нам с тобой больше не гуливать,  
В хороводах не приплясывать...».

На другой день после венчания вечером в Попихе состоялась гостьба. Из Шилова и Бакрылова, из Белелицына и Телицына и многих других деревень пожаловали любопытные люди на Иванову свадьбу. Конечно, в избу все сразу не вошли; пришлось смотреть на жениха с невестой и на всё свадебное застолье поочереды. Не было на свадьбе нарядных гостей. В родне у Найдёноква голь перекатная, да и у Ивана немногим богаче. Гости пили-ели так, что у многих от голов шёл пар. Запах дёгтя смешивался с запахом водки и разваренной говядины. В углу, под полатами, в тесноте и темноте пиликала тальянка, выговаривая бесконечное: «Отвори да затвори».

На полатах в жаре лежит Копыто и, обнимая, успокаивает Терёшу:

— Не горюй, малютка, авось всего не слопают, и нам с тобой останется.

А Додон подшучивает:

— И не ждите: наехали, что те собаки голодные.

— Пусть, леший с ними, завтра Иванова родня жить в Баланьино поедет. Ох, и вытряхнут они этого тестя, табачную ноздрю, не возрадуется! — говорит Копыто и с сожалением поясняет Терёше: — Ты ещё мал, а я Ивану не родня. Ни ты, ни я отгащивать не угадаем, а то бы мы им показали...

Водки было вдосталь. Гостям — ведро, соседям — ведро, бабам-соседкам — полведра. Кончились угощенья, и тогда затряслась изба от пляски. Турка переплясал всех гостей с невестиной стороны. Даже слепой дед Пимен топтался, точно глину месил, и пел:

Эх, трях кудрям  
По всем углам, —  
И звали меня девки,  
Да сам не пошёл.  
Пошёл плясать,  
Дома нечего кусать —  
Сухари да корки,  
На ногах опорки.

С ним на перепляску выходил Найдёнков, да неудачно: во время пляски хотел он выкинуть коленце и незаметно высыпал на пол нюхательный табак.

Табачная пыль, едкая и забористая, всем защекотала ноздри. Гости зачихали. Передние начали толкать задних, задние напирали на передних.

— Что случилось?

— Ворожея Пиманиха порчу подкинула, у всех носы дерёт, — сказал кто-то в шутку.

— Порча, порча! — раздались тихие, испуганные голоса повсюду.

Народ из избы и с повети выскочил на улицу...

Иван крепко жмёт руку побледневшей Дарьи и спрашивает брата Михайлу:

— Где ворожея? Хребет бы ей переломать.

А когда узнали, что Пиманихи тут и близко нет, и что всё это произошло от найдёнковской табакерки, успокоились и над собой посмеялись.

До позднего вечера шумела свадьба. «Князю» со «княгиней» много раз кричали: «Горько!..». Иван нахло-

нялся и троекратно целовал Дарью, крепкую толстушку, никогда и никем не целованную.

В полночь уехали невестины сородичи с песнями и руганью. Лошадёнки, настоявшись на холоде, неслись во всю прыть, выбрасывая на раскатистых сугробах сильно подгулявших гостей.

Жениха и невесту спроваживали спать в холодный чулан. В избе первую ночь, при оставшихся ночевать гостях, спать новобрачным не полагалось.

Кривая Клавдя, разметая веником дорожку в чулан, светит им лучиной и напутствует:

— Окутайтесь потолще. После свадебного стола как бы не простудиться.

— Разве можно! — отвечает протяжно Иван, довольный и взволнованный. — С такой бабой любой мороз нипочём, — и, неуклюже обняв супругу за широкую талью, с трепетом душевным переступает порог чулана, где им приготовлено брачное ложе из двух соломенных «перин», про которые говорят: в нашей перине каждая пушина — полтора аршина.

Наутро Иванова родня во главе с женихом и невестой двинулись в Баланьино отгащивать. Когда гости уселись за стол, один из баланьинских мужиков, самый бойкий на язык, пробирается с блюдом вперёд для получения выкупа за невесту. Он развёртывает скомканную, замусоленную грамотку и бойко начинает читать:

— Читаю сказ, написан про вас! — показывает пальцем на новобрачных.

Иван подхватывает Дарью за локоть и, как полагается «молодым», стоя слушает свадебного шута:

— «Писано-переписано после Сеньки Денисова, писал Макарко чёрным огарком в бане на двери, чорт его дери!.. Слушайте, новобрачные, — не вертитесь, по рылу попадёт — не сердитесь. На князе свадебный пиджачок, дал ему Турка-мужичок, пиджачок поношен, под порог был брошен, да наш новобрачный подхватил и под венец покотил». Правда?..

Посетители, наполнявшие избу, сдержанно улыбаются. Иван тоже смеётся и молча отвешивает чтецу низкий поклон в знак того, что в сказке никакого вранья нет, а всё суцая правда, и что он не в обиде на остро-слове.

— «У нашего князя огромный хором — на трёх саженьях со двором, два кола вбиты да бороной покрыты.

В широкие двери лазают звери, в окошки скачут кошки. В доме приволье, вода в подполье». Правда?

Иван опять кланяется чтецу.

— «Наш князь хоть и не очень здоров, зато имеет шесть коров. Была корова Пеструха, да корову отнял урядник Петруха; да у соседа корова бура, да корова когда-то будет; да коровку даст тесть, ещё бы одна, вот и станет шесть». Правда?

Хохот разносится по избе. Иван стискивает зубы, кивает чтецу:

— Ври, да знай меру, — и достаёт кошелёк, чтобы откупиться за невесту.

Но чтец, спрятав блюдо за спину, под общий смех продолжает:

— «Есть у князя три лошадки, откормлены и гладки: лошадь пегая, чорт знает, где бегает; да лошадь чала—голову напрочь откачала; правда, ещё бурый меринок—совсем без ног,—под гору вон из хомута, в ору лупят в три кнута». Правда?

Иван хмурится и снова говорит:

— Ври, да знай меру.

— Не любо — не слушай, а говорить правду не мешай, — быстро отвечает чтец и, заглянув в грамотку, принимается отчитывать новобрачную «княгиню»: — Ну, теперь, к слову да к месту, всё обскажу про невесту. У нашей Дарьи имения — пять возов камня, воз поленья да сундук веретён, оглоблей пригнетён. А одёжито, одёжи — две рогожи да праздничный куль!

Иван протягивает руку с зелёной бумажкой — трёшником на водку баланьинским мужикам, но чтец отстраняет подачку и, показав на невесту, ухмыляется:

— За такую тетёрочку пожалуйста пятёрочку! Невеста у нас настоящая, дюже работающая. Люди пойдут траву косить, а она — хлеба просить, люди — грести, а она — себе косу плести. Люди — жать, а она — на меже лежать; как ноги сожмёт, глядишь, и полосу сожнёт...

— Хватит! — не вытерпев, кричит Иван, не дожидаясь, когда кончит чтец; красноречие которого кажется неисчерпаемым.

— Хватит! — повторяет он и добавляет к трёшнице два серебряных рубля, в карман суёт опустевший кошелёк.

Свадьба продолжается своим чередом.

— Не любя мне твоя Дашка-коротышка,—откровенно признаётся однажды Алексей Турка Ивану,— не умеет она ни печь, ни варить, ни с народом говорить. Поздороваешься, а она: «гы-гы-ы!», отвернётся и рот ладонью прикроет. Какая-то она из-за угла мешком богом битая.

— Не тебе с ней жить, — нехотя, с обидой, говорит Иван, но мысленно соглашается со своим приятелем: «Верно, она не такая, как другие, вроде чумовата,—так это оттого, что она долго в девках сидела».

— Стряпуха из неё—что из коровья хвоста подмётка: то перепечёт, то недопечёт,—жалуется Додон, вмешиваясь в этот разговор.—Под носом кулаком трёт, как Терёшка. Отучи её, Иван, от этой привычки, со стороны смотреть неловко.

— Зря ты послушал тогда Копыта, разве он чего понимает в бабьем деле?—заключает Турка и не глядит на Ивана.

Тошно Ивану слышать такие разговоры и поздно теперь думать, что в выборе невесты он действительно промахнулся.

Терёша подрастает, становится догадливей, начинает понимать беспокойство отца. Вот и сейчас, подслушав его разговор с Туркой, он спрашивает:

— Тятя, кто она мне, мама или коротышка?

— Мама, конечно, — безразлично говорит отец.

— Зови коротышкой, — поправляет Турка, — больно будет добро.

— Коротышка! Коротышка! — громко и весело выкрикивает Терёша.

Дарья приходит в избу и, узнав, что Турка так обучает Терёшу называть её, сердито фыркая, набрасывается на Алексея:

— Ты чему парня учишь? Надо, чтоб я ему уши оторвала? Какая я коротышка? Твоя Глуханка чем меня лучше? Меня никто так в Баланьине не обзывал.

Терёше достаётся пинок, Иван косится на Дарью, но, не говоря ни слова, ковыряется у себя за верстаком, не желая производить шума из-за пустяков. Турка ворчит:

— Подумаешь, какая королева-принцесса! Да у нас в деревне ни одной бабы без прозвища нету; не взыщи уж, а тебя тоже прозовут. А Терёшку не обидь. Смотри,

я знаю Ванюхин характер: он молчит-молчит, да как двинет...

Дарья кажется Ивану совсем иной. И ростом ещё ниже, и подбородок отвис, как рукавица, и губы раскисли, вот-вот слюна потечёт по ним. А её неряшество и дурной нрав совсем сбивают Ивана с толку. А тут ещё Турка, друг несомненный, посмеиваясь, возьмёт да и скажет:

— Знаешь, Иван, что я заметил?

— Чего, Алёша?

— Во всей Попихе только на одну твою бабу Орлик лает.

— Ну ты к чорту, насмешника,—отвечает Иван без всякой злобы,—и не говори лучше, не тревожь сердца...

С зимогорами Дарья неприветлива. Обругала их ни за что, ни про что, и все они, как по уговору, переметнулись из Иванова пристанища к Турке. И от этого стало Ивану скучно. Брал он тогда с собою сапожное шитьё и уходил на весь день к Алексею. Поздно вечером возвращался домой. Дома тишина. За печкой шуршат тараканы, их развелось густо. Терёша спит на лавке с заплаканными глазами, вместо подушки — валенок под головой, окутка—рваная шубёнка. Дарья, разметав стёганое из разноцветных лоскутьев одеяло, лежит, притворяясь спящей. Иван, наскоро поужинав редьки с квасом или капусты с картошкой, торопливо лезет к ней под окутку.

— Дарья, Дашенька...

Молчит жена, пузырьём дуется. Иван опять:

— Дарья, Дашенька!..

И опять молчит, будто язык проглотила. Замахнётся Иван, ударить хочет: авось баба голос подаст, замахнётся, а не ударит—не стоит грех заводить. А Дарья повернётся к нему спиной, лежит, как пень-колода, не шевелится. Нет, не пара Иван с Дарьей. Не жизнь у них, а недоразумение.

И стал Иван примечать, что пропадают из кошелька деньги: то полтины, то рубля каждую неделю недостаёт.

Иван снова запил, неузнаваемо оброс чёрной бородой с проседью. Густые брови сердито срослись над переносицей. Губы у него покрылись синевой, а нос сначала краснел-краснел, потом стал лиловый. Руки тряслись, и когда он садился за верстак, то не мог уже так

скоро и хорошо шить сапоги, как это у него получалось раньше.

Дарье нерадостно живётся с ним, но как будто так и надо, на всё она смотрит равнодушно и молчаливо. Ивана такое отношение задевает больней, чем когда-то Марьиная фугань. Он сам иногда пытается вызвать Дарью на воркотню:

— Дашка, почему тебя не касается, что я пью? А почему пью? Ты знаешь?..

Дарья ему невозмутимо:

— Пей, пока жив, сопьёшься насмерть—другого найду, тверёзого...

— Ах, вот оно что! Коротышка! Змея!..

— Не ори, не боюсь. Заденешь—и на тебя руки найдутся.

Полный гнева, Иван пинает всё, что попадает ему под ноги: корчагу с углями—вдребезги, верстак—кверху ножками, горячему самовару пинком в бок—и вмятина до самой трубы. Хватает безмен—и с размаху о печку. Два кирпича вылетают на пол. Со второго удара безмен сгибается в руке.

Дарья стоит у дверей, криво усмехаясь.

— Ты чего скалишься? Чего ждёшь?..

— А жду, когда своей головой будешь в простенок бить.

— Вон из избы! — кричит Иван.

Дарья уходит.

Терёша в такое время забирается в угол на полати, испуганно следит за отцом, вздрагивая от страха. Он не смеет заговорить. Но вот Иван перестаёт буяннить и, склонив на грудь голову, начинает хныкать. Странно всё это кажется Терёше: почему отец посуду бьёт, и вдруг, такой большой, взрослый, никто его не трогает, а он плачет?

Обмякнет Иван, берёт Терёшу, усаживает с собой рядом, гладит по голове.

— Тятя, зачем ты такой? — участливо спрашивает отца Терёша.

— Большой вырастешь, узнаешь, — говорит Иван и широкой ладонью разглаживает морщины на лбу.—Худо мне, Терёша, ой худо!

— А ты пей из самовара, не из бутылки.

— Не могу, Терёшенька, не могу, хоть и дело ты говоришь. Надежда ты моя, сокровище!

- А я, тятя, пить не стану.
  - Хорошо бы. И в карты не учишь играть.
  - Тоже не буду. И драться не буду.
  - Кем же ты, сынок, будешь?
  - Поваром в трактире у Смолкина.
- Отец смеётся:
- Почему, сынок, поваром?
  - Копыто сказывал, что там всего можно поесть досыта.

## IX

Не думал, не гадал никогда Иван, что случится с ним такое несчастье, что когда-либо постигнет его преждевременная смерть по злобе зимогоров, с которыми он всегда ладил, всегда жил в согласье.

Как-то в начале осени, в богородицын день, вечером скопнице зимогоров в Ивановой избе затеяло картёжную игру. Звенели медяки, слышались острые слова и ругательства. Иван был трезв, а денег у него не было, но сходил к приятелю Турке и с лёгкой руки занял у того два рубля. Потом он вернулся домой и сел играть. Ему повезло. Кучи медяков и серебрушек громоздились перед ним на столе. Копыто скоро «вылетел в трубу» и, тайком взяв у Дарьи целковый, начал отыгрываться и плутовать. Он бросил под стол две карты от перебора, сам же обнаружил их и начал обвинять Ивана в нечестности. Тот возмутился, зашумел. Игра, как и следовало ожидать в таких случаях, сменилась дракой. Иван полез на Копыта, Копыто схватил с верстака сапожный нож. Нож у него отняли и выбросили в окно. Тогда кто-то погасил лампу.

Зимогоры выбежали на улицу. Там поднялся крик. В изгороди затрещали колья. Иван на всякий случай нащупал под порогом топор и, не зажигая света, встал посреди избы. Копыто на улице впотьмах, размахивая колом, начал выхлёстывать рамы. Стёкла вместе с крестышами летели в избу и со звоном сыпались на пол, на стол, на верстак. Терёша проснулся, заревел. Дарья прижалась на печи за кожухом и, натянув на себя одеялишко, невнятно что-то бормотала.

— Бей мельче — собирать легче! — кричал Иван впотьмах, уснащая выкрики руганью.

Со звоном и треском вылетела последняя боковая оконница.

— Всѣ? Ну, держись, теперь моя очередь! — проговорил он дрожащим, не своим голосом и, вскочив на подоконник, с топором в руках выпрыгнул на улицу.

Хлюпанье кулаков, треск кольев, рѣв и вдруг чей-то стон.

В это позднее время вся Попиха почивала крепким сном.

Лишь Вася Сухарь открыл окно в своей избе, прислушался и определил:

— Война около Ивановой избы, — и, широко зевая, закрыв окно, спрятался под тулуп к своей Степаше.

Когда всё стихло, Дарья в домотканной исподке, с распущенными волосами, слезла с печи и в темноте из-под окон услышала сдержанные голоса:

— Дышит ещё?

— Ну-ка, сволокѣм в избу.

Чтобы не наколоться босыми ногами на стѣкла, Дарья обулась в опорки, зажгла лучину. Перепуганный Терѣша в ужасе забился под лавку, плакал и сквозь слѣзы твердил:

— Где тятя? Где тятя?..

— Леший унёс драться, — грубо буркнула мачеха и с горящей лучиной вышла в сени.

Навстречу ей трое зимогоров волоком тащили в избу избитого до потери сознания Ивана. Дарья осветила его лучиной и, взглянув на беспомощного, окровавленнаго мужа, сказала:

— Туда и дорога, не надо было соваться.

И кто знает, какие у неё тогда были думы и виды на будущую жизнь.

Ивана положили на осыпанный стѣклами пол. На третий день брат Михайла съездил в село за фельдшером.

— Антонов огонь, лечить поздно, не выживет, — сказал фельдшер.

Так и случилось.

На этот раз урядник Доброштанов обошёлся без корысти. С зимогоров взятки гладки. Освидетельствовав труп, урядник, пыхтя, скрипел пером:

«... На лбу кровоподтѣк величиною с медный пятак, в области сердца на груди — кровоподтѣк от удара тупым орудием величиною три вершка в длину, два пальца лежачих в ширину; в задней части черепа незначительный пролом; кисть правой руки разбита совершенно,

от коей начался антонов огонь и, развиваясь, пресек деятельность сердца...».

Круглым сиротой остался Терёша. Горько мачехе с пасынком, а пасынку-сироте с ней — и того горше. Жалели малютку соседи, но сами же и говорили, что из жалости шубы не сошьёшь и валенок не скатаешь. Жалость не грела и вызывала у Терёши одни лишь слёзы.

Бабы-соседки рассуждали:

— Стравит мачеха теперь своего пасынка, изморит, холодом изведёт.

К тётке, кривой Клавде, приступали:

— Взяла бы Терёшку к себе, пока заживо.

Может, и взяла бы его Клавдя, не каменное у неё сердце, как никак — тётка. Но Михайла ютсоветовал:

— Не надо, пусть Дашка канителится, ей всё добро после Ваньки досталось. А у меня свои девки замуж не выданы, Енька к женитьбе тянется, а там, глядишь, внучата, как солодяги после дождя, пойдут, куда нам лишний рот? А за Терёшкой мы и так со стороны посмотрим.

Дарьина соседка Агниша пятнадцать годов прожила со своим Мишей Петухом в сгнившей хибаре — окна с землёй вровень, дверь из избы прямо на улицу без сеней и крылечка.

Как схоронила Дарья Ивана, всю Попиху Агниша выбегала и, завидуя вдове, всюду вела разговор:

— Коротышке-то, смотрите, какое счастье подвалило. Году с мужем не жила, небрюхатой осталась — и всё имущество ей. Изба новая, Бурко, струмент сапожный. Возьмёт она теперь Копыта в приёмышы, а Терёшка им не ахти какая помеха. — И, разводя толстыми веснушчатыми руками, Агниша вздыхала и твердила: — Вот счастье-то Дарье, на диво счастье...

И на самом деле, ни тоски, ни печали не было на сердце у Дарьи. Она даже для приличия не всплакнула на похоронах, а вернувшись домой, справила поминки со своим отцом и Копытом.

Были у Дарьи какие-то заветные думки. Хозяйством в Попихе она решила не заниматься. Полоски в полях, кулиги в пустырях — всё сдала деверю Михайле в аренду на три года, а деньги за аренду — тридцать рублей — чистоганом отвезла в Устье-Кубинское, на почте сдала на хранение.

Остатки ржи и ячменя сушила Дарья в печи, собираясь сушёное зерно везти на мельницу. Утром она открывала заслонку, надевала на Терёшины ручки старые, истрёпанные рукавицы, подсаживала его на шесток и заставляла выгребать из печи, из всех щелей высушенное за ночь зерно. В печи поднималась пыль. Терёша, задыхаясь, кашлял, изнемогая, вылезал на шесток и плакал.

Грубоват был Копыто, но и тот сжалился над ребёнком, насадил сосновое помело на длинную палку и сказал Дарье:

— Не изгиляйся над сиротой, я сам выгребу.

Пинки, колотушки, подергушки за волосы часто вызвали у Терёши слёзы, обиду и прививали ему злобу. Родной дом становился ему хуже чужого сарая. По утрам он перестал умываться, и мачеха на это не обращала внимания. На завтрак он искал себе где-нибудь завалявшуюся корку хлеба, а если не находилось хлебной корки, Терёша, не унывая, брал тупой нож-квашенник, отскабливал от стенок деревянной квашни присохшее тесто и ел. За это мачеха его не бранила: парень сыт, и квашня в чистоте. Днями он не бывал дома. Повадился к соседским ребятам и, босой, без штанишек, в одной длинной рубахе, бегал к ним. Больше всего тянуло его к Менуховым ребяташкам — к Серёге и Костыке. Мать у них была добрая: нередко от неё перепали Терёше гороховые калачи и овсяные олашки. В Попихе не осталась без прозвища даже эта молчаливая, добросердечная женщина. Поп при крещении назвал её Анной, а попихинцы — «Свистулькой». Она была высокая и тощая, до замужества жила в семье гончара, который, кроме горшков, делал глиняные игрушки-свистульки. И потому прозвище Свистулька к ней в Попихе крепко пристало.

Однажды Анна впустила к себе в избу продрогшего Терёшу, приласкала и, накинув ему на плечи порожний мешок, взяла ножницы, остригла волосы и горячей водой вымыла ему над корытом голову.

— Ой, сирота, бедная твоя головушка! Ну, теперь скажи конём, летай соколом!

Терёшина мачеха узнала, чьих это рук дело, и, злая, впопыхах прибежала под окна менуховской избы.

— Кто тебя, Свистулька, просил стричь чужого парня? У своих ребят под носом вытри!.. — и начала ругаться.

К её удивлению, на ругань никто не отозвался. Мимо проходила Степанида — Васи Сухаря жёнка; постояла, послушала Дарьину ругань и, покачав головой, проговорила:

— Худенько бранишься, в Баланьине, видно, не умела, да и у нас ещё не обучилась. Ступай-ка отсюда прочь, а то у Менуховых ребяташки пошалнее Терёшки, возьмут да из окна тебя кипятком ошпарят. Анну не жди. Она у нас одна из всех никогда ни с кем не ругается.

Дарья подоткнула подол и, сверкая голенями толстых ног, лихо прошлась вдоль улицы. Дома напала на пасынка:

— Думаешь, остриг голову, так и рвать тебя не за что? Не радуйся: а уши-то на что! Дай-ка их сюда!..

«Ладно, подрасту ужо, и ты, Коротышка, не возрадуешься», думал Терёша после очередной трёпки.

Невесёлое было Терёшино житьё. От безделья он брал старый, затуплённый нож, выбирал у печки подходящее полено и щепал лучину. Мачеха молча наблюдала: что ж, пусть дерёт, лучина на растопку пригодится. Но вот Терёша из лучинок начинает делать крестики и втыкает их в щели между половицами. Рядом тут же из пустых спичечных коробок он строит церковь и на ней водружает крест из лучинок.

Дарье не нравится такая игра пасынка. Она догадывается и опять наскакивает на него:

— Ты чего это затеял?!

— Кладбище, — робко отвечает Терёша, невинно взирая на разъярившуюся мачеху, и добавляет: — Эта вот тятиня могилка, эта мамина, а эта — тебе.

— Ах ты, сатанёнок! Вон из избы. Ты мне смерть ворожишь!

Терёша получает пинок и с рёвом выбегает на улицу. Крестики из лучинок трещат под подошвами Дарьиных полусапожек.

Глаза у Терёши скоро просыхают. На улице, среди своих товарищей, в игре и шалостях он забывает об обиде и даже о том, что дома всегда поджидает его злая мачеха.

## Х

После смерти Ивана Чеботарёва Алексей Турка не находит себе покоя. Он лишился друга, про которого говорил: «У меня с ним лён не делён и отребье вместе».

Однажды Турка запил и, разгоняя грусть, ходил по деревне и уныло пел те самые песни, что пел раньше покойный Иван.

Он пропил все свои жалкие гроши и напоследок решил сходить в село прогуляться.

... На пыльной улице попихинские ребята играют в бабки. Кон тянется поперёк улицы. Алексей Турка, слегка покачиваясь, подходит к ребятам. Бережно переступает кон, останавливается, роется в карманах. Найдя уцелевшую медную копейку, бросает её на дорогу:

— А ну, кто живеи?!

Копейка катится и исчезает в пыли. Ребята гурьбой валяются, толкаются, колотят друг друга. Алексей смотрит на них и глубокомысленно рассуждает:

— Эх, вы, сосунцы! Вам ещё по десяти-годов нет, а из-за копейки готовы глаза друг другу выдрать. Нехорошо, ребята! Вот у меня последняя копейка встала на ребро, а свет не без добрых людей; главное, чтоб человеку доверье было, захочу — буду сыт, пьян и нос в табачке. К чему деньги? Будь сам золото! — Увидев Терёшу, он подзывает его к себе, ласково улыбнувшись, спрашивает: — Безотецкой, сиротинушка, кто тебя так хорошо остриг?

— Менуховых ребят мама.

— Молодец баба, скажи ей от меня спасибо.

Турке пришло в голову сделать Терёше что-то приятное. Он держит его за плечо и говорит:

— Хошь, пряниками накормлю?

— Хочу! — обрадованно прискакивает Терёша.

— Ну, так пойдём со мной в село.

Бабки — бабками, а пряники — другой разговор. Он идёт рядом с Алексеем, заправски рышагивает, как взрослый, и изредка обдуманно отвечает на его расспросы.

— Мачеха-то тебя не бьёт?

— Маленько, не больно.

— Нисколько не надо. Чуть что — так ты сразу жалуйся мне, а я ей, Коротышке, дам жару. Хоть и не моё дело тебя оберегать, я никакая не родня, а тебе буду всё равно что заместо отца.

Они идут молча, прыгая по болотным кочкам и обходя трясины. Дорога как раз проходит поперёк болота, и Терёша попутно то и дело срывает и горсточками отправляет в рот переспелую голубику.

Лето выдалось сухое, ягодное. Алексею такое лето ни к чему. Когда сухо, то спросу большого на сапоги нет.

— С твоим отцом-то мы были крестовые побратимы-товарищи, — говорит Турка после некоторого молчания. — Ага, ты не понимаешь, что значит крестовые? Мы с отцом-то твоим крестами как-то раз поменялись и побожились друг за друга всегда горой стоять. И вот скажу я тебе: в крест я не верю, а в дружбу с отцом верил всегда. Будь я на том месте, когда его били зимогоры, может, меня бы убили, а твой отец жив бы остался. Чуть что, ты от мачехи-то ко мне забегай, я тебе заступу всегда окажу.

— Ладно, дядя Алёша.

— То-то. Будь бойким. Сам никого не задевай и себя в обиду не давай. Тебя тронут раз, а ты дай сдачи дважды. Сам не в силах—я пособлю. Вот так и живи.— Поглядев на Терёшины ноги, покрытые болотной грязью, Турка спрашивает: — Зачем босой-то? Тут ящерицы, змеи бывают.

— А у меня сапогов нет.

— Как нет? Были, я помню, отец тебе из лоскутков шил.

— Тесны стали, мачеха их продала.

— Ладно, погоди: разживусь я — тебе сошью.

— Спасибо, дядя Алёша.

— Погоди, сошью — тогда и спасибо скажешь.

Обходя зыбкие места стороной, Алексей тяжело прыгает с кочки на кочку. Терёша, лёгкий в ходьбе, ему не уступает. Турка часто оглядывается на него, предостерегает:

— Гляди под ноги, чтоб на гадюку не наступить.

Болото прошли благополучно. А когда они вышли на грунтовую дорогу, гадюка не короче аршина, шипя, переползала дорогу. Алексей заметил её сразу.

— Вот как я их, Терёша, изничтожаю! — и, чуть наклонившись, с размаху голым кулаком ударяет змею в голову.

Терёша в испуге отскакивает в сторону, смотрит, как гадюка, извиваясь, кружится, не сползая с места. Турка брезгливо вытирает кулак о траву, говорит:

— Твой покойный отец всегда их сапогом топтал, а я кулаком не боюсь. Надо только на раз бить вот этим местом, кокотышками, и прямо в голову. Мне покойный дедушка говаривал, что от этого рука сильнее бывает.

— А верно ли, что бог сорок грехов прощает за убийство змеи? — спрашивает Терёша.

— Тебе кто сказал?

— Тётка Клавдя.

— Врёт кривая, не верь. А убивать эту гадость надо, она самая вредная на земле. — Турка берёт гадюку двумя пальцами за хвост, резко встряхивает и, к удивлению Терёши, осторожно кладёт её в карман распахнутого пиджака.

— Дядя Алёша, зачем она тебе? — Терёша шарается от него в сторону.

— Молчи знай, в трактир отнесу... подшучу там.

В будни в трактире у Петра Смолкина бывает почти пусто. За буфетом сидит жирная хозяйка, жена трактирщика, и от безделья вяжет разноцветный чепчик. Около буфета, привалясь к стене, стоит усатый, с заплавленными глазами официант и отмахивается полотенцем от тучи мух. В углу за столиком два сельских завсегдатая залпом глотают из рюмок водку и не спеша закусывают солёными югурцами.

Алексей Турка садится за стол, рядом с собой усаживает Терёшу. Барабанит по столу пальцами. Официант нехотя, ленивой походкой идёт к занятому Туркой столу:

— Что угодно-с?

— Где сам хозяин? — Алексей показывает в сторону буфета.

— В Вологду за пивом уехал.

— А с бабой его мне, пожалуй, не спеться, — мрачно говорит Алексей и любезно обращается к официанту: — Поговори-ка, дружок, с хозяйкой, не поверит ли она мне на полтину в долг? Фунт пряников и сороковочку.

Официант идёт к буфету и быстро обратно.

— В долг нельзя, под залог можно-с...

— Я так и знал, — сокрушённо говорит Алексей, — этакая подлюга! Мало, что ли, я тут у вас пропил? На полтинник доверья мне нет.

Оставив Терёшу за столиком, Турка направляется к буфету и там, покашливая, тихо и вкрадчиво беседует с пухлой хозяйкой:

— Смилуйся, государыня, в долг. Четыре версты парнишку тащил, пряников посулил ему. Круглый ведь сирота: после Ивана Чеботарёва остался. Больше на покойную мать лицом смахивает...

— Наплевать. С пустым карманом к нам не ходят, от ворот да и поворот, — не слушая Турку и не глядя на него, отвечает хозяйка.

— А может, у меня кармашек-то не пустой, уважаемая? Чего бы ты хотела под залог? — не отступает Алексей и строит хозяйке такую умильную рожу, что та невольно, заинтересованная, откладывает чепчик в сторону.

— У меня, хозяйюшка, есть одна вещичка, да, знаете, не своя и такая редкость, что я, право, боюсь показать: как бы вон те двое не приметили.

— А что у тебя такое? — оживляется хозяйка, охочая, как и её супруг, до краденой дешёвки.

— Цепочка, — шепчет Алексей, вытягиваясь через стойку, — чистое серебро. Уж на что пузат твой Пётр Степанович, — и на того два раза поперёк брюха хватит.

— Покажи-ка.

— Нет, показать сию минуту не могу. Вот те два фрукта что-то за мной поглядывают. Ей-богу, оставлю, цепочка будет ваша. Немного и прошу: сороковочку водки, фунт пряников.

Через минуту Турка опохмеляется и угощает Терёшу пряниками.

При выходе из трактира, выбрав момент, когда хозяйка разговаривала с посетителями, Алексей тихонько и вроде полунамёком спрашивает, куда можно сунуть «вещичку», чтобы не заметили люди.

Смекалистая хозяйка показала на порожний чайник, кивнула:

— Сюда.

И, пока она отпускает посетителей, отвлекая их разговорами, Турка быстро и незаметно накрывает на подоконнике чайник полой пиджака и суёт гадюку. Затем он вежливо кланяется, благодарит и уходит.

На улице около трактира, у коновязи, закуривая, спрашивает Терёшу:

— Ну, как, Терёша, сыт?

— Спасибо, дядя Алёша, досыта накормился.

— Ну, вот и ладно, и мне тоже как раз.

Он не успел докурить цыгарку, как из открытых окон трактира вырвался истошный, нечеловеческий крик. В буфете что-то упало, загремело. Кто-то, выйдя на улицу, насмешливо говорил:

— Хозяйка за буфетом упала, родимчик трясёт!..

Алексей, затоптав окурок, берёт Терёшу за руку:  
— Пойдём-ка, голубчик, подобру-поздорову. Пусть Смольчиха вспоминает Туркину забаву...

## XI

Ворожея Пиманиха нехорошо нагадала Дарье. Раскинув карты, прошамкала:

— Копыто тебе не жених. Дом этот всякому гроб. Две смерти в новой избе были, третьей не миновать. Или саван себе готовь, или уходи, куда хочешь.

И стало Дарье по ночам чудиться: будто стук по углам разносится и хруст такой, как от костей в мешке. Не спалось ей и страшно думалось:

«Смерть караулит, уходить надо, пока не поздно».

Невдомёк было Дарье, что новая изба осадку даёт и, оседая, потрескивает. На счастье Дарьи, в начале второй её вдовства зимы подыскался жених — вдовец Василий Росоха. Овдовел он давненько, жениться не собирался и не стал бы жениться, если бы не несчастный случай, который и толкнул его посвататься к овдовевшей Дарье. Была у Росохи кляча, ездил он на ней ровно двадцать лет, возил богачам товары из города. Росоха старался хорошо заработать, клал всегда большие, непосильные для лошади возы и однажды, помогая кляче вытаскивать воз из буерака, от надсады приобрёл грыжу. А лошадь была, видно, слабее своего хозяина, надорвалась и подохла. Неделю горевал Росоха, потом узнал от людей, что Найдёнкова дочь Дарья Чеботарёва осталась вдовой, собирается выйти замуж, а в придачу она имеет Бурка — настоящую крестьянскую лошадь. Раздумывать Росохе некогда: жди ещё такое счастье! Как проведал об этом, так целую ночь Росоха и не спал. Утром, ещё ни свет, ни заря, он пришёл к Найдёнкову, и вместе с ним отправились в Попиху.

У Дарьи проживал Копыто. У него были свои намерения — исподволь обжиться и стать хозяином. Вдруг, как назло ему, Росоха с Дарьиным отцом пожаловали в избу.

Входят оба, раздеваются, как у себя дома. Около шестка приветливо закипает вода в самоваре. За столом заводится разговор. Отцу стесняться нечего, он говорит прямо:

— Вот, Дашка, раз не посчастливилось тебе, вдругорядь подвезёт, жениха я привёл. Смотри, полюбится ли?

— Раньше я не рылась в женихах, а теперь и по-давно, — равнодушно отвечает Дарья, однако пристально осматривает гостя в лицо.

А Росоха, пощипывая усы, не сводит глаз с невесты, поддакивает:

— Вдова, так о чём же разговор, — знамо дело, такой товар не нарасхват.

Но тут Копыто не выдерживает. Сначала он свешивает с полатей босые ноги в синих полосатых домотканых портках; затем пересаживается на порог — и тут ему не сидится; прохаживаясь по полу, хочет сказать о Дарье что-то язвительное, чтобы отбить у новоявленного жениха охоту.

— Вдова, вдова, — передразнивает он Росоху, — а может не вдова? Может, и без мужа жила, да одна не спала, то тут как?.. Может, у других есть расчёты?

Неизвестно, что ещё хотел сказать Копыто и сказал бы, если бы Дарья молча не подошла к нему и не плюнула ему в морщинистое, небритое лицо. Росоха оказался находчив и не ревнив. Он отмахнулся от Копытовых слов, как от напраслины, и сказал, что ему об этом вовсе не хочется знать, и стал клонить разговор к тому, как бы вот сейчас посмотреть на лошадь, на Дарьино приданое.

И Копыто снова пытается уязвить Дарью и Росоху.

— На ком же ты думаешь жениться? — спрашивает он ехидно. — На мерине или на Дарье?

— А это не тебя касается, — огрызается Дарья, после чего, накинув на голову тёплый платок, она ведёт Росоху и отца в придворок.

— Выходит, я лишний? — кричит им вслед Копыто.

— Как хошь, погодя увижу, а сейчас не гоню.

— Ну и баба сатана!

Сквозь щели придворка свистит зимний ветер, порошит снег, покрывая позёмкой притоптанную подстилку соломы. Бурко от холода жмётся в угол. Стоит он с закрытыми глазами.

Росоха, подойдя к лошади, проводит по хребту ладонью против шерсти.

— Худо кормишь, хозяйка, — вишь, хребет-то выставился.

— Никуда не ежжу, оттого и кормлю так.

— Опять же в пазы продувает, — замечает Росоха, — надо было бы все дыры затыкать ещё с осени. Эх, баба,

баба! Лошадь — ведь она тоже божья тварь: сорвётся — не вдруг справишь. Ну-ка выведем на волю, здесь темно.  
— Можно и на волю.

Дарья достаёт со спицы старую сыромятную уздечку, надевает на Бурка. Найдёнков, прежде чем распахнуть ворота, вилами откидывает комья мёрзлого навоза. Ворота распахиваются со скрипом. Бурко, упиравшись, нехотя идёт на показ Дарьину жениху. Продрогший в придворке, застоявшийся на одном месте, он начинает прыгать, поднимая поочередно зараз то передние, то задние ноги.

Дарья передаёт поводок отцу:

— Подержи, пусть поскачет.

Но резвость у Бурки проходит в два счёта. Он встаёт, как вкопанный, и дрожит. На боках у него столько задохшего и примёрзшего навоза, что на скребницу нечего и надеяться.

«Три самовара кипятку понадобится на отмывку», — думает Росоха, с прискорбием глядя на лошадь. Затем он крутит хвост, под брюхо лазают, разжимает челюсти и определяет по зубам:

— Пятнадцатая весна будет. Был конь, да изъезжен...

— Самолучшие годы! — похвально отзывается Найдёнков.

— Нет, нет, что ни говори — лошадка запущена.

— Зато дар — не купля.

— Это верно, — скромно соглашается Росоха и косо глядит на Копыта, как раз вышедшего из избы в овчинном полушубке с мешком за спиной.

— Прощевай, Дашка! — не оборачиваясь, громко говорит Копыто и бредёт куда-то на задворки не путём, не дорогой, прямо по снегу в сторону Беленицына.

В избе Росохе кажется, что Дарья чем-то опечалена. Она сидит молча, не находит слов для разговора.

Найдёнков с Росохой снова садятся за стол продолжать чаепитие.

— Пейте да ешьте, что бог послал, — угощает их Дарья.

А бог послал не ахти что: чай морковный, огрызки сахару и ржаные, позавчера испечённые калачи. Но не это тревожит теперь Дарью: она знает, что нетребовательного жениха привёл к ней отец, словом, во всём сойдутся, только вот как быть с Терёшкой? Кому он нужен?..

— О чём ты, хозяйюшка, призадумалась? — участливо спрашивает её Росоха. — Может, жених не по душе?

Дарья чуть заметно расцветает, усмехается.

— Хочу у вас совета спросить, — говорит она, — как мне быть с Терёшкой? Куда я сироту дену?

А Росоха об этом как раз не думал и такого подвоха не ожидал. Куда ему чужая обуза?! Он растерянно таращит серые глаза на Дарью и мычит себе под нос что-то неопределённое.

Найдёнков заранее смекалисто обдумал эту неприятность и сейчас рассуждает так:

— Нечего, Дарья, тебе брать на свою голову чужого парнишку. Пасынок — не сын, да и мачеха ему — не мать. У бога сирот не бывает. Оставляй, соседи приберут. Где он у тебя?

— Ушёл по деревне, бегаёт из избы в избу, домой только спать приходит.

— Ну вот, я и советую, ступай за Василья Росоху самоходкой, тишком да молчком, никому об этом и не хвастай. Прибери всё именишко после Ваньки, поскольку ты ему была законная баба, и переезжай к Росохе, а там и повенчайтесь... Свадьба теперь ни к чему...

## XII

В густые сумерки приходит от соседских ребят домой Терёша. Он замечает в избе большую перемену: ни Копыта, ни мачехи дома нет, самовара тоже нет. От медного рукомойника, что висел над лоханью, болтается одна лишь верёвка. В кадке недостаёт ковша. Крашенный сундук мачехи тоже исчез. Предчувствуя что-то неладное, Терёша выбегает в сени и ревёт во весь голос:

— Мама! Копыто!..

Сумеречная темень отвечает глухим молчанием. Терёша, прозябший на гулянке, забирается на печку, прячет голову в рваное тряпье и думает о многом.

Видел он немало ребятшек-сирот, которые ходят хилые, оборванные, собирают милостыню, — знать, и его ждёт такая участь... Мрачные думки вызывают у Терёши горькие и горячие слёзы. А ночь неумолимо надвигается, и за окнами немилосердно гудит вьюга. Ветер то открывает, то закрывает незапертые ворота, стучит доской по подворотне. Терёша, наконец, выплакался, решает, что надо зажечь лампу; на свет придёт

кто-либо из соседей, хоть бы Клавдя догадалась заглянуть. Лампа висит под потолком. Её никак не достанешь даже со стола. Но Терёша догадывается взять ухват, чтобы подцепить лампу. Не выдержали ручонки: ухват вырывается и, размахнувшись, откидывает лампу к дверям. Осколки стекла разлетаются по холодному и грязному полу.

Терёша, испуганный, забирается на печку и наглухо закутывается в тряпье.

Просыпается он рано. Розовые лучи зимнего солнца сквозят в щели промёрзших окон. Дверь в избу оставалась на ночь полураскрытой. Доски с крыши над сенями давно разобраны на гроба Терёшинных родителей; через отверстие в крыше за ночь в сенях намело снегу почти в аршин. Снег пробрался даже в избу и запорошил пол.

Кот Мурчатка прижался на шестке к загнёте, жмурится и лениво поводит усами. Около него лежат две мышачьи «туши». Кот доволен, он не мяукает, не жалуется на свою судьбу.

Терёша слез с печи, быстро оделся, обулся и, умывшись только слезами, вышел на улицу. Запахнув на себе изношенный ватный казачок и нахлобучив шалчонку на лоб, в раздумье постоял около своей избы и тихонько пошёл к тётке Клавде. Пришёл, сунулся к ней головой на колени и заплакал навзрыд.

Михайла с очками на лбу показался из-за перегородки, отделявшей сапожную мастерскую от другой, «чистой» половины избы.

— Чего ревьешь? Не стыдно нюни распускать? Ты теперь не маленький, — ворчит Михайла на племянника-сироту.

Но Терёша долго и неуёмно плачет, потом еле произносит:

— Мачеха с Бурком и самоваром вчера уехала. Один и спал, и лампу разбил, и в избе стужа...

Клавдя всплёскивает руками.

— Слышь-ю, что парень-то говорит? — обращается она к брату.

— Чего опять? — настораживается Михайла.

— Дарья-то что наделала! Одного его, круглого сироту, на духа свята оставила. И хоть бы слово кому! Вот коротышка злосчастная!..

— Эка мерзавка! — дивится Михайла и садится рядом с Клавдей, чтобы вместе обдумывать, как теперь быть с сиротой.

— Придётся за старостой ехать да сход созывать... — решает Михайла.

... Привезли от Николы-Корня старосту сельского общества—Прянишникова. Причёсанный, приглаженный, одет он фартово, как подобает сельскому купчику: лакированные сапоги с галошами, суконный тулуп с волчьим воротником, снизу поддёвка подпоясана расписным красноторским кушаком. Шарф на шее в четыре поворота, разноцветные кисти свисают до кушака, а за кушаком рукавицы с вышивкой.

Зайдя к Михайле в избу, он снимает бобровую, с бархатным верхом шапку, набожно крестится на иконы и, сбросив с себя тулуп, садится к столу. Терёша жмётся к Клавде и с опаской глядит немигающими глазами на важного старосту. А тот тоже глядит на Терёшу и говорит:

— Обличьем парень не в отца. Невелик женишок. Сколькой тебе годок?..

— Шесть годов, пятый пошёл, — поспешно и растерянно отвечает Терёша.

— Маловато, — усмехается староста.

Десятский Миша Петух тем временем собирает попихинских мужиков на сходку. Долго судачат мужики. Ругают Дарью, зачем сбежала она от ребёнка. На бога обижаются, почему он, вездесущий, так рано прибрал Терёшинных родителей, не дал им вырастить сына. И тут же одни предсказывают, что судьба с малых лет толкает Терёшу к нищете; другие уверяют старосту, что малыш смыслённый, подрастёт и выберется в люди, зимогором не будет...

Староста слушает-слушает разговоры и, наконец, говорит:

— Довольно пустословить. Давайте о деле. Нищих плодить я не позволю... Под опеку парня! Кто желает сироту взять к себе на воспитание? Вот вопрос...

Пока староста не объявил условий опеки, мужики шумят наперебой.

— Ни для кого не задорен, — говорит Сухарь, — один, видно, бог сирот любит, — а нашему брату—обуза.

— Лишних ртов у нас своих немало, хоть глиной замазывай, — присоединяется Менухов-старший, — у меня вон два таких горшка растут.

— Взял бы я, — задумчиво рассуждает Турка, — да бедность у меня через край прёт. Чем я его кормить стану? Может лучше в город, в приют, отвезти?..

— Я, пожалуй, могу взять, — соглашается десятилетний, — пусть живёт, у меня в избе места хватит, дам корзину: себе на прокорм всегда кусочков насобирает.

— Э э! Извини, подвинься, — насмешливо возражает староста, — это будет не опека. Нищих и без того немало.

Староста кладёт на стол прошнурованную протокольную книгу, внушительно стучит по столешнице медной печатью и степенно говорит, запинаясь на каждом слове:

— Вот что, мужики, такие условия я предлагаю: после умерших родителей у сироты числится за ним две с половиной души земли — это раз, — староста пригнул один палец, на котором блестело широкое золотое кольцо.

Михайла поспешно перебивает старосту:

— Землю я взял у Дарьи на три года в аренду.

— Это кстати, — продолжает староста, — ты сироте дядя, кому, как не тебе, его воспитывать?

— У меня сын жених, две дочери не выданы, — начинает отговариваться Михайла.

— Нет, ты погоди, выслушай, — настойчиво продолжает староста. — Сироте скоро семь лет. Остаётся пять лет опекать, а когда ему будет двенадцать, тогда пусть опекаемый отработает опекуну задарма, за хлеб да соль шесть лет. Так мы и запротоколим, — это два, — Прянишников пригибает ещё палец. — Кроме того, опекуну безвозмездно в вечное пользование передадим арендуемую им сиротскую землю, — это три... Михайла же, со своей стороны, будет обязан за это грамоте его обучать и, поелику возможно, сапожному ремеслу.

Мужики переглядываются. Дерзкий на язык Алёха Турка откровенно предсказывает:

— Вырастет парень, и дышать будет нечем...

Другие, отмахиваясь от сироты, попрекают Турку:

— Ладно. Чего завидовать, пусть берёт Михайла.

— Не велика корысть.

— Подумаешь, земля толста, да пуста, одно каменьё да глина.

Сход закончился составлением протокола. Староста покоптил над лучиной медную печать и пристукнул её рядом со своей разборчивой подписью.

— Надо бы имущество сиротское описать, — предлагает, уходя, Турка.

— Нечего описывать, Коротышка успела дело сделать. Всё прихватила.

— Ну и чорт с ней.

Все, не торопясь, расходятся.

Староста остаётся у Михайлы на чашку чаю. Пар двумя струями валит до потолка. За столом Прянишников заводит разговор о хуторах, о людях, которые умеют быстро богатеть. Михайла слушает, не перебивая. Староста говорит:

— Вот кто-то давеча на сходке сказал, что от земли нет проку, дескать, земля толста да пуста. Может, эго, Михайло, так и есть?

— Оно, пожалуй, да, — соглашается Михайла, — земелька у нас неважнецкая и вся раскидана. С полосы на полосу, с кулиги на кулигу — много зря время тратится.

— Так вот я и говорю, — поясняет староста, — есть такой закон, и ты, как мужик самостоятельный, твёрдый, подходишь под этот закон.

— Насчёт хуторов? — оживлённо интересуется Михайла.

— Да, закон этот исходит от главного министра Столыпина и утверждён самим государем.

— Так, так, какая же льгота? — настораживается и вникает в суть старостиных слов Михайла.

— Можешь, скажем, ты выделиться всем своим хозяйством на лучшую землю в один усадебный участок. Сейчас у тебя земли много, она вся вразброс, а тут только пожелай быть хуторянином — и я тебе окажу полное содействие. Согласно закону всю землю твою сведу в один участок. Живи тогда, как барин.

Михайла, подумав, отвечает:

— Вышел бы я на хутор, да одного боюсь: народ стал отчаянный. Задень кого — не взлюбитя; одного-то на отшибе возьмут да и подожгут, а то и кокнуть могут...

Клавде не хочется, чтобы опекаемый сиротинка выбился из её рук. Часами юна просиживает с Терёшей, читает ему полушопотом молитвы, заставляя повторять за ней непонятные слова: «Яко спаса родила еси душ наших». Терёша послушно твердит, быстро заучивает и быстро забывает короткие молитвы. Знает Клавдя, что детская молитва до бога самая доходчивая. И Клавдя придумывает к коротким молитвам длинное добавление.

Сначала идёт поминовение усопших:

— Помяни, господи, тятю Ивана, маму Марью во царствии твоём, дедушку Александра и бабушку Александру, прадеда Кондратия и всех сродников. Дай, боженька, здоровьица опекуну дяде Михайле и опекунье тётке Клавдеюшке. Дай, боженька, здоровья, счастья-талану Михайловым деткам: Енюшке, чтобы никогда его в острог не посадили и в солдаты не брали, девицам — Полинарье и Марье—пюшли, господи, богатых женихов. Сохрани, господи, у опекуна скотинку от падежа, хозяйство от грабежа и дом благодатный от огня..

Утром и вечером, молясь на тусклого спасителя, Терёша твердит это незамысловатое прошение к богу. Михайле любо Клавдино наставление и Терёшино послушание.

Однажды Терёша читает по памяти Клавдин «канон» перед сном в присутствии Алексея Турки. Тот заливается смехом и, показывая на Терёшу заскорузлым пальцем, говорит Клавде:

— Ой, умру, ей-богу, умру! — надрывается, кашляя.

Терёша стоит в недоумении, опустив руки; он растерянно смотрит то на икону, то на Турку. Наконец Турка перестаёт смеяться и говорит:

— Эх, Клавдя, Клавдя! К чему эти твои выдумки? Чего ты парнишке голову морочишь? На его молитвах хочешь в рай въехать? Держись крепче, а то вывалишься. Ну и попал Терёша в руки! Ничего, подрастай, голубчик, в попы не попадёшь, человеком будешь. Знают чудотворцы, что мы не богомольцы...

Михайла не вытерпел, вскочил с места, закричал:

— Ты не гляди, Клавдя, на Туркины насмешки! На том свете с тебя спросится. Терёшку-то знай просвещай, на пользу пойдёт.

Просить об этом Клавдю не было надобности, она и без того щедро и без устали набивала детскую голову однообразными скучными нравоучениями. Вот и сейчас, как только ушёл от них Турка, она стала долго и терпеливо разъяснять Терёше, где находится рай и что он собою представляет.

— А сколько вёрст до рая? — спрашивает тётку Терёша. — Журавли туда могут долететь? Они всех выше летают.

— Вёрсты туда не меряны, — отвечает Клавдя, — ни журавли, никакие птицы туда не летают; да бог их туда и не пустит.

— Почему не пустит?

— Нельзя их, дитяtko, в рай, они там всё лоно загадят. И опять же на земле без птиц нам невесело будет. А в раю свои птички, с человеческим ликом и поют «иже херувимы».

— А какое это самое лono?

— Лono? — Клавдя, подумав, поясняет: — Это такая бархатная, с цветами постилка во весь рай. На лоне детские души играют, наслаждаются хорошей жизнью...

Терёша слушает Клавдю и соображает, что действительно в раю неплохо. Но ему непонятно, как это рай на небесах держится.

— Рай, дитяtko, держится высоко-высоко, на воздушных, — поясняет Клавдя, — выше облаков, на седьмом небе, там, где солнышко. А солнышко — это и есть богово лицо. Потому на него и смотреть долго нельзя грешным людям.

— У-у, как высоко! А кто там, в раю, бывает? — не понимает Терёша. — Тятя с мамой там?..

— Как же, держи карман шире! — вмешивается Михайла. — Много тебе бога просить надо, чтобы Иван с Марьей туда попали.

— В раю праведники живут, ангелы там и бог с тремя лицами, самый главный надо всеми, — отвечает Клавдя.

— А чего они там едят?

— Поди-ко, не редьку с квасом, духом божьим все сыты, — начинает злиться Клавдя. — Больно любопытен, всё-то тебе знать надо.

Терёша не замечает её ворчливого тона.

— А от духа божия вкусный дух, как от тёплого пирсга, понюхаешь — и сыт?

— Дурак! — злится Клавдя. — Тебя учить— всё равно что дохлого лечить, никакого проку, всё по-своему перерачиваешь.

Они недолго молчат. Клавдя берётся за прялку, а Терёша лезет спать на полати, но ещё и оттуда исподтишка поглядывает на тётку и осторожно спрашивает, снова вызывая её на откровенный божественный разговор:

— А чего там растёт, в раю?

— Цветы разные, яблоки, ягоды всякие.

— Кислые или сладкие?

— Только сладкие.

— Эх, жаль, нельзя нашим попихинским ребятам туда попасть, — вот бы поворовали!

— Ну и дурак ты! Да разве можно в раю воровать! Бог всё видит.

— Я в рай попаду, — продолжает размышлять Терёша, — не буду воровать и попаду.

— Да попасть в рай трудно, Терёша, только святые да праведные туда угадывают, да детские безгрешные душеньки.

— А ты, тётка, видала душу?

— Нет, дитячко, и никто её не видел. Она маленькая и невидимая.

— Как зайчик от солнышка?—догадывается Терёша.

— Вот, вот! Светлая, святая и в руки не возьмёшь.

Терёша долго что-то думает, молчит. И вдруг ему приходит в голову случай, недавно происшедший в соседней деревне: там упал в колодец трёхлетний ребёнок и утонул.

— Скажи, тетка, а из колодца достали ангелы душу?

— Как же, обязательно достали.

— Так мокрую и достали?

— Ничего, бог обогреет и высушит.

— На что ему эти души?

— Как на что? На утеху. Бог любит детские души. Хорошо там, Терёша, всё готовенькое, ни заботушки, ни печали...

Подобные Клавдины наставления не пропадали даром. Как-то Терёша вздумал попасть на небо, но, к счастью, ему помешали. А было это так. Однажды в жаркий летний полдень Терёша устал от беготни с ребятами и остался один на речке Лебзовке. По бе-

режку, заросшему одуванчиком и белой ромашкой, он дошёл до моста и взобрался на перила. Свесив с перил босые ноги, Терёша стал любоваться на протекавшую под мостом речку. Сначала он заметил на поверхности каких-то букашек, чёрных, быстроногих. Затем на дне реки он увидел гладкие, серые камни и мелькавших щук и пескарей. Потом в глазах его отчего-то помутилось, и ни букашек, ни пескарей, ни даже камней он уж не видел. В реке отразилось во всю ширь голубое глубокое небо. Лучистое, горячее солнце оказалось в воде у Терёши под ногами и будто бы звало его к себе в гости, чтобы вместе с ним порезвиться на мягких, пушистых облаках. Терёше пришли в голову Клавдины наставления, он захотел попасть на небеса. Ему показалось, что небо, и солнце, и рай, стало быть, — всё под мостом...

Поблизости на речке стирала бельё Анята — мать Менуховых ребятишек. К счастью Терёши, она заметила, как он упал с моста, и, быстро прибежав, не раздеваясь, только подоткнув подол, решительно кинулась в воду. Бесчувственного Терёшу она вынесла на берег, сразу же, не теряя ни минуты, покачала его и, задыхаясь, понесла на руках в Попиху. Там кое-как Терёшу отходили.

В деревне к этому случаю отнеслись безразлично. Только Алексей Турка в первое же воскресенье купил в селе пять аршин ситцу, розового в клетку, два — Терёше на рубаху подарил, три аршина Аняте Менуховой на кофту дал и сказал ей:

— Молодец, баба! Медаль бы тебе следовало за спасение чужого ребёнка! И кто тебя ещё хоть раз Сви-стувлькой назовёт — скулы сворочу...

#### XIV

Тот год для Михайлы был удачен: заднесельская и кумзерская ярмарки дали ему дохода от продажи сапог не одну сотню рублей. Ещё другое счастье привалило Михайле: совсем неожиданно-негаданно пришли сваты из Беркаева и Шилова и уговорили Михайлу выдать за-муж обеих дочерей. От больших расходов на свадьбы и приданое избавился скряга-мужик. Женихи нашлись не-требовательные: один — сапожник, другой — роговых из-делий мастер. В Попихе до масленицы были две свадь-бы, но без больших гостей и перепоя, как это было в расточительную свадьбу Ивана с Дарьей Найдёнковой.

Последнюю зиму катался Терёша с ребятами на салазках с горушек, лепил из снега «бабу», а когда зябко бывало, сидел у Менуховых в избе и обучался картёжной игре в «пьяницы» и «акульки».

— Пусть пока пошляется мальчуган, побегает, а на будущую зиму отдадим в училище, там его протрут с песком, — говорил Михайла и однажды даже «разорился» на три копейки — купил Терёше азбуку-самоучку.

Терёша обрадовался и не расставался с ней. Ходил к Алексею Турке, но тот сам ничего не смыслил в грамоте и посоветовал ему учиться — если не у Еньки, то у Василия Сухаря. И Терёша спрашивал у них, как надо запоминать буквы и как из букв складывать слова.

Сухарь учил его так: «Аз, буки, веди, глаголь, добро, есть, живете, зело, земля, иже, како...», а под конец азбуки шли такие словечки-скороговорки, которых Терёша никак не мог понять:

Ер-еры —  
Упал с горы,  
Ерь-ять —  
Некому поднять,  
Эр-юсь —  
Сам поднимусь...

Енька учил Терёшу иначе. Он написал слова столбиком на грифельной дощечке. Начальные буквы этих слов и составили азбуку:

Аднажды  
Бабушкин  
Василий  
Григорьевич  
Думал  
Ехать  
Жениться  
Зимой  
Иван  
Кланялся  
Луше  
Маше  
Наташе  
Оле  
Параше  
Рыжая

Собачка  
Тужила  
У ворот  
Федя  
Хохотал  
Цырюльник  
Читал  
Ша-ща-ер-еры  
Ижица  
Фита  
Яснс?

Хотя было ещё не совсем ясно, но Терёша понемногу осилил премудрость азбуки-самоучки и к весне стал неплохо читать.

Как-то в весенние сумерки Михайла отдыхал на полатях и от безделья подсчитывал сучки, глазевшие из потолочин. Клавдя лежала на печи и согревала промокшие ноги.

— Не пора ли нам, Клавдеюшка, Терёшку делу приучать? — вопросительно заговорил Михайла. — На побегушках он может теперь взрослого заменить.

— А в школу? — спросила встревоженная Клавдя.

— Осенью отдадим, а летом нынче пусть во всяком деле помогает, люди за это не осудят: он большой.

И с этой поры Терёше каждый час находилось какое-нибудь дело: его заставляли носить воду с Лебзовки, посылали с починенной обувью к заказчикам, в лавку за солью, за керосином, за дёгтем. Если Терёша ходил долго, Михайла на него ворчал и грозил стегнуть ремнём-шпандырем.

Досадно было Терёше так проводить время, когда его сверстники гуляют, где хотят и сколько хотят. И чтобы на беготне то туда, то сюда не было скучно, Терёша припоминал частушки-коротушки, какие приходилось слышать от взрослых ребят и, куда бы он ни шёл, всю дорогу горланил песенки вроде:

Лучше баня бы сгорела,  
Не чем милка умерла,  
Баня новая построится,  
А милка — никогда.

Однажды Клавдя подслушала Терёшины напевы да с такими словечками, что не знала, верить ли своим

ушам. Она увела его в горницу, села с ним рядом на коробью, охая и вздыхая, начала выговаривать:

— Ах ты, дурачина ты этакий! Да тебя за такие песенки вицей в кровь надо драть. Не учишь ты у Копыта: он отпетый. За него мачеха твоя — и та не вышла: пастух, так пастух и есть, последний человек.

Терёша сказал Клавде, что без песен ходить ему скучно, а с песнями дорога короче.

— А ты иди себе дорожкой, куда тебя посылает дядя, и вместо коротушек читай сто раз «богородицу», обратно пойдёшь — сто раз «царю небесный». И богу ладно и тебе хорошо.

— А если я со счёту собьюсь?

— Тогда начнёшь сызнова.

— Ишь ты, какая хитрая...

... Кончилось лето. Хмурая осень спустилась на землю. Начали желтеть и оголяться рощи. Серые густые облака всё чаще и чаще скрывали солнце. На полях, где недавно были суслоны, теперь стаи птиц бродили в щетинистом жнитве. В холодные утренники дымились овины. На промёрзших гумнах обмолачивали рожь и яровое жито.

Верстах в двух от Попихи на перекрёстке проезжих дорог в эту осень открылась заново построенная Корвинская церковно-приходская школа.

Клавдя зачлила Терёше одежку и отвезла его к учителю. Белобрысый высокий парень Иван Алексеевич, недавно окончивший учительскую семинарию, принял Терёшу и записал в книгу. Терёша стал учеником в группе «младших». Кроме младших, в эту школу были переведены из двух отдалённых школ «средние» и «старшие». Все три группы поместились в одной обширной комнате.

Учиться Терёше было не трудно. До поступления в школу он умел бойко читать и считать, а молитв узнал от Клавди гораздо больше, чем следует знать даже в «средних». Учитель всегда его ставил в пример другим, как толкового и нешаловливого.

Терёшу это радовало. Среди своих сверстников ему делать было почти нечего, он выпросил у учителя «книгу для чтения» и, обгоняя «средних», зубрил наизусть «Бородино» и «Смерть Сусанина». Возвращаясь из

школы домой, Терёша нередко заворачивал к Алексею Турке и читал ему наизусть складные стихи.

— Молодец! Башковат будешь, шельма. Жаль, отца твоего нет в живых, порадовался бы на тебя...

Среди школьников, по выражению учителя, были «дылды» и «балды», которые учились по два-три года, не вылезая из «младших». Они к Терёше относились недружелюбно, с чувством зависти. Случалось, что они его обижали.

— Нападайте, нападайте, — не робей, говорил Терёша своим обидчикам, — учителю я не пикну. Но смотрите, если узнает об этом дядя Турка или наш деревенский пастух Копыто, — тогда берегитесь. Я безотецкий, они за меня заступятся и кому хочешь жару-пару нагонят.

На другой день за уроком учитель спрашивает:

— Кто это тебя, Чеботарёв, так изукрасил? Ах, боже мой! И тут, и тут — сплошной синяк.

Терёша встаёт, одёргивает на себе рубашонку, подпоясанную тесёмкой, смотрит учителю в глаза.

— Не скажу, Иван Алексеевич.

— Почему? Значит, прощаешь обидчикам? Похвально, похвально.

Терёша вспыхивает:

— Ничего не прощаю, а если заденут ещё, тогда не возрадуются.

Ребята, которые вчера на него нападали, краснеют и ждут расправы.

— Храбёр, — замечает учитель и требует прочесть «Отче наш».

Когда Терёша кончил молитву, учитель, подняв палец, обращается ко всему классу.

— Ну вот, дети, слышите, в молитве сказано: «И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим». О чём это, дети, говорится, кто скажет?

Терёша стоит за партой и, будто не слыша учителя, сосредоточенно глядит в окно, на стаю воробышков, прыгающих по оголённым веткам рябины.

— А ну-ка, Чеботарёв, отвечай, что эти слова означают?

Терёша не теряется:

— А это вот что: скажем, Серёжка Менухов и Колька Травничков дадут мне перо или карандаш взаймы или, ещё лучше, кусок пирога, а я им обратно не отдам. По этой молитве они не должны и спрашивать с меня...

— Садись.

Уроки «закона божия» надоедают учителю не меньше, чем его ученикам. Он требователен и строг только внешне. Добродушный простак, Иван Алексеевич любит подшутить над «дылдами», которым с большим трудом даётся грамота. Во время урока чистописания он ходит безмолвно, закинув руки за спину, и предаётся размышлениям. Когда ему становится скучно и не о чем думать, он вызывает кого-либо из самых неспособных учеников к доске.

— Грузов! — громко называет учитель фамилию ученика, засидевшегося в первой группе.

Грузов выше остальных учеников ростом, ему уже тринадцатый год. Он легко справляется дома с лошадьёю, запрягает её, может возить дрова, сено, а грамоту вот уже третью зиму никак осилить не может.

— Прочти на пятнадцатой странице сверху, — предлагает учитель.

Тот без надобности прокашливается, трёт рукавом под носом:

— Где читать? Туточка? Под петухом?

— Ну, хотя бы под петухом.

Грузов пыжится над букварём и под знакомым рисунком «читает» без запинки:

— Петух.

— Это понятно, — говорит учитель, расхаживая по классу, — раз петух нарисован, то не напишут же под ним «ворона» или «корова». А дальше что? Какое слово дальше? Прошу не подсказывать!..

За петухом коварное слово «поёт», и Грузов никак не может овладеть им. Ученики шепчутся.

— Не подсказывать! — снова кричит учитель. — После урока оставлю! Без обеда!

Класс затихает. Несмышлёный отрок выигрывает время и для разбегу вторично перечитывает «петуха». Учитель тяжело вздыхает и задаёт наводящий вопрос:

— Ну, скажи, Грузов, что петух делает?

— Ага! — восклицает Грузов и уверенно ведёт пальцем под петухом. — Пы-е-пе-тух куриц топчет.

Серьёзного выражения на лице учителя как не бывало. Но он сдерживается от смеха и даже хмурится, чтобы не превратить урок в посмешище. Заметив смеющихся учеников, ворчит:

— Перестаньте! Не смех, а горе... Эх уж этот мне Грузов..

Затем учитель достаёт из кармана носовой платок, вытирает с лица пот и кротко говорит:

— Стань-ка, Грузов, пока в угол.

— А потом куды? — спрашивает тот, оглядываясь и покорно пробираясь в угол, загороженный доской, счётами и деревянной кадучкой с водой для питья. С истрёпанным букварём в руках Грузов стоит в углу и строит ребятам всевозможные рожи. Учитель замечает это:

— Я тебя поставлю на колени! Что за кудесник? Ведь ни черта не смыслишь.—И, неожиданно показывая на портрет царицы, спрашивает: — Кто это, по-твоему?

— Патрет.

— А на «патрете» кто?—добродушно спрашивает учитель.

Грузову что-то втемяшилось в голову; он долго, пристально и пытливо смотрит на портрет и, наконец, обрадованно говорит:

— Дохлая муха, Иван Алексеевич, под стеклом и два таракана.

— Да я про царицу-государьню спрашиваю! — говорит учитель и, краснея, притопывает ногой.

— Видишь, так чего про неё спрашивать,—спокойно и лениво отвечает Грузов и, чтобы не рассердить учителя, молча поворачивается лицом к стене.

В перемену ребята выбегают на улицу, шумят. Кто-то дразнит поставленного в угол ученика.

— Грузов, Грузов, голова с кузов!

Тот поворачивается и грозит кулаком:

— Погоди уже!

Снова урок, тишина. Одни рисуют, другие пишут, третьи грызут карандаши и, решая задачу, отсчитывают на руках пальцы. В конце дня Иван Алексеевич чувствует себя до юдури уставшим, старается забыться от тяжёлых трудов. Ему вспоминается дородная, полнотелая поповна Введенская из Вологодского епархиального училища. Забыв о своих толковых и бестолковых питомцах, учитель с сожалением перелистывает в памяти прошедшие годы учёбы, губернский город с полусотней церковей, с колокольным перезвоном и шумными базарами. Ему вспоминается, как часто из семинарии он ходил по Соборному мосту за реку на свидание с епархиалкой, а она его ждала в беседке, полная, румяная, пахнущая

духами. Увы, теперь это только праздное раздумье об исчезнувшем прошлом. А действительность—глушь, Коровино.

По воскресеньям учитель ходит в село к обедне и попутно заглядывает на почту. Забирает за неделю газеты, изредка получает и письма от поповны...

«Может, не один я у неё? Может, ещё поклялась кого любить до гробовой доски?»—думает учитель, забыв о том, что он в классе.

Скрипят ученики перьями, пишут, кто отдельные буквы выводит, кто сочиняет несложное предложение. И, пока в классе тишина, учитель свободно пускает в дальний полёт свои мысли. Но вот кто-то из учеников протягивает руку.

— Иван Алексеевич, как писать змею, через ять или через е?—спрашивает ученик размечтавшегося учителя.

— А где курс правописания? — Но, вспомнив, что единственная в школе книжка по правописанию у него в комнате, Иван Алексеевич говорит: — Вот что, ребята: кто не знает, как правильно пишется «змея», пишите «гадюка», тогда ошибки не сделаете.

Терёша усердно пальцем стирает в тетради змею. На её месте получается дырка, а рядом—добросовестно выведенная «гадюка».

## XV

Каждую субботу школу посещал поп. Это были самые нудные дни и для учеников и для учителя. В перемены не разрешалось ребятам ни баловаться, ни громко смеяться.

Особенно поп зачастил в школу накануне рождества. Надо было всех учеников церковно-приходской школы подготовить к празднику, а потом распустить на каникулы.

Рождество и святки в деревнях проходили весело. Взрослые в гости ездили, разговлялись после поста, выпивали. А ребятам и девкам когда как не в святки погадать и погулять. Гуляли так, что на целый год разговоров хватало: на крыши изб затаскивали дровни, ворота заваливали хворостом, колодцы забивали снегом, трубы-дымоходы закупоривали соломой, мелкие постройки стаскивали с места за деревенскую околицу. Иногда этот святочный обычай вызывал смех, иногда—слёзы.

Святочные ночи, ряженье и круговая порука—«не выдавать своих»—оставляли в покое зачинщиков-закоперщиков молодецкого разгула. Больше всех приходилось в святки терпеть усть-кубинским торгашам. В этом году в святочные ночи исчезли в селе все три полицейских будки. Одну потом нашли в Кубине в проруби, другая оказалась на скотском кладбище, третью ребята набили соломой и сожгли. У купеческих лавок, магазинов и лабазов все замочные скважины ребята засорили песком, залили водой, а мороз довершил их затею. Тогда же снимали и перепутали многие вывески. На казёнке красовалась вывеска с золочёным двуглавым орлом; в когтях у орла—скипетр и держава. Нашёлся кто-то хитроумный из ребят: вместо скипетра вставил орлу в когти кнут, а вместо державы подвязал глиняный горшок. Полиция принимала меры; заводские ребята на допросе показывали на сельских, сельские—на деревенских, деревенские—на тех и других. На очной ставке оказывалось, что ни те, ни другие, ни третьи о настоящих виновниках не имеют представления.

Ученики и подростки, пока не дотянулись до взрослых ребят, встречали рождество и святки совсем по-иному.

Попихинские школьники накануне праздника нашли где-то старое решето. Вклеили в решето картинку—маленький боженька в яслях, около него плотник Иосиф, два пастуха и богоматерь. Решето облепили цветной бумагой и прибили к деревку. Собрались в Михайловой бане: Терёша, Менуховы Серёжка и Костыка, двое Травничков и Ванюшка Шадрунчик. Пели рождественский тропарь все вместе и порознь, сговаривались, куда и в какие дни ходить славить. Наметили двенадцать деревень: Попиху, Боровиково, Копылово, Кокоурево, Беркаево, Ваганово, Телицыно, Беленицыно, Тюляфтино, Шилово, Бакрылово и напоследок Николу-Корень.

Менуховы братишки настаивали, чтобы всем вместе побывать и в Устье-Кубинском. Но Терёша слышал от зимогоров, что в селе народ жадный, и потому возразил:

— Туда и без нас идут многие, да, говорят, и дома там сплошь на запоре, и собаки там цепные, злые-презлые.

В первый день рождества, едва народ успел вернуться от обедни, как ватага попихинских ребятешек со своим решетом двинулась по деревням.

Стоял крепкий звенящий мороз. Сухой, сверкающий серебряными искрами снег хрустел под ногами. Издалека доносился скрип полозьев. Ребята, греясь на ходу, бежали вприпрыжку. Гурьбой ввалились в первую с краю избу: задыхаясь, пели «рождество», отогревались, затем обходили подряд всю деревню. Подаяние было небогатое. На шесть «христославов» хозяева совали копейку, редко две, а чаще кусок пирога или совок жита. В последней избе подсчитывали добычу. Приходилось иногда по три копейки и по пяти кусков на прокормление. Завязывали потеплей головы, натягивали на холодные ручки кропанные ватные рукавицы и снова пускались в путь до следующей деревни.

Изморозью покрылась цветная бумага на решете. У ребят белели щеки, выступали слезы. Но уверенные, что мёрзнут не зря—соберут ещё по пятаку на брата и в Телицыне и в Беленицыне, а у Николы-Корня и того больше, школьники терпеливо обходили одну деревню за другой.

Иногда, проходя по перелескам, они видели свежий волчий след, и от мысли встретиться с волчьей стаей каждого охватывал страх.

Терёша прикрывал звериный след рукавицей и, тяжело дыша морозным воздухом, выкрикивал:

— Ребята! Лапищи-то какие! Страсть!..

— Вечером домой не пойдём,—говорил повязанный бабьим платком Серёжка Менухов.

— Они челоовеков не едят,—пищал из-под тёплого шарфа Колька Травничек.

— Ну, не едят! Голодные ни в чём не разбираются.

— Не пойдём, заночуем в Тюляфтине.

На ночёвке в Тюляфтине ребята забрались на печь, в тишине и в потёмках звенели медяками, полушопотом рассуждали, на что они израсходуют свою добычу. Серёжка думал о том, как бы на эти деньги купить леденцов и поест их досыта. Костька — его меньшей брат — хотел бы купить у Копыта почти новые карты. Травнички мечтали о настоящих железных коньках.

— А ты, Терёшка, на чего деньгу зашибаешь? Скажи правду, побожись, — спрашивал Костька Менухов простуженным голосом.

Терёша приподымался из-под окутки, шупал в полутьме холодные разутые ноги и тихо говорил:

— Накопить бы копеек тридцать да в село бы сходить, там книжек занятных купить.

— купишь—и нам дай почитать,—попросил Серёжка,—не бойся, мы книжек не истреплем.

— Только не придётся на книжки тратить, — передумал Терёша,—лучше кабы на штаны выпеть. Надоело в домотканых портках бегать. Мне, слава богу, девятый пошёл, а настоящих-то штанов я ещё не нашивал.

— На штаны не выпоешь, много захотел.

— На штаны-то худым концом рупь надо.

— Ну, тогда на кумачовую рубашку соберу, может, и на книгу останется...

Сложив медяки в коробочку из-под спичек, Терёша быстро уснул, уснули и его товарищи, пригретые теплом домашнего очага. В избе было по-праздничному прибрано. На мытом полу раскинуты грубые разноцветные половики. Стены украшены лубочными картинками: «Охота на медведя», «Страшный суд» и «Как мыши кота хоронили». На выбеленном потолке круглая тень от лампы, на свет и тепло кучками собрались рыжие прусаки—тараканы. За столом хозяин с хозяйкой и домочадцами играли в «дураки». Играли бесшумно, не мешая попихинским ребятам с морозу и устатку наслаждаться приятным сном.

На другой день ребята пришли славить в село Никола-Корень.

На высоком холме слилась со снегом белая пятиглавая церковь. Вокруг неё десятка два домишек. В стороне за речкой, скорей похожей на овраг, двухэтажный кирпичный дом торговца и старосты Прянишникова. Ребята, не сходя с дороги, посмотрели на богатые хоромы, потом, свернув, зашли в чью-то избу, отогрелись и, набравшись смелости, без шума направились в дом богача.

Во дворе на цепи рычала громадная собака. Терёша бросил ей кусок пирога. Собака понюхала, но не дотронулась.

— Она говядиной сытёхонька,—позавидовал Терёша собаке и, отряхнув шапкой снег с кропанных валенок, пошёл впереди всех по крашеной лестнице.

В обширной комнате, устремив глаза на божницу, школьники запели. Когда рождество христово было прославлено, они, обратясь к хозяину и хозяйке, запели на другой лад:

Хозяин, хозяйюшка,  
С праздничком!  
За божью славу  
На всю ораву  
Смилуйтесь, отвалите-ко.  
подавай целиком,  
Не ломай ломком,  
Не прелого,  
Не горелого,  
А богаты кулаки,  
Отпирайте сундуки,  
Гоните пятаки.  
Если нету пятаков,  
Дайте гривенников!..

Передохнули и все разом протянули ручонки к хозяину. Прянишников, гладко выбритый, с подкрученными усами, стоял, облокотившись на комод, и, довольный, ухмылялся. В соседней комнате звенели рюмками гости.

— Больно уж вас много. Ну, что вам надо?—спросил он.

— Чего не жаль, да побольше, — смело отозвался Терёша.

— Восемь вёрст нарощно до вас брели, — покашливая, проговорил Серёжка и высунулся вперёд остальных ребят.

— Ну, ладно, вот, чтобы не было вам обидно, возьмите три копейки, — всем по грошу.

— Спасибо, дяденька, — поторопился Шадрунчик.

— За грош-то спасибо?! — возмутился Терёша. — Да ну его! С экого богача разве по грошу? Давайте, ребята, отпоём ему.

Взявшись за руки, они все шестеро встали вплотную и, глядя бойкими, весёлыми глазёнками на хозяина, громко, наперебой друг другу, запели:

Хозяин потешен,  
За скупость повешен  
На задний жолоб,  
На конёвий волос,  
Волос-то сорвался,  
Хозяин оборвался,  
О борону зубами,  
В грязь руками,  
В бревно головой...

— Это ещё что за безобразие?! — закричал Прянишников, прерывая ребят.

Распахнулась дверь, и подвыпившие гости вышли из соседней комнаты. Один из них, с золотой цепью на тучном животе, смеясь показывал и шутя науськивал на хозяина:

— Хорошо, ребята, так его и надо! Ха-ха-ха! Кто тут у вас за главного кассира? Вот вам полтина на гостинцы. Молодцы!..

Полтинник попал в руки Терёше.

Не помня себя, толкаясь и падая друг на друга, ребята быстро прогремели вниз по лестнице. Древко обломилось, и разукрашенное решето с христом выкатилось на улицу.

## XVI

Среди младших Терёше делать было нечего, оставалось или заниматься шалостями, или совсем перестать ходить в школу. Но тут случилось то, чего Терёша не ожидал: после каникул учитель перевёл его в группу средних. Незаметно подходила весна. Дни становились длинней и радостней. На унавоженных просёлках появились первые грачи. В деревнях перестали зажигать лучину. Спать ложились с закатом и вставали с восходом солнца.

В весеннюю распутицу поп стал реже заезжать в школу. Зато пронёсся слух о том, что ездит по епархии и скоро по дороге, пролегающей через Коровино, проедет сам архиерей. Встревоженный Иван Алексеевич не находил себе покоя. Но точно, куда и когда поедет священная особа, никому пока не было ведомо.

Одни говорили: архиерей должен поехать, несмотря на распутицу; другие утверждали, что надо ждать его, когда весна пройдёт и установится летняя дорога. Учитель мало-помалу успокоился и стал повторять с учениками «закон божий»..

... Весенняя оттепель. Солнце быстро сгоняет с крыш остатки снега. На полях чернеют широкие проталины. Быстро сползает снег.

Сегодня перед началом первого урока учитель, посмотрев в листочек отрывного календаря, немного удивлённо говорит:

— Вот что, ребята, сегодня у нас уроков, пожалуй, не будет.

Сделав многозначительную паузу, Иван Алексеевич обводит глазами притихших учеников. Потом он молча подходит к доске и мелом рисует наискось три кружочка. Около нижнего кружочка написал «земля», около среднего — «луна» и вверху около третьего — «солнце». Затем он вытирает пальцы о тряпку и, взяв в руки указку, поясняет:

— Сегодня, ребята, должно быть по календарю полное солнечное затмение. Кто из вас видал солнечное затмение? Поднимите руки.

Ни одна рука не поднялась. Ребята, чумазые, грубо постриженные и просто лохматые, сверкая удивлёнными глазёнками, ожидают, что скажет им учитель. Даже постоянные шалуны впелись глазами в рисунки, что на доске, сидят смиренно.

— Итак, будет полное солнечное затмение, — продолжает учитель и почти целый час рассказывает о том, как после полудня луна должна заслонить солнце и на земле воцарится тьма. — Но беды тут особенной не произойдёт, — успокаивает учитель удивлённых и взволнованных учеников, — луна пойдёт своей дорогой, солнце — своей, разойдутся, и ничего тут страшного не случится, а для науки даже полезно.

Иван Алексеевич садится за свой столик и выжидающе смотрит в окно. День прекрасный, солнечный Небо чистое, без единого облачка. Стремительно тает снег.

— Видимость будет хорошая, — говорит учитель. — Надо только закоптить стекло и сквозь него смотреть на затмение, иначе вредно для глаз.

Терёша, поднявшись с места, задаёт учителю вопрос:

— Иван Алексеевич, а вдруг да луна зацепится за солнце, что тогда будет?

— Ничего не будет, потому что никогда этого не произойдёт.

— А вдруг да бог так устроит?

Учитель усмехается.

— Я насчёт бога ничего не сказал, у нас сейчас не урок закона божия. То, что я изобразил на доске и рассказал вам, это относится к области мироведения и астрономии. Вам до этого далеко, как от луны до солнца, и не всякому из вас суждено это постичь. Имейте в виду: вселенная ючень-очень обширна, это не то, что весенняя дорога, где два мужика, попав один другому на-

встречу, не могут разъехаться. Небесные светила никогда не столкнутся... Вот что,—ступайте-ка вы все домой и, как будет затмение, расскажите вашим родителям то, что я вам говорил.

— А завтра не будет затмения? — обрадованно спрашивает Грузов, довольный случаем поскорей улизнуть домой.

Терёша, Шадрунчик, двое Менуховых, двое Травничков бегут по проторённой по снегу дорожке, торопятся прибежать в Попиху, чтобы поспеть к полному затмению. И вот они уже в деревне. В глазах у них рябит. Снег становится жёлтым, а солнце уменьшается, краснеет, будто наливается кровью.

В Попихе весь народ на улице. Творится что-то невообразимое: Вася Сухарь в дублёном рваном полушубке стоит впереди всех с библией в руках и, роняя крупные слёзы, читает.

У ног Сухаря, обливаясь слезами, голосит его жена Степанида. Она стоит на коленях, уткнувшись лицом в снег, и просит у мужа прощения в своих грехах. Сухарь, часто отрываясь от чтения, оборачивается к толпе и, поднимая руку, взывает:

— Покайтесь, нечестивые, близится скончание света и страшный суд божий!

В его словах, кроме Алексея Турки, пожалуй, мало кто сомневался. Алексей стоит поодаль от всех, изредка поглядывает на умирающее солнце. Отворачивается и, часто-часто мигая, злится, что не может и не знает, как объяснить соседям столь необычное явление. Но одно кажется Турке: «Перед войной это знамение!..». А Сухарь, увлекая соседей, нараспев продолжает громко читать, он почти не смотрит в раскрытую древнюю книгу, бубнит наизусть, надеясь на свою память.

Степанида рыдает громче других баб. Сквозь её плач соседи слышат слова покаяния:

— Васильюшко свет мой, прости меня, грешную; грешна я перед тобой и богом. Того году, как ты уходил на заработки, согрешила я, плотников тогда пускала на постой... грешна, Васильюшко! До самой смерти думала утаивать. Прости, родной...

У Сухаря падает из рук библия.

— Ладно, прощаю. Молчала бы уж, дьявол!

Алексей Турка, услышав Степанидино покаяние, смеётся.

— Мели, Степаша, на свою шею, пока не поздно, — говорит он и, не оглядываясь, быстрой походкой направляется к своей лачуге, оставляя на снегу рубцеватый след стёганных валенок.

В проулке Алексей встречает школьников.

— А вы, бесенята, отчего так рано домой?

— По случаю полного затмения.

— Вот как! Учитель-то чего вам баял?

Терёша, жмурясь, показывает рукой на померкнувший диск солнца:

— Учитель велел всем вам сказать: будет так, как было. Луна с солнышком разойдутся — и только делов.

— Ну, это само собой, — говорит весело Турка, — учитель, он понимает. А они вон там все с ума походили, дураки. А насчёт войны учитель не говорил?

— Нет, дядя Алёша.

— Ну и ничего он не знает. Молоденек ещё ваш учитель...

Солнце постепенно растёт и растёт. Редет на улице толпа. Слышно, как, стекая в Лебзовку, шумят подснежные ручейки.

Вася Сухарь, с подмокшей библией в руках, подталкивает Степаниду к своей избе, покрикивает:

— Ступай отсюда, распутница! Дома остатки доплачешь...

У Михайлы в избе Терёша видит что-то похожее на водосвятный молебен: Клавдя кропит направо и налево крещенской водой. Перед спасителем горит лампада и пылают три свечи. Михайла и Енька в сапожных фартуках стоят около табуреток и втихомолку кончают упрашивать бога об отсрочке светопреставления и о прощении всех грехов, вольных и невольных.

Сбросив с себя сумку с книгами, пользуясь замешательством домочадцев, Терёша украдкой берёт со стола большой кусок ржаного хлеба и, чтобы не заставили его молиться, убегает к Менуховым братишкам...

Между тем день будто начался сызнава. Недолго пряталось солнце за спиной луны; выкатилось целое, невредимое и загорелось ярче и веселее прежнего. Петухи выводили кур из подворотен на улицу и перекликались между собой.

На задворках ребята мастерили из липкого снега крупную «бабу». Терёша прибежал туда и стал катать снежный ком. Ком становился всё больше и больше, и

одному катить уже не под силу. Терёша замочил в сыром снегу рукавицы, засунув себе в рот покрасневшие от холода пальцы и попросил у ребят помощи. На помощь ему подоспел Колька Травничек. Снежный шар сдвинулся и покатился, вырастая ещё больше.

Колька, надсаживаясь, шепнул Терёше:

— Побежим, послушаем.

— Чего?

— Как Вася Сухарь вожжами Степаниду лупит.

## XVII

Наконец в Коровинскую школу учителю приносят из села извещение:

«10 мая сего года, проездом к Николе-Корню, Вашу школу посетит владыка Александр, епископ Вологодский и Тотемский, а посему благословляю вас произвести подготовку к встрече его преосвященства. Накануне проезда владыки школу навещу сам.

*Иерей Василий Казанский».*

Учитель встревоженно крутит бумажку и думает:

«За какие грехи такая напасть—сам архиерей!».

А потом, подумав, решает, что не надо робеть, а обстоятельно готовиться к встрече знатной особы.

Отшумели ручьи. На деревьях стали набухать липкие, пахучие почки. Торопливо расцветали подснежники, быстро покрывались зеленью луга. Вереницы перелётных птиц — уток, гусей, лебедей — тянулись на север. И много перелётной птицы оставалось здесь, в Кубеноозерье, на лето.

В деревнях вытаскивали из-под навесов сохи, бороны, чинили их и начинали весенний сев. По непросохшим дорогам перекупщики везли семена. Измученные лошади еле вытаскивали из буераков возы. Трещали оси, скользили и падали неподкованные клячи. Ругань, крики не смолкали всюду, где пробирались обозы. За околицами больших деревень оживали, пытели горнами и звенели железом кузницы. Кузнецы в эту пору в большом почёте: надо лошадей подковывать, наваривать лемеха, ковать отрезы,—дела по горло, и заработок по весне самый лучший.

В тот день, когда учитель получил извещение, в Попиху нарочный привёз от волостного старшины строгий приказ:

«Десятскому и всем крестьянам деревни Попихи. Приказываю безоговорочно немедленно бросить всякое дело и произвести тщательный ремонт дорог, в том числе как-то: поправить мосты, канавы, сровнять буераки, выправить верстовые столбы там, где покосились. Если же паче чаяния вы не примете надлежащих мер, то пеняйте на себя.

Волостной старшина *Соловьёв*».

Попихинские мужики идут осматривать дорогу. Рытвины, выбоины, переполненные мутной водой, повсюду на их пути.

— Дорожка неказиста, — говорит десятский Миша Петух, почёсывая поясницу, — придётся, мужики, поправить.

— А немного мы и ездим, — возражает безлошадник Николай Бёрдов, — у кого есть лошадь, тот пусть и дорогу кропает, а у нас своих дыр много.

Турка рассуждает злее:

— К чорту, никто не должен править! Оброки с нас берут? Берут. Пусть земство и правит дороги за свой счёт.

— А вот тут верстового столбика нехватает, раньше стоял, а теперь нет, — замечает Сухарь и подозрительно поглядывает на Турку: — Не ты случаем, Алёша, этот столбик на дрова унёс?

— Хотя бы и я, а ты докажи. Стало быть, не пойман — не вор! — Турка, щёлкнув языком, хитро щурит глаза. — Зато теперь одной верстой до села ближе.

— Ну и зачем же ты столбик спалил? Мешал он тебе? — наступает на Алексея Турку Михайла Чеботарёв. — За пропажу казённого предмета могут всё наше общество оштрафовать.

Турка откровенно признаётся:

— Потому-то я и спалил, что это был казённый предмет и полосатый, как полицейская будка. Пусть глаза не мозолит. А мы и без столбов вёрсты знаем..

Наконец кое-кто из мужиков берётся за работу. Железные лопаты мягко входят в сырую землю. Комья глины, дерна летят в выбоины.

Один только Алексей Турка не хочет работать. Он зовёт к себе десятского и просит ещё раз прочесть приказ старшины..

— Больно уж строго, — говорит он, заслушав десятского, — строго, будто сам губернатор пишет, либо исправник какой. Дай-ка посмотрю, что это за бумага.

Десятский доверчиво подаёт Алексею бумажку. Тот мнёт её, отрывает четверть приказа с подписью старшины и свёртывает цыгарку.

— С паршивой овцы хоть шерсти клок, — говорит Турка, намереваясь закурить и итти домой.

— Будешь чинить дорогу или нет? — требовательно настаивает десятский. Но, зная, что Турка вообще не любит, когда с ним разговаривают повышенным голосом, он вежливо упрощает: — ужели тебе трудно хоть один буерак замостить?

— Труд невелик, миром можно гору своротить, но только не ради приезжего архиерея и не из-под палки старшины.

Школьники в тот день, возвратясь из училища, известили своих родителей о вызове их в школу. Учителю понадобилась помощь для того, чтобы навести внешний лоск — придать школе более торжественный вид. Терёша сказал об этом Михайле и Клавде.

На другой день в школе выставляли зимние рамы. Прохладный весенний воздух освежал помещение. Иван Алексеевич, размахивая камертоном, готовясь к встрече архиерея, разучивая с учениками непонятные, как заклятье, слова: «Ис полла эти деспота...». Вокруг школы отцы и матери учащихся драли дёрн и покрывали им грязные места. Несколько человек вязали шпагатом гирлянды из вереса и еловой хвои; зелень растягивали под карнизом крыши и вокруг косяков.

К вечеру приехал поп проверить, готова ли школа встретить редкого гостя. А через два дня после приезда попа к школе подскакал верхом на взмыленном коне урядник Доброштанов. Не слезая с седла и с трудом сдерживая разъярённого скакуна, урядник крикнул:

— Учителя!

Иван Алексеевич в чистеньком костюме, с чёрной шёлковой «ласточкой» под горлом, выглянув в раскрытое окно, поздоровался. Урядник оповестил:

— Владыка подъезжает к Попихе. Скоро будут здесь, — и, круто повернув коня, поскакал дальше извещать попутные деревни о проезде архиерея.

Школа притихла. На улице около крыльца толпились родители учащихся. От Попихи оторвалась вереница лошадей, повозок и пеших людей.

Ученики уселись за парты. Место у Терёши выгодное, с краю от окна. Он увидел, как первыми на двух парах

подъехали какие-то попечители с бархатными петлицами и со светлыми пуговицами. За ними на тройке подкатил исправник с приставом, а позади исправника, пыхтя и потея, двенадцать мужиков поспешно тащили архиерейскую колымагу. Терёша узнал шиловских, телицынских и беленицынских мужиков, а посреди них, в корню, в красной вышитой рубахе, держась раскинутыми руками за оглобли, шагал Вася Сухарь. Терёшу это так удивило, что он не успел разглядеть архиерея, толкнул в бок Кольку Травничка и сказал тихонько:

— Глянь, лошадей, видно, загнали, так мужики его на себе везут.

На самом деле, четвёрку сытых архиерейских кобыл, отнюдь не заезженных, вели под уздцы позади всей свиты. А то, что люди заменили лошадей, тогда это мало кому казалось унизительным и позорным. Михайла, стоявший у школы, даже позавидовал вспотевшему Сухарю, которому довелось удостоиться раз в жизни везти архиерея.

Староста Прянишников и с ним волостной старшина Соловьёв прыгнули с самого заднего тарантаса и подбежали к архиерейскому экипажу. Поддерживая владыку под руки, они помогли ему сойти на вымощенную дерном землю.

Свита столпилась около школы. Все стояли в ожидании, когда гостю будет угодно зайти в помещение. Он осмотрел школу снаружи, медленным движением левой руки поправил на голове клубук. Елейной улыбкой и незаметным кивком головы поздоровался с людьми. Затем он, поддерживаемый старшиной и старостой, в сопровождении светских и духовных чинов, осторожно ступая по лестнице, вошёл в школу.

Ученики, смущённые присутствием множества чернорясых и светлопуговичных, растерялись и спели троекратно вразброд, так, что «ис полла эти деспота» прозвучало и было понято мужиками как «на полатах не тесно там».

Иван Алексеевич, весь красный, едва опомнившись, подошёл к владыке под благословение. Тот ленивым и небрежным жестом перекрестил голову учителя и сунул к его губам пухлую, холеную руку. Обращаясь к ученикам, сказал ласково:

— Сядьте, дети.

Ученики почти не дышали. Они жались один к другому и нетерпеливо ждали, чтобы эти приезжие строгие и нарядные люди скорей оставили их юдних с учителем.

Терёша, не робея, уставился на архиерея. Лицо у того было широкое, лобастое, глаза узкие, под густыми седыми бровями. Пышные усы закрывали чуть припухшие посиневшие губы, а широкая, волос к волосу причёсанная борода спускалась на грудь, украшенную массивной золотой цепью и эмалированной, в драгоценной оправе, панагией с изображением богородицы.

Архиерей, слащаво улыбаясь, заговорил спокойно и ровно:

— Дети, школа ваша благопристойный вид имеет. Учитесь слову божию, чаще посещайте церковь, помните, что кому церковь не мать, тому бог не отец...—Обернувшись к попу и учителю, проговорил:—Будьте и вы, чада мои, благочестивы, прилежны, и от бога за труды ваши воздастся вам.

Затем архиерейская свита что-то пропела, и степенно, без толкотни все, в том числе и ученики, вышли на улицу.

Владыка с помощью подручных, кряхтя, влез в свою колымагу. Сопровождавшие его расселись по своим местам. Процессия тронулась в направлении к Николе-Корню...

«Куда он едет? Зачем он едет? И почему его люди везут, а не лошади?».

Много подобных вопросов возникло в тот день в Терёшиной голове. Спрашивать об этом Клавдю — пустое дело. Знает Терёша, что её ответы будут приторны и неправдивы. Он идёт к Алексею Турке: к нему он всегда чувствует привязанность и больше, чем кому-либо, верит его словам.

Турка сидит на липке и чинит дряхлые сапоги. Увидев вошедшего Терёшу, приветливо улыбается:

— Ага, Терёшка! Почему ты нынче ко мне редко ходишь?

— Уроки учу, задачи решаю, некогда.

— Так, так. Ну, расскажи, как тебе приглянулся сегодня этот самый, про которого в Вологде торговки поют:

Я стояла во соборе у дверей,

Да приласкал меня дорожен архиерей...

Алексей, отложив работу на лавку, стряхивает с фартука под ноги мусор, курит. Терёша, не зная, что ему ответить, спрашивает:

— А ты видел, как архиерея мужики в таратайке тащили?

— Видел, Терёшка, видел. — Турка уже не смеётся. С прискорбием покачивая головой, говорит: — Мало ли есть дураков на свете! Темнота наша...

Турка молча докуривает цыгарку; Терёша рассказывает ему свои впечатления от встречи с архиереем, потом говорит:

— Тебя бы, дядя Алёша, архиереем-то сделать!

— Вышел бы толк, — смеётся Турка, — я бы от такой должности не отказался.

— Вот бы ты тогда натворил!..

Турка, не задумываясь говорит:

— Да, если бы я сидел таким манером, как ты говоришь, в таратайке и меня бы вёз Сухарь и другие остолопы, то я бы не прохладился так, сложа руки, а взял бы кнут и хлестал бы по этим «сухарям» до тех пор, пока бы не поумнели. А потом загнал бы их в хлев, бросил бы им охапку сена и сказал: «Жрите, холуи, да не отнимайте у лошадей работу...». Эх, темнота наша деревенская! Расти, Терёша, учись, да не будь дураком...

## XVIII

На лето закрыта Коровинская школа. Иван Алексеевич с большим саквояжем уезжает в город, поповна Введенская притягивает его к себе. В эту весну, когда в пустошах близ Коровина расцветала черёмуха, учителю минуло двадцать четыре года. В такую ли пору жить в глуши и довольствоваться скудными письмами епархиалки!..

Школьники в деревнях весело встречают короткое, с длинными днями северное лето. Пока не растут в рощах грибы и в болотах вылезают ягоды, ребята играют на улицах в бабки и ловят в Лебзовке пескарёй и щурят. Иногда ходят в пустоши, ножами и коточигами дерут ивовое корьё и вяжут в пучки, а родители продают корьё кожевникам по двутривенному за пуд — всё-таки заработок.

К счастью попихинских ребят, вдоль их деревни тянется большая трактовая дорога от Устья-Кубинского

на Заболотье, в Уфтыгу и дальше. В базарные дни многие через Попиху едут в село. Ребята, разделившись на две группы, в воскресные дни стоят у околиц с обоих концов деревни, открывают «отвода» и просят с проезжих за это, кто что может дать: пряник, обломок кренделя, горсть семечек, леденец; неплохо будет, если кто раздобрытся и бросит медяшку. К нынешнему лету Терёша подрос, и ему хватает дела в семье у опекуна Михайлы. Он послушно ходит всюду, куда его посылают: боронит, возит на полосы навоз, ухаживает за телятами, трудится целые дни, устаёт. Завидует Терёша соседским ребятам, хочется быть с ними на просторе деревенских полей, играть в чухи-рюхи, бегать у Лебзовки, но опекун и его сын Енька столько находят ему сподручной работы, что приходится забывать о весёлой ребячьей гулянке и мириться со своей участью. Только в воскресные дни и в праздники он может гулять без надзора и делать что ему угодно. В обоих «отводах» в Попихе Терёша с ребятами заводит такой порядок: кто поедет на плохой лошадёнке с рваной или старенькой упряжкой, тому открывать «отвод» и пропускать задарма. Если же проезжий в тарантасе да с колокольчиком, и если он за открытие «отвода» ничем ребяг не удостоит, то в такого скрягу бросать камнями, чтобы впредь не скупился. Исключение — для проезжих, одетых в полицейскую и чиновничью форму.

Но ребячья затея гибнет в самом зародыше. Деревней едет богач Прянишников — в лакированном тарантасе на толстых резиновых шинах. Сидит вразвалку и, опустив вожжи, о чём-то думает. А думать Прянишникову есть о чём: то, что он сельский староста, — это пустяки, полуграмотный писарь сумеет справиться за него со всеми хлопотами, а звание старосты ему нужно лишь для почёта и острастки. Нет, другие думы у Прянишникова: у него богатая торговля, в деревнях маслодельные заводы вырабатывают прославленное вологодское масло. Крестьян-коровников он держит цепко, даёт им под молоко в долг чай, сахар, тухлую рыбу, спички, табак, пшено, керосин, и всё записывают в заборные книжечки приёмщики молока и приказчики. Много дум и забот у Прянишникова: как бы масло на складе не испортилось; там, говорят, возчики в пути молоко украдкой пьют и водой разбавляют... На Лебзовке при-

шлошь нынче один завод на лето закрыть — много **не-надёжных** должников скопилось. До ребят ли Прянишникову, что столпились у раскрытого «отвода» и ждут от богача копейной подачки! Он проезжает, не замечая их. Ребята бегут за тарантасом.

— Дяденька, брось нам что-нибудь!

Прянишников поднимает юлову и с издевкой рычит:

— Это ещё что за таможня?! Пошли прочь, щенята!..

Терёша и двое Менуховых швыряют в него камнями.

— Ах вы, бесенята, вольница, отрёпыши! Жаль, что кнута с собой нет.

И Прянишников, спрыгнув с тарантаса, бросается на ребят. Те убегают врассыпную. И успел бы от него Терёша убежать, так как Прянишников страдает от ожирения одышкой, но, как назло, он виснет на изгороди, зацепившись подолом домотканной рубахи.

— Ага, не уйдёшь!

Сверкая злыми глазами, Прянишников стаскивает Терёшу с изгороди. Затем, обернув руку носовым платком, рвёт пучок крапивы.

— Ну, щенок! Скидывай портки!

Терёша пробует вырваться. Но крепки у богача руки...

Ребятишки, прячась в проулках, кричат:

— Терёшка, вырывайся!..

— Терёшка, убегай!..

Но уже поздно. Пучок жгучей зелёной крапивы гуляет по его пояснице. Терёша изгибается в руках Прянишникова, как налим, и, стиснув до боли зубы, крепится, чтобы не подать слёзного голоса.

— Крепок бесёныш, — говорит Прянишников, охаживая Терёшу по голым местам, — деру, деру — и не плачет...

Будто горохом покрывалось пузырями Терёшино тело. Крапива ядовито жжёт, вызывая нестерпимую горячую боль.

— Ну, каково? — спрашивает Прянишников, когда от пучка крапивы у него в руке остались зажатые в платок одни ошмётки.

— Отпусти. — еле сдерживая слёзы, просит Терёша.

— То-то! Будешь ещё?

Терёша молчит.

— Молчишь? Чей ты такой упрямец, не Туркино ли изделие? Ах, да, я тебя узнаю, ты никак после Ваньки Чеботарёва сирота! Ай, ай, вот каким тебя Михайла воспитывает! Хорош опекун. Ну, ступай, с меня хватит, на другого нарвёшься — голову снимет... А с Михайлой я о тебе потолкую.

Терёша, не оглядываясь, идёт к ребятам, пришибленный и злой. На шее под рубахой у него остались синяки от чёрстой руки Прянишникова. Спина и поясница горят, точно в огне.

— Эх, вы, трусы, разбежались! Говорил я вам, что камень надо брать покрупнее, — храбрится Терёша, стараясь не показать виду, что ему невыносимо больно и досадно.

Опекун, узнав об этом происшествии от самого Прянишникова, говорит Клавде:

— Слышь, Клавдеюшка, что Терёшка выкинул, — ведь мы за него, паршивца, в ответе. Ох, и надеру же я его, пусть только домой явится!

Но Терёша умышленно не возвращается. Алексей Турка к вечеру идёт с двумя удочками и несёт котелок окуней. Узнав, что Терёшу выпорол Прянишников, Турка стал выпрашивать ребяташек, куда девался Терёша. Никто ему на это не может ответить. Алексей встречает Копыта, высказывает тому своё беспокойство:

— Знаешь, Николаха, парень он с характером. Догадался, что от опекуна ещё будет баня, нехорошее полезло в голову, взял да и утопился. Сходи-ка ты, осмотри Лебзовку, все бсчаги проверь и омуты, а я добегу до поскотины и там покликаю.

Копыто за день устал ходить за коровами, однако, несмотря на усталость, он бродит подле речки. И вот видит Николаха: вдали от деревни, под густой ивой, на песчаной отмели, Терёша лежит голый и трётся спиной о мокрый песок.

Пастух делает вид, что не замечает его, будто бы ходит по своему делу, ищет пропавшую невесть куда тёлку.

— Ого! Да никак Терёшка здесь?! — говорит он. — Ты чего тут не во-время купаешься? Да место-то какое выбрал: спина в море, а брюхо на воле.

— Спину с песком промываю, помогает, легче стало, — стыдливо поясняет Терёша.

С Лебзовки возвращаются вместе. Терёша идёт и, вздрагивая, рассказывает, как ему попало от Прянишникова.

Копыто, выслушав, говорит:

— Ну и ты хорош, разве можно в твои годы налезать на взрослых, да ещё на старосту, чудачище ты этакой! Вперёд наука. — Подумав, добавляет, предостерегая: — Пойдём спать к Турке, а то тебе ещё от опекуна влетит.

Терёша не соглашается.

— К дяде Алёше, пожалуй, тётка придёт меня искать, а давай лучше в копне сена переночуем на задворках...

— Ладно, в копне, так и в копне, — говорит Копыто, довольный тем, что ему так скоро удалось найти Терёшу — любимого из всех ребятишек в Попихе.

Стемнело. Они идут мимо маслодельни Прянишникова. Закрытый на лето завод одиноко маячит в сумраке над шумливым ручьём. Терёша поднял из-под ног камешек и бросил в раму. Звякнули стёкла. Внутри камешек ударился во что-то и вызвал звонкое эхо.

— Не стоит так баловаться, — ворчит Копыто, — думаешь, разбил стекло, — это всё равно, что муха Прянишникова укусила, даже того меньше. Не так надо богачам досаждать!..

... Ребятишки в деревне после дневных шалостей крепко спали. Зарывшись в копну душистого сена, спал спокойно Терёша, а рядом, в другой копне, на задворках около Туркиной избы, храпел Копыто. Перед сном он предупредил Алексея, что сирота нашёлся.

Клавдия тоже беспокоилась:

— Озорной парнишка. Гляди, выбьётся из рук, уйдёт зимогорить, — не будет в нашем доме помощника!..

На другой день с опаской, с оглядкой пришёл Терёша к опекуну. И ему показалось невероятным то, что дома его не били и даже не обидели грубым словом. Все молчали и только косо на него посматривали.

Несколько дней Терёша не показывался на глаза ребятам, а это было для него нелёгким испытанием.

Из соседских ребят он больше всех любил Менуховых братишек — Серёжку и Костьку. И теперь, стесняясь показываться на улице, Терёша выжидал, как бы

поскорей шло время, а ребята, особенно Менуховы, поскорей бы забыли о том, как его отхлестал крапивой Прянишников. Чего доброго, ещё могут по деревне прозвать его Стёганным или Драным, и тогда такое прозвище прильнёт к нему навек.

Но Серёжка и Костыка, дружившие с Терёшей, были на его стороне, таили злобу на скрягу купца Прянишникова и были готовы на любую дерзость, лишь бы отомстить за своего товарища. Повстречавшись с Терёшей, они даже не намекнули ему о крапиве, а приветливо позвали его в ребячью ватагу на речку Лебзовку—ловить щурят и пескарей.

Смышлёный и бойкий Серёжка, сверкая серыми глазами и сжимая крепкие кулачки, однажды наедине упрекнул Терёшу дружелюбно:

— Не стоило камешками задевать Прянишникова. Годок-другой подрасти нам надо. Тогда мы ему покажем...

Скоро после обильных дождей появились рыжики, грузди, солодяги. Взрослые уходили рано утром в лес, наполняли грибами корзины и возвращались к дневным работам домой. Подростки и малыши подолгу бродили в рощах и болотах, питались земляникой и морошкой, а к вечеру, сытые и усталые, тащили также за плечами корзины грибов и ягод.

Однажды Терёша был разбужен Клавдей раньше обычного. Зевнул сладко, потянулся и, умывшись, стал собираться в лес. Клавдя подала ему две корзины: большую, из дранок,—для грибов, поменьше, корешковую,—под ягоды.

— Да не ходи босой, обуйся в Енькины обноски. Ломоть хлеба возьми, собирай больше, шали меньше,—напутствовала Клавдя.

Михайла только сегодня надоумился сказать:

— Не будь задирой. Крапивой — это ещё ничего. Отца твоего, бывало, в кутузке нагайками драли...

## XIX

Пока в тот день Терёша ходил в лес за грибами, в Попихе случилось несчастье: сначала маленькие огненные язычки появились на крыше кладовки, затем пламя охватило всю маслодельню.

Первым прибежал на пожар Вася Сухарь. Ему хозяин маслодельни платил трёшницу в месяц за присмотр, чтобы кто из проезжих или попихинских ребятишек не «подшутил» над заводом. Не доглядел Сухарь. Завод вспыхнул, и спасти его было уже не под силу и поздно. С перепугу Сухарь, не чувствуя под собой старческих ног, бросился обратно в Попиху. Добежав до своей избёнки, схватил одной рукой из переднего угла икону «неопалимой купины», в другую руку деревянное ведро и, задыхаясь, с криком снова побежал к горевшему заводу.

Между тем из ближних деревень люди сбегались на пожар, охали, крестились и радовались, что, слава богу, пожар случился не у них в деревне, а на отшибе, на всполье, у речки, а это не так опасно.

Сухарь трижды пробежал вокруг пожара с иконой, но, невзирая на «неопалимую купину», завод пылал и трещал, рассыпая далеко по сторонам горящие искры и головни.

Неожиданно хватил сильный ветер в сторону Попихи. А ещё неожиданнее вспыхнул от искр вблизи от деревни крытый соломой гуменник. И началось. Вслед за гумном загорелась крайняя Терёшина изба с заколоченными окнами.

— Братцы! Гуменник!

— Спасайте! Сиротская изба горит!

— Ой, лиха беда! Огонь теперь всю деревню слижет.

Народ от маслодельни бросился к Попихе. Ломали перегороды. Огонь с Терёшиной избы перескочил на соседнюю Афонькину избу, с Афонькиной—на Бёрдову и начал рвать крыши, стропила и гулять по серым бревенчатым стенам. Домишки в Попихе были построены в тесном соседстве один от другого. Строили с расчётом, чтобы в случае злобы или зависти сосед побоялся подпалить соседа.

Вёдра, багры, ухваты—всё было собрано и пущено в дело. Из Тюляфтина и Кокоурева привезли на взмыленных лошадях две пожарные машины. Огонь удалось приостановить.

Шум, крик, перемешанный с детским плачем и воем баб, разносился далеко за околицу горевшей Попихи.

— Качайте сильнее! Чего рты разинули! Это вам не ярмарка.

— Куда ты, кривая бестолочь, с иконой лезешь! До вашей избы огонь не доберётся, — ругал кто-то из соседей Клавдю.

— А и сгорит, так чорт с ним, не голый крюк, выдержат, — безразлично говорил Турка вспотевшему на пожаре мужику, — смотри-ка, у сеновала они какую грудку всякого добра натаскали — сундук на сундуке да сундук сверху.

Действительно, Михайла и Енька с помощью набежавшей родни успели вытаскать из своей избы всё, что можно было вытащить. Афонька Пронин с Приёмьшем не успели, они мало чего спасли из своего имущества. Огонь быстро охватил Афонькину избу, подступиться было нельзя.

Мужики из других деревень, глядя на Афоньку, судачили:

— Легко и наживалось.

— Ворованное-то не споро.

— Ну, так они и не горюют, им воры помогут на ноги встать, не наше горе.

— Свят, свят! — крестилась, бегая, Степаша.

— Свят, свят, господи! Леший Пиманиху на пожар принёс. Ох, она вам раздует! Гоните её, гоните...

— Где она, кикимора, где? — пронёсся говор среди праздно глазующих.

— Вон, та, вся в красном.

— В огонь, дьявола!..

— С ума сошли! — вытирая рукавом пот, возмутился Турка. — Все она не ворожея, а пройдоха-баба. На её век дураков хватит.

Напоследок огонь охватил ещё одну дряхлую избу, стоявшую в стороне. Пока отстаивали от пожара ближний посад, никто не ожидал, что огонь перекинется в противоположную от ветра сторону. Быстро рухнула на избе загоревшаяся крыша. Из избы донёсся приглушённый стон. Там, между стеной и печью, в закуте лежала больная Агниша. С самой весны она была точно прикована к постели. Муж её — Миша Петух — работал на лесопилке в подёнщине и домой приходил через два дня на третий. Больная иссохшая жена была ему обузой.

К объётой пламенем избе подбежали мужики и бабы. Густой дым валил из разбитых окон.

— Живой человек погибает, братцы!

— Спасайте! — закричали в толпе.

— Ну, что? — обратился к народу Алексей Турка, размахивая голыми по локти руками.

— Полезай сам, если хошь задохнуться.

— Всё равно не спасёшь.

Подтащили пожарную машину. Грязную, жидкую струю воды пустили через окно. Дым повалил ещё гуще.

— А ну, будь что будет! — сказал Турка, выплеснул на себя ведро воды и крикнул: — Ещё воды!

Раздумывать некогда. Алексей зажал мокрой фуражкой лицо, перегнулся через подоконник и шмыгнул в горящую избу. Задыхаясь в дыму, он кинулся за печку. Огонь до боли ожёг его плечи. Турка глухо вскрикнул и чуть не свалился.

«Поздно!» — мелькнуло в его голове.

Он повернул обратно и, схватив попавший под руку сундучок, неловко вывалился с ним за окно. Алексея оттащили от горящей избы и облили водой.

— Напрасно лазал, Агнишу огнём захватило. Пропала, несчастная...

Изба догорала. Около пожарища валялся всего-на-все перевёрнутый вверх дном Агнишин сундучок: полдюжины веретён, два клубка ниток, горсть разных пуговиц и несколько старинных медяков.

... А в Устье-Кубинском во время попихинского пожара начальник добровольной дружины трактирщик Смолкин протрубил в сигнальный рожок. На приходской колокольне ударили в стопудовый колокол. У церкви собрался народ. Смолкин с биноклем взобрался на колокольню.

— Где горит? — кричали снизу пожарники.

— Попиха! — отвечал громко Смолкин.

— Хорошо видно?

— Не худо. Три избы пылают.

Подъехали на дрогах, с машинами, к церкви. Смолкин велел сторожу прекратить звон и, не слезая с колокольни, закричал:

— Зачем лошадей запрягли? Кто велел? Распрягай! Через болото напрямик не проедешь, а кругом ехать — восемь вёрст, по инструкции не полагается, — и стал спускаться по винтовой кирпичной лестнице на землю.

Дружина разошлась, недовольная «ложной» тревогой...

Прошло не более двух часов, — в Попихе на пепелищах догорали последние головни. Извлекли обгоревший труп Агниши и в стороне, на лугу, прикрыли мокрой рогожей.

Народ уходил с пожара.

— Опять нищих прибавилось.

— Опять пойдут просить Христа ради на погорелое место.

— Где тонко, там и рвётся, где бедность, туда и нищета прёт,—разговаривали уходившие из Попихи мужики, сочувствуя больше всех Петуху, Бёрдову и круглому сироте Терёше.

О последнем во время пожара в суете никто даже не вспоминал.

— Мир им поможет, — проронил один из уходивших, оглядываясь на пустоту пепелищ и на обгорелые стволы одиноких деревьев.

— Дождись, поможет.

— С миру по нитке...

— Голому петля, — поспешно добавил кто-то.

К груде обгоревших кирпичей, где была маслодельня, подъехал на дрожках Прянишников. Гарью резнуло ему ноздри. Богач высморкался, достал из потайного кармана записную книжку и, чёркая карандашом, стал подсчитывать.

«Завод работал пятнадцать лет без ремонта, выстроен за семьсот рублей. Сепаратор стоил двести с доставкой, итого девятьсот рублей. Страхован завод в обществе «Россия» тысячу двести рублей, да в обществе «Саламандра» одновременно страхован в тысячу рублей. Убытка не будет!»—подумал Прянишников и, весело присвистнув на лошадь, помчался в село известить страховых агентов о постигшем его «несчастье».

«А всё-таки отчего же случился пожар?» — думал Прянишников, потряхиваясь на дрожках.

Теряясь в догадках, об этом же думали многие и в Попихе.

Терёша возвращался из леса домой. Скоро он увидел прогалины лугов, поля, за полями—деревни.

Показалась Попиха. Над пепелищем маслодельни Прянишникова курился дымок. Целый угол деревни точно провалился сквозь землю. На месте Терёшиной, оставшейся после умерших родителей избы — чёрное, чуть дымящееся пятно; рядом развороченный сруб колод-

ца, а над колодцем судорожно согнулась опалённая рябина. Из пепелищ погорельцы вытаскивали кочергами обгорелые железины: петли, скобы, ухваты— всё, что может пригодиться в хозяйстве.

Михайла отделался от пожара испугом. Клавдя, по случаю избавления от большой беды, уговаривала брата купить небольшую икону и пожертвовать в приходскую церковь. Турка по справедливости настаивал, чтобы Михайла не тратил деньги на икону, а купил бы два ведра водки и угостил тюляфтинских мужиков, во-время подоспевших с пожарной машиной...

Терёша переступил опекунский порог. Грузно поставил скрипучую корзину с грибами на пол, с ягодами— на стол и, горестно-молчаливый, сел на лавку.

Клавдя кинулась к нему со слезами на глазах, обняла за шею и заголосила:

Ой ты, дитятко разнесчастное,  
Бесталанное уродился!  
Во младенчестве отец с матерью  
Сиротинкою ты оставили.  
Погляди-ко ты, что случилось, —  
Вместо хатины — головешечки.  
Поклонись челом ты, Терёшенька,  
Своему дядюшке до сырой земли,  
Попроси ты его, благодетеля,  
Не забыть тебя, сиротинушку,  
Горе-горькую, разнесчастную...

У Терёши выступили слезы. И, не дожидаясь конца Клавдину пропеванию, Терёша склоня голову, подошёл к опекуну и поклонился ему в ноги. Михайла, довольный покорностью племянника, слегка приподнял его и проговорил рассудительно:

— Ну-ну, не надо, зачем так! Не плачь, не вой. Живи да слушай меня. Подрастёшь, работником у меня будешь, а там, кто знает, может быть, пособлю тебе избёнку огоревать. Длинна ещё твоя песня...

Лето было в разгаре. Ведраяная погода манила ребят отлучаться из Попихи подальше и надольше. Кажется, в окрестностях не было таких мест и закоулков, где бы не ступала их нога. И куда только они не бегали? Поля, поскотины, пустоши, пожни, берега Лебзовки — всё вы-

бродили, выползали вдоль-поперёк. Только не было Терёши с ребятами. Скупой опекун не оставлял его без дела. А когда не находилось Терёше работы, Михайла посылал его на Кубину, на Сигайму, в становища — работать у лахмокурских рыбаков.

Деревня Лахмокурье, длинная, в два посада, расползлась по соседству с Устьем-Кубинским вдоль реки. Полтысячи лет тому назад здесь была Лахта—пристань новгородских ушкуйников. Потом Лахта стала называться Лахмокурьем. Сыновья, внуки, правнуки, праправнуки ушкуйников стали здесь оседлыми рыбаками. Они имели свои рыбные угодья, а порой, не боясь греха, закидывали сети в монастырские воды и уводили в Волгу карбасы, переполненные нельмой и сигаами.

В народе лахмокурские рыбаки были в почёте. Про них даже песенку распевали в окрестных деревнях:

Рыболовы наголо  
Лахмокуры мужики.  
Перву тоню заметали —  
Им три мерина попали.  
Втору тоню заметали —  
Им кобыла с жеребцом.  
Третью тоню заметали —  
Леший с дьяволом попали...

Это была шутка, и ходила она в народе с тех давних пор, когда в здешние места были высланы из Москвы злоязыкие шуты и скоморохи. Отцы, деды, прадеды умирали, а живучие песни и прибаутки бережно проносились через столетия.

Лахмокурские рыбаки ловили рыбу артелью. Весь улов в конце рабочего дня раскладывали в кучи и делили без обиды поровну. И вот к ним, в рыбацкую артель, иногда Михайла и посылал Терёшу.

Рыбная ловля его ничуть не тяготила. Добрые лахмокуры не обременяли малыша непосильной работой. Они заставляли его подгонять карбас от одной тони к другой и не пускать близко к улову нахальных чаек. А это было очень занимательно и нетрудно. Кормили его досыта. В субботу давали расчёт за неделю, не деньгами, а рыбой, и ровно столько, сколько Терёша мог унести от Лахмокурья до Пюпихи.

Дома Михайла прикидывал корзину на безмене и с досадою говорил:

— Эко дело-то: тянет только пуд с фунтом. Мало ещё силёнки у парня. Ну, и то ладно, не зря хлеб ест...

## XX

... У распахнутого окошка за верстаком Михайла лижет кожаную подошву и старательно лощет её яблоневой свайкой. О чём-то он вдруг вспомнил и, отложив сапог в угол на лавку, где в беспорядке лежат разбросанные кожаные лоскутья, печально задумывается. А думает Михайла о собственной жизни, о грехах своих и о том, как бы узнать, когда к нему явится смерть, и как бы успеть до её прихода во всём богу покаяться. Енька, не мешая отцу размышлять, молча тачает голенища, а Терёша учится всучивать щетину в дратву и, помалкивая, исподтишка наблюдает за своим задумчивым опекуном. Поворотясь широкой костлявой спиной к домочадцам, Михайла зажигает лампаду и молится. Голубой огонёк лампадки скупно озаряет тёмный лик спасителя в сусальном окладе.

Вчера Михайла украл у Васи Сухаря пять суслонов ржи, сегодня он замаливает этот тяжкий грех, умиляясь на всевидящего и всепрощающего бога. Михайла часто мигает, а толстые посневшие губы шепчут самодельную молитву:

— Господи, прости прегрешения моя, научи любить ближнего своего, яко самого себя...

Терёше становилось с каждым днём всё скучней и скучней. В затхлой мастерской у Михайлы не то, что у лахмокурских рыбаков на озере, куда его опекун перестал отпускать, так как часто толика заработанной рыбы перепадала Копыту с подпасками, а иногда и Турке.

Михайла воровал у соседей осторожно и понемногу: то перепашет полосу, то перекосит кулигу, то копну сена прихватит у соседа и по ошибке в свой сарай сложит, то чужих дровишек привезёт к дому,—а слова покаяния у него всё одни и те же.

Клавдя иногда доставала с полки потрёпанные «Четы миinei» и заставляла Терёшу читать вслух жития святых. Во время чтения Терёша сразу забывался и, думая совершенно о другом, путался, читал сбивчиво и непонятно. Клавдя перебивала его и угнетительно

рассказывала о всех известных ей монастырях и требовала, чтобы Терёша называл её не тёткой, а мамой. И всегда в таких случаях происходило обычное: Терёша закрывал книгу и, плотно сжав губы, снова брался за дело.

Он знал, что такое мама, память о ней хранил крепко и помнил, как Клавдя ходила к его отцу и наедине бранила: «Эх, Иван, нажил ты несчастье на свою шею. Вздыху тебе не будет от Марьи, съест она тебя. Жена без побоев да грозы — хуже козы, ты уж лучше хлеба не молоти, а бабу поколоти...».

Помнит Терёша, как Клавдя таращила на его хмурого отца единственный глаз и, жалостно покачивая головой, твердила: «Лупи её, Иван, лупи, не бабье дело мужику указывать...».

И помнит Терёша, как отец, возвратясь из села, нередко пьяный, бил его родную мать, и помнит те сумерки, когда мать умерла. У Терёши к горлу подкатывается горький ком обиды.

Жизнь у опекуна нелегка. И хотя Клавдя старается обучить Терёшу «святости», ничего из этого не получается: церковные книги, славянская азбука с древними титлами раздражают его, и каждый раз, когда принуждают читать, он ищет повода, как бы скорей отвязаться от нудного чтения...

Курс «младших» и «средних» Терёша прошёл успешно. Осенью учитель перевёл его в «старшие». И тут Терёша не был в числе отсталых учеников. В тетрадях по арифметике, по чистописанию у него стояли отметки не ниже пятёрки. Учитель не раз, ставя его в пример другим, говорил:

— Был бы не сирота да зажиточной семьи, в городское училище пошёл бы, а там в университет...

Терёша понимал, что от скряги-опекуна далеко не двинешься, и ему от похвалы учителя становилось грустно. Не без зависти он смотрел на тех учеников, которых родители были в состоянии учить после приходской школы. Правда, таких счастливицков в школе было немного, но и те, на огорчение большинства, нередко вызывающе мечтали об учёбе в городском училище, о ремнях с медными бляхами, о кокардах на фуражках и о том, что им не суждено ходить за сохой, возить на поле навоз,— пусть этим грязным и нехитрым

делом занимаются синепортошные Терёшки, Серёжки и Травнички, которым не придётся брякать на счётах, носить манишки и пить-есть, чего душа желает. Терёша знал, что ему судьба готовит место в жизни на сапожной липке за верстаком, пока у опекуна Михайлы, а там, дальше, видно будет.

Иногда в свободные минуты в школе его воображение доходило до несбыточных фантазий. Он смотрел сквозь тусклые оконные стёкла в поле, где возвышался одинокий курган, похожий на пирамиду. Слышал Терёша от Копыта и от Турки, что на большой глубине под курганом спрятан богатый клад—быть может, бочка, а то и целый погреб золота. В том, что тут есть клад, мало кто сомневался: иначе для чего бы на ровном месте такой, будто руками сложенный, громадный курган?.. Иначе зачем же давний слух об этом кургане и спрятанном золоте?..

Из поколения в поколение народ передаёт, что триста лет тому назад по Руси гуляли шайки поляков и литовцев. Они дошли до Вологодчины и пошли дальше на север. И вот с награбленным добром потрёпанные поляки и литовцы возвращались восвояси. Но в здешних местах поднялся на них народ, кто с вилами, кто с топором и рогатиной, и окружили чужеземных грабителей, некуда было тем податься. Всех иноземцев перебили усть-кубинские, лахмокурские и других деревень мужики, остался цел один лишь главный поляк — пан воевода. Его хотели мужики живьём взять со всем богатством. Но воевода знал колдовство. Когда ему пришла неминуемая, он вскочил на своё богатство-золото и, пальнув из пистолета в небо, сказал: «Провались, мое золото, столь глубоко, сколь пуля легит высоко!». Тогда мужики, что нещадно истребляли ляхов, услышали, как прозвенело золото, падая в преисподнюю. И даже тот из мужиков, который кончал последнего на этом кургане пана, слышал от него, что клад выйдет на поверхность, если кто-либо когда-либо догадается положить не то сто колов, не то сто голов; но каких колов или чьих голов, мужик как раз не расслышал, и это осталось неведомой загадкой.

Ляхмокурские мужики долго бились над загадкой; они привозили на курган ровно по сотне кольев — сосновых, еловых, вересковых, осиновых, берёзовых, пихтовых, ольховых, рябиновых и даже черёмуховых и кали-

новых — клад под землёй не шелохнулся, не звякнул. Потом рыбаки приносили на курган по сотне голов — щучьих, окунёвых, ершовых, карасёвых, налильных, сиговых и ещё чьих-то, но и это не помогло.

Клад лежит до сего дня.

Терёша глядит из окна школы на курган и думает: на чьи же головы выйдет клад?.. Может на коровьи? Тогда надо сначала быть богатым мясником, чтобы скопить столько коровьих голов. Может, человеческих? Тогда надо быть разбойником и рубить головы прохожим на большой дороге. А всё-таки хорошо бы иметь клад! Построил бы тогда Терёша «двоежитый» дом с мезонином, с крашеными углами, с боку бы «зимовку» пристроил для Алёхи Турки (у того изба стала рушиться). И всего-то бы, всего он накопил по хозяйству.

Но такие Терёшины мысли быстро возникали и быстро потухали.

Однажды в первых числах февраля Терёша два дня подряд не приходил в школу. Причиной тому был сильный холод. Не имея тёплой одежды, Терёша был вынужден отсиживаться во время уроков в дядиной бане. А потом, когда тепло одетые соседские ребяташки возвращались из школы, он выходил из бани и примыкал к ним. Учителю сразу стало об этом известно. Чтобы пресечь обман со стороны Терёши и не зная других способов воспитания, учитель написал записку и велел Серёжке Менухову передать её Терёшину опекуну Михайле, чтобы тот за «сидение в бане» наказал своего воспитанника. Терёша, конечно, понял, что его ожидает, и пригорюнился.

Учитель сегодня был строг и не в духе. Чем объяснить его плохое настроение, ученики не знали. А дело было вот в чём: Иван Алексеевич сразу получил два письма из Вологды от своих приятелей, которые писали о том, что вокруг епархиалки Введенской настойчиво начал увиваться жандармский офицер. Иван Алексеевич не мог с расстройством заниматься, но и распустить учеников он не имел ни права, ни смелости. Тогда он догадался младшим задать чистописание, средним — самостоятельное решение задач, а старшим — писать собственное сочинение, кто о чём вздумает. Сам он вышел из класса в свою комнату и, выпив стакан крепкого и горячего чаю, принесённого сторожихой школы, принялся писать внушительное письмо поповне Введенской. Так за

письмом просидел час и другой, и ученики два часа без перерыва занимались по заданию учителя.

Посмотрев на часы, Иван Алексеевич колокольчиком объявил о перерыве. В следующий урок стал заниматься разбором ученических «произведений». У большинства ребят они были только начаты и не закончены, у некоторых изложения были закончены, но учителю они показались настолько скудными, что он не стал в них разбираться.

«Сочинение» Терёши Чеботарёва было многословное и написано опрятно.

— Ну-ка, прочти, что ты такое придумал, — предложил учитель Терёше, возвращая ему тетрадку с испи-санными страницами.

Терёша встал, одёрнул на себе выцветшую, закропан-ную Клавдей рубашонку, вытер рукавом под носом и начал читать:

— «Собственное сочинение из моей жизни.

...Жизнь моя не как у других соседских ребят, — читал Терёша, — безотецкая, безматеринская. Опекун Михайла и Енька, его сын, считают меня хуже послед-ного телёнка. За телёнком ухаживают и не ругают, а и ругают — так он не поймёт. А мне скажут, что я лиш-ний рот, — у меня от таких слов нутро воротит и хлеб в рог не лезет. Скуп и жаден опекун. У соседских ребят обновки, рубашки, штанишки, сапоги, — у меня ни-чего хорошего, всё в заплатках. Опекун говорит: «Под-растёшь — сам заведёшь, а сейчас на тебе как на огне горит, ничего не надо». Всё же сдобрился и купил мне в это лето соломенную шляпу за восемь копеек и шта-нишки за рубль. Сказал: «На, носи да береги — бережё-ное и бог бережёт». Это верно. Если не беречь, то бог не сбережёт. Вон у нас в деревне случай был: Вася Су-харь худо берёт маслодельню у богача Прянишникова, кто-то поджёт её, и бог не спас... Радовался я шляпе и новым штанишкам. Штанов я до нынешнего лета не на-шивал, всё в синих портках ходил. А тут вдруг штаны с карманами... Тётка Клаша велела за штаны в ноги по-клониться опекуну, а мне что, не тяжело, сразу — бух в ноги. И ему любо. И мне хорошо... Есть у нас в деревне бык бодастый, небольшой бычок, но если рогами хва-тит, то Турка — и тот на ногах не устоит. Рассердился этот бык и кинулся однажды за мной, я от него да на изгородь. Соломенную шляпу с меня ветер возьми да и

сдунь, да и покотил быку навстречу. Бык наступил ногой на шляпу, забрал полшляпы в рот и дёрнул. У меня слеза прошибла: вот те раз, думаю, что мне от дяди будет?.. От дяди мне ничего не было. Не повезло мне и со штанами. Хранил я их, с места на место прятал подальше, чтоб не потерялись. С пивного праздника Фролова дня я был в похмелье. Меня угостил пивом своей варки Турка — моего покойного отца приятель. Спрятал я тогда свои штаны перед сном, а куда? Проснулся — нигде не найду. Две недели искал штаны — нет нигде. Стала как-то тётка Клавдия перебирать голову и всякую костерю да высевки в чане. Там и нашла вместо моих штанов одни тряпки, мышачьи и крысьи огрызки. Тут я и вспомнил, как зарывал туда свои штанишки, и распростился с ними. Енька вроде сжалился и говорит мне: «Я тебе заработок знаю, можешь на штаны заработать». — «Какой?» — спрашиваю. — «А вот босой по снегу сбегай в Боровиково — пяточок дам... Пяточок по пяточку, так на штаны себе и заработаешь». А я говорю: «Ты постарше меня, а не делу учишь, хочешь, чтоб я простудился и сдох, чтоб лишнего рта не было? Босиком не пойду, хитёр ты больно. Шутка ли — взад-вперёд две версты босому по снегу. Зимогоры — те могут. Они толстопятые. А я не пойду». А штанов у меня нет и нет. И вот хожу опять в тех же синих портках. Иногда морозно. Холодно итти, коленки мёрзнут. Из дому гонят в школу. Я ухожу на замерзание. Бывает, что в школу не иду и дома не сижу. Приверну в баню и там отсижусь. В бане я отпыхтел стекло, и мне там стало светло читать то, что читают ребята на уроке...».

Школьники внимательно слушали рассказ Терёши, некоторые усмехались. А Колька Травничок выкрикнул из угла:

— Ты бы, Терёшка, описал ещё, как тебя Прянишников крапивою ютхлестал!..

— Это на другой раз, — не обижаясь, отозвался Терёша.

— Да, ну и ну! — промычал учитель, перебирая пальцами по столешнице. — Сочиненьце такое, хоть в вологодскую газету «Эхо» посылай. Нужда, нужда, нужда! А парнишка толковый. Менухов! Ну-ка, где моя записка к опекуну? Дай-ка сюда, я раздумал её послать.

Серёжка Менухов встал за партой. Он сидел рядом с Терёшей, вместе с ним украдкой прочёл записку и уже успел порвать её, а обрывки засунуть себе в валенок.

Менухов стоял перед учителем красный, шевелил губами, подбирая подходящие слова для ответа и не находя их.

— Ну, ладно,—догадался Иван Алексеевич и, махнув рукой, сказал:—Записка ни к чему, порвите. А ты, Чеботарёв, зайди ко мне после уроков...

Когда все ребята с шумом разбежались по разным сторонам, Серёжка не спешил домой, ждал на улице Терёшу. Тот весело бежал, придерживая сбоку холщёвую сумку с книгами.

— Ну, что? — спросил, любопытствуя, Менухов.

— Ничего, знаешь — помалкивай, рубль на штаны мне дал и просил не хвастать.

— Сказал ему спасибо-то?

— Сказал.

— Ну, и хорошо. А Травничка надо бы поколотить: чего он на уроке суётся!

— Пусть, невелика беда...

## XXI

Тянулась серенькая, однообразная деревенская жизнь. Незаметно подошла масляная неделя, сытая и весёлая. В каждой избе овсяные блины с постным и коровьим маслом. Со вторника у всех начинались игрища, катанья с гор, катанья на лошадях. В среду пировали во-всю, в четверг—ещё шире, в пятницу отгащивали, в субботу справляли весёлые посиделки с песнями и пляской без усталости. В воскресенье провожали масленицу: ребята и девки собирали в деревнях негодное барахлишко, ломаные кадушки, пестёрки, бочки, солому, на чунках-салазках свозили за деревню, складывали в большой костёр и в сумерки жгли «масленицу», хоро-водом ходили вкруг, протапывали снег до самой земли, пели протяжные, заунывные песни. И когда прогорал дотла костёр, нехотя расходились по избам, перебрасываясь на ходу поговорками:

— Эх, масленица-объедуха, деньгам прибируха, не дала ты вдосталь на горах покататься, да блинами объедаться...

— Прощай, прощай, гулява-масленица, здравствуй, великий пост—от редьки хвост, пареная репа — брюху не закрепает...

С чистого понедельника до пасхи ни молочного, ни мясного есть не полагалось даже детям. Постились, ели редьку, капусту с квасом, грибы сушёные и солёные, репу и брюкву пареную и пекли постные картофельные рогульки на тонких ржаных соченьках.

Вместе с великим постом приходили солнечные дни. В каждую пятницу к вечерне на колокольный звон тянулись в Устье-Кубинское исповедники.

В этот год с группой старших учеников Терёша Чеботарёв впервые пошёл к попу на исповедь. Накануне учитель им говорил:

— Завтра, ребята, вы в первый раз пойдёте к священнику. Заходите к нему по трое-четверо, становитесь на колени и, о чем бы он вас ни спросил, каитесь, говорите: «Грешен, батюшка!..».

В новой рубашке и новых дешёвеньких штанишках Терёша снарядился в церковь. Поверх он надел домотканый «хохотун» из старой материнской шубейки.

В великопостные сумерки десять коровинских учеников шумно поднимаются по лестнице на паперть. Здесь, в сумеречной мгле, при тусклом свете восковых огарышей, сбившись в кучу, стоят нищие старушки, инвалиды—безрукие и безногие. Все они жалобно просят: «Христа ради копеечку!».

На другой стороне при входе стоят в ряд шесть дородных, тепло и туго одетых торговков-булочниц. Перед ними в больших корзинах дышат паром свежеспечённые булочки, козульки и уточки с изюминками вместо глаз. Тяжёлая дверь тихо распахивается; ученики вереницей входят в церковь. Сначала они останавливаются около дверей, вокруг жарко натопленной столбьянки. Терёша, сняв мокрые рукавицы, жмётся к печке. С клироса доносится протяжный голос дьячка. Перед иконами там и тут теплятся тонкие жёлтые и раскрашенные свечи. Слева, около алтаря,—очередь исповедников и исповедниц. Ученики подходят к ним ближе. И тут Терёша слышит из-за перегородки тихое бурчание попа и звон медных монет.

— О чём-то он будет нас спрашивать? — шепчет Терёша Серёжке Менухову и замечает, что тот от волнения стучит зубами.

— Трусишь?

— Нет, так, с непривыку боязно.

— Зря, не к медведю в берлогу идём, чего бояться, — успокаивает Терёша Серёжку.

Потом он оборачивается и видит около себя рослого церковного сторожа. Тот проталкивает ребят к боковой двернице, ведущей в алтарь к попу. На двери, в панцире и в красной юбке до колен, растопырил крылья архангел Михаил. В руке у него огненный меч. Школьники, перекрестясь на архангела и толкая один другого, сразу вчетвером, плечо к плечу, заходят к попу. Терёша и за ним ещё трое вошедших падают на колени. Поп прикрывает их жёлтым передником и торопливо выпрашивает:

— Ходите ли в церковь?

Ребята в один голос:

— Грешен, батюшка!..

— Молитесь ли богу?

— Грешен, батюшка!..

— Не ругаетесь ли нечистыми словами?

— Грешен, батюшка!..

— Репу, горох не воруете ли?

— Грешен, батюшка!..

Наконец поп что-то нараспев ворчит и показывает им на оловянное блюдо, наполненное медяками. Ребята кладут по копеечке.

Из любопытства и от нечего делать, пока не началась вечерняя служба, Терёша бродит по церкви. Он глазет на расписанные стены, толкается у прилавка, где церковный староста, похожий на угодника, бойко продаёт свечи, он же принимает поминальники с медяками и заказы на завтрашние просфоры. Совсем нечаянно около громадного металлического подсвечника Терёша видит соседку Степаниду. Она отбивает поклоны и, умильно взирая на Егория-победоносца, полушопотом о чём-то его просит.

«Наверное, за своего Сухаря молится, чтобы реже бил», — думает Терёша и, подкравшись к Степаниде, прислушивается.

Степанида, будто бы с глазу на глаз, полушопотом ведёт со святыми такой разговор:

— Святой Егорий, преподобный Власий да мученик Протасий, помолитесь-ко господу за нашу Пеструху, чтоб родила она к лету зараз двух телушечек одношёр-

стных, а не бычка белоголового, как в прошлый год на Артемьев день... Дай бог быть коровушке солощей и привыкнуть кушать солому, не худеть, не хиреть, игровой быть, стельной, не яловой переходницей... Батюшка Егорий, давай ей молочка вынашивать по целому подойнику. Помолитесь, святители преподобные...

Степанида слышит позади себя смех. В двух шагах от неё хихикает Терёша.

— Ты чего тут, бесёнок, подслушиваешь?

— У тебя учусь за коровье здоровье молиться, — тихонько отвечает Терёша и для приличия встаёт рядом со Степанидой на колени.

— Ишь ты, безотецкий! Ну, учись, учись... — И она снова обращается к Егорью, разящему копьём огнедышащего змия.

Началась вечерня. Исповедники помолились и разошлись на ночлеги: кто домой, кто в село к знакомым, а Терёша вместе с другими учениками — в приходскую келью. Здесь жил звонарь, он же церковный сторож и могильщик. И здесь была курильня для богомольцев и говорильня для любителей рассказывать всякие были и небылицы.

Эта первая исповедь была во второй и последний год Терёшиной учёбы в коровинской школе.

Весной младшие и средние были распущены на летние каникулы. Иван Алексеевич готовил к экзаменам старшую группу. Всё внимание было зубрёжке закона божия. Экзамены прошли благополучно. Терёша получил от попа евангелие с надписью: «За отличные успехи и примерное поведение». Учитель подарил ему дешёвенький томик басен Крылова и от себя надписал: «Недозре- лый умок, что вешний ледок, учение—свет, неучение— тьма».

Терёша это понимал прекрасно, но сомневался, что поведение его было примерным.

## XXII

За два года сирота успел кончить учение. Енька втайне даже завидовал ему и говорил: «Посмотрим, как он ремесло сапожное изучит, это не букварь». И Терёшу посадили за верстак. Евангелие с поповской надписью Михайла бережно обернул курительной бумагой и положил на божницу. Басни Крылова, чтобы не трепа-

лись, он отдал в переплёт Васе Сухарю. Звали Васю Сухарём за то, что он к семидесяти годам весь иссох. Кости в плечах выпирали, как стропила на старом овине, и кожа на них серая, будто солома на крыше, покрытая плесенью. Но Сухарь был жиловатый и крепко ещё держался на ногах.

В свободное от домашних работ время Сухарь по заказам переплетал старинные книги. Он был самоучка-начётчик и такой же самоучка-переплётчик. Десятки раз Сухарь перечитал жития святых и библию. Но самой его любимой книгой был «Потерянный и возвращённый рай». С ним Вася не расставался. Подвязав седые волосы узким ремешком, он всюду, где собирались люди, читал им эту страшную книгу и показывал лубочные картинки, изображающие борьбу сатаны с богом.

Михайла иногда, несмотря на свою скупость, бывая в Устье-Кубинском, покупал книжки. Так он в разное время приобрёл «Житие Алексия человека божия», «Грех Ивана Ивановича», «Оракул», «Колскол святого духа», «Тонул да выплыл, или похождения мужичка в Питере», «Купец Иголкин и его подвиг», «Житие преподобного Ксенофонта и супруги его Марии», «Рассказы про архангельских китоловов» и «Громобой». Была ещё у Михайлы одна книжка без обложки и названия, но Сухарь полистал её и определил, что это есть «Чудеса чёрной магии» — книга еретическая, недостойная быть вместе с «душеполезными» книгами.

Собрание этих книжек Терёша читал и перечитывал попихинским мужикам в воскресные дни. Но чтение одних и тех же книжек быстро надоедало; ему хотелось знать многое: о птицах, о животных, о самом человеке и отчего происходят гром и молния. Хотелось знать как можно больше о других странах, об электричестве, о разных машинах и многое другое, чему не учили в церковно-приходской школе. На счастье любознательному Терёше, в соседней деревне у вдовы Миропии Суворовой был сын Лёшка; маленький, кучерявый, веснучатый, в школе он был меньше всех замечен. Подружился с ним Терёша по окончании школы. У Лёшки оказалось очень много интересных книг, оставшихся после смерти его отца, работавшего конторщиком у Никуличева на заводе. С позволения своей матери Лёшка охотно давал Терёше читать «Робинзона», «Гулливера», «Дюн-

Кихота», «Вия» и много других настолько увлекательных книг, что опекун Михайла освобождал Терёшу от работы и заставлял его по целым дням читать вслух.

И чем больше читал, тем больше Терёше хотелось знать, и становилось прискорбно и обидно за то, что так мало пришлось ему учиться. Иногда от раздумья у него выступали слёзы, и он говорил сам с собою, как вполне взрослый, взволнованно и решительно: «Нет, я буду знать больше других, подрасту и уйду из Попихи куда глаза глядят, побываю в разных городах, вокруг света объеду...».

Читая Жюля Верна, Майн-Рида, он мысленно путешествовал с их героями в Австралию, в Африку и в Америку, летал на воздушных шарах, плавал на корабельных обломках, сражался с дикарями, открывал новые, неизвестные острова в далёких сказочных морях и океанах.

После этих увлекательных книг Терёша ничего божественного не мог читать без строгого принуждения. В праздники и воскресные дни садился с книгой к раскрытому окну и просиживал с утра до вечера.

Турка юбещал ему выписать газету, но всё откладывал до удобного случая. Если Терёша напоминал об этом, он находил оправдание:

— Газету, Терёша, всегда выписать можно. Бутылку не выпить — вот тебе и газета. Только лучше выписать тогда, когда война с кем-либо будет (не зря затмение было!). А то в газете мало занятного: объявления для лавочников, происшествия для воров да для нашего брата разные вранины вроде: в такой-то деревне у вдовы такой-то родился урод с собачьей головой...

Впрочем, кроме случайно оброненных Туркой слов о войне, в Попихе никаких предположений и разговоров не было. Да и откуда им быть?

Война 1914 года для далёкого вологодского захолустья явилась неожиданно.

... Вчера Терёша, утомлённый, лёг спать слишком поздно, сегодня утром Клавдя сквозь слёзы тормозила его на полатах:

— Вставай-ко, Терёшенька, вставай, почитай, от самого царя грамоты принесли! Про войну написано.

Терёша вскочил, протёр глаза.

— Где война?

— Да поди, дитятко, очухайся, почитай. Чует моё сердце: Енюшку в солдаты заберут, ты у нас доброхотом один расти будешь...

Неумытый, всклокоченный, бежит Терёша босиком на улицу. Там толпятся мужики и бабы. Енька и Сухарь вслух и наперебой читают манифест о войне и приказ о мобилизации:

— «Божией милостью, Мы, Николай Второй, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая...».

Война встревожила деревню. Сразу набор в солдаты. За ним — второй, третий. Воевали где-то за две тысячи вёрст от Попихи, а слухи доходили каждый день всё новые и новые. Чтобы знать хоть приблизительно правду о войне, Турка не замедлил выписать «Газету-копейку». Два раза в неделю Терёша бегал за нею в село на почту и приносил новости о войне. Газета читалась, перечитывалась, затем расходовалась на цыгарки, а понятие о войне у всех оставалось весьма смутное. По сводкам и телеграммам штабов, что печатались в «Копейке», попихинским обитателям казалось, что англичане, французы, турки, австрийцы, немцы, сербы и русские — все перемешались и лупят друг друга невесть за что. Одно было понятно попихинским мужикам — что война началась не шутейная и конца ей долго не предвидится. Закрылась казёнка. Вздорожали товары. Староста Прянишников и старшина Соловьёв собрали в волости всех сапожников и от казны дали им заказ шить солдатские сапоги за хорошую цену. Накинули сначала по рублю на пару. Сапожники напрасно радовались: через неделю кожевники накиннули по десятке на кожу. Зато старшина и староста с казны за поставку первой партии сапог нажили себе тысячи рублей.

Кому война — разор, а кому — ветер в спину. Подрядчики-торгаши наживали от военного ведомства. Они заготавливали кожи, шерсть, скот, овёс, сено. Цены росли, деньги дешевели. Золотых уже не было и в помине, исчезли серебряные деньги, даже медяки стали выходить из обращения; бумажки, розовые, жёлтые, как листья осенние, в изобилии сыпались по рукам. Шинкари и шинкарки давно уже распродали свои скудные запасы по бешеной цене. И всё-таки новобранцы наливались неведомо какого зелья и сильно буянили. Они отчаянно гу-

ляли в эти призывные дни. Били бракованных «белобилетников», били и приговаривали:

— Нам воевать, а вам дома сидеть?! Бей их, роя, не жалея!..

Эх, распроклятая браковушка  
Осталась дома жить.  
Моя несчастная головушка  
Царю пошла служить!..

Браковали тех, кто побогаче, кто в состоянии крупной взяткой задобрить воинское начальство. Таким «браковкам» приходилось ещё откупаться и от обычных побоев.

Призывались в Устье-Кубинском в бывшей казёнке. Около неё в наборы было илюдно, и грустно, и весело. Ревели жёнки, матери, пиликали гармошки, новобранцы дрались, плясали, показывая стриженные, забритые головы, пели заунывные и залихватские песенки:

Мы к селу-то подходили,  
Увидали белый дом.  
Мы подумали — казёнка,  
Распроклятый наш приём!..  
Не вино меня качает,  
Меня горюшко берёт;  
Я не сам иду в солдаты,  
Меня староста ведёт.  
Во солдатушки забрили  
Из деревни одного.  
Я сударушку оставлю,  
Сам не знаю, для кого.  
Что, сударушка, не тужишь,  
Платье чёрное не шьёшь?  
Повезут меня в солдаты:  
Провожать-то в чём пойдёшь?

В приёмной за барьером призывников взвешивали на весах, ставили под меру; то и дело слышались отрывистые голоса из комиссии:

- Анифатов — годен!..
- Серёгичев — годен!..
- Окатов — нон аптус!..
- Ганичев — нон аптус!..

Непонятные изречения военного врача становились для всех понятными. «Нон аптус» означало, что комис-

сию проходит купеческий или кулацкий сын и что он негоден к военной службе. Воинский начальник, тучный, в лакированных сапогах со шпорами, добродушно ухмыляясь, подмигивал бракованным:

— Не горюйте, без вас повоюют. Для победоносной войны здоровый тыл означает всё...

А на улице около приёмного пункта бракованных подстерегали бритые сорви-головы и не давали им проходу. Или — откуп, или — морда в крови. Чаще то и другое.

После призыва два-три дня давалось на отгул. Девки, грустные, точно заручённые за нелюбимых женихов, ходили за подгулявшими новобранцами и в песнях-коротушках выражали своё девичье горе:

Снеги пали, снеги пали,  
Падали да таяли.  
Наших миленьких забрили,  
Шантрапу оставили.

Война с каждым днём становилась чувствительней. Пустели в селе купеческие лавчонки. Смолкинский трактир «Париж» прекратил существование. Издалека привезли в село полный пароход беженцев-поляков, измождённых, слезоточивых, и поселили их в бывшем трактире. Верстах в двадцати от Устья-Кубинского, на Сухоне, появились пленные австрийцы. Робкие и покорные, они безропотно трудились за кусок хлеба, строили шлюз «Знаменитый». Люди из деревень ходили смотреть на пленных неприятелей и ничего неприятного в них не находили. Народ как народ, только говор их непонятен.

В эти дни в Попихе изменилось многое. Обеспокоенный Михайла поспешил женить Еньку. Невеста нашлась с богатым приданым — хромая дочь старосты Прянишникова Фрося. В следующую очередь призыва льготному Еньке надлежало идти в солдаты. Сумеет ли он откупиться взяткой и получить «белый билет» — неизвестно. Слухи ходили, что война затянется и «белобилетников» заметут в тыловое ополчение. Это всё же лучше, нежели окопы. Взяли на войну Енькина соседа Пашку Косарёва. Он получил расчёт у Никуличева на заводе, гулял, стоптал каблуки на пляске, а потом, когда пришёл срок, Пашка тронулся на сборный пункт. Мать провожала его со слезами, верный пёс Орлик лас-

ково увивался около Пашкиных ног; отец, грустный, шёл рядом с сыном и не сводил с него глаз, чтобы взглядеться и навсегда запомнить его. Никогда он не чувствовал такой отцовской привязанности к сыну, как сегодня. Когда подходили к Усть-Кубинской пристани, Пашка спросил отца:

— Тятя, чего ты так голову повесил, хоть бы слово сказал...

И вымолвил тогда Пашкин отец Фёдор Косарёв горестно и искренне:

— Иду я, сынок, гляжу на тебя и думаю: сказали бы мне сейчас воинские начальники: «Вот что, Фёдор: мы твоего сына бракуем, а тебе за это отрубим правую руку напрочь». Так я бы им сказал: «Рубите!..».

Пашка печально усмехнулся:

— Пустяки, тятя. Всех не перебьют, будем живы, не умрём!..

У пристани на протоптанной лужайке Пашка под чью-то гармошку плясал и, поглядывая на свою мать, утиравшую обильные слёзы, пел как бы ей в утешение:

Полно, маменька, тужить;  
Не один пойду служить.  
Служит Фомка, служит Влас —  
Наберётся много нас!  
Я, отчаянна головушка,  
Нигде не пропаду.  
Я читать, писать умею,  
В офицеры попаду.

— Эх, попадёшь ли? — вздыхал отец.

Проводив сына, Фёдор Косарёв пришёл к Михайле и высказал обиду:

— Мой-то на год моложе твоего Еньки, а взяли ведь... И твой, дай бог, не насидит, доберутся.

— Знаю, что доберутся, — сухо ответил Михайла. — У меня сын, как репка, без единой царапинки. Попадёт под меру — и готов...

Енька в эти дни переживал какое-то неведомое ему до сих пор чувство: то он, любуясь на свою молодуху, радовался семейному счастью, то думал о войне и что Фрося скоро будет солдаткой и, возможно, вдовой. Енька худел и часто говорил, что ему не миновать чуждальной стороны.

Вот и сейчас, когда Фёдор Косарёв пришёл к Чеботарёвым поделиться своим горем, Енька не замедлил его грубо одёрнуть:

— Что ты со своим Пашкой носишься! Он у тебя и дома-то не жил, всё на Никуличева работал. Тебе и отвыкать просто. А вот какво моему отцу будет? Тётке Клавде?

Фёдор Косарёв дымил мажоркой и лениво отмахивался:

— Оно, конечно, всякому своё и немытое бело кажется. И ты не в сорочке родился, на войне пуля не разберёт...

— Чирей бы тебе на язык! — ворчала из-за заборки Клавдя. — Чего ты нашему Енюшке предсказываешь!

— Я так, к слову. Я никому худа не хочу, — оправдывался Фёдор.

— Не тужи, сынок, — успокаивал Михайла Еньку, — родительским благословением обнесу. Молиться за тебя станем. Бог сохранит. Лучше подумай-ка о том, как бы без тебя тут Фрося мне внучка родила, веселей чтобы мне, старику, было.

— За этим дело не станет, — ухмылялся Енька, лениво переверачивая в руках недошитый сапог. И, показывая грязным пальцем на Терёшу, говорил: — Вот кому счастье-то! Семь лет расти до солдатчины, а семь-то годов всяко не провоюют.

Но Терёше как раз это не казалось счастьем. Возбуждённый событиями, читая каждый день у Турки «Газету-копейку», он думал, как бы ему успеть подрасти, пока не кончилась война, а там поступить добровольцем и отличиться. Но ему ещё только тринадцать лет.

Дошла очередь и до Еньки. Из Попихи забрали тогда двух: Еньку и Кольку Копыта. Последний за всю свою жизнь впервые услышал в приёмной свою фамилию:

— Копытин Николай Осипов—годен в кавалерию!..

— Чеботарёв Евгений Михайлов — годен в нестроевую.

Оба новобранца встретили свою солдатскую судьбину по-разному.

Енька был доволен, что его зачислили в нестроевую, и теперь, надо полагать, бог его сохранит. Когда

он сел в телегу и обнял Фросю, Михайла обернулся к нему и таинственно поведал:

— Ты не думай, сынок, это не зря: твоя «нестроевая» мне в сто рублей обошлась. Главному дохтуру сунул. Да тесть твой словцо заложил...

— Спасибо, тятя...

В попутных деревнях знакомые спрашивали:

— Как дела, Евгений Михайлович?

Енька с чрезмерно напущенною грустью молча снимал картуз и показывал бритую синеватую голову.

— На три дня домой отпустили только!.. — отвечал он грустно.

### XXIII

Колька Копыто вышел из приёмной точно заколдованный. Он долго стоял на лестнице и, опираясь на перила, таращил мутные глаза на серые облака, похожие на рваные паруса с голубыми заплатами. Потом, когда проглянуло солнце, Копыто улыбнулся и проговорил:

— Спасибо тебе, царь-батюшка, чтоб тебе подавиться... Оторвал ты меня от коровьего хвоста...

Пятнадцать лет Копыто пас небольшое попихинское коровье стадо. дальше своей волости он никуда не выглядывал и не думал о такой напасти, как война. Вечером он возвратился из села в Попиху — и прямо к Турке.

Тот сочувственно покачал головой:

— Не завидую тебе, Копыто, не завидую. И не заметишь, как пропадёшь из-за генеральской измены не за нюх табаку. Жаль, что ты в острог не попал: там бы сохранней было для здоровья и жизни. Либо в монастырь, как Осокин. Монахов в солдаты не берут. Ну, что ж, воюй, да гляди в оба.

Собирали деревню, подсчитывали, сколько Копыту заплатить, сколько недоплатить и кто его теперь заменит.

Исполнять Копытову должность Михайла охотно уступил односельчанам Терёшу. До осени оставалось немного времени, а пасти кому-то надо. Тем более, для опекуна это выгодно: кормёжка Терёше от всех, как гостю. У кого одна корова, у того Терёша будет день на харчах, у кого две — там два дня отъедаться и юбносками пользоваться также подённо и покоровно.

Михайла сказал об этом Терёше. Тот опечалился. Быть пастухом, после того как он сдал экзамен в школе и скоро получит свидетельство с похвальным листом, ему вовсе не хотелось. Терёша предвидел насмешки соседских ребят. Ребята завидовали ему в школе, зато теперь посмеются над ним: «Сдал экзамен на пастуха!».

— Подумай сам, ты не маленький, — говорил Михайла. — Еню забрили, завтра он уезжает, за верстаком тебе, как ученику, дела не наберётся. А до осени попасёшь — пригодится.

Но гораздо убедительней повлиял на Терёшу и успокоил его наедине Копыто. Перед тем как ехать на военную службу, Копыто увёл Терёшу в поскотину, где паслось попихинское стадо. Сели на лужок. Земля была сухая и тёплая. По сторонам, в низкорослом ольшанике, бродили телята. Сытые коровы дремали.

Копыто встал и внимательно посмотрел по сторонам: нет ли кого из людей поблизости? Убедившись, что никто их с Терёшей не видит, он вынул из кармана штанов острый самодельный нож, сделанный из стального обломка косы, и провёл по земле черту вокруг себя и Терёши.

— Чур отсюда не выходить, — сказал он повелительно, — иначе худо тебе будет.

И, воткнув нож в землю посредине круга, Копыто снова сел на лужок, посмотрел Терёше в глаза пристально и сурово. Тот в недоумении почувствовал, как озноб пробежал по его телу, а на лбу выступил горячий пот и сразу же остыл. Копыто заметил это и сказал, не меняя голоса:

— Ты не бойся. Я тебя любил и люблю и тебе одному лишь выдам большую тайну...

Терёша облегчённо вздохнул. Страх исчез, появилось любопытство, хотел усмехнуться, но улыбка была бы не к месту: слишком серьёзен, не похож сам на себя Копыто. Морщины у него на лице после бритья вытянулись. На подбородке бритва юставила кровавые порезы, они были заклеены курительной бумагой, а сквозь бумагу была заметна запёкшаяся кровь, как ржавчина. Дрожащие губы Копыта шептали:

— Смотри, Терёша, чтоб никто этого не знал! Побожись!

Терёша повиновался:

— Вот те крест, ей-богу никому, никому и никогда не пикну.

— То-то, смотри! Скажи: «Лопните мои глаза, если кто узнает эту тайну».

Терёша вслед за Копытом повторил клятву.

— Ну, вот, теперь можно.

Копыто снял с левой ноги сапог, вывернул голенище, достал из-под подклейки тщательно завёрнутый в тряпку пакет и, подавая Терёше сказал:

Возьми и сохрани себе: это «пастушеская статья», я десять рублей заплатил за эту сказку. Очень помогает. За все годы моего пастушества ни одной коровы не пропало, ни одной телушки. Вот такая это штука!..

— Можно развернуть?

— Можно.

— И прочитать можно?

— Только в кругу. Прочитай тихонечко, а я послушаю.

Терёша осторожно развернул тряпку и ещё осторожнее извлёк из неё свёрнутую, затасканную, пожелтевшую бумагу. Копыто предостерёг:

— Держи крепче, чтобы ветром за круг не вынесло. Иначе вся сила этой грамоты пропадёт.

Терёша крепко, дрожащими пальцами вцепился в бумагу и, склонившись над ней, стал разглядывать некрасивый древний почерк.

— Поймёшь ли? — спросил Копыто.

— Пойму кое-как...

И, полушопотом, запинаясь, Терёша стал читать колдовской пастушеский заговор от всякого случая.

— «Сия молитва — заговор, Николина ограда, тын железной от небеси и до земли, от востока и до запада, от юга и до севера — со всех четырёх сторон около меня, раба божия пастыря, и около моего любимого стада, крестьянского живота, амином замкнута...».

— Ну, и написано! — изумился Терёша, прочитав всё до конца, и задумался: верить или не верить в чудодейственную силу этой неказистой грамоты?

Копыто, угадав его мысли, заговорил строго:

— Тут, брат, всё как есть правда сущая и очень большая помощь в пастушьем деле. До смерти бы пас, если бы не война, а про эту бумагу никто, даже Алёха

Турка, не знает, и твой покойный отец не знал. Вот как я умел хранить. Теперь она мне ни к чему, а тебе пригодится... Ты тоже спрячь в голенище за подклейку и зашей дратвой.

— Я думаю, это пустяки! — усомнился Терёша.

— Дурак, вот что! — возразил Копыто и для большей убедительности рассказал Терёше тут же придуманную им историю: — Однажды — дело под осень было — пасу я коров, и вдруг с репища прямо на стадо ковыляет медведь, такой пудов на осмнадцать, а может чуть полегче. А у меня эта бумага всегда в голенище. Потрогал я её. «Стой, — думаю. — Что дальше будет?». А коровушки мои стоят как вкопанные и ничегошеньки не испугались: Медведь подошёл к ним, каждую пообнимал, понюхал и не обидел ни одной, ушёл вон в ту рощу. Медведю-то показалось, что это не коровы, а пни берёзовые. Вот, а ты не веришь! Молоденек ещё не верить...

— Ладно, — схитрил Терёша, — сберегу я эту бумагу, раз она такая...

День ещё не успел кончиться. Раньше обычного сегодня они пригнали в Попиху коровье стадо. У Михайлы под окном стояла наготове запряжённая лошадь.

В избе шли приготовления к отъезду Еньки. Терёша зашёл с ним проститься. С причетом плакала Кладья. Михайла ворчал:

— Отстань, дура! Не над покойником причитай-ешь-то.

Молодуха Фрося отмерила Еньке два аршина холста на запасные портянки и зашила ему в гашик четвертную бумажку. Енька стоял на коленях перед раскрытым зелёным сундучком, прибывая к внутренней стороне крышки деревянную иконку — отцовское благословение.

Через несколько минут откормленная бойкая лошадинка во весь дух неслась по пыльной дороге. Грохот колёс заглушал затянутую Енькой песню.

Пос-с-ледний нынешний денёчек  
Гу-у-ляю с вами я, друзья...

В тот же самый час из Попихи пешком по большой тропе с берестяной кошёлкой за спиной тронулся через

болото, напрямик к селу, Колька Копыто. Далеко за околицу провожали его два верных друга — Алексей Турка и смышлённый не по своим годам Терёша.

## XXIV

Нерадостно жилось солдатке Фросе. Письма от Еньки приходили редко. Если когда и писал, то в его письмах ничего не было, кроме низких поклонов всем родным и просьбы родительского благословения у отца-батюшки. Фрося не раз проливала слёзы, жалуясь на свою участь и попрекая себя за то, что не во-время чорт её вынес замуж. Ночами она подолгу не спала, ворочалась с боку на бок на скрипучей деревянной кровати за шкафом в углу горницы и думала:

«Жди вот его, когда вернётся, может, без руки, либо без ноги, — на что такого!».

Зиму прожили без перемен. Все, кроме Терёши, тосковали по Еньке, а Еньку в это время переводили из части в часть, из города в город. От Копыта вестей не было: он знал, что плачущих по нём в Попихе не осталось. Уехал и как в воду канул. О Пашке Косарёве также долго не было ни слуху, ни духу, но однажды отец его пошёл к Никуличеву на завод наниматься бурлачить и был внезапно поражён новостью. На заводе у Пашки осталась знакомая девушка, которую до призыва он метил себе в невесты. Она работала укладчицей досок, выглядела румяной, здоровой и была недурна лицом. Звали её Евстолией, а попросту по-рабочему Толькой. Увидев Фёдора, она бросила ношу досок на помост и, улыбаясь, пошла к нему навстречу:

— Здравствуй, дядя Федя! Что тебе Паша пишет?

— Лучше не бай, девка! То ли письма не доходят, то ли ему до отца заботы мало.

— А вот мне была от него весточка: под Варшаву угнали, и не раньше, не после, как вчера, получила ещё открытку—из плена, из Германии. Пишет — жив, здоров.

Косарёв так и развёл руками:

— Вот ведь шельмец, хоть бы словечко отцу! Видать, ты, девка, ему роднее всех будешь. Адрес-то есть?

— Как же, город Ганновер, какой-то лагерь, а остальное не по-русски. Ответ я ему сама настрочила,

а почтовый барин немецкими буквами адрес мне за пяточок написал.

Фёдор не знал, обидеться ли на Пашку, что не ему, а чужой девке предпочтение отдаёт. Он постоял, подумал и сказал сокрушённо:

— Ну, что ж, в плену, так и в плену, на то воля божья. Ишь ты, мерзавец, хоть бы слово отцу черкнул! Спасибо, девка поведала...

В заводской конторе он сдал свой паспорт и, получив в задаток двадцать пять рублей, продал себя на всё лето Никуличеву в бурлацкую путину. На обратном пути в Попиху он привернул в село на почту. За проволочной решёткой сидел в темносинем мундире со светлыми пуговицами начальник, всеми называемый «почтовым барином».

Фёдор поклонился ему:

— Нет ли на Попиху письмеца от сына?

Барин кивнул низкорослой девчурке, напудренной, с густо подведёнными глазами. Та молча достала из шкафа два номера «Газеты-копейки» в Туркин адрес и одно увесистое письмо Клавде Чеботарёвой. Фёдор повертел в руках это письмо, посмотрел на печати, на адрес, написанный крупными буквами, и, заметив поверх разборчивых слов маленький крестик, проговорил печально:

— От Еньки им вот опять письмо, с крестиком даже, а мой Пашка не догадается так,—и сунул письмо с газетами за пазуху.

Фёдор ошибся. Письмо оказалось не от Еньки, а от монаха Осокина.

Терёша начал было читать вслух всему семейству и в присутствии Косарёва, но Клавдя вырвала из его рук письмо и спрятала в кутке на божницу.

— Ладно, Терёшка, раз на меня писано, так мне одной потом и прочитаешь.

И как ни разбирало любопытство брата Михайлу и Фёдора, доставившего пакет с почты, Клавдя настояла на своём. Она заперлась с Терёшей в горнице и там узнала из письма, что за грехи и провинности Осокина, или «старца Никодима», как он себя величал, перевели «по указанию свыше» из Усть-Куломской обители в Александрово-Куштскую пустынь, что неподалёку от Кубенского озера. Никодим сообщал о каком-то пред-

стоящем празднике, на который и приглашал притти Клавдю.

— Вот ведь, батюшка, какой стал: о чужих грехах печётся! — вымолвила Клавдя, слушая Терёшино чтение и вытирая кончиком платка заплаканный зрячий глаз.

— «И ещё у меня к тебе, обожаемая и богомольная Клавдеюшка, есть дельце: посылаю я в этом письмеце заклинание солдатское, оно спасёт от смерти, ты давай списывать, кто идёт на войну супротив немецкого царя, австрийского короля и султана турецкого, и собирай за список заклинания по рублю. Деньги собранные отсчитаешь мне, когда придёшь в пустынь...».

К письму было приложено «Заклинание», чётко написанное на пергаменте красными чернилами.

Клавдя взяла из Терёшинных рук письмо, бережно завернула в тряпицу и сказала:

— Помалкивай, детка, тут не твоего ума дело...

С этим заклинанием она потом много обошла окрестных деревень, давая списывать с него копию всем, кто не жалел рубля за сохранение жизни ратного человека. Обильно перепадали Клавде жёлтые рублёвые бумажки.

А когда их скопилось больше сотни, она стала просить Михайлу:

— Братец Михайло, давно у меня лежит думка на душе: не сходить ли мне с Фросей и Терёшкой в пустынь на Кушту? Поклонимся мощам, помолимся за Енюшку и за весь наш дом благодатный.

Михайла на благочестивые дела покладист. Почесал бороду, подумал и сказал Клавде:

— А с богом, сестра. Сев кончился. Гряды в огороде приведите в порядок и ступайте.

Время было такое подходящее — весна на исходе. Пожни, луга заливные на побережьях рек и вокруг Кубенского озера, обнажаясь из-под разлива, ширились и быстро зеленели. Несметные стаи гусей, лебедей находили здесь временное пристанище, отдыхали от перелёта, кормились и пробирались на лето дальше на север.

Терёша, узнав от Клавди о предстоящем путешествии в пустынь, был несказанно обрадован и считал дни, ожидая, когда настанет монастырский праздник.

И день такой настал. Вместе с Клавдей и молодухой Фросей он пешком добрался до села, а оттуда на просмоленном карбасе с попутчиками по Кубине до озера, а там вдоль берега до Кушты и в монастырь. Путь был недалёкий, с утра они ушли из дому, а вечером все трое уже стояли за вечерней и отбивали поклоны. Ночевали в просторной, переполненной богомольцами, гостинице. Клавдя проснулась до заутрени и, разыскав Никодима Осокина, удалилась с ним для душевспасительной беседы на берег Кушты и там ему отсчитала сотню рублей.

Волосатый старец, вместо благодарности, как бы в шутку попрозил ей пальцем и, сверкая масляными глазами, сказал:

— Да может ли быть сотня тютелька в тютельку? Ах, Клавдя, Клавдя, от людей скроешь, а от бога всё равно не спрячешь.

Краска смущения появилась на морщинистом лице богомолки. Беседа между ними не ладилась. Тогда, чтобы не обидеть Клавдю, Осокин предложил ей обойти вместе с ним вокруг монастыря, посмотреть на монастырские владения, полюбоваться на окружающую природу, благо до заутрени остаётся, судя по колокольному звону, ещё целый час. И они бок о бок пошли тропинками в полуверсте от ограды. Клавдя нялила по сторонам глаз. А Никодим ей пояснял:

— Это вот на двух десятинах малинник, а это—огород, капуста своя, картошечка и свёкла с морковью вырастут. Под огородами десятинок двадцать наберётся. А вон там, поодаль, на старых пепелищах, хороший хмельник развели, игумен у нас большой любитель браги...

— Хватает, стало быть, вам работушки, — проговорила Клавдя, — однако монахи не изнурены.

— А с чего нам изнуряться, — удивился Осокин и хвастливо показал Клавде холёные, с рыжеватой порослью руки: — Видишь, нелишка намозолил. Да и чего ради? На наш век работников хватит, да святой Александрюшка за всех трудится. Вот и нынче по обещанию за свои грехи записалось к ним на дармовые работы двести осмнадцать годовиков, да на летние месяцы побольше того записалось месячников. Наше дело — за ними присматривать, чтобы без работы не слонялись. Ну, мы не обижаемся, нечего бога гневить, работают, из ко-

жи лезут. Это вот всё ихних рук дело... Да мужички тут кубинские и куштские тоже на преподобного стараются. Мало ли им земель, пахотных и сенокосных, игумен в аренду отдаёт исполу—почитай, десятин не одна тыща наскребётся,—да приношений от православных сколько! Вот так и живём, Клавдеюшка, господу на радость и себе на удовольствие. Да ежели бы я знал о такой жизни, с малолетства бы в послушники ушёл!..

Они прошли ещё несколько шагов и повернули обратно.

Клавдя умильно поглядела на Осокина и, позавидовав его здоровью, проговорила:

— Мы ведь с тобой одногодки, обоим-то нынче за сто годов перевалило. Время-то как идёт!

— Да, быстро, Клавдеюшка, быстро, как вода весенняя, текут годы.

— Винцо-то попржнему любишь?—спросила Клавдя и, наклонившись, на ходу взяла с гряды горсть земли.

Земля была не в пример попихинской—рыхлая, серая, плодородная, она рассыпалась, как творог, на Клавдиной ладони.

Никодим усмехнулся:

— Винцо-то? А кто его не любит, Клавдя! Да вот из-за проклятой войны многие протрезвели. Скоро год, как хмельной росинки во рту не бывало...

Затренькали колокола на монастырской колокольне.

— К заутрене, — определил по звону Осокин.

— Мне пора в гостиницу, — спохватилась Клавдя,—у меня там двое своих, как бы не проспали.

— Не дадут проспать, разбудят, — успокоил её монах и прибавил шагу.—Мне тоже надобно помыться и причесаться. Сегодня у нас два архимандрита будут — из Лопотова один, другой из Усть-Кулома по случаю праздника приехали. Глянь, народу-то сколько со всех сторон подходит.

Тут Клавдя заметила, что по тропам и дорогам к монастырю отовсюду тянулись бесконечной вереницей богомольцы. В гостинице в это время было почти пусто: те, которые проспали дольше всех, торопливо умывались, одевались и выходили на обширный монастырский двор.

Терёша сидел на нарах, болтал ногами и ел густо насолённый кусок чёрного хлеба. Фрося держала в зубах полдюжины жестяных шпилек и расчёсывала волосы.

В открытые окна врывался свежий воздух и разноглаго-  
лый звон колоколов и колокольцов. От деревьев, стояв-  
ших высокой стеной под окнами, доносился сочный запах  
пипы и берёзы и смешивался с каким-то особенным, мо-  
настырским, затхлым запахом.

Клавдя набросилась на Терёшу:

— Ты что, безголовый, отродясь не едал, что ли?  
Да разве можно набивать брюхо до заутрени и обедни?  
Фроська, ты-то не видишь будто?..

— А мне и невдомёк,—проговорила та, освобождая  
свой рот от шпилек,—пусть, думаю, ест.

— Ах, ты, греховодник, греховодник! Умывался?

Терёша отрицательно покрутил головой.

— И богу не молился?

— Намолюсь ещё: обедня-то впереди.

— Ну-ка, иди, умойся, вот тебе рушник.

Терёша быстро сбежал в сени, поплескался и утёрся  
вышитым рукотёрником.

— А теперь давай помолись,—Клавдя показала  
пальцем в угол:—икон-то здесь, слава богу, не займо-  
вать.

Стесняясь, Терёша нехотя, с оглядкой, стал крестить-  
ся и, шевеля губами, делал вид, будто читает какую-то  
молитву.

Клавдя опять набросилась:

— Да разве так молятся!—И, подойдя к нему, на-  
чала его учить:—Не так, сорванец! Говори за мной: «Бо-  
городица, дево, радуйся, благодатная Мария...». Да,  
чертёнок проклятуший, греховодник безотецкий, крестись  
по-людски. Сначала рукой ткни в лоб, потом тычь в  
живот, с правого на левое плечо, вот так. Да не торо-  
пись, чего зачистил правой-то, будто мельница-шат-  
ровка в ветреную пору. Стыдобушка и глядеть на тебя:  
скоро с мужика ростом будешь, а крестишься, как пья-  
ный Колыто, прости меня, господи.

Как ни сдерживался Терёша, не мог стерпеть, хи-  
хикнул в кулак и, не дожидаясь Клавдиной оплеухи,  
выбежал из помещения. Клавдя, не переставая ворчать,  
вышла вслед за ним и, окрикнув его, велела ему от неё  
никуда не отходить ни на шаг. Терёша поплёлся за ней  
и Фросей.

Монастырь был переполнен. Впереди всех, перед са-  
мым алтарём, у серебряной гробницы, чинно рядами  
стояли в поддёвках и вышитых рубахах куштские бога-

теи и краснолицые, упитанные усть-кубинские торгаши, и тут же прилизанные конторщики с лесопильных заводов и приказчики с речных запаней. За ними распирала монастырские стены густая, пёстрая, разноликая толпа. Толпа заполнила все монастырские приделы, паперть и кончалась далеко за монастырскими воротами.

Фрося пробивалась нерасторопно и где-то затерялась.

Клавдю с Терёшей толпа притиснула к стене, покрытой сырой плесенью. И больно бы досталось Терёшиным бокам, если бы он не смекнул вскочить на подоконник. Отсюда ему было невозможно податься ни взад, ни вперёд, волей-неволей оставалось стоять, опираясь на железную решётку, и здесь ждать конца службы. Зато с широкого подоконника, на котором лежали старинные книги и железные вериги, ему было видно и слышно, как дородный архимандрит с чётками на руке, потный и сияющий, умильно взирает на раскрашенный потолок и тянет вполголоса:

— «Радуйся, угодниче Александре, на местах сих обитель воздвигнувший. Радуйся, заступниче и ходатае о нас, грешных...».

Три здоровенных монаха с металлическими кружками, медленно пробираясь в тесноте, собирали подаяние. Среди них Осокин.

После утренней службы до обедни — часовой перерыв. Богомольцы тянулись очередями к гробнице угодника. Подходили, доставали из-под гробницы песок для лечения больных зубов. Очередь дошла и до Терёши с Клавдией. Бережно, как драгоценность, Клавдя высыпала песок в карман, затерявшийся где-то в бесчисленных складках допотопного сарафана. Терёша тоже хотел насыпать пригоршню песку в карман своего пиджачонка, но карманы были дырявы, и песок высыпался под ноги.

Клавдя заметила это, зашипела:

— Что ты наделал, греховодник?!—и больно ткнула его сухим кулаком в спину.

— Ну, не толкайся, подумаешь, какая! Для чего мне песок, а понадобится—так у нас в Лебзовке хоть возами вози. Кабы сахарный он...

Со стороны кто-то спросил Клавдю:

— Твой это?

— Племянник, сирота круглый.

— Сразу видно—нехристь будет. Молоко на губах не высохло, а уже в чудеса не верит. Вот и родись тут хлеб в оглоблю, а картошка в колесо!

— Слышь, остолоп, про тебя бают,—Клавдя дёрнула Терёшу за рукав так, что у него подмышкой треснула рубашонка.—Пойдём-ка давай на усторонье, посидим до обедни, да глянь: не увидишь ли Фроську?

Они вышли через боковые, настезь распахнутые двери и сели на лужайке под тополями. Степенно, не производя большого шума, сидели на широком монастырском дворе богомольцы. Они тихо разговаривали кто о чём мог: о болезнях разных, об исцелении, о пользе дождя, о монастырских кельях, о клопах, которых господь нарочно придумал для монастырей, чтоб монахи не жирели. Говорили об убитых и раненых на войне, об оскудении веры в народе. А когда знакомство заходило дальше и глубже, начинали откровенничать—кто с какой докукой пришёл к преподобному поклониться и о чём просить его, ходатая божья.

Надоело Терёше слушать бабью болтовню, и решил он незаметно исчезнуть из-под надзора Клавди. А тут скоро и обедня началась. Народ снова туго набился в монастырский храм. Клавдя встала у самого притвора на виду у всех входящих и выходящих. Ни Терёшки, ни Фроси поблизости она не заметила. Фрося ещё во время заутрени купила нарочно двухрублёвую толстую свечку и, поставив её перед иконой какого-то святого, загадала: если свеча догорит до самого конца или, не догоревши, погаснет—значит мужу быть убитому на войне. Если же свечки хватит на всю обедню, да сама она не потухнет,—значит никакой беды не приключится. К счастью Фроси, свеча была из сорта дорогих, хорошего воска, и таяла медленно.

Забыв, наконец, о своих домочадцах, Клавдя задумалась о себе. Она крестилась, отвешивая поясные поклоны, и вспоминала полувековую девичью жизнь. Вспомнила, как в далёком детстве она вскочила на пяточки саней к проезжему мужику и тот спяна жнутым выхлестнул ей глаз. Выросла—кривую, некрасивую девушку, как по уговору, обошли женихи. Зато в доме у брата Михайлы она никогда не была лишней. Работала до упаду, вынянчила Еньку, двух дочерей вдовца Михайлы, с Терёшкой нянчилась и вот теперь привезла его в монастырь.

Однако где же он, чертёнок? Может, бегаёт по закоулкам? Может, безобразит, шельмец?..

Между тем, скрывшись от тётки, Терёша выбрался за монастырскую ограду и побежал на берег Кушты любоваться на окрестности. Половодье у озера подпёрло реку. Вода вышла из берегов, залила прибрежный кустарник и какие-то монастырские строения. В затопленном позеленевшем ивняке плескались крупные щуки, весело полоскались дворовые гуси, и, будто бранясь между собой, крикали утки.

День был тёплый, солнечный, а незнакомая местность вокруг столь привлекательна, что Терёше никак не хотелось итти молиться. Да и молиться-то ему было не о чем.

«Пусть стараются Клавдя с Фросей, а мне-то что? Всё равно, чего бы я и хотел, у бога не вымолишь. Лучше поброжу вокруг да около»,—подумал он и пошёл вдоль берега, мимо множества лодок и карбасов, стоявших на прицепе, мимо развешанных сетей, пахнувших рыбой...

После обеда, обеспокоенная отсутствием племянника и Фроси, Клавдя бросилась их искать. С Фросей она скоро встретилась, а Терёша будто провалился сквозь землю. Спасибо, выручил бородатый лахмокурский рыбак. Заметив взволнованную Клавдю, он ей крикнул:

— Ты чего? Не парня ли своего ищешь?

— Его самого. Не видал ли, где его пёс носит?

— Так бы и говорила, а то бегаешь зря. Ступай, он у меня в карбасе спит. Припекло парня...

## XXV

Поездка на Кушту в монастырь не принесла особенных радостей в семью Чеботарёвых. Наоборот, даже, невесть почему, письма от Еньки совсем перестали поступать, и, кроме того, перед страдной летней порой Михайлу постигло несчастье: скатывал он на задворках брёвна в кучу, переломился аншпуг, и тяжёлое восьми-вершковое бревно свалилось и придавило ему ногу. По хозяйству работать с больной ногой он не мог, но сидеть за верстаком и сапожничать был в силах. Пришлось порядить на лето работницу и уговаривать невестку Фросю, поскольку она после Еньки осталась не

беременна, чтобы потрудилась, не жалея ни рук, ни хребта. Терёша стал подростком, и его теперь заставляли делать всё, что под силу взрослому. На четырнадцатом году он мог уже косить горбушей не однорушником, а прокосом, размахивая косой направо-налево, косить, не разгибая спины до тех пор, пока не притупится коса и не понадобится поправить её лопаточкой. В косьбе и в уборке сена он, в одних портчонках и рубахе без пояса, казался ловок и неутомим. Когда его видел таким подвижным на работе Алексей Турка, то каждый раз тёрся и не знал, то ли хвалить Терёшу за бойкость, то ли ругать, зачем он с детства тратит свою силу на скрягу Михайлу, от которого добра ждать нечего. К вечеру Терёша уставал, кое-как добирался до соломенной постели и засыпал в ту же минуту, едва успев укрыться холщёвым пологом от мух и комаров. Он уставал, но рос здоровым, широким в плечах и крепким на руку.

Иногда для забавы на сенокосе мужики подзадоривали ребят бороться и весело наблюдали за их вознёй. Терёша плевал себе на ладони, стискивал ровные, широкие зубы и по-медвежьи, в обхватку, боролся, не уступая ни одному из своих сверстников...

Осенью, когда весь урожай был собран в скирды около гуменника, ночи стали темней и холодней. Вместе с опекуном Терёша ходил сушить снопы в овине. Сушили хворостом и смолистыми пнями. В подовине было тепло, уютно и приятно пахло житом и печёной картошкой. Дым от огня в приземистой и длинной печи послушно тянулся под колосники, проникал в продухи и выходил, расстилаясь за деревней в низине.

Вот они вдвоём в подовине: Терёша, облокотясь на пучок соломы, дремлет, а Михайла, подкидывая в печь прутья, начинает очередную сказку:

— Жил был царь Картаус, по прозванию «Сивый ус». У его была дочь, ни в сказке сказать, ни пером описать... Э, да ты, кажется, спишь? Ну, дрыхни, завтра овин измолотите да с Фроськой на мельницу отправлю, поможешь там ей...

— На мельницу, на ветрянку, к Паше Королёву?— очнувшись, спрашивает Терёша и протирает глаза.

— Нет, придётся на водяную, к Тоболкину, у Королёва дюже завозно, да и ветров нет. На водяную подалее, зато там черёд небольшой, скоро смелете.

— На водяную давно мне хочется,—зевая, говорит Терёша и снова сладко дремлет.

Потом слышится его храпение, а Михайла, подбросив хворосту на огонь, осторожно, чтобы не повредить себе больную ногу, поднимается по лесенке и где-то вверху, просунув руку в отверстие, щупает снопы под колосниками.

На другой день после молотьбы, наевшись картофельных роголек и горячих капустников, Терёша с Фросей поехали на мельницу. Воз лёгкий, десять вёрст до мельницы они трусили рысцей. Показалась старая, забелённая мучной пылью водяная мельница. Она стояла на речке Кихти. Около мельницы на взгорье новый, под железной крышей дом мельника Тоболкина. Терёше здесь ни разу не приходилось бывать, и потому он с большим желанием и любопытством ехал сюда. Ему очень хотелось видеть и знать, каким способом вода крутит тяжёлые жернова. И вообще водяная мельница в его представлении казалась более интересной, нежели ничем не примечательный Куштский монастырь.

Ещё не доезжая с версту до мельницы, он услышал шум падающей с плотины воды, и сердце его забилося нетерпеливо. Шутка ли, он может потом рассказать ребятам в Попихе, как он управлялся с мешками на мельнице, а ведь такое дело посильно только взрослым. Рыжий мерин, заслышав шум, с непривычки насторожил уши и, озираясь по сторонам, пошёл тише. Фрося дёрнула вожжи, а Терёша, присвистнув, махнул кнутом:

— Но-но, чертяка необразованный, не видишь — мельница, чего испугался!..

Рыжко понял и снова затрусил рысцей.

Подъехали. Вокруг мельницы стояли десятки подвод, ожидавших своей очереди.

— Н-у-у-у! Тут нам, Терёшка, придётся ждать и ждать,—сказала Фрося и свернула к длинной коновязи, где земля была притоптана, унавожена конским помётом и загорошена сеном и овсяными зёрнами.

— Ты постереги тут, а я сбегаяю к мельнику, разумею,—проговорила Фрося и, спрыгнув с телеги, пошла на пригорок, прямо в дом к Тоболкину.

Какой-то мужик, завязывая верёвкой воз, глядя ей вслед, проронил:

— Бывалая бабёнка, знает, что не с работника, а с хозяина надо начинать. Так-то скорей дело выйдет...

Мельника Тоболкина, несмотря на его солидный возраст, — ему было полсотни, — звали в народе просто Митькой, потому что был он не из богатого рода, а разбогател за какие-нибудь последние пятнадцать лет. Мельница на Кихти ранее принадлежала Куштскому монастырю. Тоболкин сначала работал на ней поверенным от архимандрита, затем договорился с монастырским экономом, нажился и скоро стал арендатором мельницы. За три года аренды он скопил порядочную сумму денег, запустил мельницу, сгноил плотину, через того же эконома купил полуразрушенное хозяйство у монастыря за бесценок и вместе с мельницей приобрёл участок земли около тридцати десятин. Не прошло и года, как на месте старой выросла новая, на четыре постава, мельница, а на угорье — крепкий дом под крашеным железом.

Мужики из соседних деревень ахали от удивления, разводили руками и называли между собой Тоболкина подлецом...

Фрося вошла в дом и на кухне у плотной, краснощёкой девахи-работницы спросила, где хозяин.

Митя-мельник, услышав незнакомый бабий голос на кухне, вышел из передней комнаты и, оглядев Фросю с ног до головы, спросил:

— С молотьем?

— Да и всего-то пудиков двадцать, — ответила Фрося, покраснев от пристального взгляда мельника.

— Пустяки, — сказал он. — А чего сам мужик не ехал на мельницу, долго ведь ждать придётся?

— Да сам-то ведь в солдатах, а свёкор ногу придавил бревном, меня с парнишкой и послал.

— Так, так, — и, щурясь на Фросю, он почесал подбородок, подмигнув ей. — Так что ж, ночью воды прибует, пуцу на все четыре постава, может, как-нибудь солдатке и смелю в ночь, без очереди.

— Уважь, будь добрым.

— Пойдём покажу, где сваливать мешки, а парнишку с лошадьёю домой отошли, — чего ему тут околачиваться: ночи теперь холодные, тёмные, случись что, я за лошадьёю не ответчик.

— Знамо дело, — согласилась Фрося и вышла вместе с мельником.

Тот в коридоре неосторожно хватанул её за бок и, оскалив крепкие зубы, заулыбался:

— Ишь ты, гладёна, без мужика-то отгулялась!

Фрося отвела Митькину могучую руку и, посмотрев ему в заплывшие глаза, вздохнула:

— На работе да в заботе не больно отгуляешься, кажинный день не знаешь, как до постели добратся.

— А свёкор-то, небось, рад, что сноха такая гладёна?

— Ну, свёкор! Он стар уж...

Мельнику показалось, что солдатка покладистая, и он, охочий до бабьей простоты, решил, что сегодня ночью добьётся, чего ему захочется.

С помощью работника, которого заставил мельник, и Терёши Фрося сложила мешки с зерном на верхний помост, поблизости от ковша, куда засыпают зерно.

Терёшу привлекал мельничный шум, тянуло обойти все уголки и осмотреть плотину, лотки, по которым стекает вода, двигавшая шестерни и тяжёлые жернова. Оставив у телеги Фросю, он побежал на плотину, осторожно прошёлся по дощатому настилу, посмотрел сверху на падающий поток воды, на кипение пены, на брызги, рассыпающиеся от огромных наружных мельничных колёс, и ему подумалось, что здесь он с удовольствием пробыл бы хоть целую неделю. Терёша вышел на другой берег Кихти, спустился вниз, к омуту, где на чёрной водной поверхности, кружась, плавали белые хлопья пены, и, присмотревшись, крикнул от удивления:

— Батюшки! Рыбы-то тут сколько кишит!..

Слышал он от стариков в деревне поговорку: «На шум и рыба идёт», убедился же в этом только сегодня. Когда ему приходилось с лахмокурскими рыбаками бывать на ловле, то он отлично знал, что малейшим шумом рыбу можно вспугнуть, а тут мельница гремит всеми поставами, вода льётся и шумит с неумолчным однообразием, а рыба косяками и на глубине и на мелком месте кружится, точно зачарованная.

«Неводком ловить тут невозможно—глубоко, и берег коряжистый, — на удочку или садком и шуки и окуня тут не оберёшься», — подумал Терёша и удивился: почему же никто не приходит сюда ловить?

Конечно, не от кого ему было знать, что мельник никого и близко не пускает сюда ни с вершами, ни с удочками. В этом месте почти на версту вокруг мельницы вода—и рыба, и земля, и кусты ивовые, и второй укос клевера—всё собственное тоболкинское.

Терёша обратно вышел по плотине к мельнице, намереваясь заглянуть туда внутрь, но был остановлен выкупанным в мучной пыли дюжим работником:

— Ты куда, малец?!

— Посмотреть.

— Твоё будут молоть — насмотришься, небось учёный, видишь, что написано.

Взглянув на воротницу, Терёша увидел слова, намалёванные не то дёгтем, не то колёсной мазью: «Захот на мельницу без делов всякому оспрешшаеца». Засмеялся и снова прочёл; подсчитав ошибки, спросил работника:

— Это ты, дяденька, сочинил?

— Нет, мы неучёные, это сам хозяин.

— Вот так хозяин! Такой богач, а корову через ять пишет.

— Ишь ты прыткой, выше горшка на два вершка, а тоже судить лезешь. Не от первого слышу. Нашему хозяину в молодости было не до ученья, а сейчас тем более некогда.

Перед самой ночью Терёша пришёл в курилку. Это была небольшая избушка в кустарнике, неподалёку от мельницы, предусмотрительно построенная для приезжих помольщиков, которые и проводили тут время в ожидании своей очереди. Сейчас здесь было полно людей. Многие храпели на лавках. Терёша тоже вскоре уснул. Среди ночи его разбудил чей-то громкий смех. На чурбаках вокруг железной печки и просто на полу несколько мужиков и парней сидело и при свете копилки слушало забавный рассказ тоболкинского работника. Терёша потихоньку сел поближе к печке, его никто не заметил. Кто-то из мужиков, дымя махоркой, понукал рассказчика:

— Ну, и что же дальше?

— А дальше, как только он захотел её обнять, она ему и говорит: «Чего ж ты ко мне суёшься! Неси ты леший к своей бабе...». Тогда Митька-мельник и говорит: «Нет, гладёна, не уйдёшь, я на тебя весь день нацеливаюсь». А она ему: «Ах, так!» — да как схватит жестяной совок, да ка-ак звезданёт ему по роже, — из-промеж глаз кровь у Митьки брызнула. А я притворился, будто сплю и ничего не вижу, ничего не слышу, лежу себе на мешках с рожью да всхрапываю, а сам вполглаза примечаю, что дальше будет. Вижу, Митька

разгорячился и снова подступает к ней ретиво. А она совком машет: «Не подходи,—говорит,—дьявол, заволлю!». Тут слышу я, что второе от окна жерново вхолостую скыркает, надо зерно засыпать,—я и закашлял... Ну, эта бабёнка вниз сразу шмыгнула, а я стал своё дело делать. Митька-хозяин наклонился головой в ящик над поставом и ворчит себе: «Вот так раз, вот так раз!», а потом спрашивает меня: «Ты видел?»—«Видел,—говорю.—Кто она, чья такая супротивная?»—«Из Попихи, Мишки Чеботарёва сноха...».

Рассказчик умолк, потянулся к печке, достал уголёк и закурил.

— Вот молодец бабёнка, вот молодец!

— Так его, подлеца, и надо!— слышались оживлённые голоса.— Люди на войне кровь проливают, а он к чужим бабам норовит. Зря она его не топором...

Кто-то из темноты, полулёжа на полу, смеялся и продолжал рассказ работника:

— Наутро спросит его своя жёнка: «Митенька, где ты так морду себе покаябал?». А он ей: «Молчи, баба, — в потёмках на гвоздь напоролся».

Терёша, выслушав всё, что говорили о Фросе, задремал, а когда начался разговор о войне, он заснул и увидел во сне Еньку с эполетами, шапка с кистью, сабля в руке, пика в другой. Митька-мельник стоит перед ним на коленях и пощады просит: «Не губи! Я ведь поиграл только...».

Наутро Фрося зашла в курилку, растолкала Терёшу, они погрузили в телегу мешки и поехали. Утомлённая за ночь бессонницей, Фрося сидела на мешках и дремотно кивала головой. Терёша глядел на неё с лукавой хитрецей и застенчиво улыбался.

## XXVI

Зимой в начале шестнадцатого года в Попиху приехал с фронта легко раненый бывший пастух Копыто. В деревне он не был всего года полтора, а изменился настолько, что не имел никакого сходства с прежним Копытом. Он был гладко побрит, чисто одет—в новое солдатское обмундирование, обут в крепкие, с железными подковками сапоги с пряжками на голенищах. Потерял он на фронте всего один палец на левой руке, месяц пролежал в лазарете и так отъелся, что на его

лице не осталось ни одной морщины, ни одной складки, и таким добряком явился в Попиху. Его даже стали называть по имени — Николаем, чего никогда не случалось раньше. Все почувствовали, что если звать раненого война Копытом, то, пожалуй, он будет вправе обидеться. К тому же он имел георгиевский крест четвёртой степени — в деревне это что-нибудь да значило. Алексей Турка в день приезда разговаривал с ним на «вы». Раз Турка с уважением к нему — значит Копыто перестал быть Копытом. Да и сам он по этому поводу сказал, как бы в шутку, что теперь-то ему с «егорьевским крестом не хаживать за коровьим хвостом!..». И в это все поверили.

Однажды вечером Николай Копыто пришёл к Михайле Чеботарёву вместе с Туркой, а за ними и другие мужики — Менуховы братья, Сухарь, Федя Косарёв, набрались в избу ребятишки, бабы, даже слепой дряхлый Пимен — и тот ощупью по снежной тропинке вдоль всей улицы приплёлся на беседу. Мужики спрашивали Николая о многом, а он отвечал толково и смело, как мог.

— Скажи, Николаюшко, а крестик-то тебе за какие заслуги дали? — интересовались соседи.

Копыто поправил на своей груди «георгия».

— Заслужил, стало быть, — горделиво отвечал он. — Сказать по правде — дело пустяшное. Бой был под Гродной. Немец кроет, а мы бежим. Вижу — прапор наш растянулся, башка в крови, ни встать, ни идти не может. Думаю, у человека мать дома, жёнка молодая, маленькие дети. Я к нему подскочил, хватя его за ремень и через плечо перекинул, версту на себе тащил, и на мне ранец, лопата, винтовка, шинель вскатку. А он такой лёгонький, ей-богу, Терёшка его тяжелей будет, дрыгает у меня на плече да стонет. Стал подбегать к окопу, чтобы залечь, тут меня по пальцу пуля резанула. Я бы и не почувял сразу-то, но эта же пуля ложу у ружья расщепала; гляжу: мать честная, — кругом я не вояка. Лежу в лазарете, вдруг приносят приказ: такого-то полка, такой-то роты рядовой Копытин Николай награждается за проявленную геройскую храбрость егорьем четвёртой степени...

Копыто расстегнул ворот гимнастерки, ему казало — не вмоготу жарко натоплено, и, закинув ногу на ногу, не зная, о чем больше говорить, спрашивал:

— Какие ещё вас диковины интересуют? Мы люди не заносливые, про всё скажем.

Турка насмешливо и не без умысла тогда спросил его:

— Раньше, бывало, ты в карты играл и крест под пятку клал, чтобы с выигрышем остаться, — не пробовал этот крест подкладывать, никак он должен больше помогать?

— Мало ли что было раньше, — серьёзно отвечал Копыто. — На службе, братец мой, лишнюю дурь, небось, и из тебя бы вытрясли. Опять же этот крест мне через кровь достался и под пятой ему не место.

— Ишь ты какой, — мотнул головой Алексей, — молодец, дорожишь честью.

— Николаша, а как по-твоему, царь в окопах бывает — вот тут была такая картинка в газетине?

— Это реклама! — бойко и кратко отрезал Копыто.

— А что такое реклама?

— Реклама? Дело явственное, — пояснил Копыто, — вот скажем, в Петрограде идёшь ты мимо торгового заведения или трактира, посмотришь — в окне за стеклом колбаса, раки, булки — и всё фальшивое; внутрь зайдёшь — и там ни шиша. Так и тут в газете видимость одна. Да и много ли царей-то! Один да и тот худенький, станет ли он по окопам лазать, пуля не разберёт, чей лоб ей подвернулся. Полковник тебе — и тот в окоп не полезет, а офицеришки в землянках прячутся да коньяки распивают.

Мужики заговорили, кто что горазд был сказать:

— Вот потому-то у наших и нелады.

— А немец-то прёт и прёт.

— Хоть бы сюда не добрался.

— Здесь-то в холодах, да в снегах много не навоюет.

— Николаша, верно ли, что немцы в манишках и в щиблетах в бой идут и к стуже не привыкли?..

— А чорт их знает, на морозе с ними бывать не приходилось. И опять же какие немцы: если из зимогоров, те, ясно, ни стужи, ни нужи не боятся. Так те и воевать не падки. Попадёт такой в плен и кричит по-своему: «Эй, русский камрад, я войне не рад...». А мы то рады, что ли?..

Сидели мужики в тот вечер долго. Михайла напоследок стал жалеть керосин, погасил лампу и зажёл бе-

рёзовую лучину. В избе стало дымно и жарко. С лавок мужики пересели на голый, холодный пол. Турка вытащил из-за голенища валенка несколько измятых газет.

Терёшу заставили читать. Часто мигая утомлёнными глазами, он читал им о том, что где-то за Львовом пал Перемышль, захвачено в плен свыше ста тысяч австрийцев, а на германском фронте наши войска продолжают отступать.

— Чем только всё это кончится?

— Сколько народу погубят, видимо-невидимо.

— Сошлись бы наш царь с германским царём, побарахтались — и делу конец. А люди-то при чём? Наши не знают ихних, ихние — наших, — и за что, чего ради дерутся?

— В газетах этого не пишут, за что. А я так ма-ракую, — заговорил Турка: — людей наплодилось много, а наживы у богачей стало маловато, — вот и решили войну затеять.

Снова разгорались суждения о войне, Терёша откладывал газету, подбирал длинную, ровно нащепанную лучину и совал в щели железного светца. Лучина горела, чуть-чуть дымя, и каждый раз, догорая, изогнутой серой лентой падала в стоявшее на полу корыто, наполненное водой.

Вася Сухарь, молча слушавший разговоры соседей, улучив минуту общего молчания, начал откашливаться, и все поняли, что он хочет сказать что-то путное, по тому, как он терпеливо слушал и в разговор не вмешивался.

Все повернулись в его сторону.

А Турка, предугадывая, что может сказать Сухарь, заметил:

— Ну-ка, Вася, что твоя библия говорит насчёт войны?

— А ты не смейся, не кощунствуй, сам грамоте не учён и по дурасти ни креста, ни песта не признаёшь.

— Запел опять! Говори о деле, — оборвал его Алексей.

— А придёт суд страшный и в один час всех рассудит, — вот что сказано Иваном-богословом. Сколько славились и роскошествовали цари и люди земные, столько воздастся им огорчений и горестей великих. Будет голод, смерть и плач и скрежет зубовный, и

земля сторит огнём, ибо силён господь, судящий всех, и восплачут и возрыдают цари земные, блудники и роскошники, праведники же возвеселятся...

— Всё это чепуха на постном масле, — перебил Сухаря Николай. — Побыл бы в окопах — и ты бы разуверился. Всякие у нас были, и вроде тебя такие, и с иконками, и с молитвенниками. Начнёт немец из пушек бахать, а они прижмутся друг к дружке и станут такое, как ты сейчас, молоть. А в это время снаряд бах! И нет ваших; куда куски, куда милостинки. Или такое дело: в газетах пропечатали рекламу про видение богородицы в Августовских лесах. А у нас говорят, что это по науке лучами осветили, чтоб туману в глаза напустить. Деритесь, мол, солдаты, на тот свет богородица вас приберёт.

— Вот так ка-ва-лер! Ха-ха-ха! — весело загоготал Турка. — Вот так опора царя-батюшки! Молодец, Николай!..

— Чего ты зубы скалишь? — недовольный Сухарь поёжился, озноб пробежал у него под дублёным полушубком. — Плакать надо, коли такое солдаты говорят.

Все приумолкли. Было слышно, как потрескивала лучина и как за заборкой на кровати храпела Фрося — прозябшая и усталая обряжуха. Из-под полатей донёсся тяжёлый вздох сидевшего позади всех слепого Пимена:

— Ох, и времена настают, ох, и дожил я! Дайте и я скажу слово...

Пимен привстал на колени — показалось неловко, — присел на запятки стоптанных валенок и начал свою незамысловатую речь:

— Кажись, мужики, старее меня по всей волости никого не найдёте. При внуке матушки Катерины, при Олександре первом, рождён, в одна тысяча восемьсот, не то в восемнадцатом, не то в шестнадцатом, в этих которых-то годах. Жил при Миколае первом; в севастьяпольскую кампанию на Малаховом кургане тоже хлебнул из чаши страдания. Мы били, и нас били. При Олександре втором, тово году, когда барина Межакова в Никольском мужик из кремнёвого ружья хлопнул наповал, я по чистой домой вернулся.

— Мне в ту пору было годов восемь, чуть-чуть помню, — вставил Михайла.

— Ну вот, и ты помнишь, а я и подавно. Потом этово царя в Питере, слышим, бомбой разорвало, — продолжал вспоминать Пимен, — и сел на престол отец нынешнего царя. При нём я слепнуть начал, а по патрентам помню — матёрой такой, краснорожий государище. При нём войны не было, а мало что-то посидел он на царстве, скоро скопытился. А теперь вот Миколай второй, нету ему счастья. Ялошка бил, немец бьёт. Кажись, ребята, переживу я и пятого царя; худо что-то воюет. Изменщиков, не иначе, подле себя насадил. Я не Сухарь, не предсказатель какой, иначе понимаю дело так: если царь провоевался, то ему каюк. Библиям я не верю, — закончил Пимен, — этим вракам тысяча годов с гаком, а никогда и ничего по библии не сбывается, а всё идёт своим чередом.

Сухарь подскочил на месте, фыркнул и, показывая пальцем на Пимена, грубо сказал:

— Вот от чего люди слепнут! От своего неверия слепнут...

Пимен ему на это спокойно ответил:

— Я и слепой и на том свете меня с фонарями ищут, а всё-таки, Сухарь, мне ещё придётся за твоим гробом итти! Переживу...

Тут все одобрительно засмеялись, а Вася Сухарь спорить со стариком не стал.

... За полночь разошлись мужики по своим избам. Николай Копыто раскинул на лавке шинель и, не разуваясь, лёг. Спал он как гость дольше всех. Фрося носилась по избе с ведрами, стараясь не стучать, чтобы не разбудить солдата, проливавшего кровь на войне. Ей очень хотелось видеть вот таким героем, с крестиком, своего Еньку. То-то было бы тогда весело и радостно у неё на душе!.. Но где он? Не случилось ли чего с ним? Последнее письмо было от него полгода тому назад; писал, что отправляют на Карпаты, и с той поры ни слова. Клавдя копошилась в кутке около печи, месила в квашне тесто. Она надумала сегодня накормить Николая яшниками с творогом и сметаной. Кто его бездомного и безродного накормит?.. А Копыто спал и во сне чему-то улыбался. Шинель с него съехала на пол, и никто не догадается поднять её и накинуть на спящего гостя. Михайла, по обыкновению, сидел в углу под образами. Ему бы надо гвоздями прибивать у сапог по-

дошвы, но, чтобы не тревожить гостя, нашёл себе другое, более тихое дело — сучил дратву и вырезал из берёсты задники.

Терёша ранним утром по насту был послан в соседнюю деревушку Копылово, где крюковщики-посадчики изготовляли для Михайлы кожаные вытяжки. Домой он, подоспел к горячим пирогам, к морковному чаю. Копыто сидел за столом посредине, а не как прежде, не прятался за самовар, и пил чай, держа блюдце на растопыренных пальцах. Во время чаепития Терёша поглядывал на Николая с затаённой усмешкой, ёрзал на месте и, казалось, хотел что-то ему поведать, но стеснялся. Копыто заметил это:

— Ты чего, Терёшка, вертишься, будто у тебя мышонки под рубахой?

— Знал бы ты! — мигнул Терёша. — У меня тебе что-то есть.

— Вот ещё оказия! А что?

— Писулька. Зародовские девахи тебе сегодня попутно со мной прислали пригласилку, просят прийти к ним на вечерку.

— Во как! Ну-ка, где?

Терёша достал из кармана записочку, свёрнутую пакетиком.

— Читай, — сказал Копыто, — грамоте я пока не обучился.

В записке было написано:

*«Кавалеру Николаю Копытину»*

Мы вас, Коля, приглашаем к нам-то на вечерочку, если только пожелаешь — найдёшь ухажорочку. Вечорка будет в доме вдовы Копниной Анны 17 февраля 1916 года. Не теряйте моменту. Не занеситесь гордо, приглашают вас зародовские барошни».

Копыто расплылся в улыбке.

Михайла фыркнул и расплескал чай из блюдца. Поставив блюдечко на стол, спросил:

— Тебе, Николашка, который год на четвёртый-то десяток?

— Пятый.

— Бедные девки, до чего отошдали! Ребят-то всех на войну угнали, остались вот одни сосунки, вроде Терёшки, да женатики, которым за сорок,

Николай спрятал писульку и, краснея, сказал:

— Схожу. Турке только не говорите; на всю деревню просмеёт.

— А ты бы подыскал девку либо вдову да вышел в приёмышы, — посоветовала Фрося, — теперь это легко.

— Отвоевать сначала надобно, а потом уж и шею в хомут.

— И то дело.

— Плясать-то умеешь? На вечерке ведь толпнуть придётся, — смеясь, сказал Терёша, — девахи без пляски жить не могут.

— Сроду не плясывал.

— Поучись, не мудрено ведь, — посоветовала Фрося, — видал, знаешь, как пляшут: девка за парнем, парень за девкой, да вокруг её потопчется, а потом обязательно — мода теперь такая — ручку девушке пожать и сказать должно: «Благодарим покорно». И назвать её по имени по отчеству.

За чаем был такой разговор, а в сумерки Копыто помогал Терёше носить корм из сарая. Ходили с плетёным кузовом, чередуясь. Однажды Копыто долго задержался, а Терёша не стал его дожидаться, пришёл в сеновал и подглядел такую картину: скинув с себя шинель, солдат отчаянно плясал вокруг пестеря, топал так по гнилому настилу, что из-под каблуков летели ошмётки. Еле удерживаясь от хохота, Терёша решил ему не мешать, пока он не напляшется. Николай вытер папахой выступивший на лбу обильный пот, отошёл от кузова на сажень, упёрся руками в бока и стал, приседая, дробить и насвистывать. Обошёл три раза вокруг мнимой сударушки, потряс рукой верёвку, привязанную к кузову, и, задыхаясь, проговорил с нежностью в голосе:

— Благодарю покорно, Марья Ивановна!..

Тут Терёша не вытерпел и, давясь от смеха, вбежал в сеновал..

Репетиция не пропала даром. Николай был на вечеринке и пользовался там вниманием со стороны девушек и так плясал, как дай бог всякому.

Быстро проскочил месяц отпуска. Георгиевский кавалер — неизвестно, надолго ли — покидал Попиху. Михайла дал ему до станции Морженги подводу и в провожатые Терёшу. Для Терёши это было вдвойне приятно: во-первых, он увидит сегодня железную дорогу и самый настоящий паровоз; во-вторых, ему приятно и то,

что бывший пастух уважен, как самый настоящий человек, не пешком шлёпает тридцать вёрст до станции, а в нарядном выездном возке едет. Недаром, как только переехали Лебзовку, Терёша прыгнул с передней беседки саней и, порывшись в сене под ногами у Копыта, достал свадебный медный колокольчик валдайской работы и крепко привязал его к дуге.

— Это я его украдкой спрятал в сено,—признался он Николаю, — пусть встречные думают, что земского начальника везут.

— Ай, и молодчага ты, Терёшка! Бойким растёшь! Жаль, жаль, что ни отца, ни матери, ни дому, ни лому, — ничего у тебя нет, — восхитился и пожалел Копыто. — Очень напрасно тогда твоего отца насмерть побили, жаль...

Колокольчик брякнул, разлился голосистым звоном. Терёша ту же натянул вожжи, и мерин пошёл быстрее. В передок саней летели из-под копыт снежные натоптыши. Без скрипа, легко скользили по гладкой, укатанной дороге шинёные полозья саней. Николаха закрыл ноги подстилкой, сидел, как барин. Изредка он просовывал за борт шинели руку и щупал, тут ли крестик.

## XXVІІ

Однажды, вскоре после отъезда Николая Копыта, к Михайле в избу вваливается уставший в дальней дороге отхожий сапожник и зимогор Афоня Додон. Одет он прилично — в дублёную романовку с разноцветной строчкой по борту, на ногах валенки с галошами, сбоку сумка кожаная с сапожным инструментом.

— Угу! Явленные мощи из осинової рощи! — Михайла смотрит с удивлением на необыкновенно нарядного Додона. — Вот ведь война что делает: всех зимогоров в люди вывела, приделись, что те купцы хорошие. Садись, рассказывай, какими судьбами, отколе к нам пожаловал?

— Из Томаши, за одни сутки полста вёрст отшагал, — отвечает Афоня Додон и, усталый, опускается на лавку. — Прослышал я там случаем, что Копыто здесь объявился: дай, думаю, взгляну на приятеля.

— Эге, опоздал, опоздал! Копыто теперь к позициям наверно подъезжает.

— Как? Уехал?! — Додон ударяет себя ладонью по лбу. — А я-то, дурак, с работы снялся, ай, ай,.. Жаль, жаль! Хотелось посмотреть, поговорить. Поди-ка попржнему врёт и не краснеет? — спрашивает Додон.

— Всяко бывает, пожалуй, наговорит — семь вёрст до небес и всё лес, а пойдёшь и дороги не найдёшь. Однако все его тут слушали да на ус мотали, — много чего он нагляделся. А ты почему не в солдатах?

— Годы не дошли, — шутит Додон, — лысина на голове пробивается, а живу попржнему без всяких видов на жительство. Сегодня здесь, завтра там, — кто и где мне лоб брить будет? Знаешь, как в песне поётся: есть у птицы гнездо, у волчицы — дети, у Додона — ничего, он один на свете... Меня никто в солдаты не зовёт, а мне совесть не позволяет на убой напрашиваться, авось без меня обойдутся.

— Отчаянная головушка, — говорит Михайла и пытливо смотрит на Афоньку, на его обветренное, мускулистое лицо с хитрыми глазами. — Так чем же ты живёшь? Лёгким промыслом или сапожным ремеслом занимаешься?

— Живу — не маюсь, воровством не занимаюсь, — скороговоркой отвечает Додон, ничуть не обижаясь на то, что Михайла, спрашивая его, под «лёгким промыслом» именно подразумевает воровство. — С лёгкой руки твоего покойного брата из меня выкроился неплохой сапожник. Хожу по разным волостям, где есть кожа — шью сапоги, где нет кожи — берусь из тряпок туфельки девкам шить, а из старого бобрика или драпа я такие боты делаю, что тебе и во сне не приснятся.

— Так вот почему ты такой баской да нарядный! — догадывается Михайла и предлагает Додону раздеться и остаться ночевать.

Афоня остаётся на ночлег. Вечером он присматривается к Михайловой работе и усмехается: Михайла шьёт тихо и неказисто. Терёшина работа Додону нравится, но Терёша пока умеет только строчить задники и тачать швы на голенищах. Михайла нарочно не обучает его ничему больше и не даёт самостоятельного шитья: как бы Терёша не обучился и не ушёл от него к другому хозяину в погоне за заработком.

— Сколько же ты Терёшке за тачку и строчку платишь?

— Смешно довольно! За что тут платить,—отвечает Михайла, — условие такое было: взял я его под опеку шестилетним, прибавь шесть лет опеки — стало двенадцать, да за опеку он должен отрабатывать шесть лет. И выходит—когда ему исполнится восемнадцать, тогда только он будет у меня на жалованье.

— Охо-хо! Ну и дядька! Ну и скряга!—возмущается Додон.—Это тебе не стыдно. Михайло, родного племяша так грабить?

— Ну, ты не поджучивай! Я по закону, по приговору общества, — сам, наверное, помнишь, как дело было?

— Откуда мне обо всём помнить?

Терёша, потупив глаза, ковыряет шилом голенище и принимает близко к сердцу сочувствие Додона. Подобные речи он не раз слышал и от Алёхи Турки и, тем не менее, пока побаивался уйти от Михайлы, не решаясь встать на самостоятельный путь. С каждым днём накапливается в нём неприязнь к хозяину. Он понимает, что и Клавдя и Фрося смотрят на него уже не как на бедного сироту-родственника, а как на батрачка, который должен, не разгибая спины, работать и ничего себе за это не требовать. Часто даже в воскресные дни он работает, не отдыхая. Заказов на обувь вдоволь, и сидеть за верстаком Терёше приходится по шестнадцати часов в сутки. Невтерпёж хочется спать. Терёша зевает и от переутомления еле-еле держится, чтобы не свалиться с низенькой липки, обитой старой кожей. Иногда, чтобы отогнать от своего подмастерья дремоту, хозяин для бодрости вытягивает его шпандырем вдоль спины. Терёша резко вздрагивает, привскакивает на месте и снова, нахмуренный, принимается за дело. Сам Михайла вечерами сидит терпеливо, работает без насады, потому что днём, после обеда, он всегда забирается на полати и спит часа три ради сбережения своего здоровья...

Разговор Додона хозяину не по душе. Насупившись, Михайла молчит весь вечер. Молчит и Додон. Наблюдая за Терёшей, он видит, что ему живётся у Михайлы несладко. Но чем и как ему помочь в этом? Не пожить ли у Михайлы, не поработать ли на скрягу по найму, а потом уговорить Терёшу и уйти с ним в люди, чтобы жить и работать им вдвоём—вольготней, веселей? Так он и решает.

На другой день Додон разговаривает с Михайлой насчёт работы.

Михайла достаёт из-за иконы замазанные, дёгтем счёты, брякает костяшками, прикладывает в уме и предлагает свои условия.

— Что ж, если мастеришь сносно, так вот моя цена—триста рублей в год, харчи готовые за одним столом со мной.

Додон, усмехнувшись, отвечает Михайле:

— По-твоему, я дурак и ничего не понимаю? Напрасно так обо мне думаешь. В теперешнее военное время, когда деньги дешевет с каждым днём, разве можно продавать себя ни за что? Ведь на триста рублей, вспомни меня, через год можно будет справиться не больше, как одну пару сапог.

— А твой запрос? — спрашивает Михайла, откладывая в угол счёты.

— Я без запроса: не за триста, не на год, а совсем наоборот. Расчёт попарно. За шитьё детской и женской обуви—по десяти фунтов ржи с пары, с мужских сапог—пятнадцать фунтов. Харчи твои, а воля моя: хочу—работаю, хочу—гуляю.

— Куда же тебе хлеба столько?

— Сам всего не съем, скоплю и тебе же продам по той цене, какая будет.

Долго Михайла торгуется и решает, что если он с заказчиков будет брать тоже хлебом за работу да раза в два больше, чем просит с него Додон, значит есть смысл его нанять.

Так и договорились, как сказал Афоня, с небольшою лишь уступочкой — в прогульные дни работнику харчеваться за свой счёт.

Додон остаётся. Хозяину не приходится жалеть, что он его нанял: Афоня хороший сапожный мастер, к тому же весельчак, голосистый, неунывающий песельник. Каждую субботу он бреет бороду, оставляя длинные чёрные усы; волосы смачивает гарным маслом. Богу он никогда не молится — ни утром, после сна, ни вечером, перед сном, ни за стол садясь, ни из-за стола выходя. И Михайла, несмотря на свою религиозность, не осмеливается ему выговаривать.

... Однажды перед каким-то большим праздником Михайла и Терёша приходят с Додоном в баню и при

свете коптившей лампушки видят на его теле причудливые несмываемые изображения.

— Что это у тебя, Афоня, такое?—интересуется Терёша, держа коптилку перед Додоном.

— Грехи молодости, татуировка.

— Господи! Как ты измалёван!—дивится Михайла.— Зачем же ты рожу себе ещё не изукрасил? Уж заодно бы.

Додон черпает из ушата шайку тёплой воды, садится в угол. Терёша неотступно вертится около него, рассматривая накожные изображения.

— В иной книжке нет столько картинок, сколько их на тебе,—говорит он.

— Да осмотри ты всего, больно любопытен,—Додон встаёт и дважды поворачивается на месте.

На груди у него львица с приподнятым хвостом, а ниже, на животе, надпись по-печатному «Се лев, а не собака». На правой руке выше локтя—русалка с распущенными волосами, с чешуйчатым хвостом, вьющимся вокруг руки, без надписи. На другой руке—обнажённый кинжал кончиком касается сердца, изображённого в виде червонного туза. На спине чего только не было: крест, якорь, змея, стрела, цветок с лепестками и ещё какие-то завитушки.

Додон никогда о себе не рассказывает, чей он, откуда родом. Разве из его песен и можно понять, что он в детстве был беспризорным, потом с тюрьмой породнился, зимогорил, собирая куски Христа ради. Наконец надоело ему всё это—стал сапожником.

Песни у него особенные, казалось, никто, кроме него, не поёт и не знает таких песен:

У меня нет фигуры,  
У меня нет лица,  
Мене мамка чужая,  
Я не знаю отца...

Слова этой песни давали понять, что Додон «нагулян» и брошен незамужней матерью.

Иногда Афоня предавался воспоминаниям и на другой лад распевал звучно, захватывающе:

Я без прописок четверть века  
По городам фатеровал

И даже имя человека  
Подделывал и воровал...

«Наверное, у него и имя-то не своё», — думает Михайла, с интересом слушая неслыханные песни.

А Терёша спрашивает:

— Ты мне, Афоня, дозвожь с твоих слов списать этакую песню.

— Не советую, Терёшка, глупости всё это... грехи молодости... — говорит Додон. — Погоди, обживусь я и тебя кое-чему научу, только не песням. Научу цветы бумажные делать, голубей из дерева вырезать, да таких, что сам дух божий позавидует, а Михайла такого голубя на пасху обязательно перед иконой повесит и будет ему молиться...

Слова у Додона не расходятся с делом. В воскресный день он берёт сырое полено и сапожным ножом вырезает подарки Терёше. Голубь получается прекрасный, хвост распушен веером, крылья расправлены, и если его выкрасить в голубиный цвет, то не отличить от настоящего. Он висит на ниточке под потолком и крутится то в одну, то в другую сторону. Соседи приходят нарочно смотреть и хвалят.

Скоро по всей Попихе не было ни одной избы, где бы не кружились под потолком Додоновы голуби. Потом он делает букеты из разноцветной бумаги. Цветы в его руках вырастают, как живые. Приходят девчата, заказывают наделать цветов для украшения подоконников в горницах. За это украдкой от родителей они несут Афоне яйца, сметану и пареную бруснику. Додон не скуп и тем, что перепадает ему, делится с Терёшей.

... Однажды, засидевшись за полночь, Терёша усталый, зажмурясь, часто зевал. Михайла, чтобы отучить его от дремоты и развеселить Афонию, схватил дегтярную мазницу и ловко провёл Терёше по губам. На глазах у того показались скупые слезинки. Додона хозяйская выходка ничуть не рассмешила. Он сердито вырвал из рук Михайлы мазницу и сказал твёрдо и угрожающе:

— Михайло!—и больше ни слова.

Достаточно того, как это было сказано и какой свирепый взгляд Афони скользнул по лицу хозяина. До-

дон тяжело вздохнул, будто гнев из себя выдавил, и, обратясь к Терёше, проговорил ласково:

— Ты, парень, выполощи рот и ступай ложись спать, — да, да, ложись, а твоё дело я за тебя доделаю.

У Михайлы язык присох. Супротив Додона не вымолвил ни слова. А Терёша постоял с минуту в раздумье, выполоскал над лоханью рот и молча полез на полати.

Михайла почувствовал, что тут дело кончилось бы плохо, если бы он только попытался возразить Додону. Как ни хотелось спать Терёше, он ворочался с боку на бок и не мог заснуть; он думал о доброте Додона, вспоминал Копыта, Алексея Турку, который недолюбливал Михайлу и редко стал бывать у Чеботарёвых.

Иногда в мастерскую из другой комнаты, называемой горницей, выходила кривая Клавдя, садилась за расписную прялку и накручивала на веретено нитки для дратвы. И если в мастерской все сидели молча, Клавдя скучала, откладывала прялку в сторону, искала в шкафу давнишнее замусоленное письмо от Еньки и начинала его смачивать слезами, причитая:

Не убили бы тебя люты вороги  
Да на чужой дальней сторонуншке..

— Тётка! Да ведь у тебя не письмо в руке, а оброчная книжка и квитанции страховые,—заметил ей однажды Терёша.

Оборвала причет Клавдя, смотрит: верно Терёша говорит, не доглядела, не над той грамоткой плакала.

А Додон, улыбаясь, советует:

— Вот она, неучённость-то, что делает! Давай, хозяйюшка, слезам обратный ход, припевай:

Сколько горьких слёз да зря потрачено  
Да на оброчную книжку неполиваню..

Высохнут у Клавди напрасные слёзы, соберётся с мыслями и начнёт приставать к брату:

— Братец Михайло, каменное у тебя сердце.

— Почему, Клавдя?

— Да хоть бы догадался заставить Терёшку письмо Енюшке написать.

— Куда писать? От Енюшки ни слуху, ни духу.

— Давай, благословясь, ещё разок напишем по старому адресу. Ох, воюет он там, Енюшка, бедненький, воюет!

Михайла подсовывает Терёше лист курительной бумаги.

— На-ко, парень, пиши.

Как всегда, первым начинал диктовать письмо Михайла.

— Пиши:

«Милому, дорогому сыну Евгению свет Михайловичу от родителя вашего Михайла Олександровича нижайший поклон от бела лица до сырой земли. И шлёт он своё родительское благословение, навеки нерушимое, которое и на огне не горит и на воде не тонет. И ещё низко кланяется...».

Михайла делает паузу, а Клавдя, тут как тут, продолжает:

— «Кланяется тётушка твоя Клавдея Олександровна, та самая, что выносила тебя, Енюшка, сызмальства на своих-то рученьках мозолистых...».

Перебивая Клавдю, вмешивалась Фрося:

— После свёкра-то мне бы следовало поклон держать, я не какая-нибудь тётка, а жена богоданная!..

Клавдя сердито огрызается:

— А надо, так пиши сама наособицу. Много ли жила-то, а уж и завладела, хороша тоже!

Фрося, обиженная, убегает за простенок. Михайла ворчит на обеих:

— Бабы, так бабы и есть, дуры! Да кланяйтесь обе зараз в одну строку.

Когда с поклонами близких родственников покончено, Клавдя говорит:

— «И ещё, oprичь домочадцев твоих, кланяются тесть твой Финагеныч и тёща твоя Марья. Тесть по-прежнему сидит на должности старосты и от старшины медаль получил за рубль девяносто, а тёщу твою трясёт какая-то боль дни и ночи так, что не может блюдечка с чаем в руках держать и поят её из вторых рук. И ещё кланяется твой шурин Колька Рубец...».

Но тут из горницы выскакивает Фрося и поправляет Клавдю и Терёшу:

— Какой он Рубец? Зачем так писать? Пишите: «кланяется Николай-шуринок», а не какой не Рубец!

(Брату Фроси дано было прозвище за то, что его лягнула кобыла и на щеке его остался длинный рубец).

— «Ещё поклон от свата Асафа из деревни Ковалёва»,—продолжает Клавдя.

Михайла протестует:

— Хватит! От Асафки не надо. Мы с ним на прошлой неделе на базаре погорячились. Мерзавец! Второй год долг не отдаёт.

Все трое долго думают, чего бы добавить после поклонов.

Терёша от безделья очинивает карандаш. Наконец Михайла снова говорит не спеша.

— «Сапоги, слава богу, вздорожали, по полусотне пара, сулят ещё дороже, денежки всегда есть, кожевенный товарец тоже. Хлебец в цене выиграл, ну, да нам до свежего хватит, и запасец имеем. Воротишься из солдат, думно — двоежитный дом сгрозать, после того мне и умирать можно. И ещё сообщаем: на твои именины зарезали овцу, ждём—скоро отелится бурая корова, а бычок подрос, на пасху заколем, своё мяско будет не так начётисто. Чуть так бы забыли тебе описать, дорогой наш Енюшка, об Афоне Додоне, я его подрядил шить сдельно, и прок от его есть... Приезжал тут Копыто и снова уехал на войну, он получил геройский крест, того и тебе все мы вкупе желаем от господ бога, доброго здоровья и в делах рук ваших скорого и счастливого успеха. А после того затем до свиданья...».

Адрес на старом, вывернутом на левую сторону конверте Терёша писал крупно, печатными буквами, с указанием: «Передать в собственные руки». На обратной стороне конверта по углам и посередине надписывал пять крестов.

И крещённое письмо разыскало Еньку. Через месяц пришёл от него ответ с приложением фотографической карточки. Енька снялся в бутафорском мундире, взятом напрокат у фотографа; два ряда частых белых пуговиц, ремень через плечо, на голове шапка с пером. Одной рукой Енька держится за рукоятку обнажённой шашки, другой опёрся на столик, уставленный порожними бутылками, а за спиной полотнище, на нём намалёваны стволы пушек, ружей, скрещенные знамёна с надписью «За веру, царя и отечество».

Письмо пришло в распечатанном виде. И к этому нельзя было придаться, так как на конверте значилось:

«Проверено. Прапорщик П а с т у х о в».

Однако цензор Пастухов не принадлежал к числу бдительных и заботливых людей и, видимо, штемпель свой прикладывал, иногда не просматривая солдатских писем. Этим только и можно объяснить, как могло проскочить с далёкого фронта весьма непатриотическое письмо.

Вслед за нижайшими поклонами всем родным и знакомым Енька писал:

«Милой тятенька Михайло Александрович, уж не сердись на меня, а дозволю сказать тебе прямо по-солдатски. Идёт война, ни конца ей, ни краю не видно, и за что воюем — неизвестно. Как дождь польёт, так в воде до самого пояса сидим, и высунуться из окопа нельзя, если не хочешь пули. Сундучок с твоим благословением родительским австрийцам на память оставил, когда пёрли нас без оглядки с Карпатских гор. Ох, и встали нам эти горы в копеечку! Сколько людей, сколько лошадей погибло, видимо-невидимо! И проклинал я тебя, тятенька, зачем ты мужчиной, а не женщиной на свет меня произвёл. И нет никакой надеи домой выйти живым-здоровым. Молю бога, чтоб искалечили, — тогда уж что будет. Наплевать и на крестик, что Копыто выслужил, своя жизнь дороже, не крестикам завидуем мы, а тем, кто сидит теперь дома, у бабы за спиной, да чай распивает. И ещё прошу тебя, родитель мой, — поглядывай за Фросей, моей супругой, чтобы блудить не вздумала без меня, а то вернусь и голову ей оторву, как пуговицу. Так пусть она подолом-то зря не трясёт без меня, а по хозяйству будет порачительнее и одёжу мою подальше приберёт, чтобы по воскресеньям Терёшка не надевал, — он, поди-ка, растёт и штаны мои ему и рубахи впору, мне самому это всё пригодится, — кто знает, хоть и не видно конца войне, а вдруг да мир приключится. По окопам такие слухи пошли, что и царя сменят и замирение тогда, авось, будет, только вы об этом никому не говорите, нашему брату война надоела, и пусть хоть на трон Алёха Турка вскарабкается, лишь бы людей бить перестали да всех по домам выпустили. Пуля меня пока не берёт, а от простуды я не

подохну, разве ревматизм ноги вывернет пятками наперёд. Зима за Вологдой во сто раз холодней здешней, и не каждый год она тут бывает, нынче была, потому как сюда много пригнали на убой вологодских, и архангельских, и сибирских мужиков, они и стужу с собой сюда захватили. И ещё пишу вам, что самый страшный народ—это мадьяры,—злющие, воют без пощады и в плен сдаются только по великой крайности, австрийцы—те просто не вояки. Письма я писал вам два раза в месяц, да, видно, не доходят, писал, писал—да и плюнул. И ещё спасибо тебе, дорогой родитель, что хозяйство из рук не ронишь, от этого сердце моё на спокойное...».

Много раз заставляют Терёшу читать и перечитывать это долгожданное письмо.

А Додон, тихонько посмеиваясь, говорил:

— Ну и Енька, в письме-то он весь, как голенький, виднее, чем на фотографии. — И глубокомысленно заключал, как бы не в обиду хозяину: — Всяк человек равен самому себе...

Кстати сказать, Афоня Додон был неплохой грамотей, кое-что он читал на своём веку, мог иногда в разговоре ввернуть толковое, вычитанное и пережёванное словцо, но это чаще всего случалось с ним, когда он вступал в спор с кем-либо из посторонних людей, смотревших на всё свысока. Тогда Додон был непрочь блеснуть своими познаниями.

В Попихе да и в других деревнях хорошая книга считалась редкостью. Если она появлялась каким-либо случаем, то её носили из деревни в деревню, по вечерам читали и перечитывали вслух. Читали и слушали и верили каждому печатному слову; многие верили даже сказкам, не говоря уже про былины. Само слово «былины» заставляло верить: был, былина—значит так было. А потом—как не верить даже сказкам, если жития святых великомучеников, явления икон, исцеления и прочие писанные чудеса—это тоже сказки, притом самые путаные и противоречивые, а верить в них заставляли и в школе и в церкви.

Однажды Терёше, а вместе с ним и Додону, неожиданно подвалило счастье. Взяли в армию учителя Коровинской школы Ивана Алексеевича. Перед тем как ехать на службу, он вспомнил своего ученика Терёшу Чеботарёва и принёс ему подарок—большую связку книг.

Никогда и ничему так Терёша не радовался, как этому подарку.

Среди книг были классики русской литературы и книги по естествознанию.

Додон быстро перебрал все книги, сказал с похвалой и благодарностью за Терёшу:

— Спасибо вам, Иван Алексеевич! Сразу видно хорошего человека: знали, кому такой подарок принести. Парень он у нас хоть и безотецкий, но стоящий, не баловень и не глупый. Да и книги тут все такие, что ни одной не откинешь. Вот, Терёша, благодари своего учителя. Прочитаешь всё, да не по однажды,—будешь знать немало...

Михайла не усидел на липке, оставив работу, заинтересовался:

— А про Руслана и про царя Салтана есть?

— Есть!—отвечал Додон.

— А про отца Серафима и патриарха Гермогена есть?

— Нет, этого хлама у Васи Сухаря поспрашивай.

— Ну, ты всегда против ветру дуешь,—обиделся Михайла на дерзость Додона и стал молча рассматривать в одной из книг картинку войны 1812 года.

— А я так и решил,—заговорил Иван Алексеевич, обращаясь ко всем находившимся в избе у Михайлы,—меня теперь взяли в армию, домой, на родину, посылать книги—чего доброго, потеряются. А тут пусть Терёша читает да меня вспоминает. Кто знает, вернусь ли? Ну, у меня, конечно, просьба: не только сам читай, но и другим давай. Книги пишутся не для того, чтобы их прятали, а для того, чтобы они были в ходу и пользу приносили.

— А я их запишу, и кто станет брать, буду записывать, чтобы не терялись, как в настоящей библиотеке!—говорил Терёша, взирая на Ивана Алексеевича глазами, полными любви и благодарности.

А Додон посмотрел на учителя и особенно пристально на его сапоги, сказал:

— Давайте-ка, Иван Алексеевич, я вам на отъезд в солдаты, в благодарение за книги, подмётки подобью и каблуки поправлю.

— Вот это пожалуйста, спасибо, спасибо!..—И разутый учитель часа три сидел у них и разговаривал,

охотно отвечая на все вопросы Михайлы, Додона и Терёши.

Потом, узнав о том, что у Чеботарёвых сидит учитель, прибежал к концу беседы Алексей Турка. Запыхавшись, он по-свойски протянул Ивану Алексеичу руку, как старому знакомому, с которым, однако, никогда не встречался и знал лишь понаслышке как о хорошем, незаносчивом человеке.

— Наше почтение редкому гостю, добро пожаловать! Посидите да поговорите. Не угодно ли моего табачку?..

За куревом, и пока Додон чинил учителю сапоги, у Турки немало нашлось вопросов.

— Так, говорите, и вас забрили?—спрашивал Алексей.

— Да, взяли,—отвечал равнодушно учитель.

— Смотри-ка, до наставников добрались! И когда она, проклятая, кончится?

— Пуюют, пуюют, да и кончится. Всему бывает конец.

— Да, но и концы бывают разные. Кто кого, по-вашему, одолеет?

— Как всегда, одолеет сильный слабого.

— Это как есть. Только, сдаётся мне, худо наш царь к войне готовился,—не унимался Турка.

— Царя-то можно и не касаться,—вставил Михайла.—Не нам его судить.

— А почему бы и не посудить?!—возразил Алексей.—Пора перестать народу своего шопота бояться. Глядишь бы, и царь с чиновниками прислушались к людской молве да по-другому все дела повели, чтоб и народу легче жилось и чтоб на войне наша брала.

— Где уж там «брала»! Хоть бы своё-то не отдавали. Да, плохо дела идут, плохо,—говорил опечаленный учитель; видно, служба в армии ему не очень-то улыбалась,—а, впрочем, нет худа без добра. Ход событий к тому идёт, романовская династия за триста лет изжила себя, что-то в конце концов должно произойти, на смену старому что-то новое должно быть.

— Пока этого дождёмся, сколько людей погибнет!—заметил Турка.

— Даром ничто не даётся. Вот и я пойду служить. Кто знает, быть может, в свои тридцать лет придётся

кости сложить где-нибудь в Галиции. А по правде сказать — погибать не хочется, хотя, рано ли поздно, смерть — неизбежность для каждого.

— За что погибать-то, Иван Алексеевич? — спросил Додон. — Поразмыслите: кажется, не за что!...

— За веру, царя и отечество, — поспешил перебить Додона Михайла, — каждая старуха знает, за что воюем.

— Вот именно — только старухам и знать это, а у людей, не ютживающих и жаждущих достичь хорошей жизни, другие должны быть представления и о войне и о целях борьбы за устройство хорошей жизни.

— Совершенно верно! — понимающе воскликнул Алексей. — Справедливы слова ваши.

— Веры нет, а есть пока суеверия и темнота, на чём и держатся религии и наша и немецкая, — продолжал высказывать свои мысли учитель. — Каждый народ, угнетаемый властью богачей, ещё запутан и религиозным дурманом. Стало быть, вера отпадает. За царя? За какого царя? За того, что приказывал расстреливать рабочих и крестьян и населил каторжниками Сибирь?.. За отечество? Это другой вопрос. За него мы должны биться смертным боем, но — чтобы отечество перестало быть таким, каким было и пока есть при теперешних порядках. Мы должны биться за народное отечество...

— Вот так и солдатам говорите, Иван Алексеевич! — оживлённо поддержал Турка. — Солдата словом пронять надо, тогда он горы своротит...

Увидев, что Додон кончает ремонт, Алексей потрогал один, потом другой сапог, спросил, кивая на учителя:

— Это ему?

— Ему.

— Так ты не торопись, да покрепче. Валяй-ка ещё ряд пробей, подхваты толстой дратвой подшей. Набойки обязательно кованым гвоздём. Человек идёт на войну. А тебе, Михайла, давно пора совесть иметь: учитель вместо трёх в два года Терёшку обучил, столько книг ему принёс, а ты даже его чаем не угощаешь?!

Михайле стало неловко.

— Да я подумал об этом, а спросить постеснялся. Думаю, станет ли он пить чай наш морковный, а вместо сахара — вяленая репа. Фрося! Поставь самоварчик. Чем богаты, тем и рады...

Чай пили больше для приличия и для продолжения разговоров, хотя Михайле речи учителя резали уши и он старался больше молчать.

Турка пересмотрел все обложки книг и, ничего не поняв, спросил Терёшку:

— Нет ли книг насчёт того, какой травой и какие болезни лечить?

— Таких нет. Тут всё больше сочинения, — важно, с видом порядочного грамотея, отвечал Терёша и бережно складывал книги на полку, одним концом врубленную в воронец, другим упиравшуюся в божницу.

Уходя, учитель попрощался со всеми, а Терёшу поцеловал в лоб, как сына родного, погладил по вихрастой голове и, заглянув ему в светлые голубые глаза, проговорил печально:

— Если погибну, не поминай лихом. Не теряй дружбу с книгами. Хорошие книги—замечательные друзья человеку.

## XXVIII

Целый год живёт Афоня Додон в работниках у Михайлы и не думает уходить с обжитого места, к которому привык. Повсюду в деревнях и в городах народ переживает хлебные затруднения. На отхожие заработки рассчитывать не приходится, хлеба нехватает, наступает угроза голода. Додон спокоен: на чёрный день он имеет в амбаре у Михайлы чан, наполненный рожью. Это почти годовой его заработок, и он может распоряжаться им как угодно. С Терёшей он уже условился, что, как только придёт трудное время, они вместе пойдут путешествовать, куда захотят, и будут жить и работать себе на пользу. Но когда это произойдёт, они сами себе не представляют. Во всяком случае, как видно, нескоро. Война затягивается. Жизнь становится хуже и хуже. Михайла стал платить Афоне за работу вдвое меньше против прошлогоднего, и Афоня согласился, потому что заказчики за хлеб пошли на убыль, а деньги его не устраивали. Сбывать обувь Михайла стал осмотрительно: продаст несколько пар и в тот же день обязательно на выручку купит кожи.

Начинался 1917 год. Всё чаще и чаще докатывался до Полихи глухой ропот. Он слышался и в разговорах приезжих из города людей, сквозил в солдатских письмах.

— Не усидеть царю! Вымотался народ, война из терпенья вывела...

В конце февраля в Попиху несколько дней подряд не поступали газеты. И Алексей Турка первый догадался:

— Значит, в Петрограде что-то есть!..

Это «что-то», действительно, произошло. Весть о том, что царь был вынужден подписать отречение от престола, облетела усть-кубинские деревни в начале марта. В первое же воскресенье народ из деревень толпами пошёл в село любопытствовать и что-то делать, чтобы не отстать от событий.

Церковь Петра и Павла переполнена народом. Люди собрались сюда послушать приходского попа, охочего говорить проповеди. Но старенький, всклокоченный священник сегодня не в духе. Его страдальческое лицо с посиневшим носом и заплаканными глазами отнюдь не говорило о намерении выступить перед паствой.

Терёша стоял с Додоном и Алексеем Туркой впереди, у правого клироса, и с интересом ждал: как-то певчие будут петь «Спаси, господи, люди твоя»?.. Будут ли называть имя царя в этой молитве или же просто промычат, как мычит сказочник, заменяя в сказке лохабные слова мычанием. Наконец хор запел и на словах «победы благоверному...» запнулся и замолк. Почувствовалось неловкое движение на клиросе и среди прихожан. Тогда церковный регент в чёрном фраке с растопыренным позади хвостиком, с широким белым нагрудником и красным бантом под горлом обратился к народу:

— Православные! Граждане! Мы переживаем с вами тяжёлое время, всем нам тяжело, а разве легко бывшему государю императору?

Регент, слегка наклонившись, уставился на богомольцев. Лицо у него было узкое и нос тонкий, птичий, и весь он в сегодняшнем наряде был похож... «На кого же он похож?»—подумал Терёша и вдруг вспомнил, что такая белая грудь, красное пятнышко под-горлом, такой трясущийся хвостик и этакий нос бывают только у ласточек.

Регент помолчал и, как бы спрашивая позволения у присутствующих, проговорил:

— Так как же, православные? Может, споём по старой памяти?

— Пой, ласточка, пой...—послышался насмешливый Туркин голос.

Регент махнул камертоном, и хор исполнил тропарь попрежнему.

В конце обедни дьякон также провозгласил многолетие дому Романовых, как будто никаких изменений и не произошло. Потом низкорослый церковный сторож вынес аналой и поставил посреди амвона против царских врат. Поп снял с себя в алтаре парчëвую фелонь и вышел к прихожанам в рясе. Облокотясь на аналой, он взволнованно сказал:

— Православные! Бог судья тому, что происходит. Всевышнему захотелось испытать свой народ...

Обильные слëзы потекли из его старческих глаз. Смахнув их широким рукавом, поп дрожащим голосом сокрушëнно сказал:

— Ни сейчас, ни после я не знаю, что сказать о происходящем в России. Пусть скажет слово всеми уважаемый Александр Флавьянович—наш регент и руководитель церковного хора.

Поп уступил за аналоем место регенту. Тот начал с того, что он двадцать лет трудится на ниве народного просвещения, близок к церкви и сочувствует взглядам кадетов и что он давно ожидал больших перемен, которые, по божьей милости, наступили.

— Я весьма рад этому, — говорил регент, — рад заменить казëнный мундир простым пиджаком, ибо знаю, что холодный блеск металла казëнных пуговиц на моём мундире мешал ученикам быть откровенными со мной, мешал им выплакивать своё горе на моей груди...

— Ты нам не об этом, о бунте расскажи, как народ бунтовал в Петрограде?—перебивая, вопрошал Турка.— Мы затем и шли сюда.

— Говорят, в Питере много полиции побито?—сразу же послышался другой голос.

И полилось со всех сторон:

— Когда замирение?

— Будут ли этой весной делить землю?

— Где Ливадия, куда царь уехал? У нас она или за границей?..

Не дожидаясь от покрасневшего регента ответов, выкрикивали всё громче и требовательнее:

— Почему у Доброштанова погоны не сорваны?

— Старшина почему засиделся?

— Долой старшину! К кобыле его под хвост!

— Да здравствуют депутаты!..

Какие депутаты? Никому не было ведомо. Но раз депутаты, значит это что-то от народа и за народ.

Турка потрогал за плечо стоявшего рядом с ним Терёшу, сказал тихо:

— Эх, парень, жаль, твой отец не дожил до такого времени!

Народ шумел, и скоро ничего нельзя было разобрать, кто о чём спрашивал, кто что говорил. И никак не удавалось прекратить неугомонный общий гвалт.

Наконец регент сообразил и, обратившись к хору, велел спеть «Достойно есть». От неожиданности все притихли. А регент сразу же после пения повышенным голосом заявил:

— Православные, я не в силах удовлетворить ваши вопросы ответами. Здесь не сходка. Идите к волостному правлению. Сегодня старшина слагает с себя полномочия, там вы узнаете обо всём...

Толпа, волнуясь, шумно хлынула из церкви. Терёша неотступно шагал вместе с Туркой и Додоном.

День выдался тёплый. Таял снег, на улицах села появилась навозная жижа. На Кубине стали заметны развоздья. Зимняя дорога еле-еле держалась. Куцые, лохматые лошадёнки, смокшие от пота, тащили с пожен последние возы осоки.

Волостное правление набилось втугую. Терёшу, как несовершеннолетнего, туда не пустили. Он присоединился к усть-кубинским ребятам и вместе с ними, потешаясь, рвал на улице портреты царя и царицы, выброшенные из правления. На утеху ребятам вытолкнули прямо из окна большой позолоченный бюст Александра Второго.

— Освободителя-то зачем?!—кто-то выкрикнул на улице.

— Знаем мы этих «освободителей»! Кроши, ребята!

Бюст был гипсовый. Ребята старательно раздробили его на кусочки и поделили. Вместо мелу — пригодится писать на стенах, на заборах.

В правлении происходило бурное собрание представителей от всех деревень. По старому обычаю, не было допущено на собрание ни одной женщины. Стоял нево-

образимый шум. Урядника обезоружили. Привели в надлежащий вид его шинель — оборвали погоны и все до одной срезали медные гербованные пуговицы. Волостной старшина, рыжебородый и сам весь красный, плакал, уверял людей, что он служил так, как требовал этого закон.

Сняв с себя медную, с бляхой, шейную цепь, которую полагалось ему надевать на собраниях и в торжественных случаях, старшина не своим, кротким голосом произнёс:

— Отрекаюсь, граждане. Государь отрёкся, и я отрекаюсь, делать нечего, выбирайте себе временную власть.

Мужики галдели; они без внимания слушали речи врача Андросова, часовщика Субботина, волостного писаря Серёгичева и ещё кого-то, потом охотно поднимали руки, голосовали за депутатов временного волостного правления.

Разошлись поздно вечером, возбуждённые и недовольные тем, что революция в селе произошла тихо, спокойно, без единой царапины.

— Как-то теперь пойдёт жизнь?—спрашивал Додон, обращаясь к Турке, когда они шли обратно в Попиху.— Власть новая, должны быть и порядки другие.

— Поживём — увидим,—отвечал Турка,—бывает, что и новые песни поются на старый лад. Сегодняшние выборы—доктор, да бывший попечитель общества трезвости, да часовых дел мастер — это жохи да пройдохи. Едва ли на гнилых столбах могут долго держаться наши мужицкие стены. Для начала повластвуют они, а потом солдаты с войны домой понаедут, и тогда что-нибудь выкроится нам на пользу.

— А всё-таки неслыханное дело: народ без царя, без полиции!—радовался Додон.— Богачей поприжмут, бедным дадут облегчение, неграмотным просветление, кому надо земли — бери, паши, засевай сколько хочешь. Нашему брату—зимогору бездомовому, бобылю, наёмному батраку—лучше всего в город, на заводы, теперь податься, там сила большая нужна будет... Терёша, тебе пятнадцатый идёт?

— Да, с февраля пошёл пятнадцатый, а что?

Станут скоро всех учить за казённый счёт, учись и ты дальше. Брось на Михайлу спину гнуть,—советовал

Додон,—учись—пригодится. Читаешь, пишешь ты хорошо, толк получится.

Турка, ступая набухшими, сырыми валенками по обочине разбитой дороги говорил:

— Всё это, Афоня, сулы да посулы. До учения ещё придётся хлебнуть мучения; что будет после войны, а сейчас за кусок хлеба каждый силу свою отдаёт. И у Терёши других видов на жизнь пока нет. Полегчает жизнь—тогда и он на свои ноги встанет, а пока тяни да тяни лямку.

Так они и рассуждали, идя по рыхлому зимнику. Навстречу в вечернем полумраке попадали вереницей тянувшиеся обозы переселенцев. На возах с сеном и разной рухлядью гнездились бабы и ребятишки. Мужики и ребята-подростки, усталые, понуро шагали за возами.

— Чьи да откуда?—любопытствовал Алексей Турка, пропуская мимо себя встречных.

— Уфтяжские да кумзёрские.

— Далече ли путь держите?

— Пока на Вологду, а там в Сибирь, на новые земли.

— А там чем сладче?

— Ещё бы!—слышался голос уходящего за возами.— Своя-то земля устала и рожать перестала, вот и едем туда, там, говорят, без навозу родит.

— Счастливого пути!

— И на том спасибо.

— Вот видишь,—говорил Турка Додону, показывая вслед переселенцам,—это, брат, не от сытой жизни. Голод и волка из лесу в деревню гонит. Белки—те тысячными стаями от голода бегут на восток, с голоду и человек озвереть может...

Терёша молча прислушивался к их разговору, думал о событиях, происшедших где-то в далёком Петрограде, думал о своём будущем, которое рисовалось ему весьма неясными очертаниями. И когда Алексей кончил говорить, Терёша вслух вспомнил стихи:

В мире есть царь: этот царь беспощаден —

Голод названье ему...

— Ты это из себя или из книги? — спросил Турка.

— Из книги Некрасова, — бойко ответил Терёша, — читал как-то и запомнил.

— Правильные слова. Одного царя стряхнули, другой, страшный, когтистый, к порлу тянется. Скорей бы кончилась война, хватит, настрадался народ. Что-то скажет новая власть? — И опять неопределённое: — Поживём—увидим..

## XXIX

Шли дни за днями. Вместо царя в золочёную раму в волостном правлении был помещён портрет Керенского. При этом правителе существенных изменений не произошло. Война продолжалась своим чередом. Во время весеннего сева мужики заговорили о прирезках земли, а им на это временная волостная власть ответила:

— Всё остаётся по-старому, надо ждать учредительного собрания; когда оно разрешит, тогда и получите.

— Ну, что ж, подождём, триста лет ждали, авось недолго осталось ждать,—говорили мужики и, не дожидаясь «учредиловки», рубили удельный лес, а те, которые посмелее, запахивали монастырскую землю и приглядывались к казённым сенокосным угодьям.

Хлеб дорожал и дорожал. Из города, с сухонских фабрик, с железнодорожных станций в деревни потянулись встревоженные голодом люди променивать на хлеб разные вещи.

Михайла Чеботарёв подсчитал излишки, выдал Додону за работу зерном и сказал:

— Хлеб—это, батенька, теперь золото, без него никуда не двинешься. Хочешь у меня работать — пожалуйста, но только на своих хлебах, а за работу получай «бумажками».

Додон согласился, но стал выпрашивать у хозяина приварок — капусту солёную, рыжики, редьку с квасом, картошку. Михайле было жаль расстаться с выгодным работником, он махнул рукой:

— Ладно, чорт с тобой, хлеб твой, остальной харч мой, только чтоб и работа была на совесть...

На дверь амбара Михайла повесил два добавочных замка с рукавицу каждый. Голод его не пугал. На хлеб за бесценок выменял новый тарантас, двухведёрный самовар, часы золотые, два массивных перстня: вернётся сын из солдатчины — то-то рад будет.

Терёше житьё у Михайлы становилось всё хуже и хуже. Кормить его стал хозяин с выдачи, впроголодь.

Иногда он отправлял его в отдалённые деревни менять на хлеб детские башмачонки, парусиновые туфли, сшитые Додоном. Отправляя Терёшу, Михайла говорил:

— Обувайся потуже, одевайся похуже, броди дольше да носи больше. За башмачки и туфельки фунтиков бы тридцать ржицы. А тебе есть захочется—зайди в любую избу, руку протяни да Христа помяни—вот тебе и хлеба кус.

Иногда Терёша уходил далеко от Попихи, носил на руке скрипучую корзину и прикрывал в ней милостыни своим потрёпанным пиджаком. В это время ему очень не хотелось встретить кого-либо из знакомых. Он стеснялся быть нищим, хотя бы и временным. Однажды он сел отдохнуть на обсохшем пригорке возле дороги. Пахло прелой прошлогодней травой, солнышко пригревало тепло и ярко. С пригорка, на котором начинали зеленеть редкие осины, виднелся изгиб Кубины, за изгибом—ровное плёсо, по нему медленно подавались плоты леса. Река делала ещё поворот и уходила из виду, прячась в пушистые берега, обрамлённые, как бархатом, хвойным лесом. Терёша сидел на пригорке и, обогреваемый солнцем, любовался на окружающую природу. С утра обойдя несколько маленьких деревушек, он очень устал. Съев кусок чёрствого хлеба с мякиной без соли, он потянулся к корзине за другим куском, порылся, выбрал милостыню покрупней. Спешить ему было некуда. С меной по наставлению Михайлы дело у него не клеилось. Идти к хозяину с пустыми руками — быть обруганным. Терёша разулся, повесил на куст отсыревшие портянки, сапоги положил под голову, а корзину с кусками и тремя парами дешёвой обуви поставил рядом с собой. Затем он лёг на спину, закрыл лицо фуражкой. Скоро он заснул и долго ли спал — этого Терёша осознать не мог. Проснулся, когда услышал над собой чей-то голос:

— Вставай, парняша, а то прохожие всё твоё добро растащат.

Терёша открыл глаза. Перед ним на тропе стоял незнакомый бородатый мужчина с сумкой на боку, переполненной бумагами. Он, видать, далеко шёл, потому как голенища его сапог доверху покрыты болотной торфяной грязью, а болот поблизости не было. Чёрный чуб, похожий на воронье крыло, выбивался из-под его выцветшей шляпы и льнул к потному морщинистому лбу.

— Земля холодная простудишься,—предостерегающе заговорил прохожий и спросил:—Нет ли у тебя, парень, спичек?

— Нет, они мне не для чего.

— Ладно, придётся потерпеть без курева. Обувайся да пойдём вместе.

— А ты куда?

— На Высоковскую запань. Сегодня, знаешь, какое число? — спросил незнакомец.

— Кажется, первое мая.

— Не кажется, а так точно. А знаешь ли ты, что этот день при царе рабочие праздновали, собирались гайком, а полиция их разгоняла? То-то, не знаешь, молоденок, откуда тебе знать такие вещи.

— На запани у сплавщиков праздник сегодня? — спросил Терёша, обуваясь.

— Праздник—не праздник, а в конце дня после работы должен быть митинг. Знаешь, что такое митинг?

— Знаю, — протянул Терёша.—Ты думаешь, я газет не читывал?..

По пути к запани разговорились.

— Что это у тебя, парень, в корзине?

— Не знаю, — отвечал неохотно Терёша и нелюбезно добавил:—Я не спрашиваю, что у тебя в сумке.

— Может быть, у тебя хлеб?

— Может быть, и хлеб.

— А может, что другое?

— Может быть, что и другое.

— Ишь ты, какой скупой на слова! Все вот вы, северяне, от мала до велика такие, незнакомого человека дичигесь.

С версту прошли молча. Потом незнакомец опять заговорил:

— Я сегодня не ел, а прошагал от сухонских фабрик вёрст тридцать.

— Так бы сразу и сказал.—Терёша засунул в корзину под пиджак руку и достал три сереньких милостыни.

— На вот, съешь.

— Спасибо! — прохожий обрадовался подачке.—Я так и знал, что у тебя хлеб. В деревне собирал?

— Нет, у нищего купил, — стыдливо ответил Терёша.

— Ишь ты, какой буржуй, хлеб скупаешь! — Прохожий недоверчиво усмехнулся.

Запань расположена на крутом повороте Кубины. С одного берега на другой, наискось, перекинута бревенчатая боны, скреплённые цепями, канатами и цинками. На левом, более высоком берегу — холодные бараки для сплавщиков. Бараки длинные, дощатые, с редкими небольшими окнами. На вывесках фамилии лесопромышленников: Никуличева, Рыбкина, Малютина. За бараками — сосновый бор, тёмный, величественный, пахучий. Здесь, на прогалине, окружённой высокими, стройными соснами, Терёша увидел приготовленную к митингу дощатую трибуну. Она украшена двумя скудными флажками и гирляндами из еловой хвои. Своего спутника Терёша скоро потерял. После работы с запани шли на митинг сплавщики — молодёжь и бородатые, загорелые мужики. Позади них дёстрой толпой тянулись женщины. У многих на плечах закинута жёрдочка с остроклювыми баграми. Впереди на двух древках несли красное полотнище с надписью: «Долой войну!», «Вся власть Советам». Эти простые и требовательные слова, понятные каждому, дошли из далёкого Петрограда, куда в апреле приехал из-за границы Владимир Ильич Ленин.

Сотни четыре сплавщиков обступило трибуну. Первым на неё поднялся оратор среднего роста и средних лет с измождённым, болезненным лицом. Одет он был в вышитую холщёвую рубаху, перехваченную широким кожаным поясом. На ногах «бродовые» сапоги с длинными голенищами, пристёгнутыми ремешками к поясному ремню. Он не спеша снял с головы кожаный картуз, лёгкий ветерок распушил его давно не стриженные волосы.

— Товарищи! Граждане!.. — выкрикнул он с трибуны. — Поздравляю вас с рабочим праздником! День Первого мая мы впервые отмечаем свободно, не боясь, что полиция подстержёт нас за углом...

Говорил он с полчаса, не повышая и не понижая голоса, чётко и понятно для каждого. Терёша слушал и, глубоко вникая в смысл речи оратора, думал:

«Значит, царь был худ, царя долой; временная власть из буржуев — и ей тоже должен быть скоро конец. Всем рабочим и крестьянам будет лучше и легче. Но когда? Кто даст это облегчение?..».

Сегодня впервые он услышал новое слово — большевики и слово — Ленин, а эти слова были сказаны ораторами так, что за ними чувствовалась огромная сила.

— Кто он такой, этот дядька?—показывая на одного из ораторов, осторожно спросил Терёша рядом стоявшего с ним парнишку-сплавщика.

Тот многозначительно мотнул головой и с достоинством ответил:

— Не знаешь? Это, брат, главный закоперщик у нас на запани. Очень правильный человек. Из ссыльных политиков.

— Ну-у?!

— Вот тебе и ну! Раньше он против самого царя боролся.

— Откуда ты знаешь?

— Сплавщики говорят.

— Ну, это враки, — отмахнулся Терёша, — его бы царь велел повесить, если так.

— Царь боялся таких вешать. Да ну тебя, не мешай слушать.

Между тем оратор, потрясая кулаком, заканчивал свою речь, восторженным и вместе с тем призывным голосом произнося лозунги, написанные на красных полотнищах.

На смену ему поднялся на трибуну тот самый прохожий, что пришёл сегодня с Терёшей на запань. Кто-то назвал его представителем от рабочих сухонских фабрик Скородумовым.

Речь его была спокойна и проста. Он рассказывал о самом себе, о своём прошлом.

— Служил я, граждане, на действительной в Лодзи, это было задолго до войны. Был я старшим унтером. Казённым человеком был, учил солдат козырять, глотку драть да глазами жрать начальство... Это было в Лодзи. Первого мая фабричные вышли тогда на улицы с красными флагами, с требованиями повесить им заработок, сделать короче рабочий день. Начальство приказало нам разогнать их, а если они не будут расходиться — тогда стрелять. А народу тысячи!.. Видим, дело худым вахнет. У нас по солдатским рядам шопот прошёл: «В случае чего палить только в воздух. Пусть люди постоят сами за себя...». И вот они напирают, полиция врассыпную пятится, трусит. Ротный подал нам коман-

ду — палить! Многие солдаты вразброд вскинули на руки винтовки. А народ зашумел, закричал: «Братья солдаты! В кого вы хотите стрелять?» В своих хотите стрелять?! Тут не выдержал я и, вопреки ротному, во весь голос скомандовал: «Отставить!..». Приклады застучали о мостовую, солдаты вздохнули свободно и пропустили рабочих с флагами и знамёнами дальше. Меня за это слово «отставить» на год посадили в тюрьму, а потом выслали сюда на север. Революция освободила нас из ссылки. Народ расправил свою спину, и царствовавший дом Романовых полетел к чертям!.. — Оратор прокашлялся, погладил круглую чёрную бороду и встал почти нараспев:

Всероссийский император —  
Царь жандармам и шпикам,  
Царь мазурик, провокатор,  
Ты попался в руки к нам...

— Да, попался, и больше ему не сиживать на троне, который триста лет протирали Романовы. Царя не стало, а дальше что?

Оратор вопросительно обвёл глазами всех сплавщиков, помолчал немного и начал объяснять, что представляет собою временное правительство, почему оно временное, и какое правительство нужно трудящимся. Когда он кончил речь, сплавщики хлопали в ладоши так же усердно, как и предыдущему оратору.

Митинг кончился возгласами:

— Долой войну!

— Земля — крестьянам, фабрики — рабочим!..

— Да здравствует республика Советов!

— Привет товарищу Ленину!..

Как и многие из участников митинга, Терёша хотя и внимательно слушал, но смутно понимал суть того, о чём так горячо поговорилось с трибуны. После митинга сплавщики спели «Смело, товарищи, в ногу!» и разошлись по баракам.

Вечерело. Становилось прохладно. Терёша остался ночевать на запани. Ему не спалось — боялся, не украд бы кто три пары нераженьких ботинок, которые едва ли кого могли соблазнить. Он задумчиво сидел на подоконнике и слушал, как гудели провода, протянутые в четыре ряда с запани в сторону сухонских фабрик.

На проводах, нахохлившись, сидели вороны; они казались очень похожими на закорючки, какие Терёше приходилось мельком видеть у певчих на клиресе, на нотной бумаге.

### XXX

В Попихе раньше всех деревень весной землю разделяли поровну, по едокам, и с опаской и с оглядкой кое-где мужики прирезывали к своим полям и пустошам сенокосные кулиги от монастырских и удельных земель.

В самый разгар сенокоса из Петрограда дошли слухи о том, что новая временная власть расстреливала рабочих. Эти слухи взволновали в деревнях бедноту, Алексей Турка так и растолковал:

— Ну и власть посадили себе на шею! Те же портки, только назад пуговицей. Не будет добра от Керенского, если по народу стреляет, казаков натравляет. Не сидит долго, рабочие да солдаты скинут и этого...

С опозданием узнали в Попихе об Октябрьской революции, и не сразу дошли до усть-кубинских деревень декреты о земле о мире.

И часто не из газет, которых в ту пору не приходилось на двадцать деревень и одного экземпляра, и не от волостных работников, которые сами не особенно разбирались в событиях тех горячих дней, а от приезжих солдат-фронтовиков, благодаря большевистской пропаганде и агитации, узнавали мужики усть-кубинских деревень правду о происходящем.

Имя Ленина прогремело в самых отдалённых глухих углах. Оно появилось, как яркий луч надежды, как знамя победное, всколыхнулось над массами народными.

По соседству с Попихой в деревню Кокоурево вернулся со службы солдат-большевик Николай Фёдорович Серёгичев.

После трёх лет разлуки с женой и ребяташками, Николаю Фёдоровичу хватило бы у себя дома всякой работы. Но ему некогда было заниматься домашними делами.

За лето и осень семнадцатого года он, деревенский тихий мужик, так изменился, что не только никто из соседей, но даже сам себя он не узнавал. Опоясанный пулемётной лентой с патронами, с трёхлинейной рус-

ской винтовкой, ходил Серёгичев по деревням и где словом, где действием наводил порядки, вытекавшие, по его убеждённому мнению, из самой сущности новой, рабоче-крестьянской советской власти.

Земля лежала под снегом, а Николай Фёдорович со своей неразлучной винтовкой ходил из деревни в деревню, и всюду где добрым, ласковым словом, а где и путём, как он говорил, революционного закона убеждал мужиков и баб-вдов солдатских:

— Снег неглубок, бродить нетрудно. Давайте-ка делите землю под кол, по едокам, как вон в Попихе поделили...

Люди собирались, шумели и решали большинством бедняцких и середняцких голосов делить землю.

Кулаки и зажиточные мужики пробовали возражать. Но где там! Серёгичева не собьёшь.

— Да ты хоть бы до весны подождал.

— Да ты хоть бы озимовые-то посева пока что не делил.

— Да кто ты такой сомуститель, ходишь смущаешь народ?.

Серёгичев не обращал внимания на враждебные разговоры.

Не было у него никаких мандатов, кроме членского большевистского билета да винтовки. И ещё он был вооружён ленинским словом, самолично выслушанным в Петрограде, и этого было вполне достаточно для того, чтобы иметь право начинать переворот жизни в деревнях.

Как-то в Устье-Кубинском, придя в магазин купчика Цукермана, Николай Фёдорович, опираясь на винтовку, насчитал тридцать пар валеной обуви, висевшей пара к паре под потолком на шесте; зашёл за прилавок к хозяину и, вырвав из конторской книги лист бумаги, ткнул рыжим от курева пальцем, сказал:

— Пиши: «обязуюсь сегодня же всё наличие валеной обуви раздать безвозмездно нуждающейся бедноте...». Пиши!

Хозяин оторопело пожимал плечами, поглядывал то на Серёгичева, то на покрывшееся изморозью дуло винтовки.

А через десять-пятнадцать минут Серёгичев собрал в селе тридцать полубосых женщин-беднячек, привёл к

Цукерману и, сбрасывая с шеста валенки, приказал женщинам:

— Обувайтесь! Это ваше.

— Грабёж! — робко проговорил Цукерман и выронил недокуренную папиросу.

— Реквизиция награбленного! — поправил его Серёгичев и, улыбаясь, глядя на женщин, повторил: — Обувайтесь, я вам говорю, в новые валенки, это ваше!

Женщины охотно повиновались.

А однажды от одного из усть-кубинских торгашей, некоего Бунтова, Николай Фёдорович во время спора услышал слова злобной клеветы по адресу Ленина.

Не стерпело у Серёгичева сердце. Сказал он тогда немного:

— Конечно, Владимир Ильич—это громадная скала! Утёс! Он не нуждается в защите от такой, как ты, Бунтов, гнусной козьявки... Однако получай!..—и прикладом винтовки наотмашь шархнул в пухлый живот подлого клеветника.

Когда Бунтов отдышался, Серёгичев посоветовал ему:

— Можешь на меня жаловаться хоть папе римскому, только не забудь сказать те слова, за которые тебя, стерву, убить следовало бы, а я лишь тронул лёгонько...

Нередко Николай Фёдорович появлялся в те дни в соседней Попихе. В повадках, в складе характера у него с Алексеем Туркой много было общего. Тот, как только приходил к нему Серёгичев, бросал в угол сапожную работу и сразу оживал:

— Анюта, грей чай для дорогого гостя!.. Анюта, собирай соседей да не всех: Михайлу и Афонькина приёмыша не зови, не надо.

Миша Петух, Лариса Митина, братья Менуховы, Пименко, Федя Косарёв, Николай Бёрдов и все другие прочие приходили в Туркину прокопчённую древнюю с деревянным дымоходом избу. Подросли попихинские ребятишки и, подобно взрослым, рады были послушать разговор бывалого человека.

Туркин любимец — Терёша Чеботарёв теснился тут же в толпе ребятишек и с любопытством посматривал на Николая Фёдоровича, сидевшего за столом.

Расстегнув ворот гимнастёрки, Серёгичев пил чай с гороховыми лепёшками, успешно заменявшими сахар.

Напившись, он выдвинулся из-за стола, смахнул вышитым полотенцем пот и, оглядев всех, сказал сочувственно:

— Исхудал за эти военные годы народишко, исхудал! Кожа да кости!..—и добавил ободряюще:—Ничего, потерпите малость. Всѣ утрясѣтся, и такая жизнь будет, какая и не снилась. Конечно, я буржуев не имею в виду. А вот молодѣжь, вроде этих ребят-подростков, она и до полного коммунизма доживѣт... Будьте уверены. Дело в надёжных руках товарища Ленина и его партии большевиков...

— И много этих большевиков?—спросил Алексей Турка,—у нас что-то кроме тебя пока никого и не слышно.

— Это потому, что я, видно, такой шумный. Есть, конечно, в волости большевики, а вообще-то наша партия не одну сотню тысяч насчитывает после Октябрьской революции.

— Ты был в ней, в революции? И царя сшибал и Керенского?—поинтересовался Терѣша.—Хоть бы рассказал про революцию.

Слово за словом, вопрос за вопросом посыпались со стороны попихинских граждан, только знай, как ответить. А отвечать Серѣгичева не учить. Язык наострился, режет, как из пулемѣта, откуда и слов столько берѣтся!

И о чём он только не говорил в тот досужий час! И Алексея Турку похвалил за решительность при земельном разделе; и на вдову Ларису Митицу пальцем показал,—«вот таким помогать надо», и тут же вставил, кого и как надо реквизицией ошпызывать. Поговорив о разных житейских делах, близко касавшихся каждого, Николай Фѣдорович, закурив толстую цыгарку табаку-самосаду и пустив до потолка дымное облако, продолжал:

— Тут, вот, Терѣшка интересуется, как революция проходила. Не знаю, что вам и сказать?! Царя мы стряхнули. Побили полицейских, министров—в тюрьму. Взяли власть, да только не в свои руки,—«временным» министрам капитализма досталась власть... Большевики в феврале были кто в ссылке, кто за границей, не успели в те дни съехаться и поставить вопрос ребром, я так думаю... А временная власть и начала на народ снова, почѣм зря, хомут натягивать... А как съехались в Петроград,—Ленин из-за границы, где он

от царских жандармов укрывался, да вернулись из ссылки и тюрем Сталин, Свердлов, Дзержинский и другие надёжные подпоры товарищу Ленину, тогда и началось. Не сразу, конечно. Сначала силу накапливали, а когда рабочих, солдат и матросов большевики организовали,—тогда юнкерам и временной власти—крышка!.. Я слышал своими ушами выстрелы с «Авроры», своими глазами видел, как наши братцы-солдаты падали, подкошенные пулями юнкеров, и как потом прикончили мы юнкерьё, всё видел. Вот в этих самых сапогах я топтал по паркетам Зимнего дворца...

— Ого-го! — не вытерпел возбуждённый рассказом Николая Фёдоровича Терёша и, сверкая глазами, упрекнул его:—А что же Керенского-то не успели вы ухлопать?..

— Ухлопали бы, если бы не сволочи-американцы. Те на своём автомобиле, под неприкосновенным посольским флагом, почём зря, вывезли его из нашего окружения. Ну, да черт с ним и с американцами! Не ахти какая шкура. Досадно, конечно, мы бы его, почём зря, прикончили. Увернулся...—Серёгичев передохнул и, пользуясь вниманием собравшихся, голосом душевным, пониженным до шопота, сказал не без гордости:—Два раза самого Владимира Ильича посчастливилось слышать. Скажет слово и—навечно.

В избе у Алексея Турки все притихли. Даже веретено в руках Анюты, Туркиной жёнки, перестало жужжать. Хозяйка, слушая, застыла за прялкой.

— И вот, значит, собралось нас много-много рабочих и солдат на заседание Петроградского Совета. Появился Ленин. Честь по чести встретили его, шумно хлопали. Стали слушать. А он, такой невысокий ростом, пониже меня будет, но подвижной и сильно бойкий на слово. Говорит мудро, а понимает его каждый, что к чему. Надо, говорит, всему народу учиться управлять государством. Всё народное добро держать на учёте. Социализм — это учёт. Рабочие — хозяева на производстве — пусть дадут крестьянам ткань и железо, а крестьяне дадут хлеб. Насчёт мужика Владимир Ильич тогда так сказал: «трудоному крестьянину надо помочь, среднего не обидеть, богатого принудить...». Только так и не иначе! — решительно добавил Серёгичев.

— Вот, вот, правильно! — вставил Алексей Турка.— Именно так и надо. Пусть мужик почувствует сердцем

свою власть, и тогда власть рабочих и крестьян будет навеки нерушимая...

Николай Серёгичев долгонько в тот раз засиделся у Турки. О многом было переговорено, со всех сторон взвешено, много табаку выкурено за разговором. Николай Фёдорович, будучи в роли добровольного агитатора-беседчика, понимал чутьём своим, что он и такие же, как он, фронтовики, посланцы большевистской партии, делают в деревнях большое и нужное дело, утверждая на местах советскую власть, проводя в жизнь её первые декреты. Понимая это, он так же, как и Алексей Турка, смутно представлял себе, как будет выглядеть в жизни, на деле социализм—цель, поставленная ленинской большевистской партией. Но будет это что-то прекрасное, без тунеядцев-буржуев; исчезнут бедность, нищета и бесправие... Не лёгок и не близок путь к этой великой цели. Не мало преград предвидится на пути, их не обойти, не объехать. Их надо преодолеть огромной, стоимиллионной силой, объединённой на борьбу Лениным, Сталиным, большевиками...

После обстоятельной беседы Серёгичева с попихинским населением многое стало понятным и подростку Терёше Чеботарёву. Он вспомнил первомайский митинг, что происходил у оплавщиков на запани, и яснее представил себе суть требований рабочих ораторов, выступавших за полгода до Октябрьской революции.

Идя с беседы от Турки, Терёша думал: «Какой счастливый этот Серёгичев! Он из Зимнего дворца юнкеров вышибал. Он самого Ленина видел и речь его слышал; да он, что ему прикажет советская власть, то и сделает. Рука не дрогнет...».

Многих в окрестных деревнях всколыхнул Николай Фёдорович своими бодрящими беседами. — «Кто был ничем, тот станет всем!» — эти слова в его выступлениях всюду звучали как основной лозунг, и бедняки объединялись, твёрже становились на свои ноги, уверенней раздавались их бедняцкие голоса на сходках.

Но скоро Серёгичеву снова пришлось покинуть свою деревеньку Кокоурево, свой дом родной и жену с кучей ребятишек. Половина только что созданной в селе партийной ячейки записалась добровольцами на фронт. Закинув винтовку за спину, уходил на фронт гражданской войны и Серёгичев. И там он был честен, смел и в масе незаметен, как тысячи тысяч других бойцов, боров-

шихся за свою родную власть, за молодую Советскую республику...

Новые, незнакомые, но страшные для кулаков и торговцев слова, пущенные в разговорный обиход приезжими фронтовиками, — реквизиция, контрибуция, конфискация, — заставили всполошиться богатеев. Они стали прятать от исполнительных комитетов излишки хлеба, повозки, сбрую, обувь, лишнюю одежду, как бы это «добро» не досталось на снабжение большевистской Красной гвардии. «Керенки» с двуглавым ощипанным орлом быстро обесценились. Николаевские нарядные кредитные билеты прятали богачи, со слабой надеждой, на всякий случай.

— А вась, советская власть просуществует всего три месяца...—поворили мироеды.

Проходили три месяца, а советская власть крепла, скручивала внутренних врагов и стойко отбивалась от внешних.

В это сумрачное для кулаков время Михайла с кривой Клавдией и невесткой Фросей, тайком от Афона Додона и Терёши, в ночную пору прятали мешки хлеба в снежные сугробы. Кожи зарывали в хлев под навозные мерзляки.

— Как бы не сгнило... — опасалась Фрося, — да как бы не пронюхал кто-нибудь...

— Сгниёт, — не беда, лишь бы большевикам не досталось, — шептал трусливый и жадный Михайла.

Воз обуви по снежному первопутку отъез Михайла в Вологду. Выгодно променял на золотые безделушки, кольца, цепочки, браслетки, а к чему они — и сам не знал. Зашёл в захудалый трактир, чайку попить со своим каравашком. (В трактире продавался только чай с сахарином). И услышал тогда Михайла за столом по соседству такой разговор:

— Царя Николашку, говорят, мимо Вологды в Сибирь на каторгу провезли...

— Туда ему и дорога. Пусть узнает, каково добрым людям там жилось. Да в кандалы бы его, паразита, заковать...

— Одного провезли, или с Сашкой?..

— С Сашкой и со всем выводком...

— А дочерей бы его отправить на лесозаготовки. Пусть бы поучились у наших девок, как работать надо...

— Где им!.. — Тут последовали не совсем приличные, но достойные царской фамилии слова, и разговор прекратился.

У Михайлы выступили на глазах слёзы:

— Господи, господи, за что ты, за грехи наши людские, покарал августейшего государя?—и перекрестился, глядя в пустой угол, где вместо иконы виднелось невыцветшее пятно голубых обоев.

### XXXI

...Поздний зимний вечер. При свете лучины сидят за верстаком все трое: Михайла, Додон и Терёша. Под окнами в холодной мгле отчаянно завывает вьюга. Ветер на разные голоса гудит в трубе. Кто-то неторопливо стучит в боковое окно. Михайла вздрагивает, отшатывается за простенок и, быстро вскочив с табуретки, обрадованный, говорит:

— Ей-богу, Еня приехал. По стуку слышу — он! Клавдя, вставай скорее!..

Пока Клавдя слезает с печи, Михайла с горячей лучиной идёт в сени и, спустившись по занесённой снегом лестнице, открывает ворота.

А через минуту он ведёт в избу сына. За ним в дублёном жёлтом тулупе вваливается заснеженный возница, в руках у него Енькин вещевого мешок.

— Вот, слава богу, и я домой выбрался!..

Енька с трудом переставляет ноги, точно боясь свалиться, и, опираясь на палку, обёрнутую холщёвой обмоткой, нерешительно крестится. Одет он в затасканную шинель нараспашку, из-под которой видна стёганая фуфайка. Мутные болезненные глаза тусклы, впалы, бледные щёки покрыты рыжеватой щетиной.

— А где жёнушка? Фрося где? — спрашивает он тревожно и начинает раздеваться, сбрасывая с себя одежду на пол подле порога.

— Не сумлевайся, Енюша, она добра-здоровая; в гостях у отца, у твоего тестя, — торопится Клавдя утешить племянника.

— Экая бездомовка!

— Нет, Енюшка, зря ты такое про её. Домовитая баба и на все руки по хозяйству, дуть, ковать и уголье подавать, — весело вставляет Михайла и ласково глядит на долгожданного сына.

Раздевшись, Енька подсаживается к верстаку.

— Ну, как работаете, ребята? Хорошо, небось, живётся, не в окопах тут? А Терёшка-то как шибко попрос!

Додон скороговоркой отвечает:

— Живём не узко, широко — нечем. Когда едим харчисто, тогда и работаем чисто.

— А ты всё такой же ловкач на слово, складной говорок да песельник?!

Увидев, что Енька приехал грязноват и почёсывается, Михайла, несмотря на позднее время, говорит Додону:

— Ступай с Терёшкой, топи баню да воды нагрей побольше...

С гостем канителются всю ночь до рассвета. Наутро, немного отдохнув, Енька едет за Фросей. В Полиху приезжают Прянишниковы: тесть с тёщей и шуриин Енькин Колька Рубец. Пока Енька ездил за женой и гостями, Михайла достал где-то две бутылки мутной самогонки-первачу. В горнице за перегородкой — пости и домочадцы, все, кроме Додона и Терёши. За столом и без нихлюдно. С самогонки развязались языки.

Распросам нет конца. Енька бойко и хвастливо рассказывает, как он два раза был к «егорью» представлен, да революция помешала получить награду.

— Дело не в крестах, — говорит Прянишников, — жив остался — вот главное.

— Это родительское благословение спасло, опять же почитание бога и чудотворцев, — замечает Михайла, глотая очередную рюмку первачу.

— Нет, тятя, благословение ни к чему, и молитва, что Клавдя прислала, — всё это выдумки.

— Не говори, сынок, не говори не дело!..

— Нет, скажу! Своими глазами видел, как от германских снарядов наши церкви крошились, будто обабки под сапогом. А там ли богов не было?!

Сидящие за столом переглядываются. Енька, поняв, что против бога говорить нельзя, молча чокается рюмкой с тестем, с отцом и с остальными. Недолго все молчат. Енька первым нарушает неловкое молчание.

— Ну, это всё пустяки, а я, граждане, не с пустыми руками домой вернулся. Ну-ка, тятя, куда ты засунул мою тростку?..

— Палочка грузная, — говорит отец, доставая из-под лавки завернутый в обмотку винтовочный ствол.

— Ага, вот сна!

Енька выходит из-за стола, вытряхивает на пол из вещевого мешка всё солдатское добро: жестяную кружку, ремень с бляхой, алюминиевую ложку, медную ручку от тесака, винтовочный затвор, приклад, перепиленный надвое, патроны россыпью, два голенища от офицерских сапог и достаёт даже ручную гранату, похожую на крупный лимон. Взвешивая гранату на ладони, он говорит:

— Вот штукавина! Одной на всех вас хватит и угол с простенком выворотит и потолок, пожалуй, перелистает.

— Енюшка, поосторожней!

— Не пришиби, батенька.

— Ничего, не трусьте, без капсюля не взорвётся.

— Поди-ко, взорвётся, — отмахивается Михайла, — на грех-то и ухват может выстрелить.

Енька быстро собирает винтовку. Через несколько минут, покрасневший от самогона, он стоит посредине избы и сам себе командует:

— Вперёд коли! Назад коли! От кавалерии закройсь! Прикладом бей!..

Гости и домочадцы теснятся за столом.

— Енюшка, не пальни. Поаккуратней, положи ружьё на полати, бога ради.

Енька щёлкает затвором и ещё раз показывает все солдатские артикулы, наконец, запыхавшись, садится за стол вплотную к Фросе.

— Жаль вот, штык второпях забыл прихватить, так в окопе и остался на память румынам. Ну да ладно, со здешними буржуями мы пулями расправимся, чуть что...

Михайла плещет чай себе на колени, изумлённо смотрит на Еньку: он ли это? Тёща-трясунья, хрустнув зубами, откусила краешек блюда, замерла, уставясь на зятя.

У тестя всех раньше поворачивается язык:

— Позволь, зятёк, про каких-таких буржуев речь?

— Ну, про тех, что эксплуататоры, паразиты. К ногтю их — и вся недолга.

— И купечество? — еле переводя дыхание, спрашивает отец.

— Оно самое! — живо говорит Енька и, видя, что его разговор вовсе не по душе старикам, решает дей-

ствовать напрямик. — А для чего тогда мне винтовка? А бомба для чего? Курей пугать, что ли? Ага! Вы думали, Енька на службе охлупнем останется, без понятия? Шалить изволите, фигу нате выкусите!..

Михайла слушает Енькину трескотню и, наконец, будучи сам пьяноват, сердито говорит:

— Ты думаешь, что там ума набрался? Нет, сынок, ты остатний умишко где-то растерял.

— Я сердечный неврастеник и прошу со мной не шутить! Сам полковой доктор давал определение. Ну-ка, Клавдя, где моя гимнастёрка? Подать сюда! Там, в кармане, история болезни и разные виды. Где гимнастёрка?! — кричит Енька.

— Да она в бане, вши выжариваются.

— Терёшка, сбегай!

Терёша приносит гимнастёрку. Енька выворачивает грудные кармашки и, потрясая документами, кричит:

— А знаете, это что? А? Чем это пахнет? — И, развернув две махонькие бумажки, по слогам читает: — Ры-Сы-Ды-Ры-Пы. Это большевиковская, а эта, на серой, меньшевиковская партия. Вот вам и Енька! Что? Каково? Выкусили? Душить капитал — и никаких гвоздей!..

— Гвоздей давно уже не стало, а капиталу с такой головой вовек не нажить, — едко замечает Михайла.

— Господи! Дела-то какие!.. — бормочет тёща и всхлипывает. — Енюша, скажи лучше, скоро ли опять царь будет?

— Царь? Да ты что, с печи свалилась? За такие слова мы из вагона двоих на ходу под откос швырнули. Не будет никакого царя! Не для того свержение делали, чтоб цари властвовали да пили вёдрами нашу кровь. И тестю теперь в старостах не хаживать, извините за выражение!..

— Что только будет, к чему это всё приведёт? — говорит захмелевший Прянишников, опустив глаза и думая: «Господи, какой я дурак, за кого я Фроську отдал!..».

— Без царя будет смута, без пастуха всегда стадо в разброде, — уверенно и твёрдо заявляет Михайла.

— Правду сказано: без хозяина дом сирота, — поддерживает его Клавдя и со слезами добавляет: — Худо, видать, я за тебя, Еня, бога молила, — вон ты каким вернулся, всё супротивное говоришь!..

— Война всех отчаянными сотворила, — огрызается Енька. — А ты чего, тётка, по мне нюни-то распускаешь?

Михайла опять на сына:

— Енька! Ты не забывайся! Клавдя с пелёнок водилась с тобой. Она тебе была заместо покойной матери!..

Енька дуется. Берёт со стола одну бутылку, другую — обе пусты. Сердито бросает бутылки под лавку. Фрося толкает под столом Енькину ногу и что-то шепчет ему на ухо. Енька отмахивается:

— Ладно, об этом потом уговоримся.

Терёша с Додоном сидят в мастерской за верстаком. Притихнув, через дощатую перегородку они внимательно слушают, перемигиваются и весело улыбаются.

— Кажется, у Еньки с отцом ладу не будет, — тихо говорит Терёша.

— Ничего, помирятся, — отвечает Додон, — это самогонок заговорила; трезвый Енька притихнет, я ведь знаю его телячий характер.

— А нам наплевать, хоть зубами грызитесь.

— И то верно, только они не перегрызутся.

Гости, поблагодарив за угощение, выходят из-за стола. Супруги ложатся отдохнуть за шкафом. Их логово задёрнуто прокоптевшей ситцевой занавеской. Взволнованный и полупьяный Михайла, провожая за ворота гостей, говорит Прянишникову:

— Прощу прощения, Афиногеныч, ты не сумлевайся, упрыгается сынок, объезжу я его. Поживёт с недельку — не то запоёт. Вот увидишь. Счастливо ехать, вперёд милости просим...

Как сказал Михайла, так и вышло.

Живёт Енька у себя дома неделю, другую. Клавдя и Фрося каждый день подкармливают его блинами с коровьим маслом, саламатой, оладьями, жирными щами с говядиной. Енька розовеет от хорошей кормёжки, в разговорах становится гораздо любезнее. А когда начинает таять снег, отец говорит сыну:

— Еня, пойдём-ка сегодня ночью «клады» с места на место перехороним.

— Какие клады?

— Пойдём — увидишь.

Две ночи под ряд Михайла с Енькой роют лопатами снег за сеновалом, за баней. В одном месте мешки с

рожью, в другом — с пшеницей, в третьем, в четвертом — кожи выделанные. У Еньки от радости сердце, как воробей, трепещет.

— Тятя, и много у нас такого добра?

— Хватит, сынок! Ройся лопатой глубже, там ещё кромовые шкурки есть.

— Ну и ну! А я думал — без меня ты хозяйство прахом пустишь. Да тут кожевенного товару шей — не перешьёшь, пар на двести!

— Больше, сынок, больше. Подальше всё это перепрятать надобно; говорят, большевики-то всех мало-мало богатеньких перетрясти собираются, на армию добро наше хотят забрать.

— Верно, тятя, верно.

— А то как же, сынок, сам знаешь: подальше положишь — поближе возьмёшь.

В мастерской Додон и Терёша теснятся. К ним присоединяется Енька. Михайла попрежнему занимает хозяйский угол.

Енька, довольный тем, что в годы войны отец его порядочно поднажился, сияет от удовольствия, подшучивает над Терёшей, заигрывает с Фросей, с отцом обращается ласково:

— Тятенька, дай мне для перьяначалу крюки между-мерок, на подростка, — давно не шил больших, как бы не испортить.

— Ой, что ты, сынок! Мастер из тебя выйдет, дай бог, не хуже Додона.

— Это ещё посмотрим — вподзадор говорит Додон, — меня ни рукодельем, ни весельем твой Енька не осилит. Да я и Терёшу обучу так, что не перескочить!..

Енька не сердится, а, взявшись за дело, решает блеснуть — шьёт, не торопится. Иногда распевает новые песни, какие слышал и заучил от товарищей на фронте. Все сидят молча, а он то пищит, то хрипит на разные лады:

Хорошо тут вам на воле  
Слышать ласковы слова,  
Посидели бы в окопе,  
Испытали б то, что я...

Михайла бросает работу и жадно ловит каждое слово песни о тяжёлой солдатской жизни.

Посмотрите в ту долину,  
Где недавно бой кипел,  
Вы увидите картину —  
Сколько крови, груды тел,  
Там лежит солдатик бедный,  
Не ушёл он от беды,  
От потери крови бледный,  
Тихо просит он воды.  
Тут коляска подкатилась  
С флагом Красного креста,  
В белом платье появилась  
Милосердная сестра...

— Ну, какова песня? — спрашивает Енька Додона.

— Песня-то ничего, да вот голосок у тебя неважнецкий, соль-мазоль, как у простуженного пономаря. Разве так поют песни! Вот как поют!

И Додон залихватски тряхнув головой, запеваёт звонко:

По Рассеюшке-матушке шлялся,  
Много горюшка я испытал,  
С малых лет боровством занимался,  
Иногда за решёткой бывал...

— Эх, да не годится теперь эта песня, и я другой человек, в труд ударился, и время наступило не для таких песен. Поживём — иначе запоём...

Недолго пришлось радоваться Еньке, недолго пришлось жировать на особых харчах и нежиться с Фросей, недолго и Михайла наслаждался песнями и близостью своего единственного сына. Едва Енька успел сшить Фросе башмаки — один каблук выше другого, чтобы хромота была не очень заметна, — как ему из военкомата нарочный принёс повестку:

«Дер. Попиха. Е. М. Чеботарёву.

Предлагаю сдать в военкомат в 24 часа винтовку с принадлежащими к ней патронами и самому явиться для направления в воинскую часть.

*Вовнком В. Чекмарёв, 25/IV—18 г.»*

Опять беспокойство в семье Михайлы, Енька сразу похудел. Сгоряча порвал документы, ругался, что новая советская власть не даёт ему спокойно жить дома.

— Какое мне дело до войны и разрухи! Пусть, кому надо, дерутся, а мне своё хозяйство и своя жизнь всего

дороже. — Достал из-под карниза припрятанную винтовку, патроны достал. — Не отдам я им патронов, сам израсходую, все до одного выпалю!.. Пойдём, Терёшка, и тебе дам целую обойму, поучись стрелять.

Терёша рад-радехонек. Вышли в огород, от изгороди до амбара отмерили двести шагов. На воротах амбара углем начертили две равных мишени. Михайла увидел в окно, куда Енька целится, застучал кулаком по крестышу рамы:

— Эй, вы! Не видите, что ли? На воротах крест выжжен, разве можно? Бога побойтесь!..

Енька послушно отнял от плеча винтовку. Мишени углем нанесли левее креста, на стенку амбара, и началась пальба. На выстрелы прибежали ребята, мужики. Турка возмущённо говорил:

— Зачем зря добро переводишь? Весной бы гусей на озере из этой штуки промышлять. Чем амбар-то тебе досадил?

— Не видать мне весны здешней, — повестка пришла...

— Вот оно что! Ну, тогда тем более патроны пригодились бы.

Пули изрешетили две стены амбара. Внутри амбара оказались изуродованные пулями старый двухведёрный самовар и четыре цинковых тары из прянишниковской маслодельни.

— Вот как здорово берёт! Это не то что дробовик! — восхищался Терёша и с гордостью рассказывал ребятам, как приятно стрелять из винтовки, как она здорово толкает в плечо и как долго звенит в ушах от каждого выстрела.

Ему нельзя было не позавидовать. Шутка ли, из настоящей винтовки пять раз пальнул!..

Когда все патроны были израсходованы, Енька спустил ручную гранату в колодец, а винтовку подал отцу.

— Тятя, ружьё отвези в село сам и скажи про меня — дескать, здоровье не позволяет ехать на службу, в поправке сильно нуждаюсь...

Две недели хитрил Енька, больным прикидывался. Придёт Турка или кто другой из соседей, а Енька шмыгнёт за шкаф на кровать, лежит и стонет. Не до песен ему в эти дни было.

Не жизнь — одно беспокойство.

Однажды из волости пришёл милиционер Дробилов, высокий детина с большим шрамом на лице. Обследовав «больного», заворчал:

— Никакой болезнью от тебя не пахнет. Собирайся, а то скоро будет декрет — зlostных дезертиров к стенке! Покурить есть?..

— У отца спроси, я не курю.

Михайла на резкость милиционера оказался весьма отзывчив. Высылав ему в кисет два стакана табаку-самосаду, шепнул:

— Кури на здоровье, да нельзя ли, господин товарищ, ещё сынку отсрочку дать?

— Мне не жалко, пусть «поболает», — одобрился Дробилов, но посоветовал съездить в село к врачу, взять справку.

Догадливый Михайла в тот же вечер запряг лошадей в длинные каргопольские сани. Енька лёг в растяжку, овчинным одеялом накрылся. Подъехали к квартире, где жил знакомый Михайле врач. Он долго осматривал Еньку, живот щупал, грудь выстукивал, в рот заглядывал. Сходил на кухню помыть руки и, увидев на столе большой кусок коровьего масла, что положил Михайла, добродушно улыбаясь, сказал:

— Что ж, состояние больного не столь опасно, однако постараюсь написать рецепт.

— Вот и отблагодарствуем, — заискивающе поклонился Михайла, — да будьте добры, печаточку поставьте.

— Можно и печаточку.

Врач ухмыльнулся и, присев к письменному столу, на длинном клочке бумаги неразборчивой латынью написал таинственные слова.

Если бы Енька знал латинские буквы, он прочёл бы следующее:

«Е. М. Чеботарёв—военнообязанный. Пригоден к службе в пехоте и способен к физической работе. Аппетит выше нормального. Умственные способности ограничены в меру. При разговоре с ним выявилось полное отсутствие желания служить советской власти, а посему считается целесообразным направить в ваше распоряжение с настоящей характеристикой.

*Врач Из. Григорьев».*

— С этим «рецептом» ступайте к комиссару Чекмарёву для оформления, — сказал врач, — всё будет в порядке. Да, кстати, подарки мне брать не полагается, но

и от масла в наше время отказываться не хочется. Что ж, сколько тут будет?

— Пустяки, фунтиков пять, — ответил Михайла.

— Вот получите по керенке за фунт, цена выше твёрдой.

Михайла пробовал отказываться от таких пустячных денег, но врач решительно настоял.

На другой день Енька, без зазрения совести притворяясь хворым, явился в военкомат к Чекмарёву с запиской врача. Комиссар был достаточно грамотен, разобрался в латыни, еле сдерживаясь от смеха, прочёл записку и спрятал её в папку, а Еньке приказал—завтра же в девять часов утра быть в уездном городе Кадникове, где группировалась воинская часть...

Провожали Еньку в этот раз поспешно и не совсем трогательно. Додон с Терёшей не встали даже со своих мест, делали своё дело, как будто в семье Чеботарёвых ничего особенного не произошло. Лишь тётка Клавдя в соседней комнате за заборкой голосила.

Фрося, крепко охватив Енькину шею, всхлипывая, спрашивала:

— Еня, случится ребёнка родить, как назвать-то?

— Называй хоть горшком, только в печь не ставь.

Михайла старательно приклеивал к иконе тоненькую восковую свечу. Благословляя сына, наказ давал:

— Во имя отца и сына и святого духа... Случится воевать с белыми, что за царя идут, норови, дитяtko, к ним в плен попасть,—бог даст, останешься живёхонек и греха на душу не примешь...

Уехал Енька, как будто и не было его. В избе стало светлей и просторней.

## XXXII

... Между тем время быстро двигалось вперёд. Горопливо, словно спеша пополнить армию, вырастали попихинские и других деревень ребята. Терёша выглядел значительно старше своих лет, и был он крепче и здоровей товарищей-сверстников. К пятнадцати годам даже голос его изменился, окреп, перестал быть мальчишеским. Во всём, не только на работе, но и на гуляньях, в людях, хотелось подражать взрослым. В летние воскресные и праздничные дни Терёша выходил с ребятами на ши-

рокие деревенские гулянки, как мог, принаряженным, и неизвестно, чем от него больше пахло — дёгтем или дешёвым душистым мылом. Волосы, стриженные под горшок, он украдкой от дяди Михайлы обильно смачивал из лампы гарным маслом и надвое расчёсывал по середине двусторонним роговым гребнем. Вышитую с узорами по вороту и подолу рубаху подпоясывал случайно приобретённым солдатским ремнём с медной бляхой. Даже полосатые из чёрной материи штаны, с напуском на голенища, были на нём таковы, что не стыдно показаться где угодно. А про сапоги и говорить нечего — новенькие, целенькие, без единой заплаты, от первой стёжки и до последнего гвоздя самим сшиты! Да это не просто сапоги, это профессиональная цеховая гордость сапожника, это своего рода производственная проба — сердце радуется. Значит, он уже не просто Терёшка, значит, пригоден он не только на побегушки и подергушки, — ему, как самостоятельному, теперь честь и место в любой мастерской у любого хозяйчика. Да что у хозяйчика, — быть может, он, сирота бездомный, подрастёт ещё, приглянется одинокой, в чьей-либо небольшой семье холеной девке и... посватаются к нему: «Терентий Иванович! Не желаете ли войти приёмышем в дом и семью к невесте; хотите, так на выбор — хоть к Вальке, хоть к Наташке, которая по характеру приглянется?» — «Подождите, подумать надо», — скажет он степенно, как взрослый и понимающий, что тут не на пожар, спешить нельзя.

С такими мыслями шёл он однажды в июльский погожий день на гулянку к качелям, где много-много было нарядных девчат и не так много ребят, сильно сократившихся в числе за годы войны. Он шёл с книгой, а книга была преинтересная, про сахалинских каторжников, со множеством иллюстраций, автора Дорошевича. Эту книгу только что привёз в деревню вернувшийся из далёкой Сибири бывший каторжник и поселенец Николай Серегичев, у него взял её Терёша почитать. В книге много было жутких рассказов о преступниках, но мало было рассказано о причинах преступлений. Терёше хотелось прийти на гулянье, уединиться в кружок с группой желающих ребят и вслух почитать уже частично ему знакомую увлекательную книгу. Он шёл к качелям за речку Лебзовку с этим добрым намерением. Шёл он не

спеша, осмотрительно ступая и почти не сгибая ног, — как бы не помять и случайно не запылить новенькие, налощённые, крепкие, широконосые, с рантом и на высоких модных каблуках сапоги. Он любовался на свою обувь и как на праздничный наряд и как на произведение своих рук. Любовался и, будучи застенчив, стеснялся, что сапоги слишком форсисты, не по нему: как бы не пришло девкам в голову высмеять его едкой частушкой. А девки — народ злосыкий, зубоскальный. Берегись!..

Он подходит ближе к месту гулянья: шум, гармоника, песни. На высоченных еловых козлах перекладины, на перекладинах толстые бечевы с беседками. Качели в ходу. Кто сидя, кто попарно стоя, с гиканьем взлетают выше перекладин. В этом и прелесть вся: раскачаться так, чтобы через перекладину все деревни с высоты увидеть.

— И, эх! Боровиково видать!

— Эх, Кокоурево!

— Поддай, поддай, чтоб Зародово увидеть!..

В стороне от качели хоровод девчат. Луговина приотптана и усыпана шелухой подсолнуха. Место для хороводов и пляски гладко, как гумно. Слышит Терёша, кого-то из ребят девчата на зуб взяли:

Миленький, часы на вас,

Какое время, какой час?

— На мне неверные часы—

Одна цепочка для красы!

Ой! У милёнка нет часов,

Повешу белу репку.

Белу репку для красы,—

Подружки, думайте: часы!..

«Хорошо, что не меня это касается», — подумал Терёша.

И только подумал, вдруг из толпы девчат возглас:

— Девоньки, смотрите-ко, Терёшка Чеботарёв вышагивает, будто ощупью.

— Ой, да сапожки-то по ножке, чики-брики — не сапоги! Полюбуйтесь-ко!..

— Да и с книжечкой, будто наставник!..

Терёша не знает, куда деваться. Чувствует прилив горячей крови к лицу, хоть сквозь землю провались

и с сапогами. Вздумали выручить свои попихинские ребята — Менуховы Серёжка и Костька. Подбежали к нему, взглянули на сапоги, пальцами щёлкнули.

— Молодец! Хорошо сработаны! Знаем, сам шил. Пусть другой так сошьёт. Качать его! С обновой качать!..

Терёша беспрекословно засунул себе под ремень сахалинских каторжников Дорошевича и, ухватясь за бечевы, прыгнул на беседку.

— Качай, ребята!

Взмах кольев по бечевам с двух сторон — и Терёша, с шумом разрезая воздух, начал взлетать выше перекладкины.

Дух захватывает, сердце замирает, но ничего, не страшно, какое-то приятное ощущение разливается по жилам, а цепкие пальцы словно впились в бечеву, и берёзовая, из старого санного полоза, полусогнутая беседка будторослась с ним.

— Поддай ещё! Не испугаешь!..—кричит он с высоты.

— Какая это книга у тебя под ремнём?—спрашивает Серёжка Менухов.—Не песельник?

— Нет, не песенник, — отвечает Терёша, сжимая бечевы и замедляя качку. — Занятная, ребята, книга, кокоуревский каторжник Николай Фёдорович Серёгичев дал почитать.

— Почитаем?!

— Почитаем.

— Слезай давай.

Терёша хотел с шиком и форсом сразу затормозить и остановить качку, для этого он слегка спустился с беседки и решительно скребнул каблуками о землю. И тут случилась непростительная оплошность. Оба лаком покрытые новеньких каблука с выбитыми железными шпильками буквами «Т» и «Ч» на набойках разом отлетели от подошв и покатались, точно два мышонка побежали в траву..

Чорт поberi! Да, кажись, лучше бы в эту минуту оборвалась снасть пеньковая, лучше самому разбиться вдребезги, ударившись об еловые козла. Так нет — каблуки!..

Громкий хохот, крик и посвист врезались Терёше в уши.

— Ха, чеботары!

— Ха-ха! Чики-брики полетели!..

А девчат и ребят сотни. Да тут разговоров на год хватит, стыдобушка.

И, не задумываясь, Терёша прыгает — нет, не прыгает, а летит с беседки сажени за три от качели. Почувствовав под ногами землю, во весь дух он несётся к ближним полосам ржаного колосистого поля и там, как коростель-невидимка, нырнув в высокую рожь, бородой, чтоб никто-никому не видел его, изогнувшись в три погибели, не путём не дорогой, полосами да задами — обратно в Попиху.

И, пока он обходом добирался до Михайловой избы, Серёжка Менухов успел занести и положить на верстак оба злополучных каблука.

После этого случая Терёша, не взирая ни на какие уговоры ребят, решил на гулянки не показываться, а в свободные, праздничные дни находил себе укромное место и читал интересные книги.

### XXXIII

Время богато тревожными событиями. В Сибири выступили чехословаки. В Ярославле вспыхнуло эсеровское восстание. С юга угрожали белые, в шекснинских и грязовецких лесах появились зелёные банды. В Архангельске высадились англичане и вместе с белыми двинулись на Котлас и Вологду.

Против тех, других, третьих и четвёртых быстро создавались отряды красных, они уходили защищать Советскую республику.

Началась гражданская война. В волостях вырастали коммунистические ячейки, появлялись продовольственные отряды и зарождались комитеты крестьянской бедноты. Так было повсюду, где существовала советская власть, так было и в усть-кубинских деревнях на Вологодчине. В монастырях Кадниковского уезда — в Лопотовском, Семигородном и Куштском — местные коммунисты организовали сельскохозяйственные коммуну. В коммуну принимали бедноту, пожелавшую трудиться на монастырских угодьях, и даже монахов, догадавшихся безропотно скинуть рясы и от молитв перейти к труду.

Проживавший в Куштском монастыре старец Никодим — он же Николаха Осокин — заблаговременно по-

кинул тихую обитель. Он и с ним ещё десятка полтора дородных трутней, забрав монастырские ценности, перекочевали через лесные верхнетоемские дебри на Пинегу, в древний Веркольский монастырь, и там, на территории северной белогвардейщины, нашли себе пристанище, как оказалось впоследствии, далеко не тихое и весьма кратковременное...

В дождливый день, когда на гумнах приостановилась молотьба и люди с нетерпением ожидали ведряной погоды, чтобы убрать остатки урожая, неожиданно в Попиху прискакали три верховых продотрядника. Привязав лошадей к изгороди под окном Михайлы, они, стуча каблуками крепких солдатских сапог, вошли в избу. Поздоровались, не крестясь и не снимая фуражек.

— Кто здесь хозяин в доме?

— Я, — ответил, чуть растерявшись, Михайла на вопрос продармейца, опиравшегося на карабин, — чего угодно вашей милости?

— Ваша изба, кажись, самая большая в деревне, мы решили здесь провести собрание всех граждан обоего пола. Этот хлопец ваш? — спросил тот же товарищ из продотряда, указывая на Терёшу.

— Мой племянник, на воспитании.

— А чего его такого воспитывать? Женух-парень.

— Ну, называйте, как знаете, — робко согласился Михайла.

— А этот? — спросил другой продармеец, кивая на Додона.

— Он сам за себя ответчик.

— Ах, так, значит, вы тоже не член семьи, по найму работаете?

— Да так, шью сапоги да ботинки, а зарабатываю хозяину на поминки.

— Шутник, однако.

— Бог весёлых любит, — смело отвечал Додон и как-то по-свойски подмигнул продармейцу.

— Н-да! — протянул тот и обратился к двум остальным, стоявшим под полатями: — Кажись, мы сразу не туда попали. Как по-вашему: здесь проведём или у десятского?

— Можно и здесь.

Терёшу послали созвать всё взрослое население Попихи в Михайлову избу.

Мужиков, баб и подростков собралось более тридцати человек. Смуглый, черноусый продармеец объявил повестку дня:

— Во-первых—об излишках хлеба у кулаков, во-вторых — выборы комитета бедноты, в-третьих — выборы делегата на съезд комбедов... Возражений нет? Принимается. Слово по первому вопросу предоставляется товарищу из продотряда — рабочему сухонской фабрики «Сокол» Наумову.

Названный Наумовым продармеец полчаса объяснял попихинским гражданам, кого советская власть считает кулаком и почему отбирают у них хлеб.

Когда он кончил, Михайла скромно заметил:

— Сдаётся мне, что в нашей деревне таких нет. У меня вон сын где-то воюет, а может быть, как и вы, по хлебной части разъезжает...

Другие молчали, молчал и Алексей Турка, повесив голову и по-своему обдумывая, что надо сказать.

— Ну, так как? Нет у нас кулаков?— снова спросил проводивший собрание.

— Дозвольте слово сказать?

— Говорите.

Турка выпрямился.

— Есть! — и снова сел на лавку, надвинув себе на глаза затасканный картуз:

— Назовите тогда: кто они?

— Я-то назову, у меня духу хватит, а вот пусть другие назовут, — отозвался Алексей на предложение продармейца. — Я хочу, чтоб другие это сказали, а за мной дело не станет.

— Пожалуйста, граждане, говорите.

— Да как вам сказать, чтобы не соврать, — начал Миша Петух, — вот онамедни и я у себя за овином в яме нашёл пять мешков ржи. Я дальше своего брюха спрятать хлебец не мог бы, а вот кто ко мне в яму зарыл, — неизвестно. Поспрашивал-поспрашивал — хозяина не нашлось. Ну, тогда я эту ржицу и мочил и сушил, она вся в плесени, видно с прошлой осени была кем-то схоронена, так что и скотина её не ест. Пудиков двадцать в этом месте кто-то сгноил.

— Значит, есть у вас кулаки?

— Конечно, есть.

— Так. Кто ещё хочет слово взять?

Мужики и бабы переглянулись.

Алексея Турку подталкивали со всех сторон:

— Говори, ты у нас самый зубастый.

— Ладно, чем вас за язык тянуть, мой сам хочет говорить, — бойко проговорил Алексей. — Значит, кулак тот, кто спекулянт, тот, кто прячет и гноит хлеб, тот, на кого работает чужая, наёмная сила. В Попихе на шестнадцать домохозяев таких есть двое: Михайла Чеботарёв — раз, Сашка Приёмыш, Афонькин зять, — два. Почему они, а не я, скажем, не Петух и не кто другой? Потому, что на Михайлу работают двое — Додон и Терёшка — по сапожной части, а летом он ещё прихватывает чужую силу и на покос, и на жнитво, и на пашню, и на молотьбу. Так ведь?..

— Верно.

— А ежели покопаться, так и припрятанное у них кое-что найдётся.

Михайла не вытерпел, сорвался с места:

— А ты мне помогал наживать?

— Это не вопрос, не перебивай, дай говорить соседу! — оборвал Михайлу продармеец и, обратясь к Турке, спросил: — Как ваша фамилия, гражданин?

— Вы, товарищ, не поворачивайте внимания на наши фамилии. У нас победней которые, тех по-уличному прозвищами вечно кликают. Меня вот Туркой прозвали, будто я на турку похож. Этого вот — Петухом, за то, что, бывало, пьяный он запоёт песню и глаза закроет, что петух настоящий, а этого Сухарём величают, сами видите, почему — иссох, как солдатская вобла. Так и далее. Я не про то, про Афонькина зятя хочу сказать. Я человек прямой и таить не хочу, а от советской власти таить, от товарища Ленина, который с малых лет за свободу борется, я не в силах и не в интересах... Афонька и его зять Сашка Приёмыш по богатству не уступят Михайле. Они и поторговывают, краденое тишком перепродают. Излишки хлеба у них найдутся...

У продармейцев разговор по первому вопросу долго не затянулся. Послушали и записали:

«Выявленным кулакам деревни Попихи в трёхсуточный срок обеспечить сдачу излишков хлеба на продпункт в Устье-Кубинское в размере: М. Чеботарёв — 150 пудов ржи и ячменя. А. Приёмышев — 140 пудов. В случае несдачи конфисковать имущество, а домохозяев отправить на окопные работы».

При решении следующего вопроса кулаков лишили голоса: они не имеют права выбирать в комбеды.

— Деревенька ваша небольшая, — сказал один из продармейцев, — за исключением двух кулаков, пусть все входят равноправно в комитет бедноты и выберут себе председателя комбеда и в помощь ему секретаря, чтобы тот писал и бегал в совет в случае надобности. Итак, кого в председатели?

— Алексея Турку, кого же больше?

— Не гоже! — крикнул один из Менуховых. — Он в грамоте ни в зуб ногой.

— Будет секретарь у него, можно из подростков.

— Васю Сухаря! — выкрикнул кто-то.

— Что вы! — отклонил Додон. — Моё дело сторона, но я не советую: у этого грамотность не к месту — ведь в комбедке псалтырь читать не придётся.

Продармейцы засмеялись. Сухарь смущённо стал отмахиваться:

— Избави бог! Да я ни за какие блага, да что вы...

— Турке тут честь и место, он и за бедных, где надо, слово закинет, а богачам спуску не даст, — высказался Косарев Федя и, обращаясь к женщинам, сказал: — А вы чего, бабы, воды в рот набрали? Где так бойки, а тут молчите! Да вам-то нынче и говорить: всю жизнь на сходки вас не пускали, а теперь вы равноправные гражданки! Ну, как, люб вам Турка в председатели?

— Люб, — застенчиво ответила вдова Лариса Митина.

— Ну, а чем он люб?

— Как чем? Известное дело, как сосед он по справедливости всегда и никого не обижает, хоть и резок бывает...

— Да ты встань и скажи речь, чего за спины других прячешься!

— Ой, неохота вставать да свои «лисьи меха» показывать, — краснея ответила Лариса, однако с лавки поднялась и, распахнув трёпанный казачишко, заговорила: — Не смотрите, солдатики, на меня — из моей одежды во все дыры пух лезет, будто ястреб курицу исколошматил. Вся обносилась в лоск, и закропать дырём нечем, да и некогда: то с ребятишками, то с телятишками, сами знаете...

— Вы, гражданка, о деле поворите, о деле.

— Ясно, о деле, — продолжала ещё бойчее Лариса, — без мужика-то каково, да любая на моём месте голову себе бы свернула, а я держусь и только толстею, вот же и поди.

— Гражданка Митина, вы не о том речь держите, — перебил её продармеец. — Скажите, кого бы вы хотели председателем?

— Коли нам, бабам, ныне воля дана, да нас стали спрашивать, так я опять же скажу, — Турку, а писарем ему Терёшку — бойкий парнишка, и Алексей его любит, как родного, это все скажут.

— Правильно, Лариса!

— Пусть Турка верховодит по совести!..

Лариса, ободрённая возгласами, ловко высморкалась в уголок холщёвого передника и продолжала:

— Турку мы и желаем. По деревне его бедней, пожалуй, ищи — не найдёшь. И не от лодырства это, а всю жизнь человеку развернуться не на чем. Земли — одни борозды да межи; скота — один кот, да и тот кривой. За этот год у Турки в избе с голоду все тараканы подошли. Опять же он и при царе, бывало, перед начальством не больно-то гнулся. Как сейчас помню: на Заднесельской лошадиной ярманке староста Прянишников ведёт жеребца, будто писаную картинку; на груди у жеребца бархатный передничек с кисточками, на передничке четыре медали. Енерал — не лошадь!.. Турка тогда руку под козырёк сделал, лошади честь отдал. Прянишникову это полюбилось, хотел с ним за руку поздороваться — так нет, Турка руку за спину себе спрятал и говорит: «Сам выслужись, как жеребец, тогда и тебе козырну». А где Прянишникову этак выслужиться, от евоного жеребца, может, сто кобыл ожеребилось..

Собрание грянуло хохотом. Когда смех и хохот стихли, руководитель собрания спросил Алексея Турку:

— Скажите, гражданин, поскольку обсуждается только одна ваша кандидатура, как вы смотрите на должность председателя бедноты?

— Безусловно и правильно! — ответил Турка.

— То есть?

— Значит — я кандидатура, то не беда, что неграмотный. Согласно декрета при новой власти обучусь самосильно читать, а может и писать. А считать я и сию минуту любому конторщику не уступлю — и на счётах, и в уме, и на весах, и на безмене, знаю меру:

Терёшу беру себе в помощники, он пусть меня обучает грамоте. А в остальном моя рука — владыка. В деле всяких распоряжков потачки кулакам не будет. Самогонки варить не позволю. Дезертиры заведутся — выкурю. Что прикажут у кулаков отобрать — отберу. Будет льгота какая бедноте, пожалуйста, получайте, ничего не скрою и себе лишнего не возьму. Хоть и говорят, что своя рубаха ближе к телу, однако про меня не скажут добрые люди, не упрекнут в чём-либо нехорошем. Я всю жизнь у всех на виду. Вот Додону я и вчера говорил: «Хватит спину гнуть на хозяина, валяй добровольцем в Красную армию». Он вроде бы задумался и обещал пойти на Архангельский фронт. Мои годы за пятьдесят, а то бы и я пожалуй... А тупо будет — пойду и повоюю. Ленинские декреты Терёшка читал нам, они нашему брату наруку. За такую власть будем крепко-накрепко стоять...

Алексея Турку избрали председателем комбеда и его же единогласно постановили послать на съезд бедноты Московской области, так как в Петрограде съезд бедноты Северной области уже закончился. После собрания Алексей почувствовал себя моложе лет на десять. Ему было приятно и радостно от того, что при советской власти почёт не кошельку, не богатому человеку, а таким, как он, добивающимся правды, незаметным, простым людям.

На другой день он собрался в Москву. Привернул к Михайле, строго ему приказал:

— Хлеб где хошь наскребай, а чтоб было отвезено сто пятьдесят пудов, как одно зёрнышко!

Михайла, мрачный, сидел скрючившись, поджав живот, ничего не делая.

— Могилу подо мной, стервец, роешь? Рой, рой, только сам в неё бухнешься. Как знать, может, мой Енька комиссаром будет — вот тогда ты, насильник, не возрадуешься.

Турку это не задело.

— Знаем мы твоего Еньку; брюхом он на службе, а душа к пяткам пристала, как бы скорей до дому податься да за Фросину юбку спрятаться. — Обратясь же к Терёше, Турка сказал: — А ты, Терёша, не прозевай, будут какие бумаги из волости, принимай и неси ко мне на фатеру; там под божницей есть место, так ты бумаги те шилом к стене знай притыкай. И скажи Анюте

моей, чтоб она теми бумагами горячий хлеб не накрывала, иначе нам с тобой не разобрать будет, что и написано. И ещё мой тебе указ: если кулаки-обложенцы хлеб за эти три дня не свезут в село, беги в совет к самому председателю...

Клавдя, слушая Алексея, простонала:

— Господи, что делается... Ой, Турка, Турка, парнишку-то, сироту, в преисподнюю затащил!

— Клавдя, не стони, матушка, мы по миру не пойдём, — гордо проговорил Михайла. — А вот ихние комбеды от беды не уйдут.

Терёша сидел насупившись. Сегодня он достаточно наслушался ругани от Михайлы, хныканья от Клавди и воркотни от Фроси за то, что он связался с Туркой, и за то, что он теперь вредная заноза в Михайловой семье. Турка без слов понял это и сказал:

— Если тебе здесь тошно, переходи, парень, с житьём ко мне, найдём чем прокормиться.

— Ладно, там видно будет, — вздохнув, ответил Терёша, — а что просишь, всё сделаю. Я вон уже и чернил из сажи в кипячёном молоке приготовил — лучше настоящих. Поспрашивай-ка в Москве перья номер восемьдесят шесть, а то писать нечем.

Заметив, что Додон сегодня в мастерской отсутствует, Турка, закуривая перед уходом цыгарку, спросил:

— Где у вас главный мастер?

— Тебе больше знать, — буркнул Михайла.

— В военкомат ушёл заявляться, — ютевил Терёша, — он здесь уже не работник, расчёт взял.

— Так-то оно и лучше. Под тридцать годов человеку, такому обязательно вставать под ружьё. Да и ты, Терёша, пожалуй, скоро погодишься — у тебя кость широкая, голова лобастая. Который тебе?

— С февраля шестнадцатый.

— Ого! В твои годы я девок не боялся. Ну, счастливо оставаться!..

Из-за двери ещё крикнул:

— Хлебец-то, Михайло, отвези, чтобы хуже не было!..

#### XXXIV

Положив в мешок три карава хлеба в дорогу, Алексей Турка до Вологды шёл пешком. Стояли первые заморозки, пароходы от села по Кубенскому озеру и Сухоне не ходили.

По промёрзшим просёлкам идти было легко. Свежий морозец пощипывал щёки. Тонкий слой первого снега еле-еле покрыл зелень озимых посевов. На озимях и нескошенных луговинах серебрилась густая изморозь. Снежок звучно хрустел под ногами пешехода. На промёрзших гумнах, у пропахших дымом овинов, чередуясь в четыре цепа, бабы, одетые в короткие ватные кацавейки, старательно домолачивали остатки собранного небогатого урожая.

В деревнях, на сухих песчаных пригорках бородатые старики и крикливые, но уже способные на хозяйские дела ребяташки хоронили от мороза в глубокие ямы семенной картофель. Между деревнями на пустошах, в оголённом кустарнике поднимались стаи рябчиков. В придорожных рощах стучал топор дровосека, заготавливавшего дрова к подошедшей вплотную зиме. На прогалинах, около стогов, огороженных ивовыми прутьями, петляли зайцы, запутывая свой след от изнемогающих от лая незадачливых, обленившихся за лето собак. Кое-где в попутных деревнях Турку встречали знакомые мужики. Заметив на его лице веселящую свежесть, прилив добродушного восторга и нескрываемой радости, они спрашивали:

— Куда, такой довольный, мчишься, Алексей?

— В Москву! Куда же больше?

— Вот как! Видать сильно понадобился там?

— А что вы думали? От исполкома предписывающую бумагу дали. Один-единственный от нашего сельского общества топаю.

— Ну, увидишь Ленина, заложи и за нас словечко. Да на обратном пути заверни, хоть расскажешь про Москву.

— Ладно, ладно, — соглашался Турка и шагал упрямо и быстро, не чувствуя в ногах усталости.

Не часто Алексею приходилось бывать в губернском городе, а о Москве он имел представление как о далёкой и сказочной столице. Его до крайности удивило, что от Вологды до Москвы так близко. Вечером сел в вагон, с устатку сразу уснул и проснулся в Москве!.. И когда ему сказали на Северном вокзале, что это Москва, дальше поезд никуда не идёт, Турка сначала подумал, что над ним шутят.

Шумная Калачовская площадь с тремя вокзалами и беспрерывно снующими трамваями поразила Турку. Пол-

сотни лет прожил он в Юлихе. Пять-шесть раз бывал в Вологде на базаре, и никогда ему в голову не приходило любопытствовать,—да и не было в этом нужды,—где находится Москва?.. Знал Турка, что от Устья-Кубинского до Питера баржи с досками по каналам и рекам тянутся не менее месяца; думал, что и до Москвы расстояние измеряется таким же способом и временем. А тут, оказывается, как скоро можно попасть в Москву! Ему приходилось бывать на ярмарках в Белозерске, Кириллове и Каргополе, и пока едешь до этих древних северных городов, по сельской бездорожице — сломаешь два ската колёс и пройдёт дней пять. Нет, не в пример этим городам близка Москва! А сближают её, как сердце России, со всеми городами многочисленные железные дороги, отовсюду ведущие к ней.

Москва праздновала первую годовщину Октябрьской революции.

Турка попал в водоворот многолюдной демонстрации. Вместе с такими же приезжими, как он, деревенскими делегатами на улице втиснулся в рабочие колонны и целый день 7 ноября ходил с ликующим народом, слушал песни, бодрые возгласы. Турка с увлечением глядел на серые высокие дома, дивился, как могут жить люди в такой тесноте, и, чтобы не запутаться в московских улицах и одному не искать общежития где-то на Садово-Каретной, Алексей всё время держался около звенигородских мужиков, которые не плохо знали Москву. В светлом зале графского особняка, сплошь заставленном никелированными койками, он в первый раз в своей жизни лёг спать на постель, покрытую простынёй и таким лёгким и тёплым одеялом, что Турка невольно подумал: «Не иначе — тут год назад спали княжеские гости».

И хотя за день он очень устал, но уснуть долго не мог, так как на соседних койках лежали делегаты из подмосковных деревень и оживлённо разговаривали.

Одни делились своими сегодняшними впечатлениями. Другие рассказывали о своих деревенских делах, о борьбе с кулаками, о конфискации и реквизициях, о коммунах, организованных на усадебных землях. В общем шуме разговоров Алексей услышал, как несколько представителей комитетов бедноты говорили о том, что им сегодня посчастливилось видеть Ленина и слышать его речь на открытии памятника Марксу и Энгельсу.

Обращаясь к соседу, Алексей сказал с глубоким сожалением:

— Везде-то мы с тобой выходили, у меня ноги ноют, будто не свои стали, — а вот туда, где Ленин речь говорил, мы и не сходили.

— Туда бы нам всё равно не пробраться: народу в той стороне много было. Ничего, не горюй, думается мне, что Ленин на таком собрании, как наше, должен выступить, об этом поговаривают, — успокаивающе говорил сосед Алексея, делегат из Звенигородского уезда.

— Вот бы хорошо-то взглянуть хоть одним глазком на Ленина да послушать его!

Поздно за полночь притихло, успокоилось общежитие делегатов комитетов бедноты.

Наутро Алексей Турка мылся, не жалея воды. Чай пил с сушёной воблой. Не очень-то сыто в тот год жила Москва. Деревенские гости — делегаты понимали это и не обижались.

Не робея и не подавая вида, что Москва ему кажется в диковину, Алексей впервые вошёл в переполненный трамвай и поехал вместе с делегатами.

В огромном зале, где происходило совещание представителей комитетов бедноты, Турку удивило то, что в этом помещении нет окон, а всё же очень светло: горело множество электрических свечей, переливали радужным цветом хрустальные подвески у люстр.

Алексей занял место впереди, у прохода. От мысли, что, может быть, он скоро увидит и услышит Владимира Ильича, как-то по-особенному билось сердце и не сиделось спокойно. Не успел президиум занять свои места, в зале — точно бы взлетела стая куропаток, захлопав крыльями, — раздались под высокими сводами звуки рукоплесканий, затем они, всё усиливаясь, уподобились раскату грома.

— Ленин, Ленин! — взволнованно заговорили в рядах делегаты.

Алексей вначале не видел Ленина и растерянно смотрел во все стороны. А Владимир Ильич стоял в проходе между кресел, почти бок о бок с ним, и, приветливо кланяясь, махал рукой, чтобы прекратить аплодисменты.

Когда Алексей увидел Ильича, да так близко, он почувствовал такое волнение, что на глаза его выступили слёзы.

«Родной, вот он какой! — подумал Алексей. — Росту не крупного, а голова — одна ведь такая на весь мир!...».

Владимир Ильич поднялся на сцену. Ему предоставили слово. Люди в переполненном зале смолкли. Казалось — ни вдоха, ни звука. Лишь где-то в вышине, под сводами, чуть-чуть слышно гудение вентиляторов.

Ленин на трибуне. Тысячи глаз устремлены на него; тысячи ушей готовы слушать мудрое ленинское слово. Вот он поправляет чёрный галстук и прячет левую руку за откинутый борт пиджака. Правая рука в движении, в ней свёрнутая в трубочку бумажка. Каждая мелочь, даже серебряный ключик от часов на шнурке, уголок носового платка, торчащий из кармана, — всё замечает Алексей Турка, всё запоминает навечно. По-мужицки слегка проведя рукой по затылку, не развёртывая бумажки, Владимир Ильич начинает речь:

— Организация деревенской бедноты, товарищи, стоит перед нами как самый важный вопрос нашего внутреннего строительства и даже как самый главный вопрос всей нашей революции...

Плавно, уверенно и спокойно льётся стройная, убедительная ленинская речь.

Владимир Ильич говорит перед всеми, а кажется, будто он разговаривает с каждым в отдельности. Он говорит:

— Октябрьская революция поставила себе задачу вырвать из рук капиталистов фабрики и заводы, чтобы сделать орудия производства общенародными и, передав всю землю крестьянам, перестроить сельское хозяйство на социалистических началах...

И дальше Владимир Ильич говорит о необходимости организации крестьян против кулаков:

— Они, кулаки и мироеды, — не менее страшные враги, чем капиталисты и помещики. И если кулак останется нетронутым, если мироедов мы не победим, то неминуемо будут опять царь и капиталист.

Опыт всех революций, которые до сих пор были в Европе, наглядно подтверждает, что революция неизбежно терпит поражение, если крестьянство не побеждает кулацкого засилья... <sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Ленин. Сочинения, т. XXIII, стр. 279—284. «Речь к делегатам комитетов бедноты Московской области 8 ноября 1918 г.».

Турка, прислонив руку к уху, с жадностью ловит и запоминает ленинские слова. Неграмотный, он завидует тем делегатам, которые записывают в тетрадки речь вождя. Но у Алексея крепкая, надёжная память: он схватывает смысл речи и запоминает. И когда Ильич говорит, что «... люди, которые могут во время голода прятать и накапливать хлеб,—злейшие преступники. С ними надо бороться, как с худшими врагами народа», — то Турке становится понятно, что тут речь идёт и о тех, кому он, уезжая из Попихи на совещание в Москву, советовал немедленно сдать излишки хлеба.

Через день речь Владимира Ильича появилась в газете «Беднота». Пачка газет с этой речью в руках Алексея Турки. Вдохновлённый, он возвращается в свою захлавленную Попиху...

В пути, в переполненном вагоне, на верхней полке, ему не спится. Много думается. Думает Турка о том, за что, за какие дела ему взяться: «Перво-наперво, как приеду в Попиху, заставлю Терёшку три раза прочитать в газете ленинскую речь, чтоб крепче она мне в мозги врезалась. А потом собрание соберу и всё обскажу, да ещё от себя добавлю то, что нас прямо касается... Потом мне самому и всем неграмотным за азбуку придётся сесть. До нового года хоть бы все буквы запомнить... Беднячке Ларисе Митиной помочь её ребятишек задарма обути. Кожу отобрать у Афонькина приёмыша, а то и сапоги в готовом виде... Слепого Пимена надо в богадельню определить через Совет... Федю Косарёва и его жёнку, ежели пожелают, следует поселить в запасную избу-зимовку к тому же Афоньке... Политика! — мечтательно восклицает Алексей, ворочаясь с боку на бок на узкой, запылённой полке, упираясь ногами в чей-то мешок, — не маловажное дело! Политикой заниматься — это дело нешуточное», — рассуждает он и продолжает думать о своих ближайших делах...

В Вологде он не захотел выходить из вагона, а промахнул до станции Морженги, самой ближней от Устья-Кубинского, и в холодную ночь пешком по лесным тропам и дорогам направился в Попиху. Ночь была тёмная. Высокий ельник стиснул узкую дорогу с двух сторон и стоял впереди непроходимой стеной. Но так только казалась. Дорога изворачивалась, и лес расступался перед Алексеем Туркой.

Поездка в Москву мелькнула, как дивный сон. Давно ли, всего и суток не прошло, как он видел Москву. Ни конца у ней, ни краю. Большие каменные дома. Кремль. Шумные улицы. Звенящие трамваи с электрическими вспышками... И снова свой лесной Кадниковский уезд. Широкий и разнообразный мир. Давно-давно Турке, со времён русско-японской войны, не приходилось примечать и ощущать такой необъятной широты...

Между тем, пользуясь отсутствием Турки, Михайла и Приёмыш пытались освободиться от хлебного обложения. Они обратились к адвокату, свезли ему много «кереенок».

Низкорослый «защитник» с золотым пенсне на крупном носу мало обещал им утешительного. Однако два прошения на старой гербовой бумаге он им настроил и вместе с жалобщиками сходил в волостной совет и вручил бумаги председателю продкома. Тот, не дочитав до конца, сказал:

— Даю сроку двое суток!—и красным карандашом перекрестил оба прошения.

Михайла набрался смелости, подошёл к председателю и спросил, куда можно обжаловать повыше.

— Повыше? — строго переспросил председатель. — Можете хоть на чердак лезть и жаловаться, хоть на колокольню. Но хлеб сдайте! На народном голоде большевики вам не позволят спекулировать.

Хлеб нашёлся. Три дня Михайла и Приёмыш по два раза с возами ездили в село. Ссыпали зерно на продпункт, в бывший никуличевский лабаз. Обозлённый Михайла не находил себе покоя. По ночам он не спал, бредил, ругался. За три дня до приезда Турки он решил расстаться с Терёшей.

— Легко сказать, а моему карману какво?—рассуждал Михайла.—Сто пятьдесят пудов! За этот хлеб сколько можно бы всякого добра выменять... А что будет, если и дальше так пойдёт? Мало им хлеба покажется—за имущество возьмутся, за коров, за кожи. Нет, спасибо. Додон сам ушёл воевать за эту самую власть. Посмотрим, что она ему даст. Уходи-ка и ты, Терёша, куда знаешь, чтоб и духу твоего не было около меня. Помощничек, нечего сказать, вместе с Туркой за горло готов взять. Кого? Родного дядю, опекуна...

Терёша молча собрался и ушёл. Поселился у Алексея Турки. Попрежнему продолжал работать, но уже не на

опекуна, в котором ему не было теперь никакой нужды, а себе на пропитание. Кое-кто приносил чинить обувь, Алексей охотно уступал ему часть работы. А когда за верстаком делать было нечего, оба уходили на гумно молотить снопы. По вечерам Турка с удивительной страстью и неожиданной охотой брался за букварь, запоминал буквы и скоро с помощью Терёши научился читать заголовки в газетах. Во все комбеды газеты высылались бесплатно. В Попиху ежедневно поступали «Беднота», «Деревенская коммуна», «Красная газета» и «Петроградская правда». Иногда приносили бандероли брошюр и свёртки всевозможных плакатов. Туркина изба превратилась в читальню. Прокопчённые бревенчатые стены были сплошь заклеены красочными плакатами. Рядом с тёмными ликами икон, стоявших на божнице, Алексей, несмотря на возражения своей Аниуты, приклеил тестом плакат с изображением тучного попа, сидящего за самоваром. Сгорбленный нуждой старичок и старушка в лаптях подают попу приношение — курочку и яйца. Над попом слова: «Все люди братья,—люблю с них братья я». По другую сторону божницы — «хлебный паук, кулак-мироед» сидит вразвалку на куче мешков. От кулака во все стороны тянется паутина. Внизу надпись: «Мне какое дело до голодных». Дальше вплотную плакат к плакату—призывные, агитационные: «Вперёд на защиту Урала!», «Грудью на защиту Петрограда!» и на фоне фабричных труб—боец весь в красном, показывающий пальцем на зрителя: «Ты записался добровольцем?». Этот плакат Терёшу наводил на мысль о том, что не пора ли и ему оставить Попиху и итти в военкомат, проситься в Красную Армию. Он чувствовал себя достаточно окрепшим и при случае мог похвастаться, что стрелял из Енькиной винтовки. Алексей одобрял Терёшины намерения, но уговаривал его подождать до весны. К весне Турка обещал по-настоящему осилить грамоту, уверял себя и Терёшу, что станет читать не по складам, а «вразбег», по-печатному и по-письменному.

Убоги и скудны были познания у Алексея Турки. Но, где умом, где чутьём, он понимал народную правду и правоту. Каждый раз, как только получал повестку на волостное собрание, Алексей брал с собою Терёшу. Оба шли в село и там с большим вниманием слушали приезжих агитаторов. Вникали в дела советской власти, чтобы потом у себя в Попихе проводить её линию. На своём

незаметном посту Турка, как и тысячи других председателей комбедов, выполнял всё то, что требовалось для укрепления пролетарской диктатуры. Вместе с Терёшей он выявлял излишки хлеба у кулаков; помогал устанавливать продразвёрстку; собирал для красных обозов фураж. Скоро он и Терёша поступили в сапожную артель, в которую объединилось полтысячи кустарей из разных деревень. Члены артели, каждый у себя на дому, ремонтировали обувь для бойцов Северного фронта.

Неграмотное взрослое население своей деревушки Турка уговорил ходить по вечерам в школу учиться.

### XXXV

Неожиданно большим несчастьем навалилась на Попиху эпидемия тифа-сыпняка. Невидимкою гуляла болезнь по деревне, валила с ног и старого и малого. Первым слёг Афонька Пронин, за ним оба брата Менуховы. Заболели ребята Серёжка и Костька, прихватила болезнь и Турку с Анютой. Терёша не без опаски мочевал у них, спал, не раздеваясь, а утром снимал с себя одежку и весь от головы до пят смазывал себя дёгтем и натирался чесноком. Делал он так по совету Клавди.

Свезли на погост Афоню Пронина. Пять дней ещё Алексей Турка держался на ногах, потом не устоял, свалился.

Недолго пришлось Терёше ухаживать за ним. Чувя приближение смерти, Алексей ему наказывал:

— Умру я. Ноги не носят, и в глазах туман... Умру я,—повторил он слабым голосом,—а ты, Терёша, не обмани меня, иди добровольцем... Бумаги комбедовские отнеси в совет, там сохранней им. Гроб мне сколотите и Анюте, если умрёт. Доски есть на вышке... Гвоздей придётся из крыши надёргать... Вернёшься когда со службы, поставь мне на могилу столбик с надписью: «Жил-был первый попихинский комбед по прозвищу Турка, не дожид до мировой революции столько-то и скончался по причине тифа».

Терёша жалобно посмотрел на Алексея, ответил:

— Умирать-то зачем? Надо выдюжить...

— Нет, Терёша, не выдюжить. — И, закрыв глаза, задыхаясь, Алексей продолжал ещё тише: — Умру — и всё для меня кончится. Был бы тот свет, чем попы морочили нас, разыскал бы я там твоего отца и поклон

от тебя ему передал, сказал бы: «Ну, Иван, Терёшка у тебя большой теперь, воевать уходит...».

Замолчал Алексей Турка, лишь в горле у него хрипело. В тяжёлом раздумье стоял перед ним Терёша, и не верилось ему, что такой мужик, никогда не знавший болезней, вдруг, словно ствол, подрезанный под самый корень, свалится и больше не встанет.

В Попиху приезжал фельдшер, посмотрел на Турку издали и сказал не совсем уверенно:

— Может, умрёт, а если не умрёт — поправится.

Менуховых ребят Костьку и Серёжку завернули в тряпье и отвезли в село в заразный барак, предусмотрительно построенный по соседству с кладбищем. На той же кучой, изнурённой менуховской лошадёнке вскоре отвезли и Алексея Турку в сосновом строганом гробу. Не провожал его Сухарь-начётчик, не до того ему было. Тифозный «скорпион» уложил Сухаря, он лежал с запекшимися губами и, в ожидании своей кончины, перечитывал наизусть всё, что знал из священного писания.

За Туркиным гробом шли только Миша Петух и Терёша.

Тиф, оспа, дизентерия и неизвестная досель «испанка» подкашивали полуголодное население. В тот день, когда привезли на погост Алексея Турку, на паперти скопилось пятнадцать покойников. Пропахнувший ладаном и карболкой поп торопливо совершал отпевание. Когда очередь дошла до Турки, поп спросил проводящих:

— Без исповеди скончался?

— Да, — равнодушно ответил Терёша.

— Может желаете хоронить без панихиды?

— Можно и так.

— Ну, тогда несите в дальний угол погоста, там покоятся скоропостижные и самоубийцы.

Терёша и Петух помесли гроб по указанию попа в отдалённый угол кладбища. Но тут Терёше пришла в голову мысль похоронить Турку рядом со своим отцом.

— Правильно! — поддержал его Петух. — И нести ближе, а главное — им веселее будет. Вместе молодость проводили. Пусть и тут вместе отдыхают...

После Туркиных похорон Миша Петух на менуховской кляче уехал в деревню, а Терёша остался в селе и пошёл в волостной совет. В совете собирали местных

буржуев для отправки на север — рыть окопы. Тут были пришибленный контрибуцией Прянишников, и развязный неунывающий мельник Тоболкин, и много других кулаков с мешками и чемоданами.

Председатель волостного Совета и секретарь ячейки РКП(б) в одной из комнат вели разговор с заводчиком Никуличевым.

Отрывки разговора доносились до ушей любопытного Терёши:

— Да, мы можем освободить вас от окопных работ, но при одном условии: пусть ваш бывший стекольный завод будет вами восстановлен и пущен на полный ход.

— А сырьё? — хрипло спрашивал Никуличев.

— Сырьё достанем.

Никуличев согласился. Потный вышел он из кабинета волостного начальства и даже не посмотрел в сторону кулаков, столпившихся в ожидании отправки на принудительные работы. Лишь в коридоре он шепнул догнавшему его Прянишникову:

— Большевики не без ума: кто на серьёзное дело не способен, тому они дают в руки лопату, а вот меня заставили навести порядки на моём же стекольном заводе.

— И вы согласились?

— Да, — вздохнул Никуличев, — ничего не поделаешь. Я по специальности химик, и мне легче работать за столом, нежели копаться в болотах где-то за Плесецкой...

В обеденный перерыв волостные учреждения закрылись на час. Люди толпились и судачили на улице. В этот промежуток Терёша зашёл в больничный барак навестить менуховских ребят. Его не пустили. Но так как барак был одноэтажный, с окнами, расположенными невысоко от земли, то Терёша обошёл его кругом и заглядывал в каждое окно поочередно, пока в одной из комнат не обнаружил лежащих на деревянных койках Серёжку и Костьку. Оба они были стриженные, высохшие, с мутными глазами и подчёркнутым оскалом ровных, красивых зубов. Терёша слегка постучал по стене. Больные братья попытались встать с коек и не смогли. Терёша долго глядел на них и, грустный, удалился от барака.

«Ужели не выживут? Лучше на войне в бою умереть, чем в бараке от тифа, — подумал Терёша. — На войне — это другое дело. Бей врага, да будь сам осторожен,

глядишь, жив останешься. А убьют — ну, что ж, за такое дело жизнь жалеть нечего».

— Ужели умрут? — снова вслух с жалостью подумал Терёша о своих друзьях-товарищах Серёжке и Костьке.

И пока шёл от больничного барака до военкомата, думал о них и вспоминал своё детство, проведённое в Попихе.

«Жаль, если они умрут, жить да жить надо! Ребята хорошие, а жизнь впереди будет в наших руках...», — думал Терёша, рисуя в своём воображении будущее.

Вспоминая прошлое, он, — так и казалось ему, — видел перед собой весёлых, кучерявых, немножко озорных и всегда добродушных, приветливых Менуховых ребят. Дружил он с обоими; оба были для него дороги и хороши, как лучшие спутники пережитого. И кто знает, были бы они сейчас здоровы, наверно, сговорились бы вместе с ним пойти добровольцами в Красную Армию. А их добрая, заботливая мать — Анна Менухова ни единым словом не поперечила бы этому, да и отец тоже...

В военкомат Терёша пришёл довольно мрачный. Комиссар, высокий, с рыжими усами, в кожаной тужурке, сказал ему:

— Запись добровольцев в Красную Армию будет вечером, после митинга. — И, посмотрев на него испытующе, спросил: — А голову зачем повесил? Робеешь? Тогда жди призыва.

Терёша вспыхнул и бойко ответил комиссару:

— Я не робею. А скучный от того, что сейчас был у больничного барака; наши деревенские ребята умирают. Утром Турку, нашего комбеда, хоронил, тут быть весёлым не с чего. Это у меня пройдёт..

Вечером состоялся митинг. В бывшем волостном правлении собралось много молодёжи. Представитель уездного комитета два часа говорил о том, что такое Российский Коммунистический Союз Молодёжи. Другой, в военном обмундировании, рассказывал о положении на фронтах.

— Товарищи! Советская власть просуществует три недели, может, месяц... — сказал оратор и потянулся к графину с водой. На лицах собравшихся недоумение. Оратор залпом выпил стакан воды и продолжал: — Может, месяц... Так говорили и ещё говорят паразиты буржуи и их лакеи — меньшевики и эсеры. Не верьте, товарищи, заклятым врагам народа. Да, советская респуб-

лика окружена со всех сторон интервентами и белогадами, но она расправится с ними. Мы надеемся на свои силы, мы надеемся на силы международного пролетариата, который поможет нам вытряхнуть непрошенных гостей. На Северном фронте наши красные войска задержали продвижение англичан и ведут наступление. Но мы, большевики, не благодущные, не влюблённые в себя обыватели, мы знаем, что шапками интервентов и белогвардейцев не закидать. Врагам нашим крепко помогает мировая буржуазия, и надо нам, трудящимся, напрячь все силы. Товарищи! Крепите ряды Красной Армии, идите добровольцами на фронт. На Плесецкую, на Двину, на Онегу, на Пинегу. Идите — там горячая работа!..

После митинга, затянувшегося до поздней ночи, проводилась запись в добровольческий отряд. Крепкий, широкий в плечах, с обветренным лицом, выглядевший намного старше своих шестнадцати лет, Терёша Чеботарёв, по его желанию, был записан добровольцем в армию.

На следующий день он уже был готов к отправке в уездный город Кадников. В волостном военкомате собралось человек тридцать молодых, безусых ребят из разных деревень и с усть-кубинских заводов. Добровольцы были в возрасте от семнадцати лет и старше. Моложе Терёши среди них не было. Это обстоятельство его беспокоило: как бы не отчислили! В ожидании отправки он задумчиво сидел в стороне ото всех, слушал весёлый, возбуждённый говор ребят и пожелания провожавших их родственников. К одному из ребят сокрушённо приставала старушка-мать:

— Куда ты, мой рожёный, собрался, на кого ты меня спокинул? На кого я теперь дома полюбуюсь?..

А «рожёный» тихонько улыбался в ответ матери и, несмело растягивая тальянку-черепанку, вполголоса тянул:

Я иду не на гулянье, на пирушку.

Оставляю тебя мать да старушку.

С Красной Армией пойду я походом,

Чтоб покончить навсегда с белым сбродом!..

Терёша смотрел на этого весёлого парня, на его плачущую мать и горестно подумал о себе, что нет у него родных и близких людей, кто бы мог провожать, кто бы мог напутствовать добрым словом в дальнюю дорогу,

уводящую его из серенькой приземистой Попихи, быть может, навсегда. И тут, предаваясь размышлениям, он вспомнил своё детство, которое было безотраднo, не манило его назад и не вызывало сожаления о невозвратном прошлом. Потом он вспомнил Менуховых ребят и решил написать им прощальное письмо. Развязав холщёвый мешок, порылся в нём, достал лист шершавой бумаги—остатки от комбедовской «канцелярии»—и написал торопливым почерком:

«Дорогие ребята, Серёжка и Костяка.

Пишет это вам Терёшка Чеботарёв. До свидания, ребята. Желаю вам выздороветь поскорее. Хотел я вчера, к вам зайти, да не пустили—барак считается заразным. Потому и пишу. Мало я проводил, ребята, с вами время в весёлых гулянках и в шалостях, сами знаете почему, и в одной деревне рос со всей нашей ребятнёй, да как-то на стороне от всего того, что дорого в молодости. Вас, как и других ребят в деревнях, берегли и выращивали родители. А обо мне такой заботы ни у кого не было, и ничего хорошего впереди мне не виделось. Вчера—вот несчастье!—похоронили Алексея Турку, он был мне как овой родной, жаль—не пожил, не дождался счастья, за что борется сейчас трудовой народ. А главное, ребята, вчера же я дал направление своей жизни туда, куда должно быть. Я записался добровольно служить в Красной Армии, того и вам желаю. Поправляйтесь. А дальше, я думаю, так пойдёт: комиссар сказал—месяца два-три под ружьём походим, а потом угодим на фронт...».

На этом письмо оборвалось. Все добровольцы оказались в сборе. Сопровождающий политрук приказал им приготовиться в поход.

«Ладно, допишу в Кадникове, пошлю оттуда».

Терёша бережно положил письмо в самодельный кожаный бумажник, где было несколько обесцененных денежных знаков и переписанные его рукой «Интернационал» и «Марсельеза».

*Конец первой части*



ЧАСТЬ  
ВТОРАЯ

---





## I

Да, не до веселья было ему.

Сегодня Терентий Чеботарёв похоронил на погосте умершего от сыпного тифа председателя комитета деревенской бедноты Алексея Турку.

В комбедо Терентий работал секретарём—помощником Алексея почти целый год. Пользуясь поддержкой бедноты, они выявляли излишки хлеба у кулаков и спекулянтов, боролись с самогонщиками, сообщали в военкомат об укрывавшихся в деревнях дезертирах, руководили разделом земли, делили семенные фонды, да мало ли было и могло быть работы в комбедо!.. И вдруг председатель комбедо, такой крепкий здоровьем, никогда не болевший мужик, сорвался, не устоял против какой-то ничтожной тифозной вши. Терентий помнит, как всего несколько дней тому назад, Алексей Турка, немножечко, только самую чуточку попробовав конфискованного самогона, выделывал ногами завитушки и весело высмеивал это презренное, но грозное насекомое, распространявшее в деревнях сыпняк:

Вошка парилася,  
Да ударилася  
Ненароком —  
Правым боком,  
Вывихнула ножку;  
Схоронили вошку  
Во тесовом во гробу,  
Словно божию рабу...

Невесело было Терентию Чеботарёву даже от этих воспоминаний о своём добром друге.

После похорон Алексея Турки, к вечеру, совсем неожиданно изменился и круто повернул в другую сторону жизненный путь Терентия Чеботарёва.

Он записался добровольцем в Красную Армию. Уходя вместе с другими, как и он, добровольцами в уездный город Кадников, Чеботарёв, казалось, навсегда расставался с деревенькой Попихой, скучноватой и серенькой, где он прожил со дня рождения всего только шестнадцать лет.

Подходила к концу осень тысяча девятьсот девятнадцатого года.

По пути к Кадникову в деревнях, на гумнах, около покосившихся овинов, старики, бабы и подростки домочивали цепами остатки собранного урожая. Ветер срывал последние пожелтевшие листья с деревьев, устилая ими грязную просёлочную дорогу.

До уездного города толпа усть-кубинских добровольцев и мобилизованных тянулась по обочинам грязных дорог днём и ночью. На утро слегка подморозило. Город ещё спал, но на базарной площади вокруг церкви маршировали с деревянными «винтовками» наскоро подготовляемые к отправке на фронт красноармейцы.

Командир сказал вновь прибывшим:

— Не беспокойтесь. Долго вы у нас тут не задержитесь. Месяц-полтора—и будете вояками. Прохлаждаться теперь некогда...

Да, действительно, прохлаждаться не было времени, Терентий это почувствовал в тот же день. С утра их сводили в баню, затем угостили чечевичной похлёбкой, воблой и выдали по два сухаря на человека. Начались занятия. Одна настоящая трёхлинейная русская винтовка на целый взвод. Деревянных было достаточно. Здесь не фронт—можно обойтись и деревянными. Вечером устроили перекличку, и каждого по всем правилам военной канцелярии занесли в список. После отбоя спали на нарах в бездействовавшей церкви рядом с опустелой уездной тюрьмой, на стенах которой аршианными буквами было написано—«Эти стены воздвиг капитал и царизм. Мировая революция сметёт их до основания».

Первая ночь в необычной обстановке кажется очень длинной. Терентий долго не может уснуть, разговари-

вает о том, о сѣм с соседями, лежащими рядом с ним на охапках свежей соломы. Но вот и соседи уснули, ему всё не спится, думается о многом: о войне, о пережитом и о будущем. Между нарами, в проходе посреди пола, под тусклым паникадиллом, при свете копилки сидит один из призывников—дежурный. Чтобы не дремать на посту, он перелистывает какую-то потрёпанную книгу. Изредка, заметив на нарах то там, то тут огоньки цыгарок, дежурный покрикивает:

— Прошу не курить на соломе! — и голос его в ночной тишине звучит под сводами церкви гулко и внушительно.

Наконец, убаюканный храпением двух стрелковых рот, Терентий незаметно погружается в глубокий и крепкий сон. На утро кто-то стаскивает его за ногу с верхних нар, и только тогда он кое-как приходит в себя и к удивлению своему замечает, что он не в Попихе, не на полатях у комбеда Турции. Терентий, быстро спрыгнув с нар, торопливо накручивает холщёвые портянки на усталые от вчерашней ходьбы ноги.

Утренний свет заглядывает сквозь решётчатые окна церкви, отражаясь на мрачных лицах угодников и ангелов, намалёванных на стенах превращённого в казарму храма.

— Чеботарёв! Кто Чеботарёв? — повелительно спрашивает дежурный.

— Я! — бойко отвечает Терентий.

— Сейчас же пойдёшь в караульное помещение, а оттуда на пост, к складу военведа. Получай винтовку и три обоймы патронов.. Караульную службу знаешь?

— Откуда её знать?

— Ну, там, в дежурке, ребята подскажут. Винтовку заряжать, стрелять умеешь?..

— Это могу. Была у нас в деревне у солдата Еньки винтовка-драгунка. Выпалил из той пять раз в амбарные двери.

— Ого! Да ты настоящий вояка! — с похвалой отзывается дежурный и вручает Терентию винтовку и патроны.

— Умыться бы, — говорит Чеботарёв.

— Ступай, ступай. Под дождём будешь стоять, прополоснет как мыло, — весело напутствует дежурный и в списке личного состава против фамилии Чеботарёва делает пометку карандашом.

Раннее осеннее утро. Без передышки моросит ступенный дождь. Капли дождя неумолчно долбят железную крышу трёхэтажного дома и стекают по водосточным трубам, образуя ручейки на вымощенном булыжном дворе. Жильцы этого дома занимают все три этажа. В подвальных помещениях, закрытых на железные засовы, хранится военное имущество. На железных засовах висят сургучные оттиски казённой печати. Часовой Чеботарёв охраняет государственное добро.

Прижавшись к стене, чтобы не так сильно мочило дождём, Терентий думает о том, что вот скоро кончится военная учёба и тогда ему придётся столкнуться лицом к лицу с врагами—интервентами и белогвардейцами.

На каланче пробило восемь.

«Ещё час отстоять, и можно в казарму», — соображает Терентий.

Жильцы дома — уездные служащие — постепенно начинают пробуждаться.

— Всё здесь не как в деревне, — размышляет Терентий, — там уже давным-давно бабы печи истопили, скотину обрядили и мужиков по делам отправили. А здесь сейчас только поднимаются.

С чёрного хода во двор торопливо спускается по лестнице командир роты, низкорослый толстячок Клапышев. Терентий, переложив винтовку с руки на плечо, встал как вкопанный. Клапышев, блестя начищенными сапогами, не доходя пяти шагов до часового, спрашивает его:

— Товарищ, откуда вы взяли такую манеру стоять на посту?

— А разве не так полагается?

— Конечно, нет. Разве вы сможете простоять два часа таким истуканом? Ведь так окоченеть можно.

— Как же стоять, товарищ командир?

— Снимите винтовку с плеча, не подпирайте штыком небо, возьмите и держите её, как вам удобнее. Теперь не старый режим!..

Проводив глазами добродушного командира, Терентий продолжает охранять доверенный ему пост — железом обитую дверь с двумя засовами и висячими на шнурах печатями.

Кадников — невзрачный мещанский уездный городок — расположен в стороне от железной дороги. Говорят, что, когда строили от Вологды на Архангельск эту дорогу,

кадниковские купцы и представители земства поднесли железнодорожному начальству сёмгу с начинкой из золотых пятирублёвок, присовокупив к своему подношению просьбу:

— Оставьте нас, господа, в стороне от великих хлопот, дозвоьте нам не связываться с казной. Веками жили без железных дорог и теперь в ней нужды не имеем, ибо лошадей у нас достаточно...

И строители-инженеры положили на карту линейку так, чтобы не задевать Кадников. Но кадниковским обывателям и купечеству от этого не стало лучше. Шли годы. На Северной железной дороге вырастали станционные посёлки с чайнушками, постоянными дворами, с торговыми лабазами, а уездный городок хирел и чах.

В дни, к которым относится наше повествование, спокойствие уездного городка нарушалось лишь частыми призывами в Красную Армию и военной подготовкой, проводимой здесь с новобранцами и добровольцами.

... В казарме, на окраине города, командир-инструктор Клапышев после тактических занятий собрал бойцов для беседы.

Красноармейцы впривалку сидят на полу. Командир курит и, расхаживая взад-вперёд, думает, с чего и как по новому образцу начать «словесность». Выбросив за окно окурок, Клапышев заводит такую речь:

— Товарищи-братишки, я, конечно дело, не оратор, не мастак говорить речи. Я такой же, как и вы, — свой деревенский, но прошёл военную выучку в старой армии — раз, в учебной команде при советской власти — два. Говорить мне речи нелегко, потому как привычки не имею. Сегодня вот у нас беседа насчёт разницы между царской армией и новой нашей Красной Армией. Ну, кто мне скажет, какая такая разница?

Клапышев обводит глазами красноармейцев и показывает на одного из них, уткнувшегося в книгу.

— Никонов, как по-вашему?

Из взвода поднимается красноармеец в старой шинели, едва достающей ему до колен.

— По-нашему, товарищ командир, раньше били солдата по морде, а нынче не полагается. И опять же воевать: раньше за царя, а нынче наша армия против царей воюет — за рабочих и крестьян.

— Садитесь! А вот вы,—Клапышев смотрит в список,—товарищ Чеботарёв, скажите: правильно ответил Никонов?

Терентий встаёт, поправляет на себе стёганую фуфайку, мнёт в руках фуражку и добавляет:

— И ещё я скажу, что раньше командиры-офицеры были из богачей, а теперь—из рабочих да батраков, и воевать приходится за освобождение трудящихся от капитала. Раньше попы обманывали солдат и всех прочих, а теперь революция свергла царя и бога....

— Правильно! Садитесь! Вот на эту тему я с вами и поговорю. Оно не мешает каждому голову (Клапышев постукал себя кулаком по лбу) умом-разумом набить. Вы все люди молодые и должны многому обучиться.

— Понятно, товарищ командир.

— Ну, я продолжаю. Значит так. Раньше солдату затемняли голову, а теперь—нет. Сейчас я вам освещу этот вопрос. Нас, солдат, раньше начальство за людей не считало. В Питере в общественных местах до революции были объявления: «Солдатам и собакам вход воспрещается». Вот видите... А на фронте офицеры так отчитывались перед генералами: «Осталось после боя столько-то штыков», а не людей, потому что наш брат солдат считался дешевле всего. Попотел наш брат. Невесело служилось. А чуть в поход, слышим—команда: «Запевала, арш на середину!» Идём и без всякой охоты поём то «Пташечку-канареечку», то затынем «Взвейтесь, соколы, орлами! Полно горе горевать...». А мы служили и горевали. Песня не ахти что значит, если тебе унтер в лицо кулаком тычет. Молитвы тоже не помогали.

Согласно прежнему закону подчинённому полагалось быть глупее своего начальника. Другому трудно, но приходилось представляться дураком. Раньше офицер—вы и ваше благородие, а солдат—ты, дурак и серая скотина. Офицерский кулак был главным средством воздействия на нашего брата... И почему, вы думаете, у прапоров и фельдфебелей были каблуки высокие? Это для удобства выстукивать каблуками перед вышестоящим начальством возможность продвинуться чином повыше.

Да, крепко нас муштровали в старой армии. Там вытяжка, выправка, поступь, шагистика считались глав-

ным. И горе было тому, кто оказывался неуклюж корпусом или неподвижен на ногу. Такой солдат считался глупее кавалерийской лошади, — та под музыку ходит, что надо!..

День за днём шли военные занятия с красноармейцами-добровольцами в уездном городишке Кадникове...

Терентий Чеботарёв хорошо освоил боевую трёхлинейную русскую винтовку. С завязанными глазами он быстро разбирал и собирал затвор. Иногда после занятий Терентий ходил в третий взвод, где находился пулемёт «Максим», и там с группой особо прилежных ребят учился овладевать этим сложным оружием, запоминая пулемётные части и их назначение. Если Клапышев иногда ядовито вышучивал незнаек, то Терентий в этом отношении был неуязвим.

В часы досуга добровольцы гуляли по Кадникову. Терентий выделялся из молодёжной среды: нередко, сидя в уездной библиотеке за книжкой, он вытаскивал из кармана фуфайки исписанный лист бумаги, украдкой заглядывал в записи и шопотом твердил, проверяя свою память: «Газы приводят пулемёт в движение. На передней части ствола имеется надульник. Газ мгновенно задерживается во втулке надульника и двигает ствол назад. При нажатии спускового рычага «Максим» стреляет автоматически...».

В библиотеке Терентий, обращаясь к библиотекарю, просил для чтения книжки популярного Демьяна Бедного.

Демьяна он читал и перечитывал красноармейцам и немало дивился тому, как без попытки заучивать наизусть в его голове буквально из слова в слово запоминались не только отдельные стихи и басни Демьяна, но даже целые брошюры «Про землю, про волю и рабочую долю», «О попе Панкрате, тётке Домне и явленной иконе в Коломне» и другие.

На фронтах были горячие, беспокойные дни. Военная подготовка отряда добровольцев шла усиленно. Комроты Клапышев не находил времени почистить порыжелые сапоги и побриться. С утра до позднего вечера то развёрнутым строем, то змейкой, то цепочкой водил он красноармейцев по пригородной местности.

Усталые возвращались они с занятий.

— Довольно хохлиться! — покрикивал Клапышев, желая подбодрить красноармейцев. — Давайте с песней, — скорее до ужина:

Смело мы в бой пойдём  
За власть Советов  
И как один умрём  
В борьбе за это...

Дальше песня лилась сама собой и замирала где-то позади грузно шагавшей роты.

До поздней осени в девятнадцатом году тянулись нехитрые военные занятия с добровольцами, а потом по промёрзлой избитой дороге прошёл отряд молодёжи на станцию Морженгу, погрузился в холодные «теплушки» и медленно, с долгими остановками на разъездах, двинулся к Северному фронту.

## II

1920 год. Северный фронт.

Сорокаградусный мороз.

Непроходимые сосновые, еловые леса.

Красные войска находились около станции Плесецкой.

Полураздетые, полуголодные, в глубоких снегах, окопах и блиндажах обороняли они позиции от натиска белогвардейцев. Белые в это время активными действиями прикрывали бегство интервентов из Архангельска.

Участок фронта, куда прибыл Терентий Чеботарёв вместе с другими добровольцами, располагался по обеим сторонам железнодорожного полотна. Болота, леса и глубокие рыхлые снега не позволяли здесь широко развернуться.

Неподалёку от передовой линии, в тылу, на полянах и вокруг сереньких с крашеными часовнями деревень, буржуи и кулаки — укрыватели дезертиров — отбивали «принудиловку». Они рыли на всякий случай траншеи, рубили лес и строили, под наблюдением сапёров, прочные землянки и блиндажи. Строили нехотя и когда поздним вечером ложились отдыхать в наскоро построенных шалашах, то втихомолку молились за «христоролюбивое белогвардейское воинство», возлагая надежды не столько на господ-бога, сколько на господина Черчилля, поднявшего поход против юной советской державы.

Иногда усталые красноармейские части вместе с отрядами красных партизан уходили на отдых. Просушивались, чинили обувь, одежду и снова, со свежими силами, то отражали наступление противника, то наступали сами. Местные крестьяне в полосе, освобождённой от англо-американских интервентов и белогвардейщины, помогали советской разведке; они откапывали спрятанное у кулаков оставленное интервентами оружие и сообщали командованию Красной Армии всё, что знали о «белогадах».

Крепкие, круглолицые северные девушки, каргополки, вельчанки, мобилизованные местными Советами, направлялись в ближайшие тылы на помощь фронту. Девчата заготавливали дрова, прорубали просеки, устилали валежником и брёвнами тракты.

В досужие зимние вечера красноармейцы в прифронтовых деревнях устраивали вечеринки. Песни и пляски под гармонь прорывались из просторных изб сквозь двойные зимние рамы.

Однажды красноармейцы веселились вблизи станции Плесецкой. С хрилом надрывалась «тальянка». В тесном кругу, почти доставая головой до потолка, ловко плясал «русскую» высокий, гибкий артиллерист.

На отпляску ему выходил красноармеец-весельчак из усть-кубинских ребят — Павлик Трухов. Он, присвистывая, кружился на каблуках и пел самодельные плясовые частушки:

Англичане да французы,  
Беляки,  
Ваши пузы  
Мы пощупаем в штыки!..

На широких лавках бойцы и девчата сидели в два ряда — друг у друга на коленях.

Терентий Чеботарёв не по возрасту окреп, свыкся с боевой обстановкой, он не трусит залечь в занесённый снегом окоп. Ему не страшны ни свист пуль, ни грохот разрывающихся снарядов. А вот сейчас, на посиделке, им овладела неподдельная робость. Круглолицая, белотелая девушка-каргополка, не найдя себе другого места, подошла к Терентию, ласково заглянула в его обветренное лицо и бесцеремонно села к нему на колени. На минуту Терентий растерялся. Сбоку сосед подсказал ему:

— Не робей, коль счастье подваливает...

Девушка села и для удобства закинула правую руку ему за шею. Терентий почувствовал, что лицо его краснеет. «Какие здесь девки отчаянные», — подумал он, аккуратно освобождая шею от непринуждённого объятия девушки.

— Эх, тютя, пустил на колени, а держать не умеешь, — сказала каргополка насмешливо.

Краска стыда ещё больше сгустилась на лице Терентия. А девушка засмеялась и крепко надавила на него плечом. Так ей было удобнее...

В разгар вечеринки, в светлую лунную полночь слышались глухие орудийные выстрелы. На станции, занятой красными, вспыхнула от разорвавшихся снарядов изба. Потом белогвардейские снаряды стали разрываться в тылу за деревней. Вмиг оборвалось веселье. Гармонист приглушил гармонь. Прекратился топот пляски. Распахнулась дверь, и все услышали голос вестового:

— Комбат Клапышев приказал бойцам разойтись по квартирам. Младшему комсоставу собраться в штаб...

На совещании комбат сказал:

— Нас обстреливает белогвардейский бронепоезд. Собственно говоря, по донесению партизанской разведки, его нельзя назвать бронепоездом. На платформах укреплены трёхдюймовые орудия, прикрытые мешками с песком. Однако голыми руками и такое «пугало» взять нельзя. Нашему батальону поручено выделить сорок лыжников, произвести обход и на рассвете заставить раз и навсегда замолчать эту самую белогвардейскую «транзитную» артиллерию...

И тогда десять красных партизан, три десятка красноармейцев, во главе с Клапышевым, без промедления тронулись ночью в глубь леса.

Отряд лыжников был вооружён винтовками, ручными гранатами и одним пулемётом. Подрывники несли пироксилиновые шашки. Местные красные партизаны хорошо знали лесные тропы. На широких охотничьих лыжах партизаны шли впереди красноармейцев. Затаив дыхание, бойцы прислушивались к лесному шороху. Было тихо, лишь сучья потрескивали под лыжами, да изредка, вспорхнув, резко хлопали крыльями куропатки. Длинна в дремучем лесу бесследная дорога, долга и

томительна северная зимняя ночь. У многих бойцов полушубки порвались об еловые сучья, и овчинная шерсть ключьями свисала с рукавов.

Крепкий декабрьский мороз. Однако по рыхлому снегу люди шли на лыжах, не чувствуя холода. Шли, иногда шутили, но каждый, кроме шуток, думал ещё и о том: кто знает, придёт ли ему возвращаться...

— Лишь бы не шальной пулей, — высказался Терентий в разговоре с Павликом Труховым, красноармейцем из соседней с ним деревни, — а то за дешёвку жизнь отдавать не хочется...

— А поди там разбирай, которая из пуль шальная, которая умная, зацепит — и поминай как звали!..

— Известное дело, — возразил Терентий, — шальная вражеская та, что убивает невзначай, а умная та, которая летит мимо.

Из-за вершин деревьев изредка показывалась бледная луна, скупо светившая в эту ночь.

... Белогвардейский «бронепоезд», обстреляв окопы красных войск, сразу же отошёл обратно до первого разъезда и там в тупике остановился. Когда отряд Клапышева приблизился к разъезду, стало уже светать. Около бронепоезда стояли часовые, одетые в тяжёлые английские тулупы. С платформы наискось торчали восемь жерл трёхдюймовых пушек. Вся белогвардейская прислуга, совершив артиллерийский налёт, спала беспечно в большом пассажирском вагоне, стоявшем неподалёку от поезда.

Приказ Клапышева был таков: одновременно осторожно подходят к часовым два красноармейца и без шума, штыками убивают их. В то же время четверо подрывников закладывают пироксилиновые шашки под колёса вагонов и по сигналу взрывают поезд. Остальные бойцы располагаются в стороне вдоль железной дороги и открывают пальбу в том случае, если из пассажирского вагона появятся белогвардейцы.

Операция произошла мгновенно в полном соответствии с приказом командира. Оба часовых были вмиг приколоты. За этим немедленно последовали взрывы. С грохотом опрокинулись вагоны, разнося вверх и по сторонам куски дерева и железа. Красноармеец Трухов не успел залечь в снег: его убило обломком рельса. Паровоз повернуло поперёк полотна и поставило дыбом;

тендер, нагруженный английским углем, выбросил столб чёрной пыли.

Из вагона, стоявшего в стороне, выскочили перепуганные белогвардейцы. Им не дали опомниться. Вслед за взрывами треснули ружейные залпы. Терентий Чеботарёв, не отставая от своих товарищей, с близкого расстояния стрелял по выбору и без промаха. Когда он заложил третью обойму, послышался повелительный голос Клапышева:

— Прекратить огонь!..

Стрельба затихла. Тишина нарушалась лишь стонами недобитых врагов. Но тут же совсем неожиданно из-за железнодорожного полотна показалась ещё группа белогвардейцев. Они размещались в лесу, в бараке, неподалёку от местонахождения «бронепоезда». И тогда у красных заработал пулемёт, и снова раздалась частая ружейная стрельба. Белые обратились в бегство, оставляя под деревьями убитых и раненых.

— Сейчас же подорвать все орудия, которые остались целы от взрыва, — решил Клапышев и подал команду:

— Гранатомётчики, за мной!

Из отряда выделилось пять человек. Возле насыпи, согнувшись, бросились к разрушенному взрывом поезду. Когда все пятеро добрались до места, Клапышев показал, как нужно уродовать уцелевшие от взрыва, сброшенные под насыпь пушки. В жерло трёхдюймовки он просунул заряжённую гранату, предварительно сняв с неё предохранительное кольцо. Так гранатами в течение двух-трёх минут были искалечены стволы восьми трёхдюймовых орудий.

Победа отряду лыжников досталась сравнительно дешёвой ценой...

### III

В феврале двадцатого года Красная Армия освободила от интервентов и белогвардейцев Архангельск. Вступлению красных отрядов в северный портовый город способствовали рабочие архангельских и солombsких лесопильных заводов.

Англо-американские тюрьмы, жуткие концлагери Иоканги и Мудьюга, пытки, расстрелы не смогли сло-

мить железной воли рабочих. Накануне взятия Архангельска красными войсками в городе был организован Совет рабочих депутатов. Страшась пролетарского возмездия, буржуазия, меньшевики и эсеры, во главе с генералом Миллером, погрузились на ледакол и, выпустив несколько снарядов по городу, поспешно убрались за границу.

Остатки белогвардейцев, потеряв своё командование, беспорядочно бежали из города. И тех, кого не удалось задержать около Архангельска, Красная Армия вскоре захватила на побережье Белого моря.

Красноармейская часть, в которой находился Терентий Чеботарёв, продвигалась к Архангельску. Радостью наливались сердца красноармейцев, и вместе с тем досадовали бойцы — почему не они первые вошли в Архангельск. Их опередил 45-й Советский полк...

Опираясь на винтовку, Терентий сидел в вагоне-теплушке и, расстегнув полушубок, говорил товарищу из одного с ним взвода:

— Мало нам с тобой повоевать пришлось. Подоспели почти к шапочному разбору.

Он посмотрел в окно теплушки. Медленно двигались в обратном направлении болотные сосенки. Местами торчали из-под снега сваи, опутанные колючей проволокой. Кое-где по сторонам валялись в беспорядке разбитые вагоны.

— Ну, что ж, мы с тобой ещё молоды, — ответил Терентию товарищ, — на действительную службу разве бывших добровольцев не возьмут? Возьмут, а там мы ещё пригодимся. Наши ровесники придут впервые в казарму, а мы с тобой заявимся туда с бывалым опытом.

— Я буду проситься, чтобы меня перевели на другой фронт, — нерешительно продолжал Терентий, — дома у меня никого нет, в деревню не тянет.

— А я так думаю, — заговорил опять сосед, — война на исходе, люди теперь за землю ухватятся. Люди и в деревне и в городе будут очень нужны.

— Должны ухватиться, иначе не проживёшь, — согласился Чеботарёв и, достав из кармана полушубка истёртую газету, отпечатанную на серой обёрточной бумаге, сказал: — война вымотала народ. Крепко вымотала. Взять к примеру хотя бы наш Север. Посмотри, что газета пишет:

«В девятнадцатом в Архангельске на Севере России было тринадцать тысяч англичан, пять тысяч американцев, французов — две тысячи триста, и каких только грабителей здесь не было! И сербы, и итальянцы, и поляки, и голландцы, и бельгийцы. Все грабили наш Север, кому сколько хотелось, и до тех пор грабили, пока рабочий класс внутри стран не наступил на глотку своей буржуазии, и пока интервенты не испытали силу Красной Армии. Тогда только они прекратили грабёж и стали выводить из Архангельска свои войска...».

Подошёл Клапышев, потрепал Терентия по лохмоту полушубку и, улыбаясь одобрительно, проговорил: — Агитируешь? Валяй, валяй! Пригодится. Демобилизуешься, в деревне активистом будешь... И после гражданской войны борьба ещё будет, классовая, долгая и упорная...

Командир прошёл в другой конец вагона, где столпившиеся красноармейцы беседовали о войне, вспоминали убитых бойцов и делились новостями, дошедшими в письмах из родных деревень. А поезд, точно ощупью, медленно двигался к Архангельску.

С Бакарицы, строем по четыре в ряд, шли советские батальоны по льду через Дзину на Троицкий проспект. По проспекту не спеша двигались трамваи. Слегка крутил снежок, замечая узкие дощатые мостки. Толпились горожане. Одни из них следили за вступлением в город Красной Армии, другие читали расклеенные на столбах листовки с приветствием Реввоенсовета:

«Революционный военный совет армии, приветствуя наших победоносных героев, выражает искреннюю товарищескую благодарность всем, кто приложил свои силы к делу защиты республики.

Привет вам, сознательным борцам и защитникам Рабочекрестьянской революции, — вам, не знающим усталости, не поддающимся ни холоду, ни голоду, не утравившимся ни непроходимым болотам, ни дремучим лесам угрюмого Севера!

Привет вам, высоко держащим красное знамя социалистической революции и борющимся за её существование!

Привет вам, освобождающим поработённых и карающим поработителей!

Привет вам, красным борцам — почётным гражданам социалистического отечества!...».

Части шестой армии, вступив в Архангельск, расположились в тех домах и казармах, где не так давно хозяйничали интервенты и белогвардейцы...

Наступили весенние дни.

Временно, до демобилизации красноармейцы охраняли город и помогали рабочим восстанавливать разрушенное интервентами хозяйство.

Чрезвычайная комиссия с помощью архангельских и солонбальских рабочих вылавливала притаившихся белых офицеров, предателей — меньшевиков и эсеров.

Однажды в казарме, где размещались вологодские добровольцы, было объявлено, что воинские части в полном составе выходят на улицу.

Никогда Терентий Чеботарёв не забудет этого трогательного памятного дня.

По улицам Архангельска шли колонны людей с красными знамёнами. Кузнечиха захлебнулась народом. Улицы, переулки, заборы, крыши построек — всё было занято зрителями. В шеренге бойцов стоял Терентий. Войска тянулись в два ряда вдоль Олонецкой улицы до Мхов, до того места, где не так давно англо-американские интервенты расстреливали рабочих-революционеров. Звуки десяти оркестров не могли отвлечь внимания красноармейцев и архангелогородцев от той процессии, что двинулась с места казни.

Процессия медленно двигалась в сторону Соборной площади на берег Северной Двины.

На бугре у реки, неподалёку от памятника Петра Великого, была вырыта братская могила. Сорок девять гробов поставили вокруг. Бойцы, освободившие Север от интервентов, стояли в первых рядах. Притихли оркестры. Слышался только сдержанный плач родственников — жён, матерей и сирот-детей. Они пришли сюда опознать трупы своих родных, загубленных англо-американцами. Плач не прекращался.

Первый из ораторов поднялся высоко над толпой и начал волнующую речь.

Терентий Чеботарёв, переминаясь с ноги на ногу, стоял неподалёку от трибуны. Когда оратор стал оглашать список расстрелянных интервентами, Терентий приподнял папаху и ему было отчётливо слышно:

— Товарищи! Среди жертв проклятого англо-американского и белогвардейского произвола мы опознали сле-

дующих товарищей, до конца бесстрашно боровшихся за дело коммунизма.

Расстреляны врагами революции 1 мая 1919 года: Тесанов Карл, Анисимов Даниил, Закемовский Сергей, Прокушев Дмитрий.

Расстреляны 17 июля 1919 года: Данилов Пётр, Ларионов Владимир, Мальцев Алексей, Григорьев Иван, Бабурин Пётр.

Расстреляны 24 июля 1919 года: Суханов Андрей, Ольшин Николай, Ханталь Артур, Терёхин Александр, Анкудинов Михаил, Яковлейко Василий, Миронов Афанасий, Пустошный Платон, Сынков Павел.

Расстреляны 19 августа того же года: Витязев Филипп, Артеев Аристарх, Дитятев Пётр, Безумов Дмитрий, Аншуков Иван, Попов Яков, Ермолин Николай, Сутормин Михаил, Валявкин...

Расстреляны 9 сентября 1919 года: Левачёв Никифор, Заплатин Павел, Корчагин Гавриил. Остальные неизвестны. Опуская в братскую могилу тела лучших своих товарищей, мы не падаем духом. Мы, рабочие, крестьяне и красноармейцы, клянёмся над трупами борцов, погибших на далёком Севере, что не сложим оружия, пока окончательно не закрепим власти пролетариата. Борьба беспощадная и упорная против угнетателей и эксплуататоров — всесветной буржуазии. За нашу конечную победу, за светлую и счастливую жизнь всех трудящихся — за коммунизм!..

Один за другим сменялись на трибуне ораторы. Терентий стоял среди вооружённого караула и много-много передумал в этот памятный траурный день. И ему казалось, что на похоронах расстрелянных товарищей коммунисты-победители подводят последний грозный итог подлой англо-американской и белогвардейской авантюре на советском Севере.

Митинг затянулся до позднего вечера...

После переключки в казарму зашёл Клапышев проститься со своими товарищами. Пожелав им счастливо жить и строить социализм там, где жизнь застанет, он сказал:

— Война с белогладами на севере закончена. Но борьба классов ещё впереди. Я перехожу на работу в прокуратуру и там, не жалея своих сил, буду укреплять завоёванную нами советскую власть. Где бы вы ни бы-

ли, всюду укрепляйте наш советский строй. Будьте здоровы и бдительны!..

Крепко пожав руки бойцам, Клапышев вышел из казармы, провожаемый приветливыми прощальными взглядами своих бывших подчинённых.

До начала лета Терентий Чеботарёв служил в Архангельске. В досужее от службы время он просиживал в городской библиотеке. И, кажется, не было там таких книг, которые не привлекали бы его пытливого ума. С большой охотой он посещал бесплатные спектакли, устраиваемые архангельским отделением Всероссийского Союза актёров.

На задворках улиц, в захудалом помещении мрачного городского театра ставили водевили: «Жена напрокат», «Я умер», «Сказка о царе Архее» и прочие водевили из дореволюционного репертуара.

Прошла демобилизация красноармейцев старшего возраста. Настала очередь отпускать домой добровольцев.

В ликвидационной комиссии военного комиссариата Терентий заявил, что он хотел бы ещё послужить.

— Послужишь, когда дойдёт очередь твоего призыва,—хмуро отозвался усатый комиссар.— А впрочем, не погодишься ли ты делопроизводителем к начканцу,—грамотный?

— Конечно, грамотный,—бойко ответил Терентий.

— Красиво писать можешь?

— А как же? Пишу неплохо.

Комиссар позвал начканца. Лысый, с тусклыми глазами, в военном обмундировании из английского сукна, хлопотливый начканц увёл Терентия к себе в кабинет и, подав ему лист чистой бумаги, предложил написать автобиографию.

— Мне не случалось писать такое; как начать и как кончить?—нерешительно спросил Терентий.

— Ах, вот оно что! Ну, изложи описание собственной жизни,—предложил начканц и недоверчиво посмотрел на медлительного, как показалось ему, и совсем неразвитого деревенского парня.

— Понятно,—ответил Терентий,—учитель как-то задавал мне такой урок в школе, в третьем классе, тогда я тоже писал ему про свою жизнь,—не поднимая глаз на начканца, ответил Чеботарёв.

— Ну, вот, тем более,—холодно и безнадежно проговорил начканц и подумал: «Сыроват ещё паренёк, сыроват...».

Присев к уголку стола, Терентий не спеша, как когда-то на уроке чистописания, начал выводить заглавие: «Автобиография с описанием собственной жизни».

Начканц, взглянув через плечо на труды Терентия, сказал:

— Не старайся, голубчик! Учиться ещё надо, а в канцелярию с таким почерком ты никак не подойдёшь...

Терентия направили в распоряжение штаба терполка.

Там была невероятная сутолока. На третий день в штабе терполка дали ему направление—в «Рабсилу».

В «Рабсиле» служащие были отгорожены от посетителей дощатым барьером. На барьере натянута проволочная сетка. У окошечек без конца толпились безработные. Они получали наряды на временную работу.

Терентий приходил сюда несколько дней подряд и, не вытерпев, потребовал от своего бывшего начальства литер на проезд по железной дороге до Морженги, самой ближней станции от его родной, но отнюдь не привлекательной Попихи.

#### IV

Кончилась война с интервентами и белыми генералами.

Советская Россия стала выпрямлять могучие плечи, приниматься за мирный труд.

Люди освобождались от армейской службы. Рабочие и землевладельцы возвращались на заводы и поля, от которых успели отвыкнуть, но и стосковались по ним, хотели работы нужной и полезной.

В годы мировой и гражданской, непрерывной, почти семилетней войны много убыло мужиков в деревнях. Женщины — преобладающее население деревни — заменяли мужчин на всякой работе: на пашне, на рубке леса, отбывали общественную трудовинность, работали на перевозке грузов и даже рыли окопы.

В тихой, серенькой Попихе все обитатели ждали конца войны, наступления лучших времён. Чеботарёв Михайла, пока тянулась война, бродил из избы в избу и убеждал домохозяек и стариков:

— Не ждите добра от этой власти, но скоро всё изменится к лучшему: царь-батюшка и его наследник сделали в тюрьме подкоп и убежали из Сибири в Америку. Белые нас заберут, снова царь воссядет...

В разное время у Михайлы со двора увели трёх коров на базу упродкома, четырёхлетнего жеребца для конной армии реквизировали.

От сына Еньки долго не было ни слуху, ни духу. Может, в плену, может—убит, или без вести пропал. Старуха-тётка Клавдия часто гадала о Енькиной судьбе, да так, не дождавшись его, и умерла.

К концу гражданской войны Енька вернулся в отчий дом. Усталый, осунувшийся, обросший рыжей бородой, совсем не похожий на себя, хмурый и злой.

Михайла долго в недоумении глядел на сына:

— Подменили тебя там, сынок, что ли?.. Какой ты стал дряхлый да гнусавый.

— Эх, тятя, тятя, — тяжело вздохнул Енька, — да, кажется, подменили...

— Похудел-то ты как. Ну, ладно, дома как-нибудь поправишься. Сравняешь нос со щеками. Завтра же для тебя тёлку заколю, отъедайся...

— Там видно будет, — усомнился Енька, — поправлюсь, а либо и нет, хвороба какая-то сердце сосёт. Поди-ко и харчем меня не поправить.

В избу вошла Енькина жёнка Фрося. Сразу и не узнала своего мужа. Сидит кто-то смуглый, чахлый на лавке и голову повесил. Взглянула Фрося мимоходом и поздоровалась с Енькой, как с чужим:

— Здравствуйте, добрый человек...

— Да ты что, невестка, с ума сошла? — удивился Михайла, — ты что, своего супруга не узнала?

— Батюшки-светы! — всплеснула Фрося руками и бросилась к мужу на шею. — Енюшка, ты ли это? Кожа да кости. Слава богу, хоть такой вернулся...

Отмахнулся Енька от ласковых объятий супруги, задумчиво облокотился на свои колени и спросил:

— Хорошо ли вы тут без меня жили?

В пятистенной избе всё было как-то не так, по-иному: за верстаком сидел один лишь сильно постаревший Михайла.

— Да как сказать, худенько жили, — горестно отозвался он на вопрос сына, — общипала эта власть ма-

лость. Тётка Клаша отдала богу душу и тебе велела долго жить. Терёшка вот из комбеда ушёл добровольцем, и будто бы его за Няндому на север воевать увезли. Подмастерьев ныне не поряжаю. Упаси бог теперь чужих людей держать. Грех один и разорение. Сёстры твои редко у нас бывают и, по всему видно, живут тоже нехорошо. Тесть твой притаился со своим богатством и ждёт каких-то перемен к лучшему. А ты как? Что-то от тебя долго-долго весточки не было?..

— Не имел шансов писать из плену, а теперь, как видите, насовсем домой явился, — лениво отозвался Енька и начал нудно рассказывать. — Воевать мне в гражданскую не пришлось. Сразу штык в землю и в плен подался; с чего, думаю, православную кровь проливать?! Генерал Шкуро тогда на юге объявился. Взяли меня в плен его солдаты. Многих наших шомполами секли, шашками рубили. Я же остался, слава богу, не-вредим. Сдали меня на станции Чертково одному отставному казачьему офицеру на поруки. Жил я у него в прислужниках вроде денщика. Ждал этот отставной офицер, когда Деникин в Москву въедет, да не дождался. Не въехал Деникин — ворота оказались узки. Погнали тогда красные белых всё дальше и дальше. Отставной офицер стал утекать, а я за ним. Затесались мы далеко-далеко на врангелевский тыл к самому Чёрному морю. Думали, там отсидимся. Да где тут. Сильно красные опять напёрли. Мой хозяин проскочил на пароход — да за границу, а я вот так и остался. Не за границу же мне бежать стало, туда и без меня немало нашлось охотников. На пароходе такая была давка — ужас! Все богачи украинские, крымские и разных городов от большевиков бежали. Вышли в море корабли с буржуями и генералами, на прощанье постреляли по городу со злости, а потом и след их дымом заволкло...

Долго и невесело рассказывал Енька о себе, а слушать было нечего

Заглядывали к Еньке соседи послушать про его мытарства на фронте и в плену, да так и перестали ходить, ничего интересного не допытавшись.

После весенней распутицы обсохли просёлочные дороги. Михайла ездил на дальнюю пустошь за пучкаса, разыскал там спрятанный в сеновале, уцелевший от

реквизиции, таранас на железном ходу и привёз его благополучно к дому—себе и сыну в утешение.

— Кончилась война, наше остальное добро большевикам теперь не понадобится, — успокаивал себя Михайла.

Однажды летом Енька приехал в село по своим делам и оставил лошадь на привязи около бывшего Никуличевского сада, где ещё до той поры стоял вылитый из бронзы памятник царю Александру II.

В тот день вернулся в волостной комиссариат демобилизованный Терентий Чеботарёв. В военкомате записали его фамилию в толстую книгу и спросили домашний адрес, на что Терентий ответил:

— Нет у меня пока адреса и пока не знаю, куда мне податься.

Потом он долго бродил по селу, не встретит ли кого из знакомых. В саду за оградой, около царского памятника на лужайке лежали и сидели измождённые женщины и несколько тощих оборванных детей.

— Кто вы такие? — проходя мимо, участливо спросил Терентий.

— С Поволжья, голодающие, — протяжно, почти по складам ответила одна из костлявых женщин.

— Помоги, гражданин! — протянула другая, точно восковую, пожелтевшую руку.

— Рад бы, да нечем. В мешке у меня, кроме кое-каких книжек, ничего не осталось. Сегодня сам последние крошки доел, — признался Терентий.

Он посмотрел на суровое с бакенбардами застывшее в бронзе лицо императора и внизу на постаменте прочёл надпись:

«Осени себя крестным знаменем, православный народ,  
и призови с нами божие благословение  
на твой свободный труд».

Ниже:

«Александру Второму, Царю-освободителю,  
от признательных граждан села Устья-Кубинского.  
1911 года февраля 19 дня.

Вес 16 пудов».

Усть-Кубинская буржуазия — Никуличевы, Ганичевы, Круглихины, Кочины, Пенькины и другие господа — до революции охотно отмечали всякого рода юбилеи. В 1911

году, в день пятидесятилетия отмены крепостного права, они воздвигли этот памятник на средства, собранные с населения.

Терентий поднял валявшийся под ногами ржавый гвоздь и к надписям на памятнике царю нацарапал крупными буквами вразброд:

«Отдайте этого болвана в пользу голодающих Поволжья».

«Но кто прочтёт, а кто, прочтя эти слова, догадается убрать этого истукана?» — в сомнении подумал Терентий и, порывшись в стареньком вещевом мешке, достал тетрадку и, вырвав лист, написал:

### ЗАЯВЛЕНИЕ

В Усть-Кубинскую ячейку РКП(б).

Прошу убрать из бывшего никуличевского садика бронзового царя весом 16 пудов и сдать в пользу голодающего Поволжья.

Бывший красноармеец *Терентий Чеботарёв*.

Затем он вышел из сада, намереваясь зайти в исполком, где в одной из комнат бывшего буржуйского дома помещался секретарь партийной ячейки.

По улицам проходили молодые люди, — это были курсанты первых педагогических курсов. Курсанты несли подмышками пачки книг и тетрадей и шумно обсуждали лекцию приезжего профессора. Терентий смотрел на них и не без зависти думал: «Вот юни — образованные люди, учат людей, учатся сами. А ведь все наверняка из богатого отродья! Мне же, с детства круглому сироте, от скряги-хозяина опекуна разве можно было чему научиться? Для нашего брата в те годы не была открыта дорога к знанию, к лучшей жизни. Ужели я буду опять под хозяйской лапой и не сумею выбиться в люди? — горестно спрашивал он себя и сам себе отвечал: «Добьюсь! Локтями и коленками буду проталкиваться, а добьюсь. Подготовлюсь и подам заявление в партию, а там не поздно будет и поучиться...».

И снова после таких размышлений им овладело уныние: «Да, но ведь всё это думы, они как журавли в небесье, а мне бы сегодня хоть воробышка в руки...».

В это время Енька, вразвалку, старческой походкой приближался к тарантасу. Из карманов его пиджака торчали склянки с лекарствами.

— Э-э, да никак, Терёшка, ты! — удивлённо проговорил Енька и вяло протянул ему руку.

— Со службы, по чистой?

— Да, по чистой уволен, — ответил Терентий, здороваясь.

— А мы-то с отцом думали, что ты там закомиссаришься. Не жилось в деревне, а теперь, небось, опять назад потянуло?..

— Да куда же больше? — не глядя на Еньку, вопросительно с досадой ответил Терентий.

— Ну, что ж, иди снова к нам в работники. Семья теперь у нас невелика, кстати, подмастерьев пока нет, да и нанимать их пока не торопимся.

— Мне всё равно: к вам, так и к вам, — проговорил равнодушно Терентий, — надо же как-то жить, кормиться...

— В армии-то не изленился, пролетарий? — язвительно спросил его Енька, взнуздывая лошадь. И, не дожидаясь ответа, поспешил сказать: — Ну, так ладно, едем в Попиху, что ли?

— Поедем, только вот сбегая ещё в исполком, к секретарю ячейки, просьбу к нему небольшую имею.

— Ишь ты, не успел приехать, как с коммунистами знаться захотел! Ну, давай, беги скорее, а то долго ждать не буду.

В ячейке Терентий задержался недолго. Секретарь, приняв от него заявление, сказал:

— Правильно. Этот вопрос мы обсудим на собрании. Не место памятнику торчать под окнами волостного совета и партийной организации. А ты кто такой?

— Я демобилизованный доброволец.

— Замечательно! Партийный?

— Нет.

— Ну, тогда посещай наши собрания, выковывай из себя коммуниста.

— Да, я думаю об этом. И успею ещё: мне восемнадцати нет.

— Эге, браток, ты из молодых, да видимо ранний. Обязательно заходи. Нам очень нужно увеличивать партийную ячейку и в первую очередь за счёт демобилизованных добровольцев. Когда со службы вернулся?

— Сегодня.

— Во, брат, ты какой наблюдательный. Приехал — и сразу занозы вытаскивать. А я, признаться, об этом царе и не подумал; ужели бронзовый?..

— Так написано на памятнике.

— Тогда ведь дорого потянет наш подарок. Между прочим, мы здесь собрали пудов пять церковного серебра на помощь голодающим, а о памятнике-то, мать-честная, и не подумали.

Секретарь говорил, с присвистом посасывая корешковую трубку, при этом весело, подкупающе улыбался.

— Обязательно к нам заходи, — ещё раз напомнил он Терентию. — Да возьми-ка вот свежих газет и брошюр: там в деревне используешь.

Выходя из исполкома, Терентий подумал о секретаре партячейки, как о человеке, на помощь которого ему всегда можно будет рассчитывать.

Енька, сидя в тарантасе, сдерживал вожжами рыжего мерина.

— Скоро ты свои хлопоты справил, — заметил он Терентию. — Не велики, стало быть, и дела были? Неласково приняли, что ли?

— Не велики, конечно, мелкие делишки, — хмуро согласился Терентий, — но ведь всё большое из маленького складывается... Давай поехали! — и проворно сел рядом с Енькой на мягкое кожаное сидение.

Опять Попиха. Как будто ничего и не произошло: всё на своём месте. Тот же тракт тянется через Попиху от Устья-Кубинского на Уфтюгу. Попрежнему в загородах переливчато зеленеют берёзы, черёмуха, яблонн и тонконогая калина. А вдоль перегород ползучий хмель густо вьётся по кольям, распространяя приятный запах.

Попрежнему на побережье речки Лебзовки пасётся стадо коров, наполовину сократившееся за эти годы. Только не Копыто, а другой пастух сидит на бугорке и, чтобы не скучать от безделья, строгаёт ножиком коклюшки для кружевниц-кустарок.

Подъезжая к деревне, Терентий прежде всего обратил внимание на пепелище, где когда-то стояла до пожара отцовская изба. Пепелище затянуло репейником и крапивой, а над грудой кирпичного лома выросла и уже успела согнуться рябина.

Енька, угадывая думы Терентия, сочувственно заговорил с ним:

— Поди-ка, была бы своя-то изба, теперь бы тебе, пожалуй, и жениться впору? Невесту бы дали с приданным, а так-то за бездомного бобыля разве нищую угораздит выйти.

Видя безучастное отношение Терентия к разговору, Енька отвернулся и глухо добавил:

— Работай, как бык, глядишь, годов через десяток своя избёнка будет. Мы с отцом подсобим тебе построить.

— Не в избе счастье,—возразил Терентий.

— А в чём же? В амбаре, что ли? — усмехнулся Енька.

— И не в амбаре. Может быть и в амбаре густо, да в голове пусто. Такая жизнь, как ваша, скопидомная, мне тоже не по нраву.

— Чего ж тебе тогда по губе?

— Хочу учиться: без этого не выйдешь в люди...

Мерин, помахивая хвостом, торопливо свернул к дому Михайлы и, не останавливаясь у подъездных ворот, бросился в переулок к пруду напиться.

Енька соскочил на ходу, ругнулся и, отвязывая от дуги повод, проговорил:

— Ну, ступай, гостенёк, в избу. Я распрягу лошаадь.

... И снова началась неприглядная, нелёгкая для Терентия жизнь у хозяев—Михайлы и его сына Еньки. Работа по хозяйству и за сапожным верстаком...

## V

Один за другим возвращались в усть-кубинские деревни отвоёвавшие солдаты.

Вернулся следом за Терентием Чеботарёвым бывший георгиевский кавалер пастух Николай Копытин. «Егория» он теперь не носил на своей груди, а держал в кжете с табаком. Не любил он распространяться о своём геройском поступке, за который получил крест, держался очень скромно и задумчиво. Как-то на второй или на третий день по возвращении из армии он нечаянно узнал, что Дарья Найдёнкова, к которой он ещё задолго до войны не был равнодушен, живёт одна, а её муж Вася Росоха посажен в исправдом. Копытин быстро собрался в деревню Преснецово навестить

Дарью. Хотел он посочувствовать её горю и, если можно, по старой памяти закинуть словцо о своём запоздалом намерении по-семейному устроить с Дарьей свою жизнь.

Толстушке Дарье годы подходили под сорок. Давно похоронила она своего отца Алёшу Найдёнкова, а его нищее хозяйство объединила с бедным хозяйством своего супруга Васи Росохи.

— А, Дарьюшка! Наше вам нижайшее почтение и с любовью низкий поклон!.. — бойко и весело приветствовал Дарью Копытин. — Небось, не забыла? Старый друг лучше новых двух. Зашёл навестить. Как ваше здоровьице и всё прочее?..

— На здоровье не плачусь, — отвечала игриво Дарья, протягивая Николаю Копытину крепкую, голую по локоть шершавую руку, — живу, помаленечку маюсь. Одна теперь, не везёт мне, второй раз несчастливит в замужестве. После того как овдовела за Иваном Чеботарёвым, думала с Росохой счастье наладить. Да какое, к чорту, счастье, пил и бил, а теперь и в тюрьму угодил. Ничуть не жалко ирода такого. Сынишку вот примыслила с ним. Весь в отца окаянный ребёночек: ухожу куда — одного нельзя оставить, всё прийдёт, прикорёжит, а то и убежит, с собаками не сыщешь...

— Где он у тебя, да велик ли?

— Пятый год пошёл. Вон за печкой в кутке, поди погляди, он у меня в наказанье...

Копытин заглянул за печку. Там на соломенной постели из серой затасканной мешковины сидел лобастый пятилетний ребёнок, в длинной рубашке, без штанишек. Взъерошенные пепельного цвета волосы как видно никогда не причёсывались. Ребёнок посмотрел искоса на незнакомого дядю и, сразу опустив глаза, стал перебирать ручонками узловатую верёвку, которой он за подмышки был привязан к железному кольцу, привинченному к западне, закрывавшей проход в подполье.

— Это ты что, Дашка?! — сразу потеряв к ней всякое уважение, возмутился Копытин. Ребёнок от страха вытаращил на него глазёнки и застыл, прикусив сразу три пальца.

— Да ты что его, как собачонку, припутала? Одурила совсем баба! Да ты бы уж лучше не рожала, если не умеешь дитё растить...

— Пожил бы ты с ним, узнал бы, — возразила Дарья. — Я собираюсь к Николе-Корню, к Прянишникову внаймы в подёнщину, а попробуй-ка, оставь его не на привязи, он тебе и кринки перебьёт и чего доброго дом подпалит; я и спичкам от него места не найду. Такой бестолковый и оставить не на кого. Прошлый раз убрёл в пустошь Жуково за Чортов камень, еле наша.

— Эх, Дашка, Дашка, да ведь нельзя же так. За что мы боролись? Разве для того царя сшибали, чтобы своих деток, как собачонок, на привязи держать, а самим на мироеда Прянишникова работать? Никуда ты сегодня не ходи. Оставайся дома, парнишку отвяжи сейчас же! Как его звать-то?

Малютка понял, что речь идёт о нём, и что чужой дядя не такой уж страшный, освободил свой рот от пальцев, солидно ответил:

— Микулой звать.

— В честь тебя назвала, — лукаво улыбнулась Дарья и, толкнув игриво Копытина плечом в бок, подошла к ребёнку, стала зубами распутывать крепкую конопляную верёвку, которой когда-то Вася Росоха её хлестал, а также привязывал к овинам лошадей.

— Дура ты, дура, — покачал головой Копытин, но ворчанье звучало совсем ласково, и Дарья не обиделась.

— Не бегай, Микула, далеко, — сказала она, пришлёпнув ладонью малыша по голому заду.

Потом Дарья загремела самоваром, вытрясла угли и золу над шестком, вскипятила. Пили с Копытиным вдвоём морковный чай, вместо сахара — вяленая репа, больше угощать было нечем.

— Не сыто живём, — вздохнула Дарья, — хошь не хошь, а в люди и косить и пахать пойдёшь из-за куска хлеба.

Николая Копытина этим не удивишь, нужду он видел и раньше, а теперь после войны такая разруха образовалась что за нужду и бедность никого осуждать нельзя.

— Ничего, год-другой будут урожаи, и всё дело поправится. Мужиков теперь домой много поворочалось. Работать будет кому. Твой-то Росоха надолго ли угодил в тюрьму?

— Право и не знаю. Хоть навек, так не жалко, туда ему и дорога. Ни за что, ни про что в престольный праздник человека насмерть застегнул, а у того четверо ребятишек-сирот осталось.

— Да из-за чего же это?

— Чего-то не по мысли тот сказал Росохе, ну вот и вся недолга. Схватил он из огорода жердь, да жердью...

— Изуверство! — резко осудил Копытин и повернул разговор в другую сторону.

— Ну, а как же, не думно, Дарьюшка, снова мужика приобрести, ещё разок попытать счастья?

— Нет уж, благодарю покорно. Ни своего острожника, ни кого другого не надо! Нипочём не надо!..

— Гм, а я бы от тебя не отказался и теперь...

— По глазам вижу.

— Ужились бы ведь, Дарья.

— Ну и что из этого! Хватит. Не хочу больше замужества. Сыта по горло.

Дарья вздохнула тяжело, налила ещё по чашке себе и Копытину, спросила:

— Воевал?

— Воевал.

— По-настоящему, али в обозе?

— Всяко.

— Палец-то на войне оторвало?

— Знамо, не в дверях придавил.

— И поди-ка на войне-то краля у тебя была, какая-нибудь сестра милосердная?

— Были, да не про нашего брата.

— Бедненький.

Дарья будто бы невзначай задела босой ногой ногу гостя.

И опять.

— Бедненький, всю-то жисть в холостяках проходил. А замуж я за тебя бы не пошла.

— Почему?

— Проживать у меня нечего, а наживать ты не обучился. Ну, что, опять в пастухи?

— Это ещё посмотрим. Может и на должность, — многозначительно подмигнул Копытин и солдатским ботинком слегка придавил Дарьину ступню.

— Есть некоторые партийными вернулись, — проговорила деловито Дарья.

— У меня нос не дорос. В грамоте ни бе, ни ме, ни кукареку.

— Ну и будешь опять старшиной... над коровьим стадом. Порядись к нам в Преснецово.

— И на том спасибо...

Мирный разговор Николая Копытина с Дарьей привёл к тому, что, засидевшись до вечера, волей-неволей, а скорей так обоим было надо, — он остался у Дарьи на ночлег. И... гостил у неё целый месяц. Днями, когда Дарья уходила к Николе-Корню работать у Прянишников, Копытин присматривал за непоседой пятилетним Микулой, а когда малый, утомившись, спал, он таскал из пустоши хворост, поправлял над поветью соломенную крышу и делал ещё кое-что по хозяйству, стараясь выслужиться перед Дарьей. А она приходила от Прянишникова поздно, усталая валилась спать и уходила рано, оставляя сынишку без привязи на попечение надёжного домоседа.

Кое-кто из Дарьиных соседей непрочь был посплетничать, посудачить. Но какое дело Дарье до пересудов, а Копытину — как с гуся вода. Старое у них знакомство и — оба свободны...

## VI

Первое лето после освобождения Севера от интервентов пролетело быстро. В Попихе жизнь протекала скучно и незаметно, как и в других усть-кубинских деревнях, в Шилове и Бакрылове, в Телицыне и Беленицыне, в Баланьине, Преснецове, в Заднем селе и у Николы-Корня.

Работая батраком у Михайлы, Терентий чувствовал себя теперь самостоятельнее, чем прежде, а Михайла и Енька поглядывали на него с опаской, особенно после того, как узнали, что воскресные дни он проводит то в волостной библиотеке-читальне, то в партийной ячейке на собраниях. Каждый раз Терентий, возвращаясь из села, приносил пачки книжек и газет. И за чаем, и за обедом, и перед сном читал запоем. Даже в пустошах на покосе, чуть выберется свободное время, Терентий доставал из-за голенища газету, читал про себя, а потом вслух объяснял мужикам, где и что происходит, и какие есть новые декреты, и чем они полезны для народа.

Сыну Еньке Михайла говаривал:

— Не туда смотрят Терёшкины глаза, не туда. Зачитается, не быть ему ни сапожником, ни крестьянином. Видно задумал всурьёз к большевикам переметнуться. Словом его уже теперь не пришибёшь, он и от чорта отговорится...

В погожее лето всё полихинское население отправилось на пожни Кубинского подозерья косить и метать в стога резун-осоку. Енькина жёнка, хромоногая Фрося, осталась по хозяйству домовничать. Михайла с Енькой взяли с собой на пожни Терентия и порядили в подёнщину Николая Копытина. Вчетвером в телеге с косами, граблями и носилками тронулись следом за соседями в путь. В задке телеги стоял короб с ржаным хлебом — запас на целую неделю. Приварка с собой не взяли. Небольшой бредничек и Енькино ружьё-дробовик обнадёживали скрягу Михайлу, что рыба и даже утки будут к обеду и ужину. Недаром побрякивал привязанный под телегой прокопчённый медный допотопный котёл.

За деревней Кокошенницей, где начинались болота и овраги, полихинские мужики догнали обоз косарей из Кокоурева, Полустрова, Беркаева и других соседних деревень. Обоз, гремя пожитками, тянулся на целую версту.

На неровной, взрытой буераками дороге Копытин и Терентий соскочили с телеги, пошли по сухому кочковатому пригорку напрямик пешком. Они прыгали с кочки на кочку, попутно хватали горстями и ели перезрелую морюшку. Кочковатое болото краснело от обилия ягод. Особенно было много клюквы и брусники.

Обоз косарей выбрался через овраги на речку Меленку к Овечьему броду, здесь над пучкасами до болотной речки Каржицы по скотному выгону тянулась дорога. Лошади, подгоняемые мошкаррой, бросились по ровной дороге вскачь. Михайла сидел на юблучке, свесив босые ноги. Синие в полоску домотканые портки и ситцевая выцветшая рубаха, подпоясанная узким ремешком, пузырились на нём от быстрого бега лошади. Енька держался за привязанный к задку короб с хлебом, покрикивал:

— Наддай, отец! Чем наша хуже других?!

Михайла, согнув вожжи, стегнул лошадь, пустился в обгон без надобности, для форсу.

— Большевика, большевика обгони! — покрикивал Енька, глядя, как впереди них, стоя в двуколке, во всю прыть летел на сивой кобыле по берегу пучкаса Николай Фёдорович Серёгичев—коммунист из деревни Кокоурева. Но как ни шлёпали согнутые вожжи по спине рыжего мерина, Михайла объехал всех попихинских и беркаевских, а Серёгичева догнать не мог.

Без пояса, с круглой полуседой бородкой, с развевающимися чёрными с проседью волосами, Серёгичев крутил в воздухе ременницей, свистел и кричал понятливой Сивухе:

— Эй! Ты скачи, скачи, скачи! На нас смотрят богачи!..

У глубокого брода через речку Каржицу столпились кони и люди. Брод был с изгибом и переезжать его следовало уменючи. Первым, не узнавши броду, сунулся в воду расхрабренный Серёгичев. На середине его Сивуха пошла вплавь, таща за собой всплывшую двуколку.

Стоя в повозке, Николай вымок до самого ворота распахнутой рубахи. Кое-как выбрался он на другой берег. Грабли и косу с его двуколки течением прибило в кусты на извороте реки. Корзина с хлебом подмокла.

— Так не годится...

— Брод надо изведать, — столпившись у отлогого берега, рассуждали мужики, и отрядили они безлошадную вдову Ларису Митину идти через Каржицу нащупывать русло помельче. Ростом Лариса не ниже любого мужика, да и плавать её не учить. Взяв в одну руку носилку, другой постепенно поднимая подол изношенного, заплатата на заплате платья, погрузилась она в воду и, не взирая на шутки и прибаутки мужиков, побрела, делая заход вправо с изворотом и меряя носилкой глубину по сторонам.

— Молодец баба! — похвалил её Миша Петух, — золото баба. Такая и в воде не утонет и в огне не сгорит. Не чета моей, царство небесное, Агнише...

Выйдя на противоположный берег, Лариса расправила на себе платье и крикнула соседям:

— Держись правой!.. Правей держитесь!..

И тогда все подводы одна за другой двинулись вброд по незримому следу Ларисы. Терентий и Николай

Копытин подошли к броду, когда половина обоза была за Каржицей по пути к Исадам и Печищам. Солнце грело, как ему положено греть, вода в реке была вполне тёплая, удобная для пешей и конной переправы. Через несколько минут, отстав от уехавшего хозяйчика Михайлы, Терентий и Копытин сидели нагишом на прямой осоке и выжимали промокшую одежонку. Перед ними расстилались пожни, поросшие густой и уже пожелтой осокой. Пожни, пересекаемые пучкасами — курьями и реками, тянулись по Кубинскому подозерью огромной полосой вёрст на полсотни в длину, а в ширину всего вёрст на пять. Посреди озера маячил на малом островке древний, оставшийся без монахов, Спасо-каменный монастырь. Вдали на высоком противоположном берегу виднелись частые деревушки Заозерья.

Задолго до заката вся конная и пешая ватага косарей, минуя десятки пучкасов и озёр, затянутых камышами, выбралась на самый берег Кубинского озера. Озеро шумело и волновалось. Свежий пронизывающий ветерок торопил мужиков строить шалаши.

В ивовом кустарнике застучали топоры. Засвистели в резун-осоке косы. И на месте, где остановились подводы, из прутьев и охапок осоки быстро выросли десятки шалашей. Обширные пожни подлежали дележу. Право дележа по-старинке предоставлялось старым людям, знавшим концы и начала всех пожен. До дележа сошлись мужики на жеребьёвку.

— Жеребьёвать нынче нет нужды. Осоки всем хватит, — предложил Николай Серёгичев, когда бумажки с наименованиями пожен были разложены под фуражки.

— Кому хватит, а кому и нет, — возразил Михайла. — Конечно, у юго одна корова, много ли тому надо. А я к весне, бог да здоровье, хочу на своём дворе пять коров иметь. Тут как?

— Широко хошь шагнуть, портки не порви! — слышался из толпы насмешливый голос Ивана Мёнухова.

— Он может, смотри, каких двух остолопов нанял — Терёшку и Копыта, сам да Енька. Четыре мужика могут не мало накосить, если дней десять тут заживутся.

— И всё же осоки нынче вдоволь, — продолжал настаивать Серёгичев, — у меня есть для всех вас запа-

сец. До сей минуты никому не хвастал, а вот пожалуйста. Терентий Иванович, на-ко прочитай им появственной...

Николай Фёдорович извлёк из кармана штанов смокшую и потому сразу распавшуюся на четыре части бумагу земельного отдела, в которой печатными буквами говорилось, что Попихинскому сельскому обществу — гражданам Попихи, Кокоурева, Полустрова, Беркаева и других деревень отныне и впредь до особого распоряжения передаётся шесть монастырских пожен: Мулаиха, Копылиха, Захариха, Мокриха, Кораблиха и Приозёриха, на коих снимается до четырёхсот возов осоки.

Мужики восторженно зашумели:

— Эге-ге! Вот это да!..

— А осока-то там какая! Аромат! Объядение!

— Да, у монастыря поженка была, не наше горе, что надо.

— Наш резун не корм, а отрава. Корова жуёт, а дёсны в кровях.

— Это что, а длина осочки посмотри—аршина три, один конец во рту, а другой, гляди, под хвостом у бурёнушки. Длина — во всю кишку!..

— Эх, и будет удой с монастырского корма, мать честная! Молодец Серёгичев, ай-да большевик, это он отхлопотал. Качать Николая свет Фёдоровича товарища Серёгичева, качать... Братцы!..

Толпа мужиков радостным шумом встретила столь неожиданное предписание земельного отдела.

О жеребьёвке разговор отпал. Серёгичев предложил сегодня же до заката осмотреть монастырские пожни, завтра по росе их разделить и начать косьбу с монастырских пожен, а свой вековечный резун никуда не уйдёт.

Многим захотелось взглянуть, что за пожни отхлопотал Серёгичев. Человек двадцать верхом поскакали к монастырским угодьям. Михайла снарядил туда Еньку. Ружьё подал:

— Может утку, либо селезня шпокнешь... да смотри с Николахой большевиком не заедайся; мужик он к власти руку имеет. Что нам перепадёт, то и слава богу. Не бранись.

Ещё не увидев новые пожни, Михайла начал подъезжать к Ларисе Митиной:

— Не продашь ли, голубка, ты мне свой пай осоки тамошней? На одну-то коровёнку тебе и здесь хватит накосить.

— Нет уж, спасибо, извини-подвинься, — отрезала Лариса, — лучше и не заикайся. Наверно, когда власть отдавала нам эти пожни, так не таких, как ты, в виду имела, а тех, которые победней.

— Правильно, Лариса! — поддержал Терентий, — жадности и зависти советская власть не поклонница. А тебе, Михайло, довольно стыдно к бедным вдовушкам так подкатываться.

— Не твоё дело! — прикрикнул Михайла. — Не тебе меня учить. Отцовский сын, весь в него пошёл. Тот такой же поперечный был.

Поворчав на Терентия, Михайла снял с телеги бредничек, растянул на скошенной луговине. Просмотрел внимательно кибасьё — поплавки подсчитал, проверил. Сердито повернулся к Терентию:

— А Николаха Копыто где? Крикни его, да пойдём, может на уху, на две наловим, чем зря тут время тратить.

Ни у кого не было бредничка, кроме Михайлы. Поэтому, когда они втроём пошли на ловлю, прихватив с собой порожний котёл, за ними из любопытства увязались подростки-ребятишки.

Облюбовали заводь, поросшую у берега кустарником. Михайла, перекрестясь, держась за клещ бредничка, босой, засучив выше колен портки, шёл водой в обход и твердил себе под нос божественные слова и обеты:

— Пусть эта тоня на счастье преподобного Лаврентия. Завтра он именинник. Ежели тоня удачная, то обещаю свечку...

Терентий, держась с другого конца за бредень, шёл, увязая в зыбком иле. Копытин держал наготове котёл под рыбу.

Кряхтя, вытащили на берег первый улов. От тины и сгнившей прошлогодней осоки чуть не лопнул бредень. Попала щучка с веретено, тонкая и, казалось, чуть живая, и несколько лягуш.

— Не на того святого закидывали, — передумал Михайла. — Давайте, отойдём подальше, да на Симеона-богоприимца вытянем.

— Да уж, Симеон не должен подвести, — усмехнулся Терентий.

Закинули, вытащили — опять пусто.

— Нет, тут что-то не то, — сообразил Михайла. — Может к ночи рыба спать в озеро на самую глубину ушла?..

— А эта болезная не успела? — подтрунивал Копытин, глядя на щучку, прильнувшую ко дну котла.

Михайла задумался. Ему казалось, что только на утренней заре может быть настоящий лов. Да чтобы постороннего глазу не было, а тут чорт принёс ребятишек с дюжину. Шум да смех, какая может быть рыба?! Он уже распорядился, чтобы Терентий и Копытин, очистив бредень от тины, стащили его к шалашам и развесили сушить. Но, охочие до свежей ухи, они не послушали его, а пошли вдоль заводи и заметили глубокий омут с крутыми берегами.

— Ну, Михайло, не препятствуй, — решительно и уверенно сказал Копытин, — вот здесь мы с Терёшкой во имя лысого дьявола попробуем закинуть и посмотрим, что из этого получится. Эй, вы, мелкота! — крикнул Копытин на ребятишек, — прочь отсюда!..

На приплёске он поднял два продолговатых камня. Разорвал пополам пояс и к бредню под самый рукав повесил дополнительный груз. Ребятишки нехотя удалились от заводи и выжидательно остановились в стороне.

Долговязый, костлявый Копытин разделся донага, побрёл вокруг омута. Тоня была слишком короткой. Не прошло и десяти минут, как бредень лежал на берегу под кустом ракитника, а в рукаве шумно, как стая воробышков, сердито трепыхались крупные, скользкие и колючие ерши. Их набрался почти полный котёл, добрых полпуда!..

— Вот тебе и Симеон с преподобным Лаврентием! — подшучивал Копытин над хозяином. — Разве они понимают в рыбацком деле?..

Михайла не прекословил ни ему, ни Терентию, он только просил:

— Ребята, закиньте ещё разок.

— Нет, уж не жадничай. Сразу нельзя. Завтра в эту пору рыба соберётся, и черпай её, сколько хочешь. А на сутки нам хватит.

— Ай, бестия, смышлён, бестия! — восхищался Михайла. — Смотри-ка — два камня прибавил, по самому дну бредень проволока. Уха-то, уха какая будет!..

Скоро над костром в котле, подвешенном на носилке, заклокотала горячая уха. Пузатые ерши топорщились на поверхности и, разваренные, лопались, возбуждая аппетит у многих...

Вернулись осмотрщики с монастырских пожен. Хвалили, словно найденные, даровые монастырские покосы:

— Там и осоки нет, а настоящая трава-цветник, от одного запаха голову кружит, как с хорошего пива хмельного. Коровы спасибо скажут.

Над Енькой соседи насмехались:

— С ружьём таскался, всех уток перепугал. Как увидели — прочь да дальше. Ни одна не показалась.

— Мои уточки никуда не денутся. Будьте спокойны.

— Какие там утки! — говорил Копытин под задор Еньке. — И ружьё-то у тебя мухобойной системы, с дула заряжающееся, образца одна тысяча пятисотого года. Самый раз такое ружьё кладбищенскому сторожу покойников стеречь, чтоб не разбежались.

— Ну, ты не больно разоряйся.

Енька, чтобы доказать свои охотничьи способности, снял ружьё с телеги и нацелился в двух ворон, беспечно бродивших около лошадиного помёта.

— Кыш, кыш! — замахал руками Копытин. — Вот ведь дуры, не улетают, знают, с каким охотником дело имеют.

Раздался слабенький, хлопнувший, как доской по воде, выстрел. Одна ворона — наповал, другая поднялась на сажень от земли и, подстреленная, нырнула в осоку.

— Вот как наши! — похвастался Енька и расплылся в улыбке.

— Зря заряд испортил, — упрекнул Михайла. — Не велика корысть ворон бить.

— Это я для пробы.

Ребятишки подобрали подстреленную ворону. Привязали верёвочкой к шалашу и наносили ей сырой и варёной картошки. Кто-то раздобрился и угостил несчастную птицу пшённой кашей. Ворона не прикасалась

к пище. У неё были злые, налитые кровью глаза и клюв открытый, готовый к самозащите. Подошёл Николай Серёгичев, поворчал:

— Нельзя, Евгений, здесь стрелять, по ошибке можно в человека, либо в лошадь заряд выпустить.

— Что верно, то верно, — согласился Михайла и, думая о дележе хорошей монастырской пожни, сказал:— Ищи-ка ложку, Николай Фёдорович, да с нами уху кушать.

— Ложку всегда найти можно.

Ершей и ухи было вдосталь. Все ели, похваливая Копытина, сумевшего такую прорву рыбы вытащить за одну тону.

Не подозревая, в чём смысл гостеприимства Михайлы, Серёгичев, очищая рыбу от чешуи и колючих костей, завёл за ужином разговор с Терентием:

— Ты, парень, бывало у комбеда Турки секретарём значился. К грамотности, стало быть, у тебя сноровка не малая. Надо найти листик бумажки и подсчитать, сколько тут у нас однокоровной и многодетной бедноты. Это на тот случай, чтобы вместо прежней жеребьёвки большинством голосов решать: лучшие участки на пожнях — бедноте.

— Это можно, это обязательно даже должно, — согласился Терентий, нащупывая в кармане штанов огрызок карандаша.

— Ну, спасибо, хозяин, за уху. Вот если бы еще луку да перцу в котёл...

Михайла в ответ на благодарность Николая Фёдоровича молча махнул рукой — подумал только: «Зря, кажись, подозвал его к котлу. Не по нутру мне его за-т-ся, — бедноте, бедноте, а какой от неё толк?!».

Огромное солнце сквозь тонкие кисейные облака снизилось в конец озера. Лишь на короткое время на поверхности задержался оранжевый отблеск, словно солнце растворилось в мутной озёрной воде. Настала серенькая короткая северная ночь. В шалашах послышалось сонное храпение косарей. Привязанные в кустарнике кони, хрупая, жевали, выбирая по вкусу подножный корм.

Терентий и Копытин, поужинав, легли спать под телегу. Им было слышно, как Михайла, ворочаясь в шалаше, поучал Еньку стариковской мудрости:

— Неизвестно, Еня, сколько мне жить осталось, а тебе многое знать не мешает, о чём старики ведали и всегда держались такого обычая; и по календарю и по божьему соизволению сбывались всякие приметы. Вот, скажем, к примеру: ежели волки зимой подходят к деревьям близко, тогда ты жди голодного году и смело покупай хлеб — барыш будет. Ежели первого марта, на Евдокин день, солнце показалось, — в то лето смело сажай огурцы, опять доход будет. В Егорьев день, двадцать третьего апреля, выпускай скот на волю, да чтобы беды за всё лето не случилось, не забудь пастуху подарочек сунуть — пирог, либо яичек парочку...

— Маловато! — крикнул из-под телеги Копытин.

Михайла не расслышал его и продолжал поучать своего последыша:

— Опять же скажу, — ежели болеть случится тебе, или Фроське твоей, или деткам, кои будут, то лучше всякого лекарства берёзовый сок... Восемнадцатого августа Фрола и Лавра, конёвий праздник. Не смей в тот день Рыжка запрягать, — святые обидятся, и лошади нездоровится... И ещё: зимой заглядывай на двор к коровам, и увидишь у спящей животины соломинку или клочок сена в зубах, — быть бескормице, запасайся заранее кормом... Старики много знали и по приметам предвидели, и тот, кто предвидел, жил всегда побогаче да посытей...

Михайла долго поучал молча лежавшего рядом с ним сына и перестал бубнить, когда услышал, что Енька с присвистом захрапел, почёсывая тугое от ершовой ухи брюхо.

Наутро до рассвета, как и хотел Серёгичев, вместо жеребёвки состоялось голосование. Бедняков было большинство, и они себя не обидели. Николаю Фёдоровичу был доверен делёж монастырских покосов. Словно войско, выстроились косари в ряд и, размахивая направо-налево косами-горбушами, кинулись на высокую перезрелую траву. Девки и бабы на этот случай оделись в разноцветные платья и, не уступая мужикам и рослым ребятам, шли, не разгибаясь, в прокос. Трава ложилась позади них валами, а впереди стояла стеной до самой реки Сигаймы.

На своей кулиге, которая по «милости» Николая Серёгичева оказалась короче, Михайла сначала вышел

наперёд, за ним, пыхтя, потянулся Енька, затем Терентий, и позади далеко отстал не привычный к работе Копытин.

Михайла обернулся, наставил-поточил лопаточкой косу, дождался Еньку и пустил его наперёд, уступив своё место:

— Коси, Енюшка, не те мои годы, не та, не прежняя у меня силушка. Выдыхаюсь...

Глянул на отстававшего Николу Копытина, громко и укоризненно сказал:

— Эй ты, Копыто, горе работничек! Не затем тебе даны руки, чтобы зря болтались. Посмотри на Ларису Митину, вот как надо косить!..

И верно: разогнулся Копытин, вытер пот на лбу, подправил лопаткой косу, глянул на Ларису, а она в одной длинной рубахе, с вышивками на рукавах и подоле, словно лебедь плывёт и плывёт по своей кулиге, не разгибаясь. И радостно ей и приятно для своей коровы-кормилицы такой добротный корм добывать.

Копыто плюнул на ладони, молча устремился вперёд, но далеко ему было до Ларисы. Енька, подбодряемый отцом, стремился уйти вперёд подалее. Но отец не уступал. Михайлова коса свистела за пятами Еньки.

Терентий, оставив далеко позади себя Копытина, наступал на Михайлу, казалось вот-вот косы их схватятся.

— Остановись! Перейди на моё место, — властно проговорил Терентий, разгибая спину. — Я покажу тебе, Еньке, как работать нужно.

Михайла поменялся с ним местами. Глаза его искрились задором. Он даже похвалил Терентия.

— Ай, да ты, старайся. Два лета в году не бывают, а летний день дороже зимней недели, нажимай, парень, нажимай!..

Но хозяйская похвала встала Терентию поперёк горла. Недолго он нажимал, обогнал Еньку сажень на десять, поравнялся с Николаем Серёгичевым и весело, шуткой, крикнул тому:

— Бог на помощь, Николай Фёдорович!

— Ни от чорта, ни от бога нам не нужна подмога. — приветливо скороговоркой ответил тот. — Ага, Терентий, ты чего так убиваешься не за спасибо. Медаль на тебя Михайла не повесит, а сила тебе, ох, как ещё пригодится.

— Я и то думаю, — ответил Терентий и, не дойдя до Сигаимы прокосом, лениво пошёл обратно к началу кулиги, где, не торопясь, помахивал косою Копытин.

— Ты куда? — окрикнул его Михайла.

— Копытину косу подправить да отдохнуть, пока вы с Енькой на мой прокос выйдете.

— Вольница! — прошипел Михайла сквозь зубы.

— А мне не больше вашего надо. Где шайка с брусом?

— На конце кулиги, — ответил Михайла. — Рановато точить. У Копыта не коса виновата, а руки.

— Вот, посмотрим...

Терентий и Николай Копытин сели отдохнуть. Разговорились:

— Две войны подряд было, — начал Николай, — две революции. Царя сшибли, Керенского спихнули, с буржуями управились, и мы с тобой к этому делу руки приложили. А кончилось всё — опять нужда пришла на хозяина работать. Куда же это, Терёша, годится? За что же это боролись? Или революция не коснётся деревни? Или кулаки будут опять множиться и выезжать на чужих шеях? Вот ты скажи мне. В селе бываешь, газеты читаешь, — ужели всё таким пропадом пропадёт? Вишь у Михайлы аппетит, чтобы пять коров, не менее, на дворе стояло! А Прянишников о торговлишке помышляет и маслодельню думает опять соорудить и в ход пустить.

— Чепуха! — возразил Терентий.

— Как чепуха? Сам слышал от добрых людей.

— Ну и что? Главное, чтобы у руля была партия большевиков, да рабочий класс оставался хозяином. А кулака всегда сумеют к ногтю прижать. Всему свой черёд. Это дело политики. У партии есть Ленин, есть Центральный Комитет. Они определяют, как и что надо делать.

— А я-то думал — сразу будет после войны коммуния.

— До этого, поди-ка, не так скоро, — рассудил Терентий. — Мужичью душу не вдруг перекроишь на новый лад. Знаешь, Ленин что сказал? Он сказал, надо уметь достигать соглашения с средним крестьянином, не отказываться от борьбы с кулаком и крепко опираться только на бедноту.

— Совершенные слова! А мы вот с тобой в обгонку стараемся на Михайлу работать, кулака из него выращиваем.

— Извини. Я не считаю себя удобрением для Михайлы, а понадобится, так первый могу ему на горло наступить...

— Тебе бы, Терёша, в партию надо податься, парень ты грамотный.

— За этим дело не станет. Подготовиться надо. Почитать побольше...

Посидели, отдохнули. Терентий поточил косу, поднялся с места.

— Маши-помахивай, не то Михайла подёнщину сбавит. За сколько рядился? — спросил он Копытина.

— Не за деньги. По пяти фунтов ржи в день. На деньги-то нынче ничего ведь не купишь, — ответил Копытин.

До обеда Терентий косил, не обгоняя хозяина и не отставая от него.

На обед возвращались к шалашам изрядно уставшие. Девчата и бабы-молодухи, несмотря на усталость, шли с песнями:

Ой, как наши бабы-сплетни  
Соберутся на лужок,  
Соберутся и судачат —  
У кого какой дружок!..  
Ой, не судите, бабы злые,  
Не порочьте нашу честь,  
Отольются слёзы бабам,  
У которых дочки есть...

Песни-коротушки оборвались пронзительным криком Еньки:

— Змея! Змея!..

— Бей её, проклятую, сорок грехов бог простит, — поощрительно сказал Михайла, — топчи сапогом, пока не уползла.

Енька старательно плясал на змее, с остервенением втапывая её в рыхлую землю. А потом шёл и припоминал грехи, которые ему должны быть прощены, и так как о своих грехах он имел короткую память, то не мог припомнить сорока грехов и решил, что бог ему в долгу остался, — можно ещё грешить...

На другой день попихинские, кокоуревские, беркаевские и полустровские мужики, бабы, ребята и девки орудовали на бывших монастырских пожнях граблями, носилками, вилами. Стога запашистого, высохшего за сутки зелёного корма, росли и росли на всех кулигах. Михайла с Енькой метали стога с одного конца, где поглаже, Терентий с Копытом — с другого, где кочковатее и труднее снашивать на носилках копны к остожью.

Лариса Митина гребла подкошенную траву одна, без помощников, и не успевала за соседями. На её кулигах ещё не появилось ни одного стога. Она часто взмахивала граблями и пока только сгребала сено в копны.

— Почему такая на работе сердитая? — спросил Терентий, когда Лариса поравнялась с ним на своей кулиге.

— Кто? А я-то?

— Не копна, конечно, ты.

— Да ну их, подлецов, ворьё несчастное, хапуги...

— Кого ты это?

— Ваших благодетелей...

— За что это их?

— Да в том конце у меня двух копен будто не бывало. Слизнули сволочи! — Глядя в сторону Михайлы и Еньки, добавила: — Не иначе, это дело их рук. Всю жизнь любят чужое прихватить...

— Может не они?

— Нет уж, не впервой.

— А ты им не говорила об этом?

— Не пикнула. Не пойманный — не вор. А кроме некому...

— Тогда вот что, — посоветовал Терентий, — не пожалей времени, — мы тебе потом стога метать пособим, — ступай на следующую пожню, засядь где-нибудь за кустик и подкарауль. Позарятся, может быть, они и там хапнут.

— Оно и правда вся, — согласилась Лариса. — А потом?

— А потом разберёмся...

Кулиги Ларисы Митиной и Михайлы приходились рядом. Заметив, что Енька и Михайла, сметав на этой пожне последний стог, будут переходить на другую

пожню — Подозериху, Лариса за час раньше вышла туда и спряталась не за кустик, как советовал ей Терентий, а схоронилась в третью от конца копну, тщательно зарывшись в сено. И от этого копна стала крупней и привлекательней. Лариса ждала, что вот-вот кто-нибудь, а верней всего Енька или Михайла, подойдут и запустят руки, чтобы двумя-тремя охапками перекинуть копну к своему остожью. Но ошиблась Лариса. Зачем охапками, когда есть носилки!.. Лёжа в засаде, она услышала сначала тихий разговор:

— Гляди, не смотрит ли кто? — спросил негромко Михайла.

— Шито-крыто, — ответил Енька, — давай эту. Копна что надо. Одной хватит. Не так заметно.

Лариса хотела было подняться и вскрикнуть, но решила: будь что будет! Михайла и Енька просунули под копну носилки. Притаившаяся в копне Лариса сразу почувствовала, как её вместе с копной подняли и понесли, при чём Михайла сразу заметил:

— Эта копёнка тяжела что-то, пудов под восемь потянет...

— Ах вы, гады! — не вытерпела Лариса и, раздвинув руками сено, встала во весь рост между Енькой и Михайлой.

Разинув рты, они испуганно опустили носилки на землю.

— Что за наваждение?! — сделал невинный и в то же время удивлённый вид Михайла. — А ты как так в нашу копну забралась?

— Ой, в вашу ли?! Подлецы вы этакие!.. — и заорала истошным голосом, каким только можно кричать при настоящем грабеже:

— Терёшка! Копыто! Сюда! Сюда!..

— Да и впрямь, кажись, копна-то Ларисина, — притворно проговорил Енька, часто моргая мутными безбровыми глазами и пощипывая рыжеватую поросль на своих пухлых щеках. — Давай-ка, тятя, разберёмся...

Лариса тряслась от злости. В её руках появилась носилка. Опираясь на неё, Лариса ещё раз крикнула, зовя свидетелей к месту происшествия.

— Я вам покажу, скряга с вырождком, небо с овчину! Я еще большевика Серёгичева позову, — пусть он вас рассудит...

Между тем Терентий и Копытин, услышав издали, с другого конца кулиги, крик Ларисы, пустились вперегонки бежать на её голос. На беду Михайле и Еньке откуда-то взялись Менуховы братаны, Миша Петух, а за ним, не спеша, с деревянными вилами на плече шёл беспоясный с засученными рукавами Николай Серёгичев.

— Мир беседе вашей, — сказал он язвительно, видимо поняв, в чём дело; покрасневшая Лариса крыла на чём свет стоит Михайлу и Еньку, а те переминались с ноги на ногу и туповато смотрели в землю.

— Что за шум, а драки нет? — спросил Серёгичев.

Лариса торопливо рассказала, что у неё пропало на той кулиге две копны, и как она сейчас подсадела воров.

— Да, некрасиво получается, — хмуро и презрительно заметил Копытин, — дело тут судебное!

— Ой беда, беда, — завздыхал Михайла.

— Давно известно: оберегай себя от бед, пока их нет. Людская молва, что морская волна, и разнесут про тебя, Михайло, и про тебя, Енька, такую славушку; что хоть нигде глаз не кажите. Все будут пальцем показывать и говорить: «Вот эти самые в копне сена бабу хотели украсть!» Ха-ха-ха!..

Смех Копытина подхватили братаны Менуховы, только Серёгичев и Терентий смотрели на происшествие серьёзно. Николай Фёдорович сказал:

— Ведь в другом месте самосуд бы учинили. И как это у вас руки поднялись у бедной вдовы воровать? Бессовестные!.. Тебе бы, Енька, надо здоровье поберечь смолоду, а то вот подадим команду, и Лариса так тебя отволтузит носилкой — живого места не оставит. А ты, Михайло, к могиле подбираешься, но о чести своей, видно не думаешь. Так, что ли?..

Молчал Михайла, ковыряясь дрожащей рукой в полуседой бороде. Молчал и Енька. У Терентия накипело на сердце; шагнув вперёд к хозяину, он упёрся в него глазами и закричал:

— На колени! На колени! Кланяйтесь Ларисе, честной и бедной вдове. Кланяйтесь, воры! Просите прощения...

— Да, придётся поклониться, — поддержал Терентия Николай Фёдорович.

Михайла, не дожидаясь понуждения, упал на колени, за ним лениво опустился Енька.

— Просим прощения, соседушка...

— Поклянитесь перед ней и обществом, что больше никогда воровать не станете,—подсказал Копытин.

— Клянёмся, никогда больше, никогда,—пролепетал Михайла сухо и чуть слышно.

— Да вы погромче, чтобы все вас слышали.

Михайла и Енька под нажимом соседей подтвердили ещё раз свои извинение и обещание. Николай Фёдорович, насупив густые, чёрные брови, сказал отрывисто:

— Встаньте!

Оба поднялись. А Копытин, сжав кулаки, жестикулируя, вносил свои предложения:

— Во-первых, сколько бы вы ни украли у Ларисы на той кулиге, вы ей обязаны отдать за это целый стог сена, какой она захочет взять, если хотите без суда обойтись. Во-вторых, я с Терентием берёмся за счёт Михайлы день помогать Ларисе убирать сено и осоку. Как потерпевшая смотрит на это?

— Что же, это будет вполне правильно,—одобрил Серёгичев.

Обрадованный Михайла, лишь бы скорей кончилось столь неожиданное и необычайно простое судилище, заявил:

— Пусть хоть два стога берёт!.. Вот как!..

Потом шумно все разошлись по своим кулигам.

Оставшись наедине, Михайла, не зная, кого винить—себя или Еньку, ворчал:

— И как это мы оплошали?! Вот теперь расхлёбывай!.. Недаром стариками ещё сказано: от лихости да зависти ни проку ни радости. И опять же известно: где не доглядишь оком, там поплатишься боком. Хорошо, хоть мягко с нами обошлись, а то могли бы!.. Эх, Енюшка, Енюшка, и как ты не заметил в такой копнище подозрительности!.. Действительно ведь опозорились!..

Енька выругался, как никогда ещё не ругался при отце, и злобно сказал:

— Вот тебе и сорок грехов прощается, а один да не простится, и на всю округу прогремим!..

Он бросил носилку на свою кулигу и, ухватившись руками за голову, пошёл к шалашам, стараясь никому не попадать на глаза.

Отец прокричал ему вдогонку:

— На утей сходи поохотиться, разгони кручину!..

Солнце ещё высоко стояло в голубом прохладном небе над шумным, бесконечно длинным Кубенским озером, и, как корабль, плыл и качался в Енькиных глазах на пустынном малом островке древний Спасокаменный монастырь. Когда Енька подошёл к становищу, рыжий мерин узнал его, встретил раскатистым ржанием; подстреленная ворона, привязанная озорными ребятами за ногу к чьему-то шалашу, и та, каркнув, припрыгивая, убежала на всю длину верёвочки и спряталась от него, как от недоброго человека. Енька сунулся ничком в свой шалаш, полежал, недолго подумал, затем вылез, переобулся и, захватив ружьё, мешочек с порохом и дробью, пошёл, куда глаза глядят, бродить до потёмок.

Не мало в тот вечер испортил Енька пороху и посеял дробь по заводям, а убил он всего одну лишь утку.

Вернулся в поздний час. Горели два костра. Около одного молодёжь, около другого мужики и бабы. Не подходя близко, Енька прислушался. До него доносились отрывки речи; по голосу он узнал Терентия:

— Два-то ты стога ей отдашь за свою промашку, это как пить дать, при нас дал слово. Но дело не в этом. Дошло ли до твоего и Енькиного ума, что воровать, что обогащаться за счёт других — преступление и самое последнее дело?!

«Лучше не подходить, весь мир знает», подумал Енька и сунулся в шалаш. Возле телеги сидел с куском хлеба Копытин.

— Николай, Николаюшко, — смиренно и ласково вкрадчивым, тихим голосом подозвал его Енька, — будь добр, мне неудобно к костру тянуться, на вот, ощибли да свари уточку, с тобой поделюсь. На четверых нас нехватит, а с тобой поделюсь. Свари.

Копытин взял убитую Енькой дичину, утка была тяжёлая и тёплая.

— Лежи, — сказал он, — куда тебя девать, ощиплю, сварю. Разведу отдельный костёр. Лежи!..

— Вот, вот, пожалуйста. Спасибо.

Озорной Копытин неожиданно быстро вздумал подшутить над Енькой. Утку он спрятал к себе под телегу и, нащупав в потёмках за шалашами брошенную убитую Енькой ворону, решил её сварить для него по всем правилам.

Вмиг он отсадил вороне голову, ощипал её тщательно, а через час Енька, скорчившись в шалаше, глотал вороньи косточки и хвалил «утятину», потчужа Копытина:

— Напрасно ты не попробуешь, дичь она полезная и вкусная...

— Я вообще не привык птиц кушать, — отказывался Николай, — отродясь не едал, оставь лучше отцу...

— Да я ему, гадюке, папоротку целую оставил...

И опять ночь, и опять под телегой расположились спать Терентий и Копытин. Сегодня не слышно было Михайловых нравоучений; отец и сын молчали. Копытин толкал Терентия в бок и надрывался от смеха.

— Чего ты гогочешь?

— Знаешь что, — шептал таинственно Копытин, — Енька принёс утку, а ворону сожрал.

— Как это?

— Да меня заставил утку ощипать и сварить...

— Ну, понятно, не рассказывай. А я думал про Еньку стишок составить, — признался Терентий, — уже начал придумывать:

Как в Попихе с неких пор  
Проживает Енька вор...

— Стишок — пустяк, — не удивился Копытин, — а вот ворону скормить — это дело! Спи давай...

Наутро, ещё все косари спали, Терентий в чьём-то пузатом чайнике тайно от Еньки сварил утку. Пока с утра ходили мужики делить пожни, он что-то писал на листе курительной бумаги и возился с вороной, привязанной ребятишками к шалашу. Потом за завтраком кто-то заметил, что ворона расхаживает свободно, подбирает крошки, картофельную кожуру, а на шее у неё привязана свёрнутая записка. Конечно, нашлись любознательные люди, и «воронья» записка попала на обсуждение, вызвала всеобщий смех и надолго прославила Еньку. На листе по-печатному карандашом было изложено:

Милосерднейшие мужики, ребятки, бойкие вдовицы и красавицы-девицы, к вам моя просьба:

Известно, что в пожнях не находятся ни судьи, ни милиционеры, так принимайте же вы строгие меры против охотника, подстрелившего меня, ворону, и убившего моего дорогого мужа. Что всего хуже, то горе-охотник за вчерашние

сутки сожрал моего мужа вместо утки! Куда же это годится? Прошу вас убедиться: гляньте за Михайлову телегу, там рядом за ракитовым кустом лежит воронья голова с хвостом, пёрышки, кишочки, потроха и коготочки; а всё прочее у Еньки в утробе, чтоб его разорвало от такой сладости, чтоб ему видеть одни только гадости, воришка он, маклак, скряга и жилая.

К сему руку приложила: вдовствующая ворона —  
Летунья Каркунова».

Слух о том, как Енька вместе с копной сена хотел украсть вдову Ларису Митину, и о том, как он вместо утки с аппетитом съел ворону, — перевалил за пределы пожен. И действительно — хоть на люди не кажись!..

## VIII

Копытин никак не мог примириться с прежней своей ролью зимогора, и, когда его Михайла прогнал, как «наёмную силу», он без промедления нашёл себе место в сторожке на сплавной Кубинской запани, но в пастухи не пошёл.

Терентий всю осень и зиму сапожничал у Михайлы, приобрёл за это время собственный сапожный инструмент: молоток, клещи, набор шильев, четыре пары берёзовых колодок разных размеров и прочие вещи, имея которые, он, независимо от хозяина, мог пойти на отхожие заработки — шить и чинить обувь. Но Михайла резко не ссорился с ним, и Терентий на скудных, готовых харчах зарабатывал у него себе на одежду и всякие нужды, как ему казалось, с достатком.

Енька настолько был обескуражен происшествием на пожнях, что ни разу за это время не показывался в селе, даже к тестю Прянишникову не заглядывал. В будни он шил сапоги, а в праздные дни возился по хозяйству, стучал топоришком, тесал и вколачивал гвозди, где надо и где не надо. А однажды ему пришла в голову мысль — отличиться перед добрыми людьми, заставить их забыть о его воровских поступках и оценить его по достоинству. Енька надумал сделать собственными руками весь деревянный, на трёх колёсах, самокат!.. То-то люди удивятся его выдумке и рукоделию, когда он весной, или в начале лета, на собственном изобретении, накручивая ногами, покатится по про-

сохшей деревенской улице. Сколько удивлённых глаз будет смотреть тогда в раскрытые окна, и ребятишки побегут вокруг, а он крикнет им:

— Берегись, раздавлю!..

Но до торжественного Енькина выезда на деревянном самокате времени ещё оставалось слишком много. Пока все планы находились лишь в не совсем разумной голове изобретателя, деревня Попиха с её обитателями жила скучно. По утрам бабы выходили к занесённым снегом колодцам, кое-как черпали воду, обряжали скот; в одно и то же время пели на чердаках нахохлившиеся петухи, в одно и то же время дымили на занесённых снегом крышах трубаки-дымоходы. Никаких перемен, никаких особых развлечений. Но вот однажды скучное однообразие Попихи было нарушено неожиданным возвращением домой, пожалуй, забытого всеми соседями— Павла Косарева.

После студёной полуголодной зимы весна в этом году была затяжная. То с крыши каплет, то снова хватит резкий мороз, то мартовский ветер-крышедёр зашвистит на сто ладов и снова по-зимнему поднимется вьюга.

Медленно, с оглядкой сдавала свои позиции зима.

До войны Павел Косарёв был просто Пашкой и на все руки мастером. Плохо ли, хорошо ли, умел он шить сапоги. Освоил роговое ремесло, плотничал, чинил часы, ковал лошадей, даже неплохо рисовал и пытался обновлять иконы. Потом стал работать у Никуличева на лесопильном заводе и работал до призыва в царскую армию.

На войну пошёл Косарёв, не проронив слезинки. В пляске столтал каблуки и проелозил подмётки у новых сапог.

Но недолго пришлось Косарёву бить немцев. Под Лодзью выбило ему шрапнелью глаз. Равенный Пашка попал в плен. Кое-кто пытался бежать из лагеря военнопленных, но редко кому сопутствовала удача.

Косарёв не хотел бежать из плена, не хотел рисковать жизнью. Терпеливо ждал благополучного конца— тоже удовольствия мало.

Но был он сообразителен. Достал где-то учебник химии и в свободное время стал с увлечением читать. Прочитает раз, потом сызнова. Читает да карандашом между строк чёркает.

Один из товарищей-военнопленных как-то спросил Косарева.

— Скажи, на кой чорт тебе понадобилась химия?

— Чудак-головушка! Химия мне позарез нужна, — ответил Косарев.—Очень она мне пригодится. Видишь ли, в чём дело: родом я из Вологодской губернии, сын известного лесопромышленника-миллионера Никуличева, Ивана Васильевича. И вовсе я не Косарёв, как значусь в списках. Родитель мой имеет лесопильные заводы, пароходы, стекловарню. Изучу химию, приеду домой—химический завод построю. Только прошу тут зря языком не болтать. Узнают, что я сын миллионера, и, чего доброго, потребуют за меня миллионный выкуп. Немцы—они хитрые...

По лагерю прошёл слухок и проник в штаб охраны военнопленных. За Косарёвым учинили особый надзор. Поведение его оказалось безукоризненным, за что и взял его к себе на поруки мюнхенский торговец. Павлу вставили искусственный глаз, так что трудно было различить, который глаз у него свой, который—стеклянный. Его прилично одели и стали учить объясняться по-немецки. Доверие хозяина к нему зашло так далеко, что пленный целые дни стал проводить у немца в магазине и помогать приказчикам в торговых делах. А в свободное время наречённый «Никуличев» притворно продолжал заниматься химией. Хозяин всячески способствовал этим занятиям. Достал пробирки, колбы, реактивы, и Павел с помощью одного из приказчиков стал даже производить несложные опыты.

Скоро пленный незаметно для хозяина пленил его дочь Элеонору. Состоялась свадьба. Элла охотно вышла за русского пленного «миллионера». И тогда Косарёву широко улыбнулось купеческое счастье.

... И вот, на станции Морженге, Северной железной дороги, Косарёв вместе с немкой Элеонорой и двухлетним ребёнком высадились из вагона на занесённый снегом перрон. У них было с собой много ценного груза, который довели не без ушерба.

Багаж проводники выбросили из товарного вагона на весёлый грязноватый снег. Тут были ящики с верхней одеждой, два обёрнутых войлоком трюмо средних размеров, картины, упакованные в ковры, и прочий скарб—в придачу к богатой невесте.

Поезд, постояв на станции полчаса, со скрипом тронулся на север. Косарёв, оставив у вещей жену с ребёнком, побежал искать извозчиков.

Вечерело. Рядом с железной дорогой чёрной стеной высился северный бесконечный лес и пел глухую, унылую, жуткую песню. Эта искожная лесная песня хорошо знакома северянам. Она о многом напомнила и Павлу Косарёву, приехавшему в свои родные края. Но не до воспоминаний было ему. Косарева тревожили думы о впечатлении, которое произведёт захолустная Попиха на обманутую Элеонору, самоотверженно приехавшую с ним.

У вокзала, наглухо запахнув пальто с длинным меховым воротником, немка, скорчась от стужи, сидела на ящике. На руках она держала закутанного в одеяло двухлетнего сына. Продрогший малютка всхлипывал. Элеонора, утомлённая далёким переездом и удручённая безотрадной студёной северной природой, кусала губы. Но всё же она не теряла надежды, что после дорожной встряски скоро придет к родственникам мужа и отдохнёт. Ведь это совсем близко! Павел говорил, что осталось только двадцать километров проехать на лошадях.

Глуховатый шум леса убаюкивал. Вот уже всё куда-то поплыло, лесной шум стал затихать, он доносился теперь словно откуда-то издалека. Пошевелился ребёнок. Мать вздрогнула, очнулась. Лес опять зашумел совсем близко-близко, а в этом шуме явственно послышался лай собак. Наконец из-за сугробов снега вынырнули одна, другая и третья лохматые лошадёнки, запряжённые в широкие неуютные розвальни...

До Попихи они ехали всю ночь. Не раз в буераках их опрокидывало. Не раз извозчики перекидывали и перевязывали багаж. Элеонора молча, терпеливо переносила все неудобства. В пути Косарёв, как мог, ободрял жену. Но тревога всё больше и больше охватывала и его. Он не раз представлял себе, каково будет разочарование Эллы, когда она подъедет не к нарядному крыльцу «Торгового дома Никуличева с сыновьями», а к невзрачной хате Пашки Косарёва!.. И каково будет удивление родителей (если они ещё живы), когда они увидят сына, да ещё с женой, ребёнком и грудой всякого добра. А с какой завистью будут ощупывать соседи приданое богатой немки!.. Думы Павла бежали вперёд и вперёд, то

и дело юбгоняя нерасторопных возниц с их заезженными клячами.

К рассвету кое-как дотянулись до Попихи. Теперь Косарёву думать было поздно. Кончилась игра втёмную.

Не велики оказались «хоромы», представшие перед глазами удивлённой немки: бревенчатая избёнка — три окна спереди, одно сбоку. Небольшой дощатый придворок и застывшая лужа грязных помоев у самого входа в избу.

— Вот и приехали! — с тревогой в голосе, но стараясь изобразить на лице своём радость, воскликнул Косарёв. — Милости прошу, высаживайтесь!..

Лошади остановились у старой покосившейся хибарки. На крыльце показалась завернутая в тряпье старушка Косариха. Она не сразу распознала сына, не сразу всплеснула руками:

— Батюшки-светы! Да это Пашенька, мой ненаглядный!.. Ой бы пораньше тебе, дитяtko, приехать. Отец-то не дожил до тебя... Умирая, вспоминал своего Пашеньку...

— А вот — моя жена и сынок, через недельку два года ему, — несвязно проговорил Павел, освобождаясь из объятий матери.

— Батюшки-светы! Два года, сынок! Там, в неметчине, ты и поженился. Ой, ой, греховодник, не на крещёной?!..

Элла сошла с розвальней и остолбенела. И не села, а упала на снег.

Между тем к косарёвской избе со всех концов Попихи сбегались мужики и бабы. Извозчики начинали развязывать верёвки и складывать с розвальней багаж на снег.

Теперь всё поняла обманутая немка. С криком бросилась она к возницам, чтобы не дать им сбрасывать вещи...

Мужики, видя плачущую, что-то непонятное бормочущую немку и растерявшегося Пашку, стояли молча, изумлённо переглядываясь. Самый смелый из них, Миша Петух, у которого что на уме, то и на языке, спросил:

— Пашунька, что ты сам приехал, — это хорошо. А вот эту жидконогую на кой чорт привёз? Всё равно

ведь она ни с серпом на жниве, ни с молотилом на гумне не работница...

— А добра-то сколько привезено! — восхищалась Лариса Митина, одетая, как всегда, в отрѣпки.

— В десять годов им не прожить, — приставая к словам Ларисы, заметил Миша Петух, и его глаза искрились завистью на чужое богатство.

— Сказал тоже — в десять. Как не будет хлеба, в год всё прошамать можно. Нынче из города этим добром завалили деревню, — рассудительно определил Михайла.

— Видать, богачка, — догадывались мужики, уставив глаза на немку. — Только вот не в хорошее подворье замуж вышла, так теперь и плачет-заливается бедняжка.

— Говорит по-своему шельма, а ведь плачет-то по-нашенски...

Терентий Чеботарёв постукивал кулаком по крышке упакованного ящика, внутри которого что-то жалобно звенело, разжигая всеобщее любопытство.

— Давай, поможем в избу затащить, если влезет, — предложил Терентий.

Но Косарёву было не до услуг. Он стоял вплотную около немки, держал её за руку и смущённо лопотал ей что-то на чужом языке:

— Нейн, либе фрау!.. Нейн!..

Элла в отчаянии оттолкнула от себя мужа, снова бросилась в розвальни, где лежал ребенок, склонилась над ним и ещё пуще заревела.

— Вот комедия со слезами! — сердился Миша Петух и посоветовал Косарёву: — да шли бы в избу, чем на стуже народ держать.

— Господа, вас никто не держит. Ступайте, куда хотите, — фальшивым тоном проговорил Павел, обратясь к соседям.

— Товарищ Косарёв, мы без господ четвёртый год живём, — одёрнул его Терентий. — Ужели ты не знал, куда везёшь эту буржуйку?

Бабы рассматривали ребёнка:

— Обличье Пашкино, а носик-то её и волосье тоже её. Шустрый ребёночек-то, как бы не простыл...

— Вырастет беденький и говорить по-русски ни бум-бум...

Кончилось тем, что извозчики, покормив лошадей, повернули их обратно, увозя на розвальнях Элеонору с ребёнком и со всем её немецким скарбом. (Потом, в Вологде, она без волокиты получила разрешение на обратный выезд в Германию).

— Не везёт!.. В плену везло, а вот дома — нет. Отец умер, немка сбежала, — жаловался в тот день Косарёв, — видно обманом долго не проживёшь.

— Ладно, Пашенька, — успокаивала его мать, — одна голова не бедна. А и бедна, так одна. Нынче невест большой урожай. Выберешь любую из сотни.

— Зачем дурню было ехать? — спрашивали, качая головами, соседи.

— Как зачем? Родина... Ещё бы не ехать? — возмущался Косарёв. — Да ехал-то как! Через Швецию и Финляндию. Если бы не отец этой немки, нескоро бы выбрался, тот помог; немало денег всыпал он нам на проезд... Как же не ехать: в России революция, в Германии под Вильгельмом трон развалился. Немецкий царь в Голландию сбежал от своих верноподданных. Нашего царя большевики расстреляли. Очень много интересного стало. Вся жизнь переиначивается! Любо посмотреть!..

Не жилось Косарёву в Попихе. Продал он за несколько бумажных миллионов золотые часы — подарок тестя и уехал куда-то, словно в воду канул, оставив о себе в Попихе и около не мало разговоров на долгое время.

## IX

В Устье-Кубинском стал расти и шириться базар. Прошло время реквизиций и конфискаций. Как клопы из щелей, выползали купчики. Сначала приbedнялись, потихоньку-полегоньку раскрывали они свои лавчонки и лабазы. Появились едва заметные скромные вывески: «Торговля красного купца Ганичева», «Частная фирма «Оборот» Красавин, Круглихин и компания», «Продажа Копниной», «Артель частных предпринимателей «Актив», и даже трактир Петра Смолкина «Париж» попрежнему гостеприимно и заманчиво распахнул под вывеской на два раствора обитые жостью ворота. Началась новая экономическая политика, привлекался к

торговле частник, привлекался и обуздывался финансовыми органами.

Финансовый агент Курицын, коротконогий, широкий в плечах, в соломенной шляпе, неугомонно метался, вручая частникам патенты и собирая подоходный налог. Кустари-сапожники в былое время торговали своими изделиями с рук беспошлинно. Курицын ввёл порядок: за беспатентную торговлю—с кустаря штраф. Прятались от Курицына сапожники, сбывали свой товар в закоулках и даже продавали частникам в болоте, не доходя до села.

По этому поводу Терентий Чеботарёв, работая у Михайлы, между делом сочинил безобидный стишок:

На базаре сапоги  
Сапожник предлагает,  
А другой кричит: «Беги,  
Курицын поймает».  
С боку Курицын агент  
Подходит торопливо,  
Говорит: «Возьми патент  
И торгуй счастливо...».

В другой раз Чеботарёв, узнав о пьянстве и бюрократизме волостных работников, написал что-то слишком резкое; особенно досталось бывшему торгашу Борису, пробравшемуся в советское учреждение. Составленная Терентием «прокламация», ходившая по рукам, начиналась такими словами:

Прочитайте, что здесь писано  
Про Василия Борисова,  
Что про здешнего буржуйчика-купца,  
Мироеда, вора, плута, подлеца!..  
До войны ещё когда-то при царе  
Слыл за первого буржуя он в селе...

Дальше рассказывалось, как Борисов, пользуясь чьей-то властной поддержкой в губернии, стал ворочать в волости продовольственными делами и на ворованные у государства средства построил двухэтажный особняк под железной крышей.

Чеботарёва милиционер Дробилов привёл в исполком и, учинив ему с пристрастием допрос, предъявил обвинение в оскорблении личности.

— Это у Борисова-то личность?!—возмутился взволнованный неожиданным оборотом дела Терентий.

— А что по-вашему? — с деловитым спокойствием спросил милиционер.

— Жульническая морда, вот что!.. И как же так можно бывшего кровососа-торгаша допускать близко к власти?

— Это не вашего ума дело. А за оскорбление личности в письменных стихах вы понесёте ответственность...

На счастье Чеботарёва зашёл в канцелярию к милиционеру секретарь партийной ячейки Пилатов. Он прислушался к угрозам милиционера и, вникнув в дело, участливо сказал:

— Ты, батенька, брось эти шуточки. Не стражай зря парня. Сейчас же уничтожь протокол, а стишок о Борисове подай мне, — разберёмся на ячейке...

И, сменив тон, вежливо обратился к Терентию:

— Я помню тебя, товарищ. Согласно твоему заявлению бронзовый памятник мы тогда сдали в пользу голодающих. Оказывается, ты ещё и стихи сочиняешь?..

— Балуюсь маленько, — смутившись, ответил Терентий.

— Баловаться серьёзным делом нельзя. Пиши и приноси мне. Я могу тебе кое-что подсказать. Да ты бы написал что-нибудь дельное и в газету послал бы. Теперь газеты делаются массой рабкоров и селькоров. — Сказав это, Пилатов подумал: «Есть из укома третья директива — увеличивать рост ячейки. Надо поглубже изучить этого парня: может быть подойдёт для приёма в партию».

Пилатов и раньше не раз примечал Чеботарёва в исполкоме за чтением газет и на открытых партсобраниях, а потому сейчас прямо ему сказал:

— Товарищ Чеботарёв, готовился бы ты вступать в партию. Заходи, книжек дам, почитай хорошенько, а потом встретимся, побеседуем...

Терентий стал часто бывать у Пилатова.

Как и все частники-хозяйки, Михайла и Енька боялись Курицына: вдруг строгий финагент зачислит в «первую гильдию» и налогами придавит. Но ухитрялся Михайла против финансового блюстителя: отдавал кожаные выкройки маломощным кустарям, и те работали

на него у себя на дому. Кругом выгода: харчи экономятся и эксплуатация скрыта.

Терентий понял эту нехитрую, но выгодную для частных механику. Целый список составил он на таких, как Михайла, хозяйчиков, указал на их увёртки от финангента и написал об этом заметку в газету «Красный Север». Заметка не пропала даром. С усть-кубинского базара расторопный Курицын перекочевал в деревни и принялся там наводить налоговые порядки.

Каждое воскресенье, рано утром, приходил Терентий в волостную читальню и сидел здесь до позднего вечера. Брал книги у Пилатова. В свободное время, за обедом, за чаем и ночью после работы Чеботарёв читал и перечитывал «Коммунистический манифест». Однажды Михайла вырвал у него из рук эту книгу и швырнул в печку.

Вспыхнула книга, покраснел Терентий, еле-еле сдержался, не ударил хозяина, стиснув зубы, молча опустился на табуретку.

— Это, Терёшка, не псалтырь. Не велик грех и сжечь такую книгу, — нагло сказал Михайла.

— Ну, ты зря, тятя, погорячился, — заступился было Енька, — книга-то у парня библиотечная, деньги с него потребуют.

— Эх, Михайло, Михайло, дураковат ты всё-таки, — успокоившись, хладнокровно заметил Терентий. — Если английская и американская интервенция не могла нас свалить, то тебе в печке революцию не сжечь.

— Учёный стал, а на сапожном деле не особенно фартов. Кабы из тебя сапожный мастер хороший вышел, тогда другое дело, — проворчал Михайла, глотая горячий чай и обмакивая в блюде прокуренные усы...

И не раз хозяин резким окриком обрывал Терентия, когда тот, уединившись, читал или писал заметки в газету.

— Надо ремесло знать, — сердился он. — Подумаешь, писарь нашёлся!..

Чтобы не злить хозяина, Терентий выходил в сени, украдкой брал спрятанную там над воротами записную книжку и заносил в неё свои простые мысли. Писал он обычно «стихами». Так ему казалось «складней и занятней», писал о будничной жизни усть-кубинских деревень, о разных недостатках, требующих устранения. И стран-

ным казалось ему, что его «стихи» редакция переделывала в обыкновенные неуклюжие короткие заметки. Однажды он получил даже такое неприветливое письмо из редакции:

«Тов. Чеботарёву. Присылая нам с каждой почтой стихи, вы уподобляетесь Сизифу, который в подземном мире вкатывал на гору камень, постоянно скатывавшийся назад. Пишите, если хотите, прозой» —

Ниже красовалась змееподобная, однако разборчивая подпись: «Фёдор Сухов».

— Сизиф, Сизиф? — недоумевал Терентий, — Чорт его знает, этого Сизифа... Шахтёр, что ли, какой, раз он в подземелье камни ворочает, и что означает такой ответ редакции?..

Пришёл Терентий в школу к учителю и обратился к нему с вопросом:

— Иван Алексеевич, вы не с моё читали, скажите: кто такой Сизиф? И чем он до революции занимался?

— Сизиф — это миф, — не задумываясь, с улыбкой ответил учитель.

— А миф что?

— Разве не знаешь?

— Откуда же всё знать, Иван Алексеевич? Нигде вот не могу словарь достать. За хороший словарь неделю бесплатно стал бы работать.

Учитель пояснил ему, что такое миф.

— Наверно, пошутили, — заключил Терентий, показывая Ивану Алексеевичу полученное из редакции письмо.

Тот прочёл, улыбнулся.

— Письмо, конечно, нелестное, а главное, нетактичное. Но и ты, надо сказать, перестарался, — рассудил учитель и поощрительно посоветовал: — описывая в заметках толковые, проверенные факты, а стихи — это дело нелёгкое, больше для себя пока упражняйся. Я вот тоже стихи иногда пишу, но послать в газету не хватает смелости. Хочешь, прочитаю тебе? Вот послушай. Ходил я нынче в пасху в село и сочинил стихотворение, оно называется «Колокольный звон»:

... Колокола весь день сегодня

Звонят, как на пожар.

На то и пасха, мол, господня, —

Звони, звонарь,  
Пока не надоело.  
Придёт пора —  
Употребят на дело  
Все колокола.  
Через годик, через два,  
Иль через три-четыре года,  
Снимем мы колокола  
На пользу общую народа.  
Чтоб звонарю зря не звонить,  
И чтоб зря медью не гудело —  
Ничуть не грех употребить  
Колокола на дело!..

— Ну, как? — спросил учитель.

— Добро, если постараюсь, пожалуй и я так напишу, — ответил Чеботарёв.

— Конечно, напишешь.

Обычно, накануне воскресных дней, по вечерам, Терентий снимал с себя пропитанный дёгтем сапожный фартук, садился на лавку, клал себе на колени доску, на которой кроят кожу, и писал в газету. И о чём он только не писал! Проворовался в кооперативе продавец — уже об этом Терентий сообщил в редакцию раньше, чем ревизионная комиссия подумала жаловаться в нарсуд. Отъявленные самогонщики, спекулянты, кулаки с их хищной натурой, изворотливые бюрократы и взяточники попадали на остриё его селькоровского карандаша.

Однажды, получив из редакции запрос прислать фотокарточку и написать о себе, Терентий купил новую фуражку, чёрную сатиновую рубаху и пришёл к фотографу-любителю. В губернской газете скоро появился фотоснимок, а ниже напечатано:

#### Селькор Чеботарёв о себе

Говорят нередко мне  
Кое-кто с укором:  
«Как охота быть тебе,  
Терёша, раб-сель-кором?  
Ошибёшься вдруг, соврешь  
Что-либо в газете,  
Сам к ответу попадёшь  
За писульки эти».

Всё, что знаю, не спущу!  
Нечего бояться.  
Правду-матку освещу, —  
К правде не придраться.  
И буржуев и попа  
Крою без разбора, —  
Знай такая шантрапа  
Карандаш селькора..

Его стала знать вся волость. К нему в Попиху приходили крестьяне из соседних деревень, советовались с ним, рассказывали о своих невзгодах и просили помочь через газету.

— Скоро наш Терёха прокурором будет, либо мировым судьёй — адвокатом, — ехидничая, говорил Михайла.

А Енька, чувствуя явную зависть и скрытую ненависть к растущему батраку, с напущенной любезностью спрашивал его:

— Почему у тебя, Терёша, нет такого упорства к сапожному ремеслу? Допишешься, рано ли, поздно, голову свернут. Какой тебе прок в этом? Не все ведь селькоров обожают, бывает, что и обижают.

— А мне это не страшно. Селькоры — помощники партии. Если понадобится, партия за меня заступится, — спокойно отвечал Терентий, уверенный в правоте своего дела, — не могу же я, скажем, как некоторые, заниматься «изобретением» деревянного самоката, — с лукавой улыбкой добавил он.

Енька, почуяв насмешку, от злости порвал дратву и швырнул недотачанное голенище в угол на кожаное лоскутье.

— Мне и от Фроськи надоело слушать поправки за самокат, — сказал он, — да ещё ты суёшься. Я двадцать четыре воскресенья потратил на его устройство! И ещё праздников шесть понадобится. Это, брат, не в газету писать. Да если бы я поучён был, я бы автамобиль придумал сделать!..

Фрося, Енькина жёнка, действительно упрекала мужа, говорила, что это явная глупость — тратить время на детские пустяки, вместо того, чтобы, скажем, сходить в село на базар, или в гости к тестю. Но Енька после происшествия на пожнях не любил показываться в люди. А его тесть — Прянишников относился к нему

весьма недружелюбно и давно уже Енька не бывал гостем у богатого и заносчивого Афиногеныча.

Летом, к празднику Тихвинской богородицы у Еньки в чулане стоял готовенький, сработанный его собственными руками, деревянный трёхколёсный самокат. В коридоре по гладкому полу, от сеника до горницы Енька пробовал прокатиться на своём изобретении. Самокат скрипел, но послушно катился.

«Жаль, здесь нет места для разгона, — соображал Енька, — а то, что скрипит, — не беда. Дёгтем смазать и пойдёт бесшумно. Нет, дёгтем запачкать можно, лучше сметаной или коровьим маслом...».

В «Тихвинскую» перед водосвятным молебном Енька решил со своим чудищем показаться на улице. Действительно, как он и ожидал, ребятишки увязались за ним. И пока Енька не сидел на самокате, а вёл его, как молодую не объезженную лошадь, ребятишкам было непонятно, что такое он тащит за собой? Переднее колесо у самоката высокое, с множеством спиц, вместо шины — обруч с бочки; позади, для устойчивости сидения, — два колеса поменьше. Колёса скреплены крестовиной; над передним колесом возвышался изогнутый руль из вересового кривого прута. К рулю привязан проволокой медный колокольчик. За верёвку дёрнуть, — колокольчик сразу предупредит хоть курицу, хоть собаку, чтобы с перепугу не бросались под колёса. Педали у переднего колеса — как рукоятки у точила. В общем «машина» представляла собою не ахти что. И правильно Михайла говорил Еньке:

— Не показывайся ты с этой оказией на улице, дураком назовут...

Не послушался Енька отца своего. Вывел самокат на небольшой покатый спуск посреди деревни, сел на поперечник, что над задними колёсами вроде скамеечки приспособлен, крутнул ногами педали и покатил под горку.

— Го-го!.. Илья пророк на колеснице! — крикнул вслед Еньке Миша Петух. — Час от часу не легче. Ошалел человек-то, — скорбно покачал головой Миша.

Зашумели ребятишки. Бросились было за самокатом. Но, отъехав две-три сажени, Енькин самокат стал как вкопанный. Наездник нажал изо всей силы ногами на

педали. Раздался треск, и обе педали отделились от колеса.

Мимо проходила Лариса Митина. Для праздника она была одета в длинное розовое, когда-то «подвенешное» платье. Чтобы подол не тащился за ней по пыльной улице, Лариса придерживала его, приподняв сбоку двумя пальцами.

— Ядрёная баба, — подумал Енька и быстро отвёл глаза от Ларисы. А она прошла, даже не сказала «здравствуй».

«Тридцать годов мужичонке, а дурной, как маленький, таратайки делает», — презрительно подумала о Еньке Лариса и пошла своей дорогой на средину деревни. Там около Афонина пруда стоял покрытый скатертью стол. Сюда ожидалась «тихвинская богородица», покровительница урожая. Нарядную, в золочёном окладе, в шёлковых лентах икону несли на носилках полуостровские мужики; попихинские вышли им навстречу.

Енька, взвалив самокат на плечо, задворками потащился домой и снова спрятал в чулан своё «изобретение».

Терентий сидел у раскрытого окна с книгой. На молебне ему делать нечего. Когда с иконой обошли по всем трём полям вокруг Попихи и поп побрызгал кропильницей попихинский скот, началось собрание прихожан. Любопытство привело Терентия послушать попа.

Седой с жидкими волосами священник, сняв с себя верхнее парчовое облачение, в подряснике выглядел сухим и тщедушным. Он сильно заикался, но голос у него был внушительный. Чеботарёв подошёл и прислушался.

— Вера падает в народе, православные, народ извольничался, в церковь ходят всё реже и реже. Но могу ли я вас осуждать, когда у меня у самого сын читает не те книги и со мной не разговаривает. Дочка, не испросив родительского благословения, без венца выскочила в замужество за человека, который не помнит, когда у него на шее крест был. Как видите, дети мои не опора для меня и матушки... Староста церковный подсчитал мне в год за труды натурой триста сорок пудиков ржицы, ибо деньги в наше время обесценились и ничего на них не купишь. Отцу дьякону — двести пудиков ржицы и сорок — овсеца или ячменя; сторожу храма — пудиков шестьдесят, итого — шестьсот сорок пудиков.

Раскинуть на весь приход — по пуду с домохозяина. Ежели число верующих прихожан не убудет, да пресвятая владычица даст вам хороший урожай, а она даст, поелику ваши молитвы дойдут до неё, благодетельницы, и мзда за мои труды отнюдь не обременительна будет, как говорится: с миру по крошке — голодному кусок. А посевы у вас радуют душу. И на вымочках и на суглинистых горушечках везде хлебец зреет, хороший хлебец. И молебен отслужен во благовремение. Пошлёт владычица дождичка, и в поле жито, и травка по лугам — всё вырастет, вызреет в лучшем виде...

— Про это рано говорить, — возразил Миша Петух, мужик невоздержный на язык, — овсы да льны в августе сильны.

— Что верно, то верно, — подкинул своё слово кто-то из соседей, — всякое семя знает своё время. Не надо торопиться хвалить, чтобы потом не было стыдно хаять.

— Опять же, батюшка, лето нынче какое-то не в пример другим грозное, громы да молнии то и дело пугают, как бы градобоя не было, — усомнилась Лариса Митина.

— От этого избавит пресвятая богородица Тихвинская, а что касемо грома и молнии, так без этого нельзя: господь вседержитель напоминает грешным людям о страхе божьем. Страх, он нужен, без страха совсем худо жить будет...

Разговор попа о страхе почему-то напомнил Терентию Чеботарёву недавно прочитанный им материал в газете о страховании посевов и построек. Он сказал:

— А я вот считаю и вам советую, граждане, чтобы не бояться молнии, надо поставить посреди деревни громоотвод.

— Для Ильи пророка это не помеха, — усмехнулся поп, — конечно, громоотводы ставятся, ежели граждане пожелают, и религия тому не препятствует...

— Ещё бы препятствовала! И дальше, граждане, — продолжал Терентий, уже обративший на себя внимание попа и односельчан, — мне кажется, да и вы, если согласитесь со мной, ошибки не сделаете, — позовите из волости страхового агента Зубакина или его помощника Алёшку Суворова, чтобы застраховать посевы от всякой беды.

— Всю жизнь этого не бывало, чтоб посевы страховать, — отмахнулся Михайла. — Это же канителью. И ни к чему. Бог помилует.

К предложениям Терентия мужики и бабы отнеслись безразлично. Вероятно по той причине, что и громоотвод и страхование посевов — дело новое, авось пронесёт, бог помилует.

Споры разгорелись по вопросу о «пудике» зерна с каждого домохозяина для церковного причта.

Михайла настаивал составить список всех граждан с обязательством собрать с каждого домохозяина по пуду зерна на Покров-день и отвезти в приход. Возразили Лариса и Мишка Петух, старушка мать Пашки Косарева и другие.

— Почему же поровну? Ведь достатки-то у всех разные?..

— Бог для всех один.

— Религия — дело частное, — пояснил Терентий, — подачки духовенству только по доброй воле. Никто не имеет права принудить верить в бога, без которого народ может обойтись. Никто не может принудить валить хлеб или деньги в поповскую мошну. Всяк кто как хочет. Да и пораскиньте умом: не много ли будет попу почти по пуду ржи в день?..

— Да, вроде бы, не мало.

Так и остался вопрос о сборе «пудиков» в Попихе не разрешённым.

Для многих суеверных показалось почти чудом, когда на той же неделе чёрная туча поднялась из-за деревень Беленицына и Телицына, прошла зловеще чад этими деревнями, но не задела их, а с невероятным шумом разразилась над Попихой. В тех избах, которые стояли окнами против надвинувшейся тучи, все стёкла в рамах выбило. Скот, пришибленный градом, бросился в ольшаник поскотины и носился ошалело, ища убежища под деревьями. Посевы (как потом заключила волостная комиссия) пострадали на девяносто процентов. Никто такого градобоя не помнил. Даже слепой, долговечный Пименко, когда ему подали в руки «градину» величиной почти с куриное яйцо, долго тряс лысой головой и говорил, что такого градобоя во всю его жизнь не случалось.

Совсем мало осталось не тронутых градом полос, притаившихся где-то на дальних подсеках.

Градобой и настроения соседей взволновали Терентия, переживал он это по-своему. Тайком от Михайлы и Еньки он часто срывался с табуретки, бегал на поветь, доставал спрятанную над воротами самодельно сшитую записную книжку и писал о разных случаях из деревенской жизни. В воскресенье встретился с учителем. Иван Алексеевич прочёл все написанное Чеботарёвым, сказал:

— Надо нам с тобой, парень, сделать стенную газету!..

— То есть как — стенную?

— Написать, разрисовать и вывесить на стене в Коровинской потребиловке, где больше бывает народа из разных деревень. У тебя почерк неважный, но слог замечательный и факты интересные. Я всё это перепишу, кое-что от себя добавлю и разрисую...

Стенгазете дали название «Красный пахарь» № 1. На первом месте тушью крупными буквами учитель вывел заголовок «Молебен и страховка», а ниже такой текст:

«От Полустрова — дорогой торною к Попихе плетётся толпа, то икону несут чудотворную — источник доходов попа. По полям носили икону, поп водичкой кропил хлеб и скот: «Не будет в хозяйстве урону, жить спокойно вы можете год». Вот и кончен молебен. Попа наградили (благо иконой поля обнесли), вместе с дьячком в тарантас посадили и обоих в село отвезли... А через день туча на небе тёмная вдали от Попихи росла; заметили люди — огромная надвигалась быстро гроза. Крупные капли дождя упали, всяк в деревне был дождичку рад. Зашумело, и вдруг увидали — не дождь, а посыпался град!.. Нежатые полосы градом побило, колосья пригнуло к земле... «Так зачем же икону полями носили?» — ворчал Петух Миша под нос себе...

Не при чём тут икона и поп с молебствием. От этого пухнет лишь бати мошна. От градобоя и прочего бедствия вам не икона — страховка нужна!.. Теперь мужики чертыхаются. Им жаль полевые труды, но страховать-то они собираются только после постигшей беды... *Т. Чеботарёв*».

После этой заметки учитель намалевал карикатуру на молящегося попа, у которого из глаз капали крупные слёзы.

Делая стенную газету, учитель ликовал:

— Ну, Терентий, прославим мы кое-кого в нашей газете. Материалец что надо! А как, по-твоему, рисунки, заголовок?..

— Добро, добро, Иван Алексеевич.

— Давай, что ещё у тебя есть в записной книжке, только с другой подписью.

— Вот есть антирелигиозный стишок, называется «От кого родился Христос?».

— Прочитай.

Учитель, выслушав Терентия, возразил:

— И эта штучка не плохо написана, но у нас в стенгазете всё получают попы и боги. Хватит об этом. Надо о житейских делах, о том, что мужиков затрагивает. Вот, нет ли чего-нибудь такого? Давай подумай.

Благодаря наблюдательности и твёрдой памяти, Терентию долго думать не пришлось:

— А вот к примеру такие факты, — сказал он и, припомнив, начал рассказывать: — В Беленицыне мужики собрали складчиной деньги, хотели купить сортировку. Поехали в село и вместо сортировки купили ведро самогонки. Им следует подсказать, ну, как бы там поскладней да покрепче, чтобы дошло. — «Деньги стоило копить не для того, чтобы вам пить в праздник гадость эту, лучше б веялку купить иль выписать газету...». Можно вот ещё о чём написать, только надо сначала нарисовать хороший дом, точь в точь как у кооператора Зайцева, а ниже такие слова:

### **В кооперацию угодил — дом соорудил!**

Дом хотя и одноэтажный, но обширный и важный, восемь комнат внутри (не веришь — сам посмотри), ходят мужики кругом и говорят: «Вот так дом! Нашему брату такой не годится, не долго в нём заблудиться. Ведь восемь комнат внутри! Удивительно, чорт побери! Ужели от одной зарплаты Зайцев стал такой богатый и в два счёта построил палаты?.. Семью питает, семью одевает, да ещё и на целый дом хватает!.. Или же извне достаёт он порядочно? Загадочно, право, загадочно!..»

— Здорово! Ещё давай, ещё! — требовал учитель. От себя он написал статью с призывом к крестьянам писать в свою стенгазету.

Это была первая стенгазета в волости. Она висела в селпо, в маслодельном заводе и, наконец, перекочевала в волостной комитет партии, где её, как образец, всем показывал Пилатов.

## Х

Однажды Терентий пахал под озимое Михайловы полосы. Михайла ходил бороздами по свежевспаханной земле, через плечо на лямке — лукошко с семенами. Рыхлая унавоженная земля казалась Михайле такой родной кормилицей, что если бы его попробовали насильно оторвать от земли, он вцепился бы в неё за скорузлыми пальцами и сказал бы:

— Не могу без неё, не отдам!

Размеренно шагая, он брал из лукошка горстями отборную, хорошо провеянную рожь и резко бросал её, рассыпая веером по вспаханной земле. И каждый раз, как только заходил с конца полосы и начинал сеять, приговаривал:

— Матушка рожь, ты кормишь всех сплошь, расти густа, высока, колосиста!..

Но вот ему показалось, что Терентий мелко пашет. Он остановился, сорвал с межи травинку, смерил пласт:

— Вишь, чорт! Силу бережёт, можно на полвершка поглубже.

Хотел крикнуть — «Эй ты! Паши глубже!» — но подумал, что парню это невзлюбится, поставил на полосу лукошко с семенами, пошёл навстречу Терентию. Рыжий мерин, насупившись, тянул за собой тяжёлую соху. Одна оглобля прямая, другая с изгибом, тяжёлый железный отрез с лёгким шумом врезался в землю. Два сошника, насаженных на толстую горбатую берёзовую рассоху, ровной волной, с захватом на два с половиной вершка в ширину, отваливали чёрный пласт. Придерживая соху за рогаля, Терентий, склонив голову, шагал по борозде. Расстёгнутая, без пояса, рубаха прилипла к потной спине; волосы упали на лоб и тоже прилипли.

Михайла остановил лошадь.

— Отдохни малость.

— Не вредно, — тяжело вздохнув, ответил Терентий и, закрепив на полосе соху, вышел на межу, стал

вытирать о траву сапоги, на которых было чуть ли не полпуда прилипшей и засохшей грязи.

— Ты зря на Рыжка не прикрикиваешь, веселее бы ходил, — сказал Михайла.

— Рыжко и без окрику своё дело знает.

— Говорю, так не перечь! — хмуро заметил Михайла. — Я пахарь не теперешний. Опять же, отрез надо опустить пониже и брать землю глубже; глубже пахать — больше хлеба жевать, — говаривал ещё мой покойный дедушка.

— Ну и пашите вы с покойным дедушкой, — возразил Терентий и, сев на межу, отвернулся от Михайлы. — Оно, конечно, можно запустить соху до выворота суглинка, но от этого хуже урожай будет...

— Урожай, урожай, — проворчал Михайла. — Об урожае можно говорить, когда его в сусек засыплешь. Дай-ка, я разок обернусь с сохой, а ты иди за мной, погляди и поучись.

— Не велика премудрость, — ответил Терентий, однако нехотя встал с межи, заправил рубаху под гашник полосатых штанов, пригладил волосы и пошёл рядом с Михайлой, вставшим за соху.

— Вот так надо, вот так! — твердил Михайла, грузно налегая на рогалю, отчего Рыжко сразу стал упираться. — Но, но, милый! Тяни-потягивай, лодырь пузатый!...

Рыжий мерин не оскорбился и не ускорил своего движения.

Михайла взмахнул вицей. Рыжко насторожился, наострил уши и пошёл чуть веселей.

— Вот так, милой, вот так!..

До суглинка было недалеко. Михайла запустил сошники ещё глубже. Железо скыркнуло о камень, притаившийся в земле. Рванул Рыжко во всю лошадиную силу. Треснуло что-то. И не успел Михайла рта раскрыть, чтобы выругаться, как клинья полетели по сторонам, рассоха вывернулась из гнезда, а сошники встали задом наперёд. Камень был так тяжёл, что железный прут, притягивавший рассоху к переднему поперечику, не выдержал и лопнул. Рыжко остановился и, положив голову на конец оглобли, не без любопытства обернулся. То, что случилось с ненавистой корягой-сохой, его устраивало вполне.

Терентий покачал головой, усмехнулся и передразнил Михайлу, повторив слова, подражая его голосу:— «Вот так надо, вот так...».

— Всяко бывает! — вскричал Михайла. — Где топор? Надо ремонтить!..

— А я не думал камни выворачивать и потому топор не прихватил.

— Как же, топор сохе первый помощник!

— Может быть, не спорю.

— Надо бежать за топором.

— Эх, Михайла, не бедный ты хозяин, а плуга не хочешь завести. Там и топора не надо, ключом гаечку подкрутил и паши.

— Я говорю, беги за топором!

— К чему топор, всё равно на полосе соху не исправить. Изуродовал ты её в конец. Клади на волока и тащи домой.

— Безогецкой, бездомовой, вольница, зачем я тебя держу у себя, да катись ты!..»

Михайла не досказал, куда должен катиться Терентий, остановился на полуслове. К ним подошёл свернувший с тропы Николай Фёдорович Серёгичев.

— Вот ещё большевика чорт несёт сюда! — проворчал Михайла и стал собирать клинышки и всовывать их на свои места.

Серёгичев шёл из села и привернул, чтобы встретиться с Терентием и передать ему записку от Пилатова.

Секретарь волостного комитета партии вызывал Терентия к себе для серьёзных разговоров.

— Сейчас идти? — спросил Серёгичева Терентий.

— Без промедления, только переоденься. И что тебе скажет Пилатов — так и поступай. Довольно тебе работать на Михайлу и Еньку.

В устройстве судьбы Терентия Николай Фёдорович был не безучастен.

На первом очередном собрании Чеботарёва единогласно приняли в ряды РКП(б). Тогда же Пилатов внёс предложение:

— Пора товарищу Чеботарёву взяться за дело по настоящему. Я предлагаю ему заведывать избой-читальней и быть организатором профсоюза батраков в нашей волости. Нет возражений?!

— Принимается.

Секретарь Усть-Кубинского волостного комитета партии Пилатов до революции работал переплётчиком. Изувеченный в гражданскую войну, он хромал на левую ногу, это был неумолимый, не знающий уныния работник, требовательный к себе и другим.

Постоянной его спутницей была увесистая трубка с массивным чубуком. Он с присвистом её посасывал независимо от того, есть в ней табак или нет. Когда появлялась надобность выступить на собраниях или заседаниях, Пилатов по необходимости освобождал от трубки свой рот и жестикулировал, рассыпая табачную золу по сторонам.

Строгий блюститель партийной этики, он не прощал своим товарищам ни малейшего нарушения дисциплины. Однако, будучи взыскательным к нарушителям дисциплины, Пилатов старался как можно реже выносить обсуждение их поступков на собрания, считая, что он в состоянии воздействовать иногда резким, иногда спокойным, но всегда убедительным внушением воспитательного порядка. А воздействие подчас требовалось...

Вот он сидит в своём тесном кабинете и беседует с бывшим предвиком, а теперь — нарсудьёй, Фокиным:

— Ты что это, товарищ Фокин, куда катишься? Подряд три воскресенья пьянствовал, а с похмелья даже и в понедельник не выходил на работу... Во время поездки в волость ты гостил у мельника-кулака Тоболкина. Ты что это делаешь, товарищ судья! С кем ты водишься?

Фокин молча обтирает платком лоб и смотрит куда-то в сторону, пряча глаза от пристального и сурового взгляда Пилатова.

— Ну, что молчишь? — продолжает строго Пилатов.

— Честное слово, больше не буду, — заверяет Фокин, обтирая рукавом рубахи пот с лица.

— Смотри, чтоб ни капли хмельного, и чтоб к Тоболкину больше ни ногой!.. Хуже будет, если возьму да весь материал на тебя передам селькору Чеботарёву, пусть он о тебе в газету напишет.

— Не стоит, товарищ Пилатов, категорически берусь исправиться, — умоляет судья.

— То-то, смотри. Ну-ну, ступай! — Пилатов выпроводил его и яростно запыхал трубкой...

В дверь кабинета легко постучали. Секретарь отозвался:

— Войдите, кто там? Ага, лёгок на помине. Сейчас мы тебя с судьёй Фокиным вспоминали. Разгульный он человек,—отрезал Пилатов.—То есть, как сказать? Вернее — трудноисправимый, а ещё судья, ответственный пост занимает. Но я от него не отступлюсь: или исправлю, или придётся ему расстаться и с партбилетом и с судейским чином!..

И обращаясь к Терентию, секретарь волостного комитета спросил:

— Говори, зачем пожаловал?..

Не успел Терентий начать с Пилатовым разговор, как в кабинет вошёл секретарь комитета комсомола Белоруссов.

Держа на тощих своих коленях туго набитый учебниками портфель, Белоруссов смущённо выслушивал наставление Пилатова:

— Почему у тебя, товарищ Белоруссов, комсомол не растёт? Это же ненормально. Вы, учащиеся, чуждаетесь рабоче-крестьянской молодёжи. Это никуда не годится...

Белоруссов промычал что-то невнятное и хотел записать в блокнот замечание секретаря.

— Да нечего тут и записывать! — горячился Пилатов.—Разве так не запомнишь? Кто у тебя в комсомоле? Одни учащиеся-второстепенцы. А вот социальное лицо некоторых: попович Крещенский, крусельник-торговец Ганичев, поповна Старосельская, кулачка Железкова,—как юни попали в комсомол? Деревенская и заводская молодёжь тянется к свету, устраивает спектакли, её надо немедленно вовлекать в РКСМ. Немедленно надо! Иначе несоюзной молодёжи надоедят эти самодельные спектакли, и тогда ребята чего доброго ударятся в пьянку, в вольную гулянку...

Пилатов передохнул и пососал трубку. Белоруссов попытался возразить:

— Мы недавно существуем...

— Вот именно—существуем!—с ударением, перебил Белоруссова Пилатов.—Дело не в том, что ваша организация молодая, а в том, что вы слишком много напустили на себя важности и начали киснуть. Не ка-

жется ли тебе, что некоторым из молодёжи понадобятся комсомольские билеты с расчётом прикрыть своё чуждое классовое происхождение при поступлении в вузы?

— Возможно...

— Наверно, вот ты не знаешь этого парня?—спросил Пилатов, показывая на Терентия. Белоруссов отрицательно покрутил головой.—А парень неплохой. Возрастом немного тебя старше. В партию уже принят, селькор, в армии добровольно служил, в жизни неплохо разбирается. Ему и в комсомоле следует быть. Вот этого товарища завтра же на собрании примите в члены вашей организации. Он назначен заведывать читальней и руководить союзом батраков. Ну, а тебе по комсомолу он будет хорошим помощником...

Пилатов помолчал. Дымом из трубки заволокло его лицо.

Белоруссов внимательно посмотрел на Терентия и, пожав ему не очень крепко руку, спросил:

— Это вы пишете в «Красный Север»?

Терентий молча кивнул.

Круглолицый, плотный, в чертокожном ватном пиджаке, Чеботарёв показался Белоруссову грубоватым и не очень подходящим для их организации, состоявшей из одних учащихся. Запах дёгтя и просмолённые дратвой крепкие кулаки Терентия на миг отпугнули Белоруссова. Он подумал: «Девчата, пожалуй, смеяться станут над ним». Белоруссов ещё раз испытующе поглядел на него, спросил:

— В нашей ячейке не курят и не пьянствуют, а вы как?

— Я тоже.

— Это замечательно, — с удовлетворением отметил Белоруссов. — Главное — авторитет, выдержка и осторожный подход.

— Может быть, — согласился Терентий, — но главное, как вот и сказал товарищ Пилатов, — рост комсомола за счёт рабоче-крестьянской молодёжи...

На этом они расстались. Белоруссов ушёл, а Терентий завёл с Пилатовым такой разговор:

— Товарищ секретарь, неделю я ходил по деревням и с помощью председателей сельских Советов выявил девяносто семь батраков и батрачек. Из них семьдесят три человека совершенно неграмотные. Надо обучать

людей грамоте. Пусть два-три раза в неделю, в вечернее время, их учат в ближних школах. Да, ещё вот что: из Кадникова я запросил бланки договоров. Надо всех батраков и батрачек оградить договорами от кулацкой зависимости и принять их в батрацкий союз. И ещё у меня к тебе такой разговор: волость наша знатная, село большое. Одних церквей пять штук, пора бы их и сокращать. Но я не об этом, а вот о чём. Изба-читальня ютится, теснится в одной комнатухе, книг мало, да и те поистрепались. К чему нам такая бедность и убожество? Вот трактирщик Смолкин Пётр Степанович заарендовал общественное трёхэтажное здание, открыл трактир и старую вывеску повесил—«Париж»; как будто ничего не изменилось, будто и революции не было, такой он делает вид. А я хочу в Москву в газету «Бедноту» написать: закрыть «Париж», выставить вон из него частника и открыть в этом здании Дом крестьянина с избой-читальней, с общежитием для приезжающих. Как ты на это смотришь?..

— У нас же есть, кроме читальни, для спектаклей и собраний народный дом,—заметил Пилатов.

— Ну, что народный дом, он уже рушится, и там ни чайной, ни места для приезжающих. Нет, Дом крестьянина с настоящей читальней у нас должен быть и чем скорей, тем лучше. И, конечно, Смолкина с «Парижем» надо выкурить!..

— Хорошо! Подумаем, товарищ Чеботарёв, подумаем,—согласился Пилатов. — Но пока воздержись писать в «Бедноту». Обойдёмся своими силами. Я напишу докладную записку в уком партии,— в самом деле, есть у нас такая необходимость иметь хороший Дом крестьянина,—а ты пока присматривайся и планируй, как там разместиться. Да кстати учти: директор высшего начального училища Николай Никифорович Никитин — замечательный общественник-краевед, он на-днях мне поддал мысль об организации в селе краеведческого музея. Может и под музей там местечко выкроится?

— Выкроится, товарищ Пилатов, выкроится! — уверенно проговорил обрадованный Терентий.

От Пилатова Чеботарёв пошёл к Николаю Никифоровичу, директору высшего начального училища. Школа занимала полукаменное здание рядом с народным домом. Высокие тополя густой стеной стояли вокруг. В саду, на скамеечках, в тихие сентябрьские сумерки си-

дела ученики старших классов. И никому из них не было дела до угловатого парня, подошедшего к ним. Терентий спросил, где директор школы, и направился в классы.

Его догнал Белоруссов.

— Вы не ко мне, товарищ Чеботарёв?

— Нет, к директору.

— Я вас проведу. Он в угловом большом классе.

Директор училища сидел за учительским столиком и, пощипывая подстриженные усы, вдумчиво просматривал тетради.

— Здравствуйте, Николай Никифорович! Разрешите обратиться к вам с вопросом.

— Кто вы такой? — взметнув строгий взгляд, спросил Никитин.

— Я—избач, Чеботарёв.

— Так, так, садитесь. Что угодно?

Терентий сел за парту против директора, обвёл глазами помещение. Обычный класс, чёрная доска, счёты, две карты полушарий на стене, закрытый шкаф. В старой золочёной раме портрет Ленина. На стене, напротив,—два портрета в чёрных лакированных рамах—Луначарский и кто-то неизвестный.

— Николай Никифорович, я вот по какому делу. Слышал, что вы собираетесь организовать краеведческий музей. Скажите, много ли вам места нужно под музей?..

— Места? А вы разве располагаете помещением?

— Можно сказать, да.

— Любопытно. Мне известно, что волостная читальня находится в тесноте и обиде. Где же вы имеете в виду дать уголок под музей? Кстати сказать, для музея уголок нужен ючень большой. За двадцать лет работы в Устье-Кубинском мною собрано очень много экспонатов. Хочется их показать людям. И, разумеется, надо показать не только предметы этнографии, художественных ремёсел и так далее, но следует показать и флору и фауну. Да, таких вот комнат, как этот класс, комнаты четыре, пожалуй, для музея и мало будет..

— Скажите, а весь нижний этаж смолкинского трактира вас устроит?

— Вполне хватит, — ответил Николай Никифорович. Подумав, сказал: — А всё-таки неудобно — вверху трактир, внизу музей. Нехорошо.

— А если так,—улыбаясь, снова спросил Терентий:— внизу музей, а вверху чайная Дома крестьянина с избой-читальней, третий этаж — общежитие?

— Вот оно что?!—изумился директор школы. — Да вы, видать с хваткой! Хотите Петра Степановича по шапке?

— Он для своего заведения найдёт помещение, а Дом крестьянина и музей в селе — это, знаете, как хорошо!..

— И вы, конечно, в газету об этом напишите? Вы иногда, знаете ли, под рифму пишете, не то стихами, не то раешником. Где этому обучались? — спросил Никитин.

— Учился я всего три зимы в Коровинской школе, а читал и читаю Пушкина, Некрасова, Крылова и Демьяна Бедного...

— Ага, вот как! Чьи же, по вашему мнению, басни лучше — Демьяна или дедушки Крылова?..

— Разные они: Крылов могуч, а Демьян острый, — люблю обоих. Каждый из них на своём месте хорош.

— О, да вы, видать, мудрец!..

— Конечно, не ахти какой, — краснея, возразил Чеботарёв и, комкая в руках кепку, спросил: — я даже всех наших наркомов по портретам не знаю. Кто это у вас рядом с Луначарским?

Усмехнулся Николай Никифорович добродушно и вместе с тем беспокоино. Ведь он разговаривает с активным селькором.

— Это не нарком, — ответил Никитин, — это, знаете ли, инициатор-строитель нашей школы... Никуличев... Он пожертвовал двадцать тысяч на школу.

— Вот как! И вы портрет этого миллионера держите рядом с Луначарским? Уберите, Николай Никифорович, уберите. Не место ему в советской школе.

— А в музее?

— В музее, в музее, — подумал Терентий, — пожалуй, можно, если повесить там с пояснением: миллионер такой-то, бывший владелец усть-кубинских заводов, которые благодаря Великой Октябрьской революции стали народными.

Никитин молча согласился, хотя прямота Терентия, сделавшего ему, директору, замечание, показалась не совсем тактичной, тем более, что Никуличев... приходился директору школы тестем...

Как ни бедна волостная читальня, всё же книг в ней всяких не мало. Хватало теперь и времени Терентию знакомиться с литературой. Справочники по сельскому хозяйству, кодексы, декреты и распоряжения правительства, политические брошюры, стихи и рассказы — всё избачу следовало знать и уметь передавать свои познания другим. Книги, прочитанные в детские и юношеские годы, он перечитывал и воспринимал теперь по-другому. И чем больше читал, тем больше росла и развивалась его страсть к чтению, тем богаче становился его кругозор, и твёрже чувствовал он себя в беседах с мужиками и молодёжью, приходившей из деревень. Учащиеся же, как назло, говорили при нём о каких-то непонятных ему логарифмах, зубрили формулы, без которых, ему казалось, можно жить, работать и знать самое необходимое; он не думал ещё тогда о высшем образовании, в лучшем случае его мечтой были какие-либо курсы, благодаря которым можно было бы стать хорошим культпросветчиком среди деревенского населения.

## XII

В воскресные дни комсомольцы и учащиеся старших классов устраивали вечеринки. Девушки — купеческие дочки и поповны — бродили по селу и пели песни, списанные из маменькиных альбомов:

Годы давно прошли,  
Страсти угасли...

Слушал иногда Терентий их заунывные устарелые песни и плевался:

— Мещанки в пудре и помаде!.. «Годы прошли, и страсти угасли...». А ведь ни одной из них и двадцати лет нет. Откуда у них такое нытьё?

Разгадку он нашёл вскоре, когда вновь повстречался со школьным товарищем Алёшей Суворовым. Тот, проучившись лет восемь, по совету своей мамы перешёл из школы работать к страхагенту Зубакину. Страхагент был любителем пьяных обывательских вечеринок. Пьянка, преферанс были его слабостью. Бывшие люди — офицеры царской армии, чиновники разных мастей — посещали квартиру Зубакина. Христо-

фор Баринов, обладавший здоровенной глоткой, работал по совместительству: в школе он — историк, в церкви — руководитель хора певчих. На вечеринках у Зубакина он устраивал потрясающие «вольные концерты».

Степан Попов, учитель-словесник, тоже был частым гостем у Зубакина. Почувствовав себя навеселе, он хвалился воинскими регалиями и требовал величать его штабс-капитаном или вашим благородием.

Две «комсомолки»-поповны участвовали с Бариновым, Зубакиным и Поповым в подобных вечеринках, тщательно скрывая свои похождения от комсомольцев. Компания Зубакина разрослась человек до десяти. В тесном кругу, за тюлевыми занавесками, они попеременно с весельем распространяли нелепые слухи для самоутешения:

— Нэп погубит советы. От большевиков ничего не останется. Смотрите, что случилось с усть-кубинской кооперацией! Говорят, что для кооператива «Смычка» у частных есть отмычка. Частники в гроб загонят кооперацию, — вот-те вам, коммунистам, и столбовая дорога к социализму!..

Все эти сведения о Зубакине и его собутыльниках, распространявших чуждое влияние на некоторых комсомольцев, Терентий узнал от Алёши Суворова.

Потом они сошлись ближе. Суворов пригласил Терентия к себе на жительство в уютную квартиру к старухе-пенсионерке. Чеботарёв охотно согласился.

Оба они состояли в комсомоле и крепко сдружились. Алёша, робкий, но честный малый, продолжал работать у страхагента. Терентий просиживал дни и вечера в читальне. Домой он приходил всегда весёлый и со свежими новостями, которые, как селькор, спешил изложить для газеты.

Однажды Чеботарёв и Суворов ходили в волость; обошли они не мало деревень. Один из них заставлял кулаков заключать договоры с батраками, другой собирал страховку. Усталые и голодные вернулись они в село.

Пришли подкрепиться в трактир к Смолкину. Сели за стол, подсчитали деньги — не богато. Подозвали официанта:

— Скажите, чего бы нам посытней и подешевле?

— Суп с картошкой. Пожалуйте, вот вам меню.

В трактире «Париж» пахло жареным и пареным; бутылки стреляли пробками. Слепой баянист пел под собственную игру: «Вы не вейтесь, чёрные кудри». Посетителей было немного. В рессорной пролётке подкатил к «Парижу» Прянишников. Оставив бойкую лошадь у коновязи, он поднялся по лестнице в трактир. Официант распахнул перед ним двери.

— Пожалуйте-с, Михай Афиногенович! Будьте любезны — пальцецо сюда в раздевалочку. Садитесь на ваше любимое место. Чего изволите-с?..

Прянишников сел на стул, как раз возле обедавших Чеботарёва и Суворова:

Терентий шептал Алёшке:

— Посмотри, давно ли таким сволочам позволили частной торговлей заниматься, а как успел он отожраться, свинья да и только!..

— У него маслодельня своя, сливками кормится не на издох, а на убой.

— Давай не будем спешить, закажем ещё по тарелке. Супец вроде бы и ничего.

Прянишников, щёлкнув портсигаром, закурил.

— А где Пётр Степанович? — спросил он официанта.

— Сию минуту будет-с!

Смолкин не замедлил явиться. Приветливо и фамильярно поздоровались:

— Милости просим, милости просим! Да чего ты дорогому гостю меню суёшь?! — повысил голос Смолкин. — Позвать повара! Пусть Михай Афиногенович заказывает, чего душа его желает.

Пришёл тучный повар, с слоснящимся лицом. Вытер мясистые руки о фартук.

— Что прикажете?

— Сковороду горячих углей!

— Шутить изволите? — удивился повар.

— Твоё дело исполнять, — сказал не менее удивлённый Смолкин, знавший о причудах Прянишникова.

Мигом перед Прянишниковым появилась сковорода, полная огнедышащими углями. Терентий и Алёшка переглянулись, предчувствуя что-то забавное, засмеялись.

— Накрошить сюда луку!.. — распорядился необычный гость.

Повар быстро принёс луковицу, искрошил над горячими углями. По трактиру распространился резкий запах печёного лука. Склонившись над сковородой, где, потрескивая на углях, слегка дымился лук, Прянишников, расширив ноздри, нюхал, жадно впитывая в себя луковый запах.

— Это для возбуждения аппетита, — пояснил он Смолкину, — в Вологде один знакомый артист, Христя Стеарлинский, меня обучил. С тем неделю пьянствовали. Гуляли так, как никогда при старом режиме! Одной посуды перебили в «Славянке» двадцать семь предметов!.. Разумеется, за всё расплатились...

Прянишников, ещё несколько раз вдохнув возбуждающий запах, сказал:

— Уберите. -Разобрало. Повар, сюда!..

Повар тут как тут. Приготовился слушать.

— Перво-наперво шестивершковую сухонскую стерлядку зажарить с соусом и лимончиком... На второе — свинячьи фрикадельки с зелёным горошком полупорцию, ромштекс с бифштексом и яишенку такую, чтобы шипела в горячем масле. Ну, там компот из разных фруктов и бутылку дореволюционного портвейна...

На месте сковороды с углями постепенно появлялись заказанные яства.

— Нечего на чужую кучу глаза пучить, — сказал Чеботарёв и, рассчитавшись за себя и за Алёшу, сказал: — пойдём.

Вышли на улицу, помолчали. Обоих распирала злоба на Прянишникова и Смолкина. Заговорил Терентий:

— Ничего не поделаешь, временная им поблажка. Хоть бы скорей из уезда пришло утверждение на штат Дома крестьянина. Кооператив берёт содержание на свой счёт. Тогда бы Смолкина коленком под мягкое место: вот тебе бифштекс с ромштексом, — катись, не оглядывайся! А этот масляный туз в детстве меня крапивой выпорол, — вспомнил Терентий о Прянишникове.

— Небось горячо было? — смеясь, спросил Алёша.

— Да, ничего, зубы стиснул, поворачивался. Мне тогда было лет десять, а вовек не забуду...

— Перепьётся он тут. Дать бы ему леща по шее, — посоветовал Суворов.

— Ни в коем случае,—возразил Терентий,— могут взгреть за это. А так немножко бы поозорничать не мешало. Я, кажись, придумал штуку... Лошадь-то, лошадь у него смотрит, что-те тигрица. Глаза кровью налиты. Удила так и грызёт. Корму не дано, чтобы злей была, чтобы стрелой несла его, пузатого чорта. Вот напьётся и поедет по селу куролесить.

За лошадью Прянишников никто не присматривал. Терентий подошёл и отцепил кляпыши вожжей от колец узды и зацепил за гужи. Получилась довольно злая шутка...

Провожаемый Смолкиным, пьяный Прянишников спустился с крыльца.

— Да остались бы вы у меня ночевать. Куда вам ехать на потёмки глядя?

— У меня не конь, а огонь,—мигом донесёт! Спасибо, спасибо... — отговаривался Прянишников.

Он свернул в переулочек, отвязал вожжи от коновязи, сел в пролётку и, присвистнув, крикнул:

— «Грабят!».

Застоявшийся конь, не чувствуя вожжей, не сорвался с места, как бы ему полагалось, а пошёл к удивлению хозяина шагом.

Прянишников обвил вокруг кулаков пеньковые вожжи и, шатав их, зарычал:

— Ты что! Ошалел?.. Не понимаешь?!

Достал из-под беседки кнут, резко хлестнул коня по боку. Этого только и не доставало. И тогда Смолкин мог сказать о Прянишникове: «Видели, как сажился, да не видели, как ехал».

Да, они не видели, как мчался Прянишников на своём горячем чудо-коне. Серый в чёрных пятнах меринок, почувствовав незаслуженный резкий удар кнутом по боку, словно ужаленный, понёсся вскачь. Как ни тянул Прянишников вожжи, не мог справиться с конём. Спьяна не мог он выговорить «тпрру», да это и не подействовало бы. Конь летел. У торговых рядов трубицей колеса задел за деревянную тумбу. Что-то треснуло, и пролётка пошла боком. Против кладбища пролётка задела за камень, и Прянишников вылетел, при этом повредив себе ногу. Сажень двадцать волокло его на вожжах за разбитой пролёткой. Конь бешено мчался дальше не путём не дорогой. За околицей села от пролётки остались лишь обломки оглобель.

На другой день по селу, как живая газета, распространилась весть:

— Прянишникова лошадь расшибла, угодил в больницу...

Эти разговоры слышали и Чеботарёв с Суворовым, слышали и, переглянувшись, сказали один другому:

— Помолчим, Алёша.

— Придётся. Хвалиться, Терёша, тут нечем, да и незачем.

— А я, Алёша, не ожидал, что так получится.

— И я тоже. Ну, здоров он, как бык, отлежится. Хорошо, что лошадь не изувечилась...

Обычно на комсомольские собрания Чеботарёв и Суворов ходили вместе. Собирались на берегу Кубины в бывшем волостном правлении. На столе в президиуме подмигивала коптилка, попросту называемая «волчий глазок». Белоруссов протяжно и сухо произносил вступительную речь, потом предоставлял слово поповичу Крещенскому для доклада «О международном положении». Длинный и бесцветный, как прошлогодний подсолнух, тот в молчаливом раздумье с минуту мотался из стороны в сторону, наконец начинал читать свой длинный конспект.

После доклада выступали обычно немногие: сын торгаша-карусельника Васька Ганичев, сам Белоруссов, иногда Суворов и Тоня Девяткова.

Терентий Чеботарёв на первых порах слыл молчальником.

Но вот, однажды, в присутствии секретаря укома он не вытерпел, разговорился:

— Я скажу вот что. Мне что-то не нравится наша комсомольская ячейка...

— Подавай заявление о выходе, — торопливо выкрикнула с места Девяткова.

Белоруссов попытался свести деловой вопрос к шутке:

— Не мешайте товарищу Чеботарёву тон задавать.

— Тон? Может быть и тон. Но шутить этим делом нельзя. Мне кажется, товарищ Белоруссов, мы забыли о том, что говорил тебе Пилатов в волостном комитете партии. Помнишь?..

— Помню, но не всё сразу делается. Нужен подход...

— У нас тут всё учащаяся молодёжь, — продолжал Терентий. — Кстати сказать, далеко не лучшая. А где рабоче-крестьянская молодёжь? Пока нет её у нас в комсомоле, сдвигов ждать нечего. Участие наших комсомольцев в общественной жизни пока крайне незаметное... Танцы да песенки про «белые акации», да кое-кто скрыто проводит время даже с разложившимися типами. Почти никакой живой увлекательной работы. В такой скорлупе мы определённо тухнем и, чего доброго, кое-кто в скором времени может оказаться без комсомольского билета. Впрочем, комсомол от этого только поздоровет. Чуждые наростыши нам ни к чему!..

— Поосторожнее в выражениях! Это ещё что за фрукт у нас появился? — вскричала Старосельская и зарделась, как спелый помидор.

Собрание внимательно слушало Терентия. А он продолжал настойчиво и прямо:

— А молодёжь, которая вне комсомола? Надо знать, что она собою представляет? Каковы у неё запросы и каковы интересы? Не знаете? То-то вот. Наша организация должна быть массовой, готовящей молодёжь для больших, серьёзных дел...

Выступил секретарь укома комсомола. Он поддержал Терентия и авторитетно досказал всё, что не договорил Чеботарёв.

На той же неделе несколько комсомольцев вместе с Белоруссовым и Терентием разошлись по деревенским посиделкам. Там они проводили беседы, сближались с парнями и девушками, выявляли активную молодёжь для приёма в комсомол.

Пилатов одобрил их действия и посоветовал им не распыляться в организационной работе.

— В первую очередь, — сказал он, — обратите особое внимание на молодёжь двух более крупных деревень — Лахмокурья и Филисова. А также посещайте лесозавод «Красный экспортёр» и стеклозавод «Герой труда»...

Желающих записаться в комсомол оказалось много. Но понадобилась ещё большая и продолжительная работа со стороны комсомольцев, чтобы их усть-кубинская организация РКСМ стала самой многочисленной и активной в Кадниковском уезде...

Пилатов торжествовал. Из уезда поступило предписание—здание трактира «Париж» передать под краеведческий музей и Дом крестьянина. Терентий Чеботарёв, пока ещё не была оборудована чайная, в одну из самых лучших комнат переселил библиотеку-читальню и помогал Николаю Никифоровичу и другим учителям оборудовать музей. Волость своим историческим прошлым, множеством кустарных промыслов, богатым животным и растительным миром представляла значительный интерес для краеведческой работы, и Николай Никифорович между делом находил время для собирания экспонатов. Занимался он этим любовно много лет подряд.

Открытие музея приурочили к какому-то осеннему празднику, когда люди были свободны от полевых работ. Желających посетить музей скопилось очень много.

В стеклянных витринах были выставлены для обозрения образцы художественных кружев работы местных кустарок. Сотни изящных изделий из рога—трости, портсигары, гребни, аптекарские принадлежности и прочие вещи, находившие широкий сбыт в России и за границей. Тут же была всех видов глиняная посуда закуштских гончаров, стеклянные изделия рабочих бывшего нукуличевского завода (ныне этот завод носил название «Герой труда»). Чучела птиц, зверей, манекены, одетые в домотканые наряды разных веков. Был даже аквариум со множеством рыб, которые водятся в Кубенском озере; лучшие снопы — лучшего нынешнего урожая—ржи, ячменя, пшеницы и овса и выращенные напоказ крупные овощи. Даже деревянная соха нашла место в музее. На сохе была надпись: «Доживающее орудие пахаря. На смену ей пришёл плуг, который при социализме будет заменён трактором!». И хотя Николай Никифорович и учитель Иван Алексеевич охотно давали посетителям объяснения о том, как чудь заволоцкая была вытеснена из здешних мест в самуюдь и югру, о том, как появились здесь в устье Кубины новые поселенцы—новгородские ушкуйники, когда и почему возникли монастыри и крепостные хозяйства,—многим посетителям всё это было не совсем понятно. Испокон веков они знали, что человеческий род идёт

от Адама и Евы, и слава богу, что не от кого-то другого. И когда речь учителя заходила о человекоподобных обезьянах, кто-нибудь из толпы посетителей бесцеремонно возражал:

— Сам-то ты лысая облизыня в очках!..

Терентия Чеботарёва открытие музея радовало больше, чем кого-либо.

Одетый по-праздничному в новый костюм, украшенный комсомольским значком, Терентий безвыходно провёл весь день в музее. Его интересовали не только многочисленные экспонаты, но и то, как население воспринимало открытие музея. Вот он заметил: от большой группы крестьян, слушавших пояснения Николая Никифоровича, отошли в сторону муж с женой — попихинские соседи — Менухов Иван с Анютой. Их больше всего привлекали манекены, изображавшие крепостных крестьян и помещиков.

— Иванушко, кто это в одежде-то парчовой?

— Наверно мощи на ноги поставлены... Нет,— передумал Иван и, потрогав манекен за руку, пояснил Анюте: — Это вроде бы большая кукла из белой глины. Какого-то барина изображает, прежнего.

— Иванушко, а кто это перед ним навтыжку стоит в одних порточках, в лапоточках и ниточка вместо пояса?

— Это, должно быть, арестованный Стенька Разин, на расправу приведён, слыхала?

— Как же, который княжну-персиянку утопил...

Но Иван опять помозговал и передумал:

— Нет, это не Стенька, наверно его помощник. Стенька, тот был помужественней...

— При каком это царе было? — не унималась любознательная Анюта.

— Не то при Николае Первом, не то при Петре Первом...

Подошли к другим манекенам, изображавшим порку на крепостном дворе. У Анюты слёзы на глазах:

— Ой, Иванушко, не показывай, страсть-та какая, всю спинушку в кровь исполосовали. Кто это кого хлещет?

— Понимай сама, — строго и деловито ответил Менухов. — Тут всё явственно показано для неграмотных. Помещик лупит мужика. Так было при моей памяти.

— За чего его так?

— Не то за оброк, не то за самовольствие. Может дровишек поворовал. Ну и дрань ему за это.

— Ужаси. А нынче-то лесу руби, сколько ты хочешь земельки-то паши-дери, сколько хочешь.

— Нынче другое дело. Ладно, разглядывай молча сама. Всё тут явственно...

В толпе мужиков Терентий приметил своего бывшего хозяйчика Михайлу. Тот, узнав о музее, пришёл сюда сразу после обедни. Полуседые волосы причёсаны, смочены гарным маслом.

— Добра-то, добра-то сколько понатаскано! — удивился Михайла и, махнув рукой, сказал вполголоса: — сначала покажут за бесплатно, а потом всё это разворуют...

За стеклом в ящике увидел много старинных медных и серебряных крупных денег; глаза у Михайлы заблестели.

— Откуда это такая прорва монетов?

— Сказывают, в Кокошенской горушке клад нашли, так это юстаточки от того клада, — пояснил кто-то Михайле.

— Вот ведь кому-то счастье, — позавидовал Михайла, — я на той горушке и пахивал, и боронил сто разов, а хоть бы копейку нашёл!..

Подойдя к подоконнику, на котором стояли образцы мужской и женской кожаной обуви, Михайла причмокнул:

— Вот это работка! Кто мастер?

— Афанасий Додонов! — прочёл кто-то на приклеенном ярлычке.

— Афонька Додон?! — удивился Михайла. — Да он же у меня шить учился и у покойного брата Ваньки учился. Мне с Енькой так не сшить, и никому так не сшить. Ипрушечка! Вот так туфельки, полусапожки! Ай, ай!..

В разговор вмешался Николай Никифорович.

— Товарищ Додонов мастер на все руки. Вот эти замечательные бумажные цветы вокруг ленинского портрета он сделал. Будённый на коне—это тоже товарищ Додонов вырезал из берёзы сапожным ножом, не применяя никаких других инструментов.

— Пять годов не видел человека, где он сейчас проживает? — спросил Михайла.

— Товарищ Додонов работает инструктором кустарно-промысловой кооперации в Вологде. Ну, иногда и нас не забывает.

— Во, как люди-то! Это прежний-то зимогор!.. Инструктор, слышите?!.

— А чего удивительного? И все свои изделия и многие образцы работ других кустарей он представил нам в дар музею.. Мы не откажемся, если и вы найдёте подарить нам что-либо заслуживающее внимания.

Подошёл Терентий, обратился к Никитину:

— Николай Никифорович, у этого гражданина я жывал и работал. Он мог бы преподнести нашему музею такие вещи: старинный медный безмен работы сольвычегодских, строгановских медников, на том безмене рыбы, птицы и всякие лепесточки вылиты и надпись мастерового. И ещё бы он мог подарить нам прялку расписную, тоже старинную, год обозначен тысяча семьсот двадцатый.

— Могу, могу,—неожиданно Михайла оказался щедрым и покладистым. — Только бумажечку наклейте: принёс, дескать, в музей такой-то Михайла из деревни Попихи. Пусть смотрят!..

— Ещё у него старинный псалтырь есть рукописный с деревянными корочками..

— Нет, уж, благодарю покорно. Псалтырь — книга святая. Из роду в руд переходит. И на корочках обозначено, кто в каком году умер. С дедушкина прадеда началось. В часовню либо в церкву отдать — другое дело. У вас не те святые на стенах повешены. Не дам!..

В соседней опрорной комнате ораторствовал учитель Иван Алексеевич:

— Граждане! Скажу без преувеличения: музеи имеются только в городах, да и то не во всех. В нашем Кадникове, например, — нет. А вот мы, благодаря заботам и деятельности Николая Никифоровича, сумели организовать музей в селе. Этот факт вами оценён по достоинству. До закрытия остался ещё час, а у нас сегодня отмечено свыше тысячи посетителей. В следующие воскресенья планом работы нашего избача предусмотрены научные лекции и в музее и в читальне при Доме крестьянина. И там будут книги выдаваться на дом читателям. Агроном, ветеринар и землемер будут де-

журить там для всякой помощи и консультации крестьянам в определённое время...

Музей закрывали с опозданием. Когда Терентий возвращался домой на ночлег, его окликнула комсомолка Старосельская,

— Товарищ Чеботарёв! Можно вас на минуточку?

— Хоть на час.

Остановились. Тяжело дыша, девушка заговорила со слезами на глазах:

— Я сегодня была в музее. Там мне очень-очень понравилось. И я была у этого самого Зубакина в компании. Ездили по Кубине в лодке. Они насмехались над Николаем Никифоровичем, над его затеей с музеем. Говорили гадости... Товарищ Чеботарёв, вы меня не считайте балластом, я больше с этой публикой не знакома... Вы дайте мне нагрузку. Я хорошо рисую. Могу даже на полотне...

— На полотне дорого, — перебил Терентий. — Нам бы на бумаге и то ладно. Насчёт нагрузки, так при Доме крестьянина работы всем комсомольцам хватит.

— Я могу, например, изобразить рекламу.

— Какую рекламу? — усмехнулся Терентий. — Мы не коммерсанты.

— Да, вот, нарисовать бы, к примеру, на большом листе Дом крестьянина, а внизу — пригласительное обращение к гражданам.

— Во! Правильно! Приходите завтра после школьных занятий. Два-три дощатых щита найдём, а слова я сегодня сам придумаю.

— Да, уж вы сумеете. До свиданья!..

Ночью Алёшка Суворов ворочался с боку на бок. В соседней комнате старуха-хозяйка шептала молитвы, а Терентий босой, чтобы не стучать, ходил взад-вперёд по холодному крашеному полу и продумывал «рекламу». На рассвете он лёг спать и долго ещё не мог заснуть. В голове у него возникли планы просветительной работы.

— Эх, поучиться бы мне... Я бы мог тогда работать куда лучше..

#### XIV

Об открытии Дома крестьянина зазывающие афиши вывесили на базарной площади, около двух пока дей-

ствующих церквей, на пристани, на крыльце волостного исполкома и у перевоза через Кубину.

На крыльце исполкома Пилатов стоял с председателем исполкома Василием Вересовым, затягиваясь, курил неразлучную трубку и, показывая афишу с правильным и многокрасочным изображением Дома крестьянина, хвалил рисунок и текст.

— Смотри-ка, Василь Павлович, наш избач какую штуку сочинил.

И оба читали вслух:

... Давно ли Смолкин Пётр Степанов  
Здесь содержал питейный дом?  
Бутылки, рюмки и стаканы  
Дразнили каждого вином.  
Мужик продаст хлеб на базаре,  
Потом в «Париж» сюда зайдёт.  
Забудет всё в хмельном угаре,  
Сидит и пьёт, и пьёт, и пьёт...  
А дома дети ожидают  
Отца с гостинцем из села,  
Они не видят и не знают,  
Что он здесь пьяный до зела.  
Так было раньше в доме этом, —  
Один трактирщик-живоглот,  
Вином торгуя за буфетом;  
Имел порядочный доход.  
Пришла пора, и здесь, в трактире,  
Где проживалась беднота,  
Дом крестьянина открыли,  
Трактиру это не чета, —  
Добро пожаловать сюда!..  
Теперь приезжому с устатку  
Сюда полезно заглянуть,  
Прибрать с повозкою лошадку,  
Попить чайку и отдохнуть,  
И может грамотный газету  
В любое время здесь читать,  
О том, как жизнь идёт по свету,  
Избач вам должен рассказать.  
Пусть всему старому в деревне  
Идёт на смену новый быт;  
Где тьма была и пьянка прежде —  
Там Дом крестьянина открыт!..

Между тем автор этих стихотворных строк сидел за большим столом в читальне по соседству с чайной Дома крестьянина и беседовал с мужиками. Две дежурных девушки-комсомолки выдавали читателям книги. Белоруссов собирал деньги с подписчиков на газеты. Землемер Кондаков агитировал двух сельских исполнителей повернуть свои деревни с трёхпольной системы на четырёхпольную и предлагал услуги — произвести земельный передел.

Мужики слушали его внимательно, соглашались с тем, что травосеяние повысит удои коров, но говорили как по-заученному:

— Ладно, подумаем, да с соседями поговорим, да посмотрим, как другие... Успеем, не к спеху, как бы на смех не попасть...

Землеустроитель пожимал плечами и думал: «Трудный же у нас в волости народ, несговорчивый, а всему виной их раздвоенность: одной ногой на трёхполке стоят, другой — куда-то в сторону на сезонные заработки шагнули, а руками ухватились за кустарные промыслы...».

Из Губзу и Узу присылали бумагу за бумагой, на машинке отпечатанные: «Срочно донесите, сколько и каких деревень вами землеустроено?». Но что мог сообщить нерасторопный землеустроитель?

Однажды в стенной газете Дома крестьянина он увидел карикатуру на себя с припиской:

«Кондаков пишет телеграмму в губ. зем. управление: «Честь имею донести, раздел нельзя произвести. Нет согласия мужиков. Землеустроитель Кондаков».

После этого Кондаков взвалил себе на плечи астролябию, захватил рулетку, несколько книжек и пошёл в деревни.

Чеботарёву хватало хлопот и дела в избе-читальне, в комсомоле и в партячке. А когда находилось свободное время, он оставлял вместо себя в читальне дежурных комсомольцев и то уходил в деревни с кустарками-кружевницами беседовать, чтоб не частникам продавали кружева, а вступали в свою артель; то собирал молодёжь и ратовал за её вступление в комсомол; то составлял списки бедняков и по возвращении в село приходил в комитет крестьянской взаимопомощи и тре-

бывал поддержки маломощным. А в селе какой только работы ему не находилось, кроме той, что выполнял в читальне?! Умер работник исполкома Порфирий Серёгичев, — Чеботарёву поручили организовать гражданские похороны с музыкой, речами. Был в селе духовой оркестр из двенадцати трубачей. Руководил оркестром церковный регент Ростиславин, он наотрез отказался участвовать в похоронах коммуниста и даже насмешливо сказал:

— Надо, так похороните под гармонь. Вы, большевики, народ весёлый...

— Что ж, мы можем и под гармонь, — ничуть не смутившись, ответил Терентий, — но имейте в виду, гражданин Ростиславин, с оркестром вам придётся расстаться. Найдём другого руководителя...

Три брата Сметаниных, три баяниста, шагали впереди гроба и так дружно играли «Варшавянку» и «Вы жертвою пали», что, пока дошли до кладбища, процессия растянулась на полверсты.

Вскоре на долю избача Чеботарёва выпала почётная «нагрузка» провести первые в селе публичные октябрины.

Директор технического училища Еловков с полного согласия своей супруги октябрил первенца-сына. В те годы славное русское имя Иван резко шло на убыль, и многие для новорождённых подбирали имена новые, никогда не бывшие в употреблении. В наше время среди взрослых людей можно встретить такие имена, как Коммунар, Рэкэпина, Искра, Заря, Марат и даже Виват. Супруги Еловковы как раз и решили наречь своего дитя Виватом. Восприемников нашлось не мало. Каждый, кто брал на руки завернутого в кумач ребёнка, произносил на сцене речь перед зрителями, считался восприемником.

По служебному долгу Пилатов начал свою речь с международной обстановки.

Предсказав в ближайшее время революцию в Германии и Болгарии, он перешёл к новорождённому и сказал:

— Когда подрастёт этот, как его... Ваня...

Отец новорождённого поднялся за столом в президиуме и скромно поправил:

— Виноват, Виват!..

Пилатов извинился и продолжал:

— Когда подрастёт наш новорождённый Вилантий, мы к тому времени построим социализм...

— Крой, почём зря, Ваня, Вилантий... Да назвали бы его Власом, и делу конец! — подсказывал кто-то из публики.

Следующие ораторы, в том числе и Чеботарёв, утвердили за виновником торжества имя — Виват...

Как-то в начале осени Суворов пригласил Чеботарёва к себе в деревню погостить. У Алёшки давно умер отец, бывший конторщик, оставивший изрядную библиотеку. Порыться в книгах для любознательного Терентия было интересно. Они забрались в горницу и раскидали на полу два сундука литературы.

Много было тут интересного и пригодного для волостной библиотеки-читальни. Русских классиков Суворов охотно отдал в читальню, но предупредил своего приятеля:

— Унесём не сразу, чтобы мама не заметила, а то, пожалуй, деньги за это спросит. Или совсем не отдаст.

— В библиотеке это очень пригодится! — восторгался Терентий. — Да у нас читателей сразу человек на двести прибудет! А тебе спасибо... Спасибо, Алёша... Ты настоящий комсомолец!..

Пока они тут просматривали и отбирали пригодные для библиотеки книги, под окнами горницы застучала телега, послышалось старческое покашливание.

Суворов выглянул из-за занавески в окно.

— Чорт попа принёс. Мешки в телеге, наверно за требы хлеб собирает.

Привязав лошадь к железному кольцу, торчавшему из бревна рядом с назёмными воротами, поп крикнул:

— Миропиюшка! Миропия!..

Возглас попа касался Алёшкиной матери. Та откуда-то из чулана откликнулась.

— Собери-ка, голубушка, прихожан, от урожая-то мне и святым апостолам Петру и Павлу кое-что с православных причтётся.

— Ой, батюшка, извольничался народ. Заупрямятся, не придут многие, не принесут. Беда нынче и с народом.

— Да что уж говорить про других людей, Миропия, если твой сынок тоже околю смутьянов вертится.

— Вертится, батюшка, вертится... Пойду оповещу соседей, — может и будет прок...

Миропия вышла из чулана, направилась вдоль деревни.

— Да скажи ты, что беру ржицей и ячменём, — услышала Миропия голос попа. — На пшеничку не надеюсь, сами себя окаянные любят. В Попихе девять пудов не додали...

Один за другим подходили под окна горницы мужики и бабы. Одни сразу несли жито в лукошках, другие пришли ни с чем. И хотя поп был в плохом настроении, но слово за слово завязался у него с мужиками разговор.

За простенком в горнице у раскрытого окна, за плетёной кружевной занавеской Алёшка и Терентий прислушались к непринуждённым расспросам «паствы» и к ответам «пастыря». Поп по обыкновению жаловался на упадок веры, на всех безбожников, подрывающих устой религии.

— Стало быть вы с господом-богом сплеховали перед грешниками? Да вы бы таких чудес натворили, чтоб у безбожников волосы дыбом! — проговорил один из мужиков, сидевший на завалинке. — Чудес нынче нет, а без чудес какой дурак будет верить. Мы и без попа знаем, что после юсени наступит зима, потом весна, потом лето, и так вечно всё идёт своим чередом для верующих и неверующих. Так зачем же нам хлеб бросать на каких-то апостолов, которые не сеют, не жнут, а зёрнышки собирают. Несите-ка, бабы, обратно ваши лукошки с зерном. Самим пригодится...

— Это Мишка Доброрадов говорит, — шепнул Суворов Терентию. — Бывалый мужик. Сунь палец в рот, всю руку оттяпает, ох, зубастый.

— Да, видно, что бывалый, — согласился с ним Терентий. — Надо его в актив избы-читальни привлечь. Грамотный?

— Угу, да ещё какой.

— Дадим ему передвижку из брошюр, пусть просвещает себя и соседей.

— Этому дать можно.

А с улицы опять чей-то голос:

— И в самом деле, батюшка, считаешь в газетах про мощи, а вместо мощей — труха. Куда же святые-то настоящие делись?

— Да, долгонько, долгонько вы нас дурманили...

— Господи, прости прегрешения наши, не ведает ваш разум, что мелет язык... Всё это от смутьянов...

Откуда-то с гумна доносился запоздалый стук цепов, где-то скрипели ворота и мычала завязнувшая на окраине пруда корова. Лёгкий ветерок перелистывал на берегах пожелтелые листья.

— Чудеса, чудеса, какие вам надо чудеса? — проворчал поп, обратясь к Доброрадову. — Без веры нет и чудес. А ведь этих смутьянов, у коих молоко на губах, я своими руками крестил. Да знай бы я, что из них такое антихристово семя произойдёт, лучше бы захлебнуться им в купели при крещении... К примеру, избач Чеботарёв из Попихи, селькор окаянный. Дай ему волю, он сеподня же у храмов двери досками забьёт, а вместо крестов на святые главы красные флаги поставит. Этаким сорвиголовам всё нипочём. Нет веры, нет страха божия, а вы хотите чудес?!

И тут случилось почти чудо. Не вытерпел Терентий, распахнул занавеску и, высунувшись из окна, прервал попа.

— Поскольку речь зашла обо мне, позвольте вмешаться...

Все оглянулись и увидели Терентия Чеботарёва, а за ним Алёшка, Миропии сынок, улыбался во весь рот, и все веснушки смеялись на его расплывшемся лице.

— Вот так ловко получилось! — поднялся и удивлённо воскликнул Доброрадов, — безбожник, а лёгок на помине. Ну, теперь держись, батюшка. Нашла коса на камень!..

— И откуда они взялись, бесенята? — удивилась Миропия. — Вот ведь грех какой, надо же так, а я думала, давно их нечистая сила в село унесла...

Поп растерянно и поспешно, трясущимися руками начал отвязывать вожжи, полы подрясника подsunул под широкий ремень.

— Не торопитесь, отец Василий, гражданин Казанский. В благодарность за то, что вы не утопили меня в купели при крещении, я могу сейчас ответить за вас на вопрос насчёт чудес, поскольку у людей возник к этому интерес. Слушайте, понимайте да на ус мотайте.

— Во лешачий язычок у парня! — восхитился Доброрадов. — Демьян—да и только!..

Чеботарёв, много раз выступавший на вечерах самодеятельности с антирелигиозными раешниками, го-

лосом отчётливо звонким строчил с подоконника, как пулемёт:

— Да, граждане, раньше при Николашке царе, в каждом монастыре ради прощения грехов работали люди на монахов и попов. Богатели церкви и монастыри, украшались алтари. И если бы мы не сбросили царское правительство, тогда бы бесщётное количество чудотворных икон появилось, а сколько бы мощей накопилось!.. (Даже из Распутина греховодника хотели попы сделать божьего угодника). Да, а теперь чудесам крышка, конец! И ни один духовный отец не решится подделывать мощи «нетленные» или же иконы «явленные». Ведь, того и гляди, за фальшивое чудо—самому чудотворцу будет худо. Потому-то за последние годы совершенно вышли из моды чудеса монастырско-церковные, и пастыри нынче духовные церковь рвут на две части—на «мёртвую» и «живую», пусть, мол, народ выбирает любую. Но как попы ни ухищряются, как надуть народ ни стараются,—дело у них не выходит. Время вот-вот подходит, когда сила науки и знаний бога вышвырнет в область преданий, а над церковь «мёртво-живой» завоюют попы «со святыми упокой».

— Уже отпевают,—вставил Доброрадов.—Канун им да ладан..

— А наша вера тем сильна, что она, Лениным дана,—продолжал Терентий. И не успел он досказать свою речь до конца, как поп не по-старчески быстро взобрался на мешки, и телега загромычала под ним. Обернувшись, он прокричал:

— Молоко на губах! Вершков нахватался! Ты Гегеля, Гегеля прочитай. Умней будешь..

— Доберёмся, батюшка, и до Гегеля! — неунывающе прозвучал голос Чеботарёва.

Толпа стала расходиться. Некоторые не успели даже сдать оторопелому попу принесённое жито:

— Ну, бог с ним, проживёт и без наших крох..

— А парень-то, парень как его отбрил, поп и не заикнулся супротив. И наш-то Доброрадов тоже хорош..

— Нынче церковь отделена от государства, а попы от порядочных людей давно сами отделились, так чего же стесняться?..—ответил Доброрадов на замечания соседей.

Терентий из окна ему громко сказал:

— Товарищ Доброрадов, бывайте у нас в читальне. Мы таких уважаем!..

— Покорно благодарю!..

Поздно вечером, с двумя кипами книг, возвращались друзья-приятели в село. И очень был доволен Чеботарёв, что не зря сходил к Алёшке Суворову.

Двухпудовая ноша книг не казалась ему тяжёлой.

## XV

В доме Прянишникова пирушка. Матёрый богач-нэпман справлял небольшую гостьбу по поводу открытия нового трёхсепараторного маслодельного завода. В гостях были: дочь Фрося с мужем Енькой, бывший продкомовец—ныне «красный» купец Васька Борисов, племянник Прянишникова Румянцев—налоговый инспектор из губернского финансового отдела и кое-кто из близких и отдалённых родственников. На столе, посредине, в окружении выпивок и закусок величественно блестел, как зеркальный, почти двухведёрный самовар. Самовар на разные голоса подпевал горластому грамофону, занимавшему целый угол среди фикусов и гераней.

Любимые пластинки хозяина «Коль славен» и «Ухарь купец» заводились много раз и потому подвыпившим гостям да и самому Афиногенычу надоели.

— Колька! Сыграй нам на баяне! — распорядился Прянишников, — да повеселей!..

Женатый сын Прянишникова Колька, по уличному прозвищу Рубец, не заставил себя упрашивать. Четырёхрядный баян в его длинных руках лихо заиграл «камаринскую».

— Кто хочет топнуть?! Еня! Вася! Со мной на перепляс!..

Но тучный толстобрюхий Прянишников скоро от пляски устал и, тяжело дыша, опустил в мягкое бархатное кресло.

— Староват стал. Сердечное ожирение. Видать я отплясал своё.

Подозвал Еньку, строго сказал:

— Не пляши. Не из того места у тебя ноги вышли. Нескладный ты. И вообще не разворотистый. Счастлив, что Фрося у меня уродцем выросла, а то бы не быть тебе моим зятем... Не будь!..

— Ладно, слышали, — огрызнулся Енька и, недовольный разговором тестя, вышел в соседнюю комнату, обильно увешанную иконами.

— Вернись! — крикнул Прянишников.

Енька вернулся.

— Не думай на меня губы дуть! Я тебя куплю и продам с потрохами вместе. Да если бы ты был мужичонка разворотистый, я бы тебе и деньгами и товаром на первых порах подмог бы. Фроська-то мне, что, чужая? Нет!..

— При чём тут разворотистость? — возразил Енька. — Попробуй развернуться, финагент Курицын заклёёт налогами.

— Уметь надо! Для чего и нэп!..

— Не пойму!

— Вот то-то не поймёшь. А Борисов и мой племяш, вот те очень хорошо понимают. Знают, как надо вести выгодную линию. Выручи рубль, а советской власти докажи, что ты продал на копейку. Вот как надо. Опять же, рука руку моет,—этого не забывай. Отец у тебя дока, только темноват для большого дела и стар. Сам берись, сам!..

— А Курицын?—пугливо спросил Енька.

— Что Курицын! Вот мой племяш Румянцев покажет ему палец, и будет твой Курицын тише воды, ниже травы. Бери с меня пример: как было при царе, так и теперь дошёл до той точки. Сорок деревень молоко сдают на мой завод. А маслице-то! Язык проглотишь—высший сорт. Небось, на пергаментной обёртке и в Москве и в Петрограде читают «Маслодельный завод Прянишникова». Во! А ты что значишь? Эх, мне бы да твои годы...

Прянишников откинул голову на спинку кресла, прищурил глаза и открыл рот. Блеснули два ряда золотых, только что вставленных зубов. Заметив, что отец дремлет, Колька Рубец прекратил игру. Но Прянишников не дремал. Он только с закрытыми глазами хотел прислушаться к баяну.

— Играй! Сам скажу, когда перестать.

Колькины пальцы опять послушно забегали по перламутровым клавишам. Плясать никому не хотелось. Борисов и Румянцев оба не плясуны. Бабы — Енькина тёща-трясуня, Фрося хроменькая и ещё кое-какие до-

мочадки-приживалки, чтобы не мешать хозяину и гостям, после еды и питья удалились в одну из комнат и, довольные, судачили, о чём только приходило им в голову.

Трясунья до того разговорилась, что выдала им всем тайну своего супруга:

— Мой-то шибко богатеть стал. Но всё ему мало и мало. Хочет пока одного Кольку с молодухой оставить здесь, а сам со мной переехать к Грязовцу. Там в деревнях и скота больше, и коровы удоинее, и молоко жирнее. А главное от городов ближе. На паях с Румянцевым-то хотят там компанию маслодельную открыть...

— Куда и с деньгами только,—вздохнула Фрося.— Хоть бы нам чуточку перепало.

— Не любит он Еньку-то, не любит, дурён, говорит, больно. Куда ему капитал, не в коня корм...

Трясунья, когда-то высокая ростом, к пятидесяти пяти годам сильно сгорбилась, но от сытой и беззаботной жизни растолстела. Рукава старомодного платья втугую обтягивали её объёмистые пухлые руки. Пальцы, обильно унизанные золотыми кольцами и перстеньками, безвольно тряслись по причине какой-то неизлечимой болезни, из-за чего она и приобрела в людях второе, до окончания жизни приставшее к ней имя — Трясунья. Тряслись не только руки, но и голова с жирным подбородком на толстой, с тремя складками шее. Чтобы скрыть складки, Трясунья обматывала шею бусами—беломорским жемчугом. В праздничном наряде, с десятком шпилек и гребёночек в волосах, Трясунья была похожа на сказочную купчиху. В город её с собой Прянишников никогда не брал. Стыдно с ней было на люди показаться, без Трясуни он всюду чувствовал себя вольнее, размашистее...

В комнате, которая называлась «залом», Прянишников и его гости, несмотря на некоторое опьянение, притихли. Сначала они молча шуршали, разворачивая свежие вологодские и центральные газеты, только что принесённые письмоносцами, а потом разговор начался шумный, горячий.

— Надо этого мальчишку приунять! — злобно заговорил Борисов и, скомкав газету «Красный Север», швырнул на стол. — Полюбуйтесь. Опять он выкинул фортель...

— Чего там опять? Не про нас, случаем?—тревожно спросил Прянишников, хватаясь за голову.

— Не про нас, а вроде...

В газете сообщалось, что на беспартийной крестьянской конференции в уезде выступил селькор Чеботарёв. Он внёс предложение отобрать у кулака Тоболкина водяную мельницу, а у Паршина—паровую и передать в пользование комитета крестьянской взаимопомощи. Предложение принято единогласно, вопрос поставлен на разрешение перед Губисполкомом.

— Безусловно отберут,—решил Румянцев. — Удивительно, что до сих пор они пользовались.

— А нэп, аренда, налоги, чего тут удивительного? — возразил Борисов.

— Нэп-то, нэп, но мельницы стоят на государственной земле, и, очевидно, с использованием наёмной рабочей силы там было не всё в порядке, — пояснил Румянцев и, взяв газету из рук Прянишникова, отыскал заметку «С уездной беспартийной крестьянской конференции».

— Ну, вот видите, тут же указано: «В своём выступлении селькор Чеботарёв привёл факты, свидетельствующие о скрытой от финорганов эксплуатации рабочей силы. Когда приходили представители для заключения трудовых договоров между хозяевами и их батраками, то Тоболкин и Паршин, угрожая батракам увольнением и снижением зарплаты, прятали их от общественного надзора в кустах и доказывали, что они обходятся без наёмной силы; на самом же деле, укрывая свои доходы от эксплуатации рабочих, они обманывали советское государство...».

— Ну, вот видите,—продолжал Румянцев, понимающий в этих делах,—да они, эти Паршин и Тоболкин, должны будут бога благодарить, если их по сто седьмой статье под суд не отдадут...

— А всё-таки туго, туго приходится нашему брату, чорт побери!—Прянишников стукнул по столу кулаком. Порожние рюмки подпрыгнули, некоторые, не устояв, покатались на пол.

Вошла Фрося:

— Папенька, может убрать со стола?

— Не надо. Иди отсюда к бабам, не мешай!.. Да как же быть-то? Сегодня отберут мельницы, завтра мой маслodelьный прихлопнут...

— Пока я в губфо, не прихлопнут, — успокоительно сказал Румянцев.

— Смотри, племяш, надеюсь. Большой капитал у меня в дело вложен. А как же с Грязовчиной быть?..

— Помолчим, дяденька..

— Нет, не помолчим. Борисова нам стесняться нечего. Можем и его в компаньоны взять.

— Пожалуйста, только не с большим капиталом. Фирма должна носить твою марку—Маслодельная артель «Коллектив» Прянишникова и К°. Вот в эту компанию и надо взять людей близких, надёжных, нескандальных. И не так много, человека три-четыре. А делом ворочать тебе, Михай Афиногеныч, тебе!..

— Да растолкуйте, чорт вас побери, чего затевается?—нетерпеливо спросил Борисов.

— Картина, в сущности говоря, простая, Василь Васильевич, — глядя Борисову в глаза, заговорил Румянцев внушительно и деловито. — Вы человек с понятием. Ставка на свержение советской власти вооружённым путём бита. Кронштадт давно уже сдался. Тамбовское восстание давно утихомирено. Наконец, даже из Владивостока красные японцев выгнали. Порохом пока не пахнет. Но есть — но. Большевики, не сегодня вам известно, ввели новую экономическую политику. Мы с вами это считаем уступочкой частному капиталу. Да. А как Ленин на это смотрит? Читайте газеты. Внимательно читайте!.. Частный капитал не успел как следует развернуться, а уже Ленин на пленуме Моссовета в ноябре прошлого года заявил: «Из России нэповской будет Россия социалистическая». Как вам это нравится?.. И что это значит? А это значит, если Троцкий и Бухарин будут положены на обе лопатки, тогда считай пропало: частной торговле небыть! Дело будет пахнуть полной ликвидацией класса, пользующегося наёмным трудом и имеющего нетрудовой доход... Отсюда делайте вывод: успевайте богатеть, пока есть возможность...

От такого разговора Прянишников и Борисов сразу протрезвели, а Енька и Колька Рубец—как сидели, так и застыли с разинутыми ртами. Разговор губернского работника приковал их внимание.

— А как за границей? За границей на это как смотрят? — с возмущением, не стараясь быть сдержанным, спрашивал Прянишников. — Есть же там сила?

Или совсем плюнули на Россию, пусть дескать сами как хотят?!

На это Румянцев ответил пониженным голосом:

— Конечно, за границей есть Керзоны и Черчилли, но они должны думать не только о нас, но и о своей безопасности. Есть там и наши люди—белые эмигранты. Как слышно, они ссорятся между собой. Князя Кирилл и Николай Николаевич никак не могут поделить царскую корону. Генералы Миллер и Кутепов тянут своё, Керенский—своё; наш вологодский деляга Маслов из эсеровских остатков выкраивает за границей какую-то новую «Трудовую крестьянскую партию», а батько Махно подвизается в Париже в цирке с группой казаков-наездников. Одним словом—лебедь, рак да щука. И не в них дело и не на то надежда...

— На что же?—двигаясь вместе со стулом, нетерпеливо, почти шопотом спросил Борисов.

— А вот, послушай его, послушай, — восторгаясь Румянцевым, говорил Прянишников. — У племяша моего не кочан на плечах—голова!..

— Не смогли дубьём, надо бить рублём!.. Вот так. Конечно, всё делается с умом и толком, а чуть что — прикуси язык и молчи. Раньше говорили: «Язык до Киева доведёт», а ныне болтливый язык может до Соловков довести. Я вам всё это говорю, а чтоб мой разговор дальше здешних стен не шёл! Запомните это!..

— Могила!—сказал хозяин, и снова от его кулака заплясали на столе рюмки. — Еня, Колька, шли бы вы лучше к бабам да поразвлекали их, а то много будете знать, скоро в старики запишетесь. Продолжай, племянничек, продолжай!..

Оставшись втроём, они раскупорили бутылку коньяку. И снова веселей зашевелились языки.

— По поводу артели «Коллектив» у меня, друзья, такие планы, — таинственно и вместе с тем откровенно заговорил Румянцев.—В Грязовчине, на развилке двух железных дорог на Москву и Вятку, есть возможность открыть десяток пропускных пунктов для собирания молочных сливок и построить там один хороший, механизированный маслозавод. Прикиньте в уме сами: примерно в деревнях от Вохтоги до Стеблева полторы тысячи дворов, минимум — две с половиной тысячи коров; от каждой в году минимум два пуда масла,

вот вам и пять тысяч пудов! При чём это на первых порах. Дальше можно развернуться пошире. А что даст заготовка кожевенного сырья, льняного волокна? Ни-чем не надо пренебрегать.

— Правильно! — не вытерпел Прянишников, — правильно!..

— А оборудование завода, пропускных пунктов, машины, строительный материал?.. — размышляя практически, усомнился Борисов.

В ответ на этот пустячный вопрос Румянцев криво усмехнулся и продолжал развивать план своих действий:

— У нас же будет не что-нибудь, а артель «Коллектив». Мы можем представить список с потолка, хоть на тысячу членов получить под эту сурдинку десять сепараторов в кредит и рассрочку на два года. Лес нужен на постройку завода? Пожалуйста — нынешней весной по реке Леже могу вам обеспечить плот хоть на пять тысяч брёвен. Чего ещё?.. В довершение ко всему этому я, ваш покорный слуга, буду и контролёром по линии налоговых инстанций. Ясно?!

— Как божий день! — у Борисова от радужных надежд заискрились глаза, — прошу не отказать в коммерции.

— Беру пайщиком, но ваш вклад в это дело пусть не превышает десяти процентов к моему капиталу, — сказал Прянишников.

— Жадюга! — полушутя, полусерьёзно ответил Борисов.

— Десять процентов — пай племянника моего, Румянцева Николая Васильевича, остальные восемьдесят процентов — для обеспечения за мной руководящей роли — будут вложены из моего капитала, и больше никого в пайщики!

Договорились и раскупорили ещё бутылку. Чокнулись за преуспеяние. Выпили, закусили. Батистовым вышитым платком Прянишников вытер пухлый рот. Вспомнив, повторил слова племянника: «Не смогли дубьём, надо бить рублём!»... Посмотрим, чья возьмёт. Большевики к торговле не привычны, готовенькое им конфисковать куда легче...

Борисов снова взял газету. И вдруг наткнулся на заметку:

— «В Лежской волости зарублен селькор Нелов...». Очередь за усть-кубинским селькором Чеботарёвым.

— Так и напечатано? — обрадованно встрепенулся Прянишников.

— Нет, насчёт Чеботарёва я от себя добавил.

— Одного зарубили, появится на смену ему сотня. Не рубить, а купить надо! Понимаете, купить!.. — рассудительно вставил Румянцев.

— Совершенно верно, как всегда, вы правы, Николай Васильевич, деятель вы, мыслитель!. Я такого же мнения. Не будь этот самый избач Чеботарёв из батраков, не будь он гол, как осиновый кол, имей бы он неражую избёнку да жену-бабёнку, ему бы некогда было активничать. День и ночь стремился бы он загрести копейку, а она не всем легко даётся. А ну, господа, будем веселиться. Колька, баян!.. Еня, заводи «Ухаря купца!..»,

Далеко за полночь шумел разноголосо дом Прянишникова. И лампы-«молнии», не щадя керосина, ярко горели во всех комнатах, бросая из окон отсветы на голубой весенний снег.

## XVI

Много работы у Чеботарёва было в эту зиму. Поручение за поручением приходилось выполнять по партийной и комсомольской линиям. В начале апреля по делам кустарнокружевной артели приехал из Вологды инструктор артельсоюза Афанасий Додонов. Когда-то Терентий был в добрых отношениях с весельчаком и руководителем Афонею Додоном.

Прошло с тех пор не так много времени. Афоня стал почти неузнаваемым. Правда, не изменился его добродушный и весёлый характер, но годы гражданской войны, служба в армии, затем ответственная организаторская работа в губернском учреждении, — и бывший зимогор, кустарь-отходник стал товарищем Додоновым. И хотя Терентий и Афанасий Додонов были люди разных возрастов, — Афанасий старше Чеботарёва лет на пятнадцать, — встреча их была довольно радостной, дружеской. Из читальни Терентий увёл его к себе на квартиру и там заказал старушке-хозяйке зажарить

яичницу на сковородке. За едой и чашкой чая с малиновым вареньем приятели разговорились о том, где и как они провели время за последние пять лет. Терентий рассказал о себе, Додонов слушал, поддакивал и, улыбаясь, сдержанно хвалил.

— Молодец, что не застрял на сапожной липке. Вот учиться тебе надо, учиться. Про вашу читальню слышал — на хорошем она счету. Шутка ли, одних газет выписывается шестьдесят семь экземпляров! Беседы, доклады, справки, да ещё музей. Кстати и моя там копейка не щербата. Видел мои экспонаты, Никитину я преподнёс?...

— Видел. Хорошая работа. У Михайлы от зависти чуть глаза не лопнули.

— Время теперь такое: от кустаря требуется прочность изделия и изящество. Этого наш артельсоюз добивается.

— Ты только по кружевницам?

— Главным образом. Но и других кустарей надо объединять в артели. Нэп — это борьба бескровная, кропотливая и, возможно, длительная.

— Вот у нас в волости с роговщиками плохо обстоит. Засилье частных. Следовало бы с кустарями работку проверить, да артель создать. А потом и за сапожников взяться.

— Подумаем, Терёша, подумаем. Артельсоюз мне поручил ознакомиться на месте, в каких деревнях больше орудуют частные скупщики роговых изделий.

— Известно где, в Филисове, там перекупщики Параничевы, Красавин и Щенниковы привозят сырьё — рога и копыта из Сибири, из Казахстана, и тысяча кустарей работает на них. Прямо надо сказать — очень неприятное положение. А ведь у нас единственный в России промысел роговых изделий и весь куст в руках частных скупщиков...

Выслушав Терентия, Додонов задумался. Прошёл по комнате, молча посмотрел на засиженные мухами фотографии хозяйкиных родственников, сел на дощатый крашеный диван и заговорил:

— О роговщиках — да, вопрос серьёзный. Я думаю так: соберём актив коммунистов и комсомольцев, человек тридцать. Я сделаю обстоятельный инструктивный доклад о целях и задачах промысловой кооперации, разошлём беседчиков-агитаторов по деревням, где есть ро-

говщики, сначала изучим настроения кустарей, узнаем силы противника и его козыри, а потом, в зависимости от этого, соберём общее собрание. Подходящее время для организации артели тоже имеет значение. Да и вообще, надо сказать, волость наша необыкновенная; разнообразие профессий, густая населённость, богатое село, рядом лесопильные заводы — масса работы! Быть тебе избачом-селькором здесь прямой и сплошной интерес. Так ведь?

— Так, — согласился Терентий и, выслушав до конца, начал сообщать Додонову разные новости из своих селькоровских наблюдений. Тот слушал с неослабным вниманием, не перебивая, мысленно следя за беседой Чеботарёва, думал: «Этому парню надо расти и цвести...».

О своей работе Терентий рассказывал:

— Да, разнообразие большое. И культурные силы есть, и народ интересный. Но, как говорят, родимого пятна и в бане не смоешь. Иногда нет-нет, да и обнаружится такое дикое пятно, что смешно и стыдно становится. Недавно в этом году, в последние морозы, в Закушье справляли мужики праздник твоего тёзки преподобного Афанасия «Ломоноса». (Так и называют этого «святого» Ломоносом). Ну, конечно, самогон, драки, и пошли носы ломать. И доломали до того, что кооператора Зайцева нашли угробленным. Несколько человек — под суд. А моё дело — избачовское: иду туда и с фактами в руках доказываю крестьянам вред самогона, а они говорят: «Ты попробуй... Полюбится, не будешь хаять». Написал в журнал «Безбожник», разделали с карикатурой. Вся волость теперь над «ломоносами» смеётся. Может и подействует... А то был такой случай: За Вагановым, знаешь, в пустоши Жуково есть огромный серый камень. Испокон веку, говорят старики, живёт под этим камнем леший. Будто бы по ночам ухаёт, народ пугает. Под камень действительно были подрыты норы какими-то зверюгами, а вагановские ребята и мужики устроили складчину, купили обществом целый пуд пороху, подложили под камень в железном бидоне и решили лешего потревожить. Взрыв, говорят, был очень сильный. Четырёх взрывателей в больницу отвезли.

Одним словом, приходится просвещать людей по всякому поводу. А жалобы, заявления, справки, разъяснения — конца им нет. И такое иногда встречается в мужицкой жизни, что невольно вспомнишь слова това-

рища Ленина, из его статьи «О продиалоге», о дикости и патриархальщине, существовавшей в местах к северу от Вологды. А ведь мы как раз и живём именно в этих местах.

Отставив на край стола опорожненную сковороду, Терентий попросил Афанасия рассказать о себе, о своих делах.

— Всех происшествий ни пером описать, ни словами рассказать, — начал Додонов, — а если коротко, так со мной за эти годы было так: помнишь, когда Алексея Турку выбирали в комбед председателем, а тебя к нему секретарём, я в тот день из Попихи подался в Кадников, поступил там в маршевую роту и попал на южный фронт. После ранения в плечо отлежался, приехал в Вологду и получил назначение в сапожную мастерскую ремонтировать обувь для Красной Армии. Вступил в партию, прошёл без отрыва от работы полуподовые курсы по счётно-экономической части и по политграмоте и вот уже два года на должности кустарного инструктора. Да, — вспомнил Афанасий и, улыбаясь, добавил к сказанному: — С некоторым опозданием, но всё же я женился. Взял самостоятельную белошвейку. Я вот езжу, а она в Вологде, в Кривом переулке, кофточка строчит...

— Жизнью, значит, доволен? — спросил Терентий.

— Как сказать? Нельзя довольствоваться достигнутым и на этом успокаиваться. И не в смысле личной карьеры, а в смысле, вообще, чтобы не было на свете тунеядцев и жилось хорошо трудовому люду. Вот, скажем, сумеем мы роговщиков объединить, да если я сумею в этом деле приложить свои силёнки, значит у меня будет шаг в сторону счастья. Была революция, была война, но борьба продолжается. Наше место на передней линии, где бы мы ни работали.

Они помолчали, выпили по стакану чая, вспомнили прошлое, снова разговорились о том, как жилось раньше. Додонов, поминая добрым словом Ивана Чеботарёва, Терентьева отца, сказал:

— Да, жаль, не дожил твой отец до наших дней. Был бы из него хороший советский человек. Не в ладах он был со старыми порядками, а выход видел лишь на дне опорожненной бутылки, как и многие в то проклятое время. Ты не привыкаешь к хмельным напиткам?..

— Ни за что. Сам не желаю, да у нас и Пилатов на этот счёт очень строгий.

— Не слыхал ты, где-то сейчас поживает Николаха Копыто? — поинтересовался Додонов, вспомнив юного из своих дружков прежних лет.

— Ну, как не слыхал!.. Вот если случится нам быть в Филисове, можем там его увидеть. Неподалёку на сплавной Высоковской запани он работает...

Пока они разговаривали о том, о сём, день приблизился к вечеру. Из волостных учреждений служащие расходились домой. Пришёл Алёшка Суворов. Поздоровался с Додоновым, Терентия упрекнул шутливо:

— Ничего себе сковородку наворачнули, мне один запатах оставили...

— Гость желанный, съели бы с ним и больше, да медицина не позволяет, — шуткой на шутку ответил Чеботарёв.

— А тебя там Пилатов разыскивает, велел сказать, чтобы ты к нему зашёл и рассказал о подготовке к комсомольской пасхе. Четыре недели только осталось. Учти. Перестань ходить по деревням, давай сделаем такую постановку, чтобы век помнилась.

— Постараемся...

## XVII

Кончилась, как-то незаметно свернулась медлительная зима. Зашумели подснежные ручейки, посинела ледяная кора на реке Кубине. За две недели до пасхи не выдержал лёд, с треском тронулся на широкое приволье Кубенского озера и пошёл, и пошёл грозной стихийной силой, сметая на своём пути с залитых половодьем берегов прошлогодние остожья, дорожные вехи и всякий появившийся за зиму хлам. Но иногда ещё и в эту пору стояли морозные утренники. В лесах и болотах подмерзал таявший снег. Но лёд пронесло, снег скоро слизнули дожди весенние, подсохли, наладились пути-дороги к Устью-Кубинскому.

Комсомольцы готовили антирелигиозную пасху. Из губкома комсомола прислали пьесу. В препроводительной указывалось: «Поставить своими комсомольскими силами накануне пасхи». Пьесу обсуждали в читальне. За режиссёра согласился быть учитель Иван Алексеевич. Главным недостатком пьесы единогласно признали

то, что мало было действующих лиц; на многих желавших участвовать в спектакле нехватало ролей. Решено было поручить избачу Чеботарёву удлинить пьесу на два действия и прибавить двенадцать действующих лиц. Времени для этого оставалось ещё дней десять. Терентий вдохновенно принялся выполнять решение комсомольского собрания. Специально для себя он ввёл в пьесу роль... Иисуса Христа. И опять, как часто с ним случалось, не спал всю ночь, придумывая целые монологи, не предусмотренные автором пьесы.

За неделю до постановки уже расклеены были по селу афиши, приглашающие всех верующих и неверующих посетить комсомольский пасхальный спектакль...

Разговоров было много. На комсомольскую пасху ожидалось не мало зрителей. К удивлению Терентия, даже сам регент церковного хора Ростиславин, — он же капельмейстер духовного оркестра, пришёл к Пилатову и предложил игру оркестра в антрактах спектакля в пасхальную ночь. Пилатов очень одобрил, поблагодарил его и направил в читальню.

— Идите к Чеботарёву, включитесь в программу.

— А у меня с ним как-то был нехороший разговор.

— Ничего, помиритесь...

— Пожалуйста, очень даже рады, — приветливо встретил Ростиславина Чеботарёв. — Да кстати не можете ли нам достать к спектаклю парочку подрясников, одну ризу — фелонь, две камилавки и какое-нибудь старенькое, но настоящее кадилице. Всё это по ходу пьесы предусмотрено.

Ростиславин обещал и в тот же день принёс от папа всю эту бутафорию с записочкой: — «Избачу Чеботарёву. Можете навсегда пользоваться этим добром, лишь бы православные не знали, что это я вам дал. Иерей Николай Потёмкин».

— Соблюдём тайну, — сказал Терентий Ростиславинову, — при случае поблагодарите батьку... за косвенное участие в нашем спектакле.

...На страстной неделе в читальню явился Копытин и не один, а вместе с Дарьей. Копытин уговорил Дарью взять заочный развод с Васей Росохой и сойтись с ним, Николаем Копытиным.

— Прошу поздравить меня с законным браком! — не без гордости заявил заметно повеселевший Копытин, здороваясь за руку с Терентием.

— С браком?!

— Ну, да. Вот она, моя разлюбезная половина, ужели ты её не узнаёшь? Сегодня записались с ней в исполкоме по всем правилам декрета!..

— Не встречал что-то, не припомню...

Дарья всплеснула руками, грузно хлюпнулась на пружинный диван. Зазвенели пружины, и в диване что-то треснуло.

— Вы поосторожнее, гражданочка, у нас так с размаху не садятся, можете казённую мебель нарушить.

— Ой, не узнал! — заголосила Дарья, — не узнал, пасынок ты мой милой!..

— Вот оно что! — удивился Терентий. — Да это же моя бывшая мачеха, Дарья Коротышка... Вот уж никак не ожидал и не думал, что Копытину придёт в голову блажь на ней жениться.

— Я на неё давно виды имел, — сказал Николай. — Старая любовь долго помнится, а теперь вот судьба свела.

— Смотри-ка ты, вспомнил Коротышку... Да, да, Терёшенька, я всё такая же, на вершок не подалась. Малость стопталась даже, ещё ниже стала. А Коротышкой-то покойный Алёха Турка, не тем будь помянут, обучил тебя так меня кликать... Смотри-ка, голубчик, какой ты вымахал. И разговоров про тебя, Терёшенька, в народе уйма!.. Когда у Прянишникова я работала, слыхала, что он на тебя зуб точит! А теперь кое-кто поговаривает, как бы тебя в пасху проучить, чтобы меньше выдумывал супротив бога. Остерегайся, голубчик, хоть ты и служащий теперь. Говорят, бойся быка спереди, лошади сзади, а худо по человека со всех сторон...

— Спасибо за добрый совет.

— Да уж худого тебе не хочу. Виновата я перед тобой. Когда за Росоху замуж выскочила, малым отроком тебя Михайле под опеку оставила. С собой было бы надо тебя взять, да как? Куда? Вышла тоже за вдовца. А вдовец, какой, к чорту, чужому дитю отец, коли он сам навокруг сирота... Не сломя голову, а с опаской да с оглядкой теперь пошла я вот за этого... — Дарья кивнула в сторону своего нового супруга, — говорят, держись за дубок, который в земле глубок и не смотрит в бок, а стоит прямо. Николаша, в час добрый молвить, не тот стал, не пастух прежний. На запани-то поработал

годика полтора — и пожалте мне подарочки, да какие! Перво-наперво швейную машину, и по матерье и по коже строчит... Потом казачок сатиновый на вате, ещё потом телёнка годовалого купил и к дому привёл...

— Да ты про всё-то не рассказывай, — перебил Дарью покрасневший Копытин. — Ну, сошлись и сошлись. Сорок мне годов с гаком, а всю жизнь жил без бабы, как без солнышка. И чего мне в тебе полюбилось? Глаза разве такие речистые? Без слов говорят, будто мёдом поят. А язык-то твой, ох, колючий, злой. Слово-то скажешь, будто на мозоль лапой наступишь... Надо бы тебе, Даша, помягче на слово-то быть...

— Поживём, обучишь.

— Да уж в твои годы тебя учить, что мёртвого лечить.

— Но, но, супруги-молодожёны, чего доброго вы подерётесь у меня в читальне!.. Кто же, Дарья, хочет меня «проучить»? — поинтересовался, как бы между прочим, Терентий и вышел из-за стола, стройный, в толстовке из рубчатого бархата, суконные галифе заправлены в хромовые начищенные сапоги. Ремешком туго подтянута толстовка. Пуговок у ворота больше, чем положено быть. На рукавах тоже пуговики.

«Комиссар да и только, а обличьем на покойного Ивана мало схож...», — подумала Дарья и спросила:

— В пасху-то которые хотят?.. Ты про тех?..

— Ну, хотя бы эти, что в пасху.

Дарья, подумав, ответила:

— Отродясь не наушничала. Не скажу. А упредить должна. Сказано: остерегись, гляди в оба, и — всё!..

— Ну, не мне, супругу бы своему поведала, — схитрил Терентий, желая допытаться, от кого ему следует ждать неприятностей. И делая вид, что его это не сильно интересует, снова сел за широкий стол, покрытый кумачом и газетами, стал перелистывать какую-то книгу.

— Угу, Копыту сказать, всё равно что бабе, разнесёт, да и от себя прибавит...

— Чорт баба! Как я стану жить с тобой...

— А будешь жить да радоваться...

Они посидели целый час, наговорились вдосталь обо всём — о делах, о знакомых людях и, уходя, пригласили Терентия не обходить, не объезжать их, если случится ему побывать на Высоковской запани. Ушли Копытин и

Дарья, довольные своим запоздалым счастьем, а Терентий после рабочего дня остался додумывать пасхальную антирелигиозную пьесу.

«Христос обязательно должен быть навеселе — «под мухой», в холщовом рубище и в штиблетах; соломенная шляпа на голове вместо ореола-венчика. Разумеется, Христос должен говорить божественным языком, как в евангелии», — думал Терентий, работая над дополнительной ролью Христа к присланной пьесе.

## XVIII

Было поставлено шесть репетиций. В селе и во всех окрестных деревнях о комсомольской пасхе, о спектакле в ночь на «светлое» воскресенье знали от мала до велика. Оркестр Ростиславина, не дожидаясь колокольного звона, разместившись на крыльце Народного дома за час до спектакля, грянул «Марсельезу». Публика поторопилась занять места.

Вечер начался вступительным словом учителя Ивана Алексеевича. Слово было простое, толковое и живое, местами даже в стихах:

Пускай попы нас проклинаят,  
Но люди есть — нас понимают  
И вместо церкви к нам идут!..  
Наука путь нам всем укажет,  
На свете нет святых чудес.  
И только поп, да глупый скажут,  
Что в эту ночь Христос воскрес...

Зал народного дома смог вместить только шестьсот человек. Многие, цепляясь за подоконники, смотрели спектакль с улицы через открытые окна и запасные двери. Заведующий Народным домом, прижатый у входа, не видел ничего происходящего на сцене, злился и покрикивал:

— Граждане, не прите, я не отвечаю, пол не выдержит!..

— Наплевать, не вверх и полетим! — слышалось в ответ.

На сцене действующие лица представляли скопище фанатиков, поджидавших пришествие Христа. И вдруг Тоня Девяткова, в роли богомольной старушки, про-

сияла и заверещала исступлённым голосом, показывая на публику:

— Братия и сёстры! Конец приближается, покайтесь, нечестивые. Сам Христос грядет к нам!..

Из-под галёрки, искусно загримированный под Христа, проталкиваясь локтями, приближался к сцене Терентий Чеботарёв. На ходу он божественно не своим, изменённым голосом гнусавил:

— Аз есмь бывший бог, да не будет вовеки веков ни лукавых чертей, ни праведных богов. Аще бо вяще ни весте ни дня ни ночи, егда же я появлюся и все святые-бездельники приплетохом позади мене!..

Публика захлопала, загоготала:

— Ха-ха-ха! Один или с Магдалиной?..

— Магдалину послал в лес по малину, — отвечал не по пьесе Христос участливой публике.

Едва успел Чеботарёв подняться на сцену, где его смиренно ожидали «действующие лица», как следом за ним из-под галёрки вынырнуло семь ангелов. Они были в белых платьях, у каждого за спиной приделаны настоящие лебединые крылья, взятые напрокат у местного охотника Никиты Субботина. Восторг публики, неизбалованной спектаклями, был необычайный... Никита за свою добрую услугу сидел в первом ряду и, подталкивая Мишу Доброрадова, хвастал:

— Мои крылышки-то, мои, батенька; на этой неделе семь лебёдушек нарочно настролял в Исадах около озера.

«Ангелы» обступили «Христа» и запели:

Что нам поп, что раввин,  
Церковь, синагога!  
В силу множества причин  
Мы не верим в бога..

В двух церквях не было столько людей, сколько собралось их в народоме и около. И пока попы служили вечерню, заутреню и обедню, комсомольцы успели спектакль повторить для тех зрителей, которые не могли попасть на первую постановку. Потом под разудалую игру ростиславинского оркестра начались танцы.

Терентий и Алёшка танцевать не умели и не учились, потому что считали танцульки пережитком прошлого,

мещанской забавой. Но всё же оба остались на танцах и, сидя в углу, наблюдали за танцующими.

Пилатов послал в уком партии телеграмму: «Успех комсомольской пасхи превзошёл наши ожидания, собралось из деревень около двух тысяч человек. Спектакль ставился дважды подряд. Подробный отчёт почтой».

В этот вечер Чеботарёву приглянулась ученица старшего класса, неплохо игравшая на сцене Тоня Девяткова. Она танцевала с Белоруссовым и при каждом удобном случае бросала на Терентия умильный взгляд, а однажды даже, сложив губки бантиком, ухитрилась намекнуть ему о поцелуе. Терентий застенчиво отвернулся и сказал Суворову:

— Это она тебе рожицы строит...

— Нет, тебе, — ответил тот.

— Ни-ни, я с девушками связываться боюсь.

— А всё-таки ты её проводи сегодня домой.

— Нет, ты проводи.

— Я Понарьину Анютку провожу, у меня, кажется, начинается с ней... любовь.

— У тебя?!

— Да, у меня.

— Господи-владыко! Весна даже на такого тихоню действует.

— В тихих водах живут черти в омутах. Во всяком случае я посмелей тебя.

— Не хвалюсь, а сдаюсь!.. — заключил Терентий.

Подошла Девяткова. Плотная, круглолицая, чернобровая девушка, одетая в приличное коричневое с кружевами платье. Высокие башмаки аккуратно зашнурованы. На лице ни пудры, ни помады, что Терентию казалось признаком хорошего комсомольского тона, две длинных чёрных косы спадали до узкого лакированного пояса.

— О чём спор, друзья? — спросила вежливо Девяткова. — Потеснитесь немножечко, — и села посредине.

— Да вот Терёша хотел бы одну девушку с вечера проводить и не смеет спросить её об этом, — сказал Суворов.

— Бросьте за грамотных расписываться, — возразила Тоня Девяткова. — Товарищ Чеботарёв достаточно смел и не для таких дел. Кого бы вы это, Терентий Иванович, хотели проводить? Или это секрет?

— Большой секрет...

— Жаль, что я не могу рассчитывать на ваше внимание.

— А почему жаль? А почему не можете?

— Ну, тут вы меня совсем с места вытеснили, — сказал Суворов и пошёл разыскивать свою Анютку в толпе шумной и радостной молодёжи...

Терентий провожал Девяткову. Молодёжь с песнями гуляла по сельским улицам. Расходились трубачи, сверкая на рассвете начищенными медными трубами. На широко разлившуюся Кубину спустился густой туман. В тумане скрипели в уключинах вёсла незримых лодок и карбасов. Где-то у лесопилок перекликались свистками два буксирных парохода. Терентий дошёл с Девятковой до крылечка. Было уже светлое, белёсое, но бессолнечное раннее утро. Молча постояли на крылечке. Терентий у одного косяка, Девяткова — у другого.

Сначала весь разговор был выражен в их глазах и сдержанных улыбках. Тоня тихонько шутливо пропела:

Проводил меня форсяк,  
Привалился на косяк,  
Говорила форсяку —  
Не присохни к косяку!

— Это я-то форсяк? — удивился Терентий и взял Девяткову за обе руки.

Она охотно потянулась к нему.

— Ну, не форсяк, то угловатенький.

— Нет, просто непривычный.

— Пора бы уж...

— Как-то не до того. Работы по горло, книг столько непрочитанных, о девчатах и подумать некогда.

— Работы не приработать, а книг всех не перечитать. Самообразование—самообразованием, но и сердцу надо дать выход на простор. Вы знаете ли, Терёша, что такое любовь?

— Чуть-чуть понимаю, но научный базис не подвести.

— Базисы тут ни к чему. Это высшее чувство! — проговорила Девяткова, закрыв глаза и часто вздыхая.

— А вы его испытывали?

— Нет, только начинаю.

— Ну, и до меня когда-нибудь дойдёт черёд...

После неоднократных крепких рукопожатий они расстались.

Чеботарёв пошёл домой, насвистывая какую-то песенку. Он был доволен устройством комсомольской пасхи; доволен своим активным в ней участием; доволен всеми своими товарищами. И рад был, что нашлось столько отзывчивых, заинтересованных людей, посетивших сегодня Народный дом. Значит лёд тронулся,—старые божьи праздники пора на слом. В хорошем настроении, закоулками, выбирая, где можно пройти поближе и посуше, чтобы не запачкать новые хромовые сапоги, Терентий дошёл до моста, пересекавшего речку Петровку, впадавшую в Кубину. По обеим сторонам Петровки теснились бани, сараи, дровяники, амбары, спускаясь к самой воде. Не успел Чеботарёв переступить середину моста, как откуда-то из-за сараев полетели в него камни и поленья. С двух сторон на мост бежало четверо подвыпивших с поднятыми колыями. За ними показалось ещё несколько человек.

— Бей антихриста!..

— Это он, бей, бей!..

— Держи его!

Камни, ругательства, топот чьих-то тяжёлых торопливых ног — всё нахлынуло неожиданно и на секунду перемешалось в сознании Терентия. В кармане у него был перочинный ножик, но этого мало для самообороны. Но, как всегда в таких случаях, быстро пришла на помощь сообразительность; он крикнул:

— Подлецы! Вам за меня придётся отвечать!.. — и, перемахнув через перила моста, нырнул в холодную, мутную Петровку. На волнах слегка покачивалась лишь одна темносиняя кепка.

— Дьявол, утонет ведь?!

— А чорт с ним, пусть тонет!

— Расходись, робя, а то греха не обраться...

И на мосту в тот же миг стало пусто и тихо. Только слышался отдалённый топот убежавших.

Сразу, сгоряча Терентий не почувствовал ни холода воды, ни тяжести намокшей одежды. На нём были туго подтянутая ремешком толстовка и галифе с узкими сапогами.

Когда-то, часто купаясь в речке Лебзовке и в пучках на рыбной ловле, он хорошо обучился плавать, это пригодилось ему сейчас, в критическую минуту. Быстро и размеренно двигая руками и ногами, Терентий плыл по течению, стараясь не показываться на по-

верхности. И даже под водой, не теряя рассудка, он вспомнил предостережения Дарьи Коротышки: «А ведь правду она говорила... Лишь бы не кинулись преследовать. Кажется там подальше, через две баньки слева, на рундуке амбара висели сети, и там же есть багры. Доплыть туда, да взять багор—пусть тогда подойдет...».

Вынырнул, набрал воздуха, поплыл на боку. Поглядел на оставшийся позади мост—никого нет, разбежались. Выбравшись на берег к амбару, он прихватил для безопасности багор и, чувствуя озноб, быстро окольными путями направился к своей квартире. Минут через десять-пятнадцать, раздевшись, Чеботарёв отогревался на горячей печи и, стуча зубами, просил старушку-хозяйку заварить ему крепкий чай.

— И где так угораздило безбожника; у людей пасха, а у моего жильца крещение...

— Из лодки упал, бабушка.

— Да ты юслеп, что ли? Не бережёшь здоровья-то...

— Не говори, бабушка.

Хозяйка подала ему на печку стакан чаю и два крашенных пасхальных яйца.

— На-ко, Терёша, съешь. Нынешни девки поди-ка не больно-то похристосуются и яичек не дадут...

Стакан за стаканом он выпил чаю, сколько было нужно, чтобы согреться. Вспомнил о бумажнике, где были партийный и комсомольский билеты, бережно достал их и положил возле себя на горячее место сохнуть.

## XIX

— Николаша, ты хоть сколько-нибудь меня любишь?

— Да, уж, как могу, — лениво и неопределённо отвечал Копытин своей супруге Дарье.

— Ну, докажи, что ты меня любишь; сходи в село за фершалом. Пусть мне градусником определение даст, лекарство разведёт... Нутро моё что-то жжёт и щиплет, — жаловалась Дарья мужу, действительно переживая какую-то неведомую подкравшуюся к ней болезнь.

Всю свою сорокалетнюю жизнь Дарья не болела ни разу, бегала босиком по холодку, не сторонилась никаких тяжёлых работ ни у себя по хозяйству, ни в чужих людях. А тут подошла хвороба, и Дарья чуть-чуть струхнула: говорят—такая редкая болезнь может неожиданно отправить человека на кладбище. Жизнь нала-

живалась, становилась с каждым днём лучше. Дарье хотелось жить, как никогда.

— А может обойдёшься без фершала? — уныло спросил Николай больную. Ему некогда было возиться с прихворнувшей женой, да и непривычно как-то приглашать медика на дом. Но и больную было жалковато; вдруг да и на самом деле внутренности у Дарьи свихнулись?..

Подумал Копытин, какие у него сегодня дела и заботы на запани, и решил, что ничего особенного не случится, если он день потеряет для Дарьи.

— А может взять у кого-либо лошадку, да свозить тебя в больницу? — спросил он.

— Живой не довести, — возразила Дарья. — Знаю, в буераках всю истрясёт... Нет уж, не ленись, сходи да позови на дом с порошками и каплями...

Жил в эту пору Николай с Дарьей и её сынком в сторожке на берегу сплавной реки верстах в шести от села по соседству с богатой деревней Филисовым. На бойкие ноги, да по такому случаю — ходьбы до больницы и обратно три часа. Но фельдшер очень был занят и мог явиться к больной Дарье только под вечер.

— Ну, что ж, хорошо и под вечер, — согласился Николай Копытин, — повременит Дарья, не умрёт до вечера...

Не дожидаясь фельдшера, Копытин заглянул в чайную Дома крестьянина, выпил там восемь стаканов чайку с кренделями, вытер рукавом рубахи юбилейный пот и заглянул в читальню, где он хотел встретиться с Чеботарёвым. Но Терентия не оказалось — ушёл в Филисово проводить собрание с кустарями роговых изделий.

Тогда Николай тайком от посетителей прихватил в читальне на курево старую газету и, не мешкая, пошёл домой.

Время было летнее. Августовский день в разгаре. От Устья-Кубинского тянулись подводы. На скрипучих телегах везли раскрашенные веялки, плуги и сортировки. По сторонам пыльной дороги в ржаных полях появились первые суслоны. Медовый запах дикого клевера приятно щекотал ноздри. Копытин широко и быстро шагал, держа за петельку поношенный пиджак, закинутый на спину. Иногда Николай останавливался и, прикрывая ладонью глаза от солнца, всматривался в дальние, си-

неющие в летнем мареве лесные просторы и вспоминал те места, где ему приходилось бывать в германскую и гражданскую войны. И, любуясь на окрестности, он думал, что нигде нет краше здешних приозёрных мест.

«Так наверно бывает с каждым, — рассуждал сам с собою Копытин. — Украинцу любя хлебородная степь; помору и в Ледовитом океане хорошо кажется; а нашему брату-вологжанину подай всё — поле, и лес, и речку сплавную, и покосы такие, каких нигде нет...».

По пути догнал он знакомых, шедших за возами, мужиков: двоих из Телицына, одного из Бакрылова. Слово за слово! разговорились.

— Ныне не в пастухах, Николаша?

— Нет, сторожем на сплаве.

— Добро, добро, работка — не бей лежачего.

— Сторож, известное дело: гляди в оба. Днём спи, а ночью с дробовиком по берегу похаживай, да поглядывай, чтоб над плотами и снастями кто не подшутил...

— Женился, поворят?

— Да, нынче весной...

— Ребятишек, поди-ка, наплодишь под старость?

— А либо и нет. Дарья что-то неплодовита стала. И прихворнула малость.

— Поправится. Баба что-те колода: Знаем ведь её. А не боишься, если Вася Росоха из тюрьмы выйдет, да тебе за Дарью голову свернёт?

— Кто кому свернёт. У нас с ней дело полюбовное. В загсе расписано честь честью.

Попутчики поехали своей дорогой, вздымая за собой облако пыли. Копытин свернул по тропке, перемахнул через изгородь и, не оборачиваясь, пошёл напрямик перелесками в Филисово.

— Что там за собрание, надо послушать. До фельдшера успею... — сообразил Николай. За последние два-три года Копытин очень пристрастился к общественной жизни. Надо — не надо, он любил посещать собрания сплавщиков, деревенские сходки, сзываемые приходившими из волости, а иногда и из уезда активистами.

В Филисове он бывал нередко. Здесь много кустарей — роговщиков и кружевниц. Сельский совет, читальня, паровая мельница и кооператив.

В тот августовский день, под вечер, собралось в Филисове человек триста кустарей, работавших всё ещё

по старинке на частных перекупщиков. Собрание проводилось на улице, возле большого крашеного дома, под старыми черёмухами. В президиуме, за длинным столом председательствовал Пилатов — секретарь волостной партийной организации; справа, рядом с ним, уткнувшись в бумаги, сидя на табуретке, писал протокол Терентий; слева от Пилатова, положив перед собой обе руки на стол, восседал, хмурый и мрачный, скупщик роговых изделий Параничев. По тому, что скупщик был «не в духе», а Терентий писал и писал, не разгибаясь, Копытин понял и пожалел о том, что он пришёл не к началу собрания. Опираясь на угол столешницы, о чём-то докладывал инструктор артельсоюза, стародавний приятель Копытина — Афанасий Додонов. Говорил он, понятно, об артельных делах, но Копытин досадовал, когда в его простой, без запинки, речи прорывались чьи-то чужие слова — результаты, экспонаты, экскурсанты, эквиваленты...

Додонов выступал по второму вопросу повестки дня — об отправке на Всесоюзную выставку лучших изделий, сработанных местными роговщиками, и о выделении одного делегата-экскурсанта в Москву на выставку за счёт волостного исполкома.

— Вишь, чорт, какие словечки подпускает! — возмутился Копытин, слушая Афанасия. — Наверно меня приметил, так старается пофорсить языком, дескать я-ста, мы-ста, так и быста!.. Шельмец, наострил язык-то!..

Легонько толкнув в бок соседа, Копытин тихо спросил:

— О чём разговор-то?

— А надо пораньше приходиться. В артельные кустари большинство наших записалось. Тех, кто на сплаве работает, наше дело не касается. Ты тут не имеешь голоса...

— Мне добро и без голоса. Я из любопытства, — виновато признался Николай и отвернулся от грубова того соседа.

А Додонов, — откуда у него взялось такое красноречие! — говорил и говорил без конца. И все слушали внимательно, а Чеботарёв едва успевал записывать.

— Во-первых, граждане, не беда, что в артель пока вступило двести с чем-то мастеров, остальные в скором времени вступят, следуя вашему примеру. Артелью, говорят, города берут; артелью и частников в щель за-

гоните. И впредь такого греха не случится, чтобы на вашем собрании в президиуме скупщик-кулак сидел рядом с представителем власти и партии...

— Я это недомыслие исправлю, — сказал хмурый Параничев. Крякнув, он поднялся с места и вышел из-за стола.

Вслед ему голоса:

— Да сиди, места не просидишь...

— Мы тебя выбирали... сиди!..

— Да ладно, без богачей обойдёмся! Пусть катится.

Пилатов постучал кулаком по столешнице.

— Собрание продолжается. Тихо, граждане!..

И снова в тишине, под жужжание пчёл, летавших за изгородью над грядками огурцов, послышалась, на зависть Копытину, плавная и вразумительная речь бывшего зимогора Афоньки Додона:

— Что касается отправки экспонатов на выставку, то я, ознакомившись с изделиями некоторых кустарей, рекомендую собрать и направить в Москву на показ всей республике роговые вешалки и подсвечники работы Василия Чакина, письменный художественный прибор, состоящий из трёхсот частей, работы Михаила Кочнева, лучшие роговые трости и портсигары мастера Молодцова; аптекарские принадлежности выбрать из работ елюнинских и бунарёвских кустарей... Заранее скажу: кое-кто за своё искусство премию отхватит.

Когда стали выбирать делегата-экскурсанта на выставку, было названо три кандидатуры:

— Николая Мещанинова!

— Землемера Кондакова!

— Селькора-избача Чеботарёва!

Стали обсуждать. Первых двух сразу же отверг Пилатов. Вытряхнув из трубки табачную золу под стол на лужайку, он сказал:

— Прежде чем голосовать, хочу внести ясность, — за кого голосовать. Мещанинов — церковный староста, а мы не за свечками и не за иконами посылаем экскурсанта в Москву, а затем, чтобы съездил, посмотрел и рассказал обществу обо всём хорошем, что увидит. Мещанинов не подходит. Землемера Кондакова? Этот всё-таки, как-никак, бывший офицер царской армии и, к слову сказать, нерасторопен в своих делах. Кандидатура селькора-избача наиболее подходяща. Этот товарищ хорошо поставил у нас культпросветработу, пишет в

газеты, изживает недостатки, борется за новую советскую деревню. И если товарищу Чеботарёву придётся в Москве слово сказать, он не осрамит ни себя, ни наше общество. Вот его кандидатуру я очень поддерживаю.

В предчувствии, что изберут именно его, Терентий Чеботарёв не мог спокойно сидеть! В Москву! Как бы это хорошо было! Сердце России. Там Ленин. Туда съезжаются люди со всего света. Побывать в Москве — лучшего желать нечего.. Стали подсчитывать голоса. Терентий, не поднимая глаз, держал наготове ручку с пером, чтобы отметить в протоколе.

— За Мещанинова тринадцать голосов,—сказал Додонов.

— За Кондакова восемнадцать!..

— За Чеботарёва явное большинство! Товарищи, стоит ли подсчитывать? — спросил Пилатов. — Таким образом согласно большинству голосов направляется экскурсантом на Всесоюзную сельскохозяйственную и кустарно-промысловую выставку товарищ Чеботарёв. Командировку и суточные он получит в исполкоме у предвика Вересова. А в протоколе пусть сам и запишет: «Товарищу Чеботарёву по возвращении с выставки провести доклады и беседы с населением всюду, где только встретится надобность. И в первую очередь с организованными в артель кустарями».

— Правильно!

— Принимается...

— Благодарю, граждане, за доверие! — выкрикнул Терентий и сел на скамейку, приятно взволнованный.

Потом говорили ещё о помещении для правления артели, о заготовке рогов, о ценах на выработанные изделия. Собрание кончилось, но расходиться люди не спешили. Даже Николай Копытин, которому никакого дела не было до роговщиков, и тот, позабыв о больной Дарье, задержался, чтобы поговорить с Терентием и Афоней Додоновым.

— Наше вам почтение, прошу ко мне пожаловать, посмотреть, как я живу. До запяни тут рукой подать, верстушки две, — обратился Копытин к Терентию и Афанасию.

— Я непрочь сходить, — сказал Додонов, — только немного задержусь, потолкую с председателем артели и тогда пойдём.

— Твои гости! — согласился Терентий. — Чем угощать будешь?..

— Самогонки, конечно, нету, а рыбы наварю хоть ведро. Чай-сахар, всё есть.

О том, что он ходил за фельдшером для прихворнувшей Дарьи, Копытин умолчал. «Подумаешь, стоит ли о таком пустяке заикаться. Может быть ей полегчало, разве такую колоду болезнь свернёт?..». Успокоив себя, Николай остался ждать своих старых дружков-приятелей...

Между тем Дарьиная болезнь не на шутку требовала медицинского вмешательства, и хорошо, что фельдшер не замедлил прийти.

Дарья лежала на соломенной постели под холщёвой постилкой, стонала и хваталась руками за больной живот.

— На что жалуешься? — спросил фельдшер, садясь на табуретку возле больной Дарьи и подсовывая ей термометр. Дарья перестала стонать, доверчиво посмотрела на лекаря и, преодолевая боль и охватившую её слабость, проговорила:

— Я-то? В жизни ни на кого не жаловалась.

— Я о болезни спрашиваю.

— О болезни? Тогда, брюхо вот сутки ноет, и всё тело будто разваливается, и пот, и озноб, и судорога в ногах...

— Плохо дело. Плохо.

У Дарьи показались на глазах слёзы.

— Умру?

— Когда-нибудь. А сейчас не позволю, — уверенно сказал фельдшер. Походил по полу взад-вперёд. Посмотрел на часы, затем достал из-под Дарьиной окутки термометр, покачал головой.

— Тридцать восемь и семь десятых!.. Это много. Так, так, голубушка. С чего же ты почувствовала боль?

— Да вот так, ни с того ни с этого...

— Чего кушала до болезни?

— Хлеб ела, чай пила, ещё обабки, подосиноватики варёные ела.

— Ах, вот оно что! Явное отравление грибами, — быстро сообразил фельдшер. — Хорошо, что послала муженька за мной, а то бывают и смертельные случаи. С этим не шутят.

Фельдшер порылся в парусиновой сумке. Достал две склянки. Из одной налил себе спирту, в другой развёл обстоятельную дозу английской соли для больной. Выпили. Фельдшер закусил хлебной коркой, лицо его ярко зарумянилось. Дарья подумала: «Подика самое-то здоровое лекарство в себя вылил...». Подумала, но не сказала, чтобы не обидеть человека.

— Ну, вот. Теперь полегчает тебе, как положено быть. Сутки ничего не ешь. Нужно ещё кое-какое лекарство, но у нас в больнице этого лекарства нет. Я тебе выпишу рецепт, а за лекарством придётся тебе сгонять своего супруга в Кадников в уездную больницу.

— Он хоть на край света для меня сходит за живой водой. Пиши, доктор, пиши...

Ни у Дарьи в сторожке на отшибе от людского жилья, ни у фельдшера в его сумке не нашлось даже маленького клочка бумажки для рецепта. Но выпитый стакан спирта, видимо, способствовал находчивости бывалого лекаря. Красным цветным карандашом, неразборчивой латынью, он написал рецепт... на дверях и сказал:

— Вот, гражданка Копытина, тут всё ясно: какое лекарство и сколько ложек в день через каждые четыре часа. Пусть этот рецепт твой муж попросит кого-нибудь переписать на бумажку, а с бумажкой той сам сбегает в уезд. Мне некогда тут прохлаждаться. Счастливо здороветь... Да впредь, чтобы самой не болеть и меня не тревожить, грибы, прежде чем варить, надобно хорошенько кипятить, иначе в плохо проваренных грибах сохраняются смертельные микробы...

— Ну их к чорту, отроду больше в рот поганных не возьму. Спасибо, доктор, за добрый совет, спасибо.

Успокоенная Дарья повернулась на бок, а фельдшер тихо вышел, осторожно закрыв за собой дверь с написанным на ней рецептом и витиеватым росчерком собственной фамилии — Пепелов...

В сумерки, когда пришли Николай Копытин и его гости Чеботарёв и Додонов, Дарья куда-то бегала, проклинала обабки с микробами и снова совалась в постель. Не слушая, о чём говорит муж с приятелями, и веревивая их разговор, она верещала:

— Беда-то какая, беда-то какая! Доктор намерял во мне более ста градусов жару: семь, говорит, десятков, да

ещё тридцать восемь прибавил. Умерла бы, если бы не он. А ты, проклятуший, ушёл, будто в воду канул... Ой, ой, все кишочки выворотит... Окаянный муженёк, вот как ты обо мне пекёшься. Доктор пришёл, а тебя хоть с собаками ищи...

— Не во-время, Николаша, пригласил ты нас. Что же не сказал о несчастье с женой?..—заметил Додонов, бегло осматривая жилище супругов Копытиных, хотя осматривать особенно было нечего: стол, пустые лавки, шкафчик с посудой, с самоваром, под полатами одежонка. Отсутствие икон в углу показывало, что Копытин и его супруга в бога не верят.

— Не велико несчастье, отлежится,—махнул рукой Копытин в сторону больной жены и ухватился за самовар.

— Вам чаю, или уху сварить?

— Ни того, ни другого. Мы сыты. О Дарье вот побеспокойся, — посоветовал Терентий. — Фельдшер-то что сказал?

— А вот читайте, на дверях записку оставил... бумага ему под руку не подвернулась... — со стоном проговорила Дарья.

Афанасий и Терентий сдержанно улыбнулись. Хотели разобрать написанное на дверях, но не поняли ничего. Дарья пояснила:

— Тут про болезнь и какое мне средство надобно— всё прописано. Велел он на бумажку переписать и сходить в Кадниково за лекарством...

— Ну и бюрократ! Ужели у него клочка бумажки не нашлось? Да кто же может переписать, кто же может его почерк и подпись с двери на бумагу перенести?—возмущался Афанасий, а Терентий даже попытался что-то скопировать себе в записную книжку, но ничего путного не получилось.

— Не иначе—выпивши был,—догадался он, почуяв в избе запах спирта.—Не волнуйся, Дарья, я его, мерзавца, завтра ранёшенько сюда направлю. Пусть по-настоящему, без издевательства даст рецепт, что и как, а то я его в газете пропесочу. Не возрадуется... Ну и мерзавец!..

Время было позднее. День незаметно кончался. Стустились потёмки. Чеботарёв с Додоновым не засиделись. Чтобы не идти пешими обратно в село, они вышли на Кубину к запани и порядили лодочника. На

денежных бумажках шести- и семизначные цифры, но едва ли, что можно было купить в ту пору на эти отжившие «миллионы» — наследие тяжёлых лет войны, разрухи и военного коммунизма. Но лодочник, охочий и до таких денег, согласился доставить двух товарищей в село, не отказав себе, однако, проворчать по их адресу:

— Нынче всякий хрен с редикuleм ходит!.. — Такое нелестное замечание вызвалось тем, что у Терентия и Афони были при себе брезентовые с жестяными застёжками портфели.

Пока по течению спокойной реки, скрипя уключинами, скользила лёгкая лодка, гораздый песельник Афоня Додонов, сидя за рулевым веслом, напевал песни одну за другой.

— Молодец! Не разучился, чортушка, — хвалил его Терентий, вспоминая, как бывало Афанасий у Михайлы сапожничал и многих потешал своим приятным, красивым голосом и необыкновенными песнями.

Как из речки-реки Сухоны,  
В пору давнюю, старопрежнюю,  
Выходили струги быстрые,  
Белопарусные, да снаряженные.  
Будто лебеди полнопрудые,  
Плыли струги те вдоль по озеру  
Вдоль по славному, да по Кубинскому.  
На переднем стружке, на беседочке,  
Сидел царь-государь Пётр Лексеевич;  
Позади его Саша Меншиков,  
Разудалая-буйная головушка...

— Ах, разбери-бери малина! — восторгался лодочник, — голос-то, голос-то какой!.. Да я вас всю ночь, давайте, буду катать по Кубине и милиёны берите обратно, только за песни!.. Вот уважил!.. Вот уважил!.. — Лодочник не спеша пошевеливал вёслами, чтобы продлить поездку себе в удовольствие.

Хмурый лес в вечерней тишине не только слушал Додоновы песни, но подхватывал их и звонким эхом разносил над речным понизовьем. Медленно двигалась лодка; песня лилась длинная, бесконечная. Иногда, в упоении, Афанасий закрывал глаза и, не иначе, уносился с песней в далёкое прошлое здешних мест.

Ой, да показалось Петру свет-Лексеичу  
Наше озеро мелкой лужицей.  
И на тех стружках на снаряженных,  
Со слугами своими, со дружиною,  
Покатил государь к морю Белому  
Корабли снастить океанские...

Терентий слушал и никак не мог догадаться, откуда у Афони берутся такие былинные слова. А когда песня была допета, Афанасий пригоршнями напился воды, сказал:

— В детстве от дедушки слышал. До сей поры не могу забыть... А ты, Терёша, не споёшь? Счастливым день у тебя сегодня, в Москву поедешь. Не шутка!..

— Из головы не выходит. Ни разу не бывал, а уже представляю, как я попаду в столицу и буду выпрашивать каждого встречного и поперечного, как пройти туда-то, как выйти оттуда-то.

Лодочник сильнее стал нажимать на вёсла. Лодка пошла быстрее. Позади за Высоковской запанью показалась полная луна. На реке стало светлей. За прибрежными деревьями, за болотным сосняком, в лунной ночи, сверкнув белизной, показались бывшие купеческие дома и доживающие свой век церкви.

Терентий и Афанасий высадились на берег и, невзирая на поздний час, пошли искать квартиру фельдшера Пепелова. Нашли и бесцеремонно подняли его с постели.

... Но если бы в этот поздний час они были у Николая Копытина, то услышали бы такой житейский разговор простоватых, как сама жизнь, супругов:

— Коля, Николаша, ты меня хоть сколечко-нибудь любишь?

— Как могу, Дарьюшка.

— А ты не хочешь, Николаша, чтоб я умерла в цвете лет?

— К чему этот пустой разговор? — ворчливо отвечал Копытин, не размыкая усталых сонных глаз. Он только что сделал ночной обход запани и пришёл домой вздремнуть полусидя, полулёжа на лавке.

— А мне, Николаша, хуже и хуже. Мутит и мутит. Кишки опустели, урчит, боюсь, как бы они там не спутались в узлы... А как же, Николаша, в Кадников-то? Докажи, что я тебе нужна, добеги...

— Легко сказать «добеги» восемнадцать вёрст, а рецепта где? На себе дверь понесу я, что ли?

— Почему бы и не так?! Изверг ты мой, подумаешь, тяжесть, — и вся-то дверь с пуд...

— Ты хочешь, чтоб весь мир меня на смех поднял?

— Какой смех! Кто-то ночью или спозаранку тебя увидит? А увидят — не поймут. Умный никто не догадается, дурак не спросит, будто так и надо.

— Ладню, спи, авось пронесёт, отлежишься.

Копытин повернулся на другой бок и захрапел. Проснувшись, снова услышал стон Дарьи. Начинался рассвет. С другого берега Кубины, из деревни Канское, доносилась петушиная переключка. Копытин долго молча прислушивался — не перестанет ли стонать Дарья, избави бог не притворяется ли она, не напускает ли на себя видимость женской болезни? Нет, Дарья стонала и стонала, не унимаясь. Тогда, жалеючи её, Николай спросил:

— А тебе очень тяжело?

— Поди-ка притворяюсь. Наклонись, да послушай, что в утробе у меня деется, — со стоном еле вымолвила Дарья.

— Я тебе не лекарь... Чего я понимаю?

— А муж. А раз муж, так дорожи своей женой. Ну, Николаша, умру если, себя вини. Не захотел в уезд сходить... Не надо было тебе жениться, ежели я для тебя пустое место.

— Да ты дурака-то не валяй. Терентий обещал этого Пепелова завтра прислать и пришлёт, он такой...

— Завтра, завтра, а мне может и житья осталось до завтра, тут как?.. Не жаль тебе меня, не жаль. Мучитель несчастный. И нисколько ты не лучше Васи Росохи, бесчувственный. Попрежнему бабу за человека ты не считаешь... Это разве муж?..

После многих убедительных Дарьиных слов Николай начал сдаваться. Отворил настежь дверь, приподнял за скобу. Дверь, скрипнув, соскочила с петель и показалась Копытину лёгкой-прелёгкой. Предчувствуя доброту мужа, Дарья привстала на постели и посоветовала:

— Николаша, перехвати её поперёк кушачком, да через плечо, смотри, буковки не сотри. Да расскажи там главному доктору, что бумажка под руку фельд-

шеру не подвернулась. А и посмеются—не беда... Здоровье всему голова. Хороший ты мой, послушной... Закрой меня шубёнкой потеплей, да ступай в час добрый...

Копытин, крикнув, взвалил дверь на плечо и вышел из избы... И не успели под тяжестью ноши выступить первые капли пота на его морщинистом, загорелом лице, как он услышал позади себя голос запыхавшегося Пепелова:

— Копытин! Ты ошалел?! Стой!.. Стой!.. Мало того, что на меня пожаловался избачу, так ещё и дверь на себе потащил? Да ты что?.. Одурел?..

— Это ещё неизвестно, кто одурел. Не меня, а тебя бы под орех разделали за такой рецепт.

Николай скинул с плеча дверь и, усевшись на неё, закурил. Рядом с ним присел и Пепелов.

— Ну и ну,—покачал головой фельдшер,—хорошо ещё Чеботарёв разбудил меня и послал. Представляю себе, что было бы в Кадникове, наверно, у главного врача глаза бы на лоб вылезли от удивления, а из меня анекдот бы сделали. Давай-ка, тащи дверь обратно, да навешивай её на петли, а рецепт твоей бабе у меня заготовлен, вот он—пожалуйста...

## XXI

С деньгами было нетрудно запутаться. Перед отъездом в Москву на выставку Терентий получил в исполкоме командировочное удостоверение и шесть тысяч рублей денег образца 1923 года. Каждый рубль равнялся одному миллиону рублей денежных знаков, изъятых из обращения год назад. Предвика Вересов, подавая деньги, подсчитанные по старому курсу, так и сказал:

— Вот тебе, товарищ Чеботарёв, на расходишки шесть миллиардов, да лучше будет, если ты их попутно в Вологде обменишь на червонцы. За шесть миллиардов ты получишь около двадцати рублей новыми устойчивыми деньгами. Иначе твои миллиарды в недельный срок иссякнут, как дым, и никуда они тебе не пригодятся...

Подсказ предвика Вересова, как потом оказалось, был очень кстати.

Пароход «Достоевский» отчалил от Усть-Кубинской пристани в сумерки. Ночь до Вологды Терентий провёл на палубе, переполненной пассажирами. Нашлись

знакомые, и разговоров хватило до самого утра. На том пароходе, внизу на корме, в окружении ящиков, бочек и канатов стояла чернопёстрая корова. Тут же на узлах, под лоскутным одеялом вместе с ребятами своими Колькой и Алёшкой теснилась Лариса Митина. Увидев Чеботарёва на палубе, она обрадованно спросила:

— Вот не знала, что такой попутчик будет. Куда это, Терентий Иванович?

— В Москву! — не без гордости ответил Чеботарёв, — а ты?

— Я на бумажную фабрику «Сокол». Совсем. С коровой и ребятами. Окна, двери в избе досками захлестала. Поехала счастья пытаться, пока мои годы не ушли. Да ты с палубы-то спустись к нам, зачем там на ветру стоять.

Внизу возле уныло стоявшей коровы, под шум паровых колёс, словоохотливая Лариса говорила без умолку:

— Сначала я ребят устроила, а потом и мне дело нашлось, и жильё готовое, и для коровы место. Заживём! И откуда я смелости набралась, сама не знаю... Хорошо тебе, Терентий Иванович, ты вот в Москву едешь. Покойный наш сосед Алексей Турка, бывало, туда на съезд комбедов ездил. Ленина видел. Может и ты Ленина повстречаешь? Если посчастливит. Так бы и съездила в Москву...

Лариса закрыла одеялом уснувших сыновей, собрала пучки травы из-под ног коровы в одну кучу и, упрочившись на порожнем ящике, снова заговорила:

— Однажды в жизни, в молодости, и я в Вологде побывала. Ездила вот так на пароходе. И захотелось мне там в цирк попасть, а нет денег на билет. Ну, а я смолоду отчаянная девка была. Обошла вокруг этого цирка и нигде лазейки подходящей не нашла. Зато на моё счастье крыша на цирке была парусиновая. Вот вечером я на неё и вскарабкалась. Публика заняла свои места, хлопает ладонями, а я лежу тихонько на самом куполе, парусину туловом огнетаю да гвоздём дырку проковыриваю пошире, чтобы виднее было. Меня никто не видит, а я всё-всё вижу. Вот наездница голая на одной ноге на хребте у лошади стоит и скачет по кругу во весь дух! Только она отъездилась, две

пары вороных, как смоль, танцевать пошли. И таково складно, и никто ими не повозничает, а сами под музыку. А музыка так и грохочет, так и грохочет! Потом гляжу, который над лошадьми старшой, разложил цифры, на дощечках написанные, да щёлкнул кнутом, выскочила лошадь ростом некрупная, а сбруя блестит, как риза на попе. Пробежала лошадка по кругу два-три раза, подошла к своему хозяину, что с кнутом, и слушает, что тот ей скажет. А он ей и говорит во весь голос:

«Ну-ка, подай мне цифру два!».

Лошадка пробежала по кругу, понюхала цифры на дощечках, хватъ зубами доску со вторым номером и к нему. Потом он её просит подать цифру три, потом четыре, она ему без ошибочки подносит. Потом хозяин этот спрашивает её: два да три да четыре сколько будет? Лошадка вильнула хвостом, подбежала к цифрам, выбрала девятку и тащит к нему в зубах! «Пожалуйста!..» И хорошо бы уж, с лошади по арифметике и нельзя больше спрашивать. Так нет, этот человек не унимается, даёт ей задачу четырежды два. Она решает. От десяти отнять шесть, она опять решает... Вдруг в потёмках, на парусиновой крыше кто-то сильно берёт меня за ногу, тащит вниз и говорит неласково: «А ты как сюда залезла, красавица?! До самых музыкантов крышу промяла!». И бьёт меня по спине. Оказывается, управляющий в красном кафтане с золочёными пуговицами. Ну, самое-то главное я всё же успела увидеть. Приезжаю в деревню, домой, рассказываю людям про умных лошадей, про лихую наездницу, — не верят! «Ты,—говорят,—ещё про конька-горбунка расскажи, тот и человеческим голссом говорил!..» Мало ли что в сказке бывает, а это,—говорю,—я видела своими глазами. И за это видение мне ещё по хребту попало...».

Лариса помолчала, поправила на голове помятый ситцевый платок и, облокотясь на железный обнос, посмотрела на извороте в сторону Сухонских фабрик. Вечернюю мглу прорезало мерцание тысяч огней.

— Люблю, когда глазу весело, — подумав, глубоко-мысленно сказала Лариса. — Прожила в деревне, как в яме, ничего не видела хорошего. А тут, глянь, Терентий, сколько свету! Ночью под ногами иглу найдёшь...

Ребята! Довольно дрыхнуть. Печаткино проедем, под железный мост проскочим — тут и Сокол, — нам вылезать.

Растолкав обоих сыновей, Лариса снова обратилась к Терентию:

— Думаю, и ты в селе недолго послужишь. Переедешь куда-либо в город.

— Пока послужу, а там надобно будет и об учёбе подумать.

— Тебе учение впрок. А я своих ребят заставлю работать. Алёшку шофёром сделаю, Кольку в сапожную мастерскую отдам. Не всем же с бумагами ходить да разговоры говорить. Ведь кому что от роду дано: но будь ты хоть кочегар, хоть комиссар, а работай везде по совести и помни о людях, о народе, он твой друг и хозяин.

— Справедливые слова, Лариса, справедливые, -- с готовностью подтвердил Чеботарёв.

На Сокольскую пристань с кормы по широкой сходне вышли сначала Колька и Алёшка с мешками и узлами на плечах. За ними Лариса повела на верёвочном поводке послушную корову. Терентий стоял на освещенной палубе «Достоевского» и мысленно представлял жизнь Ларисы на новом рабочем пристанище.

— Эта сумеет, не пропадёт. Сама в люди выйдет и ребят выведет...

В туманное утро пароход шёл тихим ходом. Но вот из-за кадниковских лесов вынырнуло солнце, туман быстро рассеялся. Впереди, за кирпичными заводами, за коровинскими ветряками, за селом Турундаевым, показалась древняя Вологда. Зелень садов и бульваров перемешалась с белокаменными и крашеными деревянными домами. И много, очень много высилось отживших свой век старинных церквей. По своему разумению Терентий Чеботарёв не находил, что церкви украшают город, и если бы от него зависело, он устраивал бы комсомольские субботники, и церкви исчезли бы одна за другой, за исключением разве тех, которые нужны Главнауке.

В губернском исполкоме, в просторной бывшей приёмной бывшего губернатора — обилие света. Стены и мебель сияли позолоченной бронзой. Огромный стол под зелёным сукном, вместо ножек у стола точёные из

красного дерева звериные лапы. За столом—черноусый, бледнолицый председатель экскурсионного бюро. Терентий развернул и подал ему свой документ.

— Ага! Товарищ Чеботарёв, — оживлённо проговорил председатель и протянул Терентию руку. — Будем знакомы: Алексей Галкин, сотрудник редакции, так сказать, выпускающий — ночной редактор. Знаю вас по вашим заметкам и стихкам, что присылаете в газету. Правда, вы за последнее время стихи редко пишете и очень правильно делаете. Садитесь. Стихи дело, так сказать, не ваше. Есть тут у нас Панкратов, Субботин, дядя Саша, он же бывший псаломщик, Пугачёв по фамилии. Пишут они стихи более или менее лучше вашего, но, я уверен, поэтов из этих товарищей не выйдет. Умение некоторое есть, а талант и близко не ночевал.. На выставку в Москву пробираетесь? Так-так. Замечательно. Там посмотреть есть чего. Экскурсии все отправлены, придётся ехать одиночкой. Вот вам проездной литер до Москвы и обратно по железной дороге. Напишите свои впечатления для газеты — будут напечатаны. В ваших заметках, знаете, сочный крестьянский язык. Настолько сочный, что редактор на совещаниях ваши заметки ставит в пример сотрудникам редакции. А главное, умеете наблюдать, находить интересные факты. Какие у вас ко мне вопросы?... — Галкин достал светленький портсигар, — курите?

— Спасибо, не обучился.

Щёлкнула крышка портсигара. И, пока Галкин прикуривал от шипевшей вонючей спички, Терентий успел прочесть выгравированные на портсигаре слова: «Будь нежнее цветка и твёрже алмаза».

— Это, извините, ваш девиз?

— Да, ещё до революции подарила портсигар одна знакомая ссыльная женщина, она специально для меня придумала такое изречение. У каждого человека должен быть свой девиз, своя целеустремлённость. Вы не задумывались над этим, товарищ Чеботарёв?

— Нет, — уклончиво ответил Терентий и тут же, немного подумав, сказал: — вот бы какой девиз я себе взял: — «Поменьше казаться, побольше быть...».

— Да, серьёзно и остроумно: поменьше казаться, побольше быть, — повторил Галкин его слова. — Что ж, носите в душе такой девиз и придерживайтесь его.

Меньше болтать, больше делать, я так понимаю сказанное вами.

— В этом смысле. А то у нас, товарищ Галкин, ещё очень часто применимы к некоторым болтунам слова Некрасова: «Много благородных слов, а дел не видно благородных».

— Не всё сразу. Будут и дела. Да ещё какие!

— Иначе и быть не должно, — согласился Терентий.

Вспомнив наказ предвика Вересова о замене денежных знаков, он обратился за советом к председателю экскурсионного бюро.

— Давайте ваши «лимонарды», предложил Галкин и подсчитал с карандашом в руках, сколько надлежит выдать новых денег.—По курсу дня полагается только восемнадцать рублей. Но не пугайтесь, а обменяйте сейчас же. Через три дня и этого не получите. Имейте в виду, восемнадцать червонных рублей — это крупная сумма, вполне достаточная для поездки. Учтите, что во имя смычки рабочих с крестьянами вам там ночлег и кормёжка и баня—всё бесплатно. Деньги же расходуйте по усмотрению, на что хотите... Счастливого пути!..

... Разве можно уснуть в вагоне, когда люди сидят вплотную, да ещё свешиваются перед самым лицом чьи-то ноги. Да и до сна ли, когда поезд идёт всего только полсуток до Москвы, а Терентий едет впервые, и всё, что за окнами вагона мелькает с бешеной скоростью, ему хочется увидеть и запомнить. Вот уже поезд проскочил через волжский мост и обогнул Ярославль. Следы артиллерийского обстрела, следы подавленного контрреволюционного мятежа были ещё свежи на стенах этого города. Днём успели проехать древний Ростов, а потом наступил вечер, и в потемках, к своему великому огорчению, Терентий не мог рассмотреть ни Александрова, ни Загорска славрой, ни множества дачных остановок под Москвой. В двенадцатом часу ночи поезд прибыл в столицу.

«Москва, как много в этом слове!..». «Город чудный, город древний, ты вместил в свои концы...» — вспомнились Терентию слова поэтов, сохранившиеся в его памяти от школьных дней. Несмотря на позднее время, Москва шумела трамваями, гудками, цоканьем лошадиных копыт, извозчичьими окриками и всем многообразным столичным шумом, поражающим каждого приехав-

шего сюда из глухой провинции. Терентий вышел на Каланчовскую площадь и стоял как зачарованный, молчаливо осматриваясь вокруг. «Нет, в сельской местности спокойней, без суеты и спешки течёт размеренная крестьянская жизнь. Тут жить уметь надо, а то сомнут на первых шагах не за спасибо», — подумал Чеботарёв и поправил на себе холщовую котомицу, в которой всего-на-все был десятифунтовый каравай ржаного хлеба. И не зная, куда ему пойти, куда податься, юн почему-то спросил подряд трёх прохожих, где находятся Кремль и колокольня Ивана Великого. Двое ему ничего не могли ответить, а третий, махнув рукой куда-то в сторону, сказал:

— Отсюда не видно, товарищ пошехонец...

— Ужели я похож на анекдотичного пошехонца? — обиженно спросил Терентий прохожего, но тот уже не слышал, торопливо шагая среди встречных и попутных.

— Ну, уж если не хотят сказать, где Иван Великий, то про выставку в ночное время лучше никого и не спрашивать, — придётся ночевать на вокзале.

Ещё раз огляделся Терентий и повернул к вокзалу.

«Справочное бюро Выставкома» — прочёл он освещённую электричеством вывеску на деревянной будке. Около неё — небольшая группа ожидающих.

— Ага, вот уже здесь-то мне скажут! — обрадовался Чеботарёв и, когда дошла до него очередь, вежливо спросил:

— Товарищ, скажи, пожалуйста, где тут ночевать командированному на выставку?

— Ваш мандат?

Терентий показал своё удостоверение. Из будки слышалось:

— Подождите здесь несколько минут, подойдёт ещё человек пять; мы вызовем машину, и вас отвезут в общежитие.

— Благодарю.

— Мать честная, какой почёт нашему брату-мужику... На машину! Вот это смычка! — услышал Чеботарёв чей-то грубоватый голос за своей спиной. — Отроду на автомобилях не ездывал. Будем ждать, чем пешком бродить...

В бывшем особняке Прохорова, владельца Краснопресненской Трёхгорной мануфактуры, собирались кре-

стьяне-экскурсанты на Всесоюзную выставку. Когда их отвели в столовую и сказали: «Кушайте, товарищи гости, на выбор, чего хотите и сколько вам заблагорассудится», Терентий удивился:

— Как же так? Или они думают, что у нас много денег?

— Чудак, да ведь это всё бесплатно, — подсказал Терентию валуйский крестьянин. — Мы тут уже вторую неделю харчимся.

И тогда Терентий съел столько пышных и сдобных булок с маслом и выпил столько чаю с малиновым вареньем, что еле поднялся в третий этаж общежития. Там уборщица указала ему койку. Под новым одеялом — две простыни белее снега. Рыхлая пуховая подушка с белоснежной наволочкой. Терентий нерешительно приподнял одеяло и... не разуваясь лёг на пол.

В эту ночь он спал дольше и крепче всех. Соседи по общежитию успели умыться, позавтракать, а он себе спал спокойно. И напрасно уборщица, приводя в порядок помещение, осторожно ходила вокруг него, стараясь не разбудить застенчивого деревенского парня. Он лежал как убитый и проснулся около полудня. Долго протирали глаза Терентий, не соображая, где он находится. В общежитии никого уже не было. В раскрытые громадные окна вливался свет сентябрьского солнца. Из огромных корпусов Трёхгорной фабрики доносился глухой шум машин.

«Вот не заказал, чтобы разбудили, проспал, чорт меня побори-то».

Гремя подкованными каблуками прочных яловых сапог, Чеботарёв поднялся.

Выкупавшись в ванне и вкусно позавтракав, Терентий получил в канцелярии пропуск на выставку и для бесплатного проезда — трамвайный билет на целых десять дней. Затем через Кудринскую площадь и Крымский мост он переехал к Нескучному саду. Здесь до революции была городская свалка, а в 1923 году, по указанию Владимира Ильича, расчистили местность для открытия Всесоюзной выставки. Деревня со своими экспонатами занимала в Нескучном саду главное место.

В непрерывном людском потоке затерялся Терентий Чеботарёв. Глаза его разбегались, не в состоянии сразу надолго на чём-либо определённом сосредоточиться.

Проталкиваясь в толпе, приставая то к одной, то к другой группе экскурсантов, он бегал до позднего вечера по всем павильонам. В отделе животноводства его внимание привлекли орловские рысаки, воронежские тяжеловозы-битюги, тучные холмогорские и ярославские коровы. Терентий ходил возле откормленного до блеска гладкого породистого скота, записывал в тетрадку сведения об удожности коров, о скорости пробега рысаков, о весе свиноматок и какой тяжести воз зимой и летом может везти по нормальной дороге словно из бронзы вылитый совхозный битюг. Действие тракторов, пахавших в стороне от павильонов на чернужёмной площадке, произвело на него незабываемое впечатление. Но досадным казалось то, что эти тракторы были привезены из-за границы.

Руководитель группы приезжих крестьян говорил им, что недалеко то время, когда будут у нас свои тракторные заводы и свои тракторы. Будут, ибо это предусматривается ленинским планом кооперации.

Девять суток прожил Терентий в Москве, многое видел, многое слышал — есть о чём рассказать деревенскому люду. Но, кроме всего виденного и слышанного, неизгладимо врезались в память Чеботарёва два противоположных факта.

Однажды вечером, сидя в мягком кресле, в бывшем особняке капиталиста Прохорова, Терентий читал газету «Беднота». Двое других экскурсантов неумело тренькали на рояли, мешая ему читать. У входа, за бархатной портьерой, сдержанным шопотом разговаривали уборщицы с комендантом здания:

— Товарищ комендант, сегодня звенигородские экскурсанты прихватили с собой семь простынь и десяток полотенец...

Терентий отложил «Бедноту» и невольно прислушался к их разговору.

— Как быть, товарищ комендант, осматривать у них мешки и кашавки всё-таки неудобно? Гости, смычка...

Комендант, молодой рабочий с бледным лицом, хмуро посмотрел по сторонам и сказал тихо:

— Я это знаю. Слышал. Но предупреждаю вас: ни единого намёка о пропаже. Из-за двух-трёх несознательных мужиков нельзя же подозревать и обижать порядочных людей. Вы лучше помолчите об этом...

Терентия Чеботарёва этот разговор заставил глубоко задуматься. И было о чём.

Много хорошего, показательного видел Терентий на выставке. Особенно приятно поразила его образцово оборудованная новая, советская деревня с хорошо обставленными квартирами и дворами, с телефонами и электричеством.

«Пройдут годы, десяток, два, — думал Терентий, — и тогда ни черта не останется от старой, как баба-яга, деревни. Тракторов бы побольше. Они перепашут не только межи, перепашут мужицкую душу. Машина всколыхнёт деревню. Машина и грамотность вытряхнут из мужика привычку — тащить всё, что попало ему под руку, и прятать в собственную кашавку».

Терентий вспоминал рассказы крестьян, участвовавших в двух революциях в Петрограде, о том, как среди них находились из далёких северных углов такие «бунтари», которые срезали с роскошной мебели бархат и кожу в царских покоях Зимнего дворца. Но эти поступки ещё можно было оправдать тем, что у крестьян, одетых в серые солдатские шинели, вековая злоба бурлила против тунеядцев, а культура их в лучшем случае была ограничена знаниями из церковноприходской школы, где учили молиться богу и повиноваться царю.

«Эх, деревня-деревня, — тяжело вздыхал возмущённый Терентий.— Семь простынь, десять полотенец!.. Чорт поberi! Нельзя же в наше советское время жить так, как жили при царе и капитале, когда считалось удобным схватить человека за горло, задушить его, а потом этой же рукой вымалить прощение у господ бога...».

На иной лад настроил Терентия Чеботарёва другой факт. Краснопресненский райком партии проводил общее собрание рабочих Трёхгорной мануфактуры. Собралось их около трёх тысяч. Делал доклад директор фабрики. Он говорил, что фабрика скоро в выпуске продукции достигнет довоенного уровня.

— Наш рабочий не идёт теперь на базар с зажитками или с отрезом ситца. Рабочий — хозяин предприятия, хозяин своей страны, он всё сможет, если захочет взяться за дело... — Директор часто пил воду из стакана и старался перекричать все возгласы и возражения. В президиум сыпались записки.

— Ты скажи, почему зарплата низка? Почему квартиры не ремонтируют? — кричали одни.

— Каково здоровье Ленина? Где сейчас Владимир Ильич? — спрашивали другие.

Терентий сидел с экскурсантами в переднем ряду и, слушая гомон необычайно большого собрания, говорил соседу:

— Порядок! Тоже орут, как на деревенской сходке.

Сосед, кивнув, заметил:

— У нас куда тише бывает..

А директор всё громче гремел:

— Товарищи рабочие, наша революция победила. Мы развёртываем мирное строительство. На Западе идут бои рабочего класса против буржуазии. В отдельных городах Германии созданы советы. Но предатели из Второго Интернационала, буржуазные лакеи — социал-демократы, хотят утопить в крови рабочее движение. Нами, советскими рабочими, должна быть оказана помощь германскому пролетариату..

— У меня шестеро детей, а ты мне — о помощи немцам, — недовольно проговорила женщина, сидевшая позади Терентия. — Вы сначала о нас подумайте..

Рабочие вскакивали на скамейки, на табуреты, выкриками прерывали речь докладчика. Наконец доклад кое-как был доведён до конца.

Директор сел за стол президиума и, обтирая с лица обильный пот, сказал:

— Шумят черти. Говорить мешают. Придётся ещё раз по цехам обсудить..

На этом собрании, в президиуме, скромно сидел бритоголовый человек в холщовой толстовке, в очках и перелистывал записки, поступившие от рабочих. Он наклонился к председателю собрания. Тот не замедлил подняться и объявить громогласно, что слово имеет представитель Центрального Комитета коммунистической партии. И назвал его фамилию. Рабочие шумно рукоплескали. А когда рукоплескания улеглись, представитель Центрального Комитета начал речь:

— Внимание, товарищи! Здесь вот больше трёхсот записок, а вопросов — почти один только вопрос: каково здоровье Владимира Ильича, каково здоровье нашего любимого вождя?! Прежде чем ответить на этот вопрос, скажу вам: если бы Владимир Ильич

спросил меня, каково здоровье рабочих на бывшей «прохоровке»? — я бы ему ответил так: безусловно, рабочие поздоровели за эти годы, не голодают, как это было не очень давно, не бездельничают, не тянутся на Сухаревку. Хорошо работают, будут работать ещё лучше и жить станут ещё лучше, ибо рабочий класс у нас—сам хозяин своей жизни... Ильич, вероятно, мне бы сказал: «Хорошо, всё это я знаю, а ещё что?» И ещё,—ответил бы я,—у рабочих бывшей «прохоровки» замечательно налаживается производственная дисциплина; только вот на собраниях они не умеют вести себя дисциплинированно, шумят и сами же себе мешают быстро, по-деловому разрешать практические вопросы...

Сила слова об Ильиче покорила собрание.

Речь старого большевика горячо и плавно лилась, проникая в сознание людей. Он говорил о том, чего не досказал собранию директор: о высокой себестоимости промышленных товаров, о повышении трудовой дисциплины и о том, что наши рабочие и рабочие Германии—члены одной интернациональной семьи, и что мы должны материально помочь своим братьям по классу вырваться из пут капитала. В заключение, о здоровье Владимира Ильича представитель ЦК сказал:

— По сообщению профессоров и врачей, здоровье товарища Ленина с каждым днём улучшается. И, очевидно, в скором времени Ильич займёт свое место в Совнарком.

Взрыв рукоплесканий покрыл последние слова оратора. Послышались голоса:

— Послать приветствие Ильичу!..

— Желаем выздоровления и много лет ему здравствовать!..

Пожилая женщина, бросившая едкую реплику против оказания помощи рабочим Германии, теперь утирала платком слёзы и, уловив момент, при всеобщей тишине поднялась с места, заговорила:

— Передайте Владимиру Ильичу: если в Германию понадобятся на помощь люди, мы все, как один, пойдём... Я первая пойду и двух старших сынков пошлю за революцию постоять. Мы не забыли полицейских нагаек, мы помним имена наших рабочих, расстрелянных здесь на Пресне в 1905 году...

В конце собрания, вне повестки дня, председательствующий сказал:

— Прошу, товарищи, не расходиться. У нас сегодня присутствуют гости, крестьяне, приехавшие на выставку из разных концов Советского Союза. Сейчас мы слушаем их, как живёт, о чём говорит и что шепчет деревня. Какие требования предъявляют нам трудящиеся крестьяне?..

— Слово имеет крестьянин Валуйского уезда...

Пока один за другим бойко выступали шесть деревенских активистов, подготовился к выступлению и попросил слова Чеботарёв. Выйдя на сцену к президиуму, в низком обширном помещении, он увидел перед собой огромную, трёхтысячную массу рабочих, и первое, что пришло ему в голову, это было сомнение: будут ли они его слушать?

— Товарищи рабочие! Я представитель вологодской деревни. Раньше Вологодчина была местом политической ссылки, краем богатой наживы для крупных лесопромышленников и торгашей. Ну, славилась и славится наша губерния качественным сливочным маслом. Есть у нас много кустарей. Но надо сказать, что маслодельная и кустарная промышленность сплошь и рядом пока ещё в руках частных, которые втридорога дерут с мужика за промышленные товары, в том числе и за ваш ситец, а за молоко, за хлеб, за кустарные изделия частники стараются платить столько, что крестьянину не хватает даже на существование. Но этого мало. Теперь-то, при своей рабоче-крестьянской власти, хочется мужику жить по-настоящему. Законное право. А этого права крестьянин может добиться только в смычке, в дружбе, в союзе с вами, рабочими. Нужно, теперь, при устойчивом червонном рубле, как можно скорей и решительней изжить немыслимое расхождение цен между продукцией сельского хозяйства и городскими товарами. Вот председатель собрания поставил перед нами вопрос: о чём шепчет деревня? А я скажу; когда мужик шепчет — это нехороший признак. Надо раз и навсегда научить крестьянина говорить вразумительно и открыто. Пусть резко, но открыто, как вот, скажем, говорят рабочие, не боясь резать правду-матку в глаза своему директору и представителю партийного руководства. А для этого нужно поднять уровень сознательности крестьянина. За эти годы многое сделано. Деревня культурно растёт.

Но тихий и враждебный шопот кое-где слышится по тёмным углам деревни. Пользуясь трудностями деревенской жизни, пользуясь нуждой крестьянина, этот враждебный шопот недовольства распространяют кулаки и нэпманы-торговцы, скрытые и явные враги советской власти...

Собрание рабочих внимательно слушало выступление простоватого на вид вологодского парня. Несколько минут стояла полная тишина в зале. Сосредоточенные, молчаливые, суровые взгляды рабочих впились в Чеботарёва... И лишь когда он гневно заговорил о врагах советской власти, мешающих бедноте упрочить своё положение в деревне, послышались в передних рядах сдержанные реплики, к которым Терентий не прислушивался, а продолжал своё продуманное выступление.

— Я, товарищи, работаю избачом, — говорил он, — нахожусь в самой гуще мужицкой жизни. Нередко читаю крестьянам брошюры Ленина. Владимир Ильич учит нас всех уму-разуму. И мы уразумели из его книг, что крестьянину мелким хозяйством из нужды не выйти. Ленин говорит, что «если мы будем сидеть по-старому в мелких хозяйствах, хотя и вольными гражданами на вольной земле, нам всё равно грозит неминуемая гибель». Это очень резко, прямо и справедливо сказано. Не только облик, но и нутро деревни (а главное нутро!) может изменить кооперация, сельскохозяйственная, потребительская, кустарно-промысловая. Мы, деревенские активисты, боремся за это. Помогайте и вы, рабочие, помогайте деревне обилием дешёвых товаров через кооперативную систему. А ещё бы скорей дожидаться нам своих тракторов, да как можно больше. Будьте уверены, когда мужик сядет на общественный трактор, тогда никакая сила не своротит нас с правильного пути. Тракторные гусеницы раздавят частного хозяйчика, мы в это верим и вместе с вами добьёмся этого. Спасибо вам, товарищи, за хороший, радушный приём. Будем надеяться на то светлое будущее, когда и вы время от времени станете посылать в деревню своих представителей посмотреть, как идут у нас дела. Ну, а если понадобится нам ваша помощь в классовой борьбе — выручайте. У вас опыт богаче, зорче взгляд в будущее...

Обратясь к президиуму, Терентий взволнованно добавил к сказанному:

— Ваше многолюдное собрание рабочих постановило приветствовать товарища Ленина. Нас, гостей-экскурсантов, здесь немного, горсточка. Но от имени многих тысяч вологодских, валуйских, звенигородских и прочих крестьян присоедините к телеграмме и наше мужицкое приветное слово Владимиру Ильичу, наше пожелание скорей ему выздороветь и приступить к великому делу. И пусть кто близок к нему оберегает от всяких случайностей его славную, драгоценную для всего трудового человечества жизнь!..

Дружные рукоплескания покрыли последние слова Чеботарёва. Собрание, начавшееся отчётом директора, превратилось в митинг, посвящённый смычке рабочих и крестьян. И этот митинг продолжался до полуночи. В общезнании, когда экскурсанты ложились спать, сосед по койке заметил Терентию:

— А мы-то думали, вот вологодский вахлячок появился, а ты, браток, эге-ге! Остёр и себе на уме. Речь сказал что надо!..

Утром комендант общежития обошёл все комнаты и предупредил деревенских гостей, что если кто из них не успел справить свои дела в срок, может остаться ещё хоть на неделю. И многие остались. Но Терентий подумывал о делах, ожидавших его в волостной читальне. На десятый день пребывания в Москве он решил распорядиться проездными деньгами: за четыре рубля приобрёл новую пару крепких «скороходовских» ботинок, на три рубля купил брошюр политических и сельскохозяйственных; рубль израсходовал на разные мелочи. Оставался чистоганом новенький, с одной стороны голенький без единой буквы, хрустящий червонец. Куда его?.. На Москве-реке у Нескучного сада качался на волнах, весь блестящий, словно серебряный, гидросамолёт «Юнкерс». За червонец самолёт поднимал кого угодно на пятнадцать минут в воздух, показывая столицу с верстовой высоты. Разве можно лишить себя такого удовольствия?.. Пусть последний и единственный червонец в кармане, но жди—когда ещё может представиться такой заманчивый случай. Чеботарёв сел в кабину и с ним три экскурсанта. И тогда стало явью то, о чём он раньше мог слышать только в сказках. Самолёт с шумом пронёсся по реке и вдруг отделился от воды, стал набирать высоту над садами, над Воробьёвыми горами, потом, накренившись на одно крыло,

развернулся и пронёсся над монастырём, окружённым кирпичной стеной с башнями по углам. День был яркосолнечный, внизу по крышам кирпичных домов скользила тень «Юнкерса». С замирающим сердцем, с восторгом, какого никогда в жизни не испытывал, Терентий смотрел вниз, а Москва без конца, без края своим величием переполнила его воображение. Четверть часа промелькнула, как дивный мимолётный сон. Самолёт, в лазурной вышине похожий на чайку, недолго кружился, блестя и сверкая. Послушная лётчику машина стремительно снизилась на Москву-реку.

## XXII

В первую очередь о поездке в Москву на выставку, со всеми подробностями и увлечением, Терентий рассказал Пилатову. Запершись на ключ, чтобы никто не мешал, Пилатов два часа слушал его, не перебивая, а потом сказал:

— Выставка—вещь интересная. Вот так, как мне сейчас рассказывал, ты должен, с огоньком, с душой, рассказать о ней свои впечатления самой широкой массе населения. И в читальне, когда найдёшь удобным, и в деревнях на сходках—всюду. Очень полезно народу послушать. Очень... Не делай сухого, как обычно бывает, доклада, а именно в форме живой, увлекательной беседы будет гораздо доходчивей. Мужики не задремлют. Им фактов, фактов побольше, чтобы они, слушая тебя даже закрыв глаза, видели перед собой всё, что ты сам видел на выставке. Вот как надо. В этом же искусство пропагандиста. В Филиссве, Зародове, в Шилове и Бакрылове, в Телищине и Беленищине, везде побывай, потолкуй с мужиками... В Вологде в редакцию заходил?

— Да, заходил. Оставил им заметку о выставке. Просили писать о том, как у нас кооперация всех отраслей борется с частником, и упрекнули за то, что наш селькоровский кружок слабо работает, что я один пишу за всех.

— Надо работать лучше,—поощрительно проговорил Пилатов. Открывая дверь и пряча в карман плисовых штанов ключ от своего кабинета, он ещё не долго задержал Терентия.

— Кстати, чуть не забыл тебе сказать: заходил ко мне на-днях участковый милиционер, новый тут появился у нас вместо Дробилова, некто Голованов. Он сообщил мне, что установил тех подкулачников, которые тебя в пасху на мосту хотели избить. Как, товарищ Чеботарёв, может быть провести следствие, да показательный суд над ними устроить?

— Вот уж чего не надо, так не надо!—возразил Терентий, отмахиваясь обеими руками,—ни к чему это.

— Почему ни к чему?

— По простой причине: во-первых, возможно и мы рановато с этим мероприятием выступили и задели религиозные чувства некоторых верующих, это вызвало кое у кого хулиганскую выходку, чем-то смахивающую на выходки прежних черносотенцев. За такие вещи, конечно, щадить не следовало бы, особенно кулацких элементов, но, с другой стороны, ведь я-то отделался испугом. Так что пусть милиционер не тратит время и не портит бумагу на это дело.

— Хорошо. Я согласен с тобой.

И вдруг неожиданный вопрос Пилатова заставил покраснеть Терентия:

— Жениться не думаешь? Говорят, Тоня Девяткова после окончания средней школы собирается в Ярославский пединститут?.. А деваха, прямо скажу,—хорошая. И ты, по моим подсчётам, к ней не очень равнодушен.

— Что вы, что вы, товарищ Пилатов!..

— Ну, ну, я пошутил.

— Мне ещё об учёбе самому не мешает подумать, а не о женитьбе.

— Твоей черёд мимо тебя не пройдёт. Годик поработай, а там в рабфак или в совпартшколу.

— Думаю в совпартшколу, а потом бы на юридические курсы.

— Вишь ты, какой жадный. — Пилатов усмехнулся и, провожая Чеботарёва, громко сказал в сторону столпившихся в коридоре посетителей:

— Кто тут ко мне, добро пожаловать!..

... Осенью многие из комсомольского актива, окончив учёбу в средней школе, уехали из Усть-Кубинского поступать в разные высшие учебные заведения.

Зима подошла быстро. Начались лютые морозы. На полях и в перелесках намело глубокие, непролазные

сугробы снега. В занесённых снегом деревушках в долгие зимние вечера устраивались вечеринки. Вместо прежней, непрерывной, заведённой на целый вечер свистопляски под гармонь, комсомольцы занимали деревенскую молодёжь новыми играми, читали газеты, брошюры, а иногда, и довольно часто, в сельских школах с помощью учителей ставили спектакли. От охочих до культурных развлечений посетителей в школах трещали полы и стены. Спектакли приходилось повторять.

В один из таких вечеров, который был посвящён памяти революции 1905 года, перед началом спектакля в Усть-Кубинском народном доме вышел на сцену побледневший Пилатов. Взволнованный, он держал в руках только что полученную телеграмму. Молча ожидал он, когда все утихнут. Шум быстро прекратился. Предчувствие чего-то тяжёлого объяло публику.

Наконец Пилатов произнёс:

— Товарищи! — голос его дрогнул, на глазах показались слёзы.

— Товарищи, — повторил он, сдерживая дыхание, — вот телеграмма... Сообщает Центральный Комитет... Правительство... Умер... Владимир Ильич Ленин... Умер наш великий вождь, учитель и друг всего трудового человечества. Но дело его бессмертно...

Пилатов говорил, сильно волнуясь. Паузы казались долгими. Мёртвая тишина в клубном зале нарушалась всхлипыванием и рыданиями. Слышались отдельные голоса, выражавшие общую скорбь всех присутствующих:

— Умер... Жить бы ему да жить. Ведь и мы-то только при Ленине начали жить по-настоящему...

Спектакль в тот вечер отменили. Начался траурный митинг. После Пилатова выступали многие: судья Фокин произнёс речь. Потрясая кулаками, он призывал присутствующих соблюдать революционную законность, крепить мощь советского государства. После него выступил Николай Фёдорович Серёгичев. И наверно больше всех он сам дивился тому, что впервые за пятьдесят лет жизни крупные слёзы катились по его побледневшему лицу, скрываясь в густой нечёсанной бороде.

Дарья Копытина сидела рядом с супругом и, утирая слёзы, толкала его в бок локтем:

— Вот бы и ты был у меня пограмотнее, сказал бы слово...

Но Копьтин упрямо молчал и не слышал, что говорила Дарья.

После Фокина выступил кооператор Мякушкин. Он говорил о кооперации, как о столбовой дороге к социализму, приводил ленинские слова о плане электрификации страны и закончил своё выступление предложением назвать главную улицу в селе именем Ленина.

Терентий Чеботарёв рассказал свои впечатления о переживаниях и настроениях рабочих Красной Пресни, которые ему пришлось наблюдать во время болезни Владимира Ильича. Во всех речах слышалась скорбь о тяжёлой утрате, постигшей народ, но чувствовалась и уверенность — дело Ленина будет жить и развиваться под руководством созданной им большевистской партии.

Поздно расходились усть-кубинские граждане с митинга. На тёмных неосвещённых улицах села с посвистом и завыванием бушевала снежная вьюга, заматывая протоптанные от дома к дому тропки-дорожки. Вернувшись домой, Терентий и Алёшка Суворов долго не могли заснуть. Разговоров и безмолвных размышлений хватило почти до утра. Рано утром хозяйка квартиры, неосторожно гремя вёдрами, разбудила своих жильцов. И опять у ребят разговоры:

— Я думаю подать заявление о приёме в партию, — сказал Суворов, — только вот не знаю, у кого просить рекомендацию. Надо таких рекомендателей, чтоб со стажем.

— Есть такие, — отозвался Терентий, вставая с постели, — обратись к Пилатову, Вересову, ну, к тому же Мякушкину из сельпо.

— К Мякушкину, пожалуй, я не сунусь за рекомендацией, вот если вместо него к большевику Серёгичеву.

— А почему тебе Мякушкин не нравится? Членский стаж он имеет три года, чего ещё?..

— Не в стаже тут суть, — возразил Алексей, делая вольные гимнастические движения. — Во-первых, он меня ещё мало времени знает, а во-вторых — разные факты, слухи и разговоры о нём нехорошие. Вчера вечером Мякушкин речь говорил, всё правильно; все точки и запятые на своём месте, и то, что кооперация — столбовая дорога к социализму, тоже верно. Но я вот, как тебе известно, по совместительству состою в ревизионной комиссии кооперации. Мякушкин очень любит коман-

дировки, ездит-ездит неизвестно куда и привезёт неизвестно что. Впрочем, как неизвестно? Ездил тут он как-то с дружкой своим Бараевым до самого города Баку. Накупили там вроде бы каких-то товаров, упаковали в ящики, сдали по весу в багаж, а в сельпо в тех ящиках вместо ценного потребительского товара прибыл булыжник и всякий хлам. Всю вину Мякушкин и Бараев на железную дорогу сваливают, она, дескать, в краже товаров виновата... А обошлась та поездочка нашей кооперации в четыре тысячи рублей... Или ещё пример: сам знаешь, очень большой у нас в сельпо спрос на ситец и грубую материю, на штаны и прочее. Поехал опять как-то Мякушкин за дешёвой материей, а привёз двадцать ящиков портвейна и мадеры. Нет уж, спасибо, к нему я за рекомендацией не пойду.

— Да, фактики достойные обсуждения и осуждения, — согласился Чеботарёв и тут же упрекнул Алёшу: — Ты комсомолец, член ревизионной комиссии, а умалчиваешь о таких проделках.

— Ну, это как сказать! — отозвался Суворов, — мы всё это заактировали и акты в Северосоюз в Вологду направили.

— А там ваши бумажки подшили к делу?

— Может быть.

— О таких фактах шуметь надо, Алёша, шуметь, чтоб и Мякушкину и другим неповадно было. Для чего же тогда ревизионная комиссия, для чего же судья Фокин существует? Быть может и ему не нужна материя на штаны, а нужна выпивка?.. Нет, Алёша, так поверхностно смотреть нельзя: акты посланы и с плеч долой. А ты комсомолец, ты в день смерти Ленина заговорил о вступлении в партию. Хорошо. Правильно. Давай-ка против непорядков в нашей кооперации действуй решительней, через газету. Будь уверен, тогда обратят внимание.

— Мне непривычно в газету писать. Рука не набита.

— Скажи прямо: не хочешь с кооператорами отношения портить.

Суворов покраснел.

— Нет, право-слово, писать не умею, хотя и учился больше твоего, а слога такого нет.

— Пустяки! — сердито заметил Терентий. — Помню, я в прошлом году читал в «Правде» воспоминания товарища Сталина о том, как зарождалась больше-

вистская газета «Правда». В ту дореволюционную пору товарищ Сталин, призывая рабочих участвовать в печати, указывал, что «нужно только смелее браться за дело: раза два споткнёшься, а там и научишься писать...». А теперь у нас армия селькоров и рабкоров — помощников партии!.. Почему же ты, Алёша, о беспорядках в сельпо не хочешь писать в газету?..

Приятели, размолвившись, ушли на службу: Суворов — в контору страхового агента, Чеботарёв — к себе в читальню, затем в среднюю школу и в комитет комсомола. Надо было сегодня же до вечера, невзирая на мороз и глубокий снег, собрать комсомольцев и наломать в лесу столько вересу, чтобы хватило свить венки на все ленинские портреты во всех советских учреждениях села Усть-Кубинского...

Прошли траурные ленинские дни, на весь мир прозвучали памятные слова сталинской коммунистической клятвы у гроба Ленина. Вскоре начался ленинский призыв рабочих в партию.

В Устье-Кубинском, на стекольном заводе и на бывшей рыбкинской лесопилке в эти дни вдвое увеличилась партийная организация.

Приток новых членов в партию был замечен и в сельской ячейке. Из уезда приехал толковый лектор. В волостном комитете партии он читал трёхчасовые лекции об основных трудах Ленина.

## XXIII

Кружок селькоров стал собираться чаще. И каждый раз, прежде чем послать заметку в губернскую или в центральную газету, её обсуждали, проверяли на месте, заручались подтверждающими материалами. Однажды Суворов, после настойчивых уговоров Чеботарёва, принёс на обсуждение селькоровского кружка дело ревизионной комиссии. В материалах разобрались. В Вологодской газете вскоре об усть-кубинском кооперативе одна за другой появились заметки с заглавиями: «Всю республику объехали, а пользы ни на грош!» и «Есть выпивка, но нет на штаны».

Председатель сельпо Мякушкин, усмотрев в этих заметках подрыв авторитета кооперации, скомкал со злостью газету и побежал к Пилатову жаловаться.

— Это же позор! — прокричал он, вбегая в кабинет секретаря парторганизации, и тяжело опустился на диван: — Я не против критики, но пусть он, селькор этот самый, знает меру. Ведь мало ли что случается: вином торговать никому не запрещено, а на закупку мануфактуры оборотных средств нехватило. Что касается похищенного багажа в пути из Баку, так разве это так просто узнать, где и кто и на какой станции заменил товары булыжником. Никто руки-ноги не оставил при этом. Попробуй узнай. А ведь счета и накладные на товары, шедшие в багаж, у нас имеются...

— А чорт вас знает, — перебил Пилатов Мякушкина. — Может быть вы товары пропили с Бараевым, а кирпичи, булыжины и всякий хлам отгрузили. Дело тёмное...

— Вот именно тёмное. Милиция этим занимается. Зачем же в газету? Зачем? Мы, в целях увеличения основных средств, вербуем новых членов в кооперацию, но кто же к нам пойдёт, если подряд да сразу мы будем получать такие оплеухи от селькоров?.. Как хотите, но я заявляю: ищите другого председателя, я в таких условиях не работник. Пусть попробует этот самый Чеботарёв, посидит да поразрывается на части на моём месте, тогда узнает, какво работать в потребительской сети да ещё в полном окружении частных! Все эти Ганичевы, Круглихины, Цукерманы, Кочкины, Копнины здесь в селе, Прянишников у Николы-Корня, в Закушье Никаха Максимов и другие торгаши-спекулянты головы подняли. Нэп в разгаре. Это надо понимать... — Мякушкин выпалил сгоряча всё, что мог, и закурил папиросу.

— У тебя всё? — вежливо осведомился Пилатов, небрежно выколачивая из своей трубки золу в пепельницу.

— Да, всё.

— Ну, так слушай и не прячь по углам глаза. Нэпом ты не тычь. Это явление временное — прежде всего. К делу, к делу надо относиться с огоньком, с любовью, а у наших кооператоров этого нехватает. Критики бояться нечего. Она действует оздоравливающе на тех, кто считает дело важнее и выше личных обид. В заметках про вашу, с позволения сказать, деятельность ничего лишнего и неверного нет. Так в чём же дело? Сту-

пай и докажи работой, вниманием к потребителю, докажи, что кооперация наша — мост между городом и деревней, а ты на этом мосту не лишний человек. Я так смотрю. Через месяц мы потребуем от тебя отчёт перед пайщиками, и там ты себе жди не такую ещё взбучку...

Пилатов положил перед собой на стол развёрнутую газету, склонился над ней. Разговор был кончен. Уходя, Мякушкин проворчал:

— Одёрнуть всё же селькора надо. Сегодня сельпо, завтра тебя продёрнет...

— Ступай, ступай, не разводи демагогию, — не отвлекаясь от газеты, напутствовал Пилатов.

— А всё-таки Чеботарёв зря подрубает сук, на котором сидит. Зря... Потом пожалеет.

— То есть? — поднял Пилатов голову и выразительно посмотрел на уходящего Мякушкина.

— Пусть не забывает: читальня, дом крестьянина и весь персонал до избача включительно содержатся на наш кооперативный счёт, — пояснил председельпо, — а мы имеем указание Северосоюза — как можно меньше производить ненужных накладных расходов. Пусть избача Уполитпросвет оплачивает. Я давно хочу поставить об этом вопрос.

— Не затевай пустое дело. За счёт Уполитпросвета мы содержим две читальни в Закушье и у Николю-Корня. А при Доме крестьянина содержали и будем содержать за счёт кооперации, тем более, что изба-читальня себя вполне оправдывает.

Пилатов понял, что Мякушкин намеревается сократить Чеботарёва как внештатного, а потому сделал председателю сельпо предупреждение.

Читальня продолжала существовать и этот разговор Мякушкина некоторое время оставался забытым. Но не таков был Мякушкин, злобу он умел затаивать надолго.

Как-то весной, когда с первым парходом Пилатов уехал лечиться (извлечь из хромо́й ноги блуждавшую пулю), Мякушкин, пользуясь его отсутствием, дал приказ о сокращении должности избача при Доме крестьянина и об увольнении Чеботарёва. К немалому удивлению Мякушкина Терентий ничего не возразил, расписался в получении копии приказа об увольнении и спросил удовлетворённого председателя кооператива:

— А как быть с избой-читальней? С книгами, с помещением, инвентарём?..

— Вам об этом печалиться не придётся, — подчёркнуто-официальным тоном ответил Мякушкин. — В целях экономии средств и повышения доходности, мы имеем в виду расширить чайную, а потому буфет и кладовую переведём в бывшее помещение читальни. Для читальни комсомольцы найдут помещение где-нибудь, не обязательно при Доме крестьянина.

— Нет, обязательно! — резко возразил Терентий. — Читальня останется на своём месте!

— Как же она без избача останется? — ухмыльнулся Мякушкин.

— Подумаешь, затруднение! — возмутился Чеботарёв. — У нас в селе шестьдесят комсомольцев. Установим очередь дежурства. Вместо одного меня будет шестьдесят избачей! Да ещё ежедневное дежурство попеременно: врача, агронома, ветеринара, землеустроителя и представителя комитета крестьянской взаимопомощи. Вот так, и никак иначе!.. — Терентий сказал это твёрдо и убедительно. Мякушкин не стал настаивать и подумал: «Чорт с ним, лучше не связываться из-за читальни. Хватит того, что должность избача сокращена. Не сидит он долго тут». С фальшивым участием спросил Чеботарёва:

— А где вы думаете устраиваться в дальнейшем?

— Вам об этом печалиться не придётся, — его же словами ответил Терентий и не без колкости добавил: — Это не моё дело. Вернётся Пилатов, на бюро обсудит. Возможно, пойду работать в кооперацию и буду твоим заместителем, или ты моим.

— Молоденек, да и опыта торгового нет.

— Годы идут вперёд, а опыт даст практика работы, — вполне серьёзно отвечал Чеботарёв.

Однако у него были совсем иные думы-планы. Осенью он намеревался поступить в совпартшколу. А до осени надо было где-то работать. Терентий хотел провести нынешнее лето разумно и расчётливо. На случай учёбы не плохо бы подзаработать и деньжонок. Ведь стипендия в совпартшколе, — он знал об этом от приезжавших на практику курсантов, — при готовых харчах всего двадцать копеек в день. Этого вроде бы и мало-вато...

По соседству с Устьем-Кубинским на лесопильном заводе грузились баржи на экспорт. Многие собирались идти на тех баржах бурлаками до Ленинграда.

И кто раньше бывал в бурлацкой путине по Мариинской системе рек, озёр и каналов, тот и нынче заблаговременно приходил на лесозавод наниматься в водоливы и шкиперы. В эту весну барж на погрузке стояло больше, нежели в прошедшие годы. В эту весну и Николай Копытин взял расчёт на запани и, оставив Дарью в сторожке-хибарке, пошёл бурлачить. Нанялся на баржу водоливом и освобождённый от работы в читальне Терентий Чеботарёв, заинтересованный не только заработком, но и заманчивым привольным бурлацким житьём.

## XXIV

Долго ли простому человеку собраться в путь-дорогу. Фанерный чемодан с висячим ржавым замочком; в чемодане пара белья, полотенце, кусок мыла, книги—первые художественные советские новинки—«Железный поток» и «Чапаев». Провожал Терентия до каравана Алёшка Суворов. До пожен, где стояли гружённые досками баржи, ехали в лодке. Суворов—в вёслах, Чеботарёв правил лопаткой, заменявшей руль. Сначала они были задумчивы и молчаливы. Всё, казалось, было переговорено. Лишь когда поровнялись с пристанью и пассажирским пароходом, пришедшим из Вологды, Суворов сказал:

— Давай, Терёша, заскочим в буфет на пароходе, да выпьем по стаканчику на прощанье.

— Не надо, — отказался Чеботарёв, неохочий ни до каких спиртных напитков.

— Ну, как хочешь, — не настаивал Суворов. — Только предчувствую я, что долгонько мы с тобой не встретимся. Тебе лишь добраться до Ленинграда, а там ты найдёшь себе дело и не вернёшься.

— Нет, этого не случится.

— Смотри, не забывай свои родные края. А всё-таки зря ты легко сдался Мякушкину. Подождать бы Пилатова, и всё осталось бы по-старому. Разве можно сокращать должность культпросветчика в центре такой волости, как наша?!

— Вопрос решён и, возможно, к лучшему. Была бы читальня, а избачи найдутся. Писали в газете: нынче летом в Вологде на курсах сто-избачей подготовят. Есть о чём горевать. Нажимай-ка на вёсла покрепче, а нето пусти меня на переднюю беседку.

Суворов усилил взмахи. Вёсла врезались глубже в прозрачную воду, лодка пошла быстрее.

Около берега, в стороне от лесозавода, готовы к отправке три баржи с тёсом. Небольшой буксирный пароход, бывший «Гриша», а ныне «Комсомолец», стоял под парами. Все водоливы и шкиперы на своих местах, не доставало самого главного—караванного Круглихина. Караванный, проходивший на баржах в этой должности из года в год около двадцати лет, знал себе цену и потому не спешил с отправкой. Он ушёл в свою деревушку Чернышёво, что за Лысой горой, помылся в бане и, не выходя дальше предбанника, до потери сознания нахлестался водки. Пока шумного и неугомонного Круглихина домочадцы везли в лодке от Чернышёва до хвостовой баржи, Чеботарёв, сидя на дощатой палубе, писал письмо к Пилатову, намереваясь послать его с Суворовым для передачи, когда Пилатов после излечения возвратится в село.

Суворов, между тем, с бакенщиком Быковым и Николаем Копытиным в лёгкой лодочке выехал с сеткой-ботальницей к заливу. Когда закидывали сеть, по всем признакам в рыбном месте, Алёша подумал: «Если тоня будет удачная, то Чеботарёв побурлачит счастливо и домой вернётся, если же тоня окажется пустой, то ждать его нечего».

Терентий, не подозревая в своём товарище предрасудков, с увлечением писал:

«Дорогой товарищ Пилатов, извините меня, что, не дождавись вас, по воле Мякушкина, я оказался не у дел и потому решил нынешнее лето, или часть его, провести на баржах. Не знаю, как вы на это посмотрите, но я пошёл на баржу охотно. Читальню я передал волостному комитету комсомола. Дежурство будет ежедневное и без меня. Мякушкин хотел на место читальни перевести буфет и кладовую, чтобы расширить чайную. Этого ещё нехватало! Я ему пригрозил вашим именем, и читальня пока на своём месте. Думаю, вы меня за это не заругаете. Нельзя позволить такого деляческого отно-

шения к культпросвету. Прошу вас, товарищ Пилатов, не забыть наши разговоры о том, чтобы, как только нынче уком партии предоставит места в совпартшколу, меня иметь на примете и место мне предоставить».

— Это ещё что за писарь здесь появился?! — услышал Терентий голос пьяного Круглихина, кое-как по трану пробравшегося на баржу.

Терентий обернулся. За его спиной, покачиваясь, стоял на широко расставленных ногах караванный. Гладко до синевы бритый, для равновесия размахивая крепкими волосатыми руками, Круглихин уставился на Терентия налитыми кровью глазками и снова спросил:

— Я спрашиваю, что за писарь?

Терентий встал и бойко отрекомендовался:

— Имею честь представиться: Чеботарёв Терентий Иванович, водолив баржи, двадцати одного года от роду, холост, не судившийся, из батраков. Для первого знакомства хватит?—и, сев на дощатый настил, снова взялся за карандаш, чтобы продолжить прерванное письмо.

Круглихин поморщился и презрительно проговорил:

— Чеботарёв? Это который в газете иногда протаскивает? Ага, так-так, попробуй протаски мой караван через газету. За бортом тогда тебе место найдётся...

С кормы послышался чей-то угодливый смех:

— Уж как есть, у нашего брата рука не дрогнет.— Это говорил костлявый бурлак в оборванной кацавейке и тоже подвыпивший.

Первое знакомство с новыми людьми оказалось не из приятных, хотя Терентий и не придавал серьёзного значения услышанному. Мало ли что брешут с пьяных глаз.

Снова карандаш забегал по бумаге:

«... И ещё, дорогой товарищ Пилатов, хочу предупредить вас: приходили из Лахмокурья заводские комсомольцы Труничев с Клепиковым насчёт того, чтобы часовню сломать. Конечно, с религией бороться нужно, надо разъяснять народу вред этого опиума, но часовню ломать вроде бы и ни к чему, тем более, что она построена на том же месте, где, судя по преданиям, наши предки встречали царя Ивана Грозного, приезжавшего в Спасокаменный монастырь. А Иван Грозный и Пётр Первый это были цари всё-таки особенные, если верить

истории... Так, может быть, часовенку-то сохранить как память? Слышал я от Вересова и Серёгичева такой разговор: будто бы под паровую мельницу хотят занять пустующую церковь, что на мысу. Очень было бы хорошо. Там колоколов пудов шестьсот, в дело пошло бы. А собрать в волости большинство подписей за отдачу церкви под паровую мельницу ничего не стоит. Но, когда случится очищать церковь от божественного хлама, следует, по моему мнению, обратить внимание на старинную икону иерусалимской богоматери. Висит она на четырёхгранном столбе справа от клироса. Переговорите с Никитиным Николаем Никифоровичем, возможно, икона эта для нашего же музея находка. Писана она каким-то Дионисием лет пятьсот назад и у князя Багратиона в войсках была, как «пособница» против Наполеона. Это что-нибудь да значит. А вычитал я об этом в одной старой церковной книге, что брал у учителя Потёмкинского.. Затем желаю вам выздоровления и скорейшего возврата на работу.

С товарищеским приветом *Т. Чеботарёв*».

На оставшемся свободном месте листа добавил:

«Мой теперь «командир» — караванный Круглихин. Видать человек с застарелыми взглядами. Не то, чтобы облаял, но сказал, что если я буду селькорствовать, то быть мне за бортом баржи. Ну, да ладно, я не из пугливых...».

Бакенщик Быков и Копытин торопливо, но аккуратно выбирали ботальницу в лодку. Крупные окуни трепыхались в сетях. За каких-нибудь полчаса было выловлено не менее трёх пудов окуней. Быков даже обиделся.

— Хватило бы и полпуда. А то иногда богачешь, богачешь, еле на уху наловишь... Куда их столько!..

Алёша Суворов, ухмыляясь, выбирал из ячеек рыбу и бросал в плетёную грохотку. «Задуманное загаданное должно сбыться: — соображал он, — а поэтому до возвращения Терёши не буду переселяться на другую квартиру, проскучаю один...».

Через несколько минут в трёх железных вёдрах на таганах над жарким костром клокотала наваристая уха.

Бурлаки и матросы собрались вокруг костра. У каждого свой ломоть хлеба, своя торчащая за голенищем

деревянная ложка. У одного лишь Терентия не оказалась ложки.

— Эх ты, голова с мозгом! — проворчал Николай Копытин, присаживаясь на пенёк. — Да знаешь ли ты, что ложка для бурлака главный инструмент!.. Ну, мы с тобой поочереды похлебаем: ра ты, да два я. Товарищ Быков! Нет ли у тебя запасной ложки, пожертвуй парню!..

В светлые весенние сумерки «Комсомолец» отчалил от берега, потянув за собой три гружёных баржи. И долго на зеленеющей Паутовской пожне около потухшего костра виднелся в розовой ситцевой рубашке Алёшка Суворов. Грустно стоял он и махал носовым платком, прощаясь сходящим на барже дружном-товарищем.

## XXV

... Началась у Терентия Чеботарёва нехлопотливая жизнь. Медленно тянулись длинные северные дни; тихо с тяжёлой натяжкой подавались вперёд баржи-тесовки..

Вот уже, пройдя мутноватое Кубенское озеро и реку Порозовицу, попали баржи-тесовки в тесный Кирилловский канал, что выводит суда на Шексну-реку. В прибрежных деревнях на задатки, полученные от караванного, запаслись бурлаки дешёвыми харчами: хлебом, яйцами и даже прошлогодним мёдом, а пшеница Вологодского отпускала целых два мешка на караван. Жить было можно безбедно и беззаботно.

Времени свободного бурлакам девать некуда. Вот уже давно и неоднократно Терентий вслух прочитал бурлакам книги Серафимовича и Фурманова. Больше читать нечего. Ни газет, ни брошюр. Была у Круглихина одна книга—«История Ветхого завета», в ней были запросто растолкованы библейские сказки о сотворении мира и человека. Но книга эта, не привлекательная для бурлаков, так и лежала в надпалубной избушке караванного под крышей на полочке. Лишь изредка кто-нибудь тайком от Круглихина вырывал из неё тонкие пожелтелые листочки на курево.

Терентию нравилась работа в бурлацкой путине. Хорошо, привольно было стоять у руля на крыше

баржи, когда отдыхал или валялся с похмелья старый шкипер, а откачивание воды напоминало физкультурные упражнения, необходимые для каждого здорового человека.

Встречные суда шли на Волгу; астраханские и рыбинские суда с нефтью и хлебом, обгоняя вологдолесовские баржи, спешили в Ленинград.

Перед глазами бурлаков, то и дело меняясь, проплывали деревни, старинные монастыри-крепости, расположенные в живописных белозерских и прионежских местах. Дни были тёплые, недождливые. Солнце просушивало землю. Над прибрежной пахотой струился пар. Зеленели затопленные половодьем ивовые кусты. Щebetание ласточек сливалось с переключкой притаившихся в зарослях коростелей и всхлипыванием смелых, неосторожных чаек. Тёплый весенний воздух в самый канун лета был полон пьяным запахом преображённой земли. Но бурлаки на караване барж-тесовок не чуяли никакого другого запаха, кроме здорового смолистого от свежераспиленных сосновых досок.

Водоливы работали попеременно—ежедневно по два-три раза спускались в трюм баржи и там, в тесноте между стопами досок, то нагибаясь, то выпрямляясь во весь рост, привязанной к перекладине полуведёрной плицей выкачивали воду. И странное дело казалось бурлакам на барже № 39: сколько бы раз Николай Копытин ни спускался выкачивать воду, после его выкачки вода не убывала, а прибывала. Однажды Копытин что-то подозрительно долго задержался на своей смене. Терентий, не дожидаясь его, спустился вниз. Вода на дне баржи поднялась выше поперечных шпангоутов и захлестнула четыре ряда досок, а Копытин в укромном уголке, изогнувшись полулёжа — полусидя, беззаботно храпел.

Молча Терентий ухватился обеими руками за длинный черенок плиты и начал выкачивать воду. Качал он долго, втихомолку подсчитывая каждый взмах, каждый полуведёрный выплеск воды. Так было работать веселей, по крайней мере он знал, сколько ведер откачает за один упряг. Копытин спал не шевелясь и блаженно чему-то улыбался во сне. Выплёскиваемая со дна баржи вода поступала в ящик, по-бурлацки называемый «ляляло», и стекала по жёлобу за борт. Сделав

двухтысячный взмах и почувствовав усталость, Терентий не вытерпел и во весь голос крикнул:

— Две тысячи!

Копытин не пошевелился.

— Ах, чорт, лодырь царя небесного, я тебя проучу!

Отвязав от перекладки плиту, Терентий зачерпнул полведра воды и, подойдя к спящему Николахе, не без злости с размаха выплеснул ему в лицо. Тот оторопело вскочил, не понимая случившегося, вытаращил испуганные глаза на Терентия. Догадавшись, в чём дело, Копытин, оправдываясь, виновато проговорил:

— Приморило. Минутки две-три вздремнул, кажись.

— Не знаю, сколько минуток ты дрыхнул до меня,—сказал Терентий,— но я успел тысячу ведер выкачать, а ты всё спишь и спишь.

— Ну это враки!—возмутился Копытин.

— Враки?! Вот посмотри, полюбуйся, — Терентий схватил его за плечо и потащил за собой к бортовой стенке. На Копытине треснула заношенная, вылинявшая рубаха, плечо оголилось.

— Ты поосторожней...

— А чего тут поосторожней! Вообще-то за такое дело взгреть тебя полагается. Вот, глянь: пока ты спал, четыре ряда экспортных досок подмочило. Пойдёт плесень, будет брак. А ты знаешь, что такое экспорт? Это золото для нашей страны!

— Ну, это пустяк.

— Пустяк, если бы доски были хозяйские, частные, а тут—советские, государственные. Ужели тебе это не понятно?

— Понятно, но сон и богатыря свалит; сон сильнее всего на свете.

— У советского человека должно быть сильнее всего сознание,—заметил Терентий и строго посмотрел на Копытина.—Мне неудобно говорить тебе такие вещи, ты вдвое меня старше, но говорю потому, что ты, выходит, в десять раз ленивее самого себя. Больше чтобы этого не было. В свою смену надо работать честно.

— А что ты со мной сделаешь? Какое тебе дело?—начал возражать пришедший в себя Копытин,— Другие тоже иногда прикурнут и спят.

— А ты не позволяй спать на работе ни себе, ни другим. Где-где, а на баржах хзатает времени для сна.

— Хорошо, что не ты у нас караванный, а то заел бы.

— Не важно, кто караванный. Работать надо по со- вести.

Привязав плицу к перекладине в промежутке между стопами досок, Терентий направился наверх. Копытин юстался «заскребать» остатки воды. Двое других водо- ливов с увлечением играли в самодельные шашки на крыше баржи. Караван медленно двигался за парохо- дом. Терентий снял с себя рубаху и, повернувшись спи- ной к солнцу, сел на скамеечку отдыхать и загорать. Солнце палило нещадно. На хвостовой, самой послед- ной барже караванный сидел за столиком и пил чай с мёдом, обтирая лицо длинным вышитым полотенцем. Круглихин блаженствовал. Он был в хорошем располо- жении духа. Баржи медленно, но благополучно двига- лись вперёд. Жалованье шло, харч дешёвый, чего ещё?.. И его сейчас осенила благая мысль: запросто, не свы- сока побеседовать с Чеботарёвым. Прошёл по крыше и, взяв рупор, крикнул в сторону последней баржи:

— Чеботарёв! На хвостовую!

Терентий отвязал лодочку, спрыгнул в неё и, от- толкнувшись веслом, подождал, когда хвостовая бар- жа, украшенная избушкой караванного, поравняется с ним.

— Причаливай, да поднимись сюда на чашку чая,— радушно приглашал караванный Терентия. — Небось, свою смену отстоял?

Зацепив лодку за бортовой кнек, Чеботарёв быстро вскарабкался на круглихинскую баржу.

— Не сердись? — спросил Круглихин Терентия, когда тот без рубахи, в одних штанах и сандалиях на босу ногу, подсел к нему. Терентий недоуменно пожал голыми плечами, и мускулы заиграли на его коричневой спине. — «Есть сила в парне», — подумал караванный, подставляя Чеботарёву стакан чаю и жестянку с мёдом.

— На что сердиться-то?

— Как на что! Да я тебе, сказывают бурлаки, в пер- вый день, пьяный, поднахамил малость.

— Подумаешь, важность какая! — усмехнулся Терен- тий. — Я тогда твоим словам нуль внимания, два — пре- врения.

— Оно и лучше так-то. А я вот присматриваюсь к тебе и вижу: человек ты с головой, как говорят, подаю-

ший надежды, а не побрезговал идти водоливом. Ведь другие-то у меня сплошь и рядом кто? Бывшие зимогоры. Дойдут до Питера, чего доброго пропьют заработок и пешечком домой. Не всех ещё эта власть изменила. У многих старый покррой юстался. Ты вот не такой. Хвалю за это... Да ты, парень, мёду не жалея, клади по две ложки на стакан. Медок — вещь приятная и для здоровья полезная. Водка тоже полезная, только не надо перепивать. Водка, она, браток, не зелье, а жидкий хлеб. Из чего она делается? Из муки. Что-то я не примечаю, на баржах-то ничего ты как будто не сочиняешь? Глянь, здесь какая природа. Реки — озёра, озёра — реки, холмы, а на холмах храмы да монастыри. Канал Белозерский в ниточку вытянулся, будто по линейке копали. Берёзки по обеим сторонам кужлявенькие, как барашки. Травы цветистые, пахучие на лугах, скот, пастухи, поля с посевами, и тут же посреди всего этого мы плывём на баржах. Будь я с дарованием, да помоложе годков на двадцать пять, весь бы наш путь от кубинских пожен до Ленинграда на стих переложил. Не знаю, чего ты дремлешь? Пей ещё стакан, пей. Вода сильна, она и плотины рвёт. А брюхо лопнет — наплевать, под рубахой не видать... Или нет-нет, да тайком что-нибудь и сочиняешь?..

Круглихин прищурил узкие карие глаза и умолк, ожидая ответа. Длинное полотенце, вышитое петушками и какими-то диковинными фигурами, висело у него на плечах, перекинутое через мясьстую, в морщинах, шею.

— Нет, сочинительством я здесь не занимаюсь,— отвечал ему неохотно Терентий.— К чему? Однажды только как-то, увидев бревно на волнах Кубенского озера, пробовал я к бревну обратиться с вопросом:

Скажи, бревно Вологдолеса,  
Где ты родилось, где росло?  
Какими судьбами из леса  
Сюда к нам мокнуть занесло?..

Промолчало бревно, поплыло дальше, и стих мой так и умер в зародыше. Жалею я ю другом, — сознался Терентий.— Времени свободного у нас тут много. Надо было бы больше книг набрать, да просвещаться. Рифмы плести без толку какой смысл?..

Караванный опять заговорил нравоучительно:

— И всё с маленького начинается. Если себя не уронишь, пойдёшь в пору. Большим человеком можешь стать. Надобно среди умных людей потолкаться, а не то что среди наших голобрюхих бурлаков. На барже ума не наберёшься, остатний растеряешь. Через каждое слово тут брань да ругань.

— Пережитки старого, ничего пока не поделаешь.

— Как хочешь, называй. Только я к тому говорю: с умной половиной в водоливы, пожалуй, лезть незачем. Доберёшься до Ленинграда — останься там, найди подходящую работу. Вечерами не шляйся, учись. Пройдёт два-три года — и сам себя не узнаешь. Город — великое дело.

— Спасибо за добрый совет. За чай с мёдом спасибо, — поблагодарил Терентий, собираясь уходить.

— Да ещё у меня к тебе просьба, — обратился к нему караванный. — У тебя глаз острый и совесть правильная, так ты на 39-й барже поглядывай за водоливами, чтобы не ленились, почаще спускались в трюм. Подмокнет товар — спасибо не скажут за это.

— Само собой понятно, — ответил Терентий. О сегодняшней размолвке с Копытиным он умолчал.

Время шло. Далеко позади каравана остались Кирилловский канал и быстрая, с переборами, Шексна. За Белозерским каналом начиналась лесная темноводная, глубокая Ковжа. Караванов с Волги, Камы, Шексны, Мологи и других рек тянулось к Ленинграду не мало, а буксирных пароходов не хватало без задержки проводить суда. Особенно много скопилось барж на вытегорском участке. Здесь на каждом километре в ноздреватых скалах были прорублены узкие, еле проходимые, как ущелья, шлюзы.

Караван за караваном растянулись в очередь без конца и края. На двадцать пятый день тихого плавания вологдолесовские баржи дотянулись до села Конева, что на Ковже, и остановились здесь на целую неделю. В пути не раз Терентий Чеботарёв, наедине с собой, задумывался о своей дальнейшей судьбе. Думы об учёбе в губернской совпартшколе не покидали его. Быть подготовленным политпросветчиком-пропагандистом казалось ему делом благодарным и нужным. К тому же он чувствовал себя если не способным, то склонным к этому делу. А время, такое острое и горячее, требовало в

крестьянской массе просветительной работы влиятельным большевистским словом. На баржах каравана в этом направлении Чеботарёву развернуться было негде. Иногда Терентий непрочь был бы побеседовать с бурлаками на антирелигиозные темы, но они не столько умом, сколько чутьём давным-давно перестали быть верующими, и божье имя приплетали по поводу и без повода к самым изошрённым ругательствам...

В предрассветном тумане чуть заметно проступали очертания низких домиков села Конева. Где-то сторож барабанил в доску, охраняя мужицкое добро от вороватых проезжих баловней—бурлаков. А те в свою очередь, сонно расхаживая по крышам барж, стерегли государственное добро, как бы кто-либо из ковжинских и коневских мужиков не позарился и, не протянул рук к экспортным доскам.

В эту раннюю пору, сидя на обрубке дерева, сторожил свою баржу Терентий Чеботарёв. Одолеваемый сном, он кивал головою, то закрывая глаза, то внозы раскрывая, прислушивался ко всем шорохам и звукам. О борта баржи тихо плескались речные волны. Далеко-далеко, в стороне бывших удельных заводов, слышалась запоздалая гармошка, и звенели весёлые голоса загулявшей молодёжи. Скоро из-за каргопольских лесов, тёмных и островерхих, поднялось солнце, и от тумана вмиг не осталось следа. Всё стало явственным, легко различимым. Терентий встряхнулся, будто спросонья, сбросил с крыши на берег трал, сколоченный из двух досок, сошёл по нему и, раздевшись, освежился купаньем.

На крышах барж один за другим показывались проснувшиеся водоливы. Начинался длинный северный день. К счастью, скоро подошёл долгожданный пароход, и караван потянулся в сторону Вытегры.

В этом уездном прионежском городке, пыльном, но довольно привлекательном, неожиданно кончилась бурлацкая «карьера» Чеботарёва. А было так: баржи причавив за город в Онежский канал, стали у береговых причалов, как и на предыдущих стоянках, на неопределённое время.

Вместе с другими бурлаками Чеботарёв пошёл в город поглядеть от нечего делать на дома, на людей, а если удастся — сходить в кинематограф. В уездном городе обязательно должно быть кино. Да, кино было

в комсомольском клубе, приземистом и вместительном.  
Размалёванная афиша сегодня вешала:

**ТОЛЬКО РАЗ, ОДИН РАЗ, ПРОЕЗДОМ,  
известный разоблачитель чудес господних**

**ПАУЛИ КЕССАРО**

**покажет вам сегодня химическим способом,  
как отцы духовные вызывали из дощатых икон  
слёзы богородицы и кровь христову.**

Сеанс сопровождается лекцией.

*Цены на билеты снижены до 20 копеек.*

Места не номерованы.

Начало в 7 часов вчера по местному времени.

Танцы по желанию публики до утра.

Терентий, не задумываясь, приобрёл билет. Как не сходить не посмотреть и не послушать учёного иностранца, осчастливившего вытегорских жителей своим краткосрочным пребыванием в их породе? Кроме чеботарёвского двугривенного, в кассу комсомольского клуба поступило полсотни рублей чистоганом, которые опытный артист не замедлил из кассы изъять и частично израсходовать в пивной «Северный Олень». Терентий пришёл в клуб не первым, все нумерованные места были уже заняты. Пустовал только бесплатный ряд для представителей уездных властей, кстати и они стали подходить один за другим.

Чеботарёв приютился под галёркой, полностью занятой пионерским отрядом.

Паули Кессаро, к великому удивлению Терентия Чеботарёва, оказался не кем иным, как Пашкой Косарёвым, соседом из деревни Попихи. Четыре года о нём не было ни слуху ни духу, а тут вдруг он словно из-под земли вырос, да ещё проездом, на эстраде вытегорского комсомольского клуба. Одет он был под иностранца: брюки серые полосатые наутюженные, пиджак зелёный в клетку, коричневый жилет в крапинку, яркокрасный галстук скреплён под горлом золочёной булавкой. Тощее брюшко украшено цепочкой беспробного польского «самоварного» золота. В руках у Пашки дутая трость с никелированной клюшкой.

— Прошу внимания! — тонким, пронзительным голосом обратился Паули Кессаро к публике, стоя спиной к закрытому ситцевому занавесу.

— Сейчас, граждане, прежде чем начать представление по разоблачению некоторых поповских так называемых чудес, я должен сказать несколько слов о роли и значении науки в борьбе с религиозными предрассудками...

Говорил он с полчаса высокопарными фразами и потому не для всех понятно. Открылся занавес. На двух венских стульях посреди сцены стояли рядом две иконы самодельного Пашкина письма. Справа христос, слева богородица с поленьким младенцем. Терентий не видел из-под галёрки, с помощью каких Пашкиных манипуляций богородица проливала слезы, а христос истекал кровью. Он даже не мог вникнуть в смысл объяснений безбожного «химика», унаследовавшего эту науку в немецком плену. Терентий думал о Пашке, о его ловкости, об умении жить на широкую ногу вполне независимо, вольготно и весело. Публика вскакивала с мест, заслоняя собою актёра-разоблачителя. После вступительного слова и сеанса с объяснениями Косарёв предложил задавать ему вопросы в устном и письменном виде. От Чеботарёва, в числе многих других, пошла по рядам следующая записка:

«Здравствуй, Павел Фёдорович, с каких это рыжиков ты ума рехнулся и величаешь себя Паулем Кессаро? Или так выгоднее халтурить? Или ещё что?.. Твой попихинский сосед Тер. Чеботарёв».

Как ни находчив был Паули Кессаро, записка эта вызвала на его лице краску смущения. Он повертел бумажку в руках, затем спрятал её в карман жилета и, разбираясь в других записках, сказал как бы между прочим:

— Здесь присутствует один товарищ, знающий меня. Прошу его, по окончании представления, подойти ко мне.

Было ещё светло на улице, когда распахнулся запасный выход, и шумная, вспотевшая публика хлынула из клуба. Позади всех, ссорясь с заведующим из-за арендной платы за помещение, важно шёл Косарёв. Папироса в уголке рта и презрительная гримаса подчёркивали его несогласие с требованиями завклубом.

— Больше пяти рублей за помещение я нигде не платил: в Олонце — пять, в Лодейном Поле — пять; сбо-

ры там, скажу по совести, были больше, чем здесь, а вы претендуете на десять рублей. Хоть бы клуб был, а то какой-то сарай. Ну, чорт с вами: вот вам семь рублей, и мы с вами незнакомы.

Косарёв слегка приподнял край фётровой шляпы, взял из чьих-то рук свой объёмистый чемодан и, оглядываясь по сторонам, пошёл в сторону пристани. Тон и характер его разговора с заведующим клубом поразили и на минуту столкнули Терентия. Он даже не хотел подходить к щеголеватому Пашке, не хотел заводить с ним разговор. Мелочен и чужд, с первого взгляда, показался ему Косарёв. И всё же они встретились, как соседи-земляки. Чеботарёв выглядел крепким, здоровым, жизнерадостным парнем, но, одетый слишком запросто в вышитую поношенную рубаху, в брюки с напуском на истёртые сапоги, он не произвёл на Пашку должного впечатления. Недаром тот, здороваясь с ним, небрежно сунул два пальца и скороговоркой фамильярно заметил:

— Ага! Вот ты какой стал! Очень рад видеть, как говорит пословица: гора на гора не идёт, а человек на человека находит. Ну-с, какими судьбами здесь? Как живёт наша Попиха? Пойдём-ка, давай, на пристань в чайнушку, посидим, поговорим о том, о сём и обо всём...

— Боюсь, как бы от своего каравана не отстать,— ответил Терентий на словоизвержение Косарёва.

— Ага, так ты значит бурлачишь. Не изволь беспокоиться, не отстанешь. Баржи-тесовки идут со скоростью украинских волов, так что пешим их обгонишь, если уйдут. Пошли в чайнуху!.. Пошли, пошли, пошли. Я буду угощать. Не часто своих встречаю.

В чайной Косарёв и Чеботарёв заняли столик в отдельной комнате. Подошла пухлая официантка.

— Прошу сменить салфетку и накрыть стол по-настоящему! — распорядился Пашка.

Официантка услужливо сняла со стола скатерть, вытряхнула за окно крошки и, перевернув скатерть на другую сторону, накинула на стол.

— Меню, пожалуйста! Тэк-с! Чайку с печеньем, водочки бутылочку, варёной колбаски, ага, есть ленинградское баварское пиво, четыре бутылочки с горошком,

яишенку пожалуйста, можно-о две... чего ещё? Пока и хватит. Прошу поскорей. Мой гость спешит.

За чаем с водкой и пивом, при хорошей закуске, земляки становились откровеннее и разговорчивей. Терентий, как мог коротко, рассказал Косарёву о незначительных переменах в усть-кубинских деревнях, кто женился, кто умер, в каких деревнях были пожары, кто из бывших богачей открыл торговлю в селе, и больше не находил, о чём ещё можно говорить. О себе ему рассказывать не хотелось, да это и не интересовало Пашку. Бурлак да и только. Весь налицо, как облупленный.

— Тэк-с, тэк-с, — поддакивал Косарёв, — а сколько же ты, дружок, зашибаешь на баржах? — поинтересовался он.

— Четыре червонца в месяц.

— Мой бюджет минимум четыре сотенки в месяц, а иногда и больше. Вот и сегодня сорок рубликов с гаком подработал, — похвастал Косарёв, разбавляя в кружках пиво русской водкой и заметно хмелея.

— Знаешь что, бросай ты свои баржи, поступай ко мне администратором, — предложил Пашка, закручивая вокруг пальцев длинные концы галстука, уставился глазами на Чеботарёва и, не дожидаясь ответа, сказал:

— Я тебе восемь червонцев буду платить.

«Восемь не четыре, — подумал Терентий, — деньги большие». Не без любопытства поинтересовался:

— А что я у тебя, Павел Фёдорович, буду делать?

— Круг обязанностей не широк: станешь афиши писать, билеты изготавливать и продавать, при входе контролировать. Разъезжая со мной по разным городам, станциям и сёлам, ты свет увидишь, в люди выйдешь. Культуры нахвататься, культуры!.. Ну-с, согласен?..

— Придётся подумать. Что караванный скажет.

— А при чём караванный? У тебя разве нет головы на плечах? Учти: я сделал тебе такое лестное предложение только потому, что ты Терёшка Чеботарёв из Полихи. Свой всему, как говорят, поневоле брат. Ну, будем здоровы! Пей, а то выдохнется..

В разговоре с Пашкой скоро Терентий стал покладистым.

— А и в самом деле, что мне баржи? Прирос я к ним, что ли?.. Но вот, Павел Фёдорович, до осени я

могу месяца два у тебя послужить,—надеюсь, ты ценой не обидишь, как сказал, — а осенью у меня думка — учиться.

— Ничего не имею против, учись. Поступай. Но, уверяю, и сам увидишь, тебя и палкой от меня не прогнать...

Они просидели до часу ночи. Посидели бы и ещё, но буфетчик попросил их рассчитаться и освободить помещение.

Окончательно земляки поладили на улице.

— Ладно, попытаю счастья! — согласился Терентий. Ударили по рукам, словно договор печатью скрепили.

В эту светлую, июльскую ночь Чеботарёв приплёлся на свою баржу последним. Два водолива и шкипер с присвистом храпели под тесовым навесом на корме баржи. Стараясь их не разбудить, Терентий собрал в чемодан свои пожитки и по трапу сошёл на берег, затем он поднялся на хвостовую баржу и постучался в избушку караванного.

Круглихин вышел, протёр кулаком глаза, почесал волосатую грудь и, выслушав его, сказал:

— Что ж, вольному воля. Ступай, не держу. За полпути расчёт потом с Вологдолеса требуй, я туда отпишу. На меня прошу не быть в обиде. Смотри, парень, не запутайся, не затеряйся, будь у добрых людей на виду. Не нарвись на прощальгу. Да вот, на-ко от меня на память, поскольку ты книгами не брезгуешь, возьми.

Круглихин подал ему на прощанье потрёпанный «Ветхий завет».

«Отказаться неудобно, а выбросить всегда не поздно», — решил Терентий и, положив книгу в фанерный чемодан, простился с караванным.

По берегу канала шёл он неторопливо к вытегорской пристани, где поджидал его ловкий, развязный, простой и загадочный Паули Кессаро, он же Пашка Косарёв.

## XXVI

В один из тех дней, когда Терентий Чеботарёв только начинал осваиваться на барже № 39, в усть-кубинскую читальню пришла Дарья Копытина.

— Мне бы советчика нашего Терентия Ивановича,— обратилась она к дежурившей девушке-комсомолке.

— Товарища Чеботарёва нет и не будет,—скромно ответила девушка, — должность его сокращена. Он ушёл бурлачить.

— Вот как! — изумилась Дарья. — Какому дураку вздумалось сокращать избача? Он к народу, народ к нему очень привыкли. Вот и у меня дело нашлось: пришла за советом. Пойду тогда прямо к Пилатову.

— Товарищ Пилатов на излечении в городе, — сказала девушка, — вместо него был Вересов. Вересов уехал в уезд, теперь Мякушкин за главного, идите к нему, если дело серьёзное.

— Да уж на что серьёзнее! — громко ответила Дарья и, поджав губы, поправила на голове цветистый платок, углуб спустившийся ниже её широкой талии.

Мякушкина она разыскала в конторе сельпо.

— К вашей милости, прошу прощения за помешательство вам; хотела к избачу с этим делом; избача нет, хотела к Пилатову — тоже нет, а вы, говорят, за главного. Значит к вам, больше не к кому.

— Какое у вас дело? — Мякушкин отвлёкся на минуту от бумаг, испещрённых цифрами.

— Дело не малое... Надумали лён сеять на подсеках да гарях.

— Ну и сейте на здоровье. Кто вам мешает?

— Никто не мешает, а помощь нужна. Мы думаем бабьей коммунией участок засеять льном.

— Коммунией?! Вот это забавно.

— Нет, это не забавно, а на самом деле, и вы должны нам помочь — дать займы пудиков десяток льняных семян.

— Где мы их возьмём?

— Где хотите. Если вы не против коммунии, так достанете из-под земли, а дадите.

— Забавно, — повторил Мякушкин и, заинтересованный ходом столь неожиданного дела, потребовал, чтобы Дарья рассказала ему подробно, как она додумалась до «бабьей коммунии».

Дарья, расстегнув на себе ватную кацавейку и спустив платок с головы на плечи, села напротив Мякушкина и бойко начала высказывать свои продуманные соображения.

Рассказала, как нынче ранней весной, едва только снег сошёл с болотных кочек, она ходила за Кубину собирать прошлогоднюю подснежную клюкву.

— Уж такая попадала клюква крупная да скусная — язык проглотить. Но дело не в клюкве. Набрела я в лесу на широкую, ровную подсеку, густо-густо заваленную сосновыми прутьями, сушняком. Вот если бы этот сушняк весь на месте спалить, смешался бы лесной перегной с золой от подсеочной гари, и пахать не надо, только железной бороной хорошенько поцарапать, и такой тут лён может вырасти!.. Можно бы и овёс или ячмень посеять, — рассуждала Дарья, — но лён выгоднее. Лён и зимой работу даст. Вырвать его, выколотить семена, потом разостлать на стлища, дать ленку отлежаться; потом пропустить через мялку, а в длинные осенние вечера бабам трепать лён одно удовольствие. Сиди себе, помахивай трепалом, обивай под ноги кистицу, да песенки напевай. А когда будет льна много наготовлено, можно часть попрясть на сети, часть сапожникам на дратву, а большую часть и селпо не откажется купить. Семена будут возвращены самолучшие, прибыль семян ещё останется к будущему году... Тогда уж кланяться к вам не приду, — заключила свою речь Дарья.

— Позволь, а кто, какие бабы будут обрабатывать подсеку, ужживать за льном и всё такое?

— Обыкновенные бабы, — заверила Дарья, — всё уже у нас сговорено и заявление составлено. Вот, возьмите. Тут подписались три вдовы-бобылки, да девять бурлацких жёнок из Высоковской запани. За неграмотных грамотные расписались. Дайте семена — управимся. Не дадите — до губернии доберёмся. Вас пристыдим, а семян займы добьёмся. Только не тяните, время не терпит. Я — сюда, а бабы у меня пошли сушняк окучивать да сжигать. Весна, сами знаете, днём раньше посеём, неделей раньше соберём...

«Ну, и громобой баба, — подумал Мякушкин, — от этой хлопотуны так просто не отвяжешься».

Он подумал, затянулся раз-другой пахучим дымом папиросы, снова подумал и решил помочь. На заявлении наложил резолюцию: «В комитет взаимопомощи. Отпустите 10 пудов льносемян гражданкам сего заявления взаимобразно до ноября с. г. Мякушкин».

— А если откажут? — усомнилась Дарья, принимая обратно заявление.

— Не откажут. В Комитете взаимопомощи делами ворочает моя супруга.

— Ну, тогда надёжно. До свиданьица!..

Десять пудов семян за три приёма Дарья на своих плечах отнесла в лодку. Довольная удачей, она загребала вёслами против течения, и хотя лодка двигалась тяжело и медленно, Дарья не чувствовала усталости. Размышляя о посеве льна, о хорошем урожае, о выгоде, которая должна быть получена, коротала в пути Дарья своё время.

На другой день она ещё раз осмотрела подсеку, там и тут, в двадцати местах поковыряла носком сапога рыхлую землю.

— Не земля, а сдоба, — говорила она, — никакой бог не простит нам, если такая подсека будет пустовать.

На бога Дарья ссылалась просто так, к слову. Раньше, конечно, она была сильно верующая, в церковь ходила, свечку ставила, просфору покупала. А теперь вот уже не первый год, как с богом у неё испортились отношения. Причин к этому было много: во-первых, бог всегда был непослушен, ни одной Дарьиной просьбы не выполнил; во-вторых, муженёк Николай к месту и не к месту упоминал в ругательствах божье имя, а все-сильный бог хоть бы что, спускал ему все оскорбления безнаказанно; в-третьих, когда в свои лучшие годы Дарья вдовствовала, дьякон Никашка Аверинов в пьяном виде, несмотря на свой священный сан, пригласил её в овин для серьёзных разговоров. Дарья из любопытства тогда послушала его, и с тех пор о духовных лицах у неё создалось особое, отнюдь не лестное мнение...

В тот же день все десять пудов льняного семени Дарья рассыпала на постилки, прогрела на солнце, затем провевала на ветру. Семена стали чище. В Филисове она выпросила напрокат четыре железных бороны. Лошадей не давали — самим нужны. Весна — для всех весна. Тогда Дарья надумала сходить в Попиху и Кокоурево, авось там кто-нибудь сдобрится, не откажет, даст на три-четыре дня пару лошадей. Попутно она привернула в Коровинскую школу, где вот уже второй год

учился её сынок Колька, а проживал они харчился у Дарьиной двоюродной зажиточной сестры в Баланине.

В большую перемену дети выбежали из школы на улицу. Колька сразу узнал свою мать, и так как ростом она была приземиста, кинулся ей на шею и повис, болтая ногами. Дарья еле отцепилась от него, поставила на землю и стала целовать сына в щёки, лоб и неприглядно, по-бараньи, постриженную голову. Ласковые слова так и сыпались из её материнских уст:

— Роднуля ты мой хороший, на-ко возьми пирожок с творогом, маленькой огуречик ты мой спеленькой, котёночек мой — красавчик ненаглядный.

Кольке даже стало неудобно перед ребятами от материнских похвал.

— Ну, ладно, ладно, отвяжись ты... — еле проговорил он, набивая рот пирогами.

Подошла учительница, высокая, стройная, с приятным миловидным лицом, белокурая Лидия Никандровна.

— Это ваш сынок?

— Мой, родимая, мой. Как он учится? — осведомилась Дарья.

— Шаловлив малость. Памятью туговат. Однако в третий класс нынче переведу.

— Спасибо, родимая, а шаловлив, так в кого же тихим-то быть? Отец-то его, Вася Росоха, буян был. А памятью тугсват, так память-то, почитай сама, отец ему повышиб маленькому. Бил частенько, родимая, и меня, когда я насносах была, бил и его потом, подхлёстывал за капризы. Где тут памяти быть?

— Вы, как заинтересованная родительница, можете побыть у нас на уроке, — вежливо предложила Лидия Никандровна и, посмотрев на ручные часики, тряхнула колокольчиком.

Пронзительный медный звон разнёсся по коровинскому пустырю. Ученики, толкаясь, опрометью кинулись в школу. За ними вместе с учительницей прошла и Дарья. Она встала в угол за печку, но так, чтобы сбоку видно было сына. Учительница предложила старшим решать задачу, а средние должны были сказывать заученные стихотворения. Очень понравилось Дарье, когда ребята вставали за партами и складно отчеканивали такие хорошие-хорошие слова книжной мудро-

сти. Ей хотелось, чтобы и её Колька не был обсевком в поле, не казался хуже других учеников, а вот так же красиво, слово за слово цепляя, будто бы кружево плёл, отвечая учительнице.

Лидия Никандровна, угадывая желания матери, спросила:

— Коля Росохин, ты сегодня выучил стихотворение?

— Выучил!—бойко ответил тот, поднимаясь за партой. Остаток пирога он сунул в ящик стола. Крошки творога посыпались на пол.

«Эх, самое-то вкусное, да под ноги и упало. Ну уж не стану поднимать», — подумал Колька не без юбиды. Подумал и сразу почувствовал, как отлично заученное им стихотворение кувырнулось в его голове.

— Ну, рассказывай...

Колька сначала выпрямился, опустил руки по швам, потом выпятил по-петушиному грудь и, гордый, не своим, дрожащим голосом начал:

— Стихотворение: Некрасов. — Мужичок с ноготок!

Однажды в студёную зимнюю пору,  
Я вышел в лес, а в лесу был мороз.  
Гляжу — поднимается медленно в гору  
Лошадка, везущая...  
Лошадка, везущая...  
Лошадка, везущая... творогу воз!

— Не творогу, а хворосту, — поправила учительница. — Вы не смейтесь, не смейтесь! — упрекнула она ребят. И голосом мягким, нежным сказала:

— Продолжай, Коля...

— Хворосту воз! — подчеркнул Коля и дальше побрёл, как в мутную воду против течения:

— Откуда дровишки?  
Скажи-ка родимый,  
Уж больно ты ловок, я погляжу...  
— Дрова-то из лесу,  
Ступай — поди мимо.  
Отец там ворует, а я отвожу...

Смеялись школьники, улыбалась, но больше не перебивала учительница. Он же храбрился, тужился и, неособоенно доверяя своей памяти, продолжал в том же духе:

— А звать меня Власом...  
Семья небольшая,  
Совсем небольшая.  
Нас двое с отцом мужиков,  
А остальные всё девки да бабы...

— Сядь, Коля! — учительница безнадежно махнула рукой. — Опять всё перепутал.

Дарья показала из-за печки и не пальцем, а кулаком погрозила сынку:

— Ох, выщипать бы тебе все волосы, да на колени в угол, на сутки!..

— На колени, гражданка, нынче ставить не полагается, — пояснила учительница. — Дети, как и взрослые, в нашей свободной стране должны быть сознательными.

— Ну, Колька, смотри учись хорошенько. Кончится учење, так ты в эту весну в Баланьине не держись, сразу к нам иди. Летом дело дома найдётся. Прощайте, родимая, да не беда, если бы и на коленях он постоял да подумал, как надо учиться...

Дарья тихо прикрыла за собой дверь. Урок продолжался. Колька, стыдливо склонившись над партой, украдкой пожёвывал пирог и давил на полу ногами рассыпанные злополучные крошки творога.

Прямым, наискось полуостровской поскотины, шагая по частым, шатким кочкам, не путём, не дорогой шла Дарья в Попиху. Через полчаса она уже была там. Давненько не бывала Дарья в этой деревушке. Вспомнила, как замуж выходила сюда за Ивана Чеботарёва, вспомнила вдовство своё и как тайком от соседей, оставив одного сироту Терёшку, вышла самоходкой замуж за Васю Росоху в деревню Преснецово. Вспомнила — и стыдно самой себя стало: «Какая я в ту пору придурок-недоумок была. Зачем, чего ради попнулась за Росоху? Подумаешь, сладость...». — Посчитала в уме годы, когда это происходило. Уже и Терёшка стал Терентием Ивановичем, в почёте по волости. А где та изба, в которой недолго жила Дарья в замужестве за Иваном? Оглянулась туда-сюда, нет той избы. На старом пепелище стоял куст рябины, пока ещё не покрытый зеленью. «Правда ведь, сгорела та изба», — вспомнила Дарья и пошла задворками к Михайлову дому.

С задворок посмотреть — Михайлова изба выглядит вроде бы по-старому. Спереди — совсем иное дело. Дом, как сундук. Струганым тёсом обшит передок. Палисадник пристроен, мезонинчик с козырьком на крыше. Крылечко с резными оконцами и балконом. С угла у палисада толстый столб вкопан в землю. За гремучее кольцо привязана лошадь. Пестерь сена-клевера под мордой. Жуёт, хрупает молодыми зубами лошадь, копытом скребёт мокрую землю. По тарантасу и сбруе определила Дарья — Прянишников в гостях у Михайлы и Еньки. Вот не во-время пришла! И какой такой сегодня день, чтоб гоститься?

В чистой половине Михайловой избы по-весеннему распахнуты окна. В одном окне широкая спина и красный затылок Прянишникова; в другом — Енькино плечо и в глубине ведёрный самовар. Остальное застолье с улицы не видать, зато отчётливо слышен разговор, каждое-каждое слово.

«Заходить или подождать?» — подумала Дарья и решила подождать. Села на большой синий камень с угла за палисадом. А разговор из избы так и льётся. Дарья внимательно прислушалась и различила степенный, неторопливый говор подвыпившего Прянишникова, отличила и Енькин пискливый голос от хриплого голоса Михайлы. Из баб, видимо, была одна Ефросинья — Енькина жёнка, да и та не вмешивалась в затянувшийся мужской разговор. Лишь изредка, угощая отца, свёкра и мужа, она твердила одно и то же:

— Кушайте на здоровье, кушайте на здоровье...

Послышался очередной звон рюмок. Чокнулись. До ушей Дарьи донёлся знакомый голос Прянишникова:

— Сегодня, если судить по прежнему, тезоименитство покойного его императорского величества. Эх, что бы было, если бы жив был царь!.. Выпьем, Михайло, Евгений. Как никак за тем царём мы двадцать с лишним лет жили...

Наступило непродолжительное молчание. Голос Михайлы:

— А всё-таки, Афиногеныч, я не верю, что царь убит. Не верю, да и только. Убили кого-нибудь другого. А государь живёхонек скрывается где-нибудь и со стороны поглядывает. Как только у большевиков дела не поладятся окончательно, он тут как тут явится и скажет:

«Беру отречение своё обратно, и будьте любезны, где мой трон?». Вот будет потеха!..

— Чепуха! — слышался голос Еньки. — Чепуха! Нет царя, ясно! — верещал Енька. — Да и к чему он, была бы вольная беспатентная торговля да налоги поменьше, тогда живи и при этой власти, как у Христа за пазухой.

Опять голос Прянишникова:

— Совершенны твои слова, Евгений, совершенны! Частная торговля — это всё. Это двигатель! Царя надо иметь в голове. Вот главное! И скажу прямо: здесь, в усть-кубинских краях, как только начнут сильными налогами прижимать частное производство, кустарей и торговцев, ну, тогда все разбегутся кто куда.

Голос Михайлы: — Кто же останется?

Прянишников: — Останутся в деревнях те, которые за землю держатся. Пахотники да коровники. Кустаря не удержишь...

— А куда они, кустари да торговцы, сунутся? — спросил Енька. — Ведь сам от себя никуда не убежишь.

— А кто куда. Одни в пролетарии уйдут, другие в городах на толкучках будут переколачиваться.

— А ежели толкучку прихлопнут?

— Ну нет, шалишь, толкучка живуча, её не прихлопнешь. А прихлопнут — будет подпольная торговля — из-под полы. Главное, чтоб было чем торговать... И ещё скажу вам в предупреждение, — понизил голос Прянишников, — от своего дружка-племянничка Румянцева собственными ушами слышал. Большевики хотят затопить всю Усть-Кубинскую волость, и Закушьё, и Уфтюгу, и Заднесельё прихватят.

— С чего бы это они стали нас топить, какую ты несурязицу несёшь, — возразил Михайла.

— Несурязицу? — слышался голос Прянишникова, ставший громче и грубее. — А вот увидите. Племянничек мне так доказывал: соберут большевики всех крупных буржуев со всей России и заставят от Кубенского озера через Чаронду на Каргополь и Онегу до самого Белого моря копать канал и строить плотины. И что же тогда по учёным предположениям окажется? В наших местах только Лысогорская колокольня не будет затоплена, да Спас Каменный на озере. И будут стоять вместо маяков.

Село и триста деревень по подозерью—это всё окажется на дне расширенного Кубенского озера.

— Сказки! — проверещал Енька.—Когда-то это ещё будет, да и будет ли. А пока у большевиков столько дыр штопать, что ой-ой-ой!..

Голос Прянишников: — За что купил, за то и продаю, только племянничек у меня не пустозвон. Он с самим председателем Губисполкома каждый день за ручку!.. Что касается меня, так я последний год у Николы-Корня живу. Забиваю окна-двери — и прости-прощай здешний край. Под Грязовцем куда раздольнее!.. Заводик у меня там маслодельный построен не чета здешнему. И опять же пути сообщения: по железной дороге куда хочешь—на Вятку, на Ярославль, в Питер—всюду рукой достать...

Ещё целый час, а то и больше тянулся в Михайловой избе разговор людей, охваченных стремлением к наживе, к обогащению.

Наконец Прянишников стал собираться. Дарья не захотела показываться ему на глаза. Перешла с камня за отвод. За крайней избёнкой, что с забытыми окнами, остановилась у древнего казённого столба. Стала по складам читать на серой доске чёрные, выжженные и просмолённые слова: «Деревня Попиха. От Устья Кубинского 4 версты. Мужеского пола 29 душ, женского 27, дворов 13».

На улицу вышли все трое: Михайла, Енька и Фрося. Дорог и люб им богатый гостенёк Прянишников. Енька помог тестю в тарантас сесть; Михайла взнуздал и подседлал мерина, погладил по хребту, похвалил:

— Добёр конь, добёр. Я бы и мерина своего и жеребца за этого коня отдал бы, да ещё и салоги сшил бы в придачу.

— У вас разве теперь две лошади? — спросил Прянишников, принимая из рук Фроси пеньковые вожжи.

— С самой пасхи две, — похвастал Енька, — жеребца приобрели, что-те тигра! Едва объездили.

— Глупо, глупо двух лошадей теперь иметь, — рассудил Прянишников, — лишний налог. А коль появились у вас в избытке деньги, так вы их норовите в товар вложить. А ну, поберегись!.. Счастливо оставаться!..

Только сейчас Дарья сочла нужным и удобным зайти в Михайлову избу. Михайла и Енька молча по-

смотрели на неё, как на пустое место. Ефросинья из вежливости защебетала:

— Ой, какая ты, Дарья, несчастливая, к холодному самовару пожаловала, сейчас только-только до тебя чай отпили.

— Подумаешь, не велика и гостья, — ответила Дарья. — Да я не чай распивать и пришла... — вопросительно посмотрела на Михайлу, потом на Еньку. — Я с докукой к вам, Михайло: не дадите ли мне лошадки дня на четыре поборонить?

Михайла удивился:

— Дня на четыре? Где ты столько земли хапнула, на четыре дня боронить?..

— Да у нас на подсеке пустырь. Земля-то общая, с безлошадными бабами затеяла лён сеять.

Дарья умышленно не назвала своё предприятие «бабьей коммунией», зная, что Михайлу поразило бы это слово, и тогда пришлось бы уходить ни с чем.

— На четыре дня? Так, так... — Михайла стал староват и в хозяйских делах нынче всё чаще и чаще советовался с Енькой. Он и сейчас обратился к сыну:

— Давай, Еня, дадим ей рыжего мерина на четыре дня, а она за это в августе в жнитво пусть нам отработает с серпом деньков двенадцать.

— Можно! — согласился Енька.

— Двенадцать дней! — возмутилась Дарья, — двенадцать дней отработывать? Что ты, Михайло! Есть ли крест у тебя на шее? Не много ли будет?

— Крест тут не при чём. Сравни сама: бабья сила или сила лошади? — вмешался в разговор Енька. — Попробуй-ка, перетяни нашего мерина.

Сторговались и на том решили: Дарья или другая из баб отработает за лошадь десять дней.

Верхом на Михайловом Рыжке коренастая низкорослая Дарья сидела как богатырка. Старый хомут, подтянутый шлейей, не ёрзал на шее лошади, а плотно прилегал к мускулистым плечам. Но одной лошади для обработки пустыря мало. Дарья ещё рассчитывала на помощь Николая Серёгичева. Тот не пожадничает, даст, хотя Сивка у него слабосильна и старовата.

Николай Фёдорович жил в тесной комнате порознь от двух своих отделившихся меньших братьев. Семья у него была большая. В тесноте да в суете Дарья не

сразу смогла сосчитать всех его детей. Полдюжины насчитала, потом сбилась, так как дети часто стали выбегать из избы и перемешались с ребяташками соседа Бородулина.

Серёгичев сидел в углу на табуретке и сапожничал. Он отложил работу и освободил для Дарьи место на лавке.

— Садись да хвастай, как с Копытом поживаешь. Вот везение бабе, третьего мужика со света сживает,— пошутил Серёгичев.

— Да, уж везение! С Копытом живём ни шатко, ни валко, ни на сторону, а в общем сносно. Сейчас я без него. Бурлачит... Я к твоей милости, Николай Фёдорович.

Не спеша рассказала Дарья о своих намерениях, о том, как уговорила она двенадцать баб сообща обработать подсеку и посеять лён, рассказала о добытых семенах и о том, что нужны три-четыре лошади для обработки участка.

— А вы хоть пни выкорчевали? — перебил её Серёгичев.

— Нет, мы промежду пнями засеем. Пни нам не под силу. Мешают, правда, но как-нибудь.

— Не как-нибудь, а как следует, нельзя, почём зря, труд затрачивать...

Похвалив Дарью за её предприимчивость и назвав её первой ласточкой в волости, Николай Фёдорович согласился сам на своей лошади приехать помогать в работе артельным женщинам.

Утром у Дарьи Копытиной на подсеке собралась вся артель.

Серёгичев, засучив рукава, без пояса в холщовой рубаше с расстёгнутым воротом, подкапывал, подрубал корни у пней и корчевал железным заступом. Пот лил с него в три ручья. Толстый сосновый пень иногда никак не поддавался его прубой мужицкой силе. Тогда Николай Фёдорович подводил к неподатливому пню сразу двух лошадей и зацеплял за него цинковые постромки. Пень с треском наклонялся, подчиняясь силе лошадей. Выхваченные из земли вместе с разлапистыми корнями, пни оставляли на подсеке взрыхлённые пятна. Так пень за пнём, в четыре дня тринадцать женщин с помощью Серёгичева расчистили, выровняли весь участок и посеяли десять пудов льняного семени.

Дарья была радехонька. Руки у неё так раззадорились, что хотелось найти ещё такую подсеку и разделить себе на пользу, людям на загляденье. Но и сделанного для начала было не мало. Лишь бы погода простояла хорошая, ни засушливая, ни сильно дождливая. Торжествуя, Дарья оглядела всю засеянную подсеку, потом низко в пояс поклонилась соседкам:

— Спасибо вам, бабоньки сговорные да на деле проворные, спасибо. А потом, по осени и сами себя вы поблагодарите. Труд наш не пропащий. Ну, бабоньки, — говорила она, — спасибо и Николаю Фёдоровичу, пособил. Будем ждать хорошего урожая. Что народится — всё нам пригодится...

А Серёгичев, по окончании посева на подсеке, разогревал на костре чайники для последнего чаепития, не переставал восторгаться:

— Твой почин, Дарья, очень дорог. Погоди, будем живы, увидишь: когда частные хозяйчики переведутся, когда всюду труд станет общим, на этой подсеке, вон к тому дереву, прибьют медную доску со словами: «Первый коммунарский участок обработан был артелью Дарьи Копытиной». Шутка ли целое поле! Про вас, бабы, в газете надо пропечатать. Дело-то не маловажное. Причиной тому ты — Дарья. Да ты не красней. Без запевалы и песня не поётся...

К чаю не было сахара, бабы где-то достали две кринки мёду. Вгустую намазали мёдом ломоть хлеба во весь каравай, поднесли Николаю Фёдоровичу.

— На, посластись на здоровье.

— Куда мне столько?!

— Уместится. С мёдом-то и долото проглотить можно.

Дарья расставила на лужайке чайные чашки. Расселись в кружок утолять чаем жажду. Пот прошиб — и ещё пили и, кажется, не напились.

Весёлые возвращались с работы. Хотела Дарья в тот же вечер сама отвести лошадь к Михайле, но Серёгичев, пристегнув Рыжка за повод к своим дрогам, сказал:

— Не беспокойся. Ступай спи-отдыхай. Лошадь я доставлю. И не вздумай потом Михайле десять дней отрабатывать. Жирно будет! Что такую бабу, как ты, в три раза дешевле лошади считает? Хватит день за день, да и того много...

Спускались белёдые, полные кубинскими речными туманами весенние сумерки. В оранжевом небе с огненной россыпью долго горела и не гасла вечерняя заря.

## XXVII

Терентий опомнился и спохватился скоро. От Вытегры до Ковжи он спал в каюте сном праведника. Проснулся, с непривычки шумело в голове. Спустился с верхней койки, открыл окно. Свежий воздух и яркий утренний свет, ворвавшись в душную и тесную каюту, быстро его отрезвили. Обуваясь, поглядел он на спящего Косарёва. Тот, неразутый, лежал на нижней койке. Один глаз закрыт, другой, не мигая, смотрит наискось в потолок. Чеботарёв вспомнил, что у Пашки, вернувшегося из немецкого плена, один глаз был стеклянный.

— Пусть спит, — решил Чеботарёв. — Не дело «администратора» беспокоить своего хозяина. Пусть спит, знает ведь, куда ему ехать, а куда ему — туда и мне, стало быть...

Около какой-то пристани, приютившейся между двух высоких берегов за Вытегорским каналом, Терентий запер Косарёва на ключ в каюте и вышел на палубу проветриться.

Солнце поднималось всё выше и выше. За Ковжей-рекой в зелёной роще соловьи начинали свой утренний концерт. И, как бы из зависти стараясь помешать соловьиному пению, слышались кричающие грубые голоса коростелей.

Небольшой винтовой пароход почти бесшумно подошёл к пристани и хрипло свистнул раз и другой. Посадка пассажиров скоро была закончена. К пароходу вдруг подбежали, запыхавшись, парень с девушкой. Девушка тащила в руках плетёную корзину, а парень держал на плече крашеный сундук внушительных размеров. Сунулись они было на пароход, но помощник капитана небрежно отстранил их:

— После отвального свистка посадка не положена.

— Ради бога, пустите! — боязливо оглядываясь, взволнованно проговорила девушка.

Парень тоже настаивал:

— Пожалуйста, захватите нас. Если полагается штраф, я уплачу.

— Какой богач нашёлся... Ну, проходите живей! — внял их просьбам помощник капитана.

Девушка без чулок, в полусапожках, сверкнув голеними ног, взбежала на пароход. Парень, поспешая за ней, задел дном сундука за лапу якоря, лежавшего на пристани. Днище сундука оторвалось, и всё содержимое — девичьи наряды и разные безделушки — полетело в воду между пароходом и пристанью. На палубе раздался дружный весёлый хохот. Чужое горе — людям смех. Парень растерянно заголосил:

— Агнюша, глянь-ко, все твои наряды поплыли!..

Агнюша обернулась и от ужаса взвизгнула, точно её придавили:

— Ой, спасите!..

Парень сердито швырнул в воду пустой бездонный сундук и, с видом храбреца, сказал девушке:

— А ну к лешему!.. Не плачь, Агнюша! Не в тряпках счастье.

Один из матросов успел подхватить багром и вытащить два платья и женскую сорочку.

В пути Терентий подсел к этой молодой паре и заговорил:

— Поспесишь — людей насмешишь. Всё добро в Ковжу высыпали, не жалко?

— А жалко, так плачь! — сердито ответил парень и властно положил руку на плечо девушки.

Та прижалась к нему.

— Поженились? — спросил Терентий.

— Как видишь, — бесхитростно, не глядя ни на кого, протянул парень.

— Сегодня только замуж увожу... Девка самоходкой идёт.

Девушка ласково посмотрела на жениха и, закрыв глаза, чтобы не было стыдно людей, ещё пуще к нему прижалась.

«Чорт возьми! — подумал, глядя на эту пару, Терентий. — Живу я, как неприкаянный: ни кола, ни двора. Клад бы найти да жениться, что ли? Небось, за меня богатого Тоня Девяткова и та бы пошла!.. Нет, — передумал он, — Девяткова скорей выйдет за умного, нежели за богатого... А я до сих пор девок боюсь. А этот, кажись, моложе меня, а уж самоходку прёт... Вот отчаянная башка!..».

— Тебе сколько лет? — спросил Терентий парня.

— Все девятнадцать.

— На два года меня моложе, — промолвил Терентий и добавил без злого умысла: — Говорят, после каждой женитьбы сразу одним дураком больше становится...

Парень добродушно ответил:

— Тебе никто не мешает в умниках оставаться, — и никого, кроме своей невесты, не замечая, он чмокнул её в губы.

Девушка даже глаз не открыла, только улыбнулась ему трогательной улыбкой.

— Вот черти! — восхитился Терентий и снова подумал: «Есть ли в эту минуту на земле люди счастливее их?..».

И, мысленно пожелав им длительного счастья, он задумался о самом себе, о своём новом положении в жизни. А положение было шаткое. Думал долго. Невесело что-то на его душе. В эти часы раздумья казалось ему, что если он раньше не замечал своих ошибок, проходя мимо них, ничуть не заботясь о том, ладно или неладно произошло в его жизни, то теперь, примкнув к бродячему артисту, он не на шутку начал терзаться мыслью, беспокоиться, как бы вообще не случилось с ним серьёзных неприятностей в обществе этого беспечного и, кажется, жуликоватого земляка...

Терентий не довёл до конца своих размышлений, подошёл сзади Косарёв и, ударив его рукой по плечу, сказал:

— Хорош дружок, запер меня в каюте и ушёл. Пришлось через окно вылезать. Где мы едем?..

— Скоро Белозерск.

— Прекрасно. В Белозерске на прошлой неделе я выступал дважды. Там мне делать нечего. Поедем до Череповца. Голова что-то трещит. Надо заказать шёкснинскую стерляжью уху. Хочешь?.. Пойдём закусим?..

— Моё дело маленькое, твоё дело хозяйское. Угощай.

Спустились в каюту. Пока готовилась стерляжья уха, Косарёв насвистывал «Кирпичики». Терентий на досуге рассматривал подаренную караванным книгу «Ветхий завет». Перелистал, положил на столик.

— Знаешь что, Павел, — заговорил Терентий деловито. — Поскольку я поступил к тебе помощником, а

поступил я не только ради личной выгоды, но и потому, что твои выступления направлены против бога и религии, то я их вполне, значит, разделяю. И больше того: я способен сам кое на что и непрочь для пополнения и оживления твоей программы выступить, скажем, с исполнением собственных стихов на антирелигиозные темы...

— Вот как! Смотри, не заткни меня за пояс. Ты стихи сочиняешь? — удивился Косарёв и засмеялся.

— Для собственного употребления практикуюсь иногда маленько.

— А ну, давай, подекламируй.

Терентий прочёл несколько своих недоношенных, простоватых, но довольно «складных» стишков. Критический потолок у Павла Косарёва был не очень высок. Он одобрительно похлопал Терентия по плечу и поспешно отозвался:

— Да это же талантливо! Вот не знал, вот не знал. Да ты знаешь ли, как это кстати будет! Ну, что ты предлагаешь добавить от себя к моей программе?

— У меня такая мысль: ты разоблачаешь поповские чудеса на примерах с иконами, а я вот этот «Ветхий завет» преподнесу в сопровождении собственных стихотворных пояснений. Только вот придумать надо.

— Валяй. Получится — выступишь. Не получится — не велика и потеря.

Официант, плавно покачиваясь, держа на трёх растопыренных пальцах поднос с двумя тарелками стерляжьей уха, важно и торжественно вошёл к ним в каюту.

— Пожалуйте-с! Что ещё прикажете-с?

— К такой ухе водка сама просится, — сказал Косарёв. — Как, Терёша?

— Пей один, я ни капли не буду. Я жалею, что и вчера попробовал с тобой выпить, только уж так при встрече, а то бы ни по чём не стал. Водка мне противна.

— Хорошо, трезвенник. Будьте добры — один стакашек водочки. Ему, конечно, чаю стаканов шесть, — пошутил Пашка, кивая на Чеботарёва.

— Не издевайся. Уха не нуждается в чайной приправе.

— Совершенно верно-с! — поклонился официант, — они изволили пошутить. Мы это понимаем!..

Официант был из прежних, бывалых, понимал толк в пресезжих людях. Косарёв внушал ему всем своим видом и поведением надежду на то, что от него может перепасть на чай, хотя в первом классе парохода и были вывешены на видном месте печатные ярлыки: «Официанты на чай не берут», «Чаевые унижают достоинство человека».

Подкрепившись довольно вкусной ухой, Терентий взял «Ветхий завет» и, оставив в каюте одного Косарёва, уединился внизу на корме, стал готовить свой «номер» в программу первоочередного сеанса Паули Кессаро.

Рифмованные строки записывал карандашом на полях книги:

Вот книга «Ветхого завета»,  
Её читали мы не раз,  
Но в этой книге правды нету,  
Могу уверить вас.  
Открою первые страницы  
И, начиная с верхних строк,  
Прочту, какие небылицы  
Шесть дней творил премудрый бог!..

Так начал Терентий своё вступление к скороспелой и, как ему, вообще, казалось, полезной вещи. Затем он дал соответствующую, с его точки зрения, оценку действиям седовласого Саваофа и подробно остановился на создании человека — Адама.

Получалась целая антирелигиозная поэма!

Терентий не помнил, сколько времени просидел он на корме парохода. Утомлённый, он смотрел помутневшими глазами на седые буруны, неотступно бежавшие за кормой.

Вниз по Шексне пароход шёл стремительно. День подходил к концу. Миновали Иванов Бор и Топорню, не так далеко осталось ехать до Череповца, — ещё каких-нибудь две-три пристани. Терентий вернулся в каюту. После стерляжьей ухи, как видно, Косарёв продолжал трапезу. Перед ним стояли две опорожненных бутылки. Захмелевший Пашка глуповато улыбался. Вошёл официант. Вежливо справился:

— Вы до Череповца?

— Да, до Череповца, — важничая, ответил Косарёв, — но если понравится, мы можем и до Рыбинска без пересадки.

— Будьте добры, вот счётик-с!..

— Деятнадцать рублей и сколько-то копеек? — небрежно прочёл Пашка. — Чепуха! Это совсем по-божески. Не то, что в Ленинграде, где в ресторанах нещадно дерут. Ну, знаете ли, там такие тузы нэпманы, что они могут вас купить вместе с этим пароходом. Для них пароход, это всё равно, что простому смертному калоши купить.

Положив счёт на тарелку, Пашка сказал:

— Будьте добры ещё скляночку, коньяку, фунтика два яблоч, расчёт потом...

Официант, извиваясь, удалился, быстро принёс заказанное и, сказав — «Кушайте на здоровье», ушёл снова.

— Пей, Терёша! Это же не что-нибудь, коньяк!

— Не буду.

— Почему? На нашем деле нельзя не пить. Куда же деньги девать?

— Для денег дыр хватит.

— Да, ты не в отца. Того я, конечно, помню лучше твоего. Я тебя значительно постарше... Да, покойный твой отец водочку хлестал здорово...

— А я пить не хочу, не могу и не буду, ты напомнил мне об отце, — проговорил Терентий и глубоко задумался.

Ему представились картины безрадостного детства: пьяный отец, обруганная, избитая мать. С похмелья за верстаком сидит хмурый, неразговорчивый отец, сапожничает. Мать, повязанная платком, около печки, на железном противне выпекает ячменные любимые калачи...

— Нет, я пить не буду, — наотрез отказался Терентий и отставил рюмку с коньяком.

Между тем пароход подходил к Шекснинскому железнодорожному мосту. За мостом пристань. На высоком левом берегу Шексны село Устье-Угольское. Беденькое село, не чета Устью-Кубинскому, но всё же село — волостной центр с подобающими учреждениями.

Как ни пьян был Косарёв, но корыстная сообразительность не покинула его в эту минуту. Он почесал

свою чрезмерно лохматую голову, поморщился и, ударив ладонью по столешнице, твёрдо решил:

— Терёша, бери билет в зубы, а твой и мой чемоданы в обе руки, выходим здесь. В Череповец ехать я раздумал.

— Почему?

— Объясняться будем на берегу, — засмеялся Косарёв. — Сказано — выходим здесь!..

— Моё дело маленькое, куда игла — туда и нитка, — послушно отозвался Терентий и, так как был уже второй свисток, схватив чемоданы, поспешно направился к выходу.

Прошло две-три минуты. Косарёв вышел за ним. Пароход отвалил от пристани.

А потом, сидя с Терентием на своём чемодане, пьяный Пашка таращил вставной стеклянный глаз, а другим, настоящим, подмигивал вслед уходившему пароходу и, помахивая шляпой, насмешливо говорил:

— Мерси, камрад-официант, прошу прощения, позабыл я с вами рассчитаться за коньячок, за стерлядку и прочее. Позабыл-с!..

— Да ты, видать, с намерением позабыл? — возмущённо спросил Терентий.

— Не всё ли равно. Деньги всегда и везде пригодятся. Надо их уметь экономить.

— Ну и ну! Как это называется? Подлость? Мелкое жульничество?.. Не думал я, что ты такой... гаденький!..

— Как хочешь, называй, мой грех, я в ответе. — Пашка нагло захохотал и, взяв чемодан, поплёлся к волостному исполкому.

Терентий шёл позади него и ругал себя за то, что ушёл с баржи с этим, как теперь ему стало ясно проходившем.

В исполкоме Косарёв подошёл к телефону и ухитрился соединиться с Вологдой.

— Алло! Это Вологда? Дайте железнодорожный клуб, заведующего... Благодарю... Здравствуйте... Говорит с вами известный научный артист, лектор-разоблачитель Паули Кессаро. Предлагаю свои услуги — выступить в первую очередь в вашем, затем в других клубах города. Тема — разоблачение различных проделок духовенства. Могу завтра вечером. Прошу иметь в виду.

В печати объявлений не нужно. Обойдёмся афишами. Будьте здоровы! Что? Билеты? Не свыше полтинника первые места. Всего! Кланяюсь!..

Вышел из исполкома довольный, неунывающий. Заметив опечаленного Терентия, Пашка хотел развеселить его:

— Что, Терёшенька, не весел, отчего ты нос повесил? Дела у нас начинаются неплохо: сегодня гуляем на станции Шексна, завтра выступаем в Вологде в клубе железнодорожников... Понимаешь, телефон, — замечательная вещь телефон. Две-три минуты разговора — и готово дело. Удобство-то какое!.. А не помнишь ли ты, у нас там по соседству с Попихой стояла мельница-ветрянка. Бывало старик-мельник Николаха Королёв залезет на мельницу и за версту кричит в поле:

«Машка! Иди домой, ставь самовар!...».

Та разогнёт спину на жнитве, голосу нехватает, возьмёт да снопом ему в ответ помашет: «Иду, дескать, иду!...».

— Погоди, дай срок, и в наших деревнях со временем будут телефоны, и радио будет. Кинопередвижки появились, не говоря уже о библиотеках-передвижках, те давно есть. Ты, Павел, оторвался от деревни, тебя не трогает и не интересуется её жизнь, — с упрёком проговорил Терентий. — Если говорить правду, так, на мой взгляд, как я теперь точнее понял, ты и с религией-то борешься как ремесленничек, постольку-поскольку, да ещё с помощью каких-то халтурных махинаций, которые приносят тебе выгоду на пропой души.

Разговор Косарёву определённо не понравился. Недовольный артист-разоблачитель почувствовал, что ему с «администратором» долго не ужиться. Ночь провели на мягкой траве в садике около вокзала. Ночь была тёплая, тихая, светлая.

Терентий безмятежно спал. Косарёв тут же, где они примостились, пропивал оставшиеся от вытегорской выручки деньги. Кстати сказать, он не имел бы ни гроша, если бы не сбежал с парохода, не рассчитавшись с официантом.

Днём подошёл к станции поезд Ленинград — Новосибирск, на две-три минуты остановился.

— Как же без билетов? — тревожно спросил Терентий своего временного хозяина.

— Я никогда не покупаю билета на близкое расстояние. Подумаешь, тут всего четыре часа езды. Веди себя скромней, если не умеешь быть нахальным. Положись на меня — и поехали. Беру мой чемодан, шагай за мной!

— Нет, я на последние гроши, но билет возьму, не хочу неприятностей, — и побежал в кассу.

В переполненный вагон Косарёв входил приосанившись, как большой начальник.

Проводник остановил его:

— Ваш билет?

Косарёв обернулся и, роясь в бумажнике, небрежно ответил:

— У меня провизионка по всей Северной железной дороге...

Проводник молча посторонился.

— Едем по специальному вызову железнодорожного начальства, — как бы мимоходом сообщил Косарёв, а спустя несколько минут, вынув из кармана записную книжку и карандаш, стал допрашивать проводника:

— Номер вашего вагона?

— 2832 — постоянный, составной на сей раз, как изволили заметить, номер шесть.

— Почему он так на ходу подозрительно поскрипывает и колёса что-то фальшивят?

— Не могу знать, на то есть надсмотрщики.

— Надсмотрщиков вы должны предупреждать. Когда ваш вагон был в последний раз в ремонте?

— До революции.

— Ну, тогда всё понятно — важничая, заключил Косарёв и для видимости почёркал в записной книжке. Поглядел под ноги, спросил строго:

— Вероятно от самого Ленинграда пол не подметался? Халатность! Разгильдяйство... Куда начальник поезда смотрит? Подметите сейчас же, не то в Вологде могут акт составить.

Проводник молча взял чайник, поплескал на пол и, задевая за ноги пассажиров грязным веником, ворчал:

— На вас не наподметаешься. Сорят и мусорят всё время. Окурков воз. Шелухи всякой — полвагона. Да что же это, граждане, будете когда-нибудь уважать труд проводников? Вот как начну штрафовать...

Косарёв подмигивал Терентию:

— Учись, как надо ездить. Хочешь, заставлю проводника нас чаем напоить?

— Брось глупости, — удивляясь Пашкиной развязности и нахальству, — тихо ответил Чеботарёв. — Я вижу, ты не доедешь без неприятностей.

— Порядочек, — коротко заметил Пашка. — Никских заторов!.. Вот увидишь.

Когда поезд подходил к Вологде, случилось небольшое дорожное происшествие: в одном купэ подвыпивший пассажир, полагая, что окно открыто, швырнул в него порожнюю бутылку. Стекло разлетелось вдребезги. Пассажир с перепугу сразу стал трезвее.

Косарёв рад такому случаю:

— Прежде всего, не волнуйтесь, граждане, порядочек установим. Далеко ли едете? — спросил он провинившегося пассажира, доставая свою магическую записную книжку.

— До Вятки, — покорно ответил тот, почувствовав перед собой блюстителя порядка.

— Придётся вас высадить в Вологде, или сию же минуту платите штраф: за нахождение в вагоне в нетрезвом виде — три рубля, за разбитое стекло в десятикратном размере четырнадцать рублей. Итого семнадцать...

— Весёлое дело! — сказал пассажир и, будучи видимо не из бедных, протянул Пашке два червонца.

— Сдачу и квитанцию от меня получите на остановке в Вологде, — ответил тот.

Разумеется, ни квитанции ни сдачи доверчивый пассажир не получил и поехал дальше, а Косарёв вместе с незадачливым своим «администратором» на извозчике подкатил к гостинице «Славянка».

Терентий недоумевал и удивлялся:

— Ну, и свела меня судьба с тобой! Чорт знает, что ты за птица! И как у тебя легко и просто получается, и как это всё гладко с рук сходит?! Да тебя в милицию за такие проделки следует отвести!..

В Вологде Паули Кессаро определённо не повезло. В клубах потребовали от него визу на выступления. В агитпропе губкома, куда он явился с меньшим шиком и большей осторожностью, присмотревшись к Пашке и его программе, сказали:

— Ваши выступления, мягко выражаясь, легковесны и не нужны. А проще говоря — халтура. Займитесь другим делом...

Работник агитпропа Владимир Николаевич Новосельцев понимал и допускал только настоящую научно-обоснованную антирелигиозную пропаганду. Он сам не раз выступал в публичных диспутах против митрополита Александра Введенского и считал, что бороться с религиозными предрассудками надо умело и убедительно. Косарёва он тотчас же распознал как бродячего халтурщика.

Терентию Пашка, не моргнув единственным глазом, соврал:

— Был я в губкоме. Там очень заинтересовались и сказали, чтобы я здесь не тратил зря драгоценное время, а поехал в уезды проповедать суеверных. Придётся ехать, — вздохнул он. Вид у него был не совсем весёлый. — Надо ехать, — повторил он. — Губернское начальство больше знает, где я пригодней. Надо обдумать, куда ехать. Сокол, Грязовец, Кадников, Тотьма, Устюг, — пригибая пальцы, начал перечислять Пашка города и крупные посёлки Вологодчины и незаметно для себя проговорился: — Там мы будем, как рыба в воде, не то, что здесь... Никто нам с тобой там не мешает...

Терентий понял. Он молча слушал Косарёва и мысленно осуждал собственную глупость. «Есть ли ещё на свете дурни, подобные мне? Наши вологдолесовские баржи теперь к Ленинграду подходят, а я сижу и слушаю этого обалдуя. К чорту, надо от него немедленно оторваться. Караванный-то правильно меня предостерегал...».

Словно угадывая, о чём думает Чеботарёв, Пашка стал его убеждать и успокаивать.

— У тебя, Терёша, мужицкая душа. Тебя словами не убедить. Зря ты мне не веришь. Я вижу по твоему лицу, сомневаешься ты. Тебе всегда надо делом доказывать. Пойдём-ка в ресторан, закусим.

За столом Пашка сознался:

— Если бы тот пассажир не вышиб в вагоне окно бутылкой, нам бы сейчас пришлось вхолостую щёлкать зубами.

Ночевали в номере. Косарёв — на кровати, Терентий — на клоповом диване. На другой день Пашка долго хмурился, соображая, что делать, как быть. Достал из чемодана портфель, порылся в бумагах, очинил несколько карандашей, посидел, подумал и пригласил Терентия в ресторан обедать.

— Но ведь у тебя, как у турецкого святого, ни гроша за душой, — усомнился Терентий.

— С деньгами и дурак живёт, попробуем так.

— За твои «пробы» придётся, пожалуй, в милиции отвечать.

— Пойдём, пойдём — решительно настаивал Косарёв, — к чему мне деньги, если я сам золото...

— Ночное! — заметил Терентий.

— Прошу не оскорблять! А при посторонних людях быть со мной даже почтительным для пользы дела.

По лестнице они спустились из номера в ресторан «Славянка». Нескладный оркестр из полудюжины скрипачей, надрываясь, исполнял какой-то цыганский романс. Косарёв и Терентий сели за свободный столик. Напротив компания губернских дельцов и нэпманов наслаждалась благами кафе-ресторана. Пахло спиртным и жареным. Терентий, теряя всякую надежду на обед, плевался и отвертывался от Косарёва. Мягко подошёл к ним официант, спросил вкрадчиво:

— Чего изволите?

— Будем пить и закусывать, но пока подождём маленечко, — деликатно отозвался Косарёв.

«На что он надеется?» — подумал Терентий и от нечего делать стал рассматривать посетителей. Все они нарядны и самодовольны. Взглянул Терентий на себя и сразу помрачнел. Он молод, полон сил, но в карманах и желудке безнадёжная пустота.

А Косарёв следит за публикой, будто коршун выслеживает зазевавшуюся добычу, кому-то широко улыбается, пялит по сторонам стеклянный искусственный глаз.

— Следи за мной, сейчас начну сеансы... — шепнул он, толкнув Терентия ногой.

Достав из портфеля несколько листов александрийской бумаги, карандаши, Пашка начал рисовать первую попавшуюся ему на глаза обрюзгшую физиономию сидевшего напротив нэпмана. Зарисовка была сделана

быстро и удачно. Терентий изумлённо следил за его работой и ждал, что будет дальше. А тот, беря бумагу, лист за листом, нарисовал один за другим пять портретов. Затем подошёл к пьяной компании и вежливо раскланялся:

— Не угодно ли, друзья, познакомиться?! Я свободный художник Паули Кессаро. Рисую быстро и точно, особенно тех, кто пропивает народные деньги. Можете убедиться, друзья!

— Действительно, какое сходство!

— Ловкость рук и никакого мошенства! Ай, плутяга!

— Гляди, как живые! Александр Капитонович, полюбуйтесь! Видали, какой оптик?!

Через минуту Косарёв сидел в кругу пьяных дельцов и опоражнивал стаканы хмельных напитков.

Потом он пригласил к столу Терентия и отрекомендовал его, как своего ближайшего помощника. Терентий присел на предложенный стул, а через несколько минут, незамеченный, ушёл спать. Он не слышал, когда возвратился Косарёв.

Проснувшись на рассвете, Чеботарёв хмуро взглянул на Пашку. Разметав одеяло, тот лежал поперёк кровати и храпел. На стуле валялись его полосатые штаны с подтяжками. Шесть помятых червонцев, очевидно легко заработанных вчера Пашкой, лежали на подоконнике. Чеботарёв, недолго думая, решил с ним развязаться. Уходя, оставил записку:

«Не захотел тревожить твой сладкий сон. Спи спокойно, Паули Кессаро. Мне с тобой не по пути. Сегодня — завтра соберусь в Устье-Кубинское, а в сентябре, надеюсь, приеду учиться сюда в Вологду. Надо ковать железо, пока горячо, учиться, пока молод. Т. Ч.»

## XXVIII

Терентий вышел с фанерным чемоданом на площадь Свободы. Приютился возле витрины книжного магазина. Перечитал названия всех выставленных книг. Затем его внимание привлекли крепкие, босоногие девчата, начавшие задолго до восхода солнца подметать пыльную площадь и замусоренные тротуары. Девчата-северянки пришли в город на заработки из далёких тотемских

деревень. В длинных платьях с подоткнутыми подолами, шли они в ряд, как на покосе. Любая из них на тяжёлой работе легко справится одна вместо трёх щупленьких городских мещанок.

Терентий стал присматриваться к девушкам. Переступая босыми ногами по холодным лысынам булыжника, широко размахивая мётлами, они поднимали вокруг себя столько пыли, что, будь это днём, никто не подошёл бы к ним шагов за сорок. На безлюдной площади нет-нет да и проголосят — то одна, то другая — задушевную, простецкую девичью коротушку.

С неба звёздочка упала  
Ой, пятиугольная,  
С милым редкие свиданья,  
Я и тем довольная!..  
С неба звёздочка скатилась  
Прямо милке на плечо,  
Ой, до того доцеловалась —  
Стало губам горячо!..

Тесно, кажется, незамысловатой частушке на городской площади. Отскакивает она, никому, кроме этих девчат, не нужная, от лавочных витрин, от мостовых и панелей, исчезает, никем не замеченная. Только Терентий Чеботарёв слушает и, улыбаясь, вспоминает деревенские гулянья и тысячи подобных припевков. Девушки работают с песнями, не замечают его, да и какое им дело до парня в красной рубахе, дремлющего на фанерной коробушке...

Старшая, видно, десятница, объявила:

— Давайте, девки, отдохнём, да перекусим, у кого что есть...

Кучей легли на мостовую берёзовые мётлы, освободившись от крепких рабочих рук.

Девушки садятся в кружок около заведения часовых дел мастера. Закусывают, разговаривают...

— Дома-то, поди-ка, сенокос кончают...

— Ну, и пусть кончают. Нам тут до зимы мести — не вымести.

Среди девушек были совсем неграмотные. Они обращались к своим подружкам-соседкам с просьбами прочитать буквы и цифры, что на вывесках и в витринах.

— Худо, ой как худо неучёной-то, — тяжело вздохнув, созналась одна из них — девушка рыжеватая с веснушками на носу — и начала рассказывать.

— У нас в деревне со мной самый нехороший случай был. В девках не забыть и бабой буду — не забуду. А всё из-за своей неучёности. Попросила я бондаря Ваньку написать на грамотке словечки по-печатному буквами: «Свету пересвету, тайному совету, винограду спелому, кавалеру смелому, кого люблю — тому дарю». Эти словца надо было вышить красными нитками на кисете, а кисет подарить одному там... не скажу кому А он, сотонёнок Ванька, чирей бы ему на обе руки, возьми да мне ругательных слов и напиши. Вышила это я, да ладно хоть показала своей подружке, а та прочитала и говорит: «Дура ты, Анка, дура, с ума съехала, каких слов-то наворотила!..». Ваньке насмешнику я принародно три раза в рожу плюнула и не здороваюсь... Весь кисет топором на тряпочки изрубила. Вот она, наша неучёность!.. — заключила девушка и принялась быстро за обе щёки закладывать серый ячменный коровашек.

— Учиться надо, девки, учиться, — сказала старшая, — для чего и ликбезы теперь бывают. Я сама до девятнадцати годов ни аза в глаза, только кое-как на деньгах, на безмене да на часах разбиралась. А теперь вот и газету разберу и письмо напишу, хоть самому председателю!..

— На зиму обязательно пойду к наставнику в школу, — заявила рыжеватая девушка. — Я уж записана. И десять букв знаю: эта, которая на волока от сохи похожа, — А, на крендель похожа — В, на колечко — О, два столбика с перекладинкой — П, а та, что на крючок смахивает, — Г, будто руки в боки — Ф, на водяную букарашку похожа — Ж... И складывать слова скоро стану.

Старшая поднялась с места, вытянулась во весь рост, обхватила руками шею, зевнула и, перекрестив рот, распорядилась:

— Будет, девки, отдохнули. Давайте, довыметаем площадь. Смотрите, из-за Соборной горки солнышко выходит. Черти ночь лукошками растаскали.

Доносились от пристани первые парходные гудки, и где-то за большими домами, за бывшим архиерейским садом на пожарной каланче сторож невпопад отбивал часы.

Терентий выслушал бесхитростные разговоры девицы, пригляделся к девицам-северянкам, как они бойко трудятся, и решил написать в газету городскую предутреннюю зарисовку — «Вологодские босоножки». По крайней мере будет повод зайти в редакцию газеты не с пустыми руками.

Днём он сидел в садике напротив Артельсоюза и писал о незаметных девушках, которые не спят по ночам, а приводят запylённые, замусоренные, загрязнённые городские улицы в приличный вид. Сколько таких девушек работает в городе? Кто их объединяет, кто работает с ними, кто помогает им стать грамотными?.. Эти запросы возникли у Терентия в голове и облеклись в форму определённого требования по адресу губернского профсовета. Так и под заголовком в скобках написал — *внимание профсовета*. Заметка получилась живая и убедительная. Прочитав и исправив ошибки, Терентий хотел было сразу пойти в бывшую гостиницу «Золотой якорь», где на четвёртом этаже помещалась редакция газеты «Красный Север». Но вдруг чья-то лёгкая рука мягко опустилась на его плечо. Терентий обернулся. Перед ним за крашеной скамейкой в кустах сирени стоял, улыбаясь, Афанасий Додонов, инструктор Артельсоюза.

— А я тебя из окна приметил. Какими судьбами здесь? — спросил Додонов.

— Да, вот, так, мимоездом, из бурлацкой путины возвращаюсь.

— Не сегодня ли домой? — и, услышав в ответ что-то неопределённое, Афанасий сказал: — Нет, нет, ты, Терентий, и не думай сегодня уезжать, в Вологде ты бываешь не часто, а у меня вообще ни разу гостем не был. Давай, так и договоримся: днём ты справляй свои дела. Сходи в музей, в редакцию, а после пяти часов добро пожаловать ко мне в Кривой переулок. Я там живу как раз против маленького покрашенного дома, обросшего плющом. Между прочим, обрати внимание на этот домик. В годы царской ссылки там, в тесной комнатухе, под надзором полиции, жил товарищ Сталин. Представ-

ляешь себе, в каком я переулке живу! Иду ли на работу, или с работы, всегда думаю: здесь ходил Сталин, ходил преследуемый шпиками, ходил и думал о том, как организовать пролетариат, как приблизить революцию, свидетелями и участниками которой мы были... Ну, так, не прощаюсь, а надеюсь — будешь сегодня моим гостем.

Терентий особенно не возражал. Снёс надоевший ему чемодан на пристань в камеру хранения. Сходил в редакцию, где у него приняли зарисовку «босоножек». Там же он внимательно просмотрел подшивку губернских газет. Времени оставалось ещё достаточно, чтобы сходить в краеведческий музей.

Через два часа он вышел из музея, полный впечатлениями. Уставшие от времени часы на соборной колокольне тонким, протяжным звоном пробили время. Под золочёной главой высоченной колокольни, на чёрном циферблате стрелки показывали четыре часа.

Чеботарёв свернул на соборный мост. На углу набережной и улицы Чернышевского — внушительное старинное трёхэтажное здание с множеством труб. На вывеске крупными буквами — «СОВПАРТШКОЛА». Как не зайти в этот дом, не справиться об учёбе, о которой Терентий давно думает. Девушка-делопроизводитель, вместо ответа Терентию, показала на доску с объявлениями:

— Читайте, тут всё написано.

Набор учащихся на первый курс совпартшколы назначен с 1 сентября. Условия приёма соответствовали кандидатуре Терентия. «Обязательно попаду! — уверенно и радостно подумал он. — Стипендия шесть рублей в месяц, харчи и учебники готовые, только знай учись! Нужна командировка укома партии, ну, тут, надо полагать, Пилатов устроит...».

Размышляя так, Терентий вышел из здания совпартшколы и незаметно по пыльной улице Чернышевского дошёл до каланчи, свернул в Кривой переулок. Здесь он разыскал по приметам домик, в котором жил Сталин, и на несколько минут остановился перед его окнами. Зелёный плющ облепил углы и простенки домика. Хозяйка квартиры, заметив стоявшего в раздумье Терентия, выглянула в окно:

— Полюбуйтесь, гражданин, на нашу хатку и помните: домик невелик, а дела в нём делались большие...

— Слышал, слышал, хозяйюшка, потому я и загляделся на ваш домик. Может разрешите зайти на минутку?

— Пожалуйста, к нам люди нередко заходят.

Терентий переступил порог. Небольшая комната. Над столом в углу — портрет вождя. Сталин в сером френче, кожаной фуражке. Пристальный взгляд. Тонкие черты лица. Таким он был в годы гражданской войны. У стены дощатые нары, около печки на скамейке железное ведро с медным ковшом, табуретка. Обстановка скромная.

При одной мысли, что в этом скромном помещении жил Сталин, Чеботарёва охватило волнение: «Здесь, в ссылке, в годы царизма, вот в этой самой комнатухе, выходящей единственным окном на двор, жил, думал и работал Сталин!.. Верный помощник Ленина и продолжатель его дела!.. Отдыхал он на этих жёстких нарах, сидел у этого окна, облокотясь на подоконник...». Терентий мысленно представлял себе жизнь великого и простого человека. Две-три минуты, привалившись к косяку, он простоял в раздумье; от волнения Терентий забыл даже снять кепку. Спихнулся, спускаясь по узенькой и низкой лестнице, ведущей во двор. Грядки с подсолнухами и цветущим маком окружали заветный домик. Терентий остановился, чтобы осмотреть заветный дворик.

Приветливая хозяйка, провожая его, ласково спросила:

— Что мало побыли у нас, молодец хороший?..

— Мало побыл, но о многом подумал, — ответил Чеботарёв и спросил хозяйку:

— А долго ли он жил здесь?

— Недолго. Всего несколько дней он жил тут. Отсюда вот, через этот дворик в позднюю пору и бежал из вологодской ссылки в Питер, к рабочим...

В шестом часу Афанасий Додонов возвращался из Артельсоюза домой. Для гостя он нёс в бумажном свёртке закуски и две бутылки пива. Увидев Терентия, заговорил издали:

— Ага, ты уже здесь. Пойдём, буду знакомить с моей семьёй. Семья — это, батенька, очень большое и важное дело. У меня с младенчества и до взрослых лет, как тебе известно, не было родных. После революции только обзавёлся женой, — говорил Додонов, поднимаясь по лестнице во второй этаж деревянного дома, где их приветливо встретила высокая, средних лет, белокурая с весёлыми глазами круглолицая женщина.

— Будьте знакомы, моя жёнушка Павла Павловна, никак не забудешь её имя и отчество. А это мои детки — «додонята».

Обращаясь к жене, Афанасий сказал:

— Паша, вот тот самый Чеботарёв Терёша, про которого я тебе говорил не раз.

— Ах, вот оно что! А я думала — кто тут под окнами ходит? К соседке напротив заходил в сталинский домик. Очень приятно. Садитесь, гостем будете...

Павла Павловна стала быстро убирать разбросанные на полу игрушки. Дети были маленькие: старшему всего лет шесть; он что-то мастерил кухонным ножом. Младшему не больше года; в короткой рубашонке малыш ползал по полу и ладошкой растирал собственную лужу.

— Из этого художник получится, — улыбаясь, заметил Додонов, глядя на меньшого ребёнка. — Что ты наделал? Паша, возьми, вымой его, да смени рубашонку.

— Ой, беда — не ребёнок, — проговорила скороговоркой Павла Павловна, хватая с пола сынишку. — Под ним море, а с ним горе...

Чеботарёву не надо было спрашивать Афоню, чья да откуда родом у него жена. С двух-трёх слов он определил: «Своя землячка-вологжанка, — окает и прибаутки отпускает».

На улице и в комнате было жарко. Угощаться чаем в такую пору — не велико удовольствие. Поэтому Афанасий сбросил с себя пиджак, оставшись в безрукавой майке, подсел к столу и раскупорил обе бутылки пива. Колбаса, сыр и белый хлеб появились на тарелках.

— Чем богат, тем и рад. Прошу угощаться, — Додонов протянул волосатую руку, украшенную татуировкой,

к стакану пива,—ну, Терентий Иванович, давай за нашу встречу, за всё хорошее на белом свете...

— Не пьянства ради, а ради встречи, так и быть...

Выпили по бутылке пива. Разговорились. Сначала воспоминания. Потом Терентий в подробностях рассказал, как он, уволенный из читальни, ушёл бурлачить на баржах, как потом определился к Пашке Косарёву и чуть было не пошёл с ним по скользкому пути. Додонов выслушал о проделках Косарёва, посмеялся, но потом сказал серьёзно:

— Это же усовершенствованный зимогор нэповского периода! И ты за него ухватился! С таким типом можно далеко пойти, если тюрьма не задержит. А до Ленинграда ты зря не дошёл. Хоть бы посмотрел, что представляет собою колыбель Октябрьской революции! Ну, да твоё время не уйдёт, наглядишься. Насчёт Совпартшколы—это хорошо: через два года сам себя не узнаешь. Там тебе и политэкономия, и история классовой борьбы, и много чего другого будет для твоего общего развития. Самое главное — изучать труды Ленина и Сталина, следить за текущей политикой и уметь сочетать учёбу с практикой жизни. Совпартшкола определит твой жизненный путь, это факт!..

Афанасий Додонов, работая в Артельсоюзе инструктором, в вечернее время учился на политических курсах, занимался самообразованием, об этом свидетельствовала этажерка, набитая книгами, брошюрами, журналами «Коминтерн» и «Большевик» и множеством исписанных тетрадей — конспектов.

— Я более чем на месяц отстал от жизни, — признался Чеботарёв, — на баржах там газет нет, журналов тоже. Были с собой две-три книги, их перечитал — и всё. Сегодня просматривал в редакции газеты, и столько надо читать, читать, читать...

— Приедешь в Устье-Кубинское, там поднажмёшь, — сказал Додонов, подходя к этажерке и доставая один из последних номеров журнала «Рабочий корреспондент». — Да, почитать тебе, Терентий, придётся. При поступлении в совпартшколу обязательно начнут прощупывать вопросами. Скажут: «А ну-ка, товарищ Чеботарёв, поясните нам, что говорил Сталин в своём докладе об итогах тринадцатого съезда партии, в част-

ности по вопросу о работе в деревне?.. И вдруг окажется, что ты не читал этого доклада, как полагается. И тогда в комиссии молча переглянутся и поставят против твоей фамилии какой-нибудь нелестный знак. И ещё спросят: «Это вы, товарищ Чеботарёв, пописываете иногда в газеты?» Ты живо откликнешься: «Да, я!» А тебе опять вопрос: — «Расскажите нам, пожалуйста, что сказал Иосиф Виссарионович о рабкорах в беседе с сотрудником журнала «Рабочий корреспондент»? Вдруг окажется, что ты и этого не знаешь. Отставать от политической жизни нашей страны, нашей партии не то что на месяц, на один день даже нельзя! Ты это отлично знаешь. И тем не менее случился с тобой такой грех. Пристроился к бродячему актёру! Надо же так. А всё от того получаются подобные недомыслия, что в молодости мы сначала совершаем не те поступки, а потом раскаиваемся в них. Хорошо, что ты скоро опомнился.

В разговор вмешалась Павла Павловна. Она слушала от начала до конца нравоучения Афанасия и сказала:

— Мне кажется, Афоня, что с гостями так не разговаривают. Парень, быть может, не нуждается в твоих наставлениях.

— Если бы я его не знал почти с пелёнок, я бы не говорил с ним так, — ответил Додонов и, раскрыв журнал, подал Терентию: — Почитай, тебе как селькору полезно это знать и запомнить, удивляюсь, почему в редакции не показали тебе этот материал. Журнал можешь взять, пригодится. Кто тебя там из читальни уволил, Мякушкин? Ну вот, пусть он тоже познакомится с установками товарища Сталина о рабочих корреспондентах.

В журнале красным карандашом рукой Додонова было подчёркнуто:

«... В основу дела должна быть положена независимость корреспондента от учреждений и лиц, с которыми он так или иначе соприкасается в своей работе, что отнюдь не означает его независимости от той неуловимой, но непрерывно действующей силы, которая называется пролетарским общественным мнением и проводником которой рабочий корреспондент должен быть...».

Дважды прочитал Чеботарёв это место.

— Замечательно сказано! — воскликнул он. — Такое высказывание Сталина нужно понять и выполнить.

— Что и делается настоящими корреспондентами, — вставил Додонов, — читай дальше вот это место:

«Преследование рабочих и сельских корреспондентов есть варварство, пережиток буржуазных нравов. Защиту своего корреспондента от преследования должна взять на себя газета, которая одна только способна поднять жестокую обличительную агитацию против мракобесия».

— Ну, вот, ясна установка? — спросил Афанасий.

— Вполне.

— А ты, вероятно, зашёл сегодня в редакцию, оставил заметку и ни слова о том, как Мякушкин, не совсем деликатно, с тобой расправился. И что же? Со стороны бюрократа Мякушкина получается двойной удар: один по тебе, другой по культпросветработе в вашей волости. Так ведь? Нет, нет, ты не должен молчать. Завтра же ступай снова в редакцию и расскажи там всё как есть. Или же я вмешаюсь в это дело.

— Да неудобно. Если бы это не меня касалось, тогда другой разговор.

— Чепуха, ложный стыд. А ты должен быть принципиальным. Ясно?

— Очень даже...

Терентий облегчённо вздохнул. Отложив журнал в сторону, выглянул из окна, выходящего в Кривой переулок.

Солнце закатывалось. Домик, одетый плющом, был в тени двух стоявших поодаль от него старых берёз. За дворами, на кирпичной каланче, опираясь на решётку, лениво ходил, будто на привязи, дежурный пожарник. В переулке тихо. Редко по деревянному настилу пройдёт пешеход и ещё реже, совсем случайно, прогремит чья-либо незатейливая, гружённая мешками и ящиками подвода. А за ней поднимется и быстро уляжется мелкая дорожная пыль...

Наступившее молчание длилось недолго. Терентий спросил Афоню:

— Вы в одной комнате живёте?

— Да, в одной. Жилплощади хватает. У нас есть кухня на двоих с соседями. Кладовка, там на досуге я кое-что мастерю. Могу тебе показать.

Они встали, прошли в кладовую. Дневной свет туда не проникал. Афоня повернул выключатель. Стеклянная груша ярко вспыхнула над столярным верстаком. Запах разведённой краски и спиртового лака перемешался с запахом дёгтя и кожи фабричной выделки. Пилы, рашпили, стамески, струги и рубанки разных сортов и размеров размещались на полках. Под потолком — доски, фанера. В углу кладовой стоял небольшой верстак, на нём аккуратно разложен сапожный инструмент.

— Смотри-ка, ты оказывается не бросаешь своего прежнего занятия! — удивился Чеботарёв.

— Не бросаю, но заглядывать сюда приходится очень редко. Правда, себе и жёнке обувь сам мастерю. И всё, что из обстановки ты видел у нас в квартире, — кровать, стол, стулья, комод, этажерка и прочее — всё это моей работы. Вещь, сделанная своими руками, она как-то приятней. Отношение к ней совсем другое, любовное. Жёнка у меня тоже рукодельница. Бабы-соседки ее «журналисткой» зовут. Не подумай, не перебивает она хлеб у газетчиков, нет, а прозвали её так за то, что она из старых журналов фасоны платьев снимает. «Журналистка», говорят, да и только...

Закрывая кладовку, Афанасий продолжал убеждать Чеботарёва:

— Работать надо уметь и головой и руками. Полезно. Трудовые навыки должно прививать людям с детства. С ремеслом, говорят, никогда и нигде не пропадёшь, ремеслом и увечный хлеб себе добудет. Даже такие люди, как Пётр Великий и Лев Толстой, не чуждались ремесла. Тот и другой сами себе сапоги шили. Пётр вообще был на все руки мастер... Так что будешь учиться в Совпартшколе, и понадобится тебе сшить сапоги или отремонтировать, приходи ко мне и садись за верстак. Знаю, что из твоих рук сапожное дело не вывалится...

— Буду иметь в виду...

Терентий ночевал у Додонова. Долго не мог уснуть. Мысли чередовались. Думалось о многом. Утром сквозь беспокойный сон услышал голос Афанасия:

— Вставай, Терёша, вставай, ты очень беспокойно спишь. Ногами перебираешь, смотри — на стене обои порвал и одеяло сбросил на пол...

Терентий открыл глаза.

Павла Павловна несла с кухни шипящий самовар. Додонов, стоя перед зеркалом, надевал галстук.

Днём, следуя совету Афанасия, Чеботарёв сходил в редакцию газеты. Там, выслушав его, сказали:

— Поступок Мякушкина нетерпим. Возможно, секретарь волкома партии исчерпал этот вопрос. Тем не менее мы сегодня направим к вам в село нашего юриста Кроликова...

## XXIX

По волости расползлись кулацкие слухи:

— Надо разъезжаться, пока не поздно. Все деревни скоро будут затоплены, село тоже. Вон уже Пряняшников подался на новое место, а тут ли ему не жилось... А не затопят, так налогами придавят, особенно сапожников, роговщиков, достанется и кружевницам...

Вслед за кулацкими слухами началось переселение из усть-кубинских деревень в места, «где коров доить не надо — реки полны молока». Ежедневно переселенцы со своим скарбом толпились у пристани речного пароходства и в ожидании отправки, сидя на своих дедовских сундуках, судачили:

— Нет лучше заработка, как в Мурманске да в Архангельске.

— Куда в такой холодный край ехать? Зачем? Вот в Сибири, это да! На тамошней земле хлеб караваями растёт.

Ехали и ехали люди из деревень с Кубенского подозерья кто куда. Многие деревни ополовинились, многие опустели совсем.

Вернувшийся из длительного отпуска Пилатов был вне себя. Бюро парторганизации заседало совместно с президиумом волостного исполкома, решили указать всем сельсоветам: «Без нужды и надобности справок и удостоверений на право выезда с семьями из волости не выдавать!». В волость разослали агитаторов проводить беседы с населением. Понемногу волна переселенчества отхлынула, улеглась.

В начале лето было жаркое, засушливое. Раскалённое добела солнце словно пыталось выжечь землю. Дарья Копытина часто с беспокойством посматривала на бездонное, безоблачное небо, ждала дождя; но дождя как назло не было. Много раз она ходила на подсеку. Лён чуть-чуть подался из земли, начал хиреть. Она собрала всех женщин-артельщиц, работавших на подсеке, и завела с ними такой разговор:

— Ну, бабы, давайте все сообща думать да дело делать. На дождик надейтесь, а сами не плошайте. Как бы наши труды не пропали даром. Да как бы люди не посмеялись над нами. Была я как-то в селе. Сам Пилатов похвалил нас и сказал: «Ваш лён артельный должен быть самый лучший в уезде. Старайтесь, — говорит, — если не подкачаете, на будущий год в любом месте земли отведём, сколько вам потребуется. А потом, — говорит, — у нас, — то-есть у нас с вами, — может получиться настоящее товарищество, и название ему дадим «Начало». И посоветовал он нам в засушливое время лён поливать

— Да что он, с ума сошёл? Слыхано ли дело целое поле поливать? — возмутилась одна из баб — работающая толстушка с чёрными, словно подкрашенными бровями — Вера Шатилова.

— Уж не решетом ли из Кубины воду носить на подсеку? — съязвила вдова-солдатка Тамара Волохова — щупленькая, со следами оспы на лице. За ней остальные бабы начали судачить и охать, а некоторые спохватились даже, что поторопились лён сеять.

Но Дарью это не смутило. Она молча выслушала соседок, потом сказала:

— Ну, бабы, посудили, порядили, хватит. Теперь послушайте меня. Завтра же мы будем рыть колодцы в обоих концах подсеки, да, да, колодцы. Достанем воды, начнём поливать. Не дадим льну погибнуть, не дадим!.. Десять пудов одних семян потрачено, это вам не шуточка. А труда сколько положено?!..

И вся Дарьяина артель утром до рассвета вышла на подсеку с железными лопатами. К вечеру, на двухсаженной глубине она докопалась до воды.

— Счастье теперь в наших руках, — радостно заявила Дарья, заметив, как стала появляться чистая ключевая вода в колодце, на дне которого она откапывала

землю и складывала лспатой в деревянную бадью. Бадью с землёй вытаскивали вверх, опорожняли, снова опускали и снова вытаскивали.

— Теперь тащите меня, хватит, за голенища воды набежало, — слышался, как из подземелья, глуховатый голос Дарьи.

Её, перехваченную петлей в поясице, вытащили вожжами на поверхность. Дарья разулась. Достала бадью воды, отмыла грязь с крепких рук своих, вымыла сапоги и бережно связала их за «ушки». На сухой, перегретой солнцем земле хорошо и босичком. Все двенадцать послушных Дарье тружениц столпились вокруг неё, и снова начались разговоры:

— Мыслимо ли дело поливать? — пожимая покатыми плечами, заговорила Вера Шатилова.

— По божьей воле нет дождя, так самим его не придумать. Колодцы не спасут, — присоединилась к ней Манефа Тюрикова.

— А как же станем поливать? Леек нет, разве из ведер вениками придётся брызгать направо и налево?

Но у Дарьи на этот счёт свой продуманный план: две пожарных машины, взятые напрокат в запани и в Филисове, на следующий день появились на подсеке. Струя, пущенная из шланга над посевами льна, рассыпаясь на мелкие брызги, падала дождевыми каплями на сухую землю. Поливали каждый день. Лён ожил, вытянулся и скоро расцвёл. Ожила, повеселела Дарьиная артель.

В середине лета, — кто бы мог ожидать! — хватил проливной дождь с ураганным ветром. На Кубине сорвало запань. Брёвна в плотях и россыпью неожиданно нахлынувшей всдой понесло в Кубенское озеро. Около лесопильного завода, у Лысой горы и в Лахмокурье поспешно раскинули боны, часть леса спасли. Много крыш посрывало окаянным ветром с построек в запани и ближних дереvушках, где «полусой» прошёл неслыханный ураган.

Много беспокойства причинила эта непогодь, не прошла она мимо и Дарьиного льна. Прибитый ветрищем, пришибленный ливнем, лён сровняло с землёй. Только по обочинам, вблизи лесной опушки кое-где торчали пучки льна.

Когда шёл ливень, сопровождаемый бешеным ветром, Дарья с Колькой — сынишкой сидела у себя в хибарке. Крупные капли дождя, как слёзы, обильно текли по оконным стёклам. Усилился ветер, казалось, что избу качает из стороны в сторону. Дарья схватила длинную верёвку, взлезла на чердак и, на всякий случай, привязала для прочности стропила крыш к перекладам.

Вспомнила про лён, заголосила:

— Ой беда, беда, опять беда! — И слёзы потекли из её глаз.

Но когда после бури сразу всей артелью бабы пришли на подсеку, Дарья не плакала. Ещё бы ей плакать! Хватит того, что плакали все остальные и проклинали грозу, и снова ругали себя за то, что доверились Дарье, а Дарью за то, что она взбаламутила их всех с этим незадачливым льном.

— Ведь сколько времени, сколько труда зря загублено! — слёзно, с трудом выговаривала Манефа Тюрикова.

А Вера Шатилова так расстроилась, что попросила закурить у проезжего возчика и курила с затяжкой, словно всю жизнь привыкала к горькому табачному зелью.

Успокоившись, Вера сказала:

— И за каким чортом, Дарья, я связалась с тобой и с этим несчастным льнищем?! Да лучше бы я в Данилов за яйцами ездила да на Сухонских фабриках продавала. Знаешь, сколько бы зашибла?

— Не поздно, поезжай, зашибай. Без тебя управимся, — ответила Дарья. — А лён у нас всё-таки будет. Поднимем лён. Заставим его расти и созревать...

Дарья ходила по подсеке, наклонялась, рассматривала прибитый к земле лён. Приподымала его, но лён не держался на корню, падал.

— Неугомонная бабёнка! — дивилась, глядя на Дарью, Тамара Волохова. — Погодите, бабы, она ещё что-нибудь придумает.

— Голь на выдумки хитра, только выдумки не спасение, — усомнилась Шатилова. — Поеду в Данилов за яйцами, гораздо выгоднее...

— Ах, так ты это всерьёз? — вскипела Дарья. — Катись к лешему! В нашей коммунии не место спеку-

лянтке!.. Бабы! Наведём порядок! А ты, Вера, вышибай дурь из своей головы.

— Да я что, я пошутила, — виновато проговорила Шатилова, — какая уж я спекулянтка?!

Собрались в круг, посидели на траве, долго вздыхали, судили-рядили. Уже и слёзы на глазах у всех давно высохли, одна ругань на языке осталась. Дарья сосредоточенно думала, посматривая на поникшее льнище.

— Я тоже сначала подрастерялась, — наконец созналась она. — Думала — всё потеряно, думала — ужели на этом крест надо поставить? И решила: нет!.. Так вот что, бабы, хватит, поплакали, хватит, погоревали. Известно дело, у нас испокон-веку глаза на мокром месте. Слёз нам не покупать, но слезами лён не поднимешь. Слезами горю не поможешь. Хотите дело исправить? Слушайте меня.

И бабы вновь прислушались к её словам и согласились работать, хотя работа предстояла неслыханно большая. По подсказу и замыслу Дарьи, каждая из них должна была нарубить не менее двух тысяч аршинных колышков, сама же Дарья взялась нарубить около трёх тысяч. Затем все эти палки одна от другой на определённом расстоянии воткнуть в рыхлую землю по всему примятому бурей льнищу, поднять весь лён и подвязать к палкам.

— Рехнулась баба, рехнулась! — удивились Дарьины артельщицы. — То колодцы копать, да машинами лён поливать, то ещё напасть такая: втыкать колышки и подвязывать лён!.. Надо же додуматься! Кто так делал? Где это слыхано?!..

Дарья не противоречила бабьему недовольству, а делом стала показывать то, что задумала. Глядя на неё, бабы взялись за топоры.

С утра до вечера каждая из них натаскала на подсеку по две тысячи, а некоторые гораздо больше, осиновых, ольховых и ивовых слегка заострённых палок.

Ропот бабий скоро прекратился. Была бы польза от трудов рук своих, а там ещё поглядим, кто смеяться станет. У филисовских, бакрыловских, канских и ананьинских баб проклятущая буря рожь, лён, ячмень и всё, что было посеяно, с грязью смешала. И никто в этих

деревнях пальцем не шевельнул, чтобы как-то восстановить посе́вы. Люди пришли на поля, повздыхали, прослезились, посетовали на судьбу да на волю божью и разошлись.

— Будь что будет, против ветра не надуешься...

Деловитые филисовские мужики настро́чили Пилатову и Вересову грамоту: «Просим избавить нас от обложения налогом, как пострадавших от урагана, и прислать комиссию для определения ущербов». Дальше этого не умудрились. Упрямая Дарья и не подумала ни о каких комиссиях, ни о каких налоговых скидках. Это ей безразлично. Надо поднять лён — и только!

Вороха заострённых колышков были стасканы вокруг словно вымершего льнища.

Но как и чем подвязывать лён?..

Сначала Дарья думала раздобыть прошлогодней соломы, накрутить соломенных жгутиков, но это отняло бы слишком много времени. Выручила находчивость. На запани, на песчаных отмелях у старых причалов валялись много лет никому не нужные, брошенные обрывки конопляных тросов. Дарья взяла топор, нарубила множество коротких концов, снесла к подсеке. Бабам не пришлось даже расплетать концы. Дарья и Колька и другие ребята пришли на помощь матерям. Они из обрубков бечевы столько наделали тонких и прочных жгутиков, что хватило бы ещё подвязать к колышкам не одно такое льнище. И опять, несмотря на ропот и возражения баб, Дарья затея восторжествовала.

А потом наладились хорошие дни. Лён дозрел, окреп и перестал нуждаться в подвязках и подпорках.

... В один из этих дней Терентий Чеботарёв возвратился в Устье-Кубинское. Пилатов строго пожурил его, обвинив в самовольной отлучке из организации. Чеботарёв и сам сознался, что не было у него особенной надобности отлучаться. Но объяснил свой поступок тем, что не знал без Пилатова, за какое ему дело взяться, и очень хотелось побурлачить...

Юрист из редакции губернской газеты Кроликов напрасно выезжал в Устье-Кубинское. Мякушкина в селе уже не было. Получив в укоме партии строгий выговор с предупреждением, он выехал на работу в другую во-

лость, где масштабы работы уступали здешнему кооперативу «Смычка». Тем дело и кончилось...

В комиссию по определению ущерба урожаю, причинённого стихийным бедствием, входил Терентий. До поступления в Совпартшколу у него уже оставалось немного свободного времени, потому Пилатов и решил не устраивать Чеботарёва ни на какую постоянную должность, а использовать на временных поручениях.

Комиссия волостного исполкома во главе с председателем Вересовым обошла в один день филисовские, бакрыловские и других деревень поля. Зрелище было печальное: примятые бурей посевы не поднялись. Лишь кое-где торчали отдельные стебельки хилого ячменя и ржи. Колос от колоса — не услышишь человеческого голоса.

— Да, дела у здешних мужиков неважные, — заключил Вересов. — Семян не собрать, так и пишете в акте. Всё погибло — рожь и ячмень, лён и горох, и овёс на корню весь выхлестало. Хорошо, что у здешних людей есть кустарные промыслы, а не то бы живи, как хочешь...

На обратном пути, возвращаясь в село через Высоковскую запань, комиссия заглянула на коллективный участок Дарьиной артели. Двенадцать женщин, Дарья тринадцатая, ходили по подсеке с ножницами в руках, освобождая окрепший лён от привязи. Кольшки остались на месте, как память о хитроумной выдумке упрямой и находчивой Дарьи.

Вересов и член комиссии землеустроитель Кондаков в тени деревьев у самой опушки леса остановились и стали осматривать лён. Терентий пошёл позвать Дарью. Узнать её среди баб было нетрудно. Приземистая, коренастая Дарья осторожно ступала по льнищу, сбрасывала жгутики и попутно вырывала с корнями встречавшиеся сорняки. Делала это она с увлечением и потому не заметила, как сзади подошёл к ней Терентий.

— Труд на пользу, Дарья Алексеевна! — сказал он.

— Спасибо! — ответила Дарья, обернувшись. — Ой, да это Терёша. А ты как тут оказался? Кажись, на барках уходил?

— Да, уходил.

— И готово дело вернулся! А где же мой Николашка?

— Твой пошёл до самого Ленинграда, а я вот в Вытегре их оставил — и обратно. Брожу вот теперь здесь с комиссией.

— Так, так, всё в комиссиях комиссаришь? А ты бы лучше поработал. На барках-то, видно, не полюбились? — укоризненно спросила Дарья.

— Так обстоятельства сложились, — нехотя ответил Терентий и, не желая пускаться в объяснения, сказал: — Дойдём, Дарья, там вон Вересов с Кондаковым хотят тебя видеть, поговорить с тобой хотят.

— А чего меня видеть! Я вся тут. Поговорить — другое дело, пусть говорят. Эй, бабы! — крикнула Дарья. — Собирайтесь, с нами какой-то разговор будет.

Разговор был очень короток:

— Лён, вопреки всем невзгодам, получается замечательный, — сказал Кондаков. — Я ещё такого льна не встречал в здешних местах.

— Нет, ты скажи: это благодаря тебе, или несмотря на тебя, такой лён у них? — язвительно спросил Вересов землеустроителя.

— Я тут не при чём!

— А агроном?

— И агроном тоже не участвовал.

Тогда Вересов обратился к Дарье:

— Скажите, товарищ Копытина. Засуха вам тут повредила?

— Нет, мы пожарными машинами каждый день сами дождь делали.

— А буря ваш лён не обошла? — спросил Вересов.

— Не обошла. Но мы весь лён, как видите, поднимали и временно подвязывали к колышкам, вот к этим палкам, и лён устоял.

— Изумительно! — заметил Кондаков. — Но всё же это есть исключение!..

— Да, исключение, — согласился Вересов. — Но этот исключительный факт подсказывает, как надо работать! Вам бы с агрономом надо на этот участок экскурсии устраивать, людей приводить. Показательнее этого факта в волости вы не найдёте. Труд всеилен, если он общий, коллективный. В газету о вас, бабы, надо писать. Ты, Чеботарёв, учти это, запиши себе для памяти да настрочи.

— Ой, да погодите. Не начало дело венчает, а конец. Надо урожай собрать сначала, да ленок обрабо-

тать. И если писать, так не в похвалу нам, а на пользу другим, чтобы дальше артельное дело шло. Я так понимаю.

— Правильно, Дарья, понимаешь, — отозвался Терентий и стал её расспрашивать и записывать имена и фамилии женщин, работающих на подсеке, покрытой льном.

Чеботарёв стоял с развёрнутым блокнотом, записывал, а Дарья ему подсказывала:

— Николая Серёгичева упомяни. Он нам помог пенье-коренье выкорчевать. Добрый мужик. Манефа, ты чего за чужие спины прячешься? Напиши, Терентий, и про Манефу Тюрикову, и про Тамару Волохову. У обеих из рук работушка не валится... Вот только Вера Шатилова чуть-чуть хотела подкузьмить нас, да скоро одумалась... Напиши, как работали: зубом и ногтем брали, толкали локтями и коленками, а протолкнули дело...

— Ты про себя-то расскажи, — вмешалась одна из женщин. — Ты у нас главная спица в колеснице.

— А про меня уж что Терентий Иваныч напишет, то и ладно. Главное, чтобы в газете были пропечатаны не только наши фамилии и затем до свидания, а толково прописано, как мы не испугались объединить свой труд и как сообща против невзгод уперлись, одолели и засуху и бурю-непогодь...

Комиссия удалилась, а Дарьяна артель осталась на прополке льна.

Вслед уходящим неслась с подсеки дружная, голосистая трудовая песня..

### XXX

День за днём — лето приближалось к осени. Лён вытянулся во весь положенный ему рост. В плотных головках дозревало семя. Бабам пока на подсеке делать было нечего. Днями здесь дежурили ребяташки. Вместе с Дарьиным Колькой они оберегали лён от коров и овец, бродивших вблизи артельного льнища. Как ни скучно ребятам в такую пору стеречь лён от скота, но приходилось.

Лишь один случай избавил Дарьяна Кольку и его товарищей от докучливой обязанности. Было это как раз в те дни, когда вернулся из бурлацкой путины Николай Копытин и снова поступил сторожем на запань.

Кое-какие подарки привёз Николай и Дарье и Кольке. Колька щеголял в цветистой рубаше, новых штанах, а Дарья юродовала иглой и ножницами, шила сразу себе два ластиковых платья.

На запани, под постоянным надзором трудолюбивой Дарьи, Копытин не мог ни лениться, ни прохладиться, как это водилось за ним на баржах Вологдолеса. Ночью он сторожил плоты и такелаж, расхаживая по берегу реки, где были склады и сплавная контора. Ржавое ружьёцо Копытин важно и грозно носил за плечами дулом книзу. Высокий, всегда с подстриженной бородой, он ходил размеренным шагом, помахивая руками, подобно строевому солдату старых времён. Копытин служил в германскую войну, служил в гражданскую, и ружьё для него — не диковинка.

Утром Николай ложился отдыхать на деревянную скрипучую кровать. Около полудня Дарья его будила, кормила порячими картофельными рогульками и сразу же находила ему работу, которой всегда в избытке хватало до ночного дежурства. То дровишек заготовить, то вокруг избы канавку выкопать и сделать завалинку вокруг подвальных брёвен, чтобы к зиме из-под пола не студило; то натаскать из болотных низин мху, чтобы проконопатить ослабшие пазы в стенах. Одним словом, у Дарьи спустя руки без дела не насидишься.

Иногда Копытин сердился:

— Вот сотона-баба, — говорил он, сильно по-вологдски окая. Но стоило ему уловить свирепый Дарьин взгляд, и он покорно шёл выполнять всё, что требовалось по хозяйству.

Однажды прибежали с подсеки бледные от страха ребятишки.

— Мы медведя видели на льнище!..

— Голова, лапищи — ужас!

— Думали — телёнок, взглянули — медведь...

— Мы кричать, да бежать...

— Медведь тоже заревел, да в другую сторону, только сучьё затрещало... — наперебой, запыхавшись, рассказывали ребятишки.

Дарьин Колька, еле переводя дыхание, говорил матери:

— Вот ты убей меня, чем хочешь, а я на льнище больше не пастух. Когда мы сюда бежали, так нам в

поскотине кажинная корова медведем казалась. Вот до чего перепугались!.. И сейчас ещё с перепугу душа в пятках.

Ребятишки говорили правду. В подтверждение их слов в тот же день медведь задрал корову у самой подсеки.

Ни одна женщина-мать, в том числе и Дарья, не отпускали больше своих детей на подсеку. С медведем шутки плохи.

Через неделю бабы видели медведя на чьей-то лошади. Израненная, изувеченная лошадь успела добраться до деревни Канского и пала.

В деревнях забеспокоились:

— Ну, теперь он пойдёт рвать. Раз попробовал медведь свежей говядинки, теперь его потянет.

Как-то за чашкой чая Дарья сказала мужу:

— Вот, Николаша, ты с ружьём таскаешься, вояка. Когда-то крестик заслужил. Взял бы да на диво добрым людям убил медведя, и нам бы, бабам, спокойнее было ходить на подсеку, да и тебе доход и почёт. Шкура-то, небось, рублей на пятнадцать потянет, да сало медвежье в больнице купили бы.

— Я и то думаю, — вполне храбро ответил Копытин.

— Ты помнишь, Николаша, — продолжала Дарья почти ласково, — с каких пор ты мне любиться начал? Давно-давно это было. Жил ты тогда в Попихе в пастухах. Припомни-ка, когда ты волка на корове жердью захлестнул и полуживого загнал прогоном в деревню?

— Ну, как не помнить. В ту пору мне за это дело мужики пять рублей собрали.

— Вот, вот. И я пригляделась к тебе и подумала: храбёр мужик!..

— Я тогда парнем был, — вставил Копытин, — мне тогда с чем-то двадцать годов было. Сила! Помню, как я хлестнул волка жердиной, хребет перешиб. Потом две лапы ему переломил. Такого уroda было легко загнать в Попиху. Разговоров-то было: «Копыто живьём волка представил!..». Да, а медведь, он, Дарьюшка, не волк. Промажешь в него, он тебе задаст жару.

— А ты возьми два ружья да с пулями.

— И то верно, — согласился Копытин, — запасное ружье на медведя не помеха. Вдруг да и на самом деле посчастливит? Всякое в жизни бывает...

Не откладывая своего намерения, Копытин в тот же день сходил в Канское к мужику, у которого пала изувеченная медведем лошадь, взял у него пудовый кусок конины для приманки опасного зверя. В сумерки на опушке подсеки Николай, как заправский охотник, выбрал подходящее дерево и спрятался в густых ветвях. При нём два одноствольных ружья, заряжённые на медведя, и на всякий случай остроотточенный топор за спиной засунут за старый солдатский ремень.

Час сидит Копытин на разлапистой ели, два часа сидит, на третий перевалило. Уже стемнело. Копытин прислушивается. Тишина. Ветерок шумит, гуляет по еловым вершинам. А медведя нет и нет. От скуки начинает он громко зевать. «Так, пожалуй, и медведя напугать можно, — думает Копытин и в уме подсчитывает; — за шкуру пятнадцать рублей на худой конец; за сало и мясо-медвежатину, ну, рублей — тоже пятнадцать, и то давай сюда... Съезжу в Вологду и куплю я на эти деньги чаю, сахару и всякого нарпиту на десять рублей... Себе сапоги, бабе на юбочку недорогого... Только вот зрение у меня неважное, смогу ли ещё в потёмках угодить — не промазать?..».

Недолго Копытин размышляет. Заставив себя забыть обо всём на свете, он чутко прислушивается: не хрустит ли хворост-сушняк под ногами неосторожного зверя? Но тихо в вечернее время в лесу. Только какая-то сонная пичужка вспорхнула с того дерева, где не совсем удобно разместился охотник. И от шума, произведённого этой малой пичужкой, дрогнуло сердце у Николая. Он невольно так выругался, что от него шархнула бы лошадь.

Скоро стало чуть-чуть светлей. Над лесом появилась тусклая луна.

«Вот это нашему козырю в масть, — думает Копытин, — теперь хоть цель видна будет».

Наконец, с противоположного конца подсеки, с подветренной стороны, показался долгожданный медведь, да не один: за большим вышел другой, чуть поменьше.

Сердце у Копытина готово выскочить.

«Или пан, или пропал!» — мысленно восклицает охотник и осторожно, не производя шума, берёт ружье наизготовку, взводит курок. Пусть только подойдут к приманке! Но осторожные звери при свете луны не ре-

шались почему-то подойти к куску конины. Луна скрылась за облачком. Стало опять темней, и две чёрные точки с лёгким шумом забрели в высокий лён и, увеличившись в глазах охотника, остановились... «Сыты, дьяволы, — подумал Копытин, — даже на конину их не тянет... Эх, была не была!». Нацелился в переднего, крупного, бахнул. Рассеялся дымок, и от радости Копытин чуть не спрыгнул с дерева. Медведь растянулся неподвижно. Другой, поменьше, стоял на месте, крутя головой.

«А ну и этого дай бог не промазать!» — Копытин снял с сучка запасное ружьё и теперь ещё спокойней и решительней одним выстрелом срезал другого.

«Здорово получилось! Не разучился стрелять старый солдат, — подумал Николай. — Обоих уложил, а ведь саженой почти за сорок». Зарядил оба ружья. Слез с дерева. Держа одно ружьё наготове, другое — за спиной, Копытин направился к своей удачной добыче. Ему показалось — медведь, который покрупнее, ещё пошевеливается. Припав на колени, Копытин нацелился в недобитого, и третий резкий выстрел разнёсся над подсекой, звучным эхом докатился до Высоковской запани. Когда звон в ушах прекратился, с трепетным сердцем, счастливый охотник подошёл к убитым медведям... И вдруг его сердце замерло. По телу пробежала мелкая дрожь, в голове помутилось, все мысли перевернулись и добрые надежды пошли прахом.

Перед метким, но незадачливым стрелком, дрыгая ногами, кончались в предсмертных судорогах две лохматых заблудших овцы. Ружьё выпало из рук Копытина.

— Вот так уха! — сказал юн. — Теперь вот поди расхлёбывай!..

Домой пришёл мрачнее тучи.

— Ну, как? Ничего? — участливо спросила Дарья.

— Хуже чем ничего. — И шопотом сообщил о случившемся.

У Дарьи глаза на лоб.

— Да ты что? Слепой, что ли? Чьи овцы-то?

— Поди разбирайся. Сама благословила меня на это.

Поставив ружьё в угол, Николай залез на полати и долго не мог уснуть, подсчитывая в уме, сколько с него могут «слупить» за двух овец, и хватит ли на это оставшихся от бурлацкого заработка денег.

Дарья молчала. И всё-таки слава «охотника» крепко укоренилась за её мужем. Куда бы ни вышел он, где бы на людях ни показался, всюду ему в глаза распевалась злая частушка-коротушка, невесть кем брошенная и словно ветром разнесённая в местах кубинских:

Вышел, вышел на медведа  
Наш Копытин удалец.  
По ошибке вместо мишки  
Он угробил двух овец...

### XXXI

Двери Совпартшколы были широко раскрыты. Старинное здание ожило. Ребят и девчат из всех уездов Вологодчины съехалось человек двести пятьдесят. Многие из них впервые в жизни увидели город. Парни-лесовики из-за Вельска, Тотьмы и Каргополя, обветренные здоровяки, когда-то в детстве учившиеся в церковно-приходских школах, с великой охотой брались сейчас за настоящую учёбу. Город шёл навстречу деревне — обогащал людей политическими и специальными знаниями.

По соседству за рекой, в бывшей духовной семинарии, открылся рабфак. В Укоме партии предлагали и Чеботарёву командировку в рабфак, но он прикинул в уме: три года в рабфаке, потом четыре года — вуз, и ему долговатым показался семилетний срок. Решил в Совпартшколу.

Три этажа бывшего епархиального училища заняты кабинетами марксизма, политэкономии, классовой борьбы, естествознания, химии и математики, русского языка и культпросветработы. Кроме множества просторных кабинетов, в этом же здании размещались общежитие, кухня и столовая, библиотека, клуб и спортивный зал. Даже баня находилась в нескольких шагах от Совпартшколы.

Учебные расписания, куда входили лекции, самостоятельное изучение книжного материала, собрания и зачёты, были так густо составлены, что у курсантов еле-еле выкраивалось время раз в неделю сходить в кинематограф «Аполло».

Преподавательский состав в основном был из выпускников Свердловского университета и отличников,

окончивших эту же самую Совпартшколу в прошлом году. В учёбе курсантам приходилось, главным образом, рассчитывать на своё упорство, умение и понимание, или, как говорили сами курсанты, — всё зависело от способности быстро схватывать и запоминать.

Прошёл первый месяц учёбы, и Терентий заметил, что при всех благоприятных условиях учёба даётся ему не легко и не просто. За месяц он убыл в весе на два килограмма, стала появляться головная боль.

«Так долго дальше не пойдёт. Всему надо знать меру», — решил он и начал по утрам заниматься физкультурой, устраивать прогулки по набережной, а перед сном обтираться смоченным холодной водой полотенцем. Чтобы время на прогулках не таяло зря, он выходил на час-два с товарищем земляком Васькой Приписновым, грубоватым спорщиком, отличавшимся от всех других ребят умением в спорах сомневаться, не соглашаться и возражать. Иногда они так увлекались спорами, что незаметно для себя шли по набережной вёрст пять-шесть и возвращались, опоздав к занятиям.

Строгий завуч вызывал их в учебную часть и не спрашивал, где они долго пропадали, а неожиданно, чтобы сразу ошеломить их, забрасывал вопросами:

— А ну-ка, друзья-приятели, как по-вашему: из чего состоит цена производства, из чего она складывается? Расскажите-ка мне... Так, так. А что такое конкретный и абстрактный труд в капиталистическом хозяйстве, с чем его кушают, а?.. Да расшифруйте мне понятие о капитале, и в чём отличие капиталистического хозяйства от простого товарного?

Чеботарёв и Приписнов долго молча переглядывались, потом старались отвечать придирчивому завучу один лучше другого. Удовлетворённый завуч усмехался уголком тонких ехидных губ:

— Знать-то вы вроде бы и знаете. Но имейте в виду... вас сюда направили... государство на ваше образование затрачивает средства... Ступайте в кабинеты и вникайте в существо вопросов, указанных в учебных планах. А то, смотрите, как бы не пришлось вас вытаскивать на заседание учебного совета или партбюро...

Дисциплина была твёрдой и строгой. Но среди совпартшкольцев не было ни белоручек, ни лентяев, и дисциплина не обременяла их.

Чеботарёв настолько увлёкся учёбой, что совершенно забыл о своих усть-кубенских делах и товарищах. Он даже не находил свободного времени для того, чтобы дойти до Кривого переулка и повидать Афанасия Додонова.

Но однажды в начале зимы в обеденный перерыв Додонов сам пришёл навестить Терентия и принёс ему десять толстых в коленкоровом переплёте тетрадей, разлинованных, с красным обрезом.

— Учись! — сказал Афанасий. — Больше записывай, да смотри, чтобы в голове не было сквозняка. Политика — дело не малое. Ну, как привыкаешь здесь?..

— Уже свyksя, — отвечал Терентий, обрадованный столь ценным подарком. — Только слишком много приходится читать, конспектировать и снова читать... И не успеваю!..

— А ты умеешь находить главное, основное и отсеивать лишнее.

— В этом-то и загвоздка. Поговори-ка с преподавателями, они скажут — всё главное.

— Не совсем так, — возразил Афанасий, — главное — это понять основное учение Маркса и Ленина и верного соратника и последователя Ленина товарища Сталина. Сталин — наш сегодняшний Ленин; вникай в глубокий смысл его высказываний. Это очень и всегда пригодится. В наше время пока ещё есть такие типы, — предостерегал Додонов, — которые молятся на Троцкого. Остерегайся, не попади на их удочку.

— Будь спокоен, — уверенно сказал Терентий, — среди наших ребят-совпартшкольцев, вышедших из деревенских низов, я что-то не вижу ни одного поклонника иудушки Троцкого.

— У вас есть острое оружие — ленинизм, — продолжал Афанасий, — ещё два-три года, и этим оружием овладеют десятки и сотни тысяч большевиков, и тогда единству партии не будет грозить опасность от явных и скрытых врагов. Да, Терентий, мы живём в очень интересное боевое и серьёзное время. Учись, хорошенько учись! Совпартшкола для тебя — это мост в твоё будущее...

Терентий вышел провожать Додонова. Смеркалось. Резкий ветерок овеял их лица. По Соборному мосту, освещённому фонарями, грохотали подводы ломовиков.

На гладкой ледяной поверхности реки, ухватившись за руки, парами катались конькобежцы.

Чеботарёв и Додонов прошли на площадь Свободы. Здесь, невзирая на сумерки, сотни плотников торопливо сколачивали из досок большие и малые балаганы. Город готовился к первой, за время советской власти, зимней ярмарке.

— Вот тут и наш Артельсоюз должен развернуться, — проговорил Афанасий, показывая на большой бревенчатый каркас ещё не покрытого тёсом будущего павильона.

— Ярмарка должна быть интересной, — продолжал Додонов. — Найдётся у тебя свободное время, загляни, присмотришься. Тут будут и нэпманы, и кооперативные, и государственные организации. И сбыт и закупка — всё будет. Нэпманы из кожи вон полезут, чтобы занять ведущее место на ярмарке.

— Я не очень-то разбираюсь в делах коммерческих, — признался Терентий. — Хожу вот иногда, читаю вывески, а кто за этими вывесками кроется, понять не могу. На вывеске фирмы разные: «Оборот», «Зерно», «Льнопродукт», «Сырмасло», а зайдёшь в магазины — чувствуется что-то не наше, не советское.

— Так это же, кого ты назвал, махровые частные компании, состоящие из бывших торговцев. Люди они с большим жульническим опытом в торговых делах. С ними бороться надо умеючи. И, прежде всего, надо нам приобретать свой опыт, советской торговли, скрепляющей союз города с деревней! И, конечно, надо уметь применять советские законы к этой публике, когда они делают попытку нас обжулить...

— А ты, Афанасий, видать, знаешь своё дело и любишь его? — спросил Чеботарёв.

— Иначе, дружище, нельзя. Мир кругом, тишина, но это так только кажется. Приходится воевать, наступательно воевать.

Они прошли до того места, где кончалось на площади строительство ярмарочных сооружений, и, повернув обратно, расстались...

Обеденный перерыв в Совпартшколе ещё не кончился. Многие курсанты, пообедав, до звонка отдыхали в общежитиях.

Дежурный, увидев Терентия, заворчал:

— Где ты бродишь? Я все кабинеты обошёл, а тебя нет и нет. Тебя тут один красноармеец искал. Фамилию его я забыл спросить.

Чеботарёв как ни думал, как ни припоминал знакомых красноармейцев, так и не мог догадаться. А это был не кто иной, как Алёшка Суворов, не так давно призванный в Красную Армию. Служил он в Грязовце. В Вологду приехал по поручению начальника полкового клуба, попутно хотел встретить Терентия, показаться ему в военном обмундировании, поговорить о казарменной жизни, но ждать отлучившегося товарища ему было некогда. Пройдя в общежитие, Суворов оставил на тумбочке торопливо написанную записку:

«Дружище Чеботарёв! Жаль, не видел тебя. Я теперь на полном военном иждивении. Через год буду командиром взвода. Кроме учёбы, имею ряд поручений по комсомольской линии. Одним словом, живу хорошо, службой доволен. Не будешь ли ты свободен, побывай в Грязовце. Город небольшой, и про него здесь молодёжь поёт:

Чудный город Грязовец:

Два шага шагнул — конец, —

Чумчара-чура-ра...

Так что меня тебе найти нетрудно. Приезжай, если выберешь время. Твой Алёшка...».

Где там у совпартшкольца время для поездки!

Так и учились друзья-приятели, один — в партийной, другой — в военной школе, не встречаясь, а города рядом — час езды на дежурке.

День за днём летели быстро и незаметно, и не хватало времени Чеботарёву, чтобы всё успеть тщательно проработать, записать в подаренные Додоновым тетради. В самом конце этого года сверх учебной программы, в кружках и семинарах все совпартшкольцы с особой тщательностью изучали решения четырнадцатого партсъезда и Сталинского политического отчёта на этом съезде. Многие, что было неясным в головах совпартшкольцев, прояснилось после внимательного чтения политического отчёта, исчерпывающего со всей полнотой все стороны жизни и деятельности партии

рабочего класса в сложной обстановке первых лет строительства социализма.

А потом, губком партии направлял наиболее активных совпартшкольцев на городские предприятия к рабочим разъяснять решения съезда.

Чеботарёва прикрепили к читальне губернского Дома крестьянина для проведения вечерних политбесед с приезжими крестьянами, так как в эти предьярмарочные дни в город съезжались из всех ближних уездов — грязовчане, тотмичи, вельчане, кадниковцы и каргополы, везли на продажу, кто что мог: продукты сельского хозяйства, кустарные изделия, дичь и рыбу.

Бывший дворянский особняк, отведённый под Дом крестьянина, в эти дни постоянно был переполнен приезжими. Терентий уже не первый раз беседовал с мужиками о пяти укладах в нашем хозяйстве того времени; о трёх лозунгах Ленина по крестьянскому вопросу; о новом курсе в сторону прочного союза пролетариата и бедноты с середняками; о задачах советской торговли и о многом другом, что интересовало из опубликованных материалов партсъезда и затрагивало крестьян.

### XXXII

Однажды, после бойкого собеседования с приезжими, Чеботарёв встретил в Доме крестьянина Дарью Копытину. Она сидела в чайной, в кругу четырёх устькубинских женщин, держа на растопыренных пальцах блюдечко, обжигаясь, пила горячий чай с разбухшими баранками. Не спеша допив чай, Дарья поставила блюдечко, вытерла о передник руки, здороваясь, крепко пожала Терентию руку.

— Поздоровайся с этими, — показала она на женщин, сидевших с ней за чаепитием. — Это мои соседки-товарки. Да садись, выпей с нами чайку.

Терентий подсел к их столу.

— А мы-то с Николаем думали тебя разыскать, а ты сам нашёлся. Похудел, вроде бы изменился малость, — сказала Дарья, всматриваясь в его осунувшееся лицо. — Видать не даром образованьицо-то даётся?

— Да, не даром. А вы сюда на ярмарку приехали?

— Хотим поторговать маленечко, — засмеялась Дарья, — от нашей бабьей коммунии пять возов льца при-

везли. Да ещё не весь отрепали. Ну и поработали, ох как поработали, себе на пользу, людям на зависть. А пусть завидуют, — рассуждала покрасневшая от чая Дарья, — филисовским, канским и других деревень бабам никто не мешал так работать, как мы. На будущее лето и не такое выкинем! Вот погоди... — Дарья подмигнула соседкам, — дескать вы помалкивайте, сама знаю, что сказать. Понизив голос, продолжала:

— К нам по осени ещё раз приезжал Вересов, да не один, с Пилатовым!.. Указали нам к весне ещё прибавку земли неподалёку там на вырубках. Агронома закрепили, чтобы надзирал за нами и помогал нам. Да так и сказал Пилатов ему: «Не протирай штаны в конторе, а ходи чаще на поля». Заведующий училищем Николай Никифорович приходил с учениками на монастырские соляные варницы землю сверлить. Чего там они насверлили, не знаю. Только привернул он к нам на льнище, сам натеребил большущий сноп льна, унёс и в музей в угол поставил с записочкой: «Первый сноп льна из первой артели Дарьи Копытиной». А вокруг все нас коммунией зовут, как я первая и назвала. Ты вот в политике разбираешься, скажи, прав ли Пилатов? Он говорит — называться коммунией неверно. А можно называться просто — товарищество. А я не согласная на это, ему сказала: товарищи-то мы все товарищи, а вот сообща на земле работать по-коммуни в волости мы начали первые. И что наработали — разделили поровну. Так почему мы не коммуния? — обидчиво спросила Дарья, поджав губы, уставилась колючими глазами на Чеботарёва, — почему, я спрашиваю?..

Терентий ответил вдумчиво, с расстановкой:

— Видишь ли, Дарья, Пилатов, конечно, прав; он понимает. Коммуна — это более высокая форма организации. Там общее имущество, общий труд, совместная жизнь. А у вас пока общий только труд. Оно и правильно будет называться — товариществом..

— Ну и то не худо, — помолчав, согласилась Дарья, — товарищество, так и товарищество. А заработали мы не мало!.. Если, худо-бедно, продадим ленок по-дешёвке, как мы подсчитали, так и то можем купить ситцу и ластыку аршин по сто с хвостиком на каждую работягу!.. На мой пай причтётся столько, что моему

Николашке Копытину в два лета на барках столько не добыть. Вот тебе и ленок! — Дарья от восхищения хлопала ладонями по своим коленям и крикнула проходившей официантке:

— Голубушка, ещё кипятку, да чайной заварочки прибавьте! Пить так пить, на весь двугривенный...

— Где же твой Николай, уж не загулял ли? — спросил Терентий.

— Поди-ка, дам я ему загулять! Он у меня на старом базаре, около важни и буторовской магази, возы со льном сторожит. Столько людей понаехало, лошадей некуда ставить. Ярмарки восемь годов не было. Ну, и навалились из разных мест...

Дарья взглянула на старинные высокие часы, стоявшие в углу около буфета, спохватившись, сказала соседкам:

— Вы идите в общежитие, спите-отдыхайте, а я схожу погляжу, как мой Николашка возы караулит. Не сходишь ли и ты со мной, Терентий Иванович?

— А почему бы и не сходить...

— Только не торопись, — добавила Дарья, — мне после чаю сначала отдышаться, прохладиться надо, чтобы на морозе не прустыть.

Дарья полюбила жизнь и к своему здоровью с некоторых пор, особенно после отравления прибами, стала относиться бережно. Одевалась она тепло, во множестве невзрачных одежонок, и когда годы ей перевалили за сорок, она ещё больше раздалась в плечах, потому внешним видом своим напоминала огромный кочан капусты, про который в народе загадкой говорят: на нём семьдесят одежек и все без застёжек. Не торопясь, Дарья спустилась по лестнице, будто выкатилась, на улицу. Терентий за ней.

Время было позднее. Над городом перемигивались звёзды. Ущербный месяц долго прятался за Прилуцким монастырём и едва освещал кубеноозерские деревни. Но когда деревни, видимо, заснули, месяц взошёл повыше и стал любопытством рассматривать, что происходило ночью в городе. И ему было видно, в эту слегка морозную ночь, как Дарья и Терентий между палаток, ларьков, между возов со всякой снедью и рухлядью пробирались в льняной ряд, где среди сотен розвальней и длинных плетёных каргопольских саней стояло пять возов льноволокна, охраняемых Копытиным. Добраться

было нелегко: возы с мешками зерна, возы битой дичи — рябчиков, куропаток, мороженой рыбы; туши коровьи, свиные, зайчьи; грибы сушёные, рыжики, солёные, кожсырьё, кожи выделанные, и чего только не было в этой части базара! Распряжённые лошади стояли вплотную рядами, похрустывая, жевали сено и овёс. Несмотря на позднее время, свету на ярмарочных площадях, улицах и переулках было достаточно — Горкомхоз не пожалел электричества.

Николай Копытин не заметил, как Дарья с Терентием подошли и остановились за возами. И как же он мог их видеть, когда сидел, скорчившись, на среднем возу и, подняв воротник, сладко дремал, а из кармана армяка предательски поблёскивало горлышко красноголовой раскупоренной бутылки.

— Ты что, окаянный, нализался?! — не вытерпев, крикнула Дарья и, подойдя, ткнула мужа в бок.

Копытин очнулся:

— Ах, Дарьюшка, для согревания выпил малость... — и, расправляя воротник, глуповато улыбнулся.

— Я тебе дам «малость»!.. — Дарья выхватила у него из кармана бутылку, посмотрела её на свет подвешенного на столбе электрического фонаря, — водки осталось ещё полбутылки.

— Ну, ладно, не пей только сразу. В меру грейся, а то перегреешься, уснёшь, лён украдут, или ещё хуже; лошадь уведут, чем отвечать будешь?! Кони-то у нас ведь не свои...

— Не украдут, — протянул уверенно Копытин, — за эти годы воры на убыль пошли.

Только теперь он заметил Терентия и, не снимая рукавицы, протянул ему руку.

— Ух, вездесущий, где ты его нашла-то?

— Да уж не в пивнухе, — задорно ответила Дарья, пряча бутылку в кипы льна.

— Да ты не прячь, не прячь, мы вот сейчас с ним на холодке допьём, — и Копытин внимательно покосился, примечая, куда Дарья прячет водку.

— Мне нельзя. Да я и непьющий, — отказался Чеботарёв. — У нас в учебном заведении за один только запах водки или первача могут влепить строгача.

— Ты ещё попрежнему складно говоришь? Это какого же строгача?.. — спросил Копытин.

— Строгий выговор.

— Во как! Людей-то настоящих растят да воспитывают. Так и надо! — одобрительно отозвалась Дарья. — Вот, Терентий Иванович, пять возов. Пощупай, ленок-то каков! Шёлк, настоящий шёлк! Длинный, ровный, мягкий, будто косы девичьи. Повыгодней да поскорей бы продать... Да закупить кое-что.

— Надо знать — кому продавать. Нарвётесь на частного скупщика, вокруг пальца обведёт — предупреждал Терентий и тут же посоветовал Дарье: — посреди площади Свободы, в самой большой палатке Артельсоюза, повидайте Афанасия Додонова, он вам подскажет — где удобней и выгодней для вас и государства лён сбывать и у кого мануфактуру и прочее купить.

— Дожили! — засмеялся Копытин, — Афоньку Додона в посредники! Продать — купить за грош ума не надо!..

— Нет, надо! — запротестовала Дарья. — Афанасий не тебе чета, худого не посоветует. Спасибо, Терентий Иванович, обязательно завтра его разыщу...

Дарья обошла, осмотрела возы, лошадей. Лён был закрыт сверху постилками и накрепко опутан верёвками. У лошадей под копытами образовались ледяные натоптыши-мерзляки. Дарья скинула с себя длинный ватник, взяла с возу топор, смело нагибаясь почти под брюхо лошади, ловко и осторожно обухом топора стала сбивать приставшие к подковам мерзляки. Лошади послушно приподнимали ноги и, поворачивая головы, смотрели на Дарью добрыми глазами...

Наутро, в общежитии Дома крестьянина, она разбудила своих соседок и, как посоветовал Терентий, пошла искать Додонова.

И не успела открыться, зашуметь по-настоящему ярмарка, как все пять возов льна по указанию Афанасия Додонова потянулись за Дарьей и агентом-заготовителем на базу Текстильторга.

Там же на окладе она получила расчёт мануфактурой и деньгами.

Всё вышло так быстро, неожиданно и хорошо, что бабы-льноводки сияли счастливыми усмешками и не знали, какое спасибо оказать Дарье. И все решили, что не для чего толкаться по толкучке, — «народу и без нас много, дело сделано — домой!..».

Целую неделю шумела ярмарка.

Каждый день в обеденный перерыв совпартшкольцы группами и в одиночку ходили глазеть на обилие торговых и увеселительных заведений; иногда в многотысячной толпе приезжих они встречали своих знакомых, земляков, и находилось о чём их расспросить. Терентий Чеботарёв тоже не раз встречался на ярмарке кое с кем из усть-кубинских земляков. Однажды его внимание привлёк знакомый голос Пашки Косарёва. Окружённый толпой зевак, Пашка с изумительной ловкостью жонглировал тремя картами, показывая публике туза, раскидывал карты на днище перевёрнутой пустой бочки и выкрикивал:

Игра — Кавказ!  
Играю — один раз!  
А ну?! Деньги на бочку —  
Игра в одиночку.  
Раз! два! три!  
Туза не найти!..  
Карту примечай,  
Деньги получай.  
Выиграл — получи,  
Проиграл — не кричи..  
Раз! два! три!  
Туза не найти!..

Три карты прыгали в его трясущихся руках, как живые. Серебрушки-мелочь и полтинники так и сыпались Пашке в карман. Едва ли из десяти случаев кто-либо раз выигрывал.

— Жульничество! — выкрикивал кто-нибудь из проигравшихся. А Косарёв деловито возражал:

— Ничего подобного! Игра научная, основана на математической точности, практической вероятности, на ловкости рук без всякого мошенства!..

Раз! два! три!  
Туза не найти!

Терентий прогискивался сквозь толпу на знакомый Пашкин звенящий голос. Косарёв заметил его.

— А! Наше вам почтение! Сколько лет в эту зиму не виделись!.. — балагуря, тараторил он.

— А ты, я вижу, здорово докатился... — сухо, без шуток, сказал Терентий. — Всё тот же неисправимый мастак на все руки.

— Мне видней. А ну?! Не мешай, не стой, у кого карман пустой... Деньги на бочку, игра в одиночку!.. — зывал Пашка публику.

— И как это тебе разрешают народ одурачивать? — удивился Терентий, — что смотрит милиция?..

Пашка хотел ему ответить весёлой, язвительной скороговоркой, но в эту минуту раздался неподалёку пронзительный свисток Пашкина подручного напарника, стоявшего «на стрёме» и заметившего поблизости милиционера. Косарёв быстро засунул карты в карман и шмыгнул в толпу, застёгивая на ходу распахнутую бекешу, отороченную сизым каракулем. Спустя несколько минут, он, как коростель-невидимка, исчезнув здесь, оказывался где-то в другом конце ярмарки.

И опять вокруг него толпа, и снова выкрики:

Раз! два! три! —  
Туза не найти!..

«Живёт же человек, чорт бы его побрал. И чем он занимается? Кому он приносит пользу? Кому он нужен со своими махинациями?.. — удивляясь поведению Косарёва, спрашивал себя Терентий. — Запретят ему жульничать с картами, он завтра же найдёт шарманку и попугая и станет торговать «чужим счастьем» по пяти копеек за пакетик! А кончит свою лёгкую, надувательскую «профессию», конечно, в исправдоме... Но Пашка — ещё агнец божий в сравнении с Прянишниковым, а сколько таких расплодилось!..».

Однажды на этой же ярмарке Чеботарёву пришлось услышать интересный спор, случайно возникший между нэпманом Прянишниковым и коммунистом Серёгичевым.

Усть-кубинский комитет крестьянской взаимопомощи командировал на ярмарку Николая Фёдоровича Серёгичева за сельскохозяйственными машинами. Серёгичев закупил в сельхозкооперации десять молотилок, десять сеялок и несколько сортировок. Машины без всякой упаковки были расставлены на розвальни и надёжно привязаны. Окрашенные то голубой, то яркокрасной краской, они радовали Серёгичева своим привлекатель-

ным видом и поистине казались прочным звеном между городом и деревней.

Довольный Николай Фёдорович перед отправкой обошёл свой обоз, поглаживая машины и проверяя — крепко ли они привязаны, чтобы в пути на раскатах не смахнуло их с розвальней. Переднему вознице наказал:

— Поедешь, смотри, встречным не уступай дорогу, не сворачивай. Вы везёте самый дорогой, общественный груз. Сломать легко, а попробуй починить — в копеечку вскочит...

Обоз с машинами стоял перед отправкой на окраине ярмарочной площади. Возницы собирали в кошелёки разбросанное под ногами сено, готовились по команде Серёгичева к отъезду. И вдруг около них показался Прянишников.

Терентий, провожавший своих земляков, толкнул в бок Серёгичева:

— Смотри-ка, настоящий нэпман.

— Кто, где?

— Да вон, землячок-то, присматривается к вашим машинам...

— Ага, узнаю! — Серёгичев достал кисет и стал свёртывать цыгарку.

— Не крути, угощу папиросой, — не здороваясь, достал блестящий портсигар подошедший Прянишников. Одет он был по последней моде: пыжиковая шапка, пальто из наилучшего чёрного драпа с длинным каракулевым воротником, на ногах высокие белоснежные бурки, отделанные жёлтым хромом. Жёлтый портфель с блестящими застёжками, и если бы не два массивных золотых перстня на пухлых пальцах левой руки, можно было бы подумать, что это видный представитель из Наркомфина или Центросоюза.

— Не привык я к папиросам, — отмахнулся Серёгичев.

— Бери, бери. Аромат! Затянешься — круги в глазах, как радуги, выступают.

Оба закурили. Терентий отошёл немного в сторону и сел на розвальни. Отсюда он не только слышал их разговор, но даже уловил действительно приятный запах папирос.

— Ну, как, всё ещё в большевиках ходишь? — скривав гладко выбритое обрюзгшее лицо, спросил Прянишников.

— К чему такой вопрос? — насторожился Николай Фёдорович и, чтобы не остаться в долгу, спросил: — А ты ещё до сих пор в гильдии мироедов?..

Разговор сразу же принял острый характер. Но Прянишников спокойно ответил:

— Нэп, ничего не поделаешь, чем могу — служу. Если не пол-Москвы, то четверть Москвы маслом со своих заводов снабжаю. Вот тебе и мироед!..

— Силён, пока силён, — покачал головой Серёгичев, — и у нас там слышно, что на грязовецких мужиках далеконько ты заехал, высоконько поднялся. Эх, плутяга, с высоты такой тяжеленько тебе придётся падать.

— А мы соломки подстелем!

— Не поможет.

— Не поможет — не надо. Неизвестно ещё, кто раньше падать будет.

— Известно. Это вопрос бесспорный!

— Давай-ка не будем раньше времени решать, — стараясь казаться спокойным и уверенным, предложил Прянишников, показывая на машины, спросил:

— Частным путём добыли или как?

— Нет, не частным, организовано для кресткома.

— Для кресткома? Хм!.. — ухмыльнулся Прянишников. — Не понимаю, что за слово. Ну, «ком» — это понятно, у вас всё скоро комом пойдёт, а «крест» зачем к этому слову приплели?..

Терентий в полуоборот посмотрел на Николая Фёдоровича, мигнул ему: «Крой по всем швам, не щади такую сволочь!».

Серёгичев, правильно поняв Чеботарёва, вздохнул всей прудью, бросил в снег недокуренную цыгарку. А народ — свои усть-кубинские и других волостей мужики и бабы уже начали их обступать и с любопытством прислушиваться. Серёгичев, слишком обыкновенный бородастый мужик, одетый в перешитое из солдатской шинели пальтишко, бойкий на язык, напустился на своего противника.

— Не злоязычничай, шельма, не издевайся над нашим советским словом, — сказал он не совсем спокойным голосом. — Ты отлично знаешь, что такое крестком. А если в твою, слишком умную, башку не вместились

это слово, изволь, поясню: комитет крестьянской взаимопомощи.

— Ах вот оно что! Вся голь-шмоль. Ни к чему всё это, ни к чему. И машины ни к чему. Один вред от них мужику, только. И немного ума надо, чтобы понять это...

— Поделись тогда своим умом! — выкрикнул из толпы Чеботарёв, подумав: «Чтобы бороться против таких типов, надо знать их вдоль и поперёк и в разрезе».

Прянишников, довольный тем, что в разговор вступился кто-то третий, и видя, что его спор с большевиком люди хотят слушать, спокойно и вкрадчиво стал убеждать окружающих:

— Мы, наши отцы, деды и прадеды испокон веку трудились на нашей земле тихо, без шума, без треска. Ты себе пашешь, а птицы небесные подбирают, уничтожают червей и всяких букашек-вредителей, от того и урожаи были хорошие, и хлеба всем хватало. Так ведь? А попробуй пусти на поле сеялку или, ещё хуже, трактор, сколько шума! Сколько треска! Птицы и близко не покажутся. А черви и всякие букашки рады-радехоньки размножаться и подтачивать посевы. Вот он вам и весь прок от машин!.. Пожалуйста, покупайте их как можно больше, если вы сами себе враги, если хотите снизить урожай....

Прянишников тряхнул головой и прищуренным хитрым взглядом обвёл всех усть-кубинских земляков, словно высматривая себе сочувствующих. Но все молча ждали, что ответит Серёгичев.

— Вот загнул! Вот загнул! Надо же суметь выдумать такую провокацию. Глуповато, но тонко придумано, — проговорил Николай Фёдорович и погрозил пальцем Прянишникову почти у самого его носа.

— Вот гидра! — послышался чей-то злой голос из толпы. — В ГПУ его за такие слова!..

— Советская власть даёт крестьянам машины на льготных условиях, а он, стервец, говорит — птичек напугаете...

— Сразу видно, о каких птичках речь ведёт, сам он птичка из этой стаи!

Шум разрастался. Прянишникова окружили — нескоро выберешься.

— Нет, позвольте, позвольте, — возмутился и заволновался он. — Если спорить, так спорить полюбовно..

— Нечего позволять!

— Полюбовно?! Ха-ха! Кулацкая морда!.. Подбородок с две рукавицы; брюхо-то отожрал, хоть подпорки подставляй. Полюбовно? Ха! Захотел полюбовно объясняться. Да ты кто? Гидра! Мироед..

— Граждане, да такую гидру в восемнадцатом году — раз, и нет ваших!..

— Обнаглели, дьяволы.

— Взять бы да с моста в Золотуху брякнуть!

— Засудят.

— За такого-то? За паразита?..

— Никогда..

Серёгичев презрительно отвернулся от Прянишникова и, вскочив на облучок розвальней, обратился к толпе, как на митинге:

— Товарищи! Дискуссии не возбраняются, ежели культурно их вести. А тут я слышу, некоторые из наших мужичков не те слова говорят. Сбросить ихнего брата всегда успеем и сумеем. Но видно, пока ещё не наступил подходящий этап... Вопрос спора не в этом, а в том, для кого страшны в деревне машины и тракторы? Для птичек ли?.. Нет! Я говорю — нет!.. — ударил себя в грудь кулаком Николай Фёдорович. Не в силах сдержаться от нахлынувшего гнева, твёрдым голосом, будто остроотточенным топором он отрубил с плеча:

— Машины в сельском хозяйстве — это оружие против кулаков-мироедов. Это облегчённый труд! Это повышенный урожай! Это окончательная гибель Прянишниковых. Нет, господин нэпман, хоть ты гидра первогильдейская, хоть, ты и над кулаками кулак, но твоя птичья песенка никого не одурачит. Машины потоком пойдут в деревни. Весной их поступит к нам ещё больше. Скорей бы нам своих отечественных тракторов дожидаться, да побольше... Граждане, расступитесь, пусть он катится. Далеко не уйдёт. Подведёт его собственная брехня, подведёт!..

Не дожидаясь, чем кончится речь Серёгичева, Прянишников надвинул на лоб пыжиковый треух, пробился сквозь ряды столпившихся мужиков и пошёл в ярмарочную гущу, не спеша, вперевалку, помахивая на ходу портфелем.

Немного погодя Николай Фёдорович сказал Чеботарёву:

— Так вот, Терентий Иванович, учись. Постигай партийную науку. Вооружайся. Без политической грамоты голыми руками за такую гидру браться трудно. Вот он ходит по ярмарке, где контрреволюцию сболтнёт, где приглядится, да ухватится за что-нибудь, скупит, чтобы нажиться. Зря он, гад, шагу не ступит... Ну, мужики, готовы? Поехали!..

Кресткомовский обоз, нагруженный сельхозмашинами, скрипя полозьями по укатанному промёрзшему снегу, тронулся в путь.

Простившись с Николаем Фёдоровичем, Чеботарёв, направился в Совпартшколу.

В кабинетах за столами, поскрипывая перьями, шелестя книжными листами, сидели сосредоточенные совпартшкольцы. Терентий взял из шкафа томик Ленина и сидел до тех пор, пока все товарищи не разошлись по комнатам общежития, пока не пришёл дежурный гасить электрический свет...

Кресткомовский обоз был уже далеко в пути к Устю-Кубинскому. Становилось холодно. Метель-позёмка курилась на снежных сугробах, переметала разъезженную, разбитую дорогу. Лошади останавливались и ржали, словно просили своих хозяев дать им до утра передышку в первой попутной деревне. Где-то в стороне справа, за пустошами, в кубинском пустоплёсье, недалеко от большой дороги выли волки. Но волки не страшны, когда едет целый обоз. У каждого возчика в передке розвальней имеется топорик, а у самого Серёгичева спрятан за пазухой семизарядный надёжный револьвер.

Начались кубеноозерские деревни; проехали мимо Морина и церкви Василия Великого, что на Едке-реке. Свернули вправо. Осталась одна небольшая, вся из крашенных домиков деревенька Акулово. Дальше — озеро и пожни вёрст на тридцать до Кубинского устья.

— Поедем ли сразу дальше или здесь заночуем? — спросил Николай Фёдорович земляков.

— Заночуем. Кони устали, сами застыли...

— Сворачивай в Акулово!..

Одна за другой гуськом нырнули подводы в постоянный двор. Все лошади вместе с возами разместились под крытый тёсом заснеженный навес. Хозяин остано-

ялого двора, крепкий кулак, рад «гостям». За ночлег с людей, за «местовое» с лошадей, за чайшко да за овсишко предвидится с обоза доход не малый. Изба у него преогромная. В передней большой комнате на полатях, под полатями, на лавках, на печке и на полу, на соломенных постелях и просто так размещается человек сорок на ночь. А в соседней светлой комнате — горнице — зеркала, шкафы, кровать блестящая, образа от лавки до потолка; здесь живёт немногочисленная хозяйская семья. Пускает хозяин и сюда постояльцев, но только тех, кто побогаче, да проезжих служащих с «весом и положением». Хозяйская прислуга с фонарём в руке встречает ночлежников, показывает, куда поставить лошадей, куда пройти людям. Трёхведёрный самовар, — какие находились прежде только в монастырских гостиницах, — приветливо и напевно шумит, будто приглашает всех к столу со своим хлебом-солью, или с городским гостинцем.

Серёгичев и все полтора десятка возчиков с ним шумно ввалились в тёплую, просторную избу.

— Потихе, — сказал им вышедший из горницы хозяин, — а так, вообще, добро пожаловать...

Он сосчитал всех вошедших и, предложив им размещаться, спросил:

— Ну, как, заозёрские водохлёбы, чай пить, конечно, будете?...

— Будем.

— Не хотите ли варенья малинового, собственной варки? Язык проглотите...

— Начётисто будет, не надо.

— Ну, тогда не желаете ли студени, из остатков со своей скотобойни. Хорошая студень, — не унимался тароватый владелец постоялого.

— Почём она?

— Двугривенный за фунт.

— Отвешай на нашу компанию фунтиков пятнадцать, — согласился Николай Фёдорович, — как, ребята, хватит?

— Хватит. А то заказывай сразу полпуда — съедим...

Все уселись вокруг длинного в переднем углу стола, достали завёрнутый в платки и мешочки харч. Отогрелись, оживились. После чаепития ходили проведать лошадей, подбавить корму, выпить по ведёрку студёной воды...

За полночь, когда многие безмятежно храпели, Николай Фёдорович один сидел за столом и, полузакрыв глаза, думал о том, какие ещё до весны будут доходы от двух мельниц комитета крестьянской взаимопомощи, и сколько на эти доходы можно будет купить и привезти из города новых машин.

— Эх, кабы тракторов парочку!..

Но тогда и о двух тракторах Серёгичеву можно было только мечтать...

За двойными промёрзлыми рамами было слышно, как проскрипели чьи-то пружёные тяжёлые сани.

— Поедем на один упряг, Рыжко выдюжит, — послышался хриплый голос.

— Нет, ночуем, — резко возразил другой.

— Нет, поедем, — настаивал охрипший.

— Я говорю — ночуем... Блажен, кто и скоты милует. Тпрру...

Постучали в окно хозяйской горницы.

Хозяин вывернул фитиль в лампе, ярче брызнул свет.

На печи в большой комнате, покашливая, завозилась работница. Как ни молчалива, а тут, пожалев сна, проворчала:

— Опять чорт каких-то заозёров принёс... Поспать не дадут. — И вышла во двор с фонарём.

Приехали попихинские — Михайла и Енька. Поторговав в городе сапогами, оба, отец и сын, крепко выпившие, возвращались домой. Старые знакомые и на добром счету у хозяина постоянного двора, они прошли к нему в чистую половину избы, не заметив Серёгичева.

— Как поторговали сапогами? — спросил хозяин постоянного двора, выпив стакан водки, поднесённый Енькой.

— Да так, ни шатко, ни валко, — ворчливо ответил Михайла, поглаживая ватный жилет с бумажником, оттопырившим прудь. — Разве это торговля! Бывало прежде воза два-три сапогов-то привезёшь на ярмарку. А нынче только шесть десятков пар.

— И то хорошо, и то не мало.

— Правильно, не мало! — оживился Михайла на замечание хозяина. — А ты вот растолкуй этому обалдую, — показал он на сына Еньку. — Недоволен он отцом. Недоволен. Конечно, где уж мне угнаться за его

тестем Афиногенычем. Не до жиру, быть бы живу. Посмотрю вот, как ты, моё чадо, заживёшь без меня...

— То есть как без тебя? — спросил хозяин.

— Да вот так. Думает мой Енюшка хозяйство размотать да из дому уехать.

— И уеду! Решено! И хозяйство распродам, — вскипел Енька.

— Куда думаешь перебираться, Евгений Михайлович? — вежливо осведомился хозяин.

— В город Петергоф! — заносчиво похвастал Енька.

— Есть там за что зацепиться?

— Зацепка что надо! Прянишников, мой тесть, купил там домик на Бабигонской улице. Кирпичный фундамент, железная крыша, девять окон, электричество, водопровод. Полная цивилизация за пять тысяч рублей!.. Да ещё сад — двадцать восемь яблоней и прочие деревья. Всё это добро тесть подписал у нотариуса как наследство моей жене... Перееду, нечего мне с бабой в Попихе небо коптить. А ты, отец, как хочешь. Доживай свои дни в Попихе.

— Вырастил единственного сынка, нечего сказать... Такое хозяйство скототил... Не дам нарушить, не дам! — слабо оборонялся Михайла, хватаясь не то за грудь, не то за бумажник.

— А я и спрашивать не буду! — бушевал Енька. — Первым делом коров забью, мясо на базар. Вторым делом — постройки продам, амбар, баню, гуменник, сеновал... двор с дровяником...

Разгневанный Михайла кричал сквозь слёзы:

— Не посмеешь! В суд подам! Я из деревни никуда, ни ногой. Я наживал. Да поезжай ты со своей хромой Фроськой хоть в тартарары! Не сын ты мне!..

— Благодарю покорно! — скривился Енька, отчего его рыжее веснушчатое лицо передёрнулось и показалось отцу чужим и враждебным.

— Отца без пая тоже нельзя оставить, — вмешался хозяин постоянного двора, желая их примирить и прекратить спор.

— А велик ли ему пай надобен?! Долго ли ему, старому хрычу, жить осталось? Год-два? Так я ему на два года пять мешков муки оставлю. Жри! — рассудил Енька быстро и рассчётливо.

Михайла ничего не сказал на это, только мутные слёзы покатались из его старческих глаз. Он вышел

из-за стола и, стуча промёрзлыми валенками по полу, переступил порог в соседнюю большую комнату, где, ругаясь, полез на печь.

— Что, с сыном не поладили? — услышал Михайла голос Серёгичева.

— Выходит так, — жалобно ответил Михайла, — а ты здесь тоже на ночлеге?

— Тоже.

— Прянишников моего Еньку с потрохами купил. Ох, горе моё, отцовское горе, — тяжело вздыхая и всхлипывая, поведал Михайла.

— Прянишников и не такого Еньку купить может, — равнодушно согласился Николай Фёдорович. — Видели вы его там, в городе?

— Как же, видели. Ходили к нему в номера! Живёт как барин. Кого-то он угощает. Кто-то его угощает — не поймёшь. Еньке купчую бумагу дал с печатями. Слышал, поди-ка, ты наш разговор. Дом в Петергофе купил и подарил... Из-за этого и началось. Чёрная кошка пробежала между мною и Енькой... Нет больше у меня сына. Нет...

Из соседней комнаты слышалось, как Енька, побрякивая стаканом, сам себя убеждал:

— В Петергоф на Бабигонскую, дом номер тринадцать. Собственный дом! Надо переезжать, надо! И всё распродать, пока налогами не доконали.

— Налогам и там могут прижать, несчастный ты путаник, — угрюмо проворчал Михайла, выглядывая из-за кожуха.

— А ты, знай, помалкивай. Мне жить, не тебе. В мастерскую поступлю. Восемь часов в день отстукал, остальное на дому. Раз в неделю — базар. Можно и в Ленинград, там рядом, рукой подать...

Енька вышел из хозяйской комнаты, поздоровался с Николаем Фёдоровичем, развязно заговорил:

— А ты, большевик, как смотришь на мой переезд в Петергоф?

— Что же, город хороший, лучше вашей Попихи... Я там в четырнадцатом году служил в запасном батальоне...

— Вот я и говорю... — поторопился сказать Енька, принимая в похвалу себе слова Серёгичева.

Но тот не в утешение ему добавил:

— Никуда ты, Енька, сам от себя не уедешь. Из своей скорлупы ты не вылезешь. А всему виной твоя жадность. Ты и в Петергофе останешься тем же Енькой. Закваска у тебя не та, не подходит к нашему времени.

— Не шутишь?

— Нет, не шучу.

### XXXIV

В студёную вологодскую зиму совпартшкольцы собирались в деревни на практику. Брали из кладовой неуклюжие чемоданы и сундуки, наполняя их книгами и газетными вырезками. Терентий Чеботарёв, как бывший избач, имеющий опыт работы в деревне, учебной частью был выделен руководить бригадой курсантов и получил назначение в домшинские и чёбсарские деревни.

В группе было семь парней, семь вологодских здоровяков.

Преподаватель истории партии, всегда гладко выбритый, причёсанный, строгий, никогда не допускающий шуток сугубо серьёзный товарищ, провожая курсантов, лишний раз напутствовал:

— Товарищи курсанты! Не одними беседами и докладами будет измеряться ваш большевизм. Мы будем через полтора месяца спрашивать с вас действительную работу: чем сумели вы на деле оказать помощь крестьянину? Только не сдавайтесь перед трудностями, а трудностей там, ребята, не мало...

Чеботарёву было лестно ехать бригадиром в деревенскую глушь, в незнакомые места, без прикрепленного к его бригаде преподавателя. То, что там глушь, Терентий знал из беседы с секретарём Вологодского укома партии, который предупредил его и отъезжающих с ним курсантов.

Секретарь, пригласив всю группу курсантов к себе в кабинет, сказал им:

— Не утешайте себя, товарищи, надеждами на то, что народ около станции Чёбсары мирный и культурный. Самогонка, хулиганство, сектанты разных течений — «беседники», «скрытники» и прочие — живут там на хуторах и в деревнях. Течение у них разное, но

русло одно — это укрыться от мирского зла. А злом они считают маслодельные и сельскохозяйственные артели, налоги, заготовки, избы-читальни, социализм, — всё это по-ихнему — зло. И ведут они борьбу против нас совместно с духовенством и кулачеством. Конечно, за полтора месяца гор не своротите, но сделать можете многое, если напористо, по-большевистски возьмётесь за дело...

От станции до исполкома и волостной избы-читальни — километров пятнадцать. Холодная ночь, незнакомая лесная местность. Ребята обуты, одеты легко, не по зимней погоде. В темноте толкаются, прискакивая, бегут за скрипучими полозьями повозки, но согреться никак не могут. Слишком безжалостен, лют мороз, а их «продувная» одежонка годна разве только сходить на час погулять по вологодским тротуарам. Остаток ночи совпартшкольцы провели в исполкоме на отшибе от деревень, рядом с погостом.

Утром, до прибытия избача и предвика, Терентий попытался попасть в избы-читальню. И хотя на дверях читальни висел замок размером с рукавицу, но за неимением ключа он не запирался и висел для того, чтобы своим видом отпугнуть посетителей. Стёкла в окнах настолько густо были покрыты изморозью, что сквозь них ничего нельзя было различить. На столе — опрокинутая чернильница, ручка без пера, несколько потрёпанных газет и журналов. На стенах плакаты об уходе за молочным скотом, об утильсырье, о сдаче ивовой и еловой коры. Шкаф с книгами закрыт. Два кольца в растворках шкафа крепко связаны шпагатом. Сбоку к шкафу прибита гвоздём книга: «Для вопросов и ответов».

«Вот где можно изучить запросы и интересы здешних крестьян и культуру избача», — подумал Терентий и с любопытством раскрыл книгу. В ней была написана всего лишь одна страничка:

#### Вопросы:

1. Что такое оппортунизм?

#### Ответы:

1. Вы пишете неверно вопрос. Не оппортунизм, а оппортунизм. Это такая партия во Франции в 18 веке прошлого столетия. Избач Соколов.

2. Что раньше рожалось: курица, либо яйцо?
3. У нас в деревне сгорели от молнии три овина, что это? Божье наказание или электричество?
4. Ответь, каким путём выведятся веснушки, где и сколько это будет стоить?
2. Конечно яйцо. Если недоволен ответом, приходи и согласуй лично. Избач Соколов.
3. Гром и молния сплошное электричество. А чтобы овины не горели, надо их страховать и баста! Избач Соколов.
4. Вопрос не по существу, договоритесь с ветеринаром Мезенковым, он на эти штуки мастак. Избач Соколов.

— Да-да! — горько усмехаясь, проговорил Терентий. — Видать, работничек здесь неподходящий, — и, не раздумывая, вырвал из книги лист, подумал: «Придётся секретарю укома эту грамотку показать. Пусть избача обязательно направит учиться. Это ещё пока не политпросветчик!».

Рано утром в прихожей комнате волостного исполкома людей, пришедших по разным делам, набилось полно.

Из деревни Митицына приехал предвик Машков. Краткое совещание в кабинете предвика. Машков хриплым, простуженным голосом осведомляет бригаду о положении в волости:

— Кулачество и сектанты у нас в полном расцвете сил, — говорит он, — и ведут они себя нагло, развязно. Бедняк бьётся, как рыба об лёд, а считается кулаками не иначе, как лодырем. Середняк в здешних местах подчас находится под влиянием кулаков и мечтает, как бы вытянуться на их уровень в хороший хуторок под железную крышу, да обзавестись коровьим стадом в пять-шесть голов, да парочку выездных лошадей иметь... Вам придётся ехать туда, где положение всего хуже, то есть в Ломтёвщину. Поезжайте и сейте культуру, учитесь работать, раз вы посланы на практику. Помогите председателю сельсовета. Укрепляйте кооперацию и комитет взаимопомощи... Хорошо, кабы там организовать женщин-кружевниц в кустарную артель. Хватит им обогащать вологодских и местных перекупщиков...

Совпартшколец Приписнов подмигнул Терентию:

— Женщин организовать — это по моей части. С бабами у меня всегда общий язык есть.

— Ну, ты, Вася, не хвались, едучи на рать, — заметил Иванов Сашка, безобидный толковый парень, один из лучших курсантов Совпартшколы.

— Я боюсь, как бы ты в секту «скрытников» не вступил, — пошутил Терентий, кивая на Приписнова.

Во время беседы пришёл избач. У порога обил шапкой-уханкой снег с валенок, почтительно за руку поздоровался с Машковым, затем со всеми совпартшкольцами.

— Вот, Соколов, сколько к тебе помощников понаехало! Только знай работайте!..

— Добро, добро, — растерянно проговорил избач — парень лет двадцати, беловолосый, с бесхитростным и кажется всегда улыбающимся лицом.

— Куда мы их рассуём?

— Уже договорились: всех в Ломтёвщину.

— Трудненько им будет. Много там несознательности, — сочувственно сказал избач.

— А мы лёгкой работы и не ищем, — заметил Терентий и спросил Соколова, — а ты бывал в тех деревнях?

— Неособенно. Далеконько отсель. У меня и здесь работы хватает: то справки, то заявления да жалобы разные, то да сё.. Ещё думаю готовиться поступать учиться на тот год к вам в Совпартшколу.

— Учиться, да, надо, всем надо учиться, — подсказал председатель. — Обязательно отправим. Готовься только да не провались.

— Комсомолец? — спросил избача Чеботарёв.

— Само собой разумеется.

— Из батраков?

— Нет, из беспризорных, сирота с малых лет.

— Подойдёшь, примут. Но готовиться надо. Пять раз прочитай и пойми, сердцем, душой пойми сталинскую книгу «Об основах ленинизма»; материалы партийных съездов, доклады, резолюции тоже положено знать. С избача спросят, особенно по крестьянскому вопросу. Два-три года поучишься, потом сам себя не узнаешь. Просветишься, преобразишься, — наставительно говорил Терентий и вспомнил, как почти то же самое он слышал от Афанасия Додонова перед поступлением

ь учёбу. И ему стало немножко неудобно. «Не рано ли мне указывать людям, как надо жить?» — подумал он и добавил: — Конечно, товарищ Соколов, жизнь заставит, сама жизнь подтолкнёт учиться. Своя путь-дорога определится, но гораздо лучше будет эту путь-дорогу не ощупью, не вслепую искать, а своевременно встать на неё и идти, идти прямо к цели.

— А я думал поступить на курсы милиции.

— Что ж, если есть призвание, учись на милиционера. Окажешься способен — начальником станешь.

— Хотел бы в конную. Люблю лошадей, — продолжал Соколов, но дальнейший его разговор предвник повернул в другую сторону.

— О конной милиции помечтаешь потом, — сказал Машков, — а теперь давай сбегай в Митицыно, пусть запрягут пару лошадей и отвезут совпартшкольцев в Беседное...

Недружелюбно, с ехидцей и издевками встретили мужики совпартшкольцев в селе Беседном — центре Ломтёвского сельсовета.

— Большевицкие апостолы приехали, советские проповедники... Разговоры разговаривать — нас учить, а у самих молоко на губах.

— Мужиков приехали сомуцать, налоги выкачивать.

Кулацкая директива из деревни в деревню в течение одних суток по всему сельсовету разнеслась:

— Приехавшим курсантам из жратвы ничего не продавать, ночевать не пускать, подвод для переездов не давать. Погостят-погостят, да ни с чем и уедут...

И верно: куда бы ни обратились совпартшкольцы в Беседном, всюду ворота на запоре. Для жилья места не находится. Четверо ребят остановились в тесной конуре у сельсоветского сторожа. Остальные четверо, во главе с Терентием, пошли по селу выбирать самую большую избу. И зашли как раз к попадье. Попа не было дома. Попадья, не слишком разумная баба, и её дочь, курносая, обойдённая женихами, проявили любопытство к пришедшим.

— Из города, ребятки?

— Из города, тётенька. Нельзя ли тут у вас недельки три-четыре пожить?

— Ой, ребятки, что у вас там в городе делается, церкви-то зачем ломают? — заголосила попадья, не отвечая на вопрос вошедших совпартшкольцев. — Кому они помешали, церкви-то?

— Кирпичи, бабушка, понадобились, кирпичи, — коротко объяснил Приписнов.

— Будет тебе, мама, приставать со своими церквями, не они ломают, — желая побеседовать с пришедшими, заговорила поповна. — У нас с ночлегом можно устроиться. Нас трое, а живём в трёх комнатах. Икон многовато у нас. Если это вас не смутит, оставайтесь, пожалуйста. За папу я ручаюсь, он у нас прогрессист и возражать не будет.

— Кто? Прогрессист? Что это такое? — спросил Терентий.

— Да он священник с советским уклоном, — охотно пояснила поповна.

Совпартшкольцы переглянулись. Приписнов весело заулыбался:

— В семейку попали! Нас не взтреют за это?..

— А не всё ли равно, у кого жить? Благо у них есть отдельная комната, — проговорил Сашка Иванов. — Где-то надо жить.

И все с ним согласились.

— А кто вы такие, ребятки? — поинтересовалась попадья, видя, что от постояльцев не отвязаться, тем более — дочь на их стороне.

— Это, мама, студенты, — шепнула поповна.

Матушка что-то промычала себе под нос и опять спросила:

— Где же вы обучаетесь?

— В бывшем епархиальном доме, — не задумываясь, ответил Терентий.

— В епархиальном! — оживлённо переспросила попадья. — Как не знать! Моя дочка там три года до революции обучалась, а сейчас вот её никуда не берут на службу.

— Ну, ребятки, ладно, оставайтесь, об условиях с отцом договоритесь, — и, кивнув дочери, сказала:

— Глафира, приготовь для ребяток фатерку!

В сумерки совпартшкольцы сидели без света. Единственная чадившая лампа висела в проходе между двух поповских комнат.

Сквозь мёрзлые стёкла за окнами сумрачно маячила небольшая сельская церковь.

Приписнов, протирая рукавицей окно, глядя на церковь, сказал:

— У здешнего батюшки и «мастерская» под руками. Полное удобство!..

Терентий Чеботарёв, заглянув в комнату попадьи, спросил:

— Хозяйка, во имя какого святого ваша церковь?

— Двухпрестольная юна у нас, — отозвалась попадья, брякая впотымах за печкой подойником и пиная мяукающую кошку. — В приходе у нас два праздника престольных: на Илью-пророка и на Николу Милостивого.

— Пьяные праздники бывают?

— Шибко пьяные. Обедня пройдёт, чего же тогда делать, как не пить?

— И дерутся, хулиганят, наверно?

— Как же, родимые, без драк? Что ни праздник, то кого-нибудь и укокошат. На Николу Милостивого по Ломтёвщине в прошлом году шестерых парней зарезали.

— А вашему батьке со всего доход — с праздника и с покойника?

— Не велик доход, — обидчиво ответила попадья. — Нынешний народ не добёр стал... Семья трое, а еле-еле живём.

Пока ребята разговаривали с попадьёй, поповна пропустила в калитку приехавшего попа и предупредила его, что они с матушкой решили пустить на «постой» городских студентов.

Поп оказался совсем не такой, каким его представляли себе совпартшкольцы. На нём не было затасканного подрясника, и крест не болтался на груди. Волосы у бати подстрижены так, что не закрывали шеи. И странно: на квартирантов он не обратил внимания сразу, а сначала наелся мясных щей и запил их молоком, затем снял висевшую на крючке лампу и, вывернув слегка фитиль, прошёл с нею в комнату, где расположились тихо беседовавшие совпартшкольцы.

— Мир вашей беседе, молодцы хорошие! У меня на подворье остановились? Пожалуйста, пожалуйста!

Словоохотливый поп отрекомендовался новатором-живоцерковником и заявил, что его заветная мечта —

приобрести радио и слушать весь мир. Тут же он рассказал мимоходом о сектантах, о их обычаях, о вражде с православными, пожаловался на свои скромные доходы... Извинившись, поп вышел, осторожно закрыв за собой дверь и задёргнув ситцевую занавеску.

— Приспособленец! — определил Чеботарёв, — все они одним миром мазаны: божьи соловьи с копытами, в одно ухо напевают, а в другое того и гляди лягут...

Совпартшкольцы начали практику. Они проводили беседы, доклады, устраивали вечера вопросов и ответов, выпускали стенгазеты, проводили читки художественной литературы: Максима Горького, Демьяна Бедного. Читали Вячеслава Шишкова «Спектакль в селе Огрызове», а потом спектакль соорудили своими силами, и он был похож на тот, «огрызовский», что описан у Шишкова.

Трудную задачу во время культурно-просветительной практики в деревне взялся разрешить Чеботарёв. Он включил в план своей работы организацию кустарной артели кружевниц. Не менее трудную задачу решал Приписнов, ему было поручено в деревнях, где есть сектанты, завербовать полсотни подписчиков на газету «Безбожник». Совпартшколец Супаков, невозмутимый толстяк, настойчиво рекламировал и распространял журнал «Сам себе агроном». Сашка Иванов ходил по окрестным деревням и промил Чемберлена и Макдональда. Сашку приглашали придти ещё поговорить о капиталистах и ему же совали рублёвки с просьбой выписать газету, да почтальону сказать, чтобы газета в пути не терялась.

Остальные четверо совпартшкольцев каждый вечер ходили по деревням устраивать молодёжные посиделки, разумные и весёлые, как подсказывал им «Журнал крестьянской молодёжи».

Перед окончанием практики в Беседном, когда женщины-кружевницы были подготовлены к вступлению в кустарную артель, Терентий созвал организационное собрание, руководил собранием председельсовета Миرون. От задней стены и до стола президиума вплотную набились кружевницы. Некоторые из них, не полагаясь в решениях на самих себя, пришли с мужьями. Местный скупщик кружевных изделий, попросту величаемый Николаем Александровичем, пришёл до открытия собрания и вежливо справился:

— Я полагаю, что я лишён голоса только выбирать в Совет, а на таких собраниях могу присутствовать?

В президиуме шепотком посоветовались, а потом Миронов ответил ему:

— Можешь присутствовать, но голоса твоего считать не будем. И предупреждаем, чтоб кулацкой агитации не было ни звука!..

— Ну, бог с вами, — сказал скупщик и, расстегнув пальто с бобровым воротником, важно сел в окружении кустарок и мужиков-односельчан.

Немного взволнованный Терентий стоял за столом и перелистывал конспект доклада, слегка прокашливался и посматривал на собравшихся, угадывая, какой к ним нужен подход, чтобы нашлось как можно больше желающих записаться в артель.

— Пусть не курят! — послышался чей-то голос. — Дышать нечем.

— И без курева немного надышите, как в артельку вступите, — хихикнул Николай Александрович и оглянулся вокруг.

— Вступим, либо ещё и нет, — вставил юдин из мужиков. — Сначала послушаем, а потом поглядим, под кем ходить, под тобой, или под артелью...

— Ну, граждане, не мешайте докладчику, — возгласил Миронов. — Слово имеет товарищ Чеботарёв.

Начал Терентий свой доклад издалека.

— Страна Советов поставлена Лениным и его партией на правильный путь. Последователь Ленина, товарищ Сталин, учит нас, коммунистов, чутко подходить к крестьянству, создавать актив из беспартийных крестьян, оживлять Советы и вместе с беспартийной массой двигаться вперёд. Мы с каждым годом растём, преодолевая трудности...

— Угу, растём! — тихонько прошипел скупщик Николай Александрович. — На вершок пока что не подались...

Перебивая Терентия более резким голосом, возразил сектант-подкулачник из деревни Вахрушева:

— Вот ты говоришь — будет «иструлизация» — заводы, фабрики, а где эти фабрики, я знаю: в Леденге советская власть последнюю солеварню закрыла, а?..

— Истинная правда! — отозвался перекупщик и одобрительно засмеялся.

Пример, приведённый подкулачником, ему показался удачным.

Но Терентий опроверг эту вылазку. Он доказал, что соль привозят в Вологодчину из других мест по пятаку за килограмм, а леденгские солеварни для того, чтобы выпарить десять килограммов соли, пожирают три кубометра дров. Где же тут выгода?..

Когда речь зашла о кустарках-кружевницах и о частниках, наживающих себе капиталы, Терентий впервые почувствовал, как ему кстати оказалась усвоенная в Совпартшколе политэкономия. Он говорил с увлечением, не торопясь, и, казалось, прислушивался к каждому своему слову.

— Меня удивляет, — говорил он, — почему здешние женщины-мастерницы кружевных изделий до сих пор пресмыкаются перед частником? Не пора ли догадаться о той выгоде, что несёт артель не купчикам-толстосумам, а труженицам?.. У меня на родине, в Устье-Кубинском и в окрестных деревнях кружевницы, роговщики и даже горшечники все объединились в артели, и никакой частник-скупщик не приберёт их к своим рукам, потому что люди поняли, в чём сила, а сила — в организации, сила — в кооперации... Многие частники в наших усть-кубинских краях, вытесненные артелями, вынуждены были удрать кто куда, искать себе злых мест для наживы там, где люди ещё не понимают кооперативных преимуществ и выгод...

Он говорил долго. Выпады подкулачников прекратились. Докладчик, расстегнув ворот красной сатиновой косоворотки, «закругляя» свою речь, подсказывал собранию фамилии тех женщин-активисток, которые по его мнению и по согласованию с председателем Ломтёвского сельсовета могли быть избранными в правление артели.

Перед тем как проводить запись кустарок в артель, выступил в числе многих других сторож сельсовета бедняк Иван Лыдина. Сухой, скорбленный многолетними трудами и старостью, Иван Лыдина, когда выступал на собраниях, всегда любил подкинуть модное и мудрёное, хотя бы и непонятное ему словцо и не скупился на жесты, хотя бы в них и не было надобности. Поддёрнув на себе заплатанные штаны и подняв резким движением руку, Лыдина агитировал:

— Я, граждане, в своём внеочередном слове предлагаю и прошу, за все треплики и помешательства докладчику, уволить с собрания кружевного закупщика. Делать ему тут нечего. В артель он не пойдёт — фактура! В правление его не выберем — тоже фактура, а не реклама.. Для стеснения кустарок сидит он тут, как чирей на носу! В трениях он не имеет права говорить и не позволим!.. И зря он тут сидит и потеет в своей лисьей шубе. Вон его отсюда!.. Возражений нет?..

Мионов хотел возражать против такого решительного предложения Лыдины, но оказалось незачем. Пока он стучал карандашом по столешнице, перекупщик, нахлобучив шапку, попятился к двери и, выходя, ехидно бросил:

— Я и без вас обойдусь.. А вот вы, бабы, попробуйте. И месяца не просуществуете. В ноги мне будете кланяться, а я скажу: «нет, с артельщиками я дела не имею!..».

— Кулацкая агитация! — воскликнул Чеботарёв вслед уходящему из сельсовета перекупщику. — Знаем, слышали, не ты первый и не ты последний лишаешься опоры. Довольно чужими руками жар загребать...

Собрание продолжалось гладко, только под конец разыгралась неприятная сцена между сторожем Лыдиной и его женой Евстольей.

Большинство кустарок уже значилось в списке организуемой артели. А некоторые женщины, нерешительно переминаясь, говорили:

— После поступим, если у вас хорошо дело пойдёт...

— Кто следующий? — выкликнул Мионов.

Воздержавшиеся отмалчивались. Молчала и Евстолья, жена Лыдины.

Сначала Лыдина искоса посматривал на Евстолью, потом толкнул её в бок.

— Ты чево это, юпать в принцип ударила?

— Ни во что не ударила.

— Пишись!

— Не буду!

— Эка единоличная плетя!.. Да я все твои коклюшки топором изрублю, не дам на частника кружева плести.

— Не запугаешь! Моя воля, ныне бабье равноправие.

Видит Лыдина — не справиться с женой добрым словом. ругнул её полушопотом, а в президиум крикнул:

— Пишите мою Евстолию!..

— А я не хочу!

— Насильно не можем, — сказали из президиума.

Терентий, довольный результатами собрания, вытирая на лице пот, шугя заметил Лыдине:

— Ты что ж, дядя Иван, мало поработал с женой? Смотри-ка, она в хвосте у других плетётся.

— Вот я и говорю то же самое, — как бы извиняясь, пролепетал Лыдина и снова начал увещевать жену. Та не поддавалась. После долгих пререканий и ругательств Лыдина сказал ей.

— Ты у меня несознательный миниум! Вот возьму да и разведусь, тогда запоёшь...

— Ми-ни-ум?! — повторили соседи.

Раздался хохот.

Евстолия не стерпела оскорбления, покинула собрание. За воротами она стояла на снегу и протирала глаза передником. Выходили на улицу Миронов и Терентий уговаривать Евстолию.

— Нет, я ему, дьяволу, не прощу: каким ведь словом неслыханным обругал при всём честном народе. Все на смех подняли... Научите, добрые люди, как на Лыдину в суд подать? — всхлипывая, спрашивала Евстолия.

Терентий и председельсовета кое-как убедили её, что муж пошутил и обижаться тут не на что.

В последний день пребывания в Беседном Чеботарёв подводил в сельсовете итоги работы совпартшкольцев. Доклад писал через копировальную бумагу в двух экземплярах: один — для Совпартшколы, другой — для укома, ещё отдельно — для укома — составил список бедняцкого актива по Ломтёвскому сельсовету с характеристиками и отдельно список кулаков для переобложения их налогом. В этот момент пришла в сельсовет Евстолия. Она застенчиво, долго и молча стояла у дверей, потом подошла к столу, за которым сидел Терентий, и, наклонившись, тихо заговорила:

— Не сердитесь уж на меня. Надумалось мне записаться в артель кружевниц. Примут ли после всех-то?

— Примут, Евстолия, примут...

После первого года учёбы в Совпартшколе Терентий Чеботарёв на летние каникулы приехал в Устье-Кубинское.

— В отдыхе я не нуждаюсь, — сказал он секретарю волкома партии Пилатову, — а дайте мне какую-нибудь работу с заработком. Как-нибудь стипендия маловата, а не плохо бы на костюм заработать...

— Так что же, ступай в страхкасса, там заведующий Башкин уезжает на курорт, прими у него дела, поработай, — предложил Пилатов.

И Терентий стал заместителем заведующего страхкассой. Работа была необременительна: учитывать поступления страховых средств от учреждений и предприятий, раздавать эти средства нуждающимся — больным, престарелым, а также выдавать пособия для новорождённых.

Перед отъездом на курорт в Алупку заведующий страхкассой, передавая Терентию главную бухгалтерскую книгу, предостерегал его:

— Дебет, кредит, сальдо, баланс, — всё это тебе, как видно, понятно. Главную книгу веди сам. Бухгалтеру Слабоумову я не доверяю, да и ты не доверяй. Работать он, правда, умеет, но личность эта, на мой взгляд, тёмная. Не доверяй. Приход — расход в главной книге веди сам.

— Ну, что ж, сам так и сам...

Чеботарёв принял книгу, толстую в переплёте, прошнурованную и испещрённую цифрами. В книге не было ни одной помарки. Заведующий страхкассой, человек весьма аккуратный, дело знал назубок.

— А что, если я напутало без всякого злого умысла? — спросил Терентий, косо, с опаской и сознанием ответственности поглядывая на увесистую книгу.

— Ничего, если разок ошибёшься, исправь красными чернилами, напиши «исправленному верить», поставь печать, только и дела.

— А что это за бухгалтер у тебя, почему ты его опасаться? — поинтересовался Чеботарёв.

— Не могу раскусить, — развёл руками заведующий. — Я его и так и этак, а он мычит и в откровенные разговоры не пускается.

— Пьёт?

— Пьёт, но всегда в одиночку. Уйдёт за село, напьётся, полежит, побродит одиноко, протрезвится и тогда показывается на глаза людям. Словно бы, он чего-то боится, даже сам себя остерегается.

— Не ворует? — спросил Чеботарёв.

— Боже упаси. Грубоват с посетителями, это верно, однако не вор. Одинокий — ему хватает жалования..

Страхасса помещалась в бывшем никуличевском доме. В свободное время Терентий выходил на балкон, любовался на знакомое село, на Кубину с зелёными островами, и ему казалось, что лучше и оживлённее Устья-Кубинского нет ни одного села в Вологодчине и что древние новгородские ушкуйники не ошиблись в выборе места для поселения.

Нестерпимо жарко. Тихо на улицах села. Дремлют у своих магазинчиков частники-торгаши. Кооператив «Смычка» закрыт на обед. В переулках, в тени прячутся от жары и оводов телята и козы. На окраине села видно опустелое пастбище: коровье стадо вброд и вплавь переместилось за Кубину на заливные луга, обрамлённые серебристым ракитником. Терентий долго любуется на окрестности села и думает: «Как хорошо здесь летом, особенно вон там, в пожнях, где уток тьма-тьмушная, а рыбы в реках и заливах по подозерью вдоволь. Но охота на уток до первого августа под запретом, зато рыбу можно ловить в любое время сколько угодно!». И Терентий задумывается, кого бы взять себе в напарники, да в лодке с бредничком съездить в первое воскресенье половить рыбёшки? Он идёт с балкона в контору страхкасы.

За перегородкой бухгалтер рычит на пришедшую старушку-пенсионерку:

— Эх, бабка, бабка, какая ты убыточная. Умирать тебе пора, а ты за пенсией тянешься...

— Бог смерти не даёт, дитяtko.

— Ну? А ты бы залезла на колокольню, да грохнулась бы оттуда, и делов только.

— Попробуй, дитяtko, сам этак-то.

Терентий кинулся за перегородку. Бухгалтер замолк. Старушка, получив какую-то справку, недоверчиво посмотрела на Слабоумова, ушла.

— Товарищ бухгалтер, зачем ты посетителям грубишь? — повысив голос, спросил Терентий. — Возраст

у тебя солидный, пожалуй, тоже скоро на пенсию; на вид человек серьёзный, а говоришь женщине такие глупости...

— Я её давно знаю, часто сюда ходит, наплевать.

И бухгалтер, не поднимая глаз на Чеботарёва, достал из кармана пиджака горсть зелёных стручков гороха, начал жевать, смачно чавкая.

— Не хотите ли, скушайте горошку,—предложил он вежливо.

«Где я его видел? Где я мог слышать этот голос?»—старался вспомнить Терентий, пристально поглядывая на бухгалтера. Но как ни свежа, как ни крепка у него память, ничего подходящего Терентий вспомнить не мог. Потом он просматривал бухгалтерские бумаги, написанные и подписанные витиеватым росчерком. Опять показалось Терентию, что и почерк Слабоумова и фамилию эту он где-то уже встречал, но где, когда — совершенно забыл.

— Вот чортова память! — сердился он и с ещё большим упорством продолжал думать о том, как бы проникнуть в затаённую душу этого скрытного немолодого человека.

Однажды Чеботарёв подошёл к бухгалтеру ближе. Разговорились. Сначала Слабоумов с иронией высказал ему своё недовольство:

— Нынче молодёжи почёт, — сказал он, — таким, как вы, Терентий Иванович, вас и учат, вам и должности дают, вам и книги в руки. А нам — век доживать да на свалку...

— Опять чепуху понёс, товарищ бухгалтер, — возразил Терентий, — никому в советской стране дорога не закрыта учиться, расти и стать хоть наркомом, — пожалуйста.

— О, это одни слова, молодой человек!.. Я не с ваше жил, многолько знаю и лучше помолчу...

— Странно, — удивился Терентий. — Зачем молчать, если есть на сердце какая-то накипь?

— Накипь? Вам так кажется?

— Да, кажется.

— Гм...

— И ещё мне кажется, — продолжал Чеботарёв вполне откровенно: — что-то такое в жизни повлияло, отложило на твоём самосознании...

— Что вы этим хотите сказать? — передёрнувшись, спросил бухгалтер и уставился испытующим взглядом на моложавое, серьёзное лицо Чеботарёва.

— Ничего особенного я сказать не хочу, но сдаётся мне, что вот цифры пишешь ты правильные, а неправильные мысли держишь от самого себя взаперти, втайне. Не так ли?

— Н-да-а... — промычал бухгалтер и, воткнув окурок в пепельницу, тихо спросил: — Почему вы так мною интересуетесь, почему вы так пытливы?

— Это у меня селькоровская наблюдательность и любознательность.

— Ах, вот оно что! — успокоился Слабоумов и, поглаживая левый бок, сказал: — Сердце у меня пошаливает... Не раз припадки бывали.

— Надо лечиться. И тем более нельзя тебе уединяться. Башкин сказывал, что ты даже выпиваешь наедине с самим собой где-нибудь за околицей села. А вдруг да тебя кондрашка хватит, никто в чувство не приведёт и жизнью конец!..

— Большое сердце пластырем не залепить... — отмахнулся бухгалтер, — да и к чему? Скорей на покой...

— Опять глупо! — возразил Терентий. — Давай-ка лучше, встряхнёмся, съездим в воскресенье на рыбалку.

— Гм, на рыбалку? — Бухгалтеру, немного подумав, спросил: — а ещё кто поедет?

— Никто, вдвоём...

— А шкалик взять можно?

— Я не пью, а ты как хочешь...

— Ладно, поедем...

В субботу после занятий Слабоумов добыл у кого-то из своих знакомых лодку и небольшой бредень. В воскресенье чуть свет он зашёл в Дом крестьянина, разбудил Чеботарёва, и оба направились на рыбалку.

День обещал быть хорошим. Солнце выкатилось из-за леса и медленно стало подниматься по лазури чистейшего неба.

Вода в реке быстро шла на спад, — по течению грести легко.

Садясь на корму лодки, Терентий условился:

— Ты гребь сейчас, а я сяду в вёсла на обратном пути, против течения.

— Не возражаю, — охотно согласился бухгалтер и, поставив корзину с жестяным котелком посреди лодки, взялся за вёсла.

Из Кубины они свернули в Сигаюму, рукавом вышедшую к озеру. С правого берега ивовые кусты кривыми прутьями сплошь свисают над зеркальной поверхностью реки. Левый, низкий берег сливается с пожнями, с густой осокой. На песчаных отмелях резвятся окуни. В попоне за речной живностью плещутся хищные щуки. Стаи уток подпускают лодку к себе почти вплотную; утки нехотя взлетают и снова бороздят речную гладь где-либо впереди, или сбоку, на расстоянии — шапкой докинешь. Чеботарёву не терпится, хочется начать ловлю; помахивая рулевым веслом, он говорит бухгалтеру:

— А не закинуть ли нам бредень, места что-то заманчивые, рыбные?...

— Незачем здесь сеть мочить, — лениво отвечает бухгалтер, — дальше ловля будет лучше...

Вскоре они пристали к берегу, вытащили лодку, разделась донага и пошли с бреднем по тихой заводи, Слабоумов — возле берега, Чеботарёв — вброд. Так раз за разом они закидывали сеть и тянули её на отлогий берег.

Солнце едва перевалило за полдень, а они уже наловили немало рыбы. Краснопёрые окуни, серебристые сиги, блестя и сверкая, лежали на дне лодки.

— Пожалуй, хватит, — сказал Чеботарёв, закрывая рыбу от солнца травой, — не торговать же нам рыбой.

— Что ж, хватит так хватит, — согласился бухгалтер.

Терентий выполоскал бредень и развесил на кусты сохнуть. Слабоумов варил уху и исподволь тянул из горлышка сороковки водку.

— Да ты хоть бы уши дождался, — сказал Терентий.

— Без закуски водка эффективнее, — ответил бухгалтер.

Однако половину шкалика он не допил, воздержался. Потом они с аппетитом ели жирных, вкусных сегов. Скоро исчез остаток водки. Слабоумов, покачиваясь, встал и с размаху швырнул порожнюю бутылку в реку.

— Зря не пьёте, молодой человек, — заметил он, щурясь пьяными глазами на солнце. — То ли дело водочка! Умеючи пить, язык за зубами держать, да рукам

воли не давать, и будешь ты кум королю, сват министру...

— Незавидная у тебя сейчас родня, — пошутил Терентий.

— Н-да, с такой роднёй в наше время сразу попадёшь на подозрение, — подвыпивший бухгалтер глуповато ухмыльнулся и заткнул рот хребтинкой крупного разваренного окуня... — Ещё бы водочки, — вздохнул он и жалобно посмотрел на реку; пустая бутылка, наискось, горлышком кверху, покачиваясь, плыла по Сигайме в сторону озера.

— Хватит, куда в тебя столько? — возразил Чеботарёв.

— Пьяный проспится, дурак — никогда!..

— Ты не дурак, ты себе на уме.

— Молоденек, и мало вам знать обо мне дадено, — с упрёком проговорил бухгалтер и неприязненно поглядел в сторону Терентия. — Живни вы, молодёжь, не видели... вот что! Мелко плавааете! Ягодицы видно, смешно получается...

— Да ты злоязыкий, впрочем, я уже слышал об этом твоём качестве.

Бухгалтер привстал с помятой луговины, разбросал носком сапога дымившиеся на пожоге сучья и насторожённо спросил:

— Башкин натрепал? Да? Так он ничегошеньки обо мне не знает. И никто не знает!..

Целый воскресный день потерял Терентий Чеботарёв на рыбалке, так и не поняв, что за человек Слабоумов. Но теперь он окончательно убедился, что нигде его раньше встречать не приходилось.

А вот почерк, почерк бухгалтера и его подпись напоминают Чеботарёву что-то знакомое, что-то, где-то уже встречавшееся. И опять, как ни напрягал память Терентий, ничего из этого не получалось. Помог случай.

На следующей неделе в село приехал из Артельсоюза Додонов и договорился с Пилатовым организовать с субботы на воскресенье экскурсию служащих в Вологду. Бесплатный проезд на пароходе в свободный от работы день привлёк в экскурсию человек тридцать. Поехали и Чеботарёв с бухгалтером.

Экскурсией своих земляков руководил Афанасий Додонов. Он сводил их на завод сельскохозяйственных ма-

шин и орудий «Красный пахарь», на кожевенный завод «Труд», затем все тридцать человек по узким каменным лестницам поднимались на соборную колокольню, и весь город, утопающий в зелени тополей и берёз, лежал перед ними, как на ладони. Но больше всего усть-кубинским экскурсантам понравилось в краеведческом музее. Здесь было что посмотреть. В одной из комнат музея, с надписью над дверью «Вологодская ссылка», Терентий Чеботарёв вспомнил и наконец убедился, где ему приходилось встречать фамилию и почерк бухгалтера Слабоумова. Он даже на миг несколько растерялся. Хотел было обратиться за советом к Додонову, но решил пока воздержаться и стал незаметно следить за Слабоумовым. Тот ходил по комнатам музея отдельно от экскурсантов, внимательно разглядывал картины, попавшие сюда из усадеб помещика Межакова и министра Рухлова. Невесть зачем выставленный на показ мундир этого царского приспешника вызвал умиление в глазах замкнутого Слабоумова. Он даже осторожно погладил рукой золотое шитьё мундира и улыбнулся.

Слабоумов переступил порог в отдел «Вологодской ссылки». Остановился, словно вкопанный, обвёл глазами фотопортреты революционеров-большевиков, имена которых стали общеизвестны. И ему показалось, что многие знакомые ему лица будто жили в чёрных лакированных рамках и уставились на него насковзь пронизывающими глазами. Слабоумов слегка покачнулся, схватился рукой за голову. Холодный пот выступил у него на лице. Но, видя, что в комнате никого нет, он шагнул дальше к стеклянным витринам, стоявшим вдоль стен. Под стеклом, в образцовом порядке лежали революционные листовки, формулярные списки охранки, фотографии революционеров, снятых в арестантских халатах. Тут же раскрытые следственные и прочие дела на политических ссыльных, доносы филёров и провокаторов. Среди этих архивных документов Слабоумов узнал свои, его рукой написанные доносы... Узнал — и колени его подогнулись...

— Что, гражданин Слабоумов, интересные показаны документтики?! — послышался почти рядом язвительный и уничтожающий вопрос Терентия.

Слабоумов не оглянулся. Он упал в обмороке на широкий подоконник.

— Да, сердце у него, как и душа, видимо, не в порядке, — вслух подумал Терентий и крикнул:

— Товарищ Додонов, сюда на минуточку!..

В канцелярии музея в воскресный день работала одна кассирша, продававшая посетителям билеты. Ей понадобилось два графина холодной воды, чтобы привести в чувство припадочного посетителя.

Между тем Терентий и Афанасий совещались за закрытой дверью в директорском кабинете:

Додонов. Что с ним такое произошло?

Чеботарёв. Сердечный припадок. Да на его месте сдохнуть, провалиться сквозь землю мало.

Додонов. В чём дело?

Чеботарёв. Он обнаружил выставленные в витринах документы охранки, документы слежки за политическими ссыльными, написанные и подписанные им лично...

Додонов. Стало быть он — бывший шпик, провокатор?...

Чеботарёв. Самый настоящий.

Додонов. Ничего себе экскурсант!

Чеботарёв. Живой экспонат, только не в музей ему место.

Додонов. Надо позвонить на Лассалья, дом семнадцать.

Чеботарёв. В ГПУ?

Додонов. Куда же больше... Ступай, погляди за ним. Я вызову сюда дежурного из губернского управления... Это точно ты знаешь?

Чеботарёв. Да. До сего дня я его подозревал. Сейчас убедился окончательно. Документы налицо. Звони!.. Вызывай!..

Вечером усть-кубинские экскурсанты возвращались домой на пароходе, но Слабоумова с ними не было...

### XXXVI

Бурьяном вырастали кулаки, скупщики, торговцы. С бешеной быстротой обогащалось так называемое неповское купечество. Вологда захлебнулась частниками. Кулацкие ставленники проникали в советские учреждения и даже в партию и всячески способствовали росту мелких.

и крупных предпринимателей. В центре завелось контрреволюционное гнездо Кондратьева и Чайнова. Оно руководило низами. Их незримые нити тянулись к Вологде. Губернское земельное управление успело в одном только Вологодском уезде насадить сотни хуторов. А сельскохозяйственные коммуны и совхозы, организованные на бывших помещичьих землях, последователи Кондратьева и Чайнова считали нерентабельными. Кулаки росли, как поганки после дождя в теплую погоду.

В Шуйской волости, в Междуречье, кулаки Пальниковы обзавелись крупным кожевенным заводом. Несколько десятков батраков работало на Пальниковых по шестнадцати часов в сутки. Волостные, уездные, губернские работники часто навещали Пальниковых. Одни из них угощались дорогими винами, а другие негодовали, возмущались и никак не могли добиться даже повышения налога на кулацкие хозяйства. В Кубеноозерье господствовал кулак-мельник Ромушка Комиссаров. Этот был поплотнее Пальниковых. Турбинная мельница у Ромушки на живописном берегу реки Вологды не имела себе равной во всём Северном крае. Ромушка своим мукомольным предприятием вытеснил сотни ветряных мельниц. Завладел пахотными землями, сенокосными угодьями и жил как помещик. Он был настолько предусмотрителен, что в Вологде через ловких мошенников, работавших в коллегии защитников, сумел на всякий случай отпечатать типографским способом контрреволюционное обращение к крестьянам Кубеноозерья с призывом любыми средствами защищать его кулацкую собственность от... большевиков.

В Устье-Кубинской волости кулаки — Паршин, Шенников, Красавин, Параничев — перебрались на службу в артель кустарей-роговщиков и запутали артельные дела. А потом подозрительно возникший пожар уничтожил контору и предприятие. Артель возродилась с большим трудом, несмотря на диверсионные происки кулаков.

В этот период вокруг вологодской газеты «Красный Север» выросла армия селькоров-разоблачителей. Они раскрывали контрреволюционные действия и намерения кулачества и в печати, и на собраниях, всюду решительно отстаивая интересы партии и советской власти...

Ни один день учёбы в Совпартшколе не проходил даром. Упорно изучаемые труды Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина оставляли глубокий след в сознании деревенских парней. Многие курсанты были прикреплены к городским предприятиям и учреждениям как агитаторы и пропагандисты; учась сами, они просвещали других, готовясь всерьёз после окончания учёбы стать проводниками партийной линии в деревне и городе.

Второкурсник Терентий Чеботарёв имел партийное поручение — руководить политкружком в красном уголке железнодорожных мастерских. Два раза в неделю он приходил сюда к рабочим-железнодорожникам. Уставшие на работе, иногда не успев сходить домой переодеться, рабочие в промасленных пиджаках и фуфайках садились вокруг длинного, покрытого кумачом стола и коллективно с помощью руководителя разбирали сложные вопросы текущей политики тех дней. Иногда приходили на кружок случайные посетители из проезжих железнодорожных бригад и пытались заговорить голосом враждебной оппозиции. Но Терентий Чеботарёв и его политкружковцы в своих спорах против таких субъектов опирались на твёрдые установки Сталинских выступлений. И незыблемая правда была на их стороне..

Весной, вскоре после большого наводнения на Леонтьевской улице, на Краснофлотской и во Фрязинове, губернская Совпартшкола выпускала курсантов-второкурсников. Был конец мая. Город зеленел садами. Река от Горбачёвского кладбища до Соборного моста покрылась плотами и молевой древесиной. За Красным мостом буксирные и пассажирские пароходы непрерывно перекликались с паровозами сибирских и архангельских поездов. По городским задворьям, мимо базарной барахолки оживлённо бурлила речонка Золотуха.

Рядом с пожарной каланчой воздвигался на лето временный цирк. Извозчики-ломовики везли от вокзала клетки с медведями и обезьянами. Горожане, читая разноцветные афиши, ждали цирковых развлечений.

На очередном выпуске курсантов Совпартшколы присутствовал секретарь губкома партии. Он беседовал с курсантами-выпускниками, прощупывал их, кто куда, на

какую работу пригоден. Деревня нуждалась в рабочих. Требовались избачи, пропагандисты, секретари волкомов. Когда очередь дошла до Терентия Чеботарёва, секретарь спросил его:

— А вы, товарищ, куда бы желали идти работать?

Терентий, как и любой из курсантов, ответил обычной фразой:

— Куда пошлёт партия, туда и пойду.

— Но к какой работе чувствуешь себя более способным?—спросил секретарь губкома.

— У меня есть задатки работать в редакции газеты и есть стремление работать в следственных органах, могу и пропагандистом...

— Хорошо, — сказал секретарь и черкнул в блокноте.—Я думаю, лучше будет использовать тебя в следственных органах, скажем, в прокуратуре. Там будешь сталкиваться с интересными фактами общественной жизни, с фактами классовой борьбы. Там тебе будет широкое поле деятельности и по линии прокуратуры и по линии печати. Одно при другом будет неплохо. Итак, завтра я переговорю об этом с прокурором...

Терентий размеренно ходил взад и вперёд по коридорам Совпартшколы и думал о завтрашнем дне, о первом дне, о начале своей работы. А поздно ночью в общежитии он тихо поднялся с койки и повернул выключатель. При свете электролампочки он долго сидел за маленьким, вроде тумбочки, столиком и писал той, о которой он никому не говорил, о которой изредка вспоминал, но ни разу до сего часу не решился ей написать.

«Дорогая товарищ Девяткова! Слышал я, что ты уже на последнем курсе Ярославского пединститута. Слышал и давно собирался написать тебе да не знал, с чего начать, что писать. Я вспоминал иногда наши мимолётные встречи в Устье-Кубинском, о которых ты, быть может, забыла. Но зато хорошо помню я. Ты была тогда весела, бойка, разговорчива, но, мне кажется, с некоторой неприязнью посматривала на мои неуклюжие, изрезанные сапожной дратвой руки и слегка морщилась, когда слышала от меня корявые словечки. С тех пор прошло больше трёх лет... И вот сегодня я кончил учёбу в Совпартшколе. За два года я как мог изучил историю Коминтерна и РКП(б), историю Запада, политэкономия, ленинизм и исторический материализм. Ещё пройден ряд предметов: рус-

ский язык, математика и т. д., но чувствую, что всё это не совсем прочно засело в моей голове. Надо ещё учиться, учиться и учиться, как сказал товарищ Ленин. С завтрашнего дня определяюсь на работу. Желание работать большое, а умения — насколько хватит. В свободные часы буду усиленно заниматься самообразованием, чтобы не оказаться у других в хвосте. Здесь я много перечитал художественной литературы, к чему и раньше имел некоторое пристрастие. Советую тебе прочесть в журнале «Красная новь» за прошлый год весьма интересные произведения: «Степан Разин» Чапыгина и «Колокола» Ивана Евдокимова. «Колокола» написаны о Вологодчине, о революционном подполье. Там много найдёшь знакомого и интересного. Впервые прочёл здесь «Мать», «Фому Гордеева» и другие книги Максима Горького, прочёл с великим удовольствием... И намерен всё перечитать, что написано нашим здравствующим классиком, лучшим знакомом жизни человека.

Для меня, «сыроватого» деревенского парня, в художественной литературе всё ново и интересно... Ну, как ты живёшь? Напиши мне в адрес: «Вологда — почта, до востребования», так как другого адреса пока не имею. О своих перспективах писать пока не буду. «Что день грядущий мне готовит», — узнаешь потом. Напишу, если получу от тебя ответ.

Желаю тебе всего хорошего. Крепко жму руку.

А если можно, то и целую».

Терентий несколько раз перечитал письмо и, не зная, чем дополнить, тщательно зачеркнул последнюю строчку, заклеил конверт и отнёс в ящик, висевший у крыльца общежития. Затем он сел на ступени лестницы, выходящей к реке, и долго любовался светлой ночью, мягко опустившейся над городом...

На другой день Чеботарёв отправился в прокуратуру.

У губернского прокурора — светлый просторный кабинет. Перед широким и длинным столом два глубоких кожаных кресла. На столе кучи бумаг, дела в потрёпанных и новых папках, два телефона и начищенный медный канцелярский прибор.

Лысый, узкоглазый, но с большими круглыми очками на носу, прокурор выглядел строгим; таким, видимо, и полагалось ему быть по долгу службы. Поговорив минут пять с Терентием, прокурор незаметно нажал сбоку стола кнопку. Вошла секретарша.

— Позовите старшего следователя Разумовича.

Секретарша молча вышла. Через минуту в кабинет прокурора, наклоняясь в дверях, вошёл высоченного роста следователь Разумович. Он был одет в тёмносиний костюм. На ногах жёлтые огромные ботинки. Разумович опустился в кожаное кресло, мельком взглянув на Терентия:

— Вы говорили, что вам нужен помощник? Так вот, пожалуйста!—И прокурор, показав на Терентия, отрекомендовал его:—Товарищ Чеботарёв—выпускник из Совпартшколы, направлен губкомом в наше распоряжение. Попробуйте сделать из него себе помощника, займитесь.

Так стал Терентий работником прокуратуры. Сначала он присматривался к архивным делам. Интересовался постановкой следственного дела вообще. Потом вникал в детали производства. Изучал следственную переписку, учинял несложные допросы свидетелей, а в свободное от работы время, с подчёркиванием, читал и перечитывал уголовный и уголовно-процессуальный кодексы.

Через месяц Разумович поручил ему провести первое следствие об избиении селькора в селе Бирякове. А через полгода Терентий считался в прокуратуре работником, подающим надежды на выдвижение—на должность более самостоятельную.

Афанасий Додонов, которого Терентий изредка посещал, и тот не удивился такому назначению своего приятеля.

— А ведь секретарь губкома тебя правильно определил,—сказал как-то в разговоре с Терентием Додонов.

— Должность по складу твоего характера подходит. На разоблачительных селькоровских заметках ты достаточно набил себе руку. А случай поимки тобой провокатора Слабоумова действительно подтверждает твои способности в таких делах. Что ж, хорошо. Одобряю и желаю тебе успехов на поприще революционной законности..

Однажды от бюро рабкоровских и селькоровских писем из редакции газеты «Красный Север» в прокуратуру поступила для расследования заметка, в которой корявым почерком, но довольно толково и подробно сообщалось о махинациях кулака-нэпмана Прянишникова, крепко обосновавшегося на новом месте.

В заметке было сказано:

«Около сотни деревень Грязовецкого уезда оказалось в тенётах маслозаводчика-перекушника. Под вывеской «Укрупнённая артель маслоделия Прянишников и Ко» хитрец-кулак безнаказанно творит гнусные дела. А некий работник губфинотдела, Румянцев Николай Васильевич, полпред кулака, по-божески облагает его налогом, как крестьянина средней руки.

В Дерновокомском сельсовете кулак имеет своих людей—подкулачников. Председатель Сердитов—пьяница-подкулачник, у него задолженность Прянишникову около 1000 рублей, а потому живёт он с кулаком в мире и согласии. Секретарь сельсовета Подсвечников—дьякон-расприга. Лучшего секретаря Прянишников не мог бы и желать. Партячейки и комсомольцев поблизости нет.

Благотворительный кулак выписал по одному экземпляру «Крестьянской газеты» (подписная цена 15 коп. в месяц) на каждую деревню, где он имеет своих клиентов—сдатчиков молока. Установил два радиоприёмника—один в сельсовете, другой у себя в доме. Поступки Афиногеныча,— так зовут мужики кулака-мироёда Прянишникова,—вызывают похвалу со стороны некоторых близоруких волостных работников: «Шутка ли, по газете на деревню!.. Шутка ли, радио в сельсовете!..». Однако никто не видит скрытой пружины в системе махинаций—отчего и каким путём бешено богатеет этот маститый кулак? Почему и отчего все окрестные мужики в долгу, в непогасимом долгу мироёду? А он даже похваляется в узком кругу своих приближённых-подкулачников: «Из последнего вытряхну всю Грязовчину и Лежу, а потом в Ленинграде свой дом с магазином буду иметь...».

На пропускные пункты и маслодельные заводы Прянишникову требуются работницы. Не прибегая к помощи врачебного персонала, промышленник, когда принимает на работу женщин, сам с глазу на глаз осматривает их в раздетом виде, тощих и беременных на работу не берёт.

Работает на него много людей без всякой нормы труда. Огромные барыши укрывает Прянишников от обложения всеми способами. Скупает у населения хлеб, зажимает, государству не сдаёт и говорит:— «Пригодится хлебец на случай голода, а голод будет посильней этой власти»...—

Заметка заканчивалась так:

«Надо ударить по паразиту, пусть он, гад, почувствует силу нашей рабоче-крестьянской власти».

— Поручим расследовать это дело товарищу Чеботарёву, — подумав, предложил прокурор, передавая Разумовичу поступившую из редакции заметку, и добавил: — Придётся Прянишникова арестовать по 107-й статье Уголовного кодекса. Напишите постановление и дайте мне для санкции...

Дело было на масляной неделе. Терентий приделался в новенькую, только что сшитую по его плечу бекешу с серым кошачьим воротником. Пыжиковый треух, валенки с галошами, портфель, набитый бумагами, — всё это теперь придавало ему вид городского работника.

От станции Вохтопи через Сидорово он ехал в сторону села Дерногова на крестьянской подводе. Проезжали мимо десятка деревень. В более крупных деревнях красовались вывески с голубой росписью: «Пропускной пункт маслодельной трудовой артели Прянишников и К<sup>о</sup>». Обычно эти пункты размещались в подвальных помещениях кулацких домов, у которых были резные карнизы и окаймлённые крашеной обшивкой окна.

«Компаньоны — опора махрового спекулянта», — думал Терентий, глядя на эти вывески.

С возницей Чеботарёв вёл разговоры о делах, не касающихся его командировки, чтобы не дать понять, зачем он едет. Однако возница повидал людей на своём веку. Повернувшись на облучке, он спросил седока:

— К Афиногенычу на масленицу едете, гражданин?

— Нет, я по делам сельсовета.

— А то многие с портфелями-то у него приставают и днями прогашивают. Мужик он, надо вам сказать, гостеприимный для вашего брата — служащих. Так замаслит, что ни с какого конца к нему не подкопашься...

— А я не знаком с вашим Афиногенычем, — как бы не желая проявлять интереса к Прянишникову, нехотя отозвался Терентий.

— Почему с нашим? — вдруг круто обернулся словоохотливый возница. — Мы, мужички, считаем его не нашим, а именно вашим, красным купцом. Он такой деляга, башковитый стервец!.. Вот видели вывески — «Артель Прянишников и компанья?» А сделайте милость, узнайте, кто в эту компанию-артель вхож? Сам — раз, Марья-трясунья, его баба, — два-с, да сын ещё и какой-то племянник, что в Вологде в губфо работает,

вот и вся ихняя артельная компания. Гнездо жуликов, вот тут кто!.. Налогу платит пустяки. Одно слово — коммерсант, а ведь грамоте мало учён. Пожалуй, на морозе так и не расписаться ему. Всё штемпелями орудует, вот, гражданин, поглядите!..

При этих словах возница, достав из кармана долговую заборную книжку, подал её Терентию.

— Да смотрите повнимательнее, лошадь я не погону: удобнее будет разобраться.

И, пока Терентий перелистывал книжку, испещрённую записями и печатями с отметками о приёме молока, о расчётах и задолженности, переходящей из месяца в месяц, возница смотрел на него в упор и ждал, что скажет ему советский служащий. А когда Терентий молча подал ему книжку обратно, крестьянин отвернулся от него в сторону, проговорил:

— Я так и знал, что не поймёшь, в чём тут загвоздка.

— Ну, а в чём же, скажи?

— В чём, в чём? — передразнил возница. — А всё в том же, что наш брат, маломощный мужик, в постоянном долгу этому паразиту!..

— А выход какой? — спросил Терентий.

— Дозвольте об этом от вас узнать. Вы вот тут часто ездите, за кажинную версту казённые деньги платите, а выхода-то, как нам от Прянишникова избавиться, и не находите...

Возница сердито покрутил кнутом. Лошадёнка рванула и понеслась быстрее по рыхлому свежему снегу...

Село Дерново расположилось где-то за перелесками между станцией Вохтогой и Грязовцем. В полукруг веером раскинулись серые, приплюснутые, покрытые снегом деревни.

Недалеко на пригорке — сельсовет с антенной на крыше. Внизу — школа. Около этих двух зданий, стоящих на отшибе, раскиданы нераспиленные дрова. Тут же пруды мёрзлого лошадиного навоза и всякого мусора. Порядка не видно, даже с внешней стороны. Учитель, молодой парень с развевающимся шарфом на шее, старательно колот матёрые чурки.

Подъезжая к школе и сельсовету, возница громко спросил учителя:

— Иван Матвеевич, не знаешь ли, Сердитов — в совете?..

— В совете, только под мухой оба с Подсвечниковым.

— Тьфу, да ведь секретарь-то, кажись, был непьющий. Тпру! Вот вам и сельсовет, пожалуйста!

Терентий вылез из саней и почувствовал боль в ногах, точно их пятипудовым мешком давило всю дорогу. С минуту он потоптался вокруг саней, смахнул перчаткой сено, приставшее к бекеше, и быстро по широкой и тёмной лестнице поднялся в помещение сельсовета. Там на двух рядом поставленных столах лежал и храпел секретарь Подсвечников. Под головой у него вместо подушки — куча газет. Под столом валялась порожняя бутылка. Пахло водкой. Пришла сторожиха и, увидев «приезжее начальство», схватила швабру, торопливо начала подметать пол. Попутно она дёрнула за рукав секретаря.

— Вставай, люди тут к вам понаехали! Время-то скоро двенадцать.

Не поднимая головы и не раскрывая пьяных глаз, Подсвечников прохрипел:

— Понаехали, говоришь? Пускай отъезжают! Масленица сегодня, день неприсутственный..

Терентий не вытерпел, подойдя к столам, где лежал секретарь, с гсречью спросил:

— В каком календаре сказано, что сегодня праздник? Секретарь открыл глаза.

— А-а, командировочный! Я человек маленький. Вон в ту дверь стучитесь. Там Сердитов у себя в кабинете запершись... Всю ночь работали..

Чеботарёв поднял порожнюю бутылку.

— Работали, говоришь? И много вот таких прозрачных чернил за ночь исписали?.. Ну-ка, вставай!..

Бутылка сверкнула перед носом Подсвечникова.

— Извините, малость с устатку хватили.

Секретарь медленно стал подниматься, оправляя на себе штаны и распахнутый, с рваной подкладкой, пиджак.

На дверях председательского кабинета дощечка: «Председатель Дерновожского рабоче-крестьянского сельсовета Сердитов». Ниже: «Без стука не входить». И ещё ниже: «Посторонним разговоры по телефону не раз-

решаются и радио просят не портить». Терентий настойчиво постучал. В кабинете председателя закрипели пружины старого дивана.

— Кто там? Обращайтесь к секретарю! Я нездоров,—послышался сонный, хриплый голос председателя.

— Пропустите, доктор приехал лечить нездоровых,— злобно и насмешливо проговорил Чеботарёв.

Секретарь, предчувствуя что-то недоброе, с его точки зрения, поспешил удалиться из сельсовета. Извозчик заговорил о расчёте за провоз. Терентий наемнул ему, что с пьяными делать здесь нечего, и что он поедет к Прянишникову.

— Ну, я так и знал, я так и знал!.. — вырвалось у извозчика. — Афиногеныча уж никогда и никому не объехать...

Дверь к председателю распахнулась. В открытую форточку ворвалась струя свежего воздуха. На стенах от сквозняка вздулись плакаты. Стараясь прочно держаться на ногах, Сердитов, придерживаясь за косяки, шагнул в канцелярию.

— Здравствуйте!.. Пожалуйста закурить!..

— Я некурящий, — ответил Терентий, здороваясь.

— С кем имею честь беседовать и по какому делу?

— Я следователь из губпрокуратуры.

В ответ Сердитов промычал что-то нечленораздельное и замолчал.

— Где тут у вас можно остановиться, обогреться, заночевать в случае чего?

— Извините, у меня дома детишки и тараканы. Не лучше ли у Прянишникова? К нему многие заезжают.

— Что ж, поедем и мы.

Сердитов натянул на себя дублённый полушубок, а обрюзглое лицо обернул башлыком так, что из-под непричёсанных вихров лишь тускло сверкали ничего не выражающие мутные глаза.

... Дом Афиногеныча резко выделялся из числа прочих, его окружающих, крестьянских изб и построек. Двухэтажный, с обширным помещением внизу для торговли, окрашенный в голубой цвет, с флюгерами на кирпичных трубах, выглядел громадным, уютным и светлым, словно новенький пассажирский пароход среди старых изношенных рыбацких лодок. Под окном — не-

высокий палисадник. Из-под снега виднеются вершинки кустов крыжовника. С угла у въездных ворот — крепко вкопанный в землю дубовый столб с железными кольцами для привязки лошадей. Вороной красавец-рысак, запряжённый в лёгкие, покрытые лаком и никелем санки, стоял наготове к отъезду. Блестящая сбруя, колокольчики, бубенчики — всюду, где надо и не надо. Тряхнёт рысак головой — и звон, точно музыка, с переливом.

— На наше счастье Афиногеныч не успел на катанье уехать, — промолвил Сердитов, подъезжая вместе с Терентием к дому Прянишникова.

Терентий окинул взглядом кулацкое имение и сразу почувствовал мощь богатого промышленника: со двора был виден новый механизированный маслодельный завод, недавно построенный в низинке у замёрзшего ручья. Несмотря на масленицу, завод работал. Вокруг завода стояли подводы с тарами молока. Дальше тянулись в ряд склады, ледник, сараи с сенопрессовальными машинами и другие хозяйственные постройки...

Сердитов и Терентий вошли в дом. На кухне пахло печёным, жареным и варёным. Стол длинный, как портновский верстак, весь завален белыми пирогами.

Председельсовет прошагал в передние комнаты. За ним последовал Терентий.

Афиногеныч, одетый в костюм из добротной материи, вразвалку сидел на диване, поглаживал побритый до синевы, пухлый подбородок. Правда, он видел в окно, как подъехали Сердитов с Терентием, но, не желая уронить собственное достоинство, не вышел и даже не поднялся с дивана к ним навстречу. Собираясь куда-то ехать, он сейчас не был рад «гостям», тем не менее попросил их раздеться и посидеть.

— Вам, Афиногеныч, привет от Николая Васильевича Румянцева, — не раздеваясь, схитрил Терентий, обращаясь к хозяину и садясь против него в качалку.

— Ах, от Коли?! Очень приятно, — оживился сразу Прянишников и, не пускаясь в дальнейшие рассуждения, заглянул в соседнюю комнату, распорядился:

— Маша, самоварчик!..

Коренастая, круглая работница, пожалуй, сама похожая на самовар, прошла, будто проплыла, на кухню.

— А что, разве Коля не придет на масленицу сюда? — спросил Прянишников.

— Пожалуй, нет.

— Жаль, жаль. Ну, тогда я вас попрошу сделать любезность, отвезти ему от меня посылочку.

— Отчего не так, можно, если она небольшая,—согласился Терентий.

— Посылочка-то? Да вот, вся тут,—и Прянишников, небрежно махнув рукой, показал под одним из диванов ящик со сливочным маслом пуда на полтора.

Наступило непродолжительное молчание.

Разговор не клеился ютчасти потому, что Сердитов был далеко не в трезвом состоянии. Закрыв глаза, он только кивал головой и сопел.

Афиногеныч, поглядывая на него, ухмылялся и подмигивал Терентию: дескать, полюбуйся, каков гусь!.. Потом слегка потрегал председателя за коленку и погрозил пальцем:

— Рановато, товарищ, масленицу начал встречать, не упади со стула-то.

— А ну их! — прохрипел Сердитов и, открыв глаза, еле выговаривая, спросил: — А может Афи-финогеныч, я у вас тут лишний? Вроде бы как посторонний. Да?..

Ответа не последовало, и Сердитов снова задремал.

Прянишников взял стул и, подсев ближе к Терентию, зашептал ему на ухо:

— Вся беда в том, что любитель выпить. А так он работник золотой. Если бы не пьяница, да если бы он состоял в партии, далеко бы пошёл. Впрочем, пьёт не часто, ну, и, что говорить — дело знает... Законы знает, вообще мужик разъяснительный, полезный..., а водка вредит не ему одному. Мелу ей надо знать, проклятушей.

— А вы, как будто, собрались куда-то ехать?—спросил Терентий.

— Уу-спе-е-ю!—протянул хозяин.—Хотел в Раменье на катанье съездить. Там сегодня бо-огатое гулянье, завтра — у нас, в Дернокове, а послезавтра — в Сидорове. Здесь так каждую масленицу поочерёдно гуляют. Раздевайтесь, будьте гостем. Может быть, сегодня и вы не откажетесь со мной прокатиться? А?..

Терентий вежливо отклонил.

— А вы напрасно ютказываетесь,—обидчиво заговорил Прянишников.—Учтите, меня вообще ваш брат, городские служащие, уважают и не избегают. Я хоть в деревне живу, а городские порядки назубок знаю. Ну,

знаете ли, масленица, катанье — обычай. А я пристрастие к хорошим лошадям имею. У меня два коня, один другого лучше. Не хотите на вороном, запрягём карего. Тот и другой — огонь!.. На лето думаю легковой автомобиль отвоевать. Да, у всякого человека к чему-нибудь да есть пристрастие,— вкрадчиво и деловито продолжал Афиногеныч.— Скажем, у меня к быстрой езде страсть, чтобы дух захватывало. Вот работник у меня — богатырь, вроде бы мой телохранитель, уж всем сыт по горло, а никак не может утерпеть, чтобы тайком не пожрать чего-нибудь,— это тоже страсть. Девка тут у меня одна по хозяйству помогает — та страсть к книгам имеет, читает и читает. Намедни меня уговорила прочитать книгу «Трансваль» — сочинение писателя Федина.

— Ну, и как, понравилось? — спросил Терентий.

— Справедливая книга. Только, знаете, в такую книжку вся жизнь этого, как его, не помню фамилию, мельника никак не влезет. Про себя скажу: вот описать бы, как я разбогател, большущий бы романище получился. Между прочим, Коля-то, Николай Васильевич Румянцев, обещал на недельку в гости ко мне сочинителя одного привезти. А я сказал: если хороший — вези, а если плохонький, вроде усть-кубинского селькора Терёхи Чеботарёва, то лучше мне и на глаза не показывай!..

«Видимо не знает меня, и тем лучше», — удовлетворённо подумал Терентий и тут же вспомнил, как в не столь давние детские годы Прянишников отхлестал его в Попихе крапивой, и как потом, совсем недавно, всего года четыре назад, из-за его, Терёши, злой шутки Прянишников долго хромал, разбитый лошадьё. Но об этом случае знали только он — Терентий да Алёшка Суворов.

С кухни распахнулась дверь, и работник, здоровенный детина, внёс и поставил на стол кипящий самовар. Работница принесла из соседней комнаты поднос с чайной посудой, заварила чай и поставила на стол два блюда с праздничными пирогами. Пироги были горячие, и когда хозяин разрезал «рыбники» (с палтусом и нельмой), от пирогов шёл пар, как от самовара.

Застенчивая, молчаливая работница расставила вокруг стола полдюжины венских стульев. Сердитов перестал дремать и, не дожидаясь приглашения, первый вслед за хозяином подсел к столу и вооружился вилкой.

Терентий подумал: раздеваться ему или нет, и решил, что оформление ареста с описью основного имущества займёт много времени, а потому разделся и, не садясь за стол, сразу же вручил Прянишникову постановление об его аресте. Предвидя, что в бумаге сказано что-то необычайно важное и касающееся его лично, Афиногеныч любезно пригласил Терентия присаживаться ближе к столу. Затем Прянишников достал из жилетного кармана очки в золотой оправе и не вслух, а только шевеля губами, принялся по складам читать постановление. И тут не только Терентий, но и домохозяева заметили, что бумажка произвела странное впечатление на крепкого, несокрушимого хозяина. Капли пота выступили у него на лбу, руки дрогнули, и бумажка с прокурорской резолюцией и жирной печатью упала на стол. Афиногеныч грузно опустился на диван и вполголоса, задыхаясь, проговорил:

— Так, так... Из губернской прокуратуры приехали меня арестовать и описать имущество... Вот уж никак-то не ждал... да ещё в самую масленицу...

Сердитов испуганно и удивлённо вытаращил глаза на Терентия. Хозяйка-трясуня, что-то соображая, наглухо прикрыла крышку самоварной трубы. Замолк этот блестящий, весь в медалях, шумевший весельчак.

— Вот те и праздничек! — вздохнул Афиногеныч и глухо выругался... — Да хоть бы до чистого понедельника <sup>1)</sup> отсрочку дали: ведь куда же я не сбегу.

— Никаких поблажек, — отрезал Терентий. И так же решительно предложил хозяйке сесть на место, ибо она, выйдя из-за стола, хотела пройти в соседнюю комнату и, возможно (по мнению Терентия), провела бы там «подготовку» к обыску и описи, то есть сумела бы спрятать имеющиеся ценности. Ни Прянишников, ни его постаревшая супруга-трясуня не узнали Чеботарёва. И неудивительно: в усть-кубинских краях раньше они слышали о нём довольно часто, однако видеть его взрослого им не приходилось, а за последние три года вообще почти совсем затерялся селькоровский след Терентия. А когда Афиногеныч читал предъявленное ему Чеботарёвым постановление, то его отнюдь не интересовали фамилия и должность представителя прокуратуры.

---

<sup>1)</sup> Чистый понедельник — первый день недели после масленицы.

Три весьма невесёлых слова «произвести обыск, арестовать...» выбили заядлого спекулянта и мошенника из его обычной колеи.

И, пока длился обыск, Афиногеныч, мрачный, как туча, бродил из помещения в помещение за Чеботарёвым и понятыми и не вымолвил ни единого слова. Было ему о чём подумать и нечего было сказать.

... С помощью понятых, взятых из местной бедноты, опись основного имущества была закончена только к вечеру. Всё, что уличало Прянишникова в явной экономической контрреволюции, было учтено и отмечено в протоколах и актах. Нельзя было обойти молчанием и посылочку, заготовленную кулаком в подарок работнику губфо — Румянцеву. В опись имущества, подлежащего конфискации, вошли все товары, находившиеся на складах Прянишникова: около тысячи пудов масла, шесть тысяч пудов хлеба, склад ивовой коры, сто сорок бочек дёгтя и много-много других товаров.

Для более подробной описи и оценки недвижимого имущества — маслодельного завода и пропускных сливных пунктов Терентий создал комиссию из местных бедняков-активистов и по телефону затребовал из Северосоюза инструктора для того, чтобы всё кулацкое маслодельное хозяйство и торговлю перестроить без промедления на кооперативный лад. Из Лежского и Грязовецкого исполкомов он вызвал специальных уполномоченных для проведения разъяснительных собраний среди крестьян-сдатчиков молока..

И тогда же по телефону сообщил он в уездный исполком о необходимости проведения выборов нового председателя в Дерноковском сельском совете...

Прянишников, переодевшись запросто, в сопровождении Чеботарёва, поздно вечером выехал к месту заключения. Он попробовал петь «Яблочко», но голос срывался. Долго молчал и, как бы спохватившись, с горечью вдруг начал ругать себя:

— Дурак я, всё-таки, дурак!

— За что вы себя ругаете? — спросил Терентий, сидевший с ним бок о бок в санях.

— Надо было своевременно послушать Румянцева. Уж он ли мне за последнее время не напевал: «Перестань, Афиногеныч, закругляйся, хватит, кончай свою лавочку, вот-вот партия в наступление на кулака пой-

дёт...». Не послушался, — и вот теперь пожалуйста в каталажку... Вы хотя бы, гражданин следователь, статью мне снизили. Сто седьмая! За что она говорит? Уж больно высока статья-то. Воры, и те, кажется, по тридцать пятой судятся.

— Так ведь то — воры! — улыбаясь, проговорил Терентий. — Вас я постараюсь уважить если не сто седьмой, то пятьдесят восьмой статьёй, пункты семь и десять...

— А что это значит?

— После узнаете.

Прянишников задумался. Сто семь и пятьдесят восемь — две цифры мелькали у него в глазах. Опытный в спекуляции и в антисоветской агитации мироед, не знал, что кроется за этими цифрами.

— И ещё у меня одна к вам просьба, — умоляюще, приниженным голосом, говорил он: — не сажайте меня в общую камеру с уголовными. У меня золотые челюсти, я боюсь, что в тюрьме могу их лишиться...

И тут Терентий, как мог, постарался его успокоить.

— Не извольте, гражданин Прянишников, волноваться из-за пустяков. Вы со своими хищными зубами, по размаху вашего преступления перед пролетарским государством, вполне заслуживаете одиночной камеры, и она вам будет обеспечена...

Одиночных камер в тюрьме не оказалось. Прянишников водворили в общую. Там уже сидели подобные ему «зубры»: тут был крупный кожевник Пальников, владелец турбинной мельницы живоглот Ромушка Комиссаров и некоторые другие подобные им типы. Они уже успели обрасти бородёнками. Выглядели мрачно, злобно, но были довольны тем, что все они попали «совокупно» и отдельно от блатного, воровского «мира». Особенно этому был рад Афиногеныч. Купеческая, нэпмановская среда его вполне устраивала.

— Значит, крепко взялись за нашего брата, — вслух подумал Прянишников, взирая на знакомые лица вологодских нэпманов, — значит нашему брату каюк, господатоварищи!..

— Выходит так... — грустно отозвался из угла камеры тучный мельник Ромушка.

— Вот те и «красные» купчики, пострадали голубчики!.. — поддельно-весело срифмовал Пальников.

— Чем-то всё это кончится? — спросил он невесть кого и сам себе ответил:—хоть бы не Соловками...

— Соловки—чепуха, это курорт в сравнении с Нарымом, вот туда не приведи бог, — отозвался Прянишников.

— А вы что, испробовали то и другое?

— Нет, пока не успел, но слухом земля полнится.

— Значит интересовались, хотели на всякий случай потеплей себе местечко подыскать?

— А почему бы и не так...

Разговор переходил в оживлённую беседу. Тут были все свои люди, и, перезнакомившись, не стеснялись в излиянии своих чувств и предчувствий.

Камера с облезлой штукатуркой, деревянные нары, тусклое решетчатое окно, сто седьмая статья Уголовного кодекса и трудлагерь в недалёком будущем,—всё это как с неба свалилось на Прянишникова. Он стал перечислять в своей памяти «деловых» людей, которые, возможно, не хуже него ворочали бы капиталом, стоило только им начать, но они пошли по другой, менее заманчивой, но более надёжной дорожке, становились вербовщиками, закупщиками, заготовителями, бухгалтерами, вояжёрами, продавцами, лезли в тресты и комбинаты. А вот он, вольный купчина, предприниматель, до безумия опрометчиво нёсся на всех парах к беспредельному богатству и—тррах!.. Вся машина вдребезги. Очухался, а вокруг него такие же несчастные, потерпевшие крушение...

С отсыревшего потолка свисали и редко падали капли; за окном виднелся клочок серого облачного неба; действительно—небо с ювчинку!.. А думы—самые разнообразные, без конца и начала. И вдруг радостная зацепка! Прянишников вспомнил: когда у него производили обыск, то представитель судебно-следственных органов, видимо по неопытности своей или же по рассеянности, в спешке подержал, повертел в руках несколько брильянтов и других драгоценных камней и, положив их в коробочку, бросил обратно в ящик комода. Сейчас только пришло это Афиногенычу в голову. Он начал усиленно соображать, как бы предупредить жену — пусть она приберёт брильянты на всякий случай подальше, в надёжное место. Ведь следователь уже разъяснил ему, что сто седьмая статья предусматривает только три года принудительных работ и конфискацию имущества.

«Ах, черт побери! — думая ещё отыграться, вздыхал, ёрзая на нарах, Прянишников. — Спасти бы драгоценности, а там, через три года, они не упадут в цене, и тогда можно перебраться в город, начать жизнь потихонечку, не во весь разворот, а как подскажут обстоятельства». Он стал придумывать способ подать голос из-за этих мрачных стен не совсем смышлёной, растерявшейся жене. Свиданья не разрешались, зато передачи белья и продуктов питания допускались тюремной администрацией беспрепятственно.

Однажды, перед тем как вернуть приехавшей жене опорожненный из-под молока жестяной чайник, Прянишников, просунув в него руку, гвоздём нацарапал внутри: «Схорюни камни из комода...».

Расчёт не удался. О надписи сообщили в прокуратуру. Чеботарёв тотчас же был вызван к начальству.

— Вы невнимательно работаете, товарищ Чеботарёв,—напрямик сказал прокурор.—Да, да, вы невнимательны к серьёзным мелочам. В нашем деле, знаете, острый глаз нужен, как нигде.

— То-есть?—не понимая и волнуясь, спросил Терентий.

— Придётся съездить снова в Дерново и изъять драгоценные камни у жены Прянишникова.

— Да где же я их найду?

— В комодe,—ответил прокурор.

— В комодe?.. Я их, пожалуй, видел. В бумажной коробочке,—вспомнил Терентий.—Да, да, я их держал в руках и положил обратно.

— Тем хуже! Почему не конфисковали?

— А я думал, это... как вам сказать, очень уж на купорос похоже... Помню, такими кристалликами мой хозяин, бывало, кожу красил...

Прокурор невольно усмеянулся, покачал головой.

— Придётся вам снова съездить... Сегодня же!..

Таким образом, надежды Прянишникова на случайно уцелевшие ценности растаяли, как дым.

Следствие близилось к концу. Виновность Прянишникова в заведомой экономической контрреволюции полностью подтвердилась фактами. Дело на Румянцева было выделено в особое производство.

Последыш—сыннок Прянишникова, Колька Рубец, ведавший отцовскими складами на Паприхе, в Бушуихе и Грязовце, успел достать у Сердитова бланки сельсовет-

ских удостоверений, захватил кое-что из имущества и бежал на Север, в Кандалакшу,—авось, там спокойнее.

### XXXVII

Не спеша, своим чередом, шло вперёд бесконечное время. Терентий свыкался с интересной, разнообразной работой, которой он был запружён до предела. Часто ему приходилось вылезать в волости и сталкиваться с такими жизненными фактами, каких нельзя придумать, но можно только встретить в самой гуще жизни.

В бешеном водовороте дел почти не находилось свободного времени для устройства личной жизни. Но ни разу, глядя на служащих других учреждений, работавших от девяти утра до четырёх дня, Терентий не пожалел о том, что связал свою судьбу с таким строгим и ответственным учреждением, где и дни, и вечера, а иногда и ночи напролёт, и выходные дни проходили в работе спешной и неотложной. Время обострённой классовой борьбы требовало, чтобы партийные и беспартийные большевики, каждый на своём посту, отдавались делу целиком без остатка.

Терентию некогда было подумать всерьёз о женитьбе. Как-то в одной из командировок в Грязовец он сходил на юбилейный вечер. И здесь встретил миловидную, с умными голубыми глазами девушку. Девушку звали Галиной. Она работала в детском саду. Чеботарёв любил её. На некоторое время завязалась между ними дружеская переписка. Письма были не ахти как содержательны, но радовали Терентия и Галину тем, что скрепляли между ними дружбу и любовь. И вдруг случилось так, что приезжий из Москвы пропагандист уговорил Галину выйти за него замуж. В Грязовце её не стало.

Пропагандиста откомандировали на Волгу, затем на Урал, в Забайкалье и даже в Монголию. Любимая, не забытая Чеботарёвым гряззовчанка Галя со своим супругом Ивушкой,—как она его звала ласкательно,—с двумя чемоданами, путешествовала из города в город, помня о мимолётных встречах с Чеботарёвым и удивляясь превратностям злодейки-судьбы.

Терентий долго и нелегко переживал этот прискорбный случай несостоявшейся чистой любви.

О Девятковой, которую он помнил и, быть может где-то в глубине души таил чувство к ней необыкновенное, приходилось также с тоской на сердце забывать после того, как он получил от неё такой ответ на своё письмо:

«Милый Терёша! Я приятно была удивлена твоим письмом, письмом вспомнившего меня друга. Спешу уведомить тебя, что я уж не Девяткова. На третьем курсе института я вышла замуж за инженера-лесника. Фамилия моя теперь — Волох. Можешь догадаться, что мой муж украинец по национальности, умён и недурён собой. Одним словом мы друг другом довольны. Заканчиваю учёбу и намерена поехать работать преподавателем истории в Томск, туда переводят и моего супруга... Будь здоров. Желаю тебе успеха на избранном поприще работы. Антонина Волох».

Фамилия Волох была выведена так чётко, любовно и изящно, с небольшим закрученным хвостиком, что Терентий, приметив это, тяжело вздохнул и сказал:

— Определённо мне в любви не везёт!.. Посмотрим, до каких это пор?..

Работа разнообразная и ответственная заставила его забыть эти «неувязки» в личной жизни. Каждый день Чеботарёву приходилось лицом к лицу сталкиваться с классовыми противниками, уличать и разоблачать их. Но не всегда в этом заключалась его работа. Одно дело — перехитрить классового врага, вроде Прянишникова, доказать его виновность перед советским государством; другое дело — своевременно предотвратить преступление, если оно вытекает из необдуманных поступков человека нечуждого, советского, но под влиянием каких-то обстоятельств свихнувшегося, не устоявшего на правильном пути.

Вопросы о нормах поведения в общественной жизни, о моральном облике советского человека, тесно переплетались с его повседневной работой.

Нередко Терентия можно было встретить в читальном зале губернской библиотеки. Для него было ясно, что без учёбы, без самообразования нельзя двигаться вперёд, а ограничиться знаниями, добытыми в пределах Совпартшколы, означало бы затормозить свой рост и отстать от быстрого движения жизни и её требований. Богатая литературой старинная губернская библиотека пе-

мещалась в лучшем здании города, когда-то принадлежавшем Дворянскому собранию. Сюда собирались учащиеся, преподаватели и служащие советских учреждений.

Полезно и приятно в свободные от работы часы находиться здесь среди обилия книг. Чеботарёв жил неподалёку от библиотеки. Всего только квартал от угла улицы Возрождения. Он занимал тесную комнатку с одним окном. Комнатка была поистине холостяцкой: ничего лишнего, а недоставало... уюта и семьи.

Однажды Терентий проснулся раньше обычного. В открытое окно доносился шум толпы, собравшейся на площади перед фасадом библиотеки.

«Сегодня утром снимают с церкви Спасителя колокола», — вспомнил Чеботарёв. Быстро собрался и вышел на улицу. Толпа действительно была огромная. И как раз в это раннее летнее утро в безоблачной синеве вологодского неба появился сигарообразный, весь блестящий немецкий цеппелин.

Он обогнул железнодорожные окраины города, развернулся над селом Турундаевым и с лёгким шумом проплыл над центром города.

Древняя Вологда, видимо, заинтересовала немецких учёных и шпионов, следовавших тогда без приземления прямым сообщением Берлин — Токио. Вологжане с удивлением посмотрели вслед цеппелину, скрывшемуся за горизонтом по направлению к Тотьме, и увлеклись своим делом. Сегодня они в добровольном порядке явились по призыву горкомхоза снимать колокола с ненужного им «Спаса». Церковь превращали в кинотеатр.

Среди любопытных зрителей находился и Терентий Чеботарёв. Рядом с ним стоял его начальник — щеголеватый, длинный Разумович. Тот и другой по долгу своей службы наблюдали за ходом работы. Мелкие колокола срывались с перекладин колокольной и падали на мостовую, разбиваясь вдребезги о булыжник.

Только самый большой, тысячепудовый колокол, спускаясь по стальным тросам, чуть-чуть задержался в полёте и не пошёл, как ему полагалось, плавно вниз, а грохнулся на крышу церкви, проломил кирпичное перекрытие сводов и врезался в каменный пол. Раздался тяжёлый гул. Толпа с криком отшатнулась от церкви. Чеботарёв и Разумович бросились к месту про-

исшествия. Туда же кинулись дежурившие медицинские работники. Пострадавших не оказалось. Инженер горкомхоза, руководивший работами и охраной труда, отделался испугом. Разумович строго его предупредил:

— Если будут жертвы или увечные, имейте в виду: отвечаете своей головой.

Бледный инженер понимал это и сам.

— Всё обойдётся благополучно. Лишь бы вот шпилем не задело кого-нибудь. Граждане, поберегитесь, подальше, подальше встаньте!..

От позолоченного креста, в последний раз сиявшего в то утро на огромной высоте над городом, тянулись бечевы. Сотни человек держались за концы, готовые по команде инженера рвануть и вытащить шпиль, у основания которого три крохотных человека стучали кувалдами и подпиливали железные крепления. Наконец все трое в один голос крикнули с высоты:

— Готово! — и удалились под купол колокольни.

И тогда сотни людей натянули бечевы, как струны.

— Раз-два, взяли! Раз-два, дружно!

Шпиль глухо треснул, наклонился.

— Ещё раз, взяли!

Резкий рывок, и крест, символ мракобесия, сверкнув в воздухе, вместе с длинным десятисаженным шпилем свергся на землю. Кто-то, оглядываясь на обезглавленную церковь Спаса, предсказал:

— Из этой штуки такой кинематограф будет — залюбуешься! Москвичи позавидуют...

Чеботарёв и Разумович подошли посмотреть на шпиль, переломленный при падении в нескольких местах. Дерево тридцать аршин длиною, срубленное во времена Петра Первого, могло бы стать корабельной мачтой, но по случайности оказалось шпилем на колокольне и долгие-долгие годы держало на себе позолоченный крест.

— Ничего себе деревцо! — изумился Терентий, — выдал я деревья и на корню и в штабелях, но никогда ещё такого древнего крепыша не встречал.

— Да что дерево! — заметил Разумович, наклоняясь над расщеплённым изломом шпиля. — У нас есть и люди такие, которые без скрипа живут себе поживают лет сто. Посмотри вон, к примеру, на того старика, что копошится у креста...

И оба они невольно обратили внимание на седого с длинной белой бородой, с моложавым красным лицом старца, который торопливо и старательно отделял изогнутый крест от шпилья. Потом они увидели, как старик оглянулся вокруг, с необыкновенной лёгкостью взвалил крест себе на плечо и отнёс в укромное место к ограде сада. Там он достал из кармана тиски, молоток и, наклонившись, стал обдирать с креста позолоченные звенящие листы...

И тут, как говорится, — на ловца и зверь бежит. Оба работника прокуратуры переглянулись.

— Ого, да видать, он с понятием. — проговорил после некоторого молчания Разумович и, подозрительно поглядывая на старика, сказал: — Товарищ Чеботарёв, надо приглядеться к этому седовласому. Вполне возможно — на кресте серебряная облицовка, наверно старик хочет пожить...

— Я тоже так думаю.

— Погляди. И если это так, приведи его в канцелярию и побеседуй. О результатах доложишь...

Разумович, крупно шагая, направился в губернскую прокуратуру, где его ждали неотложные дела.

Терентий остался наблюдать за стариком, прошёл мимо него два-три раза. Старик тисками отковыривал с креста позолоченную облицовку и бережно свёртывал в трубочки. Руки у него не то от спешки, не то от жадности немилосердно тряслись. Вытирая обильный пот, выступивший на морщинистом лбу, старик торопливо снял с себя серенький поношенный пиджак и не совсем аккуратно завернул в него свёрнутый в трубки с одной стороны серый, с другой — позолоченный металл и зашагал без оглядки.

Терентий направился за ним. Шёл долго. Старик свернул за церковь Зосимы и Савватия — и Терентий за ним. Старик по набережной вышел против Фрязиновской улицы, спустился к лодке — Терентий туда же.

— Дед, а лед, на тот берег?

— А куда же больше?

— Перевези меня попутно.

— А что не по мосту? — спросил старик и уже с опаской поглядел на Терентия. Парень как будто ничего: белая рубашка нараспашку, голова без фуражки. Лицо такое простое, деревенское...

— По мосту, сам видишь, какой крюк надо делать.

— Садись в вёсла, места не убудет.

Оттолкнулись от берега. Дальше преследовать старика Чеботарёву не было смысла. Решил завести разговор:

— Что это, дед, у тебя в пиджак завёрнуто, поблёскивает? — спросил он с видом полного равнодушия.

— Пустяки, железишко кое-какое, для ремонта вёдер... пригодится.

— Где это добыл?

— Да купил тут за пустяк у одного барахольщика...

— А сколько тебе лет, дедушка — помолчав, улыбаясь, спросил Чеботарёв.

— На девятый десяток четыре года загнуло...

— В таком возрасте стыдно врать, дедушка, — вежливо заметил Терентий.

— В мои годы врать? — схитрил старик и нахмурил седые брови, — помилуй бог.

— За враньё вряд ли он помилует... Придется нам с тобой, дед, в лодочке вдоль реки прокатиться до... прокуратуры. Как ты на это смотришь?

— Вот так ловко! А чего я там оставил? — резко возразил старик, и, прикусив густые пожелтевшие, закрывающие рот усы, встал с беседки и ухватился за пиджак.

— Да я лучше весь этот хлам в реку швырну!..

— Сядь, старик, и не смей этого делать. Река не так глубока: самому же придётся доставать все эти железяги. Давай, лучше по добру расскажи. Почему ты так поспешно ободрал крест христов? Что это? Ценность? — Чеботарёв привстал и слегка задел носком сапога свёрнутые в трубочки металлические листы.

— Видно от божьей воли не спрячешься, — нечего грех таить, — тяжело вздохнул старик и, готовый поведать всё, начал рассказывать. — Скажу правду. Сам я иконный живописец когда-то был и даже с богатых людей портреты писал... Ну, когда, ещё при Александре Втором, на паперти у Спаса я делал росписи, в ту пору золотари подновляли этот крест на колокольне. Купцы пожертвовали тогда пуд серебра на облицовку да на золочение дали три фунта золота...

— Вот это другой разговор! — воскликнул Терентий и, достав из бумажника служебное удостоверение, спросил:

— Грамотный, дед?

— А как же, милый?

— Познакомься с моим документом.

Старик отмахнулся:

— Не надо, и так видно сокола по полёту. В прокуратуру, так и в прокуратуру, в мои годы, дитятко, страшиться нечего.

— Совершенно верно. Потолкуем, запишем и часа через два будешь у своей старухи.

— Ничего себе, утешил! — невесело усмехнулся старик. — Я ещё жить хочу. Моя старуха на том свете, вот уже пятнадцатый год, как чертям бельё стирает, — сказал он как бы в шутку и замолк.

Разговорился только в следственной части.

— Ваше имя, отчество, фамилия? — переходя на официальный тон, спросил Чеботарёв доставленного им старца.

— Немироё я, Василий Фёдорович, когда-то известного богомаза Немирова Фёдора сын. Про моего отца годов сорок назад знаменитый художник Верещагин целую статью составил. Я с отцом-стариком по иконописному делу старался. Большие подряды снимали. Денежку зашибали немалую. Проживали-пропивали, богато не жили.. Записывать будешь или так обойдёшься? без волокиты?

— Записывать необязательно, а послушать могу с удовольствием, — отозвался Терентий. — Вы вот расскажите, что вас, Василий Фёдорович, заставило воровать государственные ценности? Пуд серебра, три фунта позолоты — шуточка!..

— Да, не шуточка, — согласился старик Немиров. — Потому я и решился на такое дело, что не шуточка. Всю жизнь норовил богато пожить и не выгорало. Не выгорело и сейчас. А всё зависть, дитятко, проклятушная, и не судьба мне видно на чужом хребте в рай ехать.. И с чего мне это в башку взбрело? Видно, некому было отговорить... Да и опять же заработка нынче нет подходящего. Раньше, бывало, мы с покойным отцом помалевали, ох, многонько!.. В Вологде, поди-ка, ни одного храма нет, где бы по стенам наша кисть не гуляла. Ну, тут тебе почёт и уважение, и на винцо деньги никогда не выводились. И на хорошем счёту, надо сказать, мы были. Умели красочки подбирать! Тут тебе и киноварь,

и лазурь, и аглицкая жёлчь, и венецейская ярь, и что угодно могли выкусывать в своём деле. Из жжёных костей порошок толкли и делали краску для рисования прозрачных одежд на жёнах-блудницах и мироносицах... В Питере бывало с отцом-то украшали Самсоньевскую церковь, так там с двумя художественными академиками в знакомстве состояли, и они нас хвалили и у нас же учились кое-какие красочки изобретать. Да, молодой человек, кончилось наше занятие и видимо никогда не начнётся, раз самолучшую церковь под кинематограф... И дёрнул же меня чорт, на старости лет, сегодня совесть потерять?! Как ведь нескладно получилось. Хоть бы в газету не попасть. Старики-то меня по всему городу знают. Скажут — «вот богомаз Васюха Немиров с ума спятил»...

— Бывает, дедушка, бывает, — спокойно заметил Чеботарёв.

— Бывает и медведь летает, но только в яму! Такое со мной и случилось. Сверзился на глупом деле. Не засудят? А?

— Я думаю, нет, — порадовал старика Чеботарёв, — принимая во внимание возраст и то, что пережитки капитализма ещё живучи в сознании, особенно старых людей, мы на вас «дела» заводить не будем. А серебришко это сдайте по весу под расписку, как вещественное доказательство вашего неосознательного, но, учитывая то-то и то-то, простительного поступка. Можете идти.

— А куда это сдать?

— Коменданту. Крайняя дверь налево при выходе...

Получив квитанцию в приёме позолоченного серебра, старик Немиров вернулся в комнату Чеботарёва и, сняв картуз, поклонился:

— Благодарю за науку, не случится со мной больше подобный грех никогда! И ещё могу совет дать вам, молодой человек, ежели понадобится позолоту от серебряных листов отделить и слить в один кусок, есть тому делу специалист, живёт он на Власьевской улице, каргопольский уроженец Иван по прозвищу Крестолей. Прежде он кресты медные отливал, да на фальшивых деньгах запинку сделал и десяток годков на каторге до самой революции оправданье себе находил, знатный умелец по золоту...

— Ступай, ступай, — показывая на дверь, строго сказал Терентий. И, когда Немиров вышел, он поглядел ему вслед, покачал головой, подумал: «Гораздо скорей можно все церкви и тюрьмы сровнять с землёй, как поётся в одной песне, но куда трудней и длительней придётся вытравлять «родимые пятна» прошлого из сознания людей. Главное, надо достичь такого положения, чтобы у каждого советского гражданина интересы государственные были превыше интересов личных, имущественных...».

Терентий в раздумье прошёл из угла в угол, сел за стол, снял трубку с телефонного аппарата и позвонил Разумовичу:

— Товарищ старший следователь! Пуд серебра и три фунта золота сдано коменданту. Старика я решил отпустить...

Чеботарёв вышел на балкон, откуда была видна река Вологда до самого фрязиновского поворота. Старик Немиров сидел без фуражки в лодке, лениво пошевеливал вёслами и каждый раз, поравнявшись с прибрежными церквями, истово крестился.

— Ханжа! Старый лицемер! — сорвалось с языка Чеботарёва. — Был бы ты помоложе годков на двадцать-тридцать, проучил бы я тебя по всей строгости закона...

Весёлое летнее солнце высоко поднялось над бывшей семинарией, что за рекой против губернской прокуратуры.

На душе у Чеботарёва было легко и радостно. Молодые годы, свежие силы, заманчивое, широкое поле деятельности. Мысленно устремлённый в будущее, он невольно подумал и проговорил:

— Поживём и поработаем, как следует, чорт побери!..

... А через месяц после того, как над Вологдой пролетал из Берлина в Токио немецкий цеппелин, Терентий, по обыкновению заглядывая в свободное вечернее время в читальный зал губернской библиотеки, однажды просматривал иностранные иллюстрированные журналы.

В одном из них, на двух страницах в разворот, был помещён фотоснимок Вологды, сделанный с птичьего полёта. Фотография была чёткой, явственной. И Терентий с интересом стал рассматривать: вот она, от Прилук до Турундаева узкая река Вологда, изгибами пересекающая

город на две части; тонкой жилкой тянется речонка Золотуха. Стены соборного кремля, сад с длинным прудом и горкой; каменные дома стройными рядами сходятся к центральной площади, на которой вокруг церкви скопилось множество народа. Терентий вспомнил, по какому случаю собрался в то раннее утро народ. На углу улицы Володарского, возле киоска, он заметил две беленькие точки. Да ведь это же они с Разумовичем стояли тут в тот самый час, оба в белых рубахах!.. Терентию стало смешно. Жаль, кроме слова «Вологда», из текста под фотоснимком он ничего не может перевести на свой русский язык. Обратился к научному работнику библиотеки.

Сухощавая косматая женщина, в пенсне, пояснила: — Этот снимок, как вы правильно поняли, сделан немцами во время их перелёта на цеппелине из Германии в Японию. Корреспондент, не лишённый наглости и способности клеветать, здесь пишет: «Мы специально выбрали маршрут над северными древними русскими городами и сёлами, чтобы убедиться в сохранности уклада старой жизни в этой большевистской стране. И мы убедились, судите по фотографии: в старинной Вологде по-прежнему имеется множество церквей. Вера в бога здесь настолько сильна, что молящиеся не вмещаются в церкви, о чём свидетельствует грандиозная толпа людей, собравшихся на площади...».

Переводчица улыбнулась и от себя добавила:

— Конечно, тут ни слова не сказано о том, что это наши вологжане снимают колокола и перестраивают церковь в кинотеатр..

Терентий сначала возмутился, потом не смог удержаться от смеха. Отложив в сторону прилизанный немецкий журнал, он проговорил гневно:

— Одним словом, за границей корреспонденты утешают себя и своих хозяев клеветой по нашему адресу, пускают пыль в глаза своим читателям. Что ж, собака лает — ветер носит. А у нас, советских людей, своя путь-дорога. И никакие, ни большие, ни малые буржуазные псы, тьякающие из заграничных подворотен, не испугают и не собьют нас с правильного пути...

*Конец второй части.*

*Издательство просит читателей  
присылать отзывы об этой книге  
по адресу: Вологда, ул. Урицкого, 2,  
книжная редакция «Красный Север»*

Редактор *В. М. Малков*  
Техредактор *А. А. Веселовская*

---

ГЕ06178. Сдано в набор 11.II.50. Подписано к печати 5.VIII.50 г.  
Бумага 60 × 84. Печ. л. 32,5 Уч.-изд. л. 27.  
Тираж 1200. Цена в переплёте 15 руб. Заказ 1133

---

Вологда, Областная типография «Красный Север»